

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



М. АЛЕКСЕЕВ · В. ДРАГУНСКИЙ
В. МЕДВЕДЕВ · М. ПРИЛЕЖАЕВА
Ю. ЯКОВЛЕВ



М. АЛЕКСЕЕВ
В. ДРАГУНСКИЙ
В. МЕДВЕДЕВ
М. ПРИЛЕЖАЕВА
Ю. ЯКОВЛЕВ







БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

КАРЮХА



ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ

ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ



ВАЛЕРИЙ МЕДВЕДЕВ

БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!



МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА

ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА МАЯ



ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ

МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ

Повести и рассказы

P2
A47



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.

Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсайд
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.

Мустай Карим
Новожилова Э. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим

*

Предисловие и комментарии

Т. Д. ПОЛОЗОВОЙ

Оформление серии

Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома

А. Г. ТАМБОВКИНА

А 4803010102—433
М101(03)85 Подп. изд.

© Состав. Оформление. Предисловие. Комментарии.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1985 г.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Одно из произведений, включенных в этот том, имеет призывное, даже требовательное заглавие: «Баранкин, будь человеком!» Это — тридцать шесть сказочных событий из жизни фантазера Юры Баранкина и его лучшего друга Кости Малинина. Тридцать шесть удивительных приключений пережили друзья в течение одного лишь сентябрьского воскресенья...

Мальчишки устали быть людьми. Им надоело учиться, выполнять различные общественные пионерские обязанности: «В школе — будь человеком! На улице — будь человеком! Дома — будь человеком! А отдыхать когда же?!» Вот эта сверхъестественная потребность отдохнуть от человеческих обязанностей и помогла Юре и Косте превратиться... в воробьев. У них, как думал Баранкин, семь выходных дней в неделе. Однако потребовалось совсем мало времени, чтобы убедиться: жизнь птиц полна трудных поисков пищи, охраны гнезда, неожиданных опасностей. Юрку-воробья, например, чуть не съела его собственная кошка Муська.

Устав быть воробьями, мальчишки превращаются в бабочек. Но у бабочек еще больше хлопот. Да и жизнь уж очень коротка. Испугавшись нелегкой жизни бабочек, Юра и Костя превращаются в трутней — ведь «трутни потому и называются трутнями, что они в жизни ничего не делают или делают только то, что им захочется». Именно об этом и мечтали наши герои.

Но, став трутнями, они окончательно поняли, что жизни без дела, без обязанностей — «такой жизни нет и не может быть нигде — ни на земле и ни под землей... Появление муравьев-лентяев было столь неслыханным и невиданным случаем

в муравьином царстве, что «Совет Старейших Муравьев решил приговорить этих двух преступников к Смерти!..». И вот, выдержав страшные испытания жизнью птиц и насекомых, преодолев самые невероятные трудности и страхи на пути к самим себе — людям, Юра и Костя сделали самое главное открытие: быть настоящим ЧЕ-ЛО-ВЕ-КОМ прекрасно. Юра и Костя действительно впервые увидели себя людьми и возликовали возможности думать по-че-ло-ве-че-ски, действовать «по-че-ло-ве-че-ски!!!», «навекы быть человеком!». И вовсе не потому, что человеком быть легче или проще, чем, скажем, птицей или муравьем. Мальчишки почувствовали прелесть гордой ответственности быть человеком — всегда, во всем, со всеми... Мальчишки прониклись пониманием, что наивысшая и лучшая радость жизни — вовсе не безделье, не бездумность, не безучастие, а радость трудного и доброго свершения.

Вместе с героями веселой, забавной сказки Валерия Медведева и мы, ее читатели, не без удовольствия разделили радость этого открытия. Именно разделили радость героев, перенеся ее с большей или меньшей степенью осознанности на себя. Еще и еще раз задумались — пусть на мгновение, пусть не вслух, а очень внутренне, «про себя»: а ведь действительно приятнее что-то делать нужное, доброе, ценное, чем постоянно изыскивать пути к отлыниванию от человеческих дел, обязанностей, забот не только о себе, но прежде всего и главным образом — о других. Приятнее отдавать, а не брать. Приятнее идти с друзьями в ногу и не искать для себя тихой обочины.

Мы сделали это открытие вместе с героями литературной сказки, главная идея которой вынесена в заглавие, сформулирована в тексте. А если бы этого не было, как, например, в рассказах Юрия Яковлева, опубликованных в этом же томе? Роднит ли их что-то с литературной сказкой Валерия Медведева? Ни в одном из них волнующая автора мысль не подана как готовая нравственная формула. В рассказах немало тонких и сложных психологических размышлений, наблюдений. Их сюжеты — обычные, реалистические.

Большинство рассказов — живые картины каждому знакомого быта. Запоминаются не имена, а характеры мальчишек, действующих в самых обычных, повседневных ситуациях. Но юные герои рассказов остаются в памяти нашего сердца. Они покоряют приверженностью высоким рыцарским добродетелям. И тогда, когда проявляют их в обыденной школьной ситуации, и тогда, когда с риском для жизни приходится забираться по скользкой крутой крыше на ее гребень, чтобы там хорошо рассмотреть форму флюгера, которым заинтересовалась одноклассница. Именно так поступил тихий, застенчивый герой рассказа «Всадник, скачущий над городом».

Покоряют нас, читателей, реалистические по материалу рассказы Ю. Яковлева своим поэтическим пафосом, утверждением возвышенного, чистого человеческого чувства, непременно таящегося в каждом из людей. В рассказах главный герой — боль и радость писателя. Боль, когда он видит, как черным облаком поднимаются в небеса тонны бумажной макулатуры, вдохновенно собранной Колей Малявкиным и его одноклассниками. Тревога и боль, когда писатель рассказывает о тяжелых переживаниях Саши-Таборки, героя рассказа «Он убил мою собаку». Писателю больно из-за того, что черствый взрослый человек убил любимую собаку Таборки.

Его боль искренна, велика, поэтому она захватывает и нас, читателей. И не надо заглушать это сострадание: рассказ и создан для того, чтобы мы не были безразличными к горю другого человека, чтобы мы были чуткими и слышали не только душераздирающий вой пожарной сирены, но и горькое молчание маленького обиженного человека.

Никакая боль души человека, как и правда, не бывает маленькой. Правда — всегда большая. Поэтому нельзя ей изменять. И соучастие в чужой беде не бывает маленьким, даже если ты смог помочь всего лишь одному человеку, как это случилось в рассказе «Мальчик с коньками».

В солнечный мартовский день обычный мальчик шел на каток, где его ждала, он верил в это, желанная счастливая встреча... Вспомнив о ней, мальчик уже не шел, а летел в сторону городского катка, навстречу своей радости. Но случай... Хотя, если вдуматься, ничего особенного: в переулке мальчик встретил мужчину, глаза которого «были полны боли и тревоги». Он еле держался на ногах.

Конечно, можно было пробежать мимо, навстречу своей радости. Но мальчик остановился. Подставил свое хрупкое плечо под отяжелевшую руку больного грузного человека. Помог ему добраться до дома. А там? Он снова мог быть свободным от чужой беды. Больной не удерживал мальчика с коньками. Более того, больной сказал: «Ты иди. Теперь я сам управлюсь... А за помощь спасибо...» Однако мальчик не ушел и этим спас жизнь бывшего фронтовика.

Что удержало мальчика рядом с неизвестным ему человеком? Голос совести? Да. Душевная отзывчивость? Да. Способность к состраданию боли другого человека? Да. Обокрал себя мальчик, не убежав навстречу своей радости на веселый каток? Нет. Обогатился. Повзрослел умом и сердцем. Поняв, пережив, поделив чужую боль, чужую опасность, он почувствовал благотворную власть над собой человеческого долга, человеческой обязанности. И стал сильнее. Смог, рискуя собой, остановить мчащуюся «скорую», отправить больного Бахтюкова в больницу, дожидаться

конца операции, длившейся почти два часа, и поддержать бывшего солдата своим «сыновним» приветом...

Духовное, нравственное взросление мальчишки составляет основной пафос и «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского. Они так быстро покорили читателя, вошли в каждый дом, где есть дети, что, кажется, они, как, например, стихи С. Маршака, С. Михалкова, существовали вечно. В. Драгунский, писатель веселый, остроумный, беспредельно богат на выдумку, как и его герой Дениска.

Однако это вовсе не означает, что произведения В. Драгунского лишь занимательны и не несут в себе заряд душевного щедрого тепла, нравственной закалки. Дениска отзывчив, участлив. Он хороший друг и бесконечно любознателен. Ему все интересно. Он доверчив. Умеет радоваться, когда его друг весел. Он смешлив, но не насмешлив. Он обладает величайшим человеческим даром — чувством юмора. Он не откладывает на завтра то, что можно сделать сегодня. Он весь, всегда в движении, даже если просто сидит на диване и думает или терпеливо ждет маму, опаздывающую домой после работы.

Дениска близок лучшим героям нашей литературы прежде всего тем, что он, будучи мальчишкой, а не взрослым человеком, живет насыщенно, активно, деятельно. Когда-то С. Я. Маршак писал: «Существовала некогда пословица, что дети не живут, а только жить готовятся. Но вряд ли в жизни пригодится тот, кто, жить готовясь, в детстве не живет». Дениска не ждет того времени, когда станет взрослым, чтобы проявить свою человеческую одаренность. Он счастливый, потому что не ленив и деятелен, потому что отзывчив и изобретателен. Всей своей жизнью он утверждает: важно не «кем быть», а каким стать человеком.

Но уже и теперь Дениска прекрасен, потому что не равнодушен, отзывчив на чужую боль и готов прийти на помощь каждому, кто в ней нуждается. Обратите внимание, например, как реагировал Дениска на затруднение Горбушки («Независимый Горбушка»), когда тот из-за смущения начал заикаться в разговоре с писателем, который тоже заикался. Писатель решил, что Горбушка его передразнивает. Назревала неловкая ситуация. «Я подумал,— рассказывает Дениска,— что без меня они, того гляди, передерутся сейчас. Я вскочил с места.

— Иван Владиславович,— сказал я,— это наш Горбушка! Он вас не дразнит. Просто он заикается тоже. Но он заикается самостоятельно...» «Вскочил с места», «без меня» может случиться беда; сам движимый добрым отзывчивым сердцем, Дениска вмешивается в жизнь. И будь он на месте мальчика с коньками, он бы, конечно, тоже подставил свое детское плечо под руку нуждающегося в опоре больного человека.

...Двадцатилетний Лев Николаевич Толстой разработал для себя правила жизни. В их числе такое: «Чтобы каждый день любовь твоя ко всему роду человеческому выражалась бы чем-нибудь»¹. Трудно представить, чтобы каждому из нас посчастливилось найти возможность ежедневно выражать свою любовь «ко всему роду человеческому» чем-то заметным, весомым, зримым. Да и приведенное правило — лишь одно из многих, составлявших жизненную программу гениального русского мыслителя и художника. Важно, видимо, и нам, обычным людям, осознавать свою программу жизни и помнить, что назначение каждого из людей всегда, во всем, в каждом возможном и необходимом случае — быть человеком. Руководствоваться высшим назначением человека — работать, созидать Доброе, Вечное. Не скупиться на соучастие. На отзывчивость. Всегда помнить, что имя Человек звучит не только гордо, но и ответственно. Пониманию этого, утверждению этого и служит вся прогрессивная литература.

Отличается этими идеалами нравственности наша советская литература для детей и юношества, развивающая лучшие традиции подлинного гуманизма, любви к человеку, свойственные русской классической литературе.

Идеалы нравственности, гражданственности, человеколюбия, готовности к честному труду объединяют, роднят все произведения, собранные в этом томе, хотя написаны они очень разными по стилю писателями, посвящены исторически разному времени, весьма далеки друг от друга по тематике, по жизненному материалу, неодинаковы по жанру.

Кроме произведений В. Медведева, Ю. Яковлева, в том вошла повесть Марии Прилежаевой «Зеленая ветка мая» — лирическое произведение о становлении личности учительницы Екатерины Платоновны Бектышевой. Ее детство и юность прошли на рубеже двух эпох: в годы революции и становления Советской власти.

Имя Марии Павловны Прилежаевой ассоциируется с ее произведениями о В. И. Ленине: «Начало», «Удивительный год», «Три недели покоя», «Жизнь В. И. Ленина». С книгами о детстве, жизни и деятельности М. И. Калинина: «С берегов Медведицы», «Под северным небом». А в начале творческого пути писательницы — «Семиклассницы», «Юность Маши Строговой»... И во всех этих книгах главное — рождение, становление и проявление юной личности. Гениальной личности В. И. Ленина — в произведениях о нем. Личности обычной учительницы — в повестях о Маше Строговой, о Кате Бектышевой. И всегда —

¹ Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 90 тт.; т. 47, с. 280, 1937.

именно личности — неповторимо прекрасного человека, нужного другим людям, обретающего свое личное счастье в целеустремленном служении им.

Становление личности Екатерины Платоновны Бектышевой было нелегким. Раннее детство — в разоряющейся дворянской семье, сиротство. Трудное привыкание к стилю жизни у бабушки, учение в женской гимназии, затем протест, исключение... Но суть дела не в перечне поворотных пунктов сюжета. Главное — на наших глазах, словно бы в нашем присутствии происходит нравственное, гражданское, социальное взросление девочки, быстро и смело перешагнувшей отрочество. В недавнем прошлом — хрупкая, тихая, робкая девочка, сочинявшая «красивые» слезливые повести, Катя Бектышева в неполные семнадцать лет становится уважаемой сельской учительницей, покоряет не только детей — своих учеников, но и взрослое население селца Иваньково.

В чем главная сила юной учительницы? В ее преданности делу. В том, что не ищет легкого пути, что работает по совести, любя дело, любя детей, не страшась трудностей, без расчета на благодарность, на особое к себе отношение. «Фрося! У меня новая жизнь. Не представляла, что так захватит, всю душу возьмет какая-то деревенская школка. Невзрачная, с одним большим классом. Холодный, темный класс, но когда нахлынут ребята, сразу повеселеет и даже согреется. Оказывается, я люблю ребят. Очень люблю! Плохих детей в моей школе нет. Лживых, недобрых? Нет, нет!

Мне нравится управлять ими, будто оркестром. Они слушают каждое мое слово, хочется даже торжественнее выразиться: «внимают» каждому слову. Иногда, чтобы проверить свою власть, я строго приказываю: «Тихо. Ни звука».

И что же? «Тихо, ни звука» — так Катя Бектышева рассказывает о своей работе в письме к подруге.

Судьба Кати Бектышевой убеждает: человек, находящий радость в работе, истинно счастливый. Быть нужным, быть полезным, снискать уважение. Разве это не составляет смысл, назначение человека. Юная учительница не занималась специально завоеванием авторитета. Но авторитет и уважение, а значит, и ощущение радости бытия, всегда приходят к человеку, если он не боится отдавать свои знания, силу, ум, энергию людям. Так было и в Катиной жизни. Не прошло и года с начала работы, как умерла ее бабушка — человек ясной души, высокой культуры, незапятнанной чести.

Катя растерялась от охватившего ее одиночества, призналась в этом председателю сельсовета и услышала в ответ на свои слезы величайшей значимости истину, высказанную человеком, не привыкшим произносить высокие слова: «Ты то пойми, что нужна

народу. Школе без тебя нельзя, тем и держись. Детишки малые сердцем к тебе прилепились. Мой Алеха намеднись простыл, кашель привязался, так мать насилу удержала на печке. Пойду да пойду в школу, стих станем заучивать. Вон какую ты им открываешь культуру! Ты у нас на селе первая культурная сила».

Да, девушка неполных семнадцати лет стала всеми уважаемой личностью. Она олицетворяет веру людей в доброе, чистое, светлое. Их надежду на то, что начавшаяся новая жизнь при всех ее непостижимых, непредсказуемых трудностях открывает людям зеленую улицу в лучшее завтра.

Эта жизнеутверждающая позиция оказалась для Кати сильной по тем же самым причинам, благодаря которым герои произведений, публикуемых в этом томе, становятся истинными рыцарями человечности.

Идеал активной жизненной позиции, внутренняя готовность делать доброе, ценное для людей, гражданская зрелость роднят Катю Бектышеву не только с теми, кто вместе с нею начинал строить новое общество, но и с нашими современными юными героями.

Преимственность и развитие нравственных, эстетических идеалов в конкретно-исторической ситуации и атмосфере человеческих отношений — одна из существенных особенностей советской литературы.

Нравственные, эстетические искания героя помогают увидеть, понять не только своеобразие человеческих отношений определенного времени, но и неповторимость, индивидуальность процесса становления личности человека, рожденного, сформированного именно этими конкретно-историческими условиями общественных отношений. В этом еще и еще раз убеждаешься, читая повесть Михаила Алексеева. Ею открывается этот том «Библиотеки».

Михаил Николаевич Алексеев — один из выдающихся, признанных читателем и критикой мастеров советской литературы. В любимом чтении взрослых и юных читателей прочно заняли свои почетные места его произведения разных жанров: публицистически острый «Американский дневник»; романы «Вишневый омут», «Солдаты», «Драчуны»; «Ивушку неплакучую» включили в свой репертуар многие театры нашей и других стран; яркие короткие новеллы объединены в интересном сборнике «Дивизионка»; воинам литературного фронта посвящен сборник «Однополчане»; «Цена ему — жизнь» — поэтическое слово о хлебе, адресованное самым маленьким читателям...

Сам этот перечень произведений М. Н. Алексеева говорит о том, что их автор — человек большой гражданской биогра-

фии, участник Великой Отечественной войны, непосредственно, глубоко лично познавший цену человеческой жизни, хлеба, справедливости и, конечно, подлинное назначение человека.

Одна из главных специфических особенностей искусства, в том числе и художественной литературы — искусства слова, заключается в том, чтобы видеть, находить, открывать необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.

Повесть «Карюха» — отличное тому подтверждение. Писатель рисует живую, зримую, эмоционально выразительную картину раздела большой крестьянской семьи между тремя взрослыми братьями — на три самостоятельные хозяйства. Явление это обычное, даже привычное для русской деревни. Обычно и то, что дележ проходит драматически, напряженно. В каждой семье — дети. Их надо одеть, накормить, а доход только от своего однолошадного хозяйства. Естественно, каждый из братьев хочет, чтобы его семье досталась лучшая полоска земли, лучшая лошадь. Что же необыкновенного в этой истории раздела крестьянского хозяйства? Чем притягивает повесть, рассказывающая, на первый взгляд, всего лишь об истории лошади? Ее имя — Карюха — вынесено в заглавие произведения.

Не спеша перечитав историю Карюхи, вслушавшись в интонацию повествования, начинаешь понимать, что необыкновенным и поэтическим в этой обычной истории выступает эстетическое отношение писателя к родной земле, родной деревне, к незабываемому голодному, но удивительно прекрасному детству. Чувство сыновней любви и благодарности пронизывает, одухотворяет драматическую историю жизни семьи, относительное благополучие или, наоборот, полуголодное существование которой полностью зависело от изможденной Карюхи.

Повесть написана от имени юного героя. Он безупречно внутренне честен, болезненно раним фальшью, душевно чуток. А жизнь детей в крестьянской семье неотделима от дел, от невзгод и радостей взрослых. Дети неизбежно не только свидетели, но участники всего происходящего в семье. Испуганно любопытными глазами они наблюдают, как происходит жребий, предreshавший судьбу Карюхи, а значит, и той семьи, которой она достанется. Охваченные дрожью, дети видят, как дрожит рука отца, вытянувшего свой страшный жребий... И далее, рассматривая глазами наблюдательного подростка психологически сложный процесс развития семейных отношений от безысходности к взлету надежды, связанной с рождением молодой лошади Майки, а затем — полный крах и реальных планов, и всех иллюзий, вызванный ее смертью, автор постоянно углубляет наше представление не только о быте семьи, но и о характере

юного героя. Во всем, что он делает, в его отношении к делу, к заботам семьи, в его заметном нравственном, социальном взрослении — во всем прорисовывается зарождение и созревание того большого, духовно значительного, что делает человека личностью.

Подросток, от имени которого написана «Карюха», ни возрастом, ни поступками, ни внешними чертами характера не напоминает Катю Бектышеву, героиню повести М. Прилежаевой. Но в главном — в беспредельном чувстве Родины — они едины. Родина — живой организм... Такое ощущение Родины одухотворяет лучшие произведения русской поэзии и художественной прозы прошлого века и нашего времени. Не всегда осознанное, но всегда действенное, побуждающее к активному участию в том, что для жизни значимо, такое патриотическое чувство освещало нелегкий учительский и гражданский путь Екатерины Платоновны.

Оно же помогает юному рассказчику истории Карюхи увидеть в отце неизбывную крестьянскую силу, выдержку, мужество, которые поднимают человека и в ситуации, казалось бы, безысходной. Обратим внимание на финал повести. Майку убили волки. Карюху покалечили. Семья лишилась кормилицы. Отец искал смерти... Но ветер изменяет движение холодного воздуха и погоду. Время и неизбывная сила духа помогают человеку обрести новое дыхание... Отец смазал раны Карюхи карболкой, «долго глядел в ее сумеречные глаза, порывисто обнял шею и, всхлипнув, хрипло вымолвил:

— Ничего, ничего, Карюха, мы еще того... мы, знаешь...

Северный ветер, дувший целую неделю, уступил вдруг место западному. Скоро по небу поплыли низкие, набрякшие влагой тучи, из них полетел на землю лохматый, мягкий снег... в призрачном этом свете, облепленная белым, Карюха молодела на его глазах и была странно и удивительно похожей на Майку. И опять с губ отца сорвалось несвязное:

— Ничего, милая... Мы еще того... мы еще...»

В художественном произведении значимы не только замысел, материал, сюжет, герои, но и интонация, пафос, настроение, способное заразить читателя. Заметим, что в повести «Карюха» интонация рассказчика, его наблюдательность, умение любоваться гордой красавицей Майкой, не только слушать, но слышать, уловить переливы голоса, передающего душевное состояние говорящего, — все это придает повествованию особую одухотворенность, поглощает читателя, если он вслушивается в музыку языка произведения, всматривается в детали, поразившие автора.

Обратим внимание для примера, как сказано о полете, именно о полете, а не беге горделивой Майки, когда ее впервые

коснулись намордник и кнут: «...Майка не скакала, а летела по воздуху — во всяком случае, мы, глазающие и орущие вместе с отцом, не видели, чтобы ее тонкие длинные ноги касались земли. Может, оттого не видели, что земля была покрыта молодым и белым снегом, над которым рысачка летела, как над облаком... Лишь на двадцатом кольце она стала уставать, полет ее становился тяжелее, медленнее, ноги с вязким хрустом вонзались в истоптанный, потемневший вдруг снег».

Каждая деталь, звучание, «вид», зарисовка, каждый нюанс в художественном произведении содержательны, проявляют его идейный, нравственный пафос, эстетическую позицию автора. Вот почему ценность произведения искусства для каждого из нас определяется как его идейно-художественным своеобразием, так и нашим умением воспринимать. Нашим умением творчески читать, эстетически грамотно отзываться на прочитанное. Пожеланием пережить радость открытия неповторимости каждого из опубликованных здесь писателей, испытать эстетическое удовольствие соучастия, сотворчества мне и хочется закончить это предисловие, уважаемый читатель.

Т. Д. Полозова

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ

КАРЮХА
Повесть



1

В доме нашем что-то случилось, словно бы оборвалась какая-то невидимая нить, до того связывавшая большую семью.

Теперь стали обедать не в одну, а в три смены. За длинный, выскобленный кухонным ножом стол, за которым прежде помещались семнадцать человек, сейчас сначала садились дед Михаил, бабушка Олимпиада, младший их сын Павел и молодая его жена Феня. Остальная чертова дюжина ждала своей очереди. Поскольку первая партия не торопилась, ждать приходилось очень долго, особенно нам, последней смене. Нельзя сказать, чтобы все мы, ожидающие, проявляли одинаковое терпение. Взрослые, те — да. С видимым спокойствием занимались своим делом. Мать моя, например, уходила во двор, где всегда отыскивалось для нее занятие. Отец перед засиженным мухами зеркалом подстригал свои рыжие усы, другого часа у него будто и не было. Сестра Настенька и старшие мои братья, Санька и Ленька, чтобы не искушать судьбу, удалялись в переднюю и, коротая время, играли в щелчки, увлекались при этом настолько, что к столу выходили с красными лбами, а то и шишками, весьма рельефно проступавшими на этих самых лбах.

Лишь мне, младшему в семье, было непонятно происходящее.

Каждый день я норовил угнездиться справа от бабушки, на привычном и любимом мною месте, однако всякий раз ласковая столько же, сколько и решительная дедова рука снимала меня с лавки на пол. Не думаю, чтобы сидящие за столом чувствовали себя хорошо, когда на них в течение часа, а то и больше смотрели мои расширившиеся в голодном недоумении глаза, невольно сопровождавшие ложку ото рта к блюду и в направлении обратном. Мне и в голову не приходило, что совершаю над взрослыми страшную психологическую пытку. Но это было именно так. Первой не выдерживала тетка Феня — оставляла стол, не дождав-шись второго блюда. За ней тихо снималась бабушка — шаркала потом заслонкой у печи. До конца исполнял трапезу лишь дядя Пашка, да и тот все время нутужно кашлял, вроде бы давился.

Я ж не покидал своего поста. Откуда мне было знать, что кусок хлеба, мяса ли, схваченный моим цепким взглядом, застревал у них в горле? Я хотел есть, и больше ничего. Хорошо, что еще не реву, а стою молча и только изредка хлюпаю носом да издаю судорожные прерывистые вздохи. А мог бы и зареветь — не раз находился на грани этого. Иногда вернувшаяся со двора мать подхватывала меня на руки, давала легкий подзатыльник и уносила в горницу — от греха подальше. Там я включался в игру и на время забывал о голоде.

Вторая очередь принадлежала дяде Петрухе, тетке Дарье и их детям — Ивану, Егору, Любаньке, Маше, Мишке, Фене и еще кому-то (всех имен теперь уж не помню: кажется, у тетки Дарьи был еще грудной: в передней, под потолком на ввинченных кольцах, всегда висели две зыбки, и в них обязательно пищало по ребенку). Вторая смена, самая большая по числу, и обедала дольше всех. Никто ей не мешал. Даже я, потому как рассчитывать там было решительно не на что.

Когда солнце подходило к полудню, место за столом освобождалось для нас. Шумно усаживались, посреди стола ставилось огромное блюдо со щами, оно курилось оглушительно вкусно пахнувшим парком. Все принимались дружно хлебать. Оживление за столом возрастало по мере приближения к ответственнойшему моменту: щи почти выхлебаны, на дне оставалось одно мясо, и вот-вот прозвучит команда: «Берите!» Раньше — для всех — ее подавал дед, теперь, в третьей смене, — мой отец. Ждешь, бывало, этой команды, а рука дрожит, ложка в ней выстукивает об стол барабанную дробь: малейшее промедление может дорого обойтись твоему желудку — лучший кусок мяса проскользнет мимо твоего рта. Потому-то некоторые из нас старались упредить событие. Обычно это делал средний мой брат, Ленька. Он ухитрялся подцепить кусок за долю секунды до общей команды. Само собой разумеется, что предприятие это было связано с известным

риском. Нередко отцовская рука, вооруженная большой деревянной ложкой, награждала нарушителя порядка звончайшим ударом по лбу. Ленка вздрагивал при этом, морщился от боли, но кусок мяса, добытый такой дорогой ценой, все-таки успевал отправить в рот. Когда стол был общим, Ленка проделывал свои опыты почти безнаказанно: среди семнадцати ложек, одновременно устремившихся к блюду, нелегко определить злонамеренную. Теперь все осложнилось. И причиной тому раздел.

О нем начали поговаривать давно. Но не очень серьезно. Поговорят и забудут. А позапрошлой зимой разговоры эти стали сопровождаться делами практическими. Возле сада были срублены ветлы. Прошлой весной в отдаленных концах села выросли два сруба — теперь стояли почти готовые избы для нашей семьи и для дяди Петрухиной. Все, стало быть, решено. Жили по-прежнему под одной крышей, но тремя разными семьями. Готовили еду в одной печке, а еда была разной. В малой дяди Пашкиной семье — погуще, в нашей — пожиже, в дяди Петрухиной — еще жиже. Еда как бы разбавлялась по числу ртов.

А в канун того дня, о котором будет рассказано подробнее, главы трех вновь возникших «социальных образований» под наблюдением деда Михаила бросили жребий. Дед из спичечного коробка вырезал три равные прямоугольные бирки. На одной из них написал слово «Буланка», на другой — «Карюха», на третьей — «Ласточка». Бросил бирки в шапку и позвал сыновей. Те ждали в передней, небритые, с помятыми от бессонной ночи лицами и странно чужие друг другу. У моего отца почему-то дергался левый ус, он пытался прикусить его и не мог. Дядя Петруха отчаянно качал зыбку, хотя ребенок не плакал. Только Павел старался казаться беспечным, подтрунивал над моим отцом, уверяя, что тот обязательно вытащит из дедовой шапки Карюху. Отец мой посылал его к черту, обещал даже угостить оплеухой, и притом вполне серьезно. Когда дед позвал, все в один миг преобразились, стали небывало серьезными. Бледные, подошли к шапке.

— Ну, начинайте.

Никто не хотел рисковать первым. Сделал было шаг вперед мой отец, но как раз в эту минуту во дворе заржала Карюха. Почтя голос ее за недобрый знак, отец отпрянул. Менее всего он хотел, чтобы ему досталась Карюха. С точки зрения ее хозяев, кобылка эта обладала всеми мыслимыми и немыслимыми лошадиными пороками. Посудите сами: во-первых, она стара, во-вторых, ленива, в-третьих, коварна и зла — может подкрасться к тебе сзади и укусить ни за что ни про что; в-четвертых, лягуча — поддаст задними копытами так, что костей не соберешь; в-пятых, неуживчива — выведешь в ночное, не будет пастись с другими лошадьми, обязательно ее унесет черт знает куда (надобно

удивляться, как ей удастся ускользнуть от волчьих зубов — хитрость выручает Карюху, что ли?).

На покрытие всех этих перечисленных и неперечисленных отрицательных ее качеств Карюха могла предложить немногие достоинства, правда, весьма существенные. Неприхотливая к кормам, она держалась всегда в теле; в работе хоть и не спора, но очень вынослива. И что уж совсем хорошо — Карюха жеребилась каждый год и неизменно приносила маток.

Умей кобылка объясняться с людьми на их человеческом языке, она, вероятно, указала бы им на то обстоятельство, что все добрые ее приметы берут свое начало — прямо по диалектике — в ее же недостатках. Не будь она, скажем, ленивой, а рвись из оглобель при малейшем понукании нетерпеливого седока, надорвалась бы прежде времени, не удержалась в теле и не сохранила бы завидной выносливости. Когда во дворе много еще другой скотины, попробуй-ка быть доброй, не кусучей и не лягучей — останешься голодной, а тебя в любой момент могут запрячь в телегу или сани. По этой же причине и неуживчива. Потерявши в теле, не потребуешь жениха и не будешь жеребиться всякое лето...

И все-таки никто из трех братьев при дележе не хотел бы стать обладателем Карюхи. Лучше уж Буланка. Карюха и Буланка — это те самые две беды, из коих наименьшей была все-таки Буланка: она моложе Карюхи на целых пять лет, более того, Карюха была ее матерью.

Все мечтали, конечно, о полуторогодовой Ласточке, которая вот-вот должна была познакомиться со сбруей.

— Ну начинайте же! — Дед уже сердился.

— А, семь бед... — С этими словами отец мой нерешительно погрузил руку в шапку, долго шарил там дрожащими, вспотевшими пальцами, но, как назло, бирки были одинакового размера.

Мы, дети, сидевшие на печи и следившие оттуда за происходящим испуганно любопытствующими глазами, тоже были охвачены дрожью.

Отец почему-то знал, что вытащит Карюху. И все-таки глянул на бирку косо, искрошил в мельчайшие щепочки, бросил в угол, коротко застонал, как от внезапного, коварного и незаслуженного удара, и выбежал на улицу. Мать заплакала негромко, мы сильнее зашмыгали носами, старший наш брат, Санька, тоже заревел: Карюха кусала его чаще, чем других.

Буланка досталась дяде Петрухе, а Ласточка — беспечному и потому, видать, везучему дяде Павлу. Такой исход жребия скорее справедлив: дед и бабушка оставались в семье младшего сына. Однако с этого часу стало особенно ясно, что жить под отцовской крышей трем братьям с их женами и детьми будет уже невозможно.

Вечером того же дня Карюха, Буланка и Ласточка были отведены в разные углы двора. Каждая теперь ела свой корм.

Утром в последний раз выехали все вместе на гумно — обмолотить поздние яровые, до которых прежде не доходили руки. Ток успел покрыться шелковистой, нежной зеленью — проросли зерна ржи, спрятавшиеся по трещинам хорошо утрамбованной цепами земли. Редкие куры, отважившиеся на дальнее путешествие, копошились у подножия просяной копны, которую предстояло обмолотить. Лакомился тут и чей-то теленок, но жестоко поплатился за это. В двадцати шагах от гумна валялась его пестрая шкура с хвостом да красные ребра. Несколько в стороне лежала голова с единственным глазом. Другого глаза не было: выклевала ворона. Она и теперь еще сидит на коротком роге, отдыхает перед тем, как приняться за второй глаз. Отец запустил в нее сломанным цепником. Ворона нехотя снялась и села на вершине одинокой ветлы, выросшей на краю могилки. И тотчас оттуда слышалось ее карканье. Отец подобрал цепник, вручил его моему брату Ленке и велел отогнать ворону, что тот и сделал с удовольствием. Взрослые принялись за копну. Растерзанная в несколько минут, она теперь лежала большим кругом на вновь расчищенном току.

Карюха и Буланка впряжены в каменный каток. Ласточка паслась на лугах, примыкавших к гумнам, щипала там отаву. Изредка она взглядывала на телячьи останки и всхрапывала. Карюха скидывала тяжелую голову, глядела на младшую дочь и тихо ржала, как бы предупреждая, чтоб Ласточка далеко не уходила от гумна. Занятая ли своими беспокойными мыслями или подчиняясь обычной преднамеренной лени, Карюха все время отставала от Буланки, валец у нее постромок на добрую четверть находился позади валька старательной напарницы. Погонщиком был мой отец. В другое время его кнут вволюшку погулял бы по упитанному Карюхиному крупу, а теперь он только помахивал им да посвистывал, на что Карюха не обращала ни малейшего внимания.

Дядя Петруха стоял на кромке круга и отчаянно ругался: — Какого... ты ее жалеешь?! Видишь, моя Буланка уже в мыле! Секи!

Отец размахнулся и потянул кнутом обеих разом.

Дядя Петруха ворвался в центр круга, выхватил у брата вожжи, кнут и принялся сечь Карюху. Та поняла, что дела ее плохи, постромки натянулись, вальки выровнялись.

Отец, злой и колючий, матерясь (на это он был большой мастер), поплелся в ригу. Свернул там козью ножку размеров неправдоподобно великих и затягивался так, что искры сыпались в разные стороны. Я сидел рядом и следил, чтобы ни одна не упала на сухую солому.

Молотили до позднего вечера, но так и не управились. Впрочем, обмолотить-то обмолотили, а провеять, сгрести, а затем поделить на три разных — по числу душ — вороха не успели.

По совету бабушки решено было ночевать на гумне, в риге, чтобы с рассветом, не теряя ни минуты, заняться просом и к полудню покончить со всем остальным: разделить солому, сено, мякину ржаную, овсяную, ячменную и просяную, отвести каждому дому в большой риге свой угол, свои границы, с тем чтобы потом никто уже не нарушал их.

Женщины сходили в село, и каждая принесла по узлу. Три узла. Возле них образовались три кучки людей. Самая большая — дяди Петрухина, поменьше — наша и еще меньше — дяди Пашкина, все так же, как вчера за столом.

Едва расселись, наша группа получила солидное пополнение — не по числу, а по активности благоприобретенного едока. Заглянул «на огонек» (огонька никто не зажигал) дядя Максим, женатый на старшей сестре моей матери, ее свояк, значит, и сейчас же подсев к маминому узлу, предложил свои услуги. Мужик крупный, добрый, он мог не есть неделю, но коли сел за стол, не подыметя из-за него до тех пор, покуда не подметет всего, покуда из печки тетка Орина, его жена, не вытащит ухватом последнего чугуна.

Я успел заметить, что мать моя не шибко возрадовалась, завидя свояка, но деваться было некуда, узел развязан, и дядя Максим занял свое место. С его энергичной помощью содержимое узла исчезло мгновенно. Вздохнув украдкой, мать стряхнула с платка хлебные крошки себе в ладонь и высыпала их в мой широко раскрытый в готовности рот.

Стемнело. Только красными, мерцающими точками светились сигарки в руках моего отца и дяди Максима. Родной брат знаменитого на селе охотника Сергея Андреевича Звонарева, дядя Максим и сам был неплохой охотник. На гумна он завернул из леса, где выбирал поляну для стрелков: на завтра определена облава, дядя Максим и его брат должны были руководить всей операцией. Мой отец также получал номер, и вот теперь они договаривались о деталях.

Я сидел, прижавшись поплотнее к отцу, и слушал, а под рубаху мою вползал холодок счастливого страха перед грядущим днем: я знал, что в числе других ребятишек буду участвовать (первый раз в жизни!) в загоне волков на охотничью засаду.

В других углах риги устраивались на ночлег семьи дяди Петрухи и дяди Павла. Оттуда слышался стихающий разговор женщин, глуховатое покашливание деда. Привязанные к риге лошади хрумкали сеном. Их должны были сторожить по очереди Иван, Егорка и Санька. Первым караулил Иван. Подбадривая

себя, он напевал какую-то песенку. Близость зарезанного волками теленка что-то не прибавляла бодрости духа. Глаза Ванюшкины невольно косились в ту сторону, и временами им как бы виделись зеленые, перебегающие с места на место огоньки.

Между тем волки были уже где-то совсем близко. Скоро до нашего слуха донесся вой — протяжный, стнящий, противно ледящий душу, гнусавый, переходящий от «у-у-у» на длинное, поднимающееся вверх окончание «а-а-а-а».

— У Дальнего переезда, — сказал дядя Максим осипшим голосом.

— А не ближе ли? Не у Круглого ли куста? — сказал отец. В риге все ожидающе примолкли.

У ворот на привязи всхрапнула Карюха.

— А хотите, я их подманю ближе?

Не ожидая согласия, дядя Максим поднялся и вышел из риги. Он присел с глухой ее стороны, обращенной к лугам и лесу, сложил руки в пригоршню, поднес к лицу, большими пальцами прижал переносицу и произвел звук, от которого у находившихся в риге мурашки побежали по коже, а лошади поднялись на дыбки. После того с минуту держалась тишина, до того непрочная, что, продлись она еще хоть секунду, кто-то разорвал бы ее истеричным воплем.

Отозвался, однако, волк. То был, очевидно, вожак стаи, потому как голос его был басовит, хрипл и старчески прерывист. Подождав малость, дядя Максим провыл по-волчьи еще раз. Лошади у риги пританцовывали, красные их ноздри раздувались в храпе, держать их Ванюшке помогал дядя Павел, который для храбрости похохатывал, стращал, покрикивал в сторону затаившихся женщин: «Берегитесь, бабы! Бирюки за вас первых возьмутся! У баб мясо вкуснее!» Дядя Максим вошел в привычный и знакомый, горящий кровь азарт, имя которому «Будь что будет!». Бабыи голоса, дружно раздавшиеся в риге, лишь подхлестнули его. На совсем уж близкий вой теперь он откликнулся сам. Едва угас звук его голоса, на лугах, почти у самой ветлы, замерцали, заметались зеленые точки — стая приблизилась к гумнам. Ее вожак завыл еще раз.

Тот, кто затеял эту рискованную игру, покинул свое место и с криком «волки!» помчался в ригу. Бросив лошадей, за ним кинулись туда же дядя Пашка и Ванюшка. Я ухватился за шею отца. Санька и Ленька с кошачьей быстротой и ловкостью забрались по стропилам под самый конек крыши и затаились, пришипившись там. Тетка Дарья, тетка Феня и моя мать, а также Настенька, Любаша и Маша, сгрудившись в одну испуганную кучку, сидели ни живы ни мертвы. Лишь дед Михаил, поминая не самыми лестными словами непрошеного затейника, действовал спокойно и расчетливо. Перво-наперво он отвязал лошадей и ввел их в ригу,

ворота запер изнутри на засов, которым служил длинный и толстый бороний зуб, приготовил на последний случай несколько вил.

Дядя Максим, до крайности сконфуженный, вскарабкался на переруб, нашел в крыше отверстие и пытался определить намерение волков. Но их уже не было. Зеленые огоньки изредка вспыхивали на большом удалении — волки уходили к Дальнему переезду, в лес.

— Ушли! — возвестил со своего наблюдательного пункта дядя Максим, чувствуя, что не сможет спуститься вниз. У великого шутника на время отнялись ноги и руки, обмякли как-то, будто из них повыдергивали кости.

— Слазь, Андреич, мне с тобой покалякать надоть, — покликал его дед, но дядя Максим не отозвался. Он покинул переруб только тогда, когда страх у людей прошел и сменился обычным в подобных обстоятельствах бурным весельем.

Недавно еще перепуганные насмерть, никого не видевшие и ничего не испытывавшие, кроме этого страха, люди эти теперь хохотали, подтрунивали друг над другом, старались во всех подробностях воспроизвести то, кто и как вел себя в момент приближающейся опасности. Постепенно вырисовывалась не столько драматическая, сколько комическая картина. Дядя Петруха уверял, что подманивший волков Максим Андреевич, вскарабкавшись на переруб, напустил в штаны и оросил малость оказавшегося как раз под ним моего отца; тетка Феня, якобы собравши над головой все свои юбки, ткнулась в мякину, предоставив волкам лишь заднюю, открытую часть своего тела; бабушка Пиада громко взывала к святому Егорию, чтобы тот употребил положенную ему власть над волками и отвратил беду от многочисленных ее чад; дядя Пашка с невероятным проворством продырявил в соломе нору и вылез оттуда, когда все уже давно успокоились. Он и вправду оглушительно чихал от набившейся в ноздри пыли.

Когда все отсмеялись и разрядились от нервного шока, дед весьма памятно пообещал:

— Ну вот что, Максим Андреевич, коли еще так пошутишь, отмолочу, и крепенько. Понял? Ну и хорошо. Ну и добро. — Помолчав, попыхтел, успокаиваясь, скомандовал напоследок: — А теперь спать. На зорьке за работу.

Лошадей приказано опять вывести из риги. Увели Буланку. Карюха заартачилась, ни за что не хотела выходить на улицу. Дядя Петруха сек ее чересседельником, жесткой метлой, но Карюха заупрямилась — и ни с места. Зло прижала уши, таращила огненный в темноте глаз на своего обидчика. Кто-то догадался, что надо сначала спровадить Ласточку, тогда Карюха сама выйдет. Она и вышла, но не вдруг: сперва пыталась загородить дорогу Ласточке, даже кусала ее, отгоняя от раскрытых ворот поглубже

в ригу. И лишь когда ей не удалось это, обиженная, с тяжким, утробным вздохом вышла вслед за дочерью.

В риге спали. Подремывали за ее воротами и лошади. Все, кроме Карюхи. Только одна она и слышала, как время от времени где-то далеко в лесу, должно быть, у Кабельного болота, дважды провыла волчица, скликая рыскавшую по окрестным селениям стаю. Карюха прижималась большим своим теплым телом к дочери. Она вроде бы знала, что, случись беда, только она одна и сможет защитить Ласточку.

Никто не слышал в ночи беспокойных вздохов старой Карюхи.

2

Охотники собирались пополудни на Малых лугах сразу за селом. Туда по всем улицам и проулкам хлынула ребятня, вооружившаяся кнутами, трещотками, пионерскими барабанами, старыми ведрами, сторожевыми колотушками и прочими штуками, способными при ударе о них издавать громкий и по возможности раздражающий звук. В моих руках была трещотка; вчера еще она имитировала пулемет. Мальчишеское ополчение инструктировал Сергей Андреевич Звонарев, старший брат дяди Максима. От возбуждения, а может, и от принятой внутрь чарки лицо его было красным, ни в какие века не чесанные волосы отдельными прядями прилипли ко лбу, даже седая борода его была мокрой, светлыми струями стекала на обнаженную, тоже волосатую грудь, глаза из-под бровей вспыхивали огнем, и невольно думалось, что не очень хорошо должен был бы чувствовать себя волк, встретившись один на один с этим человеком...

Всем нам, ребятишкам, было указано место, откуда начинать гон и в каком направлении вести его. Охотников еще прежде распределили по номерам. Первый номер должен был стоять у Дальнего переезда, на опушке леса, а остальные — всего их двадцать — вправо от него, у кромки лугов, ломаной линией, вплоть до Салтыковской горы.

Отцу достался пятый номер — на месте наиболее вероятного появления волков. Отец считался неплохим стрелком. Любую птицу он бил только влет, а зверя — на бегу. Стрелять сидячую дичь считалось недопустимым: то было вопиющим нарушением охотничьей этики.

Нас построили за лесом, вытянули в длинную цепочку вдоль речки Баланды. По сигналу — а им был звонкий хлопок пастушьего бича — двинулись вперед, в густые заросли леса. Теперь мы хорошо знали, что нам надобно было делать. Перво-наперво заорали истошными, не своими голосами, единственно способными подавить в мальчишеских наших душах естественный страх, потом

затрещали, застучали, загрохали во что попало. Тихий, в самом деле задумчивый какой-то лес встрепнулся, зашумел беспокойно; воронье и сороки взметнулись высоко над вершинами деревьев и усугубили общую суматоху; присоединившиеся к нам наши дворянки подняли неистовый, с подвизгиванием лай и дорисовали картину внезапно пришедшего лесного ада. От этой орущей, улюлюкающей, свистящей, лающей и грохочущей дьявольскими своими инструментами орды все живое должно было в ужасе бежать куда глаза глядят.

Разгоряченный и оглушенный собственным криком, как солдат, идущий в атаку, я мчался, не глядя под ноги, и, конечно же, то и дело падал, вскакивал и снова бежал и не замечал, что по лицу моему давно катились не только струи пота, но и крови; гибкие ветви деревьев хлестали так и сяк по щекам и губам, но я не чувствовал боли. Не слышал и того, что где-то далеко впереди, у лугов, начали раздаваться редкие поначалу, а потом все учащающиеся, разрозненные ружейные выстрелы. А по лесу неслось: «У-у-у-а-а-а-о-о-о, улю-лю-лю-у, ту-ту-ту, а-й-й-й-й!» В какой-то миг яглянул вправо, влево, вперед, назад, но никого поблизости не увидал: сверстники мои были проглочены лесом, и тут-то я впервые понастоящему струхнул, закричал что было моченьки, и крик этот едва ли был воинственным.

Потом раздался близкий выстрел, сквозь редеющие деревья увиделся даже дымок. Потерявший было всякое соображение от охватившего меня ужаса, я тем не менее догадался упасть, иначе повстречался бы с зарядом, предназначенным вовсе не для меня. Пока лежал, прогремело еще несколько выстрелов, затем еще и еще. Потом все стихло. Я вскочил на ноги и вышел на опушку леса, метрах в двухстах левее Дальнего переезда. Тут сгрудились мальчишки, расталкивали друг друга, протискиваясь вперед. Охотники сидели в стороне, закуривали, жестикулируя, обменивались впечатлениями от только что пережитого.

Я понял, что мне надо непременно пробуравить ребячью кучку, ибо самое интересное находилось, несомненно, там. Малый для моих даже небольших лет рост оказался в такой ситуации самым подходящим — я нырнул меж чьих-то раскоряченных ног и чуть было не ткнулся носом в ощеренную в смертный миг волчью морду, с которой все еще капля за каплей стекала кровь. Рядом с этим я увидел еще убитых зверей и был несколько разочарован. Волки небольшие и совсем не страшные; было даже как-то странно и непонятно, что ими страшают нас, ребятишек, и что именно эти существа приносят столько бед крестьянским дворам. Морды были ласковые, как у домашних собак, и я не преминул погладить их — отпрянул лишь тогда, когда какой-то детинушка рыкнул по-волчьи над моей головой. Потом я отошел к охотникам — послушать их.

— Одни перетоки да ярчонки,— огорченно ворчал дядя Максим.— А где ж матерые? Неужто мы их пропустили?

Тут только я заметил, что среди охотников нет моего отца.

— Дядь Сережа, дядь Максим, а где мой папанька?

— А в самым-то деле?.. А?.. Где Миколай-то? Не ровен час...

Охотники встревоженно переглянулись, поднялись на ноги.

С отцом моим ничего не случилось, если не считать того, что он не убил волка и по этой-то причине не торопился на сборный пункт. Чтобы не быть осмеянными товарищами, он решил малость переждать, а потом уж вернуться домой никем не замеченным.

На душе, однако, было муторно. Руки и сейчас еще знобко вздрагивали, да и во всем теле была эта противная дрожь.

На отца выходил не один волк, а целая стая во главе с матерым — не та ли, что накануне посещала наше гумно, приманенная дядей Максимом? Сперва охотник увидал полугодовалого волчонка, потом еще сразу четверых и растерялся, не зная, в какого из них стрелять. И когда бы ему поднять уже ружье и выстрелить, он увидел того, вожака. Всего в десяти шагах. Лобастый, короткоухий, поджарый, с желтовато-белой подпалиной меж задних ног, грудастый, повернувшись всем своим литым, упругим телом в сторону охотника, волк вроде бы задумался на миг; холодноватые глаза его недобро пощупали человека, оскаленная морда твякнула, давая команду стае. И опять охотник упустил решительный миг. Стая рассеялась. Матерый сделал гигантский скачок, серой тенью мигнул в лесных зарослях и тут же сгинул. Отец выстрелил в сторону удаляющегося треска, но знал, что пальнул впустую. И сейчас же в сердце его настойчиво и остро толкнулась непонятная пока что тревога, не та, что приходит с неудачей на охоте,— та не оставляет саднящей раны,— а та, что посещает нас задолго до рокового часу: вестница беды всегда постарается прийти к нам пораньше.

Отец пытался закурить, но пальцы не слушались, они сделались чужими. Невеселые думы, сменяя одна другую, надолго завладели его головой. Вспомнился почему-то недавний дележ, вспомнилась доставшаяся ему по жребию Карюха, особенно больно и живо представился момент, когда старший брат вырвал у него вожжи, кнут и стал хлестать Карюху, а свою Буланку не трогал,— отец и теперь еще не мог понять, как удержался тогда и не дал брату в ухо; должно быть, близость деда, которого боялись все, остановила его.

Через неделю семья его переедет в свой дом. Как-то сложится жизнь? Долго ли протянет Карюха? Ожеребится ли она хотя бы еще один раз, чтобы оставить за себя наследницу, пускай такую же ле ивую, только бы выносливую, только бы работающую? Ни-

кто не видал, чтобы Карюха принимала жениха. Похоже, что холостая.

Отец поднялся на слабые — вот такие они были у него после тифа — ноги, перекинул ружье за плечо и поплелся в сторону села. От Дальнего переезда ему видно было, как остальные охотники, окруженные толпой мальчишек, уже приближались к самому селу.

Из села им навстречу катился все нарастающий трусливый собачий лай.

3

Итак, мы живем на новом подворье: отец, мать, Настенька, Санька, Ленька, я и Карюха. Перечисление членов семьи я мог бы начать с Карюхи, и это было бы только справедливо. Отныне все благополучие, равно как и неблагополучие наше, так или иначе связано с Карюхой, на которую возложено множество разнообразных и важных обязанностей. Поскольку сейчас была зима, от Карюхи зависело, будет ли в избе тепло. На Карюхе привозили дрова из лесу, запрягали ее для такой цели только ночью, когда меньше вероятности на нежелательную встречу с лесником. А прежде того на ней ездили на гумно за кормами — для нее самой и другого скота, который был, в сущности, тоже на Карюхином иждивении. Да и днем ей редко удавалось выйти из оглобель: то у кого-нибудь затевалась помочь и отец шел туда вместе с лошадью, то надо было ехать в соседнее село Чаадаевку купить в лавке керосину и немного кренделей к рождеству (мальчишки придут славить Христа, и им что-то же нужно сунуть в руку), раз в неделю отец отправлялся в райцентр Баланду, а туда не ближний свет — целых шестнадцать верст по очень плохой, с бесконечными раскатами дороге, сани шарахаются то вправо, то влево, оглобли при этом больно бьют по ногам, так что потом Карюха дня два хворала. Отец не замечал ее хвори, вновь запрягал и ехал к Панциревке на мельницу. Смоллов рожь, пшеницу ли, не возвращался домой, а заходил к своему приятелю-мельнику пропустить по одной. Получалось у них не по одной, и батя наш забывал про все на свете, в том числе и про Карюху. По прежним опытам лошадь знала, что будет именно так, и запасалась терпением. Зайдя с подветренной стороны к мельниковой избе, она опускала тяжелую свою морду на завалинку и, расслабив уставшие члены, подремывала так и час, и другой, и третий, и шестой — до тех пор, пока подгулявший не выйдет на слабых ногах из дому и не рухнет на мешки таким же тяжелым неуклюжим мешком.

— Н... ну, Карюха, пшла! — скомандует он, когда еще сохранит для того силы.

Команда эта была необязательной для Карюхи, она и без нее знала, что ей делать. Не спеша и осторожно, верная своей привычке не торопиться ни при каких обстоятельствах, пятилась, толкая сани чуток назад, чтобы не вынести окно оглоблей, разворачивалась и выходила на дорогу. Отец немедленно засыпал. Карюха, приблизясь, сама открывала наши ворота, вывозила сани с мешками на середину двора и начинала звать нас, то есть негромко ржать. Мать и старшие братья выскакивали во двор, сначала вносили отца в избу, а потом уже мешки с мукой. Карюха была довольна: пока хозяин не протрезвится, ее никто не запряжет до самого утра, и она может, наконец, отдохнуть и пожевать сенца, а может, даже и овсеца похрумкает, что было бы совсем хорошо.

Во время половодья почти все поездки прекращались. Карюху начинали усиленно кормить. Она знала почему. Подходила посевная. Тогда Карюху запрягали и в плуг, и в соху, и в борону. И так от зари до зари, с рассвета до темной ночи. Карюха была не жереба. Об этом теперь знали все, и кнут чаще опускался на ее спину. Карюха могла бы пожалеть, что вовремя не нашла себе дружка. Карюха никогда и ни с кем не согласовывала выбор жениха, а находила его где могла — на лугах, в степи, в ночном, — о чистокровии ее потомства говорить не приходилось. Тут уж что бог послал. Бог же не был щедрым. Он посылал жеребят такой же безвестной породы, как и их случайные отцы, выпущенные хозяевами на волю и предоставленные в полное распоряжение разгуливавших без всякого присмотра маток. Давно замечено: ни одного жеребенка Карюха не родила похожим на себя. О каждом ее отпрыске, без притворного желания польстить жеребцу, всякий мог бы сказать: «Вылитый батя!» Со временем из такого наблюдения отец мой сделает решительный и далеко идущий вывод, но речь о том впереди. Как видим, помимо того, что Карюха привозила, отвозила, пахала, сеяла и убирала, она обязана была еще «приносить» всякий год по жеребенку. В первый год нашего новоселья она не сделала этого и знакомилась с кнутом больше прежнего.

На новом подворье со всеми членами нашей семьи у Карюхи постепенно установились свои и притом разные отношения. Отца, главного хозяина, Карюха явно недолюбливала. И за то, что он давал волю кнуту гораздо чаще, чем мог бы это делать, согласуя свои действия с разумом; и за ночные кутежи, те самые пирушки, от которых на Карюхину долю оставалось тяжкое похмелье, ибо не кто иной — она должна была либо простаивать всю ночь на пролет у чужой избы, либо развозить упившихся приятелей хозяина по домам, либо под злые окрики хозяина и посвист кнута над спиною изображать из себя рысачку, коей она не была и не могла быть; и особенно, конечно, за скверную его привычку лезть пьяными губами к морде и бормотать разные глупости — Карюхе

всегда хотелось откусить эти мокрые вытянутые губы, но она удерживала себя, опасаясь последствий. Недолюбливала она отца еще и за то, что обязана была бояться его: трудно любить того, кто внушает к себе страх.

С точки зрения Карюхи, лучшим ее другом должна была быть наша мать. Кроткая и добрая по характеру своему, она была чрезвычайно заботлива не только в отношении нас, ее детей, но и в отношении животных, поселившихся на нашем дворе. Карюху мать звала не иначе, как кормилицей, потому что Карюха действительно была кормилицей семьи. Корм задавала Карюхе мать, в течение долгой зимней ночи выходила к лошади по несколько раз, украдкой от отца в отруби подмешивала горсть-другую ржаной муки. С появлением матери Карюха не прижимала ушей, как делала всегда, когда кто-нибудь к ней приближался, а тихо и ласково ржала, потом, в знак благодарности, что ли, терлась о плечо хозяйки своею бархатисто-мягкой верхней губой. И все-таки нельзя сказать, чтобы мать наша пользовалась у Карюхи достаточным авторитетом. Если случалось, что единственным седоком на возу была она, Карюха предавалась своей лени с особенно нахальной откровенностью.

— Ну, родимая, ну, ну! — понукала мать, причмокивая, и даже норовила взмахнуть кнутом, а то и опускала кнут на лошадиный круп, а Карюха и ухом не вела — в прямом и любом ином смысле не вела. Делала она это не по злему умыслу, а просто разумно пользовалась редкой возможностью отдохнуть и сохранить силы для времен худших. Последних у нее было куда больше.

В отношении моего старшего брата, Саньки, Карюха придерживалась в основном того же образа действий, что и в отношении отца. Характером и повадками Санька был весь в батю: так же горяч и нетерпелив, а драчун, пожалуй, даже больший, чем отец. Не мудрено, что Карюха питала к нему не самые добрые свои чувства. Она и не скрывала этого. Раза два здорово укусила Саньку, а один раз чуть было не лягнула, когда паслась на лугах и брат пытался ее обратить. Попало ей тогда здорово. Отец и сын часа два гоняли по двору, секли хворостиной и кнутом, от страху Карюха кинулась на плетень и чуть было не села брюхом на кол. Отчаянный вопль матери, выскочившей на шум, остудил истязателей.

Матерясь про себя и вроде бы стыдясь за вспышку безумного этого гнева, они пошли вслед за нею в дом и уже за столом долго судили-рядили, как осенью продадут Карюху, будь она неладна. Мать, Ленька и я помалкивали, орудуя ложками. Мы знали, что грозное намерение отца и Саньки скоро рассеется и Карюха останется на дворе и будет по-прежнему делать все главные дела, то есть возить, отвозить, пахать, сеять, убирать и с будущего лета давать нам по жеребенку.

Лучшие отношения у Карюхи установились с Ленькой. Пятнадцатилетний этот хлопец был добр и простодушен до чрезвычайности. Карюха не помнила, чтобы он не то чтобы ударил, но даже замахнулся только на нее кнутом. Потом на Ленькину долю выпала обязанность, равно приятная как Леньке, так и Карюхе, — он выводил ее в ночное.

Карюха, не спутанная, как все другие лошади, сразу уходила, по обыкновению своему, далеко в сторону, лакомилась там одна свежей травой, а Ленька беспечно предавался игрищам. Снимал с себя носок, туго набивал его пыреем, скликал товарищей и заводил веселую возню. Называлась она игрою в «хоря», или «лови хоря» — так будет точнее. Ребята садились в круг, вытянутые их ноги утыкались в подошвы товарища, сверху бросали дерюгу, под нее запускали «хоря» — набитый пыреем носок. «Хорь» метался под дерюгою от одного к другому парню, только один из них не сидел, а бегал рядом и старался у кого-нибудь перехватить «хоря». Стоило ему промахнуться, как «хорь» мгновенно выныривал из-под покрывала и сильно ударял под ликующий рев играющих по спине водившего. Тот со стоном бросался в новую погоню, продолжавшуюся обычно долго, так как «хорь» был почти неуловим. Когда же все-таки его перехватывали, на место страдальца становился тот, в чьих руках был задержан носок.

Игра продолжалась нередко до рассвета. Когда большинство ребят засыпало, бодрствующие проделывали с ними фокусы вовсе уж малоприятные. Либо привязывали сонного к конскому хвосту, либо мазали физиономию дегтем. Помнится, Ленька возвращался с ночного почти всегда чумазым. При этом круглое лицо его озарялось довольной улыбкой, белые зубы светились на черном фоне особенно ярко. Не будь жестоких этих забав, ночное потеряло бы для моего брата и его товарищей половину своих прелестей.

Карюха, как уже сказано, тоже была не внакладе. Потому-то они и были с Ленькой добрые друзья.

Меня, младшего, Карюха, кажется, попросту не замечала, даже тогда, когда я, вцепившись в гриву, умахивался на ее хребтине и, понукая, колотил по широким бокам босыми ногами. Немного позже, правда, и для меня нашлось занятие: летнею порой я стал водить Карюху в Кочки, на сельский наш пруд, купать. Карюха заходила в воду настолько, что над поверхностью пруда оставались ее голова и чуть заметная, тоненькая полоска хребтины. Я, голый, ерзал по этой хребтине, тер Карюху и слева и справа своими ладонями, чесал пальцами ее бугроватую от укусов оводов кожу, а Карюха стояла неподвижно, блаженно постанывала, кричала от великого удовольствия. Накупавшись вволю, она выносила меня на берег и с несвойственной для нее рысью мчала, голого, домой — только брызги сыпались, окропляя седую пыль. Уже во дворе Карюха встряхивала кожей, да так сильно, что я летел на-

земь кубарем и потом уж сам бежал к пруду, чтобы докупаться. Временами отец посылал меня на луга за Карюхой, но я возвращался один: Карюха не подпускала меня к себе. Прижавши уши и оскалившись по-собачьи, она как бы говорила, завидя меня: «А ну-ка, подойди, я погляжу, что из этого выйдет...» Ничего хорошего для меня выйти из всего этого не могло, и я покорно удалялся прочь.

Как-то Ленька взял меня в ночное с субботы на воскресенье. К вящей моей радости, он предложил мне это сам, а не то чтобы я канючил у него весь предыдущий день, как было всегда, когда Ленькина компания собиралась в какой-либо поход. Выехали за-светло, за селом, у последней риги, поймали пеструю курицу, неосторожно забредшую так далеко. Ленька с проворностью и ловкостью лисовина обезглавил ее, сунул в мешок и опять взобрался на Карюху, на которой мы ехали вдвоем: я впереди, а он сзади, придерживая меня одновременно поводьями узды и своими локтями. Мое дело было покрепче держаться за Карюхину гриву.

Лошадей спутали и оставили пастись. Карюха сейчас же отделилась и паслась в одиночестве. Ленька и его друзья принялись варить куриный суп. Зачерпнули в Правиковом пруду котелок воды, приладили его на треноге, наломали сухого прошлогоднего подсолнуха, и вода скоро закипела. В последнюю минуту откуда-то появился Мишка Земсков, парень лет двадцати пяти, хитрый и озорной. Он хищно повел носом, потянул воздух и довольно ухмыльнулся.

— Курочку придавили. Так-так...

— Садись с нами,— предложил Ленька.

— Что ж, это можно,— милостиво согласился Мишка.— А чем хлебать будем? Ложек-то у вас, поди, нету?

Ложек не было.

— Ну, это дело поправимо, что-нибудь придумаем.

Мишка выбрал подсолнух посуше и покрепче, выдавил из него тонким прутиком белую, похожую на вату сердцевину. Получилась длинная трубка. Мишка раз и два продул ее, потом, прижавши к единственному глазу (один глаз он утратил при неизвестных нам обстоятельствах), долго смотрел, как в подозрную трубу, удовлетворенно вздохнул и погрузил трубку в бульон. Пососал. Мы все выжидающе примолкли. Затем Ленька осведомился:

— Тянется?

— Нисколько,— ответил Мишка, на минуту оторвавшись.— Попробую еще раз.

Он пробовал, а мы стояли рядом и только облизывались. Между тем бульон в котелке медленно и верно приближался ко дну, а разваренная курица подымалась вроде бы вверх: сначала на

поверхности показались култышки ее ног, затем острая хрящевина кобылки и, наконец, все остальное.

— Обманщик! Все выдул! — закричал что есть силы Ленька, но тревожный клич его прозвучал слишком поздно: бульон исчез.

В довершение всего Мишка опустил в котелок обе руки, поднял их, резко развел, и в каждой оказалось по куриной ноге. Туловище с двумя жалкими крылышками шлепнулось в пустой котелок.

— Вы еще будете благодарить меня, что не скажу Катьке Дубовке. Ее курица.

С этими словами Мишка и покинул нас. Куриные ноги он слопал по дороге домой.

Неудачи преследовали нас. Ночью и меня и Леньку вымазали дегтем, но к этому мы были готовы: всех мазали. Самое памятное произошло на следующий день, когда отправились на поиски стрижиных яиц к оврагу, начинавшемуся у Правикова пруда. Стрижиных нор в отвесных стенах глубокого оврага было множество, но все они такие узкие, что ни Ленкина рука, ни руки его сверстников не пролазили. Ребята решили использовать меня, самого малого, стало быть, самого тонкорукого. Операция была проста. Двое ребят брали за левую руку, опускали сколько могли вниз от кромки оврага, правой рукой я нащупывал нору, просовывал руку в нее и, коли находил, забирал яйца в правый и единственный у штанов деревенской ребятни карман.

Дело ладилось. Метр за метром мы исследовали желтую, словно побитую оспой кручу, картузы и кепки наши постепенно наполнялись стрижиными яйцами. Кажется, в сотый уже раз висел я над бездной, удерживаемый крепкими руками Ленки и какого-нибудь из его товарищей. Прежде, чтобы не было так страшно, я не глядел вниз, на дно оврага, а теперь вот отчего-то захотелось. А как глянул, так и обмер весь: у подножия стены, в небольшой круговине, лежала, вытянувшись по-собачьи, большая волчица. У ее белесого брюха копошились волчата — сколько было их, я не мог определить: не до того было. Важно, что логово находилось точно подо мною. Как-то я еще сообразил, что сообщать ребятам об увиденном вот теперь, когда я вишу, не следует: от страху руки их могут дрогнуть, выпустить мою. Перво-наперво негромко попросил:

— Вытаскивайте меня. В этой норе пусто.

И, очутившись наверху, указал на волчицу...

Ленкины дружки, а вместе с ними и Ленька, дали такого деру, что я, как ни старался, не мог поспеть за ними. На беду, у меня сшило колотья, я остановился и отчаянно заревел. Ленька, превозмогая страх, которым был подхлестываем, вернулся, подхватил меня и прямо с ходу бросил на спину спутанной на этот раз Карюхи. Вскочил и сам, нахлестывая кобылу. Карюха почуяла, что случилось что-то очень страшное, и наддала. Но, спутанная, она

отстала от всех лошадей. Ленке бы надо соскочить и распутать Карюху, но он боялся: ему и мне казалось, что волчица гонится за нами. Кое-как доскакали до могилок. Там нас ждали товарищи.

Дома рассказали о случившемся. Отец, дядя Максим, дядя Сергей и, кажется, дядя Петруха немедленно отправились к логову, но ни волчат, ни их матери там уже не было. Валялись обглоданные бараньи кости да клочки волчьей шерсти.

Волчица из неожиданного нашего появления в заповедных ее местах сделала правильный вывод. Мы тоже. Во всяком случае, с той поры уже не охотились за стрижами в Правиковом овраге или где-нибудь поблизости от него. И в ночное выезжали не туда.

Отец воспользовался этим происшествием, чтобы лишний раз припугнуть нашу сестру, неожиданно и для нас и для отца с матерью ставшую девкой и теперь все позднее и позднее возвращавшуюся домой с гулянок.

— Опять вчера в час ночи пришла. Ну смотри, догуляешься! Почему ворота не закрыла? Выпустишь Рыжонку или Карюху, зарежут волки, — я те тогда покажу, мерзавка!

Настенька хорошо знала, почему не закрыла ворота. Они у нас были со странностями: когда их открываешь — молчат, а закрываешь — начинают скрипеть так, что в доме все просыпались. Настеньке же меньше всего хотелось, чтобы о времени ее возвращения с улицы знал отец. Ведь тот, из-за которого она всегда задерживалась долго, знать не хотел ни про строгость Настенькиного батеньки, ни про скрипучие наши ворота, ни про Рыжонку и ни про Карюху, которые могли уйти со двора на гумны и стать легкой добычей серых хищников. Он любил Настеньку и справедливо полагал, что превыше этих его святых прав на свете не существует никаких других. И хотел, чтобы Настенька находилась рядом с ним всю-то ноченьку, до последних кочетов, до утренней зорьки, и Настенька подчинялась ему, ибо и ей хотелось того же самого. Эгоизм влюбленных безграничен. Пора бы уж людям знать про то.

Что же касается Карюхи, то Настенькина любовь была ей, Карюхе, впрок. Карюхе нравилось пошляться на воле — глядишь, что-нибудь перепадет, в придачу избежишь раз-другой оглобель, пускай потом винят кого угодно другого, только не ее, Карюху.

Жизнь семьи шла своим чередом.

4

Свою сестру я звал няней. Она была старше меня лет на десять и когда-то нянчила. Мне не нравилось, когда Настенька рассказывала про то своим подругам. Повествуя, она особенно подчеркивала, что я был ужасный плакса, никому не давал покою,

а ей, Настеньке, «все руки отмотал». Я пытался представить себе, как это можно отмотать руки, и не мог. С некоторых пор я все реже называл ее няней — почему-то стыдно было, а потом и вовсе бросил, а звал так, как все в доме, как старшие братья: Настенька. И лишь когда у нее завелся «миленок» и мне стало страшно обидно, я опять стал звать ее няней и нарочно при ее возлюбленном; она же терпеть не могла этого: слово «няня» как бы старило ее, семнадцатилетнюю, а Настеньке хотелось быть молоденькою. Должно быть, по-своему как-то, но я ревновал сестру и всячески старался ежели и не предотвратить вовсе, то хотя бы оттянуть стремительно надвигающееся, по всей видимости, уже неотвратимое событие. Я начал откровенно шпионить за сестрою. В самый неподходящий для нее момент выныривал из тьмы, подбегал к бревну, на котором она всегда сидела с ним, звал нарочито громким, далеко слышным в настороженной, отзывчивой на малейший шорох ночи голосом.

— Нянь, домой! Нянь, папанька зовет! Нянь!

Парочка некоторое время оставалась на месте и, казалось, вовсе не реагировала на мой крик. Я принимался орать во второй и в третий раз — до тех пор, пока не вспугивал жениха и его невесту. Они уходили, а я отпускал их ровно на столько, чтобы они меня не могли видеть. Найдя более укромное, как им казалось, местечко, влюбленные усаживались, ворковали, а через каких-нибудь минут пять я вновь тут как тут:

— Нянь, домой! Папанька зовет!

Не будь я Настенькиным братом, да еще младшим, жених с великим удовольствием надрал бы мне уши, но он терпел. Настенька — не всегда. Однажды она соскочила с бревна, догнала и наградила меня вполне заслуженной затрещиной. Но оставаться дольше на улице не могла. Наскоро, сердито, скомканно как-то попрощавшись, ушла домой. Ночью я слышал, как она плакала. Утром, глянув на ее постель, я заметил не успевшую просохнуть подушку. И... возненавидел себя. Подбежал к сестре, рассеянно смотревшей в окно, кинулся на шею и, обнимая, и целуя, и сам уже плача, начал уговаривать, чтобы она простила меня, клялся, что больше не буду и что вообще очень люблю ее. Она прижала меня к себе так сильно, что я чуть было не задохнулся, и опять расплакалась, но слезы ее были легки, не давили на грудь тяжелым камнем, и, смаргивая их длинными темными ресницами, чуть-чуть золотистыми, она уже улыбалась и медленно расцветала в этой улыбке, как покрытый росой цветок на утренней зорьке. И обоим нам стало так-то уж хорошо, что и рассказать невозможно.

С того утра мы стали настоящими друзьями.

Свою безграничную преданность сестре я выражал, как только мог. Перво-наперво раздобыл солидолу и смазал проклятые ворота, чтоб они не скрипели. Мало того, в глухую полночь, когда все

в доме спали, я потихоньку выскальзывал на улицу и поджидал сестру у нашего дома, и, если это было летом, встретив, помогал ей пролезть в горницу через окно: отец и мать спали в другой комнате, через которую надо было бы неизбежно проходить, когда пользуешься дверью. Бывало, что и зимою, открыв дверь, я пропускал сестру вперед и на окрик отца «кто это?» отвечал, что это я возвращаюсь, мол, со двора, справивши невеликую нужду. Все удавалось и все устраивалось наилучшим образом. Труднее было с насмешками Саньки и Леньки. Санька — еще куда ни шло: смеялся редко и необидно. От Леньки не было спасу. Кобеньясь и ерничая, он представлял Настенькиного жениха настолько похоже, что все в доме хохотали: даже наша мать, кроткая и на веки вечные запуганная и забитая во всех смыслах грозным своим супругом женщина, — даже она украдкой улыбалась, морща губы и щурясь. Смеялся и я, зная при этом, что совершаю предательство в отношении сестры, но смеялся: из Леньки вышел бы великолепный артист!

Только Настеньке было не до смеху. Поначалу она, схвативши у печки ухват либо сковородник, бегала за Ленькой по избе, пытаясь вытянуть его вдоль спины; но разве его поймаешь? Ленька увертлив, как угорь, и быстроног. Умаявшись, она падала вниз головой на свою кровать, и плечи ее начинали судорожно вздрагивать. Тогда все умолкали. Слышался лишь голос матери, урезонивавшей сына:

— Нечистый бы тебя побрал совсем! Ну, что пристал к девчонке, кобель ты этакий? Вот я тебя сейчас!.. — И она подымала брошенное дочерью орудие — ухват или сковородник.

Ленька, подхватив с судной лавки кусок хлеба, нырял мимо нее к двери, потом на улицу — только его и видели.

Нередко отец сам возвращался с попойки за полночь. Тогда он обязательно пройдет в горницу, зажжет спичку, прощупает презлыми хмельными глазами пустую постель дочери и, взяв это как подходящий предлог, начинает придирается к нашей матери:

— В тебя пошла. Такая же шленда. Ну, где она запропастилась?

— Откель мне знать? — отзывалась мать, поспешно слезая с печки.

Буря надвигалась, и мать торопилась, чтобы успеть встать под защиту лежащих под одной ее шубой, прямо на полу горницы, сыновей. Мы тоже не спали, чутко прислушиваясь, далеко ль пойдет батька в неспровоцированном своем гневе. Теперь мы подросли, и отец знал, что вряд ли ему удастся пустить в дело кулаки, как в прежние времена, когда все мы, его дети, были малышами.

— «В тебя пошла»! — негромко повторяла мать, хорошо по-

нимая смысл, вкладываемый мужем в эти слова.— А не в тебя ли? Пятый десяток, а вон как хабалишь! Шляешься до полуночи, как молоденький. Детей хоть бы постыдился!

— Ма-а-алчать! — орал отец.

Для нас это его протяжное «ма-а-алчать!» было сигналом бедствия. В один миг мы оказывались рядом с разбуянившимся. Сделав руки кренделем, я повисал на отцовской шее, Санька хватал его за правую руку, Ленька — за левую: так уж были распределены наши силы. Стряхнув нас, отец, однако, шумел все тише и тише, мы увлекали его за собой в горницу, со смехом валили на пол, на свою немудреную постель — солома, покрытая рваной дерюгой,— по бокам ложились сами, и гроза таким образом была отворачиваема от бедной нашей матери.

Бывало, что буря налетала днем, когда нас, ребятишек, дома не было; застигнутые врасплох, мать и дочь забивались подальше на печь, и тут отец правил над ними свой суд без всяких помех. В ход пускались сложенные вдвое веревочные вожжи. Мать, готовая на все, чтобы только защитить дитя, заслоняла Настеньку своим телом, вытягивала в сторону вожжей, свистящих над ними, свои и без того синие, все в буграх, руки, и удары, частые и злые, обрушивались на них. От диких криков истязуемых пьяный буян приходил в неистовство, и надо было только удивляться, как это еще он не засекал их до смерти. Мать была совершенно уверена, что отец наш для того только и придирался к Настеньке, чтобы получить подходящий предлог для сведения счетов с женою. А они у него были, эти счета. Мать выдали за него силком, она пыталась повеситься, потому как любила другого. Вот этого-то и не мог простить ей отец всю жизнь, и это в конце концов было причиной многих невыразимых страданий всей семьи. Если удары судьбы двух не любящих друг друга существ в общей большой семье как-то еще смягчались присутствием деда, бабушки и других людей, то теперь, когда отец стал полным хозяином в доме, его владыкой, отвести эти удары от матери и сестры могли только мы: Санька, Ленька и я. А мы не всегда находились дома.

Дебоширил отец пьяным. Утром, отрезвев, он стыдился и, не позавтракав, пряча от всех глаза, поспешно убегал во двор. С неделю не пил вовсе. В семье наступал праздник. Целыми днями слышался смех. К Настеньке на всю ночь приходили подруги — на посиделки. Некоторые из них — со своими прялками. Пряли шерсть, посконь, вязали платки, чулки, варежки. Пели песни. Отец, помолодевший, был тоже в передней, вместе с пришедшими парнями рассказывал разные смешные истории, помогал кривому Мишке Земскову рисовать карикатуры на девок и ребят.

Была довольна и Карюха. По ночам эту неделю ее не запрягали. От хозяина не воняло противно, когда он прижимался губами к ее губам.

Когда Карюха была во дворе, корм ей подавала мать. Она вообще ухаживала за всей скотиной, хотя могла бы поручить это Саньке и Леньке. Они могли ездить и на гумно, но тут уж не доверял отец. На гумно в зимнюю пору, кроме себя, он никого не допускал. Причин для этого у него было предостаточно. Сыновья не знали, сколько и какой надо насыпать в плетенную из ивовых прутьев корзину мякины, какой и в каком количестве наложить соломы, — ребята навалятся, конечно, на овсяную, а ее надобно приберечь к весне, до которой ох как долгонько. Особенную же экономию необходимо было соблюдать в отношении сена: скоро начнут ягниться овцы, отелится Рыжонка — ягнят и теленка не накормишь соломой, им подавай душистого сенца, припорошенного отрубями, а то и ржаной мукой. Плавки им не кинешь, разве что на подстилку. И просяную соломку не худо приберечь — для Рыжонки главным образом, она до просяной большая охотница. Сейчас же, пока на дворе январь, на ячменную да ржаную нужно налегать, а больше на мякину, опять же ржаную и ячменную, ни в коем случае не овсяную и просяную, которые приравняются к сему.

Откуда же знать про все это неразумным сыновьям?

Однако и это еще не все. После того как сани или дровни наполнятся кормами, отец вернется в ригу, отдохнет чуток, осторожно, в кулак, покурит, вместе с дымком с удовольствием потянет душновато-вкусный, сотканный из множества почти неразличимых в отдельности запашков, мякинно-соломенный и сенной душок, а затем, взяв грабли, не торопясь примется оправлять свой угол, чтоб ни единой былки, ни единого пустого, выхолощенного колоска, ни единого сухого листика, ни единой сенинки не осталось под ногами. Все подгребет, подчистит, огладит тыльной стороной граблей так, что малейшее прикосновение чужой руки было бы немедленно обнаружено потом: в ригу ведь наведывались и два других ее владельца...

Что еще сказать о Карюхе? По весне одной, без давней и верной напарницы Буланки, ей было очень трудно. Соха — куда ни шло. В нее и прежде запрягали одну лошадь. А потяни-ка однолемешный плуг, который и двум-то кобылкам влачить было нелегко! Карюха хитрила, через каждые десять — пятнадцать метров останавливалась и, тяжело нося вспотевшими боками, косилась на пахаря, пытаясь по его виду определить, каковы будут его намерения: ежели очень решительные и кнут уже наготове, Карюха сократит остановку до самой малой минуты; ежели пахарь начинает вытирать подолом рубахи вспотевший лоб, Карюха отдохнет подольше, но такое бывало редко. Пахарь торопил, всякая остановка Карюхи грозила его семье голодом, до жалости ли к лошади ему?! К полудню Карюха останавливалась в борозде не из-за хитрости: она уставала так, что напряжинившиеся ноги ее дрожали, и тут секи

не секи, а Карюха будет стоять как вкопанная,— один раз она просто упала в постромках, и только тогда хозяин, обескураженный и несчастный, понял, что хоть на один час, но надо распрячь Карюху.

С того случая отец сделался сумрачен и задумчив. Никому ничего не говорил, но мы чувствовали, что он затевает что-то. Едва отсеявшись, принялся усиленно прикармливать Карюху, вгонять ее в тело.

— Не продать ли надумал старую? — сокрушалась мать, делясь с нами беспокойной этой мыслью.— Ребятишки, отговорите его. Пропадем мы вовсе без Карюхи. Отдаст ее за бесценок какому-нибудь барышнику, деньги проплет, и останемся мы без лошади. Что тогда?

Мы и сами были не на шутку встревожены. Надо было знать характер нашего папаньки: от него всего можно ожидать.

Между тем в плане отца было совсем другое.

5

Вернувшись однажды за полночь и против обыкновения совершенно трезвый, отец покликнул неожиданно ласково:

— Ты спишь, мать? Вставай, покалякать надо.

Он прикрыл дверь в горницу, и, о чем там они калякали, мы не могли слышать. Мать дважды входила в переднюю, открывала сундук и с самого дна доставала узелок. Слышались в темноте жесткое шуршание кредиток и шепот матери: «В разор разорит он нас. Чего надумал?» Она удалялась, и через дверь, которая на этот раз осталась открытой, до нас долетала незлая поначалу, однако все набирающая остроты и ярости ночная перебранка:

— Обдерет он нас досиня. Шутка сказать — три червонца! Да за такие-то деньги жеребенка летошнего можно купить.

— Чего бы ты понимала, дура? Через два года деньги эти окупятся с лихвой.

— Окупятся... Держи карман пошире!

— Ну ты, нишкни, коли ничего не смыслишь. Без тебя решу!

Что он там решил, мы тоже не знали. После перепалки мать, конечно, уступила, и теперь разговор их перешел на шепот и принял мирный характер — давно голос и слова отца не были такими добрыми и ласковыми. Мать, спрятавшая было узелок в сундук, вернулась еще раз и снова достала его. Опять принялись считать и пересчитывать деньги. Отец при этом коротко кашлял, а мать шумно вздыхала. Рублишки были выручены прошлой осенью за телку, и мать берегла их на приданое Настень-

ке. Боясь, как бы кто из нас не прикоснулся к ним неосторожно, пересчитывала на дню три раза и вздыхала так же вот, как этой ночью. Совсем недавно она прибавила к ним еще червонец — продали на базаре в Баланде большой жбан конопляного масла. Один только раз нам, ребятишкам, удалось полакомиться им. Густое, темно-зеленое, вкусное само по себе, оно было очень душистым и оттого вкусным уж сверх всякой меры.

Помимо названного червонца, была еще какая-то мелочь, но отец взял ее и купил в долгую дорогу мерзавчика и потом честно признался в этом матери — та и слова не сказала, вздохнуть, правда, вздохнула. Днями узелок материн должен был бы пополниться. За голландкой который уж день стояла большая кадушка и целыми сутками кряхтела по-старушечьи. В кадушке зрело нечто такое, от чего разум наш может помутиться, а душа повеселеть на малое хотя бы время. Самогон готовился также к продаже.

Утром, взяв из узелка не три, а только два червонца, отец, не позавтракав, ушел. Не было его долго. Мать все выглядывала в окно, не идет ли, и почему-то часто становилась на колени перед образами. «Пресвятая богородица, пожалей нас, спаси и помилуй», — чуть внятно произносили ее сморщенные, сухие губы. Я давно заметил, что при всех превратностях судьбы мать обращалась за помощью не к богу, а к божьей матери, как вот теперь. Вероятно, в тот день пресвятая была занята какими-то другими важными делами и не вняла материным мольбам.

Отец вернулся мрачнее мрачного. Не сразу вошел в избу. С беспокойным оживлением осмотрел двор, похлопал по Карюхиной шее. Потом постоял среди двора в раздумье и, приняв, видать, окончательное решение, быстро направился в дом. Ни слова не говоря матери, молчаливо и тревожно стоявшей у печки, почти вбежав в горницу, раскрыл сундук и забрал последнюю десятку. Чтобы не слышать жениного протеста и не видеть ее слез, он угнул шею по-бычьей и так выскочил на улицу. На этот раз вернулся необыкновенно быстро. Снова обежал весь двор. Вывел Карюху из хлева, прогнал несколько раз по кругу, привязал покрепче за вереву и долго охаживал рукою, бормоча при этом что-то очень ласковое в Карюхино ухо, которым та все время вспрядывала. Так, пожалуй, охаживают лишь девку, для которой отыскался, наконец, подходящий жених, суливший счастье не только самой невесте, но и всем ее сродственникам. И все-таки на лице отца лежала печать крайней озабоченности. Из всех вопросов, ежедневно выстраивавшихся перед ним длиннейшей очередью, был теперь один, главный и решающий: «Примет ли Карюха серого?» Деньги хозяином взяты наперед, за отцом остался лишь магарыч, который условились справить после

того, как Карюха подпустит жеребца и когда можно с определенной толикой оптимизма заключить, что все кончилось хорошо.

Войдя в избу, отец торопливо скомандовал:

— Поджарь, мать, картошки с салом. Скоро будут.

В избе все ожило. Мать побежала к погребу. Мы, братья, выскочили на улицу и, забравшись кто на плетень, кто на зава-linkу, а я даже на крышу сарая, стали ждать, сами еще толком не зная чего.

— Ведут, ведут! — первым заорал я со своего наблюдательного пункта, завидя, как из проулка два здоровенных мужика выводили серого жеребца. Отец выскочил во двор и распахнул ворота. Красавец нетерпеливо заржал. Державшие его упирались вперед ногами, а орловец, поднявши морду, нес их, не чувствуя тяжести. Карюха забеспокоилась, подняла голову, сначала по всему ее телу легкою волной пробежала дрожь, она сомкнулась с протяжным, испуганно-радостным и тоже нетерпеливым, зовущим ржанием. От этого ее крика и оттого еще, что Карюха стала по-молодому перебирать ногами, метаться у привязи, лицо отца озарилось детски глупой и по-детски же счастливейшей улыбкой.

— Слава богу... слава богу! — твердил он.

В общем-то большой наш двор сделался вдруг маленьким и тесным, когда в него, пританцовывая и вздымаясь на дыбки, вбежал жеребец. Куры подняли переполошный крик, разлетелись по плетням и крышам, черненькая кобелишка по кличке Жулик, нерешительно твякнув, нырнул под калитку и только уж в огороде, полагая свое место безопасным, залился пронзительно-визгливым лаем. Усугубляя суматоху, откуда-то выкатилась прямо под ноги жеребца свинья; конь взвился на задние ноги, заржал, затрепетал гладким жилистым брюхом; свинья хрюкнула, попыталась было вслед за Жуликом нырнуть под калитку, но застряла там и завизжала. Отец ударил ее черенком лопаты, и калитка была сорвана с петель. Гулкий свинячий «ухр-ухр-ухр» покатился по огороду.

— Ну, теперя, Миколай Михалыч, гляди не оплошай!

С этими словами Михайла (так звали хозяина жеребца) и его сын, с трудом удерживая под уздцы, повели серого к оробевшей и ставшей совсем крохотной Карюхе. Он легко взлетел над ее крупом, оскалился, изогнул и без того крутую шею и хищно вцепился длинными желтыми зубами в Карюхину гриву. Застоявшийся, нетерпеливый, охваченный пламенем любви, жеребец, очевидно, нуждался в этот миг в какой-то помощи. Но отец мой оплошал, он не сделал того, что должен был сделать. Опустошенный, вялый, жеребец тяжело опустился на землю. Карюха прижала уши, взвизгнула и, высоко подбросив зад, больно лягнула его. Обозлившийся хозяин, оттолкнув моего отца, все еще пытавшегося как-то поправить дело, повел орловца к воротам.

— Говорил, гляди в оба. Теперь пеняй на себя,— сердито ворчал Михайла.— Во второй раз Огонек не подымется. Да и платить бы тебе пришлось заново. Так что...

Я считал своего отца если не сильным, то все-таки достаточно гордым, чтобы стерпеть такую обиду. Был он смелым солдатом в первую мировую войну и храбрым бойцом в гражданскую. Вообще не из робких. А сейчас вот стерпел. Жалкий, трясущийся, только что не плача, он хватал Михайлу за пиджак:

— Кум... кум... не губи, детишки у меня!..

— Не могу, и не проси, Миколай Михалыч.

Но тут отцу подоспела помощь. Мать, почуя неладное, быстро наполнила большую кружку самогоном, положила на кусок черного хлеба ломтик сала и выскочила во двор. Преградила путь Михайле, заголосила, запричитала:

— Куманек, родненький... не откажи, выпей первачку... толечко ночесь нагнали... и куды ты торопишься, Василич?.. Яишенка ждет, и картошки нажарила с салом... Поди в избу, родимый!..

— Ну, ну, кума... вот разве что только для тебя один-единственный глоток...

Михайла говорил правду: чтобы кружка литровая была опорожнена до самого аж дна, ему потребовался всего лишь один глоток. Что-то только булькнуло в его кадыке. Михайла крякнул от избытка чувств, понюхал хлеб с салом, вернул его моей матери и, передав жеребца молчаливому своему сыну и как бы благословляя этим его на дальнейшие действия, медленно побрел в избу: запах жареного поманил его туда.

Отец предусмотрительно остался во дворе. Вместе с Михайловым сыном они ошлепали ладонями все большое тело жеребца, потом долго водили его по двору в виду Карюхи и в конце концов успокоили.

Глаз, косивший в сторону кобылы, вновь налился кровью, ноздри расширились, запылали, задымились. Все его огромное и прекрасное тело вновь содрогнулось, сотряслось от могучего призывного ржания. Карюха тихо и опять робко отозвалась. Серый вырвался из рук державших его людей и кинулся к подруге. На этот раз отец вовремя оказался на месте.

Скоро молодой хозяин увел жеребца на свой двор. А Михайла остался у нас. В какой-то час на магарыч явилась добрая дюжина мужичков. Пили весь день, весь вечер и всю ночь пили, вроде то был действительно запой, будто бы Карюху и впрямь просватали. А она, удовлетворенная и успокоенная, стояла все у той же привязи, терпеливо ждала, когда в доме нагуляются, выйдут на улицу и подбросят ей кормецу или выведут на выгон против нашего дома, спутают там и дадут попасться самой.

Ничего другого Карюхе сейчас не надо было.

Подгулявшие мужички прихватили малость и следующего дня. Часа через два после своего ухода Михайла притопал уж опохмелиться. С той же целью — часом, может, только позже — припожаловали и все остальные участники вчерашней пирушки.

И опять в центре внимания отца и матери был вечно хмельной и насмешливый Михайла, опять главные почести приходились на его долю. Он и принимал их как должное, как само собой разумеющееся. Увеличивая и без того безмерную радость моего отца, он неумоимо перечислял все действительные и мнимые достоинства своего скакуна, а чтобы побудить, поощрить «кумушку» в смысле ее щедрот по части самогона, еще и уверял, что от его Огонька кобылки жеребят только маток, и непременно, разумеется, в отца и мастью и статью. Он даже поклялся, что вернет нам три червонца, коли получится не так, как он говорит.

— Зачем ты, Михайла!.. Разве мы не верим тебе?.. Спаси тебя Христос, век не забудем твоей доброты,— твердила мать, вынимая из-под пола очередную четверть приготовленного было на продажу самогона.

Отец никак не хотел уступать ей и, в свою очередь, изливал душу:

— Ты, кум, почаще заходи к нам. Для кого другого, а для тебя завсегда найдется стакан-другой...

Мне, наблюдавшему за всем этим с печки (она была моим постоянным прибежищем не только зимою, но и во все остальные времена года), казалось: мужикам должно быть обидно, что на них не обращалось ни малейшего внимания, но это не так. Явившиеся на магарыч, а затем на похмелку непрошеными, они и не могли рассчитывать на особое радение хозяев. Не выгнали их — и на том спасибо.

«Карюхин день», как ни старалась мать укоротить его, все-таки растянулся на целую неделю. Что же касается Михайлы, то он почел не только за правило, но и за полное свое право отныне приходить к нам всякую субботу, чтобы «пропустить маленькую после баньки». Согласитесь сами, осчастлививший вас однажды человек имел основание пользоваться у вас вот хоть таким малым благорасположением.

Моих родителей — мать в первую очередь — несколько смущало одно, может, не столь уж важное обстоятельство: кум Михайла редко жаловал к нам один, ему непременно требовался компаньон сверх моего отца, который по нужде превратился в собутыльника своего благодетеля. Чаще всего Михайла прихватывал с собой Спирьку, тощего мужичка и законченного пьянчужку. Поскольку тот, о ком речь, и по сию пору жив, я не называю его собственным именем, а употребляю вымышленное.

Само собой разумеется, что на зыбкой почве пьянки у Спирьки (уменьшительное от Спиридона) бывало множество прелюбопытных приключений. Однажды я случайно оказался свидетелем одного из них.

Поутру, завидя, что кооперация открылась, — а он, похоже, ждал такой минуты с нетерпением великим, — Спирька напрямик устремился туда. Содрогаюсь всем своим претощим телом и клацая зубами (тот случай, когда говорят: зуб на зуб не попадает), он долго негнушима, плохо подчиняющимися пальцами рылся где-то за ошкурком ватных своих штанов, тех самых, которые были замечательны хотя бы уже тем, что не снимались ни при какой погоде: ни при сорокаградусном морозе, ни при сорокаградусной жаре. Держались они неуверенно, потому как тазобедренная кость их владельца была чрезвычайно узка. Так вот, отыскал он за ошкурком рублевку, с трудом, соблюдая величайшие предосторожности (не ровен час порвется), расправил, распрямил ее, до того потертую и полинявшую, что банковские знаки едва проступали, и положил на прилавок перед продавцом:

— Максим, налей, милый...

Продавец наполнил стакан на три четверти — сколько полагалось. Не надеясь на одну правую руку, Спирька поспешил к ней на помощь левою. Схватил стакан в пригоршню и, не теряя ни мгновения, понес ко рту. Поторопился ли он, спутал ли дыхание, но вылитая в глотку водка мощною струей вырвалась обратно и оказалась на полу. Охваченный бурным приступом кашля, обливаясь слезами, Спирька силился что-то сказать, но не мог. Когда оправился малость от потрясения, хорошенько, всласть выругался и подвел под свое несчастье социальную базу:

— Глянь, Максим... вот ведь Михайлу, поди, не вырвет, потому как богатый! А на нас, бедняков, разрази нас всех громом, все шишки валятся!..

Слова Спирькины были справедливы, очевидно, в отношении кого угодно из малоимущих, но только не его самого, ибо при любом социальном устройстве Спирька оставался бы на грани полного обнищания, поскольку пропивал не только последние деньжонки, но и все, что можно было умыкнуть из дому и продать. Винить в этом какую-либо власть было бы в высшей степени несправедливо.

Тем не менее Спирькино лицо было несчастным. Этот ли его вид, горячая ли речь подействовали на продавца, но тот налил — уже в долг, который не мог быть возвращен ни при каких обстоятельствах, — еще стакан и опохмелил беднягу.

Вот этого-то Спирьку и приладилась прихватывать с собою Михайла, когда направлялся к нам пропустить лампадку. Гостечки — я видел это — с какого-то времени сделались невыносимы для матери, но она не знала, как от них избавиться. Впрочем,

знать-то знала, да боялась мужниного гнева. Страдания матери были очевидны, и я решил помочь ей. В разгар очередной попойки, улучив момент, громко, с беспощадной откровенностью мальчишки поставил перед владельцем прекрасного скакуна сколь жестокий, столь же и законный вопрос:

— Дядь Миша, ты что к нам зачастил?

Озадаченный такой дерзкой выходкой, упершись в меня красными, пьяными глазами, тот долго молчал. Отец медленно наливался гневом. Мне казалось со своего НП, что волосы на голове отца поднялись дыбом. Мать на всякий случай осенила себя крестным знаменем.

— Аль надоел? — спросил, в свою очередь, Михайла хриплым, перехваченным смущением голосом.

— Знамо, надоел! — выпалил я.

Гости скоро удалились.

Я, конечно, был выпорот отцом, но дело сделано. Михайла хоть и наведывался к нам, но гораздо реже — один раз в две, а то и в три недели, и притом без Спирьки.

6

Через какое-то время стало определенно ясно, что Карюха «понесла» от чистокровного. И вокруг нее все переменилось. Двор, до того никогда не убираемый, теперь подметался каждое утро, плетни подправлены, крыша над конюшней перекрыта заново, в самой конюшне поставлены новые ясли, пол застилался свежей соломой и всякую ночь сызнова, следили, чтобы туда не зашла ненароком корова, чего доброго. Рыжонка могла зашибить Карюху. Даже в самой нашей избе стало вроде бы посветлее. Мать тщательно побелила печь, обвела печурки голубым, и печь смущенно и радостно заулыбалась, необычайно приветливая. Холщовые наши рубашки и штаны были тщательно постираны, мать сходила в лес, наломала молодого пакленника, отварила его и выкрасила мою новую рубашонку в темно-синий с фиолетовым оттенком цвет, и я выглядел именинником. Скандалы в доме неожиданно прекратились, отец не придирался к матери, не только не бил ее, но стал непривычно ласков и предупредителен. Нам велел, чтобы во всем слушались мать, помогали ей по хозяйству.

Карюху запрягали все реже и реже. О кнуте она, кажется, забыла вовсе. Ее баловали, как только могли. Лучший корм шел Карюхе, даже тыква и свекла, которые прежде были привилегией Рыжонки, ибо от такой еды она давала больше молока, теперь отданы были Карюхе, отруби и лучшее — степное — сено тоже ей. Полгода спустя отец запретил нам садиться на Карюху верхом. «Можете надорвать, и Карюха скинет», — строго сказал он. К сво-

ему другу мельнику теперь хаживал пешком; в Баланду или еще куда ездил на Буланке, выпрошенной для такой цели у старшего брата. Ежели прежних своих дочерей Карюхе нередко приходилось рожать прямо в борозде, в поле или в дороге, в оглоблях, то теперь ей был предоставлен как бы уж декретный отпуск — за два месяца до родов вовсе не стали запрягать ни в телегу, ни в соху, ни тем более в плуг. Семья несла на этом немалый урон. Делянка была вспахана и посеяна позже всех на селе, огороды также после того, как отсеялись отцовы братья и могли предоставить своих лошадей нам. А в весеннюю пору для хлебопашца не то что день — миг и тот дорог, это уж известно.

— Ничего, мать. Как-нибудь управимся, а Карюху я запрягать не буду. И вам не веляю.

Отец говорил так, а на душе у него было не совсем хорошо. Но когда выходил во двор и видел раздобревшую, толстобрюхую Карюху, опять улыбался, в глазах надолго поселялась веселинка.

Карюха стала неузнаваемой. Во внешнем ее виде, в осанке, в привычках появилось что-то сановное, барское. Она сделалась капризной. Мать теперь звала ее не иначе как барыней.

— Ешь, барыня, ешь, моя золотая! — говорила мать, принося Карюхе таз с мелко нарубленной свеклой или тыквой.

Барыня, как и полагалось ее сословию, принималась за еду не вдруг: сперва фыркнет недовольно, сердито прижмет уши, покосится на мать черным своим оком и только потом подхватит мягкими губами небольшой кусочек.

Как-то отец покликнул всех нас во двор. На наших глазах подошел к Карюхе, положил на ее брюхо обе руки и стал слушать. На лице его появилась улыбка, растерянная и неожиданно нежная, и так держалась долго-долго. Потом подходил каждый по очереди и делал то, что делал отец. Под ладонями, где-то совсем близко и волнующе чуялись могучие толчки, столь резкие и нетерпеливые, что Карюха вздрагивала, и глаза ее, глубокие, спокойные, обращались как бы внутрь.

Уходили от Карюхи на цыпочках, будто боялись спугнуть нечто очень робкое и хрупкое.

— Скоро, — с таинственным придыханием вымолвил отец.

— Скоро, — согласилась мать, и на ресницах ее, темных и длинных (ведь она у нас когда-то была красавица), загорелись счастливые слезинки.

С того дня за Карюхой установили ночное дежурство. Хоть на дворе стоял май, было тепло, но мало ли чего может случиться ночью! Отец принес из амбара «летучую мышь», вычистил, протер хорошенько стекло, вставил новый фитиль, аккуратно, полукругом, обрезал его, налил в банку керосину, или гасу, как зовут у нас на селе, зажег, опробовал, помотал в руках (не тухнет ли от ветра?) и вручил мне, уходящему в конюшню первой сменой.

Не знаю отчего, но я не мог дежурить на полу, мне непременно нужно было какое-то возвышение. Подвесив фонарь на железную занозу, на которую обычно вешалась сбруя (сейчас ее отец убрал из конюшни), сам я вскарабкался на переруб и удобнее устроился там. Карюха сперва подозрительно следила за моей возней, вздыхала, прижимала уши, а потом успокоилась, принялась от нечего делать шевелить губами в яслях, перебирать сухие зеленые былки. Изредка она вздрагивала всем телом и тихо, сладко постанывала, — так же вот постанывала она, когда я ее купал. Фонарь светил хорошо. Когда же глаза мои освоились, то света хватало даже на то, чтобы видеть, как на правом Карюхином боку время от времени вспухали и пропадали тугие бугорки, словно бы кто толкал ее изнутри кулаком. Карюха невольно поворачивала шею вправо, мотала куцым хвостом.

В конюшне, кроме меня и Карюхи, были еще разные живые существа. Где-то у самого конька крыши возились в своих соломенных норах воробьи, сонно чулюкали; когда я взбирался на переруб, они, испугнутые, порхали в темноте, а затем тоже угомонились. В яслях, под объедками сена и соломы, попискивали мыши, охотясь, должно быть, за упавшей туда зернинкой или шелухой от колоба или отрубей. Одному мне пришлось бы хуже, я боялся остаться наедине с темнотой, мне начали бы представляться разные видения, а сейчас нет. К тому ж у меня нашлось подходящее занятие. Я начал придумывать имя жеребенку. В отличие от всех в семье я хотел, чтобы это был жеребчик, чтобы он вырос такой же преогромный и красивый, как Огонек дяди Михайлы, чтобы потом к моему отцу приходили и просили жеребца к их лошадям и чтобы мой отец мог куражиться так же, как куражился на нашем подворье Михайла. Назвал бы я жеребца Громовой — и звучно и страшно. А еще мы бы ездили на нем на осеннюю ярмарку в Баланду, и там на скачках Громовой отвоевал бы первый приз, и мы бы возвращались домой победителями, и Колька Поляков, мой друг закадычный, завидовал бы мне и просил бы показать пугач, который я обязательно купил бы на ярмарке.

В мечтах своих я заходил так далеко, что уж помышлял о поездке в самый аж Саратов, до которого было целых сто верст от нашего села; на Карюхе туда не доедешь и за неделю, а Громовой отомчал бы нас за один день, и мы привезли бы от туда два калача и круговину колбасы, пахнущую чесноком и перцем.

При мысли о калаче и колбасе на губах моих непроизвольно появлялись слюни, и я их слизывал, а они появлялись вновь и вновь, и полон рот был этих слюней, и ничего я не мог с ними поделать.

На смену мне приходил Ленька, бесцеремонно стаскивал

за штанину с переруба, отпугивал таким образом сладкие мои грезы.

В следующую ночь я вновь шел на дежурство и давал волю своей фантазии. Карюха, заполнившая раздобревшим, крупным своим телом всю конюшню, спокойно стояла у своих яслей и ничего не знала. Не знала она о том, сколько разных планов связывалось в нашей семье с новым ее, еще не родившимся детищем. Мать и отец, когда все мы спали, а сестра была на улице, договорились между собой, что выдадут Настеньку не раньше чем через два года, пускай уж потерпит жених. Подрастет жеребенок, станет лошадю, продадим либо его, либо Карюху, либо обоих вместе, купим молодую, хорошую лошадь для нашего хозяйства, а вырученных от продажи чистокровного двухлетка денег достанет и на то, чтобы справить Настенькину свадьбу, и на то, чтобы обуть и одеть подызносившихся ребятишек. Если Карюха принесет кобылку не в отца, как всем хотелось, а в себя, то и в этом случае есть неплохой выход: можно продать Карюху, а дочь унаследует ее заботы по нашему двору. Только и всего. Но это на худой конец. Самые большие, далеко идущие планы были связаны с появлением чистокровного, конечно.

7

Пополудни было примечено, что Карюхино вымя как-то сразу увеличилось, налилось молоком, набухло, обрело темно-атласный цвет, упругие соски резко разбежались в стороны, словно бы недовольно отвернулись друг от друга. Карюха пригорюнилась, присмирела и не прикасалась к корму. В течение дня несколько раз ложилась, тяжело, страдальчески отдуваясь. Большие черные глаза ее глубоко, сумеречно светились и были полны беспокойного ожидания. Выпуклости на ее боках переместились, нетерпеливые, мощные толчки изнутри стали чаще.

— Нонче будет, отец, — тихо объявила мать, первой обнаружившая такую перемену.

Какое-то время все молчали, потом забежали, засуетились. Мы, дети, разом выскочили во двор. Только сестра почему-то осталась в горнице, а вскоре и вовсе убежала к подруге, испытывая непонятный озноб во всем теле. Отец куда-то сходил, и через час на нашем подворье оказались дед, дядя Петруха и дядя Пашка. Позднее сбежалась чуть ли не вся родня, хотя отец позвал одного лишь старшего брата и его сына Ивана, недавно окончившего ветеринарные курсы. Строгие, торжественные, они расселись по бревнам и начали припоминать, как Карюха жеребилась в прошлом. Оказалось, что роды у нее всегда проходили легко, разве только с Ласточкой пришлось помучиться. Прижила ее

Карюха от жеребца не совсем рядовых кровей. Иван Колесов выпустил как-то на час своего вороного поpastись на недавно скошенные и убранные луга, и этого часа Карюхе оказалось вполне достаточно. Никто и не видел, как это и когда произошло.

Жеребиться Карюха начала часу в первом ночи. В конюшне, кроме отца, двоюродного моего брата Ивана да меня на перерубе, никого не было. Карюха лежала, вытягивалась, запрокинув мученически голову, шерсть ее потемнела от пота, большие съеденные, желтоватые зубы плотно сжаты, временами слышался глубокий утробный стон, и в такие минуты я сам запружинивался, мне самому было больно — я готов был заплакать. Отец мой и брат Иван стояли на коленях, тихо переговаривались. Из слов Ивана я понял, что отец переусердствовал и перекормил Карюху, жеребенок, должно быть, очень большой, излишне упитанный. Воробьи беспокойно чулюкали, мышей и вовсе не было слышно.

— Ну, ну, Карюха, ну, милая! — ласково бормотал отец, когда лошадь вытягивалась струною в родовых мучениях. — Ну, умница...

Лишь к рассвету появились сложенные вместе белые копытца и плотно прижатая к ним странно удлиненная морда. Карюха трудно и часто задыхалась, набираясь сил для решающего мгновения. Видать, она все-таки поторопилась, новое усилие не разрешило тяжелого момента. Умаявшись, лошадь расслабила тело, так что копытца и аспидно-черная мордочка в порванной пелене подались немного назад. Теперь Карюха не спешила. Лежала долго-долго, напряженно ожидая. И вдруг резко мотнула головой, выбросила в стороны задние ноги, напряглась так, что затряслась от шеи до хвоста, и люди не заметили, как жеребенок почти весь оказался на полу. Лишь задние ноги наполовину находились еще в материнской утробе. Карюхе требовалось самое малое усилие, чтобы и этот последний, великий и торжественный акт рождения новой жизни был завершен. Какое-то время — для нас оно показалось вечностью — жеребенок лежал неподвижно. «Не мертвый ли?» — подумалось каждому из троих. Отец, оглушенный ужасным предположением, оцепенел, тупо глядел то на Карюху, то на новорожденного, затем, опомнившись, принялся тормошить оскальзывающимися пальцами Карюхино детище, сдирать с мордочки зеленоватую слизь. Карюха, по-видимому, решила, что хозяин занялся не своим делом, поднялась на дрожащие ноги, ревниво оттолкнула отца резким рывком морды и стала облизывать жеребенка. От ее ли теплого дыхания, от прикосновения ли шершавого материнского языка жеребенок зашевелился, засучил невероятно длинными голенастыми ногами и поднял столь же несоразмерно длинную морду.

— Жи-во-о-ой! — заорал я что было сил.

— Что горланишь? Марш в избу! — сердито приказал отец, и меня как ветром сдуло.

Команда была в общем-то излишней. Мне и без того не терпелось побежать домой и первым принести радостную весть.

— Карюха ожеребилась! Жеребенок живой! — закричал я еще в сенях, ибо не смог уже удерживать далее в себе этот клич.

Санька, Ленька и мать собрались было выбежать во двор, но я остановил их: отец не велел пока появляться во дворе никому.

Вышли лишь тогда, когда из-за Чаадаевской горы вывалился огромный пламенно-красный диск солнца. За плетнем — в огороде, должно быть, — в кустах крыжовника или смородины заливался соловей; взлетевший на крышу конюшни большой и красный, как солнце, петух громогласно возвещал миру о чрезвычайном событии, случившемся на нашем дворе ранним этим утром. Единственное окно, выходящее у нашей избы во двор, встретившись с первым добравшимся до него солнечным лучом, заулыбалось в ответ, засмеялось, замерцало покотившимися по нему прозрачными капельками росы.

Неведомо, непостижимо как, но весть о происшедшем в одну минуту обежала все село, и скоро к нашему дому потянулись люди. Опять пришли дед, дядя Пашка, даже тетка Феня, его жена; дяди Петрухина семья пришла со своего хутора в полном составе — те, которым полагалось бы ползать под столом или качаться в зыбке, были принесены на руках. Припожаловал и благодетель, на этот раз опять со Спирькой. Приковылял на хромой ноге и волчатник Сергей Звонарев, чуть опосля и дядя Максим с теткой Ориной. Отец был рад гостям, мать же сердито поджимала губы, опасалась дурного глаза, который мог оказаться у кого-либо из прибывших.

Карюху вывели на самое светлое, солнечное место двора. Рядом с нею, плотно прижимаясь к материнскому брюху, был жеребенок. Вздых невольного восхищения вырвался у людей. Все подивились прежде всего тому, что спина новорожденного была почти вровень со спиной его матери — так высок он был. Тело, однако, короткое, и вообще был он в общем-то неуклюж, некрасив, как гадкий утенок. Знатоки же видели в этой неуклюжести несомненные признаки высокой породы. Отца немного пугало то, что жеребенок был черен, как грач, в то время как его родитель был серым, в крупное с голубым отливом яблоко.

— Отчего бы это? — спросил он Михайлу.

Тот посмеялся над папанькой, как смеются над глупым ребенком.

— Ничегошеньки ты, кум, не смыслишь в лошадином деле, — снисходительно начал он. — Погляди, какой масти жеребенок станет через три-четыре месяца. Ну, что я тебе говорил? Матку

ведь уродила твоя Карюха от моего Огонька! Что? А? — Михайла ликовал, отец смеялся, донельзя счастливый и гордый.

Гордой и счастливой была и Карюха. Она знала, какое великое дело сделала, и теперь стояла посреди двора, в потоке солнечного света, давала людям налюбоваться и собою и особенно, конечно, своей дочерью, несомненной красавицей. Шелковистая, бархатно-мягкая и нежная гривка жеребенка стремительно стекала по крутой длинной шее прямо на широкую спинку, избегающую на такую же крутую, раздвоенную часть трепетного, как бы все время переливающегося тела. Пушистый, как у зверька, хвост был пока что куцеват, но уже по-лошадиному мотался туда-сюда, как маятник. Брюшко поджарое и кучерявилось еще не совсем просохшей и темной шерсткой. Продолговатые ноздри пульсировали, мигая красными точками, из них разымчиво выпархивал парок. Карюха осторожно, но настойчиво подталкивала жеребенка к своим соскам, тот неумело тыкался под брюхо, но длинная мордочка просовывалась мимо. Кажется, с десятого уж раза все получилось, как надо. Ухвативши губами набрякший молозивом сосок, высунув кончик красного языка, жеребенок засопел, захлебнулся, оторвался на миг, а затем торопливо ухватился вновь и, наслаждаясь, часто-часто завилял коротким хвостом.

— Так, так ее! — радостно причитал отец.

Все остальные умиленно смеялись, забыв в счастливую эту минуту про все свои житейские заботы и тревоги.

— Как же назовете свою красавицу? — спросил Михайла.

— В самом деле, как? — в свою очередь, спросил отец. — Ну, кто придумает лучшее имя?

Таким образом, тут же был объявлен своего рода конкурс на лучшее имя Карюхиной дочери — будущей рысачки. Были тут и Зорька, поскольку жеребенок родился на заре, и Звездочка, поскольку на лбу его едва проступало крохотное белое пятнышко, и Голубка, поскольку рано или поздно цвет его станет голубовато-серым.

— А не назвать ли Майкой, а? Родилась ведь в мае, а?

Теперь уж я не помню, кому принадлежала эта мысль, но она всем понравилась. Так и нарекли нашу красавицу — Майка. После этого с чувством честно и до конца исполненного долга все направились в избу — к столу. Во дворе остался один я. Теперь без всяких помех я мог сколько угодно и с любых точек глядеть на Майку и предполагал даже рискнуть и погладить ее по крутой шее. Я знал, что не уйду со двора до самой ночи.

За столом расселись, как во время крестин.

— С новым у вас счастьем! — провозгласил непьющий дед Михаил и только потрогал наполненный и для него стакан самогону.

— С новым счастьем! С новым счастьем! — слышалось отовсюду.

Особенно торжествен и величав, если только позволяла быть величавым его невзрачная фигурка, был Спирька. Он держался так, словно был главным виновником счастливого исхода давно задуманного предприятия. Михайла был снисходительно сдержан и тихо важен, как в день свидания Карюхи с его Огоньком. Кто-то, а он-то уж был совершенно уверен, что только ему одному наша семья обязана таким великим праздником. Немного странно держался обычно веселый и добродушный дядя Петруха. Не шумел, не верховодил за столом, как в прежние времена, а притих, пришипился, грустно задумавшись. Чувствовал, что завидует брату, и это было для него и ново и гадко, и, главное, он ничего не мог поделать с собою.

Рождение Майки разом отодвинуло его куда-то далеко от среднего брата, ибо они теперь были уже неравны: Петр Михайлович с большой своей семьей оставался с одной Буланкой, от которой вряд ли можно ожидать потомства. У Николая Михайловича через каких-нибудь полтора года будет еще одна лошадь — и какая лошадь! Незримая черта — «кто, сколько и чего имеет», — которая прежде и в прямом смысле была невидимой, вдруг стала угрожающе расширяться и сделалась физически ощутимой до жутковатого озноба.

Поймав поднимающегося в себе зверя, дядя Петруха попробовал укротить его; сделав над собою усилие, он закричал:

— С новым счастьем тебя, братуха! И тебя, Фроська!

Но Петр Михайлович явно запоздал со своей здравицей. Да и голос его был ненатурален, неестествен и фальшив. Должно быть, он и сам понял это и конфузливо примолк. Его все-таки поддержали, но недружными, разрозненными, несогласованными и также ненатуральными выкриками. Смутившись и чтобы скрыть это смущение перед людьми, дядя Петруха одним непостижимым рывком вылил в себя полный стакан самогону — никто не успел даже проследить, как это произошло, а ведь ему пришлось для этого по-птичьи запрокинуть голову, и так высоко, что нечесаный, клочковатый клинышек жиденькой бороды глянул под прямым углом в потолок, и только уж потом влить в себя милую его сердцу чарку.

Павел, тот держался спокойнее и ровнее. Но и на его лице что-то не виделось большой радости.

Майка ничего про то не знала. Убедившись, что длинные, неуклюжие ноги нисколько не мешают ей держаться на земле твердо и основательно, первое, что она сделала, так это высоко подбросила зад, вскинула выше себя копыта и затем повторила опасный этот трюк, словно на «бис», еще раза три кряду. Опасным он был для меня, поскольку к тому времени не только Майка

осваивалась с новою для нее обстановкой, но и я: подкрадывался к жеребенку все ближе и ближе, чтобы непременно дотронуться до него рукою. Во дворе было солнечно по-прежнему, на душе у меня тоже. Мне казалось, что в тот день у всех людей на свете должно быть так же хорошо на сердце, как у меня. И мне нестерпимо, до зуда, захотелось поцеловать Карюху и ее сказочно прекрасную дочь в губы. Благоразумие, однако, взяло верх, способствовало этому и недвусмысленное поведение Майки, и я отошел от нее на почтительное расстояние. У Майки копыта крохотные, но они были все-таки лошадиного происхождения...

Первые несколько часов Майка не отходила от матери ни на шаг. Часто толкалась длинной мордой под ее брюхо. Овладев одним соском, Майка вроде был уж и не видела, что рядом находится другой. Иногда она натыкалась на него ноздрею, но сосок был сух и излишне упруг, и Майка не захватывала его языком. Карюха видела, что это непорядок, и поворачивалась так, чтобы подставить дочери набрякший, чуть поламывающий, ноющий сосок. Наконец молоко было выцежено и из него. Благодарная Карюха ласково коснулась мордой куцевого хвоста Майки, перекинула тело с правой задней ноги на левую и тихо задремала.

Майка же приступила к открытию мира. А он был велик и бесконечно разнообразен. Если бы жеребенок понимал человеческий язык, я охотно предложил бы ему свои услуги в качестве экскурсовода. Сейчас Майка подняла голову и смотрела на высокий плетень, где только что объявилось странное существо, увенчанное розовым гребешком, а под гребешком у него торчало что-то длинное и горбатое. Существо встряхнулось, выгнуло шею и издало пронзительно громкий и очень испугавший Майку крик. Мне хотелось успокоить Майку, сказать ей, что это наш кочет Петька, он хоть и задирист и грозен, но только для соседских петухов, а жеребенку пугаться его нечего. И свинья, которая под тем же плетнем выкопала себе канаву и зарылась в ней больше чем наполовину, также не столь страшна, как могло показаться Майке. Хрюканье ее не означает угрозы кому бы то ни было, а просто свинье приятно лежать в прохладе, и урчит она от великого удовольствия — стало быть, пребывает в самом добром расположении духа. А маленькие серые комочки, копошащиеся у ног Майки, есть не что иное, как воробышки. Сейчас они выклевают то, что не смогло перевариться в Карюхином брюхе, — зернинки овса, проса или ячменя. Было бы вовсе глупо бояться их. А Майка пугливо косилась в их сторону, перебирала тонкими ногами и всхрапывала, прижимаясь поплотнее к матери. И вот сейчас вздрогнула она понапрасну, поскольку ничего страшного не произойдет оттого, что неподалеку от Петьки на

плетень уселась невесть откуда взявшаяся сорока. Если кому и надо остерегаться, так это моей матери, поскольку хитрая стрекотунья определенно нацеливалась на сплетенное из соломы куриное гнездо, где с минуты на минуту должно раздаться оглашенное кудахтанье, возвещавшее о том, что снесено яйцо. Сорока — большая охотница до куриных яиц. На Майку она устремилась плутовским своим зраком постольку, поскольку еще вчера ничего подобного не видала на нашем подворье, и теперь подумывала, не усложнит ли это новое существо задуманное ею предприятие. Меня, который только и мог реально угрожать ей, сорока, судя по всему, не заметила, поскольку я был прикрыт Карюхой и ее дочерью. Но не объяснишь же всего этого Майке, которая дивилась всему и всего боялась. Еще совсем-совсем недавно ничего этого не было, она была одна, окруженная теплом и глубоким мраком. Откуда же взялось все это?

Майка вроде бы думала минуту-другую, потом энергично вскинула голову и в радостном недоумении звонко и сочно заржала прямо на солнце. Карюха очнулась и тихо, успокаивающе откликнулась ей, как бы говоря: «Не волнуйся, глупая, все идет так, как надо».

Майка успокоилась, замотала мягким, шелковисто-бархатным хвостом и, как бы вспомнив что-то крайне срочное и неотложное, заторопилась под материно брюхо. Ткнулась мордой так сильно, что Карюха недовольно прижала уши и приподняла немного правую ногу — совсем как большая овца.

В избе события развивались так, как им и полагалось развиваться. Под столом перекачивалась опорожненная четверть. Теперь она всем мешала, и ее с неосознанным презрением отталкивали ногами: известное дело, любая посудина оценивается настолько, насколько она полна. На столе, посередине, на красном, стало быть, месте, уже водружена такая же четверть, с той лишь существенной разницей, что последняя была только что начата. Говоря о том о сем, мужички не забывали ласкать ее посветлевшими, омаслившимися очами. Будь и эта пустой, она оказалась бы по соседству с первой, а оживление за столом резко пошло бы на убыль. К тому времени, правда, число участников застолья сильно поредело. Первым, как всегда, вышел из строя Спирька. Для того чтобы оказаться на полу, ему понадобился всего лишь один стакан. Теперь он лежал бочком, ловко подстелив под голову обе сложенные лодочкой руки, а по морщинам его лица, откуда-то от полуоткрытых губ, счастливейшая улыбка погнала в разные стороны светлые лучики.

— Готов, — только и было сказано в его сторону.

Удалились домой дед Михаил, дядя Пашка и дядя Петруха. С ними все, кто принадлежал к их семьям. Оставались братья Звонаревы, Сергей и Максим, глуховатый церковный сторож

Иван Морозов, посуливший еще на материной свадьбе десяток молодых, да так и не исполнивший до сей поры своего великодушного намерения. При случае мать напоминала ему про то, Иван виновато ахал и охал, обещался затра же «принести целый мешок этих куренок», но почему-то не приносил. После такого напоминания на какое-то время он вовсе не появлялся в нашем доме, но держался не больше недели, потом приходил опять и опять обещал куренок. Сейчас мать уже не говорила ему о них. Охваченная семейной нашей радостью, пожалуй, более других, она была добра к гостям до крайности. Пожалела даже Спирьку — осторожно приподняла его голову и подложила подушку. Для оставшихся подала третью сковороду картошки, поджаренной на свином сале. И вновь предпочтение Михайле: сковорода поставлена перед самым его носом, так, что другим мужикам приходилось далеко тянуться рукою, чтобы подцепить кусочек сала либо картошки. Михайла не догадывался отодвинуть от себя жаркое, чтоб оно было доступно всей компании.

В то время, когда братья Звонаревы свое участие в застолье ограничили молчаливо-терпеливым ожиданием очередной чарки, отец и Михайла, уткнувшись друг в друга лбами, воздвигали фантастические планы, так или иначе связанные с рождением Майки. Только и слышалось: «Вот подрастет Майка...» Оказывается, в степном селении Турки у Михайлы был хороший друг-приятель, а у приятеля — рысак, какого по всему Нижне-Волжскому краю не сыщешь. И вот когда подрастет Майка, Михайла уговорит своего турковского друга, чтобы тот за сходственную цену подпустил своего Лысого к Майке. И тогда-то явится потомство невиданной красоты и цены. И ежели не будет колхозов (о них на ту пору говорили все чаще и все настойчивее), отец выйдет в настоящие люди — так уж уверял Михайла. План его был прост, а потому и заманчив: Карюху, конечно, отец продаст, поскольку стара, купит в помощь Майке доброго меринка монгольской породы, выносливого и так же, как Карюха, неприхотливого в кормах, Майка останется производителем: ее дело — ежегодно приносить по одному породистому жеребенку, а дело моего отца — продавать их за высокую цену богатым людям на Баландинской ярмарке.

— Заживешь ты, Микола, не хуже купца!

— Да брось ты, Михайла, куда уж нам, — скромничал отец, а у самого скулы покраснели, глаза еще больше увлажнились, рука неуверенно держала стакан, лоб покрылся испариной, рыжие волосы прилипли к нему мокрыми кисточками.

У матери, стоявшей у печки со сковородником, дрожали губы.

Во дворе Майка продолжала осваиваться с обстановкой. Ни петух, ни свинья, зарывшаяся в сырую землю под плетнем, ни со-рока, которую я все время отпугивал, ни воробьи уж не пугали ее.

Решив, очевидно, что бояться ей нечего, Майка обежала раза два вокруг матери, затем круги ее стали расширяться, и вот она уже понеслась по двору, высоко выбрасывая задние и передние ноги. Карюха встревоженно следила за ней и, видя, что Майка определенно увлеклась и это может кончиться большими неприятностями для нее (налетит с разбегу на кол), громко и повелительно заржала.

Майка послушно вернулась к матери и сейчас же ткнулась мордой под ее брюхо.

Порядок был таким образом восстановлен.

Я так же, как и Карюха, глаз не сводил с Майки, готовый в любой миг поднять тревогу, если б жеребенку что-либо угрожало.

8

Недели через две Карюху опять поставили в оглобли. Она вошла в них более чем неохотно. Знала, что так оно и будет, но не ожидала, что это произойдет так скоро. Когда отец подошел к ней с ее стареньким, обшарпанным хомутом, она задрала морду как можно выше. Карюха и прежде поступала так, когда ее запрягали, помнила по тем разам, что это не избавит ее от упряжки, и все-таки задирала голову. Раньше хозяин стукнул бы кулаком по ее ноздрям, но теперь не сделал этого, а только выругался тихо, про себя, подпрыгнул и с трудом протолкнул хомут в утолщенном у глазниц месте. Майка вертелась рядом, мешала отцу затянуть супонь, он шлепал ее ладонью по широкому, раздвоенному заду, отгонял.

— Папанька, возьми меня с собой,— попросил я.

— Полезай в телегу.

Отец попытался было оттеснить Майку от Карюхи и загнать в конюшню. Но это ему не удалось. Тогда он махнул рукой, сел на телегу рядом со мной и мы поехали. Майка путалась под ногами матери, то забегала вперед, то жалась к оглоблям так, что, того и гляди, угодит под колеса. Отец потихоньку подхлестывал ее кнутом, Майка испуганно шарахалась в сторону или забегала опять вперед под морду Карюхи. В конце концов она приноровилась и скакала рядом с Карюхой по правую сторону, не мешая матери исполнять ее обязанности.

Мы ехали смотреть хлеба. Было воскресенье. Утро туманное, безветренное. Взошедшее солнце не скоро сорвало с земли белесое покрывало росы. Было прохладно, дышалось хорошо, вольготно — и нам и Карюхе с Майкой. Перед Майкой открывались удивительные вещи. Она впервые увидела, что мир огромен и великолепен и что, кроме нее и ее матери, в мире этом обитает множество других существ. Только сейчас Карюхе пришлось остановиться

и пропустить мимо нас коровье стадо; Майке при этом пришлось натерпеться страху: коровы шли так близко, что страшные их рога едва не задевали Майку. Потом темною рекою проплыло стадо овец. На самой горе возвышалось что-то серое и неуклюже махало такими же серыми крыльями — ветряная мельница. Но Майка не знала, что мельница — это мельница, коровы и есть коровы, овцы и есть овцы. Охваченная любопытством, она глядела во все стороны и совсем забыла, что ей пора бы уж пососать, ткнуться в теплое материное вымя. В одном месте Майка с ужасом увидела прямо под своими ногами что-то пестрое и живое. Это пестрое взмахнуло крыльями, жестко захлопало ими и полетело прямо на восходящее солнце.

— Это же стрепет, дурочка. Чего ж ты испугалась так? — ласково пробормотал отец, наклонившись и пошлепав Майкину спину.

У первой нашей делянки остановились. Отец отпустил чересседельник, ослабил подпругу, и Карюха сейчас же потянулась к пырею, седоватому от росы. Майка решила последовать ее примеру, но у нее поначалу ничего не получалось. Ноги оказались слишком длинными, и Майка не смогла дотянуться мордой до травы. В конце концов она сообразила, что надо пошире расставить передние ноги, и тогда все получится. Мне было до слез смешно глядеть, как судорожными рывками морда жеребенка наклонялась все ниже и ниже и как она ткнулась, наконец, в траву и не знала, что с нею делать, и как задние, еще более длинные и неуклюжие ее ноги, напружинившись, дрожали струною.

Когда тронулись дальше, большой переполох наделал зайченок. Его вынесла нелегкая от межи прямо на дорогу так неожиданно, что не только Майка перепугалась насмерть, но и мы с отцом вздрогнули, а потом, смеясь над своим страхом и пытаясь таким образом скрыть, затушевать друг перед другом неловкость, заорали, заулюлюкали вослед серому, который с перепугу не догадался даже свернуть в сторону и скрыться во ржи, а так и чесал прямо перед нами полевой дорогой. У Дубового оврага Карюха вдруг остановилась и, вспрядывая ушами и всхрапывая, долго глядела куда-то вправо от нас. Отец погонял ее, а Карюха не слушалась. Майка терлась о хомут, прижималась к материной груди. Отец не утерпел и ударил Карюху кнутом — только после этого она тронулась, но уши ее по-прежнему сторожко вспрядывали. За Дубовым оврагом лошадь успокоилась, жеребенок тоже, и дальнейший осмотр хлебов продолжался почти без всяких приключений. Правда, то в одном, то в другом месте дорогу перебежали пестрые суслики, но их не пугалась даже Майка: после стрепета и зайчонка могли разве ее испугать суслики?

Папанька мой пребывал сейчас в том редком состоянии душевного равновесия и благорасположения, когда его можно было по-

просить о чем угодно, и он не откажет. Я попросил вожжи. Он передал их мне охотно, а сам принялся сооружать козью ножку таких размеров, что ее хватило до самого дома. Затянувшись, он выпустил через ноздри, кольцо за кольцом, предлинную синеватую цепочку дыма и запел песню, какую всегда певал на поле:

Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.

Песнь была длинная до бесконечности, и ее также хватило бы до самого села. Но отец оборвал ее где-то на половине, потому что навстречу ехал мужик и впереди него бежала большая собака. Отец знал, что она наверняка бросится на Майку, та от страха поскачет в сторону, собака, ободренная этим, устремится за нею, будет хватать Майку за хвост, за ноги и, чего доброго, еще покалечит. Я видел, как лицо моего отца побледнело, по скулам ворохнулись желваки. Приказав мне покрепче держать вожжи, он спрыгнул с телеги и побежал навстречу незнакомому мужику. Остановил его на полпути, там они о чем-то договорились. Я видел, как мужик свернул влево, отъехал подальше от дороги и остановился. Собака, не приметив жеребенка, убежала еще дальше. Мы миновали опасное место и уж под гору рысью помчались в направлении села.

Майка скакала рядом с Карюхой, и скок ее был широк, свободен и размашист — так что она еще сдерживала себя, чтобы не оказаться впереди матери.

Дома нас встретила новость. Приходили сваты и предупредили, что ждать могут лишь до покрова, а не до будущей осени, как хотел отец.

— Что их так прищипило? — спросил отец, сердито глядя на мать, будто она была в заговоре со сватами. — Не продам же я теперь вот Майку? Они что, с ума посходили все? Где Настенька?

Но сестра наша вовремя убралась из дому: боялась отцова гнева. Под горячую руку он мог бы и выпороть невесту. А что могла поделаться Настенька? Вчерашней ночью жених сказал ей, что ждать больше не может, мать и отец торопят его, сами они уже старые и им к уборочной нужна помощница: вспахали и посеяли они страсть как много.

— Вот подрастет Майка... — начала было сестра.

Но он нетерпеливо и зло перебил ее:

— Майка, Майка!.. Я не на Майке, чай, женюсь, а на тебе!..

Настенька прикусила губу, чтобы не расплакаться, глянула на него и еще больше испугалась: в темных его глазах — ночью они были чернее черного — полыхали недобрые огоньки.

— Что с тобою? — спросила она.

— Да я ничего... Тятка с мамкой торопят. Жизни от них никакой нету...

— Ну, миленький, ну... уговори их как-нибудь... хочешь, я попрошу папаньку...

А теперь вот и не решилась попросить — убежала. Отец, однако, сам догадался сходить к будущим сватам. Пропадал он там долго, до полуночи. Вернулся под хмельком и совсем веселый.

— Уговорил. Погодят до будущей осени, — сообщил матери.

— Слава тебе, заступница, пресвятая наша богородица! — зашептала мать. — Успеем хоть какое-никакое приданое припасть, опять же постель. Сундук-то вон пустой. Ни подушек, ни одеяла, ни простыней — ничегошеньки нету, срам-то какой. Одна, скажут, дочь, и ту не смогли справиться.

— Ну, ты... разошлась! Нишкни у меня, а то!..

Нужда брала нашу семью в жестокие клещи. Неизбежно придет зима, а на всех троих сыновей приходились одни валенки и один овчинный пиджак со множеством разного рода и размера заплат на нем. Ленька и Санька школу забросили совсем. Ленька, правда, сделал это даже с удовольствием. Наука явно не находила с ним общего языка. Особенно не давались ему стихи, а их надо было заучивать наизусть, а потом декламировать перед всем классом. Твердит, твердит, бывало, сердешный, зубрит до звона в висках, до помрачения в глазах, а придет в школу — вылетят, улетучатся куда-то, все до единой строчки. Два или три года Ленька задержался в одном классе — кажется, четвертом. Я уж догнал его, начали ходить в школу вместе. Ленька указал мне парту позади себя, с тем чтобы при случае смог я незаметно подсказать ему забытый стих. Начнет декламировать и сейчас же остановится. Энергичными жестами посылает свои SOS, даже кулак показывает мне за своей спиной: чего же, мол, ты молчишь? Давай выручай! Я шептал одну строку, но это было ему как мертвому припарки. Ленька повторял за мною, не расслышав как следует, безбожно перевирали текст и, остановленный учителем, умолкал до конца урока. В классном журнале против его имени ставился «неуд», грустный, вечный и привязчивый, как судьба. Не удивительно поэтому, что Ленька расстался со школой без малейшего сожаления. Потому-то ему пришлось против шерсти слова отца, сказанные в последние дни, когда все мы собрались за обеденным столом:

— Ничего. Вот вырастет Майка, укрепим малость, оправимся, и Ленька опять пойдет в школу.

Все самые смелые и радужные упования в нашей семье так или иначе связывались с Майкой. Выходит, что на ее долю выпадало сделать всех нас счастливыми. Сестра должна выйти замуж за любимого, Ленька — закончить учебу, Санька — сделаться нако-

нец обладателем собственных сапог и собств...ого пиджака, я — ходить в школу, не опасаясь, что завтра придется ее оставить, мать не будет вздыхать денно и нощно, не зная, во что нас всех обути и одеть, чем напоить, накормить. Отцу не придется подниматься среди ночи, чтобы погасить тяжкие думы злейшим, оглушающим дымом махорки (он готовил ее сам; когда рубил в деревянном корытце, все мы, чихая и кашляя, выбегали на улицу), не нужно будет унижаться перед старшим и младшим братьями, всякий раз прося у них в помощь Карюхе Буланку или Ласточку.

Майка между тем росла, резвилась, радовалась земному бытию и не подозревала, что давно уже, еще задолго до своего рождения, стала главным действующим лицом в медленно разворачивающейся человеческой драме.

9

И Карюха вроде догадывалась, какое чудо произвела на свет. То барское, сановное, что нами было примечено в ней вскоре после свидания с Огоньком, теперь развилось до крайней степени. Она уже не довольствовалась луговой или лесной травой — ей подавай душистый степной пырей да вперемешку с клевером или люцерной. Ела она медленно, капризно прижмурив глаза и недовольно вздыхая. Когда насыпали овса, не выражала звонким, приветливым ржанием бурной радости, как делала прежде, а припадала к нему вялыми, снисходительными губами. Карюхе явно не нравилось, что мы часто подходим к ее дочери-аристократке, и она с удовольствием перекусала бы нас всех, только боялась последствий, которые трудно предугадать. Ежели по этой причине в отношении нас, людей, Карюха принуждена была сохранять сдержанность, то в отношении прочих обитателей двора — коровы, овец, свиньи, собаки — была недвусмысленно строга. Крайне немила ей была наша чушка по кличке Хавронья — особа нахальная и бесцеремонная. Мало того что по вечерам она приладилась таскать из конюшни для своего гайна свежую солому, Хавронья еще пыталась завязать близкие отношения с Майкой. Подхалимски хрюкая, она подходила к жеребенку, с трудом подымала рыло, вознамериваясь почесать влажным, резиной упругости пяточком Майкино брюхо. Так как конечная цель Хавроньи не была известна Карюхе, последняя считала своим долгом принять предупредительные, упреждающие действия. Осторожно, незаметно для Хавроньи поворачивалась к ней задом и давала ей такого пинка, что бедная Хавронья катилась кубарем, оглашая двор пронзительным, сверлящим душу визгом. Корова и овцы предусмотрительно держались подальше от Карюхи и Майки. Что же касается лохматого пса Жулика, то, проявив как-то излишнее любопытство, он

незамедлительно познакомился с Карюхиным копытом, и от знакомства этого у Жулика сохранились не самые лучшие воспоминания. Наука, однако, пошла на пользу Жулику. Теперь и он старался находиться на почтительном расстоянии от Майки и ее капризной матери.

Днем Карюху выводили поpastись на только что скошенные луга. Для Майки это было большим праздником. Там на нее накатывало какое-то безумие. Черной молнией носилась она по траве и была похожа на большую птицу, не видно было, как ее длинные ноги касались земли,— думалось, что Майка летела вместе с огромным зеленым ковром-самолетом. Порою она убегала так далеко, что Карюха подымала голову и беспокойно следила за дочерью. А когда Майка уж очень увлекалась беготней, Карюха подзывала ее залиvistым, требовательным и строгим ржанием. Майка приближалась к матери, и та делала ей своего рода внушение: слегка покусывала, будто трепля, Майкины уши.

Кто-нибудь из нас двоих, я или Санька, непременно находился в это время при Карюхе, а точнее сказать, при Майке. Это было весьма ответственное поручение, и беспечный, легкомысленный Ленька, вполне естественно, был освобожден от него: он собрал бы на лугах друзей-приятелей и затеял какую-либо веселую возню, а про жеребенка забыл бы вовсе. Санька и я считались в семье исполнительными и дисциплинированными. Отец и мать внушали Леньке, чтобы он брал с нас пример.

Не знаю, как Санька, а я втайне завидовал среднему брату: веселый Ленька живет на белом свете, как птица вольная,— куда захочет, туда и полетит. Его, правда, за это частенько секли, но взамен он получал свободу — высшее вознаграждение, о котором мог бы мечтать человек!

Леньку на селе любили. Друзей у него было больше, чем у кого бы то ни было. В последнее время экзекуции, которым из профилактических соображений подвергали Леньку, резко увеличились в числе. Дело в том, что, связавшись с компанией великовозрастных парней, Ленька к немалому количеству разных своих пороков прибавил еще один, может быть, самый опасный, а значит, и наказуемый в первую очередь: он пристрастился к картежной игре. Играл не в дурака, не в козла, не в другие какие-то безобидные игры, а в очко, то есть на деньги. Как и следовало ожидать, к добру это не привело. Для того чтобы играть в деньги, сначала надо их иметь. А чтобы иметь, надобно где-то и каким-то образом добыть. На честный способ добычи рассчитывать не приходилось (попроси у отца — немедленно высечет), значит, оставался способ нечестный.

Однажды Ленька подсмотрел, что вечером в хлев к нам вместе с нашими овцами вбежала приبلудная, чужая. Ночью с одним из своих сподвижников по картежным баталиям Ленька открыли

хлев, изловили там овцу, уволокли на зады, где их ждала подготовленная загодя подвода. Утром мать выпускала овец в стадо. По обыкновению пересчитывала. Мы слышали всполошный ее вскрик:

— Батюшки, а где же ярчонка-то? Чужую вижу, а своей нету!.. Батюшки родимые, неужто украли?!

Ленька, вернувшись перед рассветом, спал на повети, на душистом, чуть подсохшем сенце сном великого праведника. Светлые волосы его, немного вьющиеся, разбросались по сену, ноги также раскиданы, а рубаха задралась к самому подбородку — поза самая свободная, непринужденная. Кто бы мог подумать, глядя на спящего этого добра молодца, что еще несколько часов назад он занимался вещами весьма предосудительного свойства? В семье один я догадывался, что исчезновение овцы, должно быть, связано с картежной игрой Леньки, но я любил Леньку и не мог ни с кем поделиться своею догадкой. А совесть свою я успокаивал тем, что в конце концов Ленька умыкнул свою, а не чужую овцу. Можно ли это назвать воровством? Тайна, однако, на то и тайна, чтобы о ней в конце концов узнали. Был изобличен и Ленька. Порку на этот раз он получил преотменную. Она ли вразумила его или то, что вскоре Ленька вступил в комсомол и целиком отдался новой страсти — заделался постоянным и притом наиактивнейшим участником самодеятельного драматического кружка при нардоме, изображал на сцене героев гражданской войны, — но про карты он забыл. Отец хоть и не был в восторге от нового увлечения сына, но оно все-таки было куда лучше, чем первое. Тем не менее охрану Майки не доверял Леньке по-прежнему.

Нам с Санькой доверял. Как я ни старался, но именно при моем дежурстве случилось такое, от чего семья наша надолго погрузилась в какое-то полуомертвевшее, сумеречное состояние, а отец чуть было не наложил на себя руки.

Резвясь на лугах, Майка не заметила в траве выбоины, провалилась в нее левой передней ногой и с полного ходу кувыркнулась через голову. Потрясенный всем этим, я не мог стронуться с места, сердце мое заколотилось так-то уж часто и испуганно, что я порыбьи ловил воздух и думал, что вот сейчас задохнусь и помру. А когда пришел в себя, Майка уже поднялась, но левую переднюю ногу держала на весу. Что было духу я помчался домой, увидел отца во дворе починяющим телегу и сквозь слезы, которые катились из глаз моих несдержимо, закричал:

— Папанька, миленький! Родненький мой папанька!.. Я ни-сколечко не виноватый!.. Па-па-нька!!!

Отец подскочил ко мне и начал тормошить:

— Что, что случилось, говори же скорее!..

— Папанюшка-а-а!.. Май... Майка ногу сломала!

— Врешь, подлец!!! Убью поганца!..

Отец побагровел, лицо у него перекосилось. Он забегал, засуетился по двору, не зная, что делать. Забыл даже дать мне затрепину. Потом со стоном побежал со двора. Я же забрался на чердак, забился там в темный угол, укрылся сухими, прошлогодними, сильно пахнувшими дубовыми вениками. Слышал позже, как отворились ворота и как в них тяжело вошла Карюха. Потом до меня доносились голоса, то тревожные, то вроде бы тихие, успокаивающие. Я просидел до утра, не откликнулся на отчаянные крики матери: «Мишка! Мишка-а-а!.. Пресвятая богородица, ну где же он!.. Не ровен час угодит в колодезь!.. Ну, милосердная, за что же нам такая напасть?!»

Обнаружил меня Санька — он знал все мои укромные места. Стащил с подволоки и впихнул в избу. Я юркнул на печку и уж оттуда увидел отца, сидящего за столом вместе с двоюродным моим братом Иваном. Нюхая ржаную корочку, Иван говорил спокойным, умиротворяющим голосом:

— Ничего, дядя Коля, не беспокойся. Перелому нет, потянула маленько жилу ваша Майка. С недельку похрамает, а потом все и пройдет.

Всю неделю, пока Майка хромала, мы жили молчаливо и отчужденно. За столом почти не разговаривали, только мать с отцом перекидывались короткими и сухими замечаниями. Настенька на какое-то время не ходила даже на гулянья, не виделась со своим милым и, похоже, очень страдала.

На седьмой день после происшествия я проснулся оттого, что солнечный луч, просунувшись сквозь стекло, уткнулся мне прямо в нос и сильно защекотал. Еще не зная в точности, что меня могло ожидать в то утро, я тем не менее почувствовал, что ожидало меня нечто удивительное, важное и обязательно радостное. Подгоняемый нетерпеливым желанием узнать про то немедленно, сейчас вот, сию минуту, я метнулся к окну, выходящему во двор, и увидел Майку. Она как бы принимала солнечные ванны. Вскидывалась высоко на задних ногах, потом переносила все свое гибкое, прекрасное тело на передние, затем ложилась, кувыркалась и лягалась, будто отбивалась от назойливых солнечных лучей. Потом вскочила на ноги, отряхнулась и поскакала по двору, делая большие и правильные круги, словно кто-то невидимый стоял посреди двора и, погоняя, держал жеребенка на длинном, также невидимом поводке. Главное же состояло в том, что Майка нисколько не хромала! С этою-то вестью я вскочил в кухню и заорал:

— Майка выздоровела! Она не хромает!

Я не видел, какое действие произвели мои слова, ибо на то у меня не было времени. Словно вытолкнутый кем-то очень сильным, я в один миг оказался во дворе. За мною выбежали и все остальные. Встали веселым, улыбающимся рядом у сеней. Мать плакала. При горе, при радости ли великой она на всякий случай

всегда плакала. Майка словно бы поняла, что люди вышли полюбоваться ею, наддала, помчалась, поскакала по двору пуще, то и дело взлягивая и издавая ослепительно звонкое, озорное ржание.

Карюха стояла у телеги и перебирала губами привянувшую, теплую от упавшего на нее солнышка травку. Судя по тому, как она сладко жмурилась на свою дочь, как ровно носила боками, Карюха была счастлива. Только Майка, как и прежде, не знала, не ведала про то, что подарила в это утро и матери своей и людям, стоявшим сейчас у сеней, может быть, самый лучший день в их жизни, скупой на радости.

10

Поскольку на душе у всех было светло, просторно и солнечно, то и захотелось праздника. И теперь лишь вспомнили, что завтра троица — после пасхи, пожалуй, самый красный день. В суть его вникали немногие и уж, во всяком случае, не мы, дети, хотя и были главными и добровольными участниками его, как, впрочем, и большинства других праздников. В троицын день на ребятишек возлагалась веселая обязанность — натаскать из лесу ветвей и травы, а взрослые украсят ими избу снаружи и изнутри. Еще накануне по всем дорогам и тропам, ведущим из лесу, в направлении села катятся зеленые шары — это дети волокут покрытые густой, молодой листвой ветви пакленника, самого клена, липы, ясеня, осины, вяза, дуба, черемухи, калины. Лес как бы сам шел к людям в гости. Лесные запахи самых разных и немыслимых оттенков, соединившись, создавали упоительный букет, который мог бы удовлетворить самого строгого, самого утонченного знатока. Сладостно-терпкий животворящий дух на целую неделю поселялся в крестьянских избах. Первые два дня он был малость тяжело-ват, влажен, затем, по мере того как увядали травы и листья, он становился парным, настойным, дурманящим, так что слегка кружилась голова. А когда листья высохнут, а трава сделается похожей на молодое сено, запах станет эфирно-легким и особенно душистым — нельзя было надышаться им.

На троицу в наш дом впервые появился жених. Сестра увидела его еще из окна и выдворила нас из горницы. При этом сама она вспыхнула так, что мочки ее ушей сделались похожими на большие капли крови. Я, пятась к двери, успел все-таки заметить это, а также то, что сестра наша вмиг преобразилась, стала красивой, непохожей и странно чужой. Последнее ощущение было неожиданно и неприятно мне. Я не нашел ничего лучшего, как показать сестре язык. В ответ получил шлепка по спине. В кухне чуть было не ткнулся в живот человека, для которого должен скоро стать шу-

рином. Смутившись, отскочил в сторону и только уж потом поднял на него глаза. Видать, нелегко далось парню решение отправиться прямо на дом к своей невесте: в ту пору в нашем селе этого не делали, не принято было. Ежели у его возлюбленной горели одни лишь мочки ушей, то у него жарким полымем полыхало все лицо. Мать наша поспешила на выручку:

— Проходи, проходи, голубок, в горницу!.. А ты что устался, лупоглазый? Марш на улицу!

Я не замедлил воспользоваться этой командой, ибо она была как нельзя кстати: мне и самому было стыдно оставаться в доме. Я убежал к своему дружку Кольке Полякову, а с ним вместе — в их сад, самый никудышный из всех возможных садов, — надобно быть великим патриотом, чтобы внушить другим людям, что лучшего сада на свете и быть не может. Колька убедил нас, его приятелей, в этом. Вот и сейчас, насилу продравшись сквозь частый и колючий терновник, мы взобрались на сучкастую яблоню определенно дикого происхождения, ибо она одаривала людей ежегодно обилием прекислых и прежестких плодов. Должно быть, и Сократ не принимал своего яда с таким спокойствием, как мы поедали яблоки с Колькиной яблони: скулы сворачивало набок, из глаз градом сыпались слезы.

Сейчас яблоки только что завязались, от нечего делать мы решили пофилософствовать.

— Скажи, Колька, добежишь ты до краю света ай нет? — спрашивал я. (Однажды я сделал такую попытку, побежал к горизонту, бежал, бежал, но дальше Березового пруда не убежал: страшно стало.)

— А ты хлеба дашь?

— Откель же я тебе возьму? Много, поди, надо?

— Две краюхи, — живо ответил Колька.

— Вот подрастет Майка... — начал было я с привычных для всей нашей семьи слов, но Кольку это не устраивало: он был голоден уже сейчас.

— Ждать не могу, — решительно объявил он и предложил в свою очередь: — Хочешь, я прямо-таки отсюда прыгну на землю? А?

— Не прыгнешь!

— Прыгну!

— Не прыгнешь!

— Прыгну! Спорим?

— Спорим! А на что?

— На кусок хлеба. Ладно?

— Ладно, — согласился я не совсем уверенно: кусок хлеба лежал в моем кармане, и Колька, видать, нацелился на него.

Едва условившись, он махнул вниз. И сейчас же заорал благим матом. Я спрыгнул с яблони. Колька лежал на спине и дрыгал но-

гою: из пятки цевкою свистала густая черная кровь. От страха я чуть было не пустился наутек. Но тревога за товарища взяла верх. Прижав палец к тому месту, откуда била кровь, я ощутил жесткую головку шипа от сухого терновника. Благо ногти мы никогда не стригли (откусывали, когда они уж слишком были длинны), я подхватил колючку, точно клещами, и единым рывком выдернул ее из пятки. Колька взревел пуще, но я ему показал виновницу его страданий, и он постепенно успокоился. Честно заслуженный и торжественно врученный ему мною кусок хлеба вернул приятелю великолепное расположение духа. Он даже мне отщипнул малую толику.

— Ешь и ты,— сказал великодушно.

Съели мигом. Корочку Колька упрятал в штаны.

— Для сестренки,— сообщил доверительно.

Немного помолчали, почему-то погрустнев.

Потом Колька спросил:

— А дашь покататься на Майке?

— Она ж еще жеребенок,— сказал я.

— Когда подрастет, чай.

— Тогда дам.

— А у нас нету лошади,— сказал Колька.

— Я знаю. И я обязательно дам тебе покататься на Майке.

Решив так, мы опять повеселели, мир раздвинулся для нас, стал опять просторен, и мы уж не знали, есть ли у него край и можно ли дойти до края света.

11

К осени принарядилась не Настенька, а наша Майка. К первому снегу она окончательно сменила темные свои одежды на светло-серые в крупную крапинку, с сизовато-голубым отливом, и не Настенька, а Майка по наряду своему была похожа на невесту. Теперь на добрую четверть она была выше Карюхи, как-то сразу и много потерявшей в виду породистой дочери. Прежде не бросавшаяся в глаза людям Карюхина неуклюжесть стала вдруг очевидною для всех. И большое, отвислое пузо; и короткие, искривленные работой ноги; и жиденькая, обшарпанная метелка хвоста; и такая же реденькая, куцая грива, из которой как я ни старался, но все-таки не смог выдрать репы; и расплюснутые, с большими трещинами копыта; и короткая шея, оттянутая тяжелой головой книзу; и, наконец, сама голова с глубокими провалами надглазий и неряшливо оттопыренной губой — все это рядом с точеным, словно бы изваянным телом Майки выглядело удручающе некрасиво. Но, как всякая мать, все отдавшая своему детищу, сама-то Карюха едва ли была удручена.

Все чаще на нашем подворье появлялся дед. Иногда он не заходил в избу — постоит посередь двора, полюбуется юной рысачкой, похлопает по крутой лебединой шее, по высокому раздвоенному задку, поласкает всю добрыми своими глазами и тихо удалится. Карюха при этом не стронется с места, не прижмет ревниво ушей, не скосит злых глаз в сторону бывшего своего и старого хозяина. Она и прежде дружила с ним: дед никогда не бил ее, даже кричал не громко и не сердито, когда они отправлялись с извозом в Саратов. Теперь ей и вовсе было радостно оттого, что он ласкает Майку и явно радуется, что умница Карюха уродила этакое чудо.

А вот дядя Петруха и дядя Пашка перестали бывать у нас. Может, потому, что много своих забот появилось после раздела, может, еще почему-либо, откуда нам знать? Отец навещал братьев, а они его нет. Приходил от них всегда чем-то встревоженный, сумрачно-молчаливый, и ровное настроение возвращалось к нему лишь после того, как побывает возле Майки. Теперь большую часть дня отец проводил на дворе, починял плетни, калитку, ворота, которые уже успели съесть мою смазку и вновь невыносимо скрипели, когда их закрываешь. Когда в нашем доме случались девичьи посиделки, отец не ложился спать до самого утра, был все время на улице, за каждым приходящим и уходящим закрывал ворота. На другой день ругал дочь, говорил ей, чтоб эти посиделки были последними, что ему надоело с вечера до рассвета коченеть из-за ее хахалей, — он употреблял последнее обидное словцо во множественном числе, хотя отлично знал, что «хахаль» у Настеньки один, который к тому же был ее нареченный. Настенька молчала, прикусив нижнюю губу, и думала о том, чтобы поскорее прошла эта зима проклятая, потом лето и наступила осень, на которую определена свадьба. Со вчерашней вечерки это ее желание сделалось особенно сильным и нетерпеливым: раза два или три она перехватила короткий, как молния, и такой же жгучий и тревожный взгляд одной из своих подруг, брошенный в сторону ее, Настенькиного, жениха, и тот, сваренный этим взглядом, сидел тихий и виновато-неприкаянный. У Настеньки больно зануло внутри, сердце испугалось и застучало часто-часто, и она готова была кинуться на подругу и повыдирать ей глаза. Отцу сказала коротко и зло:

— Ну и пускай не приходят. Больно мне нужно!

С того дня, прихватив вязанье или прялку, она сама уходила куда-то до самого почти утра, и отец опять не мог заснуть, опасаясь того, как бы дочь, возвратясь, не забыла замкнуть ворота. Спустив босые ноги с кровати, подолгу курил, глухо кашлял, отхаркиваясь прямо на пол. Собака могла бы дать сигнал, но ее не было: переманил к себе старший брат, и теперь Жулик стерег его двор. Через каждые два часа, накинув на плечи полушубок и су-

нув ноги в валенки, отец выходил проведать Карюху и Майку. Минут десять вел с ними беседу. Он говорил, а Карюха с Майкой слушали. С холодных небес на них смотрели далекие звезды и тоже вроде бы слушали, молчаливо-загадочные. Нередко в поздний такой и студеный час раздавался петушиный крик, внезапный и оглушительно громкий в ночной тиши, так что Майка вздрагивала и высоко вскидывала голову, а отец, матюкнувшись потихоньку, уходил в избу.

Провожал Настеньку до дому ее жених. У ворот они останавливались, и надолго, потому что ни он, ни она не решались сделать первый шаг, чтобы расстаться до следующего вечера. Он был и нежеланным, тот шаг, и очень нелегким, потому как каждый из них боялся обидеть друг друга. «Уйду вот сейчас, а он осерчает, скажет: разлюбила», — думает Настенька. «Как же я скажу «ступай, уже поздно», ежели я этого не хочу, а она уйдет и решит про себя, что я нарочно проводил ее поскорее, а это ведь неправда, я не хочу, чтобы она уходила», — думает он и стискивает ее руку в своей так сильно, что Настенька ойкает и целует его в жесткую холодную щеку.

Так они стоят и час и другой, иногда и три часа подряд стоят, пока не озябнут вовсе и пока от сеней не послышится предупреждающе-грозное покашливание нашего отца.

Настенька быстрой тенью мелькала мимо него, бегом и неслышно ныряла в горницу, раздевалась и с головой укрывалась одеялом. До нас, спящих на полу под маминой шубой, едва слышно доносилось ее частое и легкое дыханье.

Недавно отец придумал для себя новое занятие, которое нам, его сыновьям, было забавным, но которое определенно не нравилось Майке. Во-первых, пришла пора отваживать ее от Карюхиного вымени: Майка явно злоупотребляла любовью своей матери, прикладывалась к ее соскам так часто, что Карюха тощала на глазах у всех. Великовозрастной баловнице молока требовалось много, а где его возьмет Карюха в зимнюю-то пору, когда на корма хозяин делается скуп и прижимист? Из шкуры ежа, заготовленной еще в конце лета, отец смастерил для Майки намордник, и теперь, когда Майка совалась под брюхо матери, та, больно уколовшись, взлягивала, кусала Майку, уходила от нее подальше. Майка поначалу не понимала, что же случилось с матерью, делала вторую и третью попытку «прилабуниться» к Карюхиным титкам, но та еще злее отгоняла ее от себя.

Через каких-нибудь пять-шесть дней Майка как бы уж совсем забыла про молоко, а Карюха стала вновь понемногу набирать в теле. Отец решил сделать следующий шаг — познакомить поближе Майку с уздой и поводком. Узда была ненастоящая, смастерил ее отец из веревок, из них же связал длинный поводок. После намордника из ежовины узда не испугала жеребенка, зато

первое прикосновение кнута было для него и диким и непонятным. Майка встрепенулась, взмыла вверх, упала на спину, вскочила, взвилась на задних ногах еще и еще, отчаянно закрутила головой, заржала звонко, испуганно и жалобно. Карюха, уведенная на такой случай в конюшню и запертая там, отозвалась тревожно-негодующим, беспокойным криком — слышно было, как она мечется по конюшне, толкается, бьет копытами в дверь. Но ничто не могло помочь Майке. Обоженная кнутом сызнова, она рванулась с места и поскакала по двору, фонтаном выбросив серебристый хвост.

— Так, так, Майка! — весело заорал отец. — Так, умница!.. Давно бы так! А ну, наддай ищю-о-о! Ищю, Маюшка-аа!

Подхлестнутая этим воплем пуще, чем кнутом, Майка не скакала, а летела по воздуху — во всяком случае, мы, глазеющие и орущие вместе с отцом, не видели, чтобы ее тонкие длинные ноги касались земли. Может, оттого не видели, что земля была покрыта молодым и белым снегом, над которым рысачка летела, как над облаком. Облако из снежной пыли клубилось под ее копытами, быстро отставало, не успевая ни рассеяться, ни опуститься вниз, так как бег Майки по кругу все ускорялся и сделался под конец уже бешеным. Лишь на двадцатом кольце она стала уставать, полет ее становился тяжелее, медленнее, ноги с вязким хрустом вонзались в истоптанный, потемневший вдруг снег. Отец уже не махал кнутом, не кричал; примолкли и мы ожидаючи, что же будет дальше. Сделав еще два или три круга, Майка остановилась. Набирая повод, отец подтянул ее к себе, поцеловал в дымящиеся, горячие ноздри, пошлепал по мокрой, потемневшей шее и медленно повел по двору.

Майка покорно побрела за хозяином.

К саням с кормами она подошла по-взрослому. Ела спокойно, размеренно и деловито. Карюха, выпущенная из конюшни, какое-то время с удивлением глядела на Майку, которая, словно бы обидевшись, не обращала на мать никакого внимания. Карюха тем не менее принялась слизывать с Майки первый трудовой ее пот — он был солон, терпок, остро пахуч и очень знаком Карюхе, будто то был ее собственный пот.

Так-то и закончилась для Майки сладкая пора детства.

В избе за обеденным столом семья долго обсуждала это событие. Все сделались необычайно говорливы, хотя за едой в крестьянских семьях «баить» и не полагалось. Но сидеть тихо в тот день никто не мог. И говорили все сразу — шумно хвалили Майку, ее явно рысачьи качества, ее длинные ноги. Майкино сильное сердце, которое уже через одну-две минуты после сумасшедшей скачки стало стучать так, как стучало всегда — ровно и глухо.

— Добрая будет кобылка! — сказал подытоживая отец, а

сам уж искал веселыми глазами все понимающие и потому уклоняющиеся глаза матери.

— Ну, ну, мать... по такому случаю...

— Да разве мне жалко?.. Придут, окаянные. Они ж, как псы, ее, поганую, за версту чуют...

Мать подошла к печке, опустилась на колени, отдернула занавеску и вытащила из подпола четверть, седую от пыли. Отец нетерпеливо кричал и потирал руки. Никто не глянул в окошко и потому не видел, как к нашему дому, поспешая, приближались две широко знакомые фигуры: впереди — Михайла, позади, чуть приотстав, вприпрыжку, поддерживая одной рукой ватные штаны, — Спирька.

Какой леший подсказал им ту минуту, но они явились тютелька в тютельку, и мать поняла, что над ее четвертью вновь нависла смертельная опасность. И оттого, что поделать уж ничего нельзя было — четверть не спрячешь, гости обметают у порога снег с вальяных сапог, — она глубоко и горестно вздохнула, прикрыла за чем-то лицо платком и отошла к печке, которая дышала на окно широко раскрытым горячим ртом. Окно насмешливо глядело на мать, по нему бежали веселые слезинки.

Отец, однако, делал вид, что донельзя рад дорогим гостям, и не совсем ласково давал нам, ребятишкам, понять, чтобы мы убралась из-за стола и освободили место для Михайлы со Спирькою.

12

Опять «гуляли» до позднего вечера. А вечером, проводив гостей, отец взобрался на печку и мгновенно заснул. Позже рассказывал, что снилась ему прабабушка Настасья, умершая в двадцать первом еще году, она тормозила его и говорила очень памятно: «Догуляешь ты, Миколай, до большой беды, попомни мое слово!» Отец просыпался и припоминал, где он и что с ним. Сообразив где, вновь засыпал и вновь видел прабабушку Настасью. Потом будто ему чудилось ржание Карюхи — далекое и слабое. Усталый, замутненный мозг пытался зацепиться за этот звук, но не смог, другие нечеткие звуки и видения закрывали, приглушали его. А за окном была стужа и ветрено. В печной трубе, прикрытой неплотно, постанывал ветер, тот самый, что выдают за домового. Свесившаяся с крыши соломинка, свиристя, расчеркивала так и сяк замерзшее стекло. В доме спали все. Мы, братья, как всегда, на полу, на соломе, прикрытые шубой матери. Как всегда, Ленька и Санька, лежавшие справа и слева от меня, стаскивали друг с друга эту шубу, год от года как бы укорачивающуюся. Я был посредине и потому не страдал от яростного, молчаливого состязания старших братьев. В конце концов успокоились и они, поворачива-

ясь ко мне то спиною, то пузом. Мать перемыла посуду, подмела пол в кухне, напоила тельца, недавно появившегося на свет, немного попряла, потом и она затихла, прилегла на широкой лавке прямо под образами и заснула.

Где-то за полночь вернулась с посиделок сестра. Она не сразу вошла в избу, долго прощалась со своим милым. На этот раз, поскольку на улице все сильнее и сильнее разыгрывалась метель, он вошел вслед за нею во двор. Отыскалось для них затишье у сеней, в уголке. Присели на низеньком крылечке, прижались поплотнее друг к дружке, забыли про все на свете: и про стужу, и про поздний час, и про строгого нашего батьку, который мог выйти в любую минуту и турнуть их, и про Карюху с Майкой, которые стояли у саней посередь двора и чего-то там хрумкали.

Всему, однако, бывает конец. Распрощались. Настенька окунулась в черноту сеней, захлопнула за собою дверь, щелкнула задвижкой. Хмельной, все еще слыша теплоту ее губ и ее дыхания, он быстро пошагал со двора. Где тут ему помнить про ворота?! Он и не заметил, что ворота остались позади. Угнув голову, испытывая ни с чем не сравнимую радость борьбы молодого, упругого сильного тела с непогодой, со снежною замятью, он то ли кричал, то ли напевал какую-то песнь без слов, и снежные колючки, встретившись с горячим, как раскаленная плита, лицом, мгновенно таяли и не могли остудить, погасить невидимого пламени.

Карюха будто только и ждала такого часу. Северный ветер доносил до нее с гумен запахи сена, овсяной соломы, мякины, сухой березки. Отчего бы и не полакомиться всем этим, коль подвернулся подходящий случай? Негромко поманив Майку, Карюха решительно направилась к воротам, отбросила их мордой подальше в сторону и вышла на улицу. Она хорошо знала, куда надо пойти. Позавчера еще заметила початый стожок у ближайшей риги — это от него навевало сейчас пряным, дразнящим запахом.

Майка, оказавшись на воле, дважды обежала вокруг матери, радостно взвизгнула и помчалась к гумнам. Голос ее сейчас же был принят на лесной окраине, и там, смешиваясь с поземкою, заматались, замельтешили живые тени. Стремительно перемещаясь, они вплотную приблизились к гумнам и замерли там в ожидании.

Сигнал был дан лишь тогда, когда Карюха и Майка, прильнув к стожку, принялись мирно и спокойно выдергивать из него по прядке сена и неспешно пережевывать.

Силы стаи были распределены с невероятной быстротою. Вожак уже находился на заснеженной белой папаше стога, четыре сильных зверя заняли позицию позади лошадей, в неглубокой, наполовину засыпанной снегом канаве, — вожак и эти четверо должны были атаковать молодую, два волка оставались в засаде,

а еще двум поручалась Карюха — ее надобно было изолировать, отвлечь от дочери. После того как расстановка сил была завершена, последовал второй сигнал, поданный матерым. Звонко лязгнув клыками, сам он прыгнул на спину жеребенку, в ту же секунду три волка ухватили за хвост, а один вцепился в шею. Майка кинулась от стога, заржала сдавленно. Три пары мощных когтистых лап упирались в снег, пахали его — поутру все мы видели эту длинную борозду, прочерченную вглубь до самой земли, а в длину метров на пятьдесят. Карюха кинулась было на помощь, призывно и сполошно заржала, но на нее тоже навалилось четверо. Майка, напрягаясь изо всех сил, тащила за собою волков. При этом один висел у нее на шее, а вожак, точно наездник, сидел на спине, вонзив клыки в холку. Видать, по его же сигналу волки выпустили хвост из своих зубов. Не ожидавшая этого Майка споткнулась, упала в снег, и на том борьба ее окончилась. Из распоротого в одно мгновение горла и брюха на жутко белый снег рекою хлынула освобожденная кровь...

Поскольку главная цель была достигнута, Карюху оставили в покое. Искусанная, она несколько раз подбегала к нашему дому, но никто не вышел, не поспешил ей на помощь. Потом-то кое-кто из нас признавался, что слышал ее ржание, да не придавал ему никакого значения: Карюха могла просить еды или питья, в таких случаях к ней не всегда выходят, рассудив: «Ничего не случится, подождет утра».

Узнав о беде, отец впал в беспамятство, мать принялась хлопотать возле него, сестра, которая первой поняла, отчего произошло такое, спряталась за голландкой и тряслась там, точно в лихорадке. Мы, братья, побежали на гумны. У крайней риги стоял ее хозяин, поправлял порушенный ночью стожок. Завидя нас, сказал хмуро:

— Не уберегли рысачку... Эх вы, хозявы!..

Вокруг гумна, на пространстве до полуверсты, можно было отчетливо видеть следы разыгравшейся ночной трагедии. Но нам было не до того. Мы сразу же увидели Майку — вернее сказать, то, что осталось от Майки. Остались же шкура, порванная во многих местах, да голова, да серебристый хвост, чуть приметный на белом, местами покрапленном кровью полотне снега, да красные, похожие на свежие обручи, ребра, да длинные ноги с маленькими отполированными копытами...

Потрясенные этим зрелищем, мы сейчас же вернулись домой, ибо понимали, что самое страшное может произойти там. И мы не ошиблись. Пришедший в себя отец быстро сообразил, по чьей вине случилась катастрофа, и с бешеным ревом устремился в переднюю. Мать — за ним. Она успела первой добежать до Настеньки, потому как знала где та укрывалась. Мы еще на улице слышали душераздирающий вопль женщин и ругань отца, до

того жуткую, что описать ее попросту невысказуемо. Отец хлестал и мать и Настеньку ремнем с тяжелой медной пряжкой, тем самым ремнем, который сохранился у него от солдатчины, и в лице у него не было ни кровинки. Втроем мы все-таки оттащили его, связали веревкой, уложили в кровать. К вечеру он тихо попросил:

— Развяжите меня.

Санька и Ленька развязали. Свесив ноги с кровати, опустив низко голову, отец долго сидел недвижно. Мы не знали, о чем он думал тогда, а думал он вот о чем: «Не тот ли матерый задрал Майку, которого я не убил там, у Дальнего переезда?» И еще он думал о том, что все кончено, все зашло в тупик и нет никакого просвета. И самое лучшее, что он может сейчас сделать, так взять вот эту веревку...

Он поднял с полу веревку и вышел во двор, где, поджав пораненную ногу, понуро стояла Карюха. Прошел мимо нее и направился в конюшню. Не торопясь приладил веревку к перерубу, с которого прошлой весной я наблюдал за жеребой Карюхой. Сделал петлю, опробовал ее, подтянулся раз и другой руками, убедился, что достаточно крепка. Однако следующего, последнего шага сделать не успел: помешал я. Почуввав неладное, подталкиваемый тревогой, я выскочил во двор и, не увидя там отца, почему-то сразу же устремился в конюшню. Там-то я и заорал так, что меня слышали в избе:

— Папанька, не нада-а-а-а!!!

С неделю мы не отходили от отца. Дежурили возле него по очереди. Сестра куда-то исчезла. Мать сказала: уехала наша Настенька в какой-то далекий город к каким-то далеким родственникам. Жених ее запил с горя и с горя же, наверное, скоро женился на Настенькиной подруге, может быть, на той, которую Настенька тайно ревновала. Карюха тихо хворала. Приходили дед, отцовы братья, утешали. Отец молчал. Один лишь раз по его исхудавшему и сильно состарившемуся лицу чуть заметной тенью мелькнуло что-то вроде оживления — это когда Михайла, пришедший тоже посочувствовать нашему горю, сообщил мимоходом:

— Тебе-то что горевать, Миколай?.. Ты, чай, бедняк, скоро в колхоз затешешься... Уполномоченный, говорят, днями нагрянет из району... А каково мне? Жеребца отберут, меня окулачат — и крышка!..

— Какой еще колхоз? — вяло и будто безразлично спросил отец.

— Вроде не знаешь?! — осерчал Михайла. — Но ты не радуйся. Тебе тоже будет несладко. Скажут, мужики, нарошно стравил волкам рысачку, чтоб в артель не отдавать. И тоды доказывай, что...

Михайла быстро ушел. А последние его слова словно бы пригнули отцову голову до самого пола. Но так он сидел недолго. Вышел во двор, походил возле Карюхи, вернулся в избу, прихватил ножницы, карболки и опять вышел. Выстриг тщательно возле раны шерсть у Карюхи, смазал незажившую рану карболкой, плотно перевязал мешковиной.

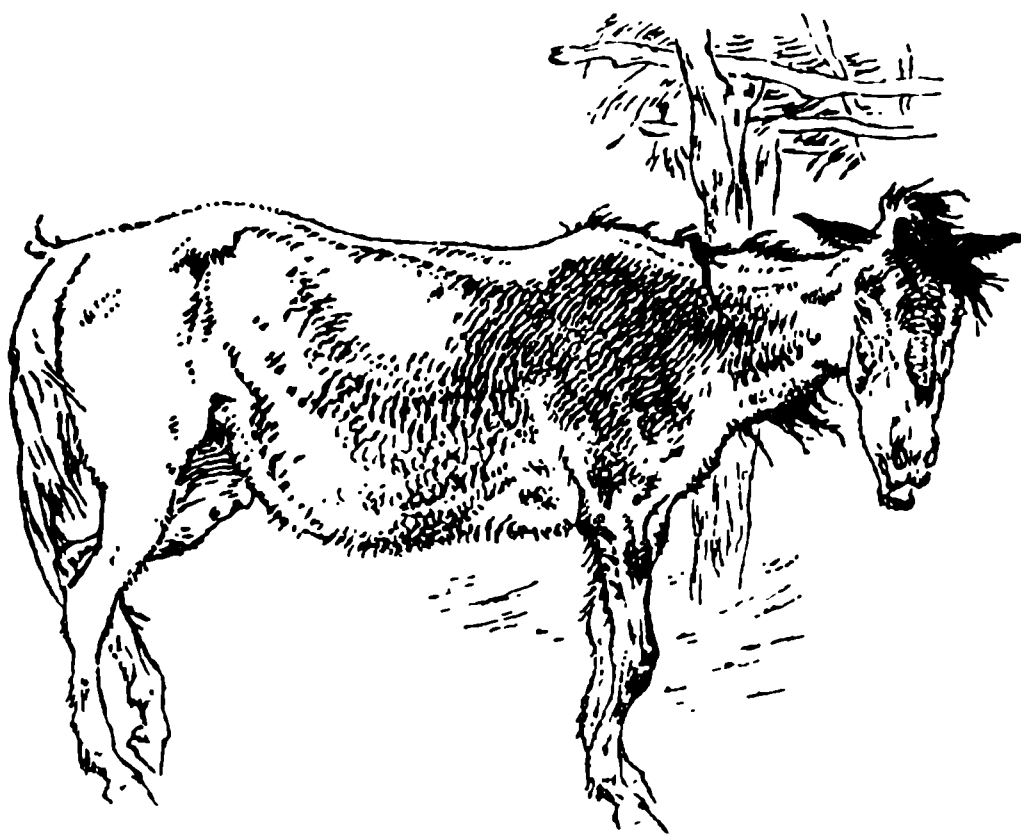
Встал впереди кобылы, долго глядел в ее сумеречные глаза, порывисто обнял шею и, всхлипнув, хрипло вымолвил:

— Ничего, ничего, Карюха, мы еще того... мы, знаешь...

Северный ветер, дувший целую неделю уступил вдруг место западному. Скоро по небу поплыли низкие, набрякшие влагою тучи, из них полетел на землю лохматый, мягкий снег. Он крупными белыми пятнами падал на Карюху, отец глядел на нее сквозь опущенные снегом ресницы, свет дробился: и в призрачном этом свете, облепленная белым, Карюха молодела на его глазах и была странно и удивительно похожей на Майку. И опять с губ отца сорвалось несвязное:

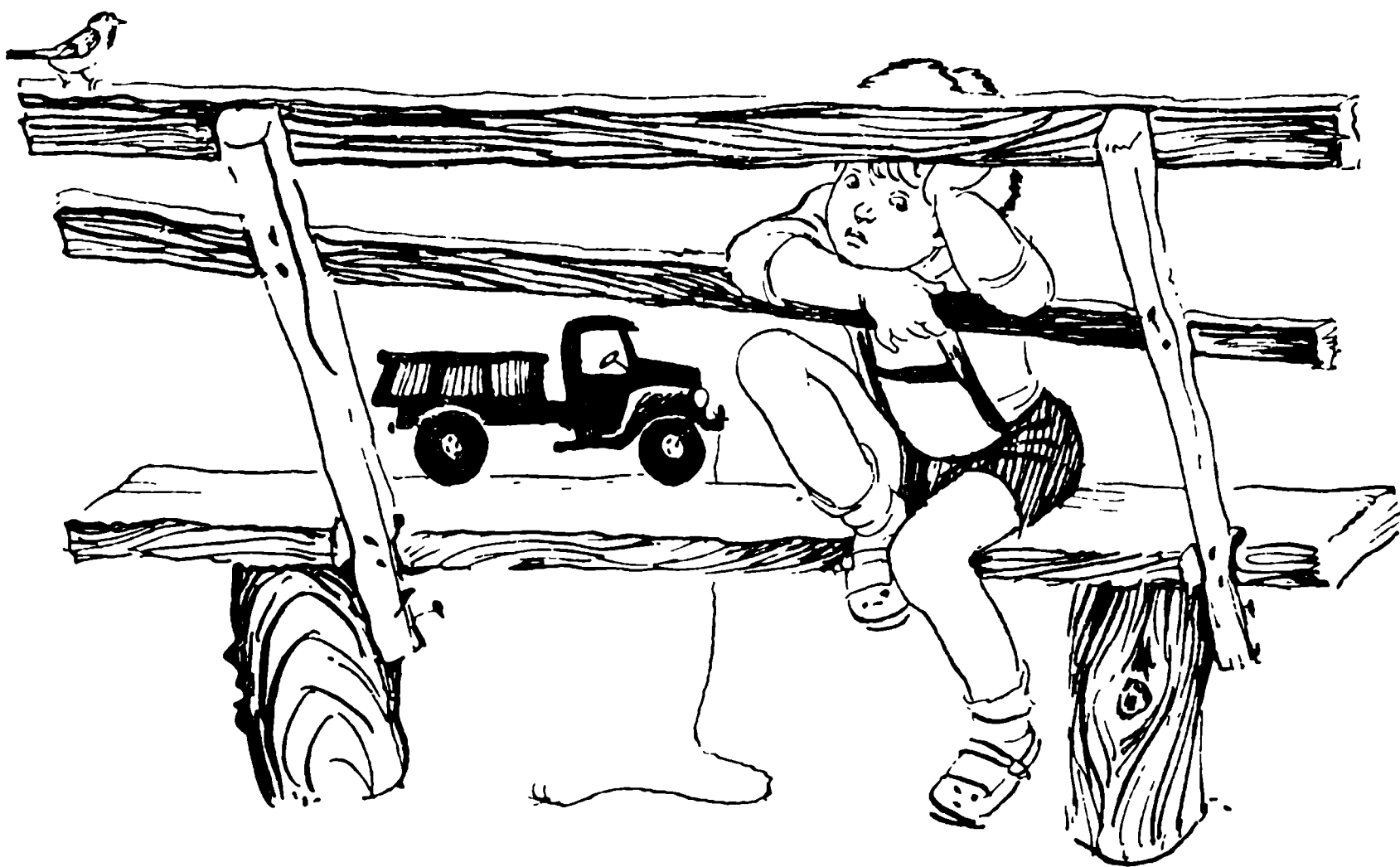
— Ничего, милая... Мы еще того... мы еще...

1967 г., с. Монастырское
Саратовской области



ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ

*Д*ЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ



«ОН ЖИВОЙ И СВЕТИТСЯ...»

Однажды вечером я сидел во дворе, возле песка, и ждал маму. Она, наверно, задерживалась в институте, или в магазине, или, может быть, долго стояла на автобусной остановке. Не знаю. Только все родители нашего двора уже пришли, и все ребята пошли с ними по домам и уже, наверно, пили чай с бубликами и брынзой, а моей мамы все еще не было...

И вот уже стали зажигаться в окнах огоньки, и радио заиграло музыку, и в небе задвигались темные облака — они были похожи на бородатых стариков...

И мне захотелось есть, а мамы все не было, и я подумал, что, если бы я знал, что моя мама хочет есть и ждет меня где-то на краю света, я бы моментально к ней побежал, а не опаздывал бы и не заставлял ее сидеть на песке и скучать.

И в это время во двор вышел Мишка. Он сказал:

— Здорóво!

И я сказал:

— Здорóво!

Мишка сел со мной и взял в руки самосвал.

— Ого! — сказал Мишка. — Где достал? А он сам набирает песок? Не сам? А сам сваливает? Да? А ручка? Для чего она? Ее можно вертеть? Да? А? Ого! Дашь мне его домой?

Я сказал:

— Нет, не дам. Подарок. Папа подарил перед отъездом.

Мишка надулся и отодвинулся от меня. На дворе стало еще темнее.

Я смотрел на ворота, чтоб не пропустить, когда придет мама. Но она все не шла. Видно, встретила тетю Розу, и они стоят и разговаривают и даже не думают про меня. Я лег на песок.

Тут Мишка говорит:

— Не дашь самосвал?

— Отвяжись, Мишка.

Тогда Мишка говорит:

— Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!

Я говорю:

— Сравнил Барбадос с самосвалом...

А Мишка:

— Ну, хочешь, я дам тебе плавательный круг?

Я говорю:

— Он у тебя лопнутый.

А Мишка:

— Ты его заклеишь!

Я даже рассердился:

— А плавать где? В ванной? По вторникам?

И Мишка опять надулся. А потом говорит:

— Ну, была не была! Знай мою доброту! На!

И он протянул мне коробочку от спичек. Я взял ее в руки.

— Ты открой ее,— сказал Мишка,— тогда увидишь!

Я открыл коробочку и сперва ничего не увидел, а потом увидел маленький светло-зеленый огонек, как будто где-то далеко-далеко от меня горела крошечная звездочка, и в то же время я сам держал ее сейчас в руках.

— Что это, Мишка,— сказал я шепотом,— что это такое?

— Это светлячок,— сказал Мишка.— Что, хорош? Он живой, не думай.

— Мишка,— сказал я,— бери мой самосвал, хочешь? Навсегда бери, насовсем! А мне отдай эту звездочку, я ее домой возьму...

И Мишка схватил мой самосвал и побежал домой. А я остался со своим светлячком, глядел на него, глядел и никак не мог наглядеться: какой он зеленый, словно в сказке, и как он хоть и близко, на ладони, а светит, словно издалека... И я не мог ровно дышать, и я слышал, как стучит мое сердце, и чуть-чуть колело в носу, как будто хотелось плакать.

И я долго так сидел, очень долго. И никого не было вокруг. И я забыл про всех на белом свете.

Но тут пришла мама, и я очень обрадовался, и мы пошли до-

мой. А когда стали пить чай с бубликами и брынзой, мама спросила:

— Ну, как твой самосвал?

А я сказал:

— Я, мама, променял его.

Мама сказала:

— Интересно! А на что?

Я ответил:

— На светлячка! Вот он, в коробочке живет. Погаси-ка свет!

И мама погасила свет, и в комнате стало темно, и мы стали вдвоем смотреть на бледно-зеленую звездочку.

Потом мама зажгла свет.

— Да, — сказала она, — это волшебство! Но все-таки как ты решился отдать такую ценную вещь, как самосвал, за этого червячка?

— Я так долго ждал тебя, — сказал я, — и мне было так скучно, а этот светлячок, он оказался лучше любого самосвала на свете.

Мама пристально посмотрела на меня и спросила:

— А чем же, чем же именно он лучше?

Я сказал:

— Да как же ты не понимаешь?! Ведь он живой! И светится!..

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре:

— ...Тайное всегда становится явным.

И когда она вошла в комнату, я спросил:

— Что это значит, мама: «Тайное становится явным»?

— А это значит, что если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают, и будет ему стыдно, и он понесет наказание, — сказала мама. — Понял?.. Ложись-ка спать!

Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал: как же так получается, что тайное становится явным? И я долго не спал, а когда проснулся, было утро, папа был уже на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать.

Сначала я съел яйцо. Это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши.

— Ешь! — сказала мама. — Безо всяких разговоров!

Я сказал:

— Видеть не могу манную кашу!

Но мама закричала:

— Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый Кощей! Ешь. Ты должен поправиться.

Я сказал:

— Я ею давясь!..

Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила:

— Хочешь, пойдем с тобой в Кремль?

Ну еще бы... Я не знаю ничего красивее Кремля. Я там был в Грановитой палате и в Оружейной, стоял возле царь-пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме:

— Конечно, хочу в Кремль! Даже очень!

Тогда мама улыбнулась:

— Ну вот, съешь всю кашу, и пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни — ты должен съесть все до дна!

И мама ушла на кухню.

А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой. Потом посолил. Попробовал — ну, невозможно есть! Тогда я подумал, что, может быть, сахару не хватает? Посыпал песку, попробовал... Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю.

А она к тому же была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело, я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно! Ведь в Кремль-то хочется! И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, почти все можно съесть! Я взял и вылил в кашу всю баночку, а когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли и остановилось дыхание, и я, наверно, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол.

В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась:

— Ну что за Дениска, что за парень-молодец! Съел всю кашу до дна! Ну, вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль! — И она меня поцеловала.

В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал:

— Здравствуйте! — и подошел к окну, и поглядел вниз. — А еще интеллигентный человек.

— Что вам нужно? — строго спросила мама.

— Как не стыдно! — Милиционер даже стал по стойке «смирно». — Государство предоставляет вам новое жилье, со всеми удобствами и, между прочим, с мусоропроводом, а вы выливаете разную гадость за окно!

— Не клевете. Ничего я не выливаю!

— Ах не выливаете?! — язвительно рассмеялся милиционер. И, открыв дверь в коридор, крикнул: — Пострадавший!

И к нам вошел какой-то дяденька.

Я как на него взглянул, так сразу понял, что в Кремль я не пойду.

На голове у этого дяденьки была шляпа. А на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах, и на левой брючине. Он как вошел, сразу стал заикаться.

— Главное, я иду фотографироваться... И вдруг такая история... Каша... мм... манная. Горячая, между прочим, сквозь шляпу и то... жжет... Как же я пошлю свое... фф... фото, когда я весь в каше?

Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник, а уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась.

— Извините, пожалуйста,— сказала она тихо,— разрешите, я вас почищу, пройдите сюда!

И они все трое вышли в коридор.

А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал:

— Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным!

Мама посмотрела мне в глаза. Она смотрела долго-долго и потом спросила:

— Ты это запомнил на всю жизнь?

И я ответил:

— Да.

ЗЕЛЁНЧАТЫЕ ЛЕОПАРДЫ

Мы сидели с Мишкой и Аленкой на песке около домоуправления и строили площадку для запуска космического корабля. Мы уже вырыли яму и уложили ее кирпичом и стеклышками, а в центре оставили пустое место для ракеты. Я принес ведро и положил в него аппаратуру.

Мишка сказал:

— Надо вырыть боковой ход — под ракету, чтоб, когда она будет взлетать, газ бы вышел по этому ходу.

И мы стали опять рыть и копать и довольно быстро устали, потому что там было много камней.

Аленка сказала:

— Я устала! Перекур!

А Мишка сказал:

— Правильно.

И мы стали отдыхать.

В это время из второго парадного вышел Костик. Он был такой худой, прямо невозможно узнать. И бледный, нисколько не загорел. Он подошел к нам и говорит:

— Здорóво, ребята!

Мы все сказали:

— Здорóво, Костик!

Он тихонько сел рядом с нами.

Я сказал:

— Ты что, Костик, такой худущий? Вылитый Кошей...

Он сказал:

— Да это у меня корь была.

Аленка подняла голову:

— А теперь ты выздоровел?

— Да,— сказал Костик,— я теперь совершенно выздоровел.

Мишка отодвинулся от Костика и сказал:

— Заразный небось?

А Костик улыбнулся:

— Нет, что ты, не бойся. Я не заразный. Вчера доктор сказал, что я уже могу общаться с детским коллективом.

Мишка придвинулся обратно, а я спросил:

— А когда болел, больно было?

— Нет,— ответил Костик,— не больно. Скучно очень. А так ничего. Мне картинки переводные дарили, я их все время переводил, надоело до смерти.

Аленка сказала:

— Да, болеть хорошо! Когда болеешь, всегда что-нибудь дарят.

Мишка сказал:

— Так ведь и когда здоровый, тоже дарят. В день рождения или когда елка.

Я сказал:

— Еще дарят, когда в другой класс переходишь с пятерками.

Мишка сказал:

— Мне не дарят. Одни тройки! А вот когда корь, все равно ничего особенного не дарят, потому что потом все игрушки надо сжигать. Плохая болезнь корь, никуда не годится.

Костик спросил:

— А разве бывают хорошие болезни?

— Ого,— сказал я,— сколько хочешь! Ветрянка, например. Очень хорошая, интересная болезнь. Я когда болел, мне все тело, каждую болячку отдельно зеленкой мазали. Я был похож на леопарда. Что, плохо разве?

— Конечно, хорошо,— сказал Костик.

Аленка посмотрела на меня и сказала:

— Когда лишаи, тоже очень красивая болезнь.

Но Мишка только засмеялся:

— Сказала тоже — «красивая»! Намажут два-три пятнышка, вот и вся красота! Нет, лишаи — это мелочь. Я лучше всего люблю грипп. Когда грипп, чаю дают с малиновым вареньем. Ешь сколько хочешь, просто не верится. Один раз я, больной, целую банку съел. Мама даже удивилась: «Смотрите, говорит, у мальчика грипп, температура тридцать восемь, а такой аппетит». А бабушка сказала: «Грипп разный бывает, это у него такая новая форма, дайте ему еще, это у него организм требует». И мне дали еще, но я больше не смог есть, такая жалость... Это грипп, наверно, на меня так плохо действовал.

Тут Мишка подперся кулаком и задумался, а я сказал:

— Грипп, конечно, хорошая болезнь, но с гландами не сравнить, куда там!

— А что? — сказал Костик.

— А то, — сказал я, — что, когда гланды вырезают, мороженого дают потом, для заморозки. Это почище твоего варенья!

Аленка сказала:

— А гланды от чего заводятся?

Я сказал:

— От насморка. Они в носу вырастают, как грибы, потому что сырость.

Мишка вздохнул и сказал:

— Насморк — болезнь ерундовая. Каплют чего-то в нос, еще хуже течет.

Я сказал:

— Зато керосин можно пить. Не слышно запаха.

— А зачем пить керосин?

Я сказал:

— Ну не пить, так в рот набирать. Вот фокусник наберет полный рот, а потом палку зажженную возьмет в руки и на нее как брызнет! Получается очень красивый огненный фонтан. Конечно, фокусник секрет знает. Без секрета не берись, ничего не получится.

— В цирке лягушек глотают, — сказала Аленка.

— И крокодилов тоже! — добавил Мишка.

Я прямо покатылся от хохота. Надо же такое выдумать. Ведь всем известно, что крокодил сделан из панцыря, как же его есть?

Я сказал:

— Ты, Мишка, видно, с ума сошел! Как ты будешь есть крокодила, когда он жесткий. Его нипочем нельзя прожевать.

— Вареного-то? — сказал Мишка.

— Как же! Станет тебе крокодил вариться! — закричал я на Мишку.

— Он же зубастый, — сказала Аленка, и видно было, что она уже испугалась.

А Костик добавил:

— Он сам же ест, что ни день, укротителей этих.

Аленка сказала:

— Ну да? — И глаза у нее стали как белые пуговицы.

Костик только сплюнул в сторону.

Аленка скривила губы:

— Говорили про хорошее — про гриба и про лишаев, а теперь про крокодилов. Я их боюсь...

Мишка сказал:

— Про болезни уже все переговорили. Кашель, например. Что в нем толку? Разве вот что в школу не ходить...

— И то хлеб,— сказал Костик.— А вообще вы правильно говорили: когда болеешь, все тебя больше любят.

— Ласкают,— сказал Мишка,— гладят... Я заметил: когда болеешь, все можно выпросить. Игру какую хочешь, или ружье, или паяльник.

Я сказал:

— Конечно. Нужно только, чтобы болезнь была пострашнее. Вот если ногу сломаешь или шею, тогда чего хочешь купят.

Аленка сказала:

— И велосипед?!

А Костик хмыкнул:

— А зачем велосипед, если нога сломана?

— Так ведь она прирастет! — сказал я.

Костик сказал:

— Верно!

Я сказал:

— А куда же она денется! Да, Мишка?

Мишка кивнул головой, и тут Аленка натянула платье на колени и спросила:

— А почему это, если вот, например, пожжешься, или шишку набьешь, или там синяк, то, наоборот, бывает, что тебе еще и наподдадут. Почему это так бывает?

— Несправедливость! — сказал я и стукнул ногой по ведру, где у нас лежала аппаратура.

Костик спросил:

— А это что такое вы здесь затеяли?

Я сказал:

— Площадка для запуска космического корабля!

Костик прямо закричал:

— Так что же вы молчите! Черти полосатые! Прекратите разговоры. Давайте скорей строить!!!

И мы прекратили разговоры и стали строить.

НАДО ИМЕТЬ ЧУВСТВО ЮМОРА

Один раз мы с Мишкой делали уроки. Мы положили перед собой тетрадки и списывали. И в это время я рассказывал Мишке про лемуру, что у них большие глаза, как стеклянные блюдечки, и что я видел фотографию лемура, как он держится за авторучку, сам маленький-маленький и ужасно симпатичный.

Потом Мишка говорит:

— Написал?

Я говорю:

— Уже.

— Ты мою тетрадку проверь,— говорит Мишка,— а я — твою.

И мы поменялись тетрадками.

И я как увидел, что Мишка написал, так сразу стал хохотать.

Гляжу, а Мишка тоже покатывается, прямо синий стал.

Я говорю:

— Ты чего, Мишка, покатываешься?

А он:

— Я покатываюсь, что ты неправильно списал! А ты чего?

Я говорю:

— А я то же самое, только про тебя. Гляди, ты написал: «Наступили мозы». Это кто такие — «мозы»?

Мишка покраснел:

— Мозы — это, наверно, морозы. А ты вот написал: «Натала зима». Это что такое?

— Да,— сказал я,— не «натала», а «настала». Ничего не попишешь, надо переписывать. Это все лемуры виноваты.

И мы стали переписывать. А когда переписали, я сказал:

— Давай задачи задавать!

— Давай,— сказал Мишка.

В это время пришел папа. Он сказал:

— Здравствуйте, товарищи студенты...

И сел к столу.

Я сказал:

— Вот, папа, послушай, какую я Мишке задам задачу: вот у меня есть два яблока, а нас трое, как разделить их среди нас поровну?

Мишка сейчас же надулся и стал думать. Папа не надулся, но тоже задумался. Они думали долго.

Я тогда сказал:

— Сдаешься, Мишка?

Мишка сказал:

— Сдаюсь!

Я сказал:

— Чтобы мы все получили поровну, надо из этих яблок

сварить компот.— И стал хохотать: — Это меня тетя Мила научила!..

Мишка надулся еще больше. Тогда папа сощурил глаза и сказал:

— А раз ты такой хитрый, Денис, дай-ка я задам тебе задачу.

— Давай задавай,— сказал я.

Папа походил по комнате.

— Ну слушай,— сказал папа.— Один мальчишка учится в первом классе «В». Его семья состоит из пяти человек. Мама встает в семь часов и тратит на одевание десять минут. Зато папа чистит зубы пять минут. Бабушка ходит в магазин столько, сколько мама одевается плюс папа чистит зубы. А дедушка читает газеты, сколько бабушка ходит в магазин минус во сколько встает мама.

Когда они все вместе, они начинают будить этого мальчишку из первого класса «В». На это уходит время чтения дедушкиных газет плюс бабушкино хождение в магазин.

Когда мальчишка из первого класса «В» просыпается, он потягивается столько времени, сколько одевается мама плюс папина чистка зубов. А умывается он, сколько дедушкины газеты, деленные на бабушку. На уроки он опаздывает на столько минут, сколько он потягивается плюс умывается минус мамино вставание, умноженное на папины зубы.

Спрашивается: кто же этот мальчишка из первого «В» и что ему грозит, если это будет продолжаться? Все!

Тут папа остановился посреди комнаты и стал смотреть на меня. А Мишка захохотал во все горло и стал тоже смотреть на меня. Они оба на меня смотрели и хохотали.

Я сказал:

— Я не могу сразу решить эту задачу, потому что мы еще этого не проходили.

И больше я не сказал ни слова, а вышел из комнаты, потому что я сразу догадался, что в ответе этой задачи получится лентяй и что такого скоро выгонят из школы. Я вышел из комнаты в коридор и залез за вешалку и стал думать, что если эта задача про меня, то это неправда, потому что я всегда встаю довольно быстро и потягиваюсь совсем недолго, ровно столько, сколько нужно. И еще я подумал, что если папе так хочется на меня выдумывать, то, пожалуйста, я могу уйти из дома прямо на целину. Там работа всегда найдется, там люди нужны, особенно молодежь. Я там буду покорять природу, и папа приедет с делегацией на Алтай, увидит меня, и я остановлюсь на минутку, скажу:

«Здравствуй, папа»,— и пойду дальше покорять.

А он скажет:

«Тебе привет от мамы...»

А я скажу:

«Спасибо... Как она поживает?»

А он скажет:

«Ничего».

А я скажу:

«Наверно, она забыла своего единственного сына?»

А он скажет:

«Что ты, она похудела на тридцать семь кило! Вот как скучает!»

А что я ему скажу дальше, я не успел придумать, потому что на меня упало пальто и папа вдруг прилез за вешалку. Он меня увидел и сказал:

— Ах ты, вот он где! Что у тебя за такие глаза? Неужели ты принял эту задачу на свой счет?

Он поднял пальто и повесил на место и сказал дальше:

— Я это всё выдумал! Такого мальчишки и на свете-то нет, не то что в вашем классе!

И папа взял меня за руки и вытащил из-за вешалки.

Потом еще раз поглядел на меня пристально и улыбнулся:

— Надо иметь чувство юмора,— сказал он мне, и глаза у него стали веселые-веселые.— А ведь это смешная задача, правда? Ну! Засмейся!

И я засмеялся.

И он тоже.

И мы пошли в комнату.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДЕНЬ

Несколько дней тому назад мы начали строить площадку для запуска космического корабля и вот до сих пор не кончили, а я сначала думал, что раз-два-три — и у нас сразу все будет готово. Но дело как-то не клеилось, а все потому, что мы не знали, какая она должна быть, эта площадка.

У нас не было плана.

Тогда я пошел домой. Взял листок бумажки и нарисовал на нем, что куда: где вход, где выход, где одеваться, где космонавта провожают и где кнопку нажимать. Это все получилось у меня очень здорово, особенно кнопка. А когда я нарисовал площадку, я заодно пририсовал к ней и ракету. И первую ступеньку, и вторую, и кабину космонавта, где он будет вести научные наблюдения, и отдельный закуток, где он будет обедать, и я даже придумал, где ему умываться, и изобрел для этого самовыдвигающиеся ведра, чтобы он в них собирал дождевую воду.

И когда я показал этот план Аленке, Мишке и Костику, им всем очень понравилось. Только ведра Мишка зачеркнул.

Он сказал:

— Они будут тормозить.

И Костик сказал:

— Конечно, конечно! Убери эти ведра.

И Аленка сказала:

— Ну их совсем!

И я тогда не стал с ними спорить, и мы прекратили всякие ненужные разговоры и принялись за работу. Мы достали тяжеленную трамбушку. Я и Мишка колотили ею по земле. А позади нас шла Аленка и подравнивала за нами прямо сандаликами. Они у нее были новенькие, красивые, а через пять минут стали серые. Перекрасились от пыли.

Мы чудесно утрамбовали площадку и работали дружно. И к нам еще один парень присоединился, Андрюшка, ему шесть лет. Он хотя немножко рыжеватый, но довольно сообразительный. А в самый разгар работы открылось окно на четвертом этаже, и Аленкина мама крикнула:

— Аленка! Домой сейчас же! Завтракать!

И когда Аленка убежала, Костик сказал:

— Еще лучше, что ушла!

А Мишка сказал:

— Жалко. Все-таки рабочая сила...

Я сказал:

— Давайте приналяжем!

И мы приналегли, и очень скоро площадка была совершенно готова. Мишка ее осмотрел, засмеялся от удовольствия и говорит:

— Теперь главное дело надо решить: кто будет космонавтом.

Андрюшка сейчас же откликнулся:

— Я буду космонавтом, потому что я самый маленький, меньше всех вешу!

А Костик:

— Это еще неизвестно. Я болел, я знаешь как похудел? На три кило! Я космонавт.

Мы с Мишкой только переглянулись. Эти чертенята уже решили, что они будут космонавтами, а про нас как будто и забыли.

А ведь это я всю игру придумал. И, ясное дело, я и буду космонавтом!

И только я успел так подумать, как Мишка вдруг заявляет:

— А кто всей работой тут сейчас командовал? А? Я командовал! Значит, я буду космонавтом!

Это все мне совершенно не понравилось. Я сказал:

— Давайте сначала ракету выстроим. А потом сделаем испытания на космонавта. А потом и запуск назначим.

Они сразу обрадовались, что еще много игры осталось, и Андрюшка сказал:

— Даешь ракету строить!

Костик сказал:

— Правильно!

А Мишка сказал:

— Ну что ж, я согласен.

Мы стали строить ракету прямо на нашей пусковой площадке. Там лежала здоровенная пузатая бочка. В ней раньше был мел, а теперь она валялась пустая. Она была деревянная и почти совершенно целая, и я сразу все сообразил и сказал:

— Вот это будет кабина. Здесь любой космонавт может поместиться, даже самый настоящий, не то что я или Мишка.

И мы эту бочку поставили на середку, и Костик сейчас же приволок с черного хода какой-то старый ничей самовар. Он его приделал к бочке, чтобы заливать туда горючее. Получилось очень складно. Мы с Мишкой сделали внутреннее устройство и два окошечка по бокам: это были иллюминаторы для наблюдения. Андрюшка притащил довольно здоровый ящик с крышкой и наполовину всунул его в бочку. Я сначала не понял, что это такое, и спросил Андрюшку:

— Это зачем?

А он сказал:

— Как — зачем? Это вторая ступень!

Мишка сказал:

— Молодец!

И у нас работа закипела вовсю. Мы достали разных красок, и несколько кусочков жести, и гвоздей, и веревочек, и протянули эти веревочки вдоль ракеты, и жестянки прибили к хвостовому оперению, и подкрасили длинные полосы по всему бочкинному боку, и много еще чего понаделали, всего не перескажешь. И когда мы увидели, что все у нас готово, Мишка вдруг отвернул краник у самовара, который был у нас баком для горючего. Мишка отвернул краник, но оттуда ничего не потекло. Мишка ужасно разгорячился, он потрогал пальцем снизу сухой краник, повернулся к Андрюшке, который считался у нас главным инженером, и заорал:

— Вы что? Что вы наделали?

Андрюшка сказал:

— А что?

Тогда Мишка вконец разозлился и еще хуже заорал:

— Молчать! Вы главный инженер или что?

Андрюшка сказал:

— Я главный инженер. А чего ты орешь?

А Мишка:

— Где же горючее в машине? Ведь в самоваре... то есть в баке, нет ни капли горючего.

А Андрюшка:

— Ну и что?

Тогда Мишка ему:

— А вот как дам, тогда узнаешь «ну и что»!

Тут я вмешался и крикнул:

— Наполнить бак! Механик, быстро!

И я грозно посмотрел на Костика. Он сейчас же сообразил, что это он и есть механик, схватил ведро и побежал в котельную за водой. Он там набрал полведра горячей воды, прибежал обратно, влез на кирпич и стал заливать.

Он наливал воду в самовар и кричал:

— Есть горючее! Все в порядке!

А Мишка стоял под самоваром и ругал Андрюшку на чем свет стоит.

И тут на Мишку полилась вода. Она была не горячая, но ничего себе, довольно чувствительная, и, когда она залилась Мишке за воротник и на голову, он здорово испугался и отскочил как ошпаренный. Самовар-то был, видать, дырявый. Он Мишку почти всего окатил, а главный инженер злорадно захохотал:

— Так тебе и надо!

У Мишки прямо засверкали глаза.

И я увидел, что Мишка сейчас даст этому нахальному инженеру по шее, поэтому я быстро встал между ними и сказал:

— Слушайте, ребя, а как же мы назовем наш корабль?

— «Торпедо»...— сказал Костик.

— Или «Спартак»,— перебил Андрюшка,— а то «Динамо».

Мишка опять обиделся и сказал:

— Нет уж, тогда «ЦСКА»!

Я им сказал:

— Ведь это же не футбол! Вы еще нашу ракету «Пахтакор» назовите! Надо назвать «Восток-2»! Потому что у Гагарина просто «Восток» называется корабль, а у нас будет «Восток-2»!.. На, Мишка, краску, пиши!

Он сейчас же взял кисточку и принялся малевать, сопя носом. Он даже высунул язык. Мы стали глядеть на него, но он сказал:

— Не мешайте! Не глядите под руку!

И мы от него отошли.

А я в это время взял градусник, который я утащил из ванной, и измерил Андрюшке температуру. У него оказалось сорок восемь и шесть. Я просто схватился за голову: я никогда не видел, чтобы у обыкновенного мальчика была такая высокая температура. Я сказал:

— Это какой-то ужас! У тебя, наверно, ревматизм или тиф. Температура сорок восемь и шесть! Отойди в сторону.

Он отошел, но тут вмешался Костик:

— Теперь осмотри меня! Я тоже хочу быть космонавтом!

Вот какое несчастье получается: все хотят! Прямо отбою от них нет. Всякая мелюзга, а туда же!

Я сказал Костику:

— Во-первых, ты после кори. И тебе никакая мама не разрешит быть космонавтом. А во-вторых, покажи язык!

Он моментально высунул кончик своего языка. Язык был розовый и мокрый, но его было мало видно.

Я сказал:

— Что ты мне какой-то кончик показываешь! Давай весь вываливай!

Он сейчас же вывалил весь свой язык, так что чуть до воротника не достал. Неприятно было на это смотреть, и я ему сказал:

— Все, все, хватит! Довольно! Можешь убирать свой язык. Чересчур он у тебя длинный, вот что. Просто ужасно длинный. Я даже удивляюсь, как он у тебя во рту укладывается.

Костик совершенно растерялся, но потом все-таки опомнился, захлопал глазами и говорит с угрозой:

— Ты не трещи! Ты прямо скажи: гожусь я в космонавты?

Тогда я сказал:

— С таким-то языком? Конечно, нет! Ты что, не понимаешь, что если у космонавта длинный язык, он уже никуда не годится? Он ведь всем на свете разболтает все секреты: где какая звезда вращается, и все такое... Нет, ты, Костик, лучше успокойся! С твоим язычком лучше на земле сидеть.

Тут Костик ни с того ни с сего покраснел, как помидор. Он отступил от меня на шаг, сжал кулаки, и я понял, что сейчас у нас с ним начнется самая настоящая драка. Поэтому я тоже быстро поплевал в кулаки и выставил ногу вперед, чтобы была настоящая боксерская поза, как на фотографии у чемпиона легкого веса.

Костик сказал:

— Сейчас дам плюху!

А я сказал:

— Сам схватишь две!

Он сказал:

— Будешь валяться на земле!

А я ему:

— Считай, что ты уже умер!

Тогда он подумал и сказал:

— Неохота что-то связываться...

А я:

— Ну и замолкни!

И тут Мишка закричал нам от ракеты:

— Эй, Костик, Дениска, Андрюшка! Идите надпись смотреть.

Мы побежали к Мишке и стали глядеть. Ничего себе была надпись, только кривая и в конце завивалась книзу. Андрюшка сказал:

— Во здорово!

И Костик сказал:

— Блеск!

А я ничего не сказал. Потому что там было написано так: «ВАСТОК-2».

Я не стал этим Мишку допекать, а подошел и исправил обе ошибки. Я написал: «ВОСТОГ-2».

И всё. Мишка покраснел и промолчал. Потом он подошел ко мне, взял под козырек.

— Когда назначаете запуск? — спросил Мишка.

Я сказал:

— Через час!

Мишка сказал:

— Ноль-ноль?

И я ответил:

— Ноль-ноль!

* * *

Прежде всего нам нужно было достать взрывчатку. Это было нелегкое дело, но кое-что все-таки набралось. Во-первых, Андрюшка притащил десять штук елочных бенгальских огней. Потом Мишка тоже принес какой-то пакетик, — я забыл, как называется, вроде борной кислоты. Мишка сказал, что эта кислота очень красиво горит. А я приволок две шутихи, они у меня еще с прошлого года в ящике валялись. И мы взяли трубу от нашего самовара-бака, заткнули с одного конца тряпкой и затолкали туда всю нашу взрывчатку и утрясли ее как следует. А потом Костик принес какой-то поясok от маминого халата, и мы сделали из него бикфордов шнур. Всю нашу трубу мы уложили во вторую ступеньку ракеты и привязали ее веревками, а шнур вытащили наружу, и он лежал за нашей ракетой на земле, как хвост от змеи.

И теперь все у нас было готово.

— Теперь, — сказал Мишка, — пришла пора решать, кто полетит. Ты или я, потому что Андрюшка и Костик пока еще не подходят.

— Да, — сказал я, — они не подходят по состоянию здоровья. Как только я это сказал, так из Андрюшки сейчас же зака-

пали слезы, а Костик отвернулся и стал колупать стену, потому что из него тоже, наверно, закапало, но он стеснялся, что вот ему уже скоро семь, а он плачет. Тогда я сказал:

— Костик назначается Главным Зажигателем!

Мишка добавил:

— А Андрюшка назначается Главным Запускателем!

Тут они оба повернулись к нам, и лица у них стали гораздо веселее, и никаких слез не стало видно, просто удивительно!

Тогда я сказал:

— Мишка, а мы давай считаться на космонавта.

Мишка сказал:

— Только, чур, я считаю!

И мы стали считаться:

— Заяц-белый-куда-бегал-в-лес-дубовый-чего-делал-лыки-драл-куда-клал-под-колоду-кто-украл-Спири-дон-Мор-дель-он-тинтиль-винтиль-выйди-вон!

Мишке вышло выйти вон. Он, конечно, постарше и Костика и Андрюшки, но глаза у него стали такие печальные, что не ему лететь, просто ужас!

Я сказал:

— Мишка, ты в следующий полет полетишь безо всякой считалки, ладно?

А он сказал:

— Давай садись!

Что ж, ничего не поделаешь, мне ведь по-честному досталось. Мы с ним считались, и он сам считал, а мне выпало, тут уж ничего не поделаешь. И я сразу полез в бочку. Там было темно и тесно, особенно мне мешала вторая ступенька. Из-за нее нельзя было спокойно лежать, она впивалась в бок. Я хотел повернуться и лечь на живот: но тут же треснулся головой о бак, он впереди торчал. Я подумал, что, конечно, космонавту трудно сидеть в кабине, потому что аппаратуры очень много, даже чересчур! Но все-таки я приспособился, и свернулся в три погибели, и лег, и стал ждать запуска.

И вот слышу — Мишка кричит:

— Подготовьсь! Смирнаа! Запускатель, не ковыряй в носу! Иди к моторам.

И сразу Андрюшкин голос:

— Есть к моторам!

И я понял, что скоро запуск, и стал лежать дальше.

И вот слышу — Мишка опять командует:

— Главный Зажигатель! Готовьсь! Зажж...

И сразу я услышал, как Костик завожился со своим спичечным коробком и, кажется, не может от волнения достать спичку, а Мишка, конечно, растягивает команду, чтобы все вместе совпало — и Костикина спичка и его команда. Вот он и тянет:

— Зажж...

И я подумал: ну, сейчас! И даже сердце заколотилось! А Костик все еще брякает спичками. Мне ясно представилось, как у него руки трясутся и он не может ухватить спичку.

А Мишка свое:

— Зажж... Давай же, вахля несчастная! Зажжж...

И вдруг я ясно услышал: чирк!

И Мишкин радостный голос:

— ...жжи-гай! Зажигай!

Я глаза зажмурил, съежился и приготовился лететь. Вот было бы здорово, если б это вправду, все бы с ума посходили, и я еще сильнее зажмурил глаза. Но ничего не было: ни взрыва, ни толчка, ни огня, ни дыму — ничего. И это наконец мне надоело, и я заорал из бочки:

— Скоро там, что ли? У меня весь бок отлежался — ноет!

И тут ко мне в ракету залез Мишка. Он сказал:

— Заело. Бикфордов шнур отказал.

Я чуть ногой не лягнул его от злости:

— Эх, вы, инженеры называются! Простую ракету запустить не можете! А ну, давайте я!

И я вылез из ракеты. Андрюшка и Костик возились со шнуром, и у них ничего не выходило. Я сказал:

— Товарищ Мишка! Снимите с работы этих дураков! Я сам!

И подошел к самоварной трубе и первым делом начисто оторвал ихний мамин бикфордов поясok. Я им крикнул:

— А ну, разойдитесь! Живо!

И они все разбежались кто куда. А я запустил руку в трубу, и снова там все перемешал, и бенгальские огоньки уложил сверху. Потом я зажег спичку и сунул ее в трубу. Я закричал:

— Держитесь!

И отбежал в сторону. Я и не думал, что будет что-нибудь особенное, ведь там, в трубе, ничего такого не было. Я хотел сейчас во весь голос крикнуть: «Бух, таррарах!» — как будто это взрыв, чтобы играть дальше. И я уже набрал воздуху и хотел крикнуть погромче, но в это время в трубе что-то ка-ак свистнет да ка-ак даст! И труба отлетела от второй ступени, и стала подлетать, и падать, и дым!.. А потом как бабахнет! Ого! Это, наверно, шутихи там сработали, не знаю, или Мишкин порошок! Бах! Бах! Бах! Я, наверно, от этого баханья немножко струсил, потому что я увидел перед собою дверь, и решил в нее убежать, и открыл, и вошел в эту дверь, но это оказалась не дверь, а окно, и я прямо как вбежал в него, так оступился и упал прямо в наше домоуправление. Там за столом сидела Зинаида Ивановна, и она на машинке считала, кому сколько за квартиру платить. А когда она меня увидела, она наверно, не сразу меня узнала, потому что я запачканный был, прямо из грязной бочки, лохматый и даже кое-

где порванный. Она просто обомлела, когда я упал к ней из окна, и она стала обеими руками от меня отмахиваться. Она кричала:

— Что это? Кто это?

И наверно, я здорово смахивал на черта или на какое-нибудь подземное чудовище, потому что она совсем потеряла рассудок и стала кричать на меня так, как будто я был имя существительное среднего рода.

— Пошло вон! Пошло вон отсюда! Вон пошло!

А я встал на ноги, прижал руки по швам и вежливо ей сказал:

— Здравствуйте, Зинаида Иванна! Не волнуйтесь, это я!

И стал потихоньку пробираться к выходу. А Зинаида Ивановна кричала мне вдогонку:

— А, это Денис! Хорошо же!.. погоди!.. Ты у меня узнаешь!.. Все расскажу Алексею Акимычу!

И у меня от этих криков очень испортилось настроение. Потому что Алексей Акимыч — наш управдом. И он меня к маме отведет, и папе нажалуется, и будет мне плохо. И я подумал, как хорошо, что его не было в домоуправлении и что мне, пожалуй, все-таки денька два-три надо не попадаться ему на глаза, пока все уладится. И тут у меня опять стало хорошее настроение, и я бодро-весело вышел из домоуправления. И как только я очутился во дворе, я сразу увидел целую толпу наших ребят. Они бежали и галдели, а впереди них довольно резво бежал Алексей Акимыч. Я страшно испугался. Я подумал, что он увидел нашу ракету, как она лежит взорванная, и, может быть, проклятая труба побила окна или еще что-нибудь, и вот он теперь бежит разыскивать виноватого, и ему кто-нибудь сказал, что это я главный виноватый, и вот он меня увидел, я прямо торчал перед ним, и сейчас он меня схватит! Я это все подумал в одну секунду, и, пока я все это додумывал, я уже бежал от Алексея Акимыча во всю мочь, но через плечо увидел, что он припустился за мной со всех ног, и я тогда побежал мимо садика, и направо, и бежал вокруг грибка, но Алексей Акимыч кинулся ко мне наперерез и прямо в брюках прошлепал через фонтан, и у меня сердце упало в пятки, и тут он меня ухватил за рубашку. И я подумал: все, конец. А он перехватил меня двумя руками под мышки и как подкинет вверх! А я терпеть не могу, когда меня за подмышки поднимают: мне от этого щекотно, и я корчусь как не знаю кто и вырываюсь. И вот я гляжу на него сверху и корчусь, а он смотрит на меня и вдруг заявляет ни с того ни с сего:

— Кричи «ура»! Ну! Кричи сейчас же «ура»!

И тут я еще больше испугался: я подумал, что он с ума сошел. И что, пожалуй, не надо с ним спорить, раз он сумасшедший. И я крикнул не слишком-то громко:

— Ура!.. А в чем дело-то?

И тут Алексей Акимыч поставил меня наземь и говорит:
— А в том дело, что сегодня второго космонавта запустили! Товарища Германа Титова! Ну, что, не ура, что ли?

Тут я как закричу:

— Конечно, ура! Еще какое ура-то!

Я так крикнул, что голуби вверх шарахнулись. А Алексей Акимыч улыбнулся и пошел в свое домоуправление.

А мы всей толпой побежали к громкоговорителю и целый час слушали, что передавали про товарища Германа Титова, и про его полет, и как он ест, и все, все, все. А когда в радио наступил перерыв, я сказал:

— А где же Мишка?

И вдруг слышу:

— Я вот он!

И правда, оказывается, он рядом стоит. Я в такой горячке был, что его и не заметил. Я сказал:

— Ты где был?

— Я тут. Я все время тут.

Я спросил:

— А как наша ракета? Взорвалась небось на тысячи кусков?

А Мишка:

— Что ты! Целехонька! Это только труба так тарахтела. А ракета, что ей сделается? Стоит как ни в чем не бывало!

— Бежим посмотрим?

И когда мы прибежали, я увидел, что все в порядке, все цело и можно играть еще сколько угодно. Я сказал:

— Мишка, а теперь два, значит, космонавта?

Он сказал:

— Ну да. Гагарин и Титов.

А я сказал:

— Они, наверно, друзья?

— Конечно,— сказал Мишка,— еще какие друзья!

Тогда я положил Мишке руку на плечо. У него узкое было плечо и тонкое. И мы с ним постояли смирно и помолчали, а потом я сказал:

— И мы с тобой друзья, Мишка. И мы с тобой вместе полетим в следующий полет.

И тогда я подошел к ракете, и нашел краску, и дал ее Мишке, чтобы он подержал. И он стоял рядом, и держал краску, и смотрел, как я рисую, и сопел, как будто мы вместе рисовали. И я увидел еще одну ошибку и тоже исправил, и когда я закончил, мы отошли с ним на два шага назад и посмотрели, как красиво было написано на нашем чудесном корабле «ВОСТОК-3».

И МЫ!

Мы как только узнали, что наши небывалые герои в космосе называют друг друга Сокол и Беркут, так сразу порешили, что я теперь буду Беркут, а Мишка — Сокол. Потому что все равно мы будем учиться на космонавтов, а Сокол и Беркут такие красивые имена! И еще мы решили с Мишкой, что до тех пор, пока нас примут в космонавтскую школу, мы будем с ним понемножку закаляться как сталь. И как только мы это решили, я пошел домой и стал закаляться.

Я залез под душ и пустил сначала тепленькой водички, а потом, наоборот, поддал холодной. И я ее довольно легко перетерпел. Тогда я подумал, что раз дело идет так хорошо, надо, пожалуй, подзакалиться чуточку получше и пустил ледянистую струю. Ого-го! У меня сразу вжался живот, и я покрылся пупырьками.

И так постоял с полчаса или минут пять и здорово закалился! И когда я потом одевался, то вспомнил, как бабушка читала стихи про одного мальчишку, как он посинел и весь дрожал.

А после обеда у меня потекло из носу, и я стал чихать.

Мама сказала:

— Выпей аспирина и завтра будешь здоров. Ложись-ка! На сегодня все!

И у меня сейчас же испортилось настроение. Я чуть было не заревел, но в это время под окошком раздался крик:

— Бе-еркут!.. А Беркут!.. Да Беркут же!..

Я подбежал к окошку, высунулся, а там Мишка!

Я сказал:

— Чего тебе, Сокол?

А он:

— Давай выходи на орбиту!

Это во двор, значит. Я ему говорю:

— Мама не пускает. Я простудился!

А мама потянула меня за ноги и говорит:

— Не высовывайся так далеко! Упадешь! С кем это ты?

Я говорю:

— Ко мне друг пришел. Небесный брат. Близнец! А ты мешаешь!

Но мама сказала железным голосом:

— Не высовывайся!

Я говорю Мишке:

— Мне мама не велит высовываться...

Мишка немножко подумал, а потом обрадовался:

— Не велит высовываться, и правильно. Это будет у тебя испытание на не-вы-со-вы-ва-е-мость!

Тогда я все-таки немножко высунулся и сказал ему тихонько:
— Эх, Сокол ты мой, Сокол! Мне тут, может, сутки безвыходно торчать!

А Мишка опять все по-своему перевернул:

— И очень хорошо! Прекрасная тренировка! Закрой глаза и лежи как в сурдокамере!

Я говорю:

— Вечером я с тобой устанавливаю телефонную связь.

— Ладно, — сказал Мишка, — ты устанавливай со мной, а я — с тобой.

И он ушел.

А я лег на папин диван и закрыл глаза и тренировался на молчание. Потом встал и сделал зарядку. Потом понаблюдал в иллюминатор неведомые миры, а потом пришел папа, и я принял ужин из натуральных продуктов. Самочувствие было превосходное. Я принес и разложил раскладушку.

Папа сказал:

— Что так рано?

А я сказал со значением:

— Вы как хотите, а я буду спать.

Мама положила мне руку на лоб и сказала:

— Ребенок заболел!

А я ничего ей не сказал. Если они не понимают, что это все тренировка на космонавта, то зачем объяснять? Не стоит. Потом сами узнают, из газет, когда их благодарить будут за то, что воспитали такого сына, как я!

Пока я думал, прошло довольно много времени, и я вспомнил, что пора налаживать телефонную связь с Мишкой.

Я вышел в коридор и набрал номер. Мишка подошел сразу, только у него был какой-то чересчур толстый голос:

— Нда-нда! Говорите!

Я сказал:

— Сокол, это ты?

А он:

— Что-что?

Я опять:

— Сокол, это ты или нет? Это Беркут! Как дела?

Он засмеялся, посопел и говорит:

— Очень остроумно! Ну, довольно разыгрывать. Сонечка, это вы?

Я говорю:

— Какая там еще Сонечка, это Беркут! Ты что, обалдел?

А он:

— Кто это? Что за выражения? Хулиганство! Кто это говорит?

Я сказал:

— Это никто не говорит!

И повесил трубку. Наверно, я не туда попал. Тут папа позвал меня, и я вернулся в комнату, разделся и лег. И только стал задремывать, вдруг: зззззз! Телефон! Папа вскочил и выбежал в коридор, и, пока я нашаривал тапочки, я слышал его серьезный голос:

— Беркутова? Какого Беркутова? Здесь такого нет! Набирайте внимательно!

Я сразу понял, что это Мишка! Это связь! Я выбежал в коридор прямо в чем мать родила, в одних трусиках.

— Это меня, меня! Это я Беркут!

Папа сейчас же отдал мне трубку, и я закричал:

— Это Сокол? Это Беркут! Слушаю вас!

А Мишка:

— Докладывай, чем занимаешься!

Я говорю:

— Я сплю!

А Мишка:

— Я тоже! Я уже почти совсем заснул, да вспомнил одно важное дело. Беркут, слушай! Перед сном надо спеть! Вдвоем! На пару! Чтобы у нас получился космический дуэт!

Я прямо подпрыгнул:

— Молодец, Сокол! Давай любимую космонавтскую! Подпевай!

И я запел изо всех сил. Я хорошо пою, громко! Громче меня никто не может. Я по громкости первый в нашем хоре. И вот когда я запел, сейчас же изо всех дверей стали высыпать соседи, они кричали: «Безобразие... Что случилось... Уже поздно... Распустились... Здесь коммунальная квартира... Я думала, поросята режут...», но папа им сказал:

— Это небесные близнецы, Сокол и Беркут, поют перед сном!

И тогда все замолчали.

А мы с Мишкой допели до конца:

...На пыльных тропинках далеких планет
Останутся наши следы!

ДРУГ ДЕТСТВА

Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то

растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне принимать.

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом:

— Го-о-тов!

Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полосы для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда, этот Бомбар после своего путешествия похудел на двадцать пять килограммов, а я всего-то весил двадцать шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне худеть будет совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбку и похудею чуть побольше? Тогда я, наверно, просто растаю в воздухе как дым, вот и все дела.

Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга — просто ужас какой-то! А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную «грушу» — такой продолговатый тяжелый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все на это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего.

Я сказал папе:

— Папа, купи мне грушу!

— Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.

Я рассмеялся:

— Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу!

— А тебе зачем? — сказал папа.

— Тренироваться, — сказал я. — Потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а?

— Сколько же стоит такая груша? — поинтересовался папа.

— Пустяки какие-нибудь, — сказал я. — Рублей десять или пятьдесят.

— Ты спятил, братец, — сказал папа. — Перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой не случится.

И он оделся и пошел на работу.

А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала:

— Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку.

И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку; в ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл. Потому что я уже вырос и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком.

Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки, и несколько погремушек, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку.

Она бросила его мне на диван и сказала:

— Вот. Это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Живот какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не груша? Еще лучше! И покупать не надо! Давай тренируйся сколько душе угодно! Начинай!

И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор.

А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать силу удара.

Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные глаза: один его собственный — желтый стеклянный, а другой большой белый — из пуговицы от наволочки; я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается...

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или вареньем, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване,

мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара...

— Ты что,— сказала мама, она уже вернулась из коридора.— Что с тобой?

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно и потом, когда я скрепился немного, я сказал:

— Ты о чем, мама? Со мной ничего... Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером.

«ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО...

На перемене подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся и говорит:

— Дениска, а ты сможешь выступить в концерте? Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатирики. Хочешь?

Я говорю:

— Я все хочу! Только ты объясни: что такое сатирики?

Люся говорит:

— Видишь ли, у нас есть разные неполадки... Ну, например, двоечники или лентяи, их надо прохватить. Понял? Надо про них выступить, чтобы все смеялись, это на них подействует отрезвляюще.

Я говорю:

— Они не пьяные, они просто лентяи.

— Это так говорится: «отрезвляюще»,— засмеялась Люся.— А на самом деле просто эти ребята призадумаются, им станет неловко, и они исправятся. Понял? Ну, в общем, не тани: хочешь — соглашайся, не хочешь — отказывайся!

Я сказал:

— Ладно уж, давай!

Тогда Люся спросила:

— А у тебя есть партнер?

— Нету.

Люся удивилась:

— Как же ты без товарища живешь!

— Товарищ у меня есть, Мишка. А партнера нету.

Люся снова улыбнулась:

— Это почти одно и то же. А он музыкальный, Мишка твой?

— Нет, обыкновенный.

— Петь умеет?

— Очень тихо. Но я научу его петть громче, не беспокойся. Тут Люся обрадовалась:

— После уроков притащи его в малый зал, там будет репетиция!

И я со всех ног пустился искать Мишку. Он стоял в буфете и ел сардельку.

— Мишка, хочешь быть сатириком?

А он сказал:

— погоди, дай поесть.

Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а сарделька толще его шеи. Он держал эту сардельку руками и ел прямо целой, не разрезая, и шкурка трещала и лопалась, когда он ее кусал, и оттуда брызгал горячий пахучий сок.

И я не выдержал и сказал тете Кате:

— Дайте мне, пожалуйста, тоже сардельку, поскорее!

И тетя Катя сразу протянула мне мисочку. И я очень торопился, чтобы Мишка без меня не успел съесть свою сардельку: мне одному не было бы так вкусно. И вот я тоже взял свою сардельку руками и тоже, не чистя, стал грызть ее, и из нее брызгал горячий пахучий сок. И мы с Мишкой так грызли на пару, и обжигались, и смотрели друг на дружку, и улыбались.

А потом я ему рассказал, что мы будем сатирики, и он согласился, и мы еле досидели до конца уроков, а потом побежали в малый зал на репетицию.

Там уже сидела наша вожатая Люся, и с ней был один парнишка, приблизительно из четвертого, очень некрасивый, с маленькими ушами и большими глазами.

Люся сказала:

— Вот и они! Познакомьтесь, это наш школьный поэт Андрей Шестаков.

Мы сказали:

— Здорóво!

И отвернулись, чтобы он не задавался.

А поэт сказал Люсе:

— Это что, исполнители, что ли?

— Да.

Он сказал:

— Неужели ничего не было покрупней?

Люся сказала:

— Как раз то, что требуется!

Но тут пришел наш учитель пения Борис Сергеевич. Он сразу подошел к роялю:

— Ну те-с, начинаем! Где стихи?

Андрюшка вынул из кармана какой-то листок и сказал:

— Вот. Я взял размер и припев у Маршака, из сказки

об ослике, дедушке, и внуке: «Где это видано, где это слыхано...»

Борис Сергеевич кивнул головой:

— Читай вслух!

Андрюшка стал читать:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.
Где это видано, где это слыхано,—
Папа решает, а Вася сдает?!

Мы с Мишкой так и прыснули. Конечно, ребята довольно часто просят родителей решить за них задачу, а потом показывают учительнице, как будто это они такие герои. А у доски ни бумбум — двойка! Дело известное. Ай да Андрюшка, здорово прохватил!

А Андрюшка читает дальше, так тихо и серьезно:

Мелом расчерчен асфальт на квадратики,
Манечка с Танечкой прыгают тут.
Где это видано, где это слыхано,—
В «классы» играют, а в класс не идут?!

Опять здорово. Нам очень понравилось! Этот Андрюшка — просто настоящий молодец, вроде Пушкина!

Борис Сергеевич сказал:

— Ничего, неплохо! А музыка будет самая простая, вот что-нибудь в этом роде.— И он взял Андрюшкины стихи и, тихонько наигрывая, пропел их все подряд.

Получилось очень ловко, мы даже захлопали в ладоши.

А Борис Сергеевич сказал:

— Нуте-с, кто же наши исполнители?

А Люся показала на нас с Мишкой:

— Вот!

— Ну что ж,— сказал Борис Сергеевич,— у Миши хороший слух... Правда, Дениска поет не очень-то верно.

Я сказал:

— Зато громко.

И мы начали повторять эти стихи под музыку и повторяли их, наверно, раз пятьдесят или тысячу, и я очень громко орал, и все меня успокаивали и делали замечания:

— Ты не волнуйся! Ты тише! Спокойней! Не надо так громко!

Особенно горячился Андрюшка. Он меня совсем затормошил. Но я пел только громко, я не хотел петь потише, потому что настоящее пение — это именно когда громко!

...И вот однажды, когда я пришел в школу, я увидел в раздевалке объявление:

ВНИМАНИЕ!

Сегодня на большой перемене
в малом зале состоится выступление
летучего патруля
«Пионерского Сатирикона»!
Исполняет дуэт малышей!
На злобу дня!
Приходите все!

И во мне сразу что-то екнуло. Я побежал в класс. Там сидел Мишка и смотрел в окно.

Я сказал:

— Ну, сегодня выступаем!

А Мишка вдруг промямлил:

— Неохота мне выступать...

Я прямо оторопел. Как — неохота? Вот так раз! Ведь мы же репетировали? А как же Люся и Борис Сергеевич? Андрюшка? А все ребята, ведь они читали афишу и прибегут как один? Я сказал:

— Ты что, с ума сошел, что ли? Людей подводить?

А Мишка так жалобно:

— У меня, кажется, живот болит.

Я говорю:

— Это со страху. У меня тоже болит, но я ведь не отказываюсь!

Но Мишка все равно был какой-то задумчивый. На большой перемене все ребята кинулись в малый зал, а мы с Мишкой еле плелись позади, потому что у меня тоже совершенно пропало настроение выступать.

Но в это время нам навстречу выбежала Люся, она крепко схватила нас за руки и поволокла за собой, но у меня ноги были мягкие, как у куклы, и заплетались. Это я, наверно, от Мишки заразился.

В зале было огорожено место около рояля, а вокруг столпились ребята из всех классов, и няни, и учительницы.

Мы с Мишкой встали около рояля.

Борис Сергеевич был уже на месте, и Люся объявила дикторским голосом:

— Начинаем выступление «Пионерского Сатирикона» на злободневные темы. Текст Андрея Шестакова, исполняют всемирно известные сатирики Миша и Денис! Попросим!

И мы с Мишкой вышли немножко вперед. Мишка был белый,

как стена. А я ничего, только во рту было сухо и шершаво, как будто там лежал наждак.

Борис Сергеевич заиграл. Начинать нужно было Мишке, потому что он пел первые две строчки, а я должен был петь вторые две строчки. Вот Борис Сергеевич заиграл, а Мишка выкинул в сторону левую руку, как его научила Люся, и хотел было запеть, но опоздал, и, пока он собирался, наступила уже моя очередь, так выходило по музыке. Но я не стал петь, раз Мишка опоздал. С какой стати!

Мишка тогда опустил руку на место. А Борис Сергеевич громко и раздельно начал снова.

Он ударил, как и следовало, по клавишам три раза, а на четвертый Мишка опять откинул левую руку и наконец запел:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.

Я сразу подхватил и прокричал:

Где это видано, где это слыхано,—
Папа решает, а Вася сдает?!

Все, кто был в зале, рассмеялись, и у меня от этого стало легче на душе. А Борис Сергеевич поехал дальше. Он снова три раза ударил по клавишам, а на четвертый Мишка аккуратно выкинул левую руку в сторону и ни с того ни с сего запел сначала:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.

Я сразу понял, что он сбился! Но раз такое дело, я решил допеть до конца, а там видно будет. Взял и допел:

Где это видано, где это слыхано,—
Папа решает, а Вася сдает?!

Слава богу, в зале было тихо — все, видно, тоже поняли, что Мишка сбился, и подумали: «Ну что ж, бывает, пусть дальше поет».

А музыка в это время бежала все дальше и дальше. Но Мишка был какой-то зеленоватый.

И когда музыка дошла до места, он снова вымахнул левую руку и, как пластинка, которую «заело», завел в третий раз:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.

Мне ужасно захотелось стукнуть его по затылку чем-нибудь тяжелым, и я заорал со страшной злостью:

Где это видано, где это слыхано,—
Папа решает, а Вася сдает?!

Мишка, ты видно, совсем рехнулся! Ты что в третий раз одно и то же затягиваешь? Давай про девчонок!

А Мишка так нахально:

— Без тебя знаю! — И вежливо говорит Борису Сергеевичу: — Пожалуйста, Борис Сергеевич, дальше!

Борис Сергеевич заиграл, а Мишка вдруг осмелел, опять выставил свою левую руку и на четвертом ударе заголосил как ни в чем не бывало:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год.

Тут все в зале прямо завизжали от смеха, и я увидел в толпе, какое несчастное лицо у Андрюшки, и еще увидел, что Люся, вся красная и растрёпанная, пробивается к нам сквозь толпу. А Мишка стоит с открытым ртом, как будто сам на себя удивляется. Ну, а я, пока суд да дело, докрикиваю:

Где это видано, где это слыхано,—
Папа решает, а Вася сдает?!

Тут уж началось что-то ужасное. Все хохотали как зарезанные, а Мишка из зеленого стал фиолетовым. Наша Люся схватила его за руку и утащила к себе. Она кричала:

— Дениска, пой один! Не подводи!.. Музыка! И!

А я стоял у рояля и решил не подвести. Я почувствовал, что мне стало все равно, и, когда дошла музыка, я почему-то вдруг тоже выкинул в сторону левую руку и совершенно неожиданно завопил:

Папа у Васи силен в математике,
Учится папа за Васю весь год...

Я даже плохо помню, что было дальше. Было похоже на землетрясение. И я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю, а вокруг все просто падали от смеха — и няни, и учителя, все, все...

Я даже удивляюсь, что я не умер от этой проклятой песни.

Я, наверно бы, умер, если бы в это время не зазвонил звонок...

Не буду я больше сатириком!

ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ, ИЛИ ПОДВИГ ВО ЛЬДАХ...

Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете, и когда спросили одного проходящего мимо дяденьку, который час, он нам сказал:

— Ровно два.

Мы с Мишкой прямо за голову схватились. Два часа! Каких-нибудь пять минут поиграли, а уже два часа! Ведь это же ужас! Мы же в школу опоздали! Я подхватил портфель и закричал:

— Бегом давай, Мишка!

И мы полетели, как молнии. Но очень скоро устали и пошли шагом. Мишка сказал:

— Не торопись, теперь уже все равно опоздали.

Я говорю:

— Ох, влетит... Родителей вызовут! Ведь без уважительной же причины.

Мишка говорит:

— Надо ее придумать. А то на совет отряда вызовут. Давай придумаем поскорее!

Я говорю:

— Давай скажем, что у нас заболели зубы и что мы ходили их вырывать.

Но Мишка только фыркнул:

— У обоих сразу заболели, да? Хором заболели!.. Нет, так не бывает. И потом: если мы их рвали, то где же дырки?

Я говорю:

— Что же делать? Прямо не знаю... Ой, вызовут на совет и родителей пригласят!.. Слушай, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили за опоздание, понял?

Мишка говорит:

— Это как?

— Ну, например, придумаем, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили, понял?

Мишка обрадовался:

— Ага, понял! Можно про пожар придумать, а то еще лучше сказать, как будто лед на пруду проломился, и ребенок этот — бух!.. В воду упал! А мы его вытащили... Тоже красиво!

— Ну да,— говорю я,— правильно! Но пожар все-таки лучше!

— Ну нет,— говорит Мишка,— именно что лопнувший пруд интереснее!

И мы с ним еще немножко поспорили, что интересней и храбрей, и не доспорили, а уже пришли к школе. А в раздевалке наша гардеробщица тетя Паша вдруг говорит:

— Ты где это так оборвался, Мишка? У тебя весь воротник без пуговиц. Нельзя таким чучелом в класс являться. Все равно уж ты опоздал, давай хоть пуговицы-то пришью! Вон у меня их целая коробка. А ты, Дениска, иди в класс, нечего тебе тут торчать!

Я сказал Мишке:

— Ты поскорее тут шевелись, а то мне одному, что ли, отдуваться?

Но тетя Паша шуганула меня.

— Иди, иди, а он за тобой! Марш!

И вот я тихонько приоткрыл дверь нашего класса, просунул голову, и вижу весь класс, и слышу, как Раиса Ивановна диктует по книжке:

«Птенцы пищат...»

А у доски стоит Валерка и выписывает корявыми буквами:

«Птенцы пестчат...»

Я не выдержал и рассмеялся, а Раиса Ивановна подняла глаза и увидела меня. Я сразу сказал:

— Можно войти, Раиса Ивановна?

— Ах, это ты, Дениска,— сказала Раиса Ивановна.— Что ж, входи! Интересно, где это ты пропадал?

Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна вгляделась в меня и прямо ахнула:

— Что у тебя за вид? Где это ты так извалялся? А? Отвечай толком!

А я еще ничего не придумал и не могу толком отвечать, а так, говорю что попало, все подряд, только чтобы время протянуть:

— Я, Раиса Иванна, не один... Вдвоем мы, вместе с Мишкой... Вот оно как. Ого!.. Ну и дела. Так и так! И так далее.

А Раиса Ивановна:

— Что-что? Ты успокойся, говори помедленней, а то непонятно! Что случилось? Где вы были? Да говори же!

А я совсем не знаю, что говорить. А надо говорить. А что будешь говорить, когда нечего говорить? Вот я и говорю:

— Мы с Мишкой. Да. Вот... Шли себе и шли. Никого не трогали. Мы в школу шли, чтоб не опоздать. И вдруг такое! Такое дело, Раиса Ивановна, прямо ох-хо-хо! Ух ты! Ай-яй-яй.

Тут все в классе рассмеялись и загалдели. Особенно громко — Валерка. Потому что он уже давно предчувствовал двойку за своих «птенцов». А тут урок остановился, и можно смотреть на меня и хохотать. Он прямо покатывался. Но Раиса Ивановна быстро прекратила этот базар.

— Тише,— сказала она,— дайте разобраться! Кораблев! Отвечай, где вы были? Где Миша?

А у меня в голове уже началось какое-то завихрение от всех этих приключений, и я ни с того ни с сего брякнул:
— Там пожар был!

И сразу все утихло. А Раиса Ивановна побледнела и говорит:
— Где пожар?

А я:

— Возле нас. Во дворе. Во флигеле. Дым валит — прямо клубами. А мы идем с Мишкой мимо этого... как его... мимо черного хода! А дверь этого хода кто-то доской снаружи припер. Вот. А мы идем! А оттуда, значит, дым! И кто-то пищит. Задышается. Ну, мы доску отняли, а там маленькая девочка. Плачет. Задышается. Ну, мы ее за руки, за ноги — спасли. А тут ее мама прибегает, говорит: «Как ваша фамилия, мальчики? Я про вас в газету благодарность напишу». А мы с Мишкой говорим: «Что вы, какая может быть благодарность за эту пустяковую девчонку! Не стоит благодарности. Мы скромные ребята». Вот. И мы ушли с Мишкой. Можно сесть, Раиса Ивановна?

Она встала из-за стола и подошла ко мне. Глаза у нее были серьезные и счастливые.

Она сказала:

— Как это хорошо! Очень, очень рада, что вы с Мишей такие молодцы! Иди садись. Сядь. Посиди...

И я видел, что она прямо хочет меня погладить или даже поцеловать. И мне от всего этого не очень-то весело стало. И я пошел потихоньку на свое место, и весь класс смотрел на меня, как будто я и вправду сотворил что-то особенное. И на душе у меня скребли кошки. Но в это время дверь распахнулась, и на пороге показался Мишка. Все повернулись и стали смотреть на него. А Раиса Ивановна обрадовалась.

— Входи,— сказала она,— входи, Мишук, садись. Сядь. Посиди. Успокойся. Ты ведь, конечно, тоже переволновался.

— Еще как! — говорит Мишка.— Боялся, что вы заругаетесь.

— Ну, раз у тебя уважительная причина,— говорит Раиса Ивановна,— ты мог не волноваться. Все-таки вы с Дениской человека спасли. Не каждый день такое бывает.

Мишка даже рот разинул. Он, видно, совершенно забыл, о чем мы с ним говорили.

— Ч-ч-человека? — говорит Мишка и даже заикается.— С...с...спасли? А кк...кк...кто спас?

Тут я понял, что Мишка сейчас все испортит. И я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его и чтобы он вспомнил, и так ласковенько ему улыбнулся, и говорю:

— Ничего не подделаешь, Мишка, брось притворяться... Я уже все рассказал!

И сам в это время делаю ему глаза со значением: что я уже

все наврал и чтобы он не подвел! И я ему подмигиваю, уже прямо двумя глазами, и вдруг вижу — он вспомнил! И сразу догадался, что надо делать дальше! Вот наш милый Мишенька глазки опустил, как самый скромный на свете маменькин сынок, и таким противным, приличным голоском говорит:

— Ну зачем ты это! Ерунда какая...

И даже покраснел, как настоящий артист. Ай да Мишка! Я прямо не ожидал от него такой прыти. А он сел за парту как ни в чем не бывало и давай тетради раскладывать. И все на него смотрели с уважением, и я тоже. И наверно, этим дело бы и кончилось. Но тут черт все-таки дернул Мишку за язык, он огляделся вокруг и ни с того ни с сего сказал:

— А он вовсе не тяжелый был. Кило десять — пятнадцать, не больше...

Раиса Ивановна говорит:

— Кто? Кто не тяжелый, кило десять — пятнадцать?

— Да мальчишка этот.

— Какой мальчишка?

— Да которого мы из-подо льда вытащили...

— Ты что-то путаешь, — говорит Раиса Ивановна, — ведь это была девочка! И потом, откуда там лед?

А Мишка гнет свое:

— Как — откуда лед? Зима, вот и лед! Все Чистые пруды замерзли. А мы с Дениской идем, слышим — кто-то из проруби кричит. Барахтается и пищит. Карабкается. Бултыхается и хватается руками. Ну, а лед что? Лед, конечно, обламывается! Ну, мы с Дениской подползли, этого мальчишку за руки, за ноги — и на берег. Ну, тут дедушка его прибежал, давай слезы лить...

Я уже ничего не мог поделать: Мишка врал, как по писаному, ещё лучше меня. А в классе уже все догадались, что он врёт и что я тоже врал, и после каждого Мишкиного слова все покатывались, а я ему делал знаки, чтобы замолчал и перестал врать, потому что он не то врал, что нужно, но куда там! Мишка никаких знаков не замечал и заливался соловьем:

— Ну, тут дедушка нам говорит: «Сейчас я вам именные часы подарю за этого мальчишку». А мы говорим: «Не надо, мы скромные ребята!»

Я не выдержал и крикнул:

— Только это был пожар! Мишка перепутал!

— Ты что, рехнулся, что ли? Какой может быть в проруби пожар? Это ты все позабыл.

А в классе все падают в обморок от хохота, просто помирают. Раиса Ивановна ка-ак хлопнет по столу! Все замолчали. А Мишка так и остался стоять с открытым ртом.

Раиса Ивановна говорит:

— Как не стыдно врать! Какой позор! И я-то их считала хорошими ребятами!.. Продолжаем урок.

И все сразу перестали на нас смотреть. И в классе было тихо и как-то скучно. И я написал Мишке записку:

«Вот видишь, надо было говорить правду!»

А он прислал ответ:

«Ну конечно! Или говорить правду, или получше сговариваться».

АРБУЗНЫЙ ПЕРЕУЛОК

Я пришел со двора после футбола усталый и грязный как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли у дома номер пять со счетом 44:37. В ванной, слава богу, никого не было. Я быстро сполоснул руки, побежал в комнату и сел за стол. Я сказал:

— Я, мама, сейчас быка съесть могу.

Она улыбнулась.

— Живого быка? — сказала она.

— Ага, — сказал я, — живого, с копытами и ноздрями!

Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, и я сразу догадался, что в ней рассольник. Мама поставила тарелку передо мной.

— Ешь! — сказала мама.

Но это была лапша. Молочная. Вся в пенках. Это почти то же самое, что манная каша. В каше обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я просто умираю, как только вижу пенки, не то чтобы есть. Я сказал:

— Я не буду лапшу!

Мама сказала:

— Безо всяких разговоров!

— Там пенки!

Мама сказала:

— Ты меня вгонишь в гроб! Какие пенки? Ты на кого похож? Ты вылитый Кощей!

Я сказал:

— Лучше убей меня!

Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу:

— Это ты меня убиваешь!

И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил:

— О чем тут диспут? О чем такой жаркий спор?

Мама сказала:

— Полюбуйся! Не хочет есть. Парню скоро одиннадцать лет, а он, как девочка, капризничает.

Мне скоро девять. Но мама всегда говорит, что мне скоро

одиннадцать. Когда мне было восемь лет, она говорила, что мне скоро десять.

Папа сказал:

— А почему не хочет? Что, суп пригорел или пересолен?

Я сказал:

— Это лапша, а в ней пенки...

Папа покачал головой:

— Ах вот оно что! Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу! Ему, наверно, надо подать марципаны на серебряном подносе!

Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит.

— Это что такое — марципаны?

— Я не знаю, — сказал папа, — наверно, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. Специально для фон барона Кутькина-Путькина!.. А ну давай ешь лапшу!

— Да ведь пенки же!

— Заелся ты, братец, вот что! — сказал папа и обернулся к маме. — Возьми у него лапшу, — сказал он, — а то мне просто противно! Кашу он не хочет, лапшу он не может!.. Капризы какие! Терпеть не могу!..

Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел — по-чужому. И я сразу перестал улыбаться — я понял, что шутки уже кончились. А папа долго так молчал, и мы все так молчали, а потом он сказал, и как будто не мне, и не маме, а так кому-то, кто его друг:

— Нет, я, наверно, никогда не забуду эту ужасную осень, — сказал папа, — как невесело, неуютно тогда было в Москве... Война, фашисты рвутся к городу. Холодно, голодно, взрослые все ходят нахмуренные, радио слушают ежечасно... Ну, все понятно, не правда ли? Мне тогда лет одиннадцать-двенадцать было, и, главное, я тогда очень быстро рос, тянулся кверху, и мне все время ужасно есть хотелось. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего, и они мне отдавали свой, а мне и этого не хватало. И я ложился спать голодный, и во сне я видел хлеб. Да что... У всех так было. История известная. Писано-переписано, читано-перечитано...

И вот однажды иду я по маленькому переулку, недалеко от нашего дома, и вдруг вижу — стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали. Какие-то заблудшие арбузы. Наверно, их привезли, чтобы по карточкам выдавать. И наверху в машине стоит дядька, худой такой, небритый и беззубый, что ли, — рот у него очень втянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу, а тот — продавщице в белом, а та — еще кому-то четвертому... И у них это ловко так цепочкой получается: арбуз катится по конвейеру

от машины до магазина. А если со стороны посмотреть — играют люди в зелено-полосатые мячики, и это очень интересная игра. Я долго так стоял и на них смотрел, и дядька, который очень худой, тоже на меня смотрел и все улыбался мне своим беззубым ртом, славный человек. Но потом я устал стоять и уже хотел было идти домой, как вдруг кто-то в их цепочке ошибся, загляделся, что ли, или просто промахнулся, и пожалуйста — тррах!.. Тяжеленный арбузище вдруг упал на мостовую. Прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво, вкось, и была видна белоснежная тонкая корка, а за нею такая багровая, красная мякоть с сахарными прожилками и косо поставленными косточками, как будто лукавые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались из середины. И вот тут, когда я увидел эту чудесную мякоть и брызги арбузного сока и когда я почуял этот запах, такой свежий и сильный, только тут я понял, как мне хочется есть. Но я отвернулся и пошел домой. И не успел я отойти, вдруг слышу — зовут:

«Мальчик, мальчик!»

Я оглянулся, а ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый, и у него в руках разбитый арбуз. Он говорит:

«На-ка, милый, арбуз-то, тащи, дома поешь!»

И я не успел оглянуться, а он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место, дальше разгружать. И я обнял арбуз и еле доволок его до дому, и позвал своего дружка Вальку, и мы с ним оба слопали этот громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота! Передать нельзя! Мы с Валькой отрезали большущие кусищи, во всю ширину арбуза, и когда кусали, то края арбузных ломтей задевали нас за уши, и уши у нас были мокрые, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с Валькой надулись и тоже стали похожи на арбузы. Если по такому животу щелкнуть пальцем, звон пойдет знаешь какой! Как от барабана. И об одном только мы жалели, что у нас нет хлеба, а то бы мы еще лучше наелись. Да...

Папа отвернулся и стал смотреть в окно.

— А потом еще хуже — завернула осень, — сказал он, — стало совсем холодно, с неба сыпал зимний, сухой и маленький снег, и его тут же сдувало сухим и острым ветром. И еды у нас стало совсем мало, и фашисты все шли и шли к Москве, и я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб. Мне еще снились и арбузы. И однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота, он просто как будто прилип к позвоночнику, и я прямо уже ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему:

«Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок, может быть там опять арбузы разгружают, и, может быть, опять один упадет, и, может быть, нам его опять подарят».

СИНИЙ КИНЖАЛ

Это дело было так. У нас был урок — труд. Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по отрывному календарю, кто как сообразит. Я взял картонку, оклеил ее зеленой бумагой, посредине прорезал щелку, к ней прикрепил спичечную коробку, а на коробку положил стопочку белых листиков, подогнал, подклеил, подровнял и на первом листике написал: «С Первым маем!»

Получился очень красивый календарь для маленьких детей. Если, например, у кого куклы, то для этих кукол. В общем, игрушечный. И Раиса Ивановна поставила мне пять.

Она сказала:

— Мне нравится.

И я пошел к себе и сел на место. И в это время Левка Бурин тоже стал сдавать свой календарь, а Раиса Ивановна посмотрела на его работу и говорит:

— Наляпано.

И поставила Левке тройку.

А когда наступила перемена, Левка остался сидеть за партой. У него был довольно-таки невеселый вид. А я в это время как раз промокал кляксу, и, когда увидел, что Левка такой грустный, я прямо с промокашкой в руке пошел к Левке. Я хотел его развеселить, потому что мы с ним дружим и он один раз подарил мне монетку с дыркой. И еще обещал принести мне стреляную охотничью гильзу, чтобы я из нее сделал атомный телескоп.

Я подошел к Левке и сказал:

— Эх ты, Ляпа!

И состроил ему косые глаза.

И тут Левка ни с того ни с сего как даст мне пеналом по затылку. Вот когда я понял, как искры из глаз летят. Я страшно разозлился на Левку и треснул его изо всех сил промокашкой по шее. Но он, конечно, даже не почувствовал, а схватил свой портфель и пошел домой. А у меня даже слезы капали из глаз — так здорово поддал мне Левка, — капали прямо на промокашку и расплывались по ней, как бесцветные кляксы...

И тогда я решил Левку убить. После школы я целый день сидел дома и готовил оружие. Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и целый день точил его о плиту. Я его упорно точил, терпеливо. Он очень медленно затачивался, но я все точил и все думал, как я приду завтра в класс и мой верный синий кинжал блеснет перед Левкой, я занесу его над Левкиной головой, а Левка упадет на колени и будет умолять меня даровать ему жизнь, и я скажу:

«Извинись!»

И он скажет:

«Извини!»

А я засмеюсь громовым смехом, вот так:

«Ха-ха-ха-ха!»

И эхо долго будет повторять в ущельях этот зловещий хохот. А девчонки от страха залезут под парты.

И когда я лег спать, то все ворочался с боку на бок и вздыхал, потому что мне было жалко Левку — хороший он человек, но теперь пусть несет заслуженную кару, раз он стукнул меня пеналом по голове. И синий кинжал лежал у меня под подушкой, и я сжимал его рукоятку и чуть не стонал, так что мама спросила:

— Ты что там кряхтишь?

Я сказал:

— Ничего.

Мама сказала:

— Живот, что ли, болит?

Но я ничего ей не ответил, просто я взял и отвернулся к стенке и стал дышать, как будто я давно уже сплю.

Утром я ничего не мог есть. Только выпил две чашки чаю с хлебом и маслом, с картошкой и сосиской. Потом пошел в школу.

Синий кинжал я положил в портфель с самого верху, чтоб удобно было достать.

И перед тем как пойти в класс, я долго стоял у дверей и не мог войти, так сильно билось сердце. Но все-таки я себя переборол, толкнул дверь и вошел. В классе все было как всегда, и Левка стоял у окна с Валериком. Я, как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. Но Левка в это время побежал ко мне. Я подумал, что он опять стукнет меня пеналом или чем-нибудь еще, и стал еще быстрее расстегивать портфель, но Левка вдруг остановился около меня и как-то затоптался на месте, а потом вдруг наклонился ко мне близко-близко и сказал:

— На!

И он протянул мне золотую стреляную гильзу. И глаза у него стали такие, как будто он еще что-то хотел сказать, но стеснялся. А мне вовсе и не нужно было, чтобы он говорил, просто я вдруг совершенно забыл, что хотел его убить, как будто и не собирался никогда, даже удивительно.

Я сказал:

— Хорошая какая гильза.

Взял ее. И пошел на свое место.

КОТ В САПОГАХ

— Мальчики и девочки! — сказала Раиса Ивановна. — Вы хорошо закончили эту четверть. Поздравляю вас. Теперь можно и отдохнуть. На каникулах мы устроим утренник и карнавал. Каждый из вас может нарядиться в кого угодно, а за лучший костюм будет выдана премия, так что готовьтесь. — И Раиса Ивановна собрала тетрадки, попрощалась с нами и ушла.

И когда мы шли домой, Мишка сказал:

— Я на карнавале буду гномом. Мне вчера купили накидку из дождя и капюшон. Я только лицо чем-нибудь занавешу, и гном готов. А ты кем нарядишься?

— Там видно будет.

И я забыл про это дело. Потому что дома мама мне сказала, что она уезжает в санаторий на десять дней и чтобы я тут вел себя хорошо и следил за папой. И она на другой день уехала, а я с папой замучился. То одно, то другое, и на улице шел снег, и все время я думал, когда же мама вернется. Я зачеркивал клеточки на своем календаре.

И вдруг неожиданно прибегает Мишка и прямо с порога кричит:

— Идешь ты или нет?

Я спрашиваю:

— Куда?

Мишка кричит:

— Как — куда? В школу! Сегодня же утренник, и все будут в костюмах! Ты что, не видишь, что я уже гномик?

И правда, он был в накидке с капюшончиком.

Я сказал:

— У меня нет костюма! У нас мама уехала.

А Мишка говорит:

— Давай сами чего-нибудь придумаем! Ну-ка, что у вас дома есть почудней? Ты надень на себя, вот и будет костюм для карнавала.

Я говорю:

— Ничего у нас нет. Вот только папины бахилы для рыбалки.

Бахилы — это такие высокие резиновые сапоги. Если дождик или грязь — первое дело бахилы. Нипочем ноги не промочишь.

Мишка говорит:

— А ну надевай, посмотрим, что получится!

Я прямо с ботинками влез в папины сапоги. Оказалось, что бахилы доходят мне чуть не до подмышек. Я попробовал в них походить. Ничего, довольно удобно. Зато здорово блестят. Мишке очень понравилось. Он говорит:

— А шапку какую?

Я говорю:

— Может быть, мамину соломенную, что от солнца?

— Давай ее скорей!

Достал я шляпу, надел. Оказалось, немножко великовата, съезжает до носа, но все-таки на ней цветы.

Мишка посмотрел и говорит:

— Хороший костюм. Только я не понимаю, что он значит?

Я говорю:

— Может быть, он значит «мухомор»?

Мишка засмеялся:

—, Что ты, у мухомора шляпка вся красная! Скорей всего, твой костюм обозначает «старый рыбак»!

Я замахал на Мишку:

— Сказал тоже! «Старый рыбак»!.. А борода где?

Тут Мишка задумался, а я вышел в коридор, а там стояла наша соседка Вера Сергеевна. Она, когда меня увидела, всплеснула руками и говорит:

— Ох! Настоящий кот в сапогах!

Я сразу догадался, что значит мой костюм! Я — «Кот в сапогах»! Только жалко, хвоста нет! Я спрашиваю:

— Вера Сергеевна, у вас есть хвост?

А Вера Сергеевна говорит:

— Разве я очень похожа на черта?

— Нет, не очень,— говорю я.— Но не в этом дело. Вот вы сказали, что этот костюм значит «Кот в сапогах», а какой же кот может быть без хвоста? Нужен какой-нибудь хвост! Вера Сергеевна, помогите, а?

Тогда Вера Сергеевна сказала:

— Одну минуточку...

И вынесла мне довольно драненький рыжий хвостик с черными пятнами.

— Вот,— говорит,— это хвост от старой горжетки. Я в последнее время прочищаю им керогаз, но, думаю, тебе он вполне подойдет.

Я сказал «большое спасибо» и понес хвост Мишке.

Мишка, как увидел его, говорит:

— Давай быстренько иголку с ниткой, я тебе пришью.

Это чудный хвостик.

И Мишка стал пришивать мне сзади хвост. Он шил довольно ловко, но потом вдруг ка-ак уколел меня!

Я закричал:

— Потихе ты, храбрый портняжка! Ты что, не чувствуешь, что шьешь прямо по живому? Ведь колешь же!

— Это я немножко не рассчитал! — И опять как кольнет!

— Мишка, рассчитывай получше, а то я тебя тресну!

А он:

— Я в первый раз в жизни шью!

И опять — коль!..

Я прямо заорал:

— Ты что, не понимаешь, что я после тебя буду полный инвалид и не смогу сидеть?

Но тут Мишка сказал:

— Ура! Готово! Ну и хвостик! Не у каждой кошки есть такой!

Тогда я взял тушь и кисточкой нарисовал себе усы, по три уса с каждой стороны — длинные-длинные, до ушей!

И мы пошли в школу.

Там народу было видимо-невидимо, и все в костюмах. Одних гномов было человек пятьдесят. И еще было очень много белых «снежинок». Это такой костюм, когда вокруг много белой марли, а в середине торчит какая-нибудь девочка.

И мы все очень веселились и танцевали.

И я тоже танцевал, но все время спотыкался и чуть не падал из-за больших сапог, и шляпа тоже, как назло, постоянно съезжала почти до подбородка.

А потом наша вожатая Люся вышла на сцену и сказала звонким голосом:

— Просим «Кота в сапогах» выйти сюда для получения первой премии за лучший костюм!

И я пошел на сцену, и когда входил на последнюю ступеньку, то споткнулся и чуть не упал. Все громко засмеялись, а Люся пожала мне руку и дала две книжки: «Дядю Степу» и «Сказки-загадки». Тут Борис Сергеевич заиграл туш, а я пошел со сцены. И когда сходил, то опять споткнулся и чуть не упал, и опять все засмеялись.

А когда мы шли домой, Мишка сказал:

— Конечно, гномов много, а ты один!

— Да,— сказал я,— но все гномы были так себе, а ты был очень смешной, и тебе тоже надо книжку. Возьми у меня одну.

Мишка сказал:

— Не надо, что ты!

Я спросил:

— Ты какую хочешь?

— «Дядю Степу».

И я дал ему «Дядю Степу».

А дома я скинул свои огромные бахилы, и побежал к календарю, и зачеркнул сегодняшнюю клеточку. А потом зачеркнул уж и завтрашнюю.

Посмотрел — а до маминого приезда осталось три дня!

Один раз я сидел, сидел и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал, что вот как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные, и взрослые должны были бы их во всем, во всем слушаться. В общем, чтобы взрослые были как дети, а дети как взрослые. Вот это было бы замечательно, очень было бы интересно.

Во-первых, я представляю себе, как бы маме «понравилась» такая история, что я хожу и командую ею как хочу, да и папе небось тоже бы «понравилось», а о бабушке и говорить нечего. Что и говорить, я все бы им припомнил! Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал:

«Ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости! Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа? Вылитый Кощей! Ешь сейчас же, тебе говорят! — И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду: — Быстрее! Не держи за щекой! Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует! И не раскачивайся на стуле!»

И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже закричал:

«Ага, явился! Вечно тебя надо ждать! Мой руки сейчас же! Как следует, как следует мой, нечего грязь размазывать. После тебя на полотенце страшно смотреть. Щеткой три и не жалей мыла. Ну-ка, покажи ногти! Это ужас, а не ногти. Это просто когти! Где ножницы? Не дергайся! Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно. Не хлюпай носом, ты не девчонка... Вот так. Теперь садись к столу».

Он бы сел и потихоньку сказал маме:

«Ну как поживаешь?»

А она бы сказала тоже тихонько:

«Ничего, спасибо!»

А я бы немедленно:

«Разговорчики за столом! Когда я ем, то глух и нем! Запомните это на всю жизнь. Золотое правило! Папа! Положи сейчас же газету, наказание ты мое!»

И они сидели бы у меня как шелковые, а уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул руками и заголосил:

«Папа! Мама! Полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку! Каков вид! Грудь распахнута, шапка на затылке! Щеки красные, вся шея мокрая! Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять в хоккей гоняла! А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла? Что? Это клюшка! Убери ее сейчас же с моих глаз — на черный ход!»

Тут я бы прошелся по комнате и сказал бы им всем троим:

«После обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду!» Конечно, они бы сейчас же заняли и захныкали:

«И мы с тобой! И мы тоже хотим в кино!»

А я бы им:

«Нечего, нечего! Вчера ходили на день рождения, в воскресенье я вас в цирк водил! Ишь! Понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите! Нате вам вот тридцать копеек на мороженое, и всё!»

Тогда бы бабушка взмолилась:

«Возьми хоть меня-то! Ведь каждый ребенок может провести с собой одного взрослого бесплатно!»

Но я бы увильнул, я сказал бы:

«А на эту картину людям после семидесяти лет вход воспрещен. Сиди дома, гулена!»

И я бы прошелся мимо них, нарочно громко постукивая каблуками, как будто я не замечаю, что у них у всех глаза мокрые, и я бы стал одеваться, и долго вертелся бы перед зеркалом, и напевал бы, и они от этого еще хуже бы мучились, а я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы...

Но я не успел придумать, что бы я сказал, потому что в это время вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала:

— Ты еще сидишь? Ешь сейчас же, посмотри, на кого ты похож? Вылитый Кощей!

ГЛАВНЫЕ РЕКИ

Хотя мне уже идет девятый год, я только вчера догадался, что уроки все-таки надо учить. Любишь не любишь, хочешь не хочешь, лень тебе или не лень, а учить уроки надо. Это закон. А то можно в такую историю вляпаться, что своих не узнаешь. Я, например, вчера не успел уроки сделать. У нас было задано выучить кусочек из одного стихотворения Некрасова и главные реки Америки. А я, вместо того чтобы учиться, запускал во дворе змея в космос. Ну, он в космос все-таки не залетел, потому что у него был чересчур легкий хвост, и он из-за этого крутился, как волчок. Это раз. А во-вторых, у меня было мало ниток, и я весь дом обыскал и собрал все нитки, какие только были; у мамы со швейной машины снял, и то оказалось мало. Змей долетел до чердака и там завис, а до космоса еще было далеко.

И я так завозился с этим змеем и космосом, что совершенно позабыл обо всем на свете. Мне было так интересно играть, что я и думать перестал про какие-то там уроки. Совершенно вылетело из головы. А оказалось, никак нельзя было забывать про свои дела, потому что получился позор.

Я утром немножко заспался, и, когда вскочил, времени оставалось чуть-чуть... Но я читал, как ловко одеваются пожарные,— у них нет ни одного лишнего движения, и мне до того это понравилось, что я пол-лета тренировался быстро одеваться. И сегодня я как вскочил и глянул на часы, то сразу понял, что одеваться надо, как на пожар. И я оделся за одну минуту сорок восемь секунд весь, как следует, только шнурки зашнуровал через две дырочки. В общем, в школу я поспел вовремя и в класс тоже успел примчаться за секунду до Раисы Ивановны. То есть она шла себе потихоньку по коридору, а я бежал из раздевалки (ребят уже не было никого). Когда я увидел Раису Ивановну издалека, я припустился во всю прыть и, не доходя до класса каких-нибудь пять шагов, обошел Раису Ивановну и вскочил в класс. В общем, я выиграл у нее секунды полторы, и, когда она вошла, книги мои были уже в парте, а сам я сидел с Мишкой как ни в чем не бывало. Раиса Ивановна вошла, мы встали и поздоровались с ней, и громче всех поздоровался я, чтобы она видела, какой я вежливый. Но она на это не обратила никакого внимания и еще на ходу сказала:

— Кораблев, к доске!

У меня сразу испортилось настроение, потому что я вспомнил, что забыл приготовить уроки. И мне ужасно не хотелось вылезать из-за своей родимой парты. Я прямо к ней как будто приклеился. Но Раиса Ивановна стала меня торопить:

— Кораблев! Что же ты? Я тебя зову или нет?

И я пошел к доске.

Раиса Ивановна сказала:

Стихи!

Чтобы я читал стихи, какие заданы. А я их не знал. Я даже плохо знал, какие заданы-то. Поэтому я моментально подумал, что Раиса Ивановна тоже, может быть, забыла, что задано, и не заметит, что я читаю. И я бодро завел:

Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь:
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью как-нибудь...

— Это Пушкин,— сказала Раиса Ивановна.

— Да,— сказал я,— это Пушкин. Александр Сергеевич.

— А я что задала? — сказала она.

— Да! — сказал я.

— Что «да»? Что я задала, я тебя спрашиваю? Кораблев!

— Что? — сказал я.

— Что «что»? Я тебя спрашиваю: что я задала?

Тут Мишка сделал наивное лицо и сказал:

— Да что он, не знает, что ли, что вы Некрасова задали? Это он не понял вопроса, Раиса Ивановна.

Вот что значит верный друг. Это Мишка таким хитрым способом ухитрился мне подсказать. А Раиса Ивановна уже рассердилась:

— Слонов! Не смей подсказывать!

— Да! — сказал я. — Ты чего, Мишка, лезешь? Без тебя, что ли, не знаю, что Раиса Ивановна задала Некрасова! Это я задумался, а ты тут лезешь, сбиваешь только.

Мишка стал красный и отвернулся от меня. А я опять остался один на один с Раисой Ивановной.

— Ну? — сказала она.

— Что? — сказал я.

— Перестань ежеминутно чтокать!

Я уже видел, что она сейчас рассердится как следует.

— Читай. Наизусть!

— Что? — сказал я.

— Стихи, конечно! — сказала она.

— Ага, понял. Стихи, значит, читать? — сказал я. — Это можно. — И громко начал: — Стихи Некрасова. Поэта. Великого поэта.

— Ну! — сказала Раиса Ивановна.

— Что? — сказал я.

— Читай сейчас же! — закричала бедная Раиса Ивановна. — Сейчас же читай, тебе говорят! Заглавие!

Пока она кричала, Мишка успел мне подсказать первое слово. Он шепнул, не разжимая рта, но я его прекрасно понял. Поэтому я смело выдвинул ногу вперед и продекламировал:

— Мужичонка!

Все замолчали, и Раиса Ивановна тоже. Она внимательно смотрела на меня, а я смотрел на Мишку еще внимательнее. Мишка показывал на свой большой палец и зачем-то щелкал по ногтю.

И я как-то сразу вспомнил заглавие и сказал:

— С ноготком!

И повторил все вместе:

— Мужичонка с ноготком!

Все засмеялись. Раиса Ивановна сказала:

— Довольно, Кораблев!.. Не старайся, не выйдет. Уж если не знаешь, не срамись.

Потом она добавила:

— Ну, а как насчет кругозора? Помнишь, мы вчера сговорились всем классом, что будем читать и сверх программы интересные книжки? Вчера вы решили выучить названия всех рек Америки. Ты выучил?

Конечно, я не выучил. Этот змей, будь он неладен, совсем

мне всю жизнь испортил. И я хотел во всем признаться Раисе Ивановне, но вместо этого вдруг неожиданно даже для самого себя сказал:

— Конечно, выучил. А как же!

— Ну вот, исправь это ужасное впечатление, которое ты произвел чтением стихов Некрасова. Назови мне самую большую реку Америки, и я тебя отпущу.

Вот когда мне стало худо. Даже живот заболел, честное слово. В классе была удивительная тишина. Все смотрели на меня. А я смотрел в потолок. И думал, что сейчас уже наверняка я умру. До свидания, все! И в эту секунду я увидел, что в левом последнем ряду Петька Горбушкин показывает мне какую-то длинную газетную ленту, и на ней что-то намалевано чернилами, толсто намалевано, наверное, он пальцем писал. И я стал вглядываться в эти буквы и наконец прочел первую половину.

И тут Раиса Ивановна снова:

— Ну, Кораблев? Какая же главная река в Америке?

У меня сразу же появилась уверенность, и я сказал:

— Миси-писи.

Дальше я не буду рассказывать. Хватит. И хотя Раиса Ивановна смеялась до слез, но двойку она мне вlepила будь здоров. И я теперь дал клятву, что буду учить уроки всегда. До глубокой старости.

ГУСИНОЕ ГОРЛО

Когда мы сели обедать, я сказал:

— А я сегодня в гости пойду. К Мишке. На день рождения.

— Ну да? — сказал папа. — Сколько же ему стукнуло?

— Девять, — ответил я. — Ему девять лет, папа, стукнуло. Теперь десятый год пошел.

— Как бежит время, — вздохнула мама. — Давно ли он лежал на подоконнике в ящике от комода, а вот пожалуйста, уже девять лет!

— Ну что ж, — разрешил папа, — сходи, поздравь юбиляра. Ну-ка, расскажи, а что ты подаришь своему другу в этот памятный день?

— Есть подарочек, — сказал я. — Мишка будь здоров обрадуется...

— Что же именно? — спросила мама.

— Гусиное горло! — сказал я. — Сегодня Вера Сергеевна гуся потрошила, и я у нее выпросил гусиное горло, чтобы Мишке подарить.

— Покажи, — сказал папа.

Я вытащил из кармана гусиное горло. Оно было уже вымытое,

очищенное, прямо загляденье, но оно было еще сыроватое, недосушенное, и мама вскочила и закричала:

— Убери сейчас же эту мерзость! Ужас!

А папа сказал:

— А зачем оно нужно? И почему оно скользкое?

— Оно еще сырое. А я его высушу как следует и сверну в колечко. Видишь? Вот так.

Я показал папе. Он смотрел внимательно.

— Видишь? — говорил я. — Узкую горловину я всуну в широкую, брошу туда горошинок штук пять, оно, когда высохнет, знаешь как будет греметь! Первый сорт!

Папа улыбнулся:

— Ничего подарочек... Ну-ну!

А я сказал:

— Не беспокойся. Мишке понравится. Я его знаю.

Но папа встал и подошел к вешалке. Он там порылся в карманах.

— На-ка, — он протянул мне монетки, — вот тебе немного денег. Купи Мишке конфет. А это от меня добавка. — И папа отвинтил от своего пиджака чудесный голубой значок «Спутник».

Я сказал:

— Ура! Мишка будет на седьмом небе. У него теперь от меня целых три подарка. Значок, конфеты и гусиное горло. Это всякий бы обрадовался!

Я взял гусиное горло и положил его на батарею досушиваться. Мама сказала:

— Вымой руки и ешь!

И мы стали дальше обедать, и я ел рассольник и потихоньку стонал от удовольствия. И вдруг мама положила ложку и сказала ни с того ни с сего:

— Прямо не знаю, пускать его в гости или нет?

Вот тебе раз! Гром среди ясного неба! Я сказал:

— А почему?

И папа тоже:

— В чем дело-то?

— Он нас там опозорит. Он совершенно не умеет есть. Стонет, хлебает, везет... Кошмар!

— Ничего, — сказал я. — Мишка тоже стонет, еще лучше меня.

— Это не оправдание, — нахмурился папа. — Нужно есть прилично. Мало тебя учили?

— Значит, мало, — сказала мама.

— Ничему не учили, — сказал я. — Я ем как бог на душу положит. И ничего. Довольно здорово получается. А чему тут учить-то?

— Нужно знать правила,— сказал папа строго.— Ты знаешь? Нет. А вот они: когда ешь, не чавкай, не причмокивай, не дуй на еду, не стони от удовольствия и вообще не издавай никаких звуков при еде.

— А я не издаю! Что, издаю, что ли?

— И никогда не ешь перед обедом хлеб с горчицей! — воскликнула мама.

Папа ужасно покраснел. Еще бы! Он недавно съел перед обедом, наверное, целое кило хлеба с горчицей. Когда мама принесла суп, оказалось, что у нее уже нет хлеба, папа весь съел, и мне пришлось бежать в булочную за новым. Вот он теперь и покраснел, но промолчал. А мама продолжала на него смотреть и все говорила беспощадным голосом. Она говорила как будто бы мне, но папе от этого было не по себе. И мне тоже. Мама столько наговорила, что я просто ужаснулся. Как же теперь жить? Того нельзя, этого нельзя!

— Не роняй вилку на пол,— говорила мама.— А если уронил, сиди спокойно, не становись на четвереньки, не ныряй под стол и не ползай там полчаса. Не барабань пальцами по столу, не свисти, не пой! Не хохочи за столом! Не ешь рыбу ножом, тем более если ты в гостях.

— А это вовсе не рыба была,— сказал папа, и лицо у него стало какое-то виноватое,— это были обыкновенные голубцы.

— Тем более.— Мама была неумолима.— Еще чего придумали, голубцы — ножом! Ни голубцы, ни яичницу не едят ножом! Это закон!

Я ужасно удивился.

— А как же голубцы есть без ножа?

Мама сказала:

— А так же, как и котлеты. Вилочкой, и все.

— Так ведь останется же на тарелке! Как быть?

Мама сказала:

— Ну и пусть останется!

— Так ведь жалко же! — взмолился я.— Я, может быть, еще не наелся, а тут осталось... Нужно доесть!

Папа сказал:

— Ну и доедай, чего там!

Я сказал:

— Вот спасибо.

Потом я вспомнил еще одну важную вещь:

— А подливу?

Мама обернулась ко мне.

— Что подливу? — спросила она.

— Вылизать...— сказал я.

У мамы брови подскочили до самой прически. Она стукнула пальцем по столу:

— Не смей вылизывать!

Я понял, что надо спастись.

— Что ты, мама? Я знаю, что вылизывать языком нельзя! Что я, собачонка, что ли! Я, мама, вылизывать никогда не буду, особенно при ком-нибудь. Я тебя спрашиваю: а вымазать? Хлебом?

— Нельзя! — сказала мама.

— Так я же не пальцем! Я хлебом! Мякишем!

— Отвяжись, — крикнула мама, — тебе говорят!

И у нее сделались зеленые глаза. Как крыжовник. И я подумал: ну ее, эту подливку, не буду я ее ни вылизывать, ни вымазывать, если мама из-за этого так расстраивается. Я сказал:

— Ну ладно, мам. Я не буду. Пусть пропадает.

— А вот, кстати, — сказал папа, — я серьезно хочу тебя спросить...

— Спрашивай, — сказала мама, — ты ведь еще хуже маленького.

— Нет, верно, — продолжал папа, — у нас, знаешь, иногда банкеты бывают, всякие там торжества... Так вот: ничего, если я иногда захвачу что-нибудь с собой? Ну, яблочко или там апельсин...

— Не сходи с ума! — сказала мама.

— Да почему же? — спросил папа.

— А потому, что сегодня ты унес яблоко с собою, а завтра начнешь винегрет в боковой карман запихивать!

— Да, — сказал папа и поглядел в потолок, — да, некоторые очень хорошо знают правила хорошего тона! Прямо профессора! Куда там!.. А как ты думаешь, Дениска, — папа взял меня за плечо и повернул к себе, — как ты думаешь, — он даже повысил голос, — если у тебя собрались гости и вдруг один надумал уходить... Как ты думаешь, должна хозяйка дома провожать его до дверей и стоять с ним в коридоре чуть не двадцать минут?

Я не знал, что ответить папе. Его это, видимо, очень интересовало, потому что он крепко сжал мое плечо, даже больно стало. Но я не знал, что ему ответить. А мама, наверно, знала, потому что она сказала:

— Если я его проводила, значит, так было нужно. Чем больше внимания гостям, тем, безусловно, лучше.

Тут папа вдруг рассмеялся. Как из песни про блоху:

— Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! А я думаю, что он не умрет, если она не проводит его! Ха-ха-ха-ха-ха!

Папа вдруг взъерошил волосы и стал ходить туда-сюда по комнате, как лев по клетке. И глаза у него все время вращались. Теперь он смеялся с каким-то рывком: «Ха-ха! Ррр!!! Ха-ха! Рр!» Глядя на него, я тоже расхохотался:

— Конечно, не умрет! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Тут случилось чудо. Мама встала, взяла со стола чашку, вышла на середку комнаты и аккуратно бросила эту чашку об пол. Чашка разлетелась на тысячу кусочков. Я сказал:

— Ты что, мама? Ты это зачем?

А папа сказал:

— Ничего, ничего. Это к счастью! Ну, давай, Дениска, собирайся. Иди к Мишке, а то опоздаешь! Иди и не ешь рыбу ножом, не позорь фамилию!

Я собрал свои подарки и пошел к Мишке. И мы там веселились вовсю. Мы подскакивали на диване чуть не до потолка. Мишка даже стал лиловый от этого подскакивания. А фамилию нашу я не опозорил, потому что угощение было не обед или ужин, а лимонад и конфеты. Мы поели все конфеты, какие были, и даже ту коробочку съели, что я Мишке принес в подарок. А вообще подарков Мишке понанесли видимо-невидимо: и поезд, и книжки, и краски. И Мишкина мама сказала:

— Ох сколько подарков у тебя, Мишук! А тебе какой больше всех нравится?

— Какой может быть разговор? Конечно, гусиное горло! И покраснел от удовольствия.

А я так и знал.

ЧИКИ-БРЫК

Я недавно чуть не помер. Со смеху. А все из-за Мишки. Один раз папа сказал:

— Завтра, Дениска, поедем пастись на травку. Завтра и мама свободна, и я тоже. Кого с собой захватим?

— Известное дело кого — Мишку.

Мама сказала:

— А его отпустят?

— Если с нами, то отпустят. Почему же? — сказал я. — Давайте я его приглашу.

И я сбегал к Мишке. И когда вошел к ним, сказал: «Здравствуйте!» Его мама мне не ответила, а сказала его папе:

— Видишь, какой воспитанный, не то что наш...

А я им все объяснил, что мы Мишку приглашаем завтра погулять за городом, и они сейчас же ему разрешили, и на следующее утро мы поехали.

В электричке очень интересно ездить, очень!

Во-первых, ручки на скамейках блестят. Во-вторых, тормозные краны — красные, висят прямо перед глазами. И сколько ни ехать, всегда хочется дернуть такой кран или хоть погладить его рукой. А самое главное — можно в окошко смотреть, там специальная приступочка есть. Если кто не достает, можно на

эту приступочку встать и высунуться. Мы с Мишкой сразу заняли окошко, одно на двоих, и было здорово интересно смотреть, что вокруг лежит совершенно новенькая трава и на заборах висит разноцветное бельишко, красивое, как флажки на кораблях.

Но папа и мама не давали нам никакого житья.

Они поминутно дергали нас сзади за штаны и кричали:

— Не высовывайтесь, вам говорят! А то вывалитесь!

Но мы все высовывались. И тогда папа пустился на хитрость. Он, видно, решил во что бы то ни стало отвлечь нас от окошка. Поэтому он скорчил смешную гримасу и сказал нарочным, цирковым голосом:

— Эй, ребятня! Занимайте ваши места! Представление начинается!

И мы с Мишкой сразу отскочили от окна и уселись рядом на скамейке, потому что мой папа известный шутник, и мы поняли, что сейчас будет что-то интересное. И все пассажиры, кто был в вагоне, тоже повернули головы и стали смотреть на папу. А он как ни в чем не бывало продолжал свое:

— Уважаемые зрители! Сейчас перед вами выступит непобедимый мастер Чёрной магии, Сомнамбулизма и Катаlepsии!!! Всемирно известный фокусник-иллюзионист, любимец Австралии и Малаховки, пожиратель шпаг, консервных банок и перегоревших электроламп, профессор Эдуард Кондратьевич Кио-Сию! Оркестр — музыку! Тра-би-бо-бум-ля-ля! Тра-би-бо-бум-ля-ля!

Все уставились на папу, а он встал перед нами с Мишкой и сказал:

— Нумер смертельного риска! Отрыванье живого указательного пальца на глазах у публики! Нервных просят не падать на пол, а выйти из зала. Внимание!

И тут папа сложил руки как-то так, что нам с Мишкой показалось, будто он держит себя правой рукой за левый указательный палец. Потом папа весь напрягся, покраснел, сделал ужасное лицо, словно он умирает от боли, и вдруг он разозлился, собрался с духом и... оторвал сам себе палец! Вот это да!.. Мы сами видели... Крови не было. Но и пальца не было! Было гладкое место. Даю слово!

Папа сказал:

— Вуаля!

Я даже не знаю, что это значит. Но все равно я захлопал в ладоши, а Мишка закричал «бис».

Тогда папа взмахнул обеими руками, полез к себе за шиворот и сказал:

— Але-оп! Чики-брык!

И приставил палец обратно. Да-да! У него откуда-то вырос новый палец на старом месте! Совсем такой же, не отличишь от прежнего, даже чернильное пятно и то такое же, как было! Я-то,

конечно, понимал, что это какой-то фокус и что я во что бы то ни стало вызнаю у папы, как он делается, но Мишка совершенно ничего не понимал. Он сказал:

— А как это?

А папа только улыбнулся:

— Много будешь знать — скоро состаришься!

Тогда Мишка сказал жалобно:

— Пожалуйста, повторите еще разок! Чики-брык!

И папа опять все повторил, оторвал палец и приставил, и опять было сплошное удивление. Затем папа поклонился, и мы подумали, что представление кончилось, но оказалось, ничего подобного. Папа сказал:

— Ввиду многочисленных заявок, представление продолжается! Сейчас будет показано втирание звонкой монеты в локоть факира! Маэстро, трибо-би-бум-ля-ля!

И папа вынул монетку, положил ее себе на локоть и стал тереть этой монеткой о свой пиджак. Но она никуда не втиралась, а все время падала, и тогда я стал насмехаться над папой. Я сказал:

— Эх, эх! Ну и факир! Прямо горе, а не факир!

И все рассмеялись, а папа сильно покраснел и закричал:

— Эй ты, гривенник! Втирайся сейчас же! А то я тебя сейчас отдам вон тому дядьке за мороженое! Будешь знать!

И гривенник как будто испугался папы и моментально втерся в локоть. И исчез.

— Что, Дениска, съел? — сказал папа. — Кто тут кричал, что я горе-факир? А теперь смотри: феерия-пантомима! Вытаскивание разменной монеты из носа прекрасного мальчика Мишки! Чики-брык!

И папа вытащил монету из Мишкиного носа. Ну, товарищи, я и не знал, что мой папа такой молодец! А Мишка прямо засиял от гордости. Он весь рассиялся от удовольствия и снова закричал папе во все горло:

— Пожалуйста, повторите ещё разик чики-брык!

И папа опять всё ему повторил, а потом мама сказала:

— Антракт! Переходим в буфет!

А она дала нам по бутерброду с колбасой. И мы с Мишкой вцепились в эту бутерброды, и ели, и болтали ногами, и смотрели по сторонам. И вдруг Мишка ни с того ни с сего заявляет:

— А я знаю, на что похожа ваша шляпа.

Мама говорит:

— Ну-ка скажи — на что?

— На космонавтский шлем.

Папа сказал:

— Точно. Ай да Мишка, верно подметил! И правда, эта шляпка похожа на космонавтский шлем. Ничего не поделаешь, мода старается не отстать от современности. Мишка, иди-ка сюда!



И папа взял шляпку и нахлобучил Мишке на голову.

— Настоящий Попович! — сказала мама.

А Мишка действительно был похож на маленького космонавтика. Он сидел такой важный и смешной, что все, кто проходил мимо, смотрели на него и улыбались.

И папа улыбался, и мама, и я тоже улыбался, что Мишка такой симпатяга. Потом нам купили по мороженому, и мы стали его кусать и лизать, и Мишка быстрее меня справился и пошел снова к окошку. Он схватился за раму, встал на приступочку и высунулся наружу.

Наша электричка бежала быстро и ровно, за окном пролетала природа, и Мишке, видать, хорошо там было торчать в окошке с космонавтским шлемом на голове, и больше ничего на свете ему не нужно было, так он был доволен. И я захотел встать с ним рядом, но в это время мама подтолкнула меня локтем и показала глазами на папу.

А папа тихонько встал и пошел на цыпочках в другое отделение, там тоже окошко было открыто, и никто в него не глядел. У папы был очень таинственный вид, и все кругом притихли и стали следить за папой. А он неслышными шагами пробрался к этому окошку, высунул голову и тоже стал смотреть вперед, по ходу поезда, туда же, куда смотрел и Мишка. Потом папа медленно-медленно высунул правую руку, осторожно дотянулся до Мишки и вдруг с быстротой молнии сорвал с него мамину шляпку! Папа тут же отпрыгнул от окошка и спрятал шляпку за спину, он там ее заткнул за пояс. Я все это очень хорошо видел. Но Мишка-то этого не видел! Он схватился за голову, не нашёл там маминую шляпки, испугался, отскочил от окна и с каким-то ужасом остановился перед мамой. А мама воскликнула:

— В чем дело? Что случилось, Миша? Где моя новая шляпка? Неужели ее сорвало ветром? Ведь я говорила тебе: не высовывайся. Чужало мое сердце, что я останусь без шляпки! Как же мне теперь быть?

И мама закрыла лицо руками и задергала плечами, как будто она горько плачет. На бедного Мишку просто жалко было смотреть, он лепетал прерывающимся голосом:

— Не плачьте... пожалуйста. Я вам куплю шляпку... У меня деньги есть... Сорок семь копеек. Я на марки собирал...

У него задрожали губы, и папа, конечно, не мог этого перенести. Он сейчас же соорудил свою смешную рожицу и закричал цирковым голосом:

— Граждане, внимание! Не плачьте и успокойтесь! Ваше счастье, что вы знакомы со знаменитым волшебником Эдуардом Кондратьевичем Кио-Сию! Сейчас будет показан грандиозный трюк: «Возврат шляпы, выпавшей из окна голубого экспресса». Приготовились! Внимание! Чики-брык!

И у папы в руках оказалась мамина шляпка. Даже я и то не заметил, как проворно папа вытащил её из-за спины. Все прямо ахнули! А Мишка сразу посветлел от счастья. Глаза у него от удивления полезли на лоб. Он был в таком восторге, что просто обалдел. Он быстро подошёл к папе, взял у него шляпку, побежал обратно и что есть силы по-настоящему швырнул её за окно. Потом он повернулся и сказал моему папе:

— Пожалуйста, повторите ещё разик... чики-брык!

Вот тут-то и получилось, что я чуть не помер со смеху:

НА САДОВОЙ БОЛЬШОЕ ДВИЖЕНИЕ

У Ваньки Дыхова был велосипед. Довольно старый, но все-таки ничего. Раньше это был велосипед Ванькиного папы, но, когда велосипед сломался, Ванькин папа сказал:

— Вот, Ванька, чем целый день гонка гонять, на тебе эту машину, отремонтируй ее, и будет у тебя свой велосипед. Он, в общем, еще хоть куда. Я его когда-то на барахолке купил, он почти новый был.

И Ванька так обрадовался этому велосипеду, что просто трудно передать. Он его утащил в самый конец двора и совсем перестал гонка гонять — наоборот, он целый день возился со своим велосипедом, стучал, колотил, отвинчивал и привинчивал. Он весь чумазый стал, наш Ванька, от машинного масла, и пальцы у него были все в ссадинах, потому что он, когда работал, часто промахивался и попадал сам себе молотком по пальцам. Но все-таки дело у него ладилось, потому что у них в пятом классе проходят слесарное дело, а Ванька всегда был отличником по труду. И я Ваньке тоже помогал чинить машину, и он каждый день говорил мне:

— Вот погоди, Дениска, когда мы её починим, я тебя на ней катать буду. Ты сзади, на багажнике, будешь сидеть, и мы с тобой всю Москву изъездим!

И за то, что он со мной так дружит, хотя я всего только во втором, я еще больше ему помогал и, главное, старался, чтобы багажник получился красивый. Я его четыре раза черным лаком покрасил, потому что он был все равно что мой собственный. И он у меня так сверкал, этот багажник, как новенькая машина «Волга». И я все радовался, как я буду сидеть на нем, и держаться за Ванькин ремень, и мы будем носиться по всему миру.

И вот однажды Ванька поднял свой велосипед с земли, подкачал шины, протер его весь тряпочкой, сам умылся из бочки и застегнул брюки внизу бельевыми защепками. И я понял, что приближается наш с ним праздник. Ванька сел на машину и поехал.

Он сначала объехал не торопясь вокруг двора, и машина шла под ним мягко-мягко, и было слышно, как приятно трутся о землю шины. Потом Ванька прибавил скорости, и спицы засверкали, и Ванька пошел выкомаривать номера, и стал петлять и крутить восьмерки, и разгонялся изо всех сил, и сразу резко тормозил, и машина останавливалась под ним как вкопанная. И он по-всякому ее испытывал, как летчик-испытатель, а я стоял и смотрел, как механик, который стоит внизу и смотрит на штуки своего пилота. И мне было приятно, что Ванька так здорово ездит, хотя я могу, пожалуй, еще лучше, во всяком случае не хуже. Но велосипед был не мой, велосипед был Ванькин, и нечего тут долго разговаривать, пускай он делает на нем все, что угодно. Приятно было видеть, что машина вся блестит от краски, и невозможно было догадаться, что она старая. Она была лучше любой новой. Особенно багажник. Любо-дорого было смотреть на него, прямо сердце радовалось.

И Ванька скакал так на этой машине, наверно, с полчаса, и я уже стал побаиваться, что он совсем забыл про меня. Но нет, напрасно я так подумал про Ваньку. Он подъехал ко мне, ногой уткнулся в забор и говорит:

— Давай влазь.

Я, пока карабкался, спросил:

— А куда поедем?

Ванька сказал:

— А не все равно? По белу свету!

И у меня сразу появилось такое настроение, как будто на нашем белом свете живут одни только веселые люди и все они только и делают, что ждут, когда же мы с Ванькой к ним приедем в гости. И, когда мы к ним приедем — Ванька за рулем, а я на багажнике, — сразу начнется большущий праздник, и флаги будут развеиваться, и шарики летать, и песни, и эскимо на палочке, и духовые оркестры будут греметь, и клоуны ходить на голове.

Такое вот у меня было удивительное настроение, и я примостился на свой багажник и схватился за Ванькин ремень. Ванька крутнул педали, и... прощай, папа! Прощай, мама! Прощай, весь наш старый двор, и вы, голуби, тоже до свиданья! Мы уезжаем кататься по белу свету!

Ванька вырулил со двора, потом за угол, и мы поехали разными переулками, где я раньше ходил только пешком. И все теперь было совершенно по-другому, незнакомое какое-то, и Ванька все время позванивал в звонок, чтобы не задавить кого-нибудь: ззь! ззь! ззь!..

И пешеходы выпрыгивали из-под нашей машины, как куры, и мы мчались с неслыханной быстротой, и мне было очень весело, и на душе было свободно, и очень хотелось горланить что-нибудь отчаянное. И я горланил букву «а». Вот так: ааааааааааа! И очень

смешно получилось, когда Ванька въехал в один старенький переулок, в котором дорога была вся в булыжниках, как при царе Горохе. Машину стало трясти, и моя оралка на букву «а» стала прерываться, как будто стоило ей вылететь изо рта, как кто-то сразу обрезал ее острыми ножичками и кидал на ветер. Получалось: а! а! а! а! а! Но потом опять подвернулся асфальт, и все снова пошло как по маслу: ааааааааааа!

И мы еще долго ездили по переулкам и наконец очень устали. Ванька остановился, и я спрыгнул со своего багажника. Ванька сказал:

— Ну как?

— Блеск! — сказал я.

— Тебе удобно было?

— Как на диване, — сказал я, — еще удобней. Что за машина! Прямо экстра-класс!

Он засмеялся и пригладил свои растрепанные волосы. Лицо у него было пыльное, грязное, и только глаза сверкали — синие, как тазики в кухне на стене. И зубы блестели вовсю.

И вот тут-то к нам с Ванькой и подошел этот парень. Он был высокий, и у него был золотой чуб. На нем была полосатая рубашка с длинными рукавами, и на руках у него были разные рисунки, портреты и пейзажи. И за ним плелась такая лохматенькая собачушка, сделанная из разных шерстей. Были кусочки шерсти черненькие, были беленькие, попадались рыженькие, и был один зеленый... хвост у нее завивался крендельком, одна нога поджата. Этот парень сказал:

— Вы откуда, ребята?

Мы ответили:

— С Трехпрудного.

Он сказал:

— Вона! Молодцы! Откуда доехали! Это твоя машина?

Ванька сказал:

— Моя. Была отцовская, теперь моя. Я её сам отремонтировал. А вот он, — Ванька показал на меня, — он мне помогал.

Этот парень сказал:

— Да... Смотри ты. Такие неказистые ребята, а прямо химики-механики.

Я сказал:

— А это ваша собака?

Этот парень кивнул:

— Ага. Моя. Это очень ценная собака. Породистая. Испанский такс.

Ванька сказал:

— Ну что вы! Какая же это такса? Таксы узкие и длинные.

— Не знаешь, так молчи! — сказал этот парень. — Московский там или рязанский такс — длинный, потому что он все время

под шкафом сидит и растет в длину, а это собака другая, ценная. Она верный друг. Кличка — Жулик.

Он помолчал. Потом вздохнул три раза и сказал:

— Да что толку? Хоть и верный пес, а все-таки собака. Не может мне помочь в моей беде...

И у него на глазах появились слезы. У меня прямо сердце упало. Что с ним?

Ванька сказал испуганно:

— А какая у вас беда?

Этот парень сразу покачнулся и прислонился к стене.

— Бабушка помирает, — сказал он и стал часто-часто хватать воздух губами и всхлипывать. — Помирает бабуся... У ней двойной аппендицит... — Он посмотрел на нас искоса и добавил: — Двойной аппендицит, и корь тоже...

Тут он заревел и стал вытирать слезы рукавом. У меня заколотилось сердце. А парень прислонился к стенке поудобнее и стал выть довольно громко. А его собака, глядя на него, тоже завывала. И они оба так стояли и выли, жутко было слышать. От этого воя Ванька даже побледнел под своей пылью. Он положил руку на плечо этому парню и сказал дрожащим голосом:

— Не войте, пожалуйста! Зачем вы так воете?

— Да как же мне не выть, — сказал этот парень и замотал головой, — как же мне не выть, когда у меня нет сил дойти до аптеки! Три дня не ел!.. Ай-уй-уй-юй!..

И он еще хуже завыл. И ценная собака такс тоже. И никого вокруг не было. И я прямо не знал, что делать.

Но Ванька не растерялся нисколько.

— А рецепт у вас есть? — закричал он. — Если есть, давайте его поскорее сюда, я сейчас же слетаю на машине в аптеку и привезу лекарство. Я быстро слетаю!

Я чуть не подскочил от радости. Вот так Ванька, молодец! С таким человеком не пропадешь, он всегда знает, что надо делать.

Сейчас мы с ним привезем этому парню лекарство и спасём его бабушку от смерти. Я крикнул:

— Давайте же рецепт! Нельзя терять ни минуты!

Но этот парень задержался еще хуже, замахал на нас руками, перестал выть и заорал.

— Нельзя! Куда там! Вы что, в уме? Да как же это я пушу двух таких пацанят на Садовую? А? Да еще на велосипеде! Вы что? Да вы знаете, какое там движение? А? Вас там через полсекунды в клочки разорвет... Куда руки, куда ноги, головы отдельно!.. Ведь грузовики-пятитонки! Краны подъемные мчатся!.. Вам хорошо, вас задавит, а мне за вас отвечать придется! Не пушу я вас, хоть убейте! Пускай лучше бабушка умрет, бедная моя Февронья Поликарповна!..

И он снова завыл своим толстым басом. Ценная собака такс

вообще выла без остановки. Я не мог этого вынести — что этот парень такой благородный и что он согласен рисковать бабушкиной жизнью, только бы с нами ничего не случилось. У меня от всего этого губы стали кривиться в разные стороны, и я понял, что еще немножко, и от этих дел я завою не хуже ценной собаки. Да и у Ваньки тоже глаза стали какие-то подмоченные, и он хлюпнул носом:

— Что же нам делать?

— А очень просто,— сказал этот парень деловитым голосом.— Один только выход и есть. Давайте ваш велосипед, я на нем съезжу. И сейчас вернусь. Век свободы не видать!..— И он провел ладонью поперёк горла.

Это, наверно, была его страшная клятва. Он протянул руку к машине. Но Ванька держал ее довольно крепко. Этот парень подергал ее, потом бросил и снова зарыдал:

— Ой-ой-ой! Погибает моя бабушка, погибает ни за понюх табаку, погибает ни за рубль за двадцать... Ой-уюю...

И он стал рвать со своей головы волосы. Прямо вцепился и рвет двумя руками. Я уже не смог выдержать такого ужаса. Я заплакал и сказал Ваньке:

— Дай ему велосипед, ведь умрёт бабушка! Если бы у тебя так?

А Ванька держится за велосипед и рыдает в ответ:

— Лучше уж я сам съезжу...

Тут этот парень посмотрел на Ваньку безумными глазами и захрипел как сумасшедший:

— Не веришь, да? Не веришь? Жалко на минутку дать свой драндулет? А старушка пусть помирает? Да? Бедная старушка, в беленьком платочке, пусть помирает от кори? Пускай, да? А пионер с красным галстуком жалеет драндулет? Эх вы! Душегубы! Собственники!..

Он оторвал от рубашки пуговку и стал топтать ее ногами. А мы не шевелились. Мы совершенно изревелись с Ванькой. Тогда этот парень вдруг ни с того ни с сего подхватил с земли свою ценную собаку такс и стал совать ее то мне, то Ваньке в руки:

— Нате! Друга вам отдаю в залог! Верного друга отдаю! Теперь веришь? Веришь или нет?! Ценная собака идет в залог, ценная собака такс!

И он все-таки всунул эту собачонку Ваньке в руки. И тут меня осенило.

Я сказал:

— Ванька, он же собаку оставляет нам как заложника. Ему теперь никуда не деться, она же его друг, и к тому же ценная. Дай машину, не бойся.

И тут Ванька дал этому парню руль и сказал:

— Вам на пятнадцать минут хватит?

— Много,— сказал парень,— куда там! Пять минут на все про все! Ждите меня тут. Не сходите с места!

И он ловко вскочил на машину, с места ходко взял и прямо свернул на Садовую. И, когда сворачивал за угол, ценная собака такс вдруг спрыгнула с Ваньки и как молния помчалась за ним.

Ванька крикнул мне:

— Держи!

Но я сказал:

— Куда там, нипочем не догнать. Она за хозяином побежала, ей без него скучно! Вот что значит верный друг. Мне бы такую...

А Ванька сказал так робко и с вопросом:

— Но ведь она же заложница?

— Ничего,— сказал я,— они скоро оба вернутся.

И мы подождали пять минут.

— Что-то его нет,— сказал Ванька.

— Очередь, наверно,— сказал я.

Потом прошло еще часа два. Этого парня не было. И ценной собаки тоже. Когда стало темнеть, Ванька взял меня за руку.

— Всё ясно,— сказал.— Пошли домой...

— Что ясно... Ванька? — сказал я.

— Дурак я, дурак,— сказал Ванька.— Не вернется он никогда, этот тип, и велосипед не вернется. И ценная собака такс тоже!

И больше Ванька не сказал ни слова. Он, наверно, не хотел, чтобы я думал про страшное. Но я всё равно про это думал.

Ведь на Садовой такое движение...

РАБОЧИЕ ДРОБЯТ КАМЕНЬ

С самого начала этого лета мы все трое, Мишка, Костик и я, очень пристрастились к водной станции «Динамо» и стали ходить туда почти что каждый день. Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились кто где: кто — в деревне, кто — в пионерских лагерях, а я, например, два месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва». И когда мы все научились плавать, мы очень быстро поняли, что нигде не получишь такого удовольствия от купания, как на водной станции. Даю слово.

Ох, хорошо лежать ясным утречком на водной станции на сыроватых и тёплых её деревянных дорожках, вдыхать всеми ноздрями свежий и тревожный запах реки и слышать, как на высоких мачтах и тонких рейках трещат под ветром разноцветные шелковые флажки и вода хлупает и полощется где-то под тобой в дощатых щелях; хорошо так лежать, и молчать, и загорать, раскинув руки, и смотреть из-под локтя, как недалеко от станции,

чуть-чуть повыше по течению, рабочие-каменщики чинят набережную и бьют по розовому камню молотками, и звук долетает до тебя немножко позже удара, такой тонкий и нежный, как будто кто-то играет стеклянными молоточками на серебряном ксилофоне. И особенно хорошо, когда накалишься как следует, бухнуться в воду, и наплаваться вдосталь, и напрыгаться с метровой тумбочки, и наныряться досыта, до отвала. А потом, когда устанешь, хорошо пойти к своим ребятам, пойти по горячим досточкам, втянув живот до позвоночника, и выпятив грудь колесом, и распирая бедра, и напружинив руки, а ноги ставя непременно носками внутрь, потому что это красиво, и на водной станции иначе не пойдешь, здесь так ходят все. Здесь тебе не самодельный пляжик с грязноватым песком и бумажками, здесь тебе не какой-нибудь травянистый бережок — это там можно чапать как угодно, — а здесь водная станция, здесь порядок, чистота, ловкость, спорт, шик-блеск, и поэтому все здесь ходят по-чемпионски, на «отлично», фасонно ходят — иногда даже ходят гораздо лучше, чем плавают.

И вот поэтому мы все, Мишка, Костик и я, — мы дня не пропустили, все лето ходили сюда купаться, и загорели как черти, и здорово поднаучились плавать, и у нас появились мускулы, бицепсы и трицепсы, и мы на нашей станции облазили все углы и знали, где медпункт, где игры и все такое, и в конце концов все здесь стало для нас вроде бы как родное и обыкновенное. Мы привыкли.

И однажды мы лежали, как всегда, на досточках и загорали, и Костик вдруг сказал ни с того ни с сего:

— Дениска! А ты мог бы прыгнуть с самой верхней вышки в воду?

Я посмотрел на вышку и увидел, что она не слишком-то уж высокая, ничего страшного, не выше второго этажа, ничего особенного.

Поэтому я сейчас же ответил Костику:

— Конечно, смог бы! Ерунда какая.

Мишка тотчас же сказал:

— А вот слабó!

Я сказал:

— Дурачок ты, Мишка, вот ты кто!

Костик сказал:

— Но десять же метров!

— Ну и что? — сказал я.

— Слабó! — отрезал Костик.

И Мишка, конечно, его поддержал:

— Слабó, факт, слабó! — И добавил: — Слабó-би-бо!!!

Я сказал:

— Дурачки вы оба! Вот вы кто!

И тут я встал, растопырил ребра, выкатил грудь, напружинил

руки и пошел к вышке. А когда шел, все время ставил носки внутрь.

Сзади Костик крикнул:

— Сла-би-бу-бе-бо!

Но я не стал ему отвечать. Я уже всходил на вышку.

Все это время, что мы ходили на водную станцию, я каждый день видел, как с этой вышки прыгали в воду взрослые дядьки. Я видел, как они красиво выгибали спину, когда прыгали «ласточкой», видел, как они перекувыркивались через голову по полтора раза, или переворачивались через бок, или складывались в воздухе пополам и падали в воду аккуратно и точно, почти совсем не подымая брызг, а когда выныривали, то выходили на доски, напружинив руки и выпятив грудь...

И это было очень красиво и легко, и я всю жизнь был уверен, что прыгаю не хуже этих дядек, но сейчас, когда лез, я решил для первого раза никаких фигур в воздухе не выстраивать, а просто прыгнуть прямо, вытянувшись в струнку, «солдатиком», — это легче легкого! Я так просто, без затей, прыгну только для начала, а уж потом, в следующие разы, я специально для Мишки такие буду выписывать кренделя, что Мишка только рот разинет. Пусть они с Костиком лучше молчат в тряпочку и кричат мне вдогонку свое дурацкое «сла-би-бо!!!».

И пока я так думал, у меня было веселое настроение, и я быстро бежал по маленьким лесенкам вверх и вверх и даже не заметил, с какой быстротой я оказался на самой высшей площадке, на высоте десяти метров над уровнем станции.

И тут я вдруг увидел, что эта площадка очень маленькая, а перед нею, и по бокам, и далеко вокруг, стоит какой-то раздвинутый, огромный и прекрасный город, он стоит весь в каком-то лёгком тумане, а тут, на площадке, шумит ветер, шумит не шутя, как буря, того и гляди, сдует тебя с этой вышки. И совсем не слышно, как рабочие дробят камень, ветер заглушает их стеклянные молотки. И когда я глянул вниз, я увидел наш водный бассейн, он был голубой, но такой маленький, прямо величиной с папиросную коробку, и я подумал, что, если прыгну, вряд ли попаду в него, тут очень просто промахнуться, а тем более ветер не меньше шести баллов, он, того и гляди, снесет меня куда-нибудь в сторону, в реку, или я бухнусь прямо в буфет кому-нибудь на голову, вот будет история! Или я, чего доброго, угожу прямо в кухню, в котел с борщом! Тоже удовольствие маленькое. От этих мыслей у меня что-то зачесалось внутри коленок, и мне больше всего захотелось ещё раз услышать, как рабочие чинят набережную, и увидеть Костика и Мишку рядом с собой, все-таки они мои друзья...

И я потихоньку сделал несколько шагов назад, ухватился за перила и стал спускаться вниз, а когда спустился, настроение у меня опять было хорошее, и на сердце стало легко-легко, как будто

гора с плеч свалилась. И я очень обрадовался, когда увидел Мишку с Костиком, и побежал к ним, а когда подбежал, остановился как вкопанный!.. Эти дураки хохотали во все горло и показывали на меня пальцем! Они изображали, что сейчас лопнут от смеха. Они вопили:

— Он спрыгнул!

— Ха-ха-ха!

— Он сиганул!

— Хо-хо-хо!

— Ласточкой!

— Хе-хе-хе!

— Солдатиком!

— Хи-хи-хи!

— Храбрец!

— Молодец!

— Хвастец!

Я сел рядом с ними и сказал:

— Дурачки вы, и больше ничего! Неужели вы думаете, что я струсил?

Тут они прямо завизжали:

— Нет! Ха-ха-ха!

— Не думаем! Хо-хо-хо!

— Ты не струсил!

— Ты просто забоялся!

— Сейчас мы напишем про тебя в газету!

— Чтоб тебе медаль дали!

— За красивое спускание по лестнице!

Во мне прямо все бурлило от злости! Какие все-таки наглые типы, этот худущий Костыль и особенно Миха с его противным голосом! Они, видно, серьезно воображают, что я струсил! Какая глупость! Олухи царя небесного!

Но я не стал ругаться и оскорблять их, как они меня. Ведь я-то знал, что мне ничего не стоит спрыгнуть с этой жалкой вышки! Поэтому я сказал им спокойно и вежливо:

— Наплевать на вас!

И стремглав кинулся к вышке, и в пять секунд снова взбежал на самый верх! В это время солнце спряталось за тучу. Здесь было холодно и мрачно, ветер выл, и вышка немножко скрипела и покачивалась. Но я не стал задерживаться, я подошел к самому краю, сложил руки по швам, зажмурился, чуть-чуть согнул коленки, перед тем как прыгнуть, и... вдруг совершенно неожиданно я вспомнил про маму. И про папу тоже. И про бабушку. Я вспомнил, что сегодня утром, когда я убежал на «Динамо», я не попрощался с ними и что теперь очень может быть, что я убьюсь насмерть, и я подумал, какое это будет для них несчастье. Просто горе будет. Ведь им совершенно некого будет в жизни приласкать. Я предста-

вил себе, как мама всегда будет смотреть на мою карточку и плакать, ведь я у нее единственный и у папы тоже. И у них в душе будет вечный траур, и они не будут ходить в гости и в кино — разве это жизнь? И кто же будет о них заботиться, когда они состарятся? Да и мне тоже без них будет плохо, я ведь тоже их люблю! Хотя мне-то уже плохо не будет, меня в живых не будет, я буду уже мертвый, и не увижу больше неба, и не услышу, как рабочие нежно дробят камень на набережной!..

И все это из-за этих негодных Костыля и Михи?

Я ужасно возмутился и весь вскипел, что из-за таких дураков столько народу страдает, и я подумал, что гораздо лучше будет, если я пойду и насую им по шее, и чем скорее, тем лучше.

И я опять спустился вниз.

Костик, когда увидел меня, встал на четвереньки и уткнулся головой в пол. И так, на голове, он побежал по кругу, как какой-нибудь жук. А Мишка был совершенно синий и булькал — у него была смеховая истерика.

Возле них сидела небольшая толпа, разные девушки и парни. Они тоже смеялись. Видно, Костик с Мишкой рассказали им это дело. Они очень весело смеялись, незнакомые эти люди, а мои друзья смеялись с ними заодно, они все вместе дружно надо мной смеялись...

И тут я почувствовал, что все, что было до сих пор, — это была чепуха! Просто я до сих пор не понимал, в чем тут суть! А сейчас, кажется, понял. И я повернулся и пошел обратно на вышку. В третий раз! Они там сзади кукарекали мне вслед, блеяли и улюлюкали. Но я долез доверху и подошел к самому краю. Коленки у меня дрожали. Но я схватил их руками и сжал и сказал себе тихонько, а когда говорил, слышал, как дрожит мой голос и клацкают зубы.

Я бормотал:

— Рохля!.. Вахля!! Махля!.. Прыгай сейчас же! Ну! А то я разговаривать с тобой не буду! Руки тебе не подам! Ну! Прыгай же! Ну! Тухля! Протухля! Вонюхля!

И когда я обозвал себя вонюхлей, я не выдержал обиды и шагнул вперед. Сердце и желудок у меня сразу подкатились к горлу. И я, когда летел, не успел ничего подумать, просто я знал, что я прыгнул. Я прыгнул! Я прыгнул! Прыгнул все-таки!!!

А когда я вынырнул, Мишка и Костик протянули мне руки и вытащили на доски. Мы легли рядом. Мишка и Костик молчали.

А я лежал и слушал, как рабочие бьют молотками по розовому камню. Звук долетал сюда слабо, нежно и робко, как будто кто-то играл стеклянным молоточком на серебряном ксилофоне.

БЕЛЫЕ АМАДИНЫ

Возле нашего дома появилась афиша, такая красивая и яркая, что мимо нее невозможно было пройти равнодушно. На ней были нарисованы разнообразные птицы и написано: «Показ певчих птиц». И я сразу решил, что обязательно схожу посмотрю, что это за новости такие.

И в воскресенье, часика в два дня, собрался, оделся и позвонил Мишке, чтобы и его захватить с собою. Но Мишка проворчал, что у него двойка по арифметике — это раз и новая книжка про шпионов — это два.

Тогда я решил отправиться сам. Мама меня отпустила охотно, потому что я ей мешал убирать, и я поехал. Певчих птиц показывали на Выставке достижений, и я туда легко добрался на метро. У касс почти никого не было, и я протянул в окошко двадцать копеек, но кассирша дала мне билет и вернула десять копеек обратно за то, что я школьник. Это мне ужасно понравилось. Получилось, как будто мне платят за то, что я учусь в третьем классе, десять копеек с билета! Это здорово! Это просто прекрасно! У меня десять копеек осталось! А я и не знал про такую скидку! Теперь, пожалуй, с такими-то законами, мне надо будет почаще ходить на разные выставки и показы! Ведь так можно и на фотоаппарат накопить! Например, если аппаратик стоит сорок рублей, то мне, очень просто, надо сходить на четыреста выставок, и дело в шляпе! Полный порядок. У меня будет фотоаппарат! Это меня очень развеселило, и я шел к птицам в самом лучшем настроении. Вокруг стояли разные дома, то похожие на терема, то на дворцы, а то и вовсе ни на что не похожие. Это все были павильоны выставки.

Тут же некоторые папы и мамы катали своих ребят на тройках, потому что в это время здесь происходил Праздник зимы и было катание на лошадях и оленях. Жалко только, очередь на катание была чересчур длинная, и я хотя и постоял в ней немного, но быстро сообразил, что если дело так будет двигаться, то я, может быть, прокачусь недельки только через полторы, а мне уж очень хотелось посмотреть певчих птиц. Поэтому я помахал рукой оленям и лошадям и пошел дальше. А около павильона, на котором было написано «Электроника», я устал. Тогда я спросил у проходившей девушки:

— Скажите, пожалуйста, далеко еще до певчих птиц?

Она показала рукой:

— А вот рядом, видишь павильон? На нем написано «Свиноводство». Там твои птицы. Иди скорей.

И я пошел в павильон «Свиноводство». Как только я открыл дверь, я понял, что не зря приехал сюда. Вокруг меня, по стенам, со всех четырех сторон, чуть ли не до потолка одна за другой, как

кубики, стояли маленькие клеточки. И в каждой клеточке жила птичка. И они все вместе пели. Хором. Но каждая свое. Кто «чирик-чирик», кто «фью-фить-фью», кто «чеки-щелк», а кто и «пи-пи-пи». И все вместе было похоже на наш класс утром, до прихода Раисы Ивановны, мы тогда тоже галдим, всякий на свой лад. И потом, эти птицы были такие красивые, что я себе даже представить такого не мог. Я близко таких еще не видел. Близко я видел только воробьев. Воробьи, конечно, очень красивые и симпатичные, ничего не скажешь, но тут собрались просто какие-то невиданные чудеса. Например, тут был снегирь. Важный, сытый, круглый, ни дать ни взять мыльный пузырь, если ты его выдуваешь на заходе солнца, когда оно красное. Тут же были и крючконосые клесты, и щекастые синички, и славочки, такие свежие и пухлые на взгляд, что, кажется, прямо живую бы съел... шутя, конечно... Иволга тоже была крупная и зеленая, как болото, и черные ученые дрозды. И целый коридор занимали голуби. И они хотя и не певчие, но их, видно, со всякими диковинками сюда поместили уж заодно. Потому что если голубь якобин, так это не хуже любой другой птицы по красоте. Он похож на астру и бывает разных цветов: белый, и лиловый, и коричневый. Удивление! А монахи с черными хвостами! А драконы с жуткими глазами! А почтовые, которые летают со скоростью «Волги»! Восторг!

И еще из непевчих, но поразительных птиц здесь в большущих клетках сидели две попки. То есть два попки. Или нет! Двое попок! Вот. Один был белый, большой, назывался какаду. У него нос был как консервный ножик-открывалка, а из темечка рос целый пучок зеленого лука. А второй был кубинский амазон. Кубинский! Зеленый! А на груди красный галстук, как у пионера. Он все время на меня смотрел, а я ему улыбался, чтобы он знал, что я ему друг. Но это все было еще не самое главное в этом замечательном павильоне. Дело в том, что там был небольшой угол, и, постепенно переходя от клетки к клетке, я добрался и туда, совершенно еще не зная, что тут-то оно вот и есть, тут-то вот и хранится самое главное несметное сокровище.

Здесь стояли целые толпы народа. И люди отсюда никуда не отходили и не шумели совсем, а стояли плотными рядами. И я, конечно, стал потихоньку ввинчиваться в эти толпы и постепенно провинтился поближе к самому главному. Это были птички амадины. Маленькие-маленькие, белые снежки с блестящими клюквенными клювиками и величиной с полпальца. Откуда они взялись? Они, наверное, нападали с неба. Они, наверное, были осадки, а потом ожили, вышли из сугробов и давай летать-гулять по нашим дворам и переулкам перед окнами, и наконец впорхнули в этот павильон «Свиноводство», и теперь устали и сидят, каждая в своем домике, отдыхают. А люди стоят перед ними целыми толпами, молча и недвижно, и любят их изо всех сил. Да, да. Все любят.

Единогласно. И тут одна тетка с золотым зубом сказала ни с того ни с сего:

— Ну, какие маленькие... Худые... Куда их...

И все на нее оглянулись сурово, а один дедушка скривил рот и ядовито проговорил:

— Конечно, курица — она толще...

И все опять сурово посмотрели на теткин золотой зуб, а она покраснела и ушла. И все мы, кто стоял тут, поняли, что тетка не в счет, потому что она не из нашей компании. И мы так молча стояли еще долго-долго, и я все не мог наглядеться на этих птиц. Они, видно, были с какого-то седьмого неба, из волшебной жизни, про которую писал Андерсен. Такие они были маленькие, слабые и нежные, но, видно, в том-то их и сила была, у маленьких и слабых, что мы стояли как вкопанные перед ними все — и дети и даже взрослые. И наверное, мы бы никогда отсюда не ушли, но в это время по радио чей-то голос сказал:

— Внимание. Сейчас в павильоне номер два будет проведен конкурс певчих кенарей, начало через десять минут! Просим перейти во второй павильон!

И дедушка, который отбрил тетку, сказал, словно встряхнувшись:

— Надо идти... Семеновских певцов послушаем. И ушаковских тоже. — Он тронул меня за плечо: — Пошли, мальчик...

И сам двинулся вперед, и я увидел, что у него валенок сзади прохудился и оттуда торчал пучок соломы.

А во втором павильоне был маленький зал, сцена и стулья. А на сцене, сбоку, стояла кафедра-трибуна для докладчика, а в центре — стол, за который сразу уселись судьи птичьего пения. И я очень удивился, что дедушка, который отбрил тетку, сел в середине этого стола. Оказывается, он был тут главный; я не знаю, но все, кто садился с ним рядом, здоровались с ним за руку и вообще оказывали ему почет. И когда все утихло, этот дедушка сказал:

— Ну, Семенов, давай, что ли...

И откуда-то вышел высокий дядька с орденскими колодками на груди — двенадцать штук наград, я сосчитал. У него в руках был плоский чемодан. Он его открыл. В чемодане было полно маленьких клеток, и в них были канарейки. Он вынул одну клеточку, в ней прыгал желтенький лимон. Семенов поставил эту клетку на кафедру-трибуну, и у Лимончика стал такой вид, как будто он и впрямь серьезный докладчик, но раз до доклада у него есть еще минут пять свободных, так он пока попрыгает. Все сохраняли тишину и ждали, когда Лимончик запоеет. Но он и не думал петь. Он все прыгал и трепыхался. Кто-то сзади меня шепнул:

— Если через десять минут не запоеет, снимут с конкурса. Вот тебе и Семенов.

А Лимончик все прыгал туда-сюда, потом уже было решался, открывал клювик, но, словно дразнил всех нас, не начинал петь и снова прыгал по-всякому. Мне уже надоело его ждать, и я хотел уйти, но главный дедушка вдруг сказал, и опять ядовито:

— Ну что, Семенов, запоет он когда-нибудь? Или стесняется? А может, он сегодня не в настроении?

Все засмеялись негромко, а на бедного Семенова жалко было смотреть. Он весь вытянулся к своему Лимончику и стал вдруг ему тихонько так подсвистывать на букву «С»:

— Ссс... Сссс... Ссссс...

Лимончик внимательно к нему прислушался, посмотрел на него своим блестящим глазком, видно, узнал, раскрыл клювик, но снова раздумал и опять запрыгал как ни в чем не бывало. Дедушка тут же сказал — ему, наверное, нравилось ехидничать:

— Он не в голосе...

От этих дедушкиных слов Семенов чуть не заплакал. Он вынул спичку и стал скрести ею о коробок. Лимончик никак ни это не отозвался. Чихать ему было на спичку. Тогда дедушка рукой подал знак, чтоб Семенов перестал скрести, и сам наклонился к Лимончику, и вдруг еле слышно... чирикнул! Да! Он чирикнул, а Лимончик как будто только этого и дожидался, весь встрепенулся, вытянулся, напрягся, похудел и запел!

Он пел долго-долго, вздохнул, свистел горошком, и тянул прямо в одну линию, и по-всякому, как в стихе, «на тысячу ладов тянул, переливался», и все больше худел, когда пел, словно таял, и все это время, пока он пел, я пел вместе с ним, только про себя, изнутри. Я пел вместе с Лимончиком и видел, какое счастливое и красное лицо у Семенова, а у дедушки, наоборот, гордое и ехидное. Это он задавался, что он один сумел заставить птицу петь. И когда Лимончик наконец замолчал и все захлопали, дедушка откинулся на спинку стула и сказал небрежно:

— Золотая медаль! Убирай, Семенов! Перерыв.

И Семенов снял Лимончика с кафедры и спрятал в чемодан. И было видно, что у него дрожат руки. А все вокруг встали, зашумели и пошли курить.

И в эту минуту я подумал, что хорошо бы рассказать про все эти дела своим, и я недолго думая побежал на метро, а когда очутился дома, папа и мама уже ждали меня. Папа сказал:

— Рассказывай. Понравилось?

Я сказал:

— Очень!

Мама испугалась:

— Что это за голос? Что с тобой? Почему ты сипишь?

Я сказал:

— Потому что я пел! Я сорвал голос и вот осип.

Папа воскликнул:

— Где это ты пел, Козловский?
Я сказал:
— Я пел на конкурсе!
— Давай подробности! — сказала мама.
Я сказал:
— Я пел с канарейкой!
Папа прямо закатился.
— Воображаю, — сказал он, — какой был успех! На бис-то вызывали?
— Не смейся, — просипел я, — я пел про себя. Изнутри.
— А! Тогда другое дело, — успокоился папа, — тогда слава богу!
Мама положила мне руку на лоб:
— А как ты себя чувствуешь?
— Прекрасно, — сказал я еще более сипло и ни с того ни с сего добавил: — А Лимончик получил золотую медаль...
— Он заговаривается, — чуть не плача сказала мама.
— Просто он переполнен впечатлениями, — объяснил папа, — дай ему горячего молока с боржомом. Мне действует на нервы этот сип...
...А ночью я долго не мог заснуть, я все вспоминал этот необыкновенный день: наполненный чудесами павильон «Свиноводство», и дедушку, и тетку, и Семенова, и Лимончика, и самое главное — перед моими глазами все время летали маленькие и лёгкие снежинки, белые амадины, они прямо вклеились мне в сердце, эти клюквенные клювики, и я лежал, глядел в темноту и знал, что теперь уж никогда их не забуду.
Не смогу.

СРАЖЕНИЕ У ЧИСТОЙ РЕЧКИ

У всех мальчишек 1-го класса «В» были пистолеты.
Мы так сговорились, чтобы всегда ходить с оружием. И у каждого из нас в кармане всегда лежал хорошенький пистолетик и к нему запас пистонных лент. И нам это очень нравилось, но так было недолго. А все из-за кино...
Однажды Раиса Ивановна сказала:
— Завтра, ребята, воскресенье. И у нас с вами будет праздник. Завтра наш класс, и первый «А», и первый «Б», все три класса вместе, пойдут в кино «Художественный» смотреть кинокартину «Алые звезды». Это очень интересная картина о борьбе за наше правое дело... Приносите завтра с собой по десять копеек. Сбор возле школы в десять часов!
Я вечером все это рассказал маме, и мама положила мне в левый карман десять копеек на билет и в правый несколько монеток

на воду с сиропом. И она отгладила мне чистый воротничок. Я рано лег спать, чтобы поскорее наступило завтра, а когда проснулся, мама еще спала. Тогда я стал одеваться. Мама открыла глаза и сказала:

— Спи, еще ночь!

А какая ночь — светло как днем!

Я сказал:

— Как бы не опоздать!

Но мама прошептала:

— Шесть часов. Не буди ты отца, спи, пожалуйста!

Я снова лег и лежал долго-долго, уже птички запели, и дворники стали подметать, и за окном загудела машина. Уж теперь-то наверняка нужно было вставать. И я снова стал одеваться. Мама зашевелилась и подняла голову:

— Ну чего ты, беспокойная душа?

Я сказал:

— Опоздаем ведь! Который час?

— Пять минут седьмого, — сказала мама, — ты спи, не беспокойся, я тебя разбуджу, когда надо.

И верно, она потом меня разбудила, и я оделся, умылся, поел и пошел к школе. Мы с Мишей стали в пару, и скоро все с Райсой Ивановной впереди и с Еленой Степановной позади пошли в кино.

Там наш класс занял лучшие места в первом ряду, потом в зале стало темнеть и началась картина. И мы увидели, как в широкой степи, недалеко от леса, сидели красные солдаты, как они пели песни и танцевали под гармонь. Один солдат спал на солнышке, и недалеко от него паслись красивые кони, они щипали своими мягкими губами траву, ромашки и колокольчики. И веял легкий ветерок, и бежала чистая речка, а бородатый солдат у маленького костерка рассказывал сказку про Жар-птицу.

И в это время, откуда ни возьмись, появились белые офицеры, их было очень много, и они начали стрелять, и красные стали падать и защищаться, но тех было гораздо больше...

И красный пулеметчик стал отстреливаться, но он увидел, что у него очень мало патронов, и закричал зубами, и заплакал.

Тут все наши ребята страшно зашумели, затопали и засвистели, кто в два пальца, а кто просто так. А у меня прямо защемило сердце, я не выдержал, выхватил свой пистолет и закричал что было сил:

— Первый класс «В»! Огонь!!!

И мы стали палить изо всех пистолетов сразу. Мы хотели во что бы то ни стало помочь красным. Я все время палил в одного толстого фашиста, он все бежал впереди, весь в черных крестах и разных эполетах; я истратил на него, наверно, сто патронов, но он даже не посмотрел в мою сторону.

А пальба кругом стояла невыносимая. Валька бил с локтя,

Андрюшка короткими очередями, а Мишка, наверно, был снайпером, потому что после каждого выстрела он кричал:

— Готов!

Но белые все-таки не обращали на нас внимания, а все лезли вперед. Тогда я оглянулся и крикнул:

— На помощь! Выручайте же своих!

И все ребята из «А» и «Б» достали пугачи с пробками и давай бахать так, что потолки затряслись и запахло дымом, порохом и серой.

А в зале творилась страшная суeta. Раиса Ивановна и Елена Степановна бегали по рядам, кричали:

— Перестаньте безобразничать! Прекратите!

А за ними бежали седенькие контролерши и все время спотыкались... И тут Елена Степановна случайно взмахнула рукой и задела за локоть гражданку, которая сидела на приставном стуле. А у гражданки в руке было эскимо. Оно взлетело, как пропеллер, и шлепнулось на лысину одного дяденьки. Тот вскочил и закричал тонким голосом:

— Успокойте ваш сумасшедший дом!!!

Но мы продолжали палить вовсю, потому что красный пулеметчик уже почти замолчал, он был ранен, и красная кровь текла по его бледному лицу... И у нас тоже почти кончились пистоны, и неизвестно, что было бы дальше, но в это время из-за леса выскочили красные кавалеристы, и у них в руках сверкали шашки, и они врезались в самую гущу врагов!

И те побежали куда глаза глядят, за тридевять земель, а красные кричали «Ура!». И мы тоже все, как один, кричали «Ура!».

И, когда белых не стало видно, я крикнул:

— Прекратить огонь!

И все перестали стрелять, и на экране заиграла музыка, и один парень уселся за стол, и стал есть гречневую кашу.

И тут я понял, что очень устал и тоже хочу есть.

Потом картина кончилась очень хорошо, и мы разошлись по домам.

А в понедельник, когда мы пришли в школу, нас, всех мальчишек, кто был в кино, собрали в большом зале.

Там стоял стол. За столом сидел Федор Николаевич, наш директор. Он встал и сказал:

— Сдавай оружие!

И мы все по очереди подходили к столу и сдавали оружие. На столе, кроме пистолетов, оказались две рогатки и трубка для стрельбы горохом. Федор Николаевич сказал:

— Мы сегодня утром советовались, что с вами делать. Были разные предложения... Но я объявляю вам всем устный выговор за нарушение правил поведения в закрытых помещениях зрелищных предприятий! Кроме того, у вас, вероятно, будут снижены

отметки за поведение. А теперь идите — учитесь хорошо!

И мы пошли учиться. Но я сидел и плохо учился. Я все думал, что выговор — это очень скверно, и что мама, наверно, будет сердиться...

Но на перемене Мишка Слонов сказал:

— А все-таки хорошо, что мы помогли красным продержаться до прихода своих!

И я сказал:

— Конечно!!! Хоть это и кино, а, может быть, без нас они и не продержались бы!

Кто знает...

ДЕВОЧКА НА ШАРЕ

Один раз мы всем классом пошли в цирк. Я очень радовался, когда шёл туда, потому что мне уже скоро восемь лет, а я был в цирке только один раз, и то очень давно. Главное, Аленке всего только шесть лет, а вот она уже успела побывать в цирке целых три раза. Это очень обидно. И вот теперь мы всем классом пришли в цирк, и я думал, как хорошо, что я уже большой и что сейчас, в этот раз, все увижу как следует. А в тот раз я был маленький, я не понимал, что такое цирк. В тот раз, когда на арену вышли акробаты и один полез на голову другому, я ужасно расхохотался, потому что думал, что это они так нарочно делают, для смеху, ведь дома я никогда не видел, чтобы взрослые дядьки карабкались друг на друга. И на улице тоже этого не случалось. Вот я и рассмеялся во весь голос. Я не понимал, что это артисты показывают свою ловкость. И еще в тот раз я все больше смотрел на оркестр, как они играют — кто на барабане, кто на трубе, — и дирижер машет палочкой, и никто на него не смотрит, а все играют как хотят. Это мне очень понравилось, но пока я смотрел на этих музыкантов, в середине арены выступали артисты. И я их не видел и пропускал самое интересное. Конечно, я в тот раз еще совсем глупый был.

И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие картины, и кругом светло, и в середине лежит красивый ковер, а потолок, высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться, а потом накупили эскимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво — в красные костюмы с желтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошел их начальник в черном костюме. Он громко и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро-быстро и громко, и на арену выскочил артист-жонглер, и началась потеха! Он кидал шарики, по десять

или по сто штук вверх, и ловил их обратно. А потом схватил полосатый мяч и стал им играть... Он и головой его подшибал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался по всему его телу как примагниченный. Это было очень красиво. И вдруг жонглер кинул этот мячик к нам в публику, и тут уж началась настоящая суматоха, потому что я поймал этот мяч и бросил его в Валерку, а Валерка — в Мишку, а Мишка вдруг нацелился и ни с того ни с сего засветил прямо в дирижера, но в него не попал, а попал в барабан! Бамм! Барабанщик рассердился и кинул мяч обратно жонглеру, но мяч не долетел, он просто угодил одной красивой тетеньке в прическу, и у нее получилась не прическа, а нахлобучка. И мы все так хохотали, что чуть не померли.

И, когда жонглер убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. Но тут на арену выкатили огромный голубой шар, и дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего, и оркестр опять заиграл что-то очень веселое, только не так быстро, как раньше.

И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких и красивых никогда не видел. У нее были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у нее были длинные руки; она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для нее выкатили. Она стояла на шаре. И потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него, но шар завертелся под ее ногами, и она на нем вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а эта какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу, и голубой шар вез ее на себе: она могла ехать на нем и прямо, и назад, и налево, и куда хочешь! Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла, и я подумал, что она, наверно, и есть Дюймовочка, такая она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных руках. И это всё было как в сказке. И тут еще потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте, и она медленно плыла по кругу, и светилась, и звенела, и это было удивительно, — я за всю свою жизнь не видел ничего такого подобного.

И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «браво», и я тоже кричал «браво». А девочка соскочила со своего шара и побежала вперед, к нам поближе, и вдруг на бегу перевернулась через голову, как молния, и ещё, и еще раз, и все вперед и вперед. И мне

показалось, что вот она сейчас разобьется о барьер, и я вдруг очень испугался, и вскочил на ноги, и хотел бежать к ней, чтобы подхватить ее и спасти, но девочка вдруг остановилась как вкопанная, раскинула свои длинные руки, оркестр замолк, и она стояла и улыбалась. И все захопали изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня, и я увидел, что она увидела, что я ее вижу и что я тоже вижу, что она видит меня, и она помахала мне рукой и улыбнулась. Она мне одному помахала и улыбнулась. И я опять захотел подбежать к ней, и я протянул к ней руки. А она вдруг послала всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать, но мне было не до него. Я все время думал про девочку на шаре, какая она удивительная и как она помахала мне рукой и улыбнулась, и больше уже ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом, потому что он мне портил мою девочку: она все еще мне представлялась на своем голубом шаре.

А потом объявили антракт, и все побежали в буфет пить сидро, а я тихонько спустился вниз и подошел к занавеске, откуда выходили артисты.

Мне хотелось еще раз посмотреть на эту девочку, и я стоял у занавески и глядел — вдруг она выйдет? Но она не выходила.

А после антракта выступали львы, и мне не понравилось, что укротитель все время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал их на пол рядом и ходил по львам ногами, как по ковру, а у них был такой вид, что вот им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних пампасах и оглашать окрестности грозным рычанием, приводящим в трепет туземное население. А так получается не лев, а просто я сам не знаю что.

И, когда кончилось и мы пошли домой, я все время думал про девочку на шаре.

А вечером папа спросил:

— Ну как? Понравилось в цирке?

Я сказал:

— Папа! Там в цирке есть девочка. Она танцует на голубом шаре. Такая славная, лучше всех! Она мне улыбнулась и махнула рукой! Мне одному, честное слово! Понимаешь, папа? Пойдем в следующее воскресенье в цирк! Я тебе ее покажу!

Папа сказал:

— Обязательно пойдем. Обожаю цирк!

А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз.

...И началась длинная неделя, и я ел, учился, вставал и ложился спать, играл и даже дрался, и все равно каждый день думал, когда же придет воскресенье и мы с папой пойдем в цирк, и я снова увижу девочку на шаре, и покажу ее папе, и, может быть, папа пригласит ее к нам в гости, и я подарю ей пистолет-браунинг и нарисую корабль на всех парусах.

Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи, они копались в каких-то чертежах, и кричали, и курили, и пили чай, и сидели допоздна, и после них у мамы разболелась голова, а папа сказал мне:

— В следующее воскресенье... Даю клятву Верности и Чести.

И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил еще одну неделю. И папа сдержал свое слово: он пошел со мной в цирк и купил билеты во второй ряд, и я радовался, что мы так близко сидим, и представление началось, и я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, все время объявлял разных других артистов, и они выходили и выступали по-всякому, но девочка все не появлялась. А я прямо дрожал от нетерпения, мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своем серебряном костюме с воздушным плащом и как она ловко бегаёт по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе:

— Сейчас он объявит ее!

Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого, и у меня даже ненависть к нему появилась, и я все время говорил папе:

— Да ну его! Это ерунда на постном масле! Это не то!

А папа говорил, не глядя на меня:

— Не мешай, пожалуйста. Это очень интересно! Самое то!

Я подумал, что папа, видно, плохо разбирается в цирке, раз это ему интересно. Посмотрим, что он запоеет, когда увидит девочку на шаре. Небось подскочит на своем стуле на два метра в высоту...

Но тут вышел объявляющий и своим глухим голосом крикнул:

— Ант-рра-кт!

Я просто ушам своим не поверил! Антракт? А почему? Ведь во втором отделении будут только львы! А где же моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала и у нее сотрясение мозга?

Я сказал:

— Папа, пойдем скорей, узнаем, где же девочка на шаре!

Папа ответил:

— Да, да! А где же твоя эквилибристка? Что-то не видать! Пойдем-ка купим программку!..

Он был веселый и довольный. Он огляделся вокруг, засмеялся и сказал:

— Ах, люблю... Люблю я цирк! Самый запах этот... Голову кружит...

И мы пошли в коридор. Там толклось много народу, и продавались конфеты и вафли, и на стенках висели фотографии разных тигриных морд, и мы побродили немного и нашли наконец контролершу с программками. Папа купил у нее одну и стал просматривать. А я не выдержал и спросил у контролерши:

— Скажите, пожалуйста, а когда будет выступать девочка на шаре?

— Какая девочка?

Папа сказал:

— В программе указана эквилибристка на шаре Т. Воронцова. Где она?

Я стоял и молчал.

Контролерша сказала:

— Ах, вы про Танечку Воронцову? Уехала она. Уехала. Что ж вы поздно хватились?

Я стоял и молчал.

Папа сказал:

— Мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристку Т. Воронцову, а ее нет.

Контролерша сказала:

— Да она уехала... Вместе с родителями... Родители у нее «Бронзовые люди — Два-Яворс». Может, слыхали? Очень жаль. Вчера только уехали.

Я сказал:

— Вот видишь, папа...

— Я не знал, что она уедет. Как жалко... Ох ты боже мой!.. Ну что ж... Ничего не поделаешь...

Я спросил у контролерши:

— Это, значит, точно?

Она сказала:

— Точно.

Я сказал:

— А куда, неизвестно?

Она сказала:

— Во Владивосток.

Вон куда. Далеко. Владивосток. Я знаю, он помещается в самом конце карты, от Москвы направо.

Я сказал:

— Какая даль.

Контролерша вдруг заторопилась:

— Ну идите, идите на места, уже гасят свет!

Папа подхватил:

— Пошли, Дениска! Сейчас будут львы! Косматые, рычат — ужас! Бежим смотреть!

Я сказал:

— Пойдем домой, папа.

Он сказал:

— Вот так раз...

Контролерша засмеялась. Но мы подошли к гардеробу, и я протянул номер, и мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару и шли так довольно долго, потом я сказал:

— Владивосток — это на самом конце карты. Туда, если поездом, целый месяц проедешь...

Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли еще немного, и я вдруг вспомнил про самолеты и сказал:

— А на ТУ-104 за три часа — и там!

Но папа все равно не ответил. Он крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал:

— Зайдем в кафе «Мороженое». Смутузим по две порции, а?

Я сказал:

— Не хочется что-то, папа.

— Там подают воду, называется «Кахетинская». Нигде в мире не пил лучшей воды.

Я сказал:

— Не хочется, папа.

Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шел очень быстро, и я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шел так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьезное и грустное лицо.

НЕ ХУЖЕ ВАС, ЦИРКОВЫХ

Я теперь часто бываю в цирке. У меня там завелись знакомые и даже друзья. И меня пускают бесплатно, когда мне только вздумается. Потому что я сам теперь стал как будто цирковой артист. Из-за одного мальчишки. Это все не так давно случилось. Я шел домой из магазина, — мы теперь на новой квартире живем, недалеко от цирка, там же и магазин большой на углу. И вот я иду из магазина и несу бумажную сумочку, а в ней лежат помидоров полтора кило и триста граммов сметаны в картонном стаканчике. И вдруг навстречу идет тетя Дуся, из старого дома, добрая, она в прошлом году нам с Мишкой билет в клуб подарила. Я очень обрадовался, и она тоже. Она говорит:

— Это ты откуда?

Я говорю:

— Из магазина. Помидоров купил! Здравствуйте, тетя Дуся!

А она руками всплеснула:

— Сам ходишь в магазин? Уже? Время-то как летит! Удивляется. Человеку девятый год, а она удивляется. Я сказал:

— Ну, до свиданья, тетя Дуся.

И пошел. А она вдогонку кричит:

— Стой! Куда пошел? Я тебя сейчас в цирк пропущу, на дневное представление. Хочешь?

Еще спрашивает! Чудная какая-то. Я говорю:

— Конечно, хочу! Какой может быть разговор!..

И вот она взяла меня за руку, и мы взошли по широким ступенькам, и тетя Дуся подошла к контролеру и говорит:

— Вот, Марья Николаевна, привела вам своего мужичка, пусть посмотрит. Ничего?

И та улыбнулась и пропустила меня внутрь, и я вошел, а тетя Дуся и Марья Николаевна пошли сзади. И я шел в полутьме, и опять мне очень понравился цирковой запах — он особенный какой-то, и как только я его почуял, мне сразу стало и жутко отчего-то и весело ни от чего. Где-то играла музыка, и я спешил туда, на ее звуки, и сразу вспомнил девочку на шаре, которую видел здесь так недавно, девочку на шаре, с серебряным плащом и длинными руками; она уехала далеко, и я не знаю, увижу ли я ее когда-нибудь, и странно стало у меня на душе, не знаю, как объяснить... И тут мы наконец дошли до бокового входа, и меня протолкнули вперед, и Марья Николаевна шепнула:

— Садись! Вон в первом ряду свободное местечко, садись...

И я быстро уселся. Со мной рядом сидел тоже мальчишка величиной с меня, в таком же, как и я, школьном костюме, нос курносый, глаза блестят. Он на меня посмотрел довольно сердито, что я вот опоздал и теперь мешаю и все такое, но я не стал обращать на него никакого внимания. Я сразу же вцепился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромной чалме посреди арены, и в руках у него была игла величиной с полметра. Вместо нитки в нее была вдета узкая и длинная шелковая лента. А рядом с этим артистом стояли две девушки и никого не трогали. И вдруг он ни с того ни с сего подошел к одной из них и — раз! — своей длинной иглой прошил ей живот насквозь, иглолка выскочила у нее из спины! Я думал, она сейчас завизжит как зарезанная, но нет, она стоит себе спокойно и улыбается. Прямо глазам своим не веришь. Тут артист совсем разошелся — чик! — и вторую насквозь! И эта тоже не орет, а только хлопает глазами. И так они обе стоят насквозь прошитые, между ними нитки, и улыбаются себе как ни в чем не бывало. Ну, милые мои, вот это да!

Я говорю:

— Что же они не орут? Неужели терпят?

А мальчишка, что рядом сидит, отвечает:

— А чего им орать? Им не больно!

Я говорю:

— Тебе бы так! Воображаю, как ты завопил бы...

А он засмеялся, как будто он старше меня намного, потом говорит:

— А я сперва подумал, что ты цирковой. Тебя ведь тетя Маша посадила... А ты, оказывается, не цирковой... не наш.

Я говорю:

— Это все равно какой я — цирковой или не цирковой. Я государственный, понял? А что такое цирковой — не такой, что ли?

Он сказал, улыбаясь:

— Да нет, цирковые — они особенные...

Я рассердился:

— У них что, три ноги, что ли?

А он:

— Три не три, но все-таки они и половчее других — куда там! — и посильнее, и посмекалистее.

Я совсем разозлился и сказал:

— Давай не задавайся! Тут не хуже тебя! Ты, что ли, цирковой?

А он опустил глаза:

— Нет, я мамочкин...

И улыбнулся самым краешком рта, хитро-прехитро. Но я этого не понял, это я теперь понимаю, что он хитрил, а тогда я громко над ним рассмеялся, и он глянул на меня быстрым своим глазом:

— Смотри представление-то!.. Наездница!..

И правда, музыка заиграла быстро и громко, и на арену выскочила белая лошадь, такая толстая и широкая, как тахта. А на лошади стояла тетенька, и она начала на этой лошади на ходу прыгать по-разному: то на одной ножке, руки в сторону, а то двумя ногами, как будто через скакалочку. Я подумал, что на такой широкой лошади прыгать — это ерунда, все равно как на письменном столе, и что я бы тоже так смог. Вот эта тетенька все прыгала, и какой-то человек в черном все время щелкал кнутом, чтобы лошадь немножко проворней двигалась, а то она трюхала, как сонная муха. И он кричал на нее и все время щелкал. Но она просто ноль внимания. Тоска какая-то... Но тетенька наконец напрыгалась досыта и убежала за занавеску, а лошадь стала ходить по кругу:

И тут вышел Карандаш. Мальчишка, что сидел рядом, опять быстро глянул на меня, потом отвел глаза и равнодушно так говорит:

— Ты этот номер когда-нибудь видел?

— Нет, в первый раз, — говорю я.

Он говорит:

— Тогда садись на мое место. Тебе еще лучше будет видно отсюда. Садись. Я уже видел.

Он засмеялся. Я говорю:

— Ты чего?

— Так,— говорит,— ничего. Карандаш сейчас чудить начнет, умора! Давай пересаживайся.

Ну, раз он такой добрый, чего ж. Я пересел. А он сел на мое место, там, правда, было хуже, столбик какой-то мешал. И вот Карандаш начал чудить. Он сказал дядьке с кнутом:

— Александр Борисович! Можно мне на этой лошадке покататься?

А тот:

— Пожалуйста, сделайте одолжение!

И Карандаш стал карабкаться на эту лошадь. Он и так старался, и этак, все задирает на нее свою коротенькую ногу, и все соскальзывал, и падал — очень эта лошадь была толстенная. Тогда он сказал:

— Подсадите меня на этого коняшку.

И сейчас же подошел помощник и наклонился, и Карандаш встал ему на спину, и сел на лошадь, и оказался задом наперед. Он сидел спиной к лошадиной голове, а лицом к хвосту. Смех, да и только, все прямо покатились! А дядька с кнутом ему говорит:

— Карандаш! Вы неправильно сидите.

А Карандаш:

— Как это неправильно? А вы почему знаете, в какую сторону мне ехать надо?

Тогда дядька потрепал лошадь по голове и говорит:

— Да ведь голова-то вот!

А Карандаш взял лошадиный хвост и отвечает:

— А борода-то вот!

И тут ему пристегнули за пояс веревку, она была пропущена через какое-то колесико под самым куполом цирка, а другой ее конец взял в руки дядька с кнутом. Он закричал:

— Маэстро, галоп! Алле!

Оркестр грянул, и лошадь поскакала. А Карандаш на ней затрясся, как курица на заборе, и стал сползать то в одну, то в другую сторону, и вдруг лошадь стала из-под него выезжать, он завопил на весь цирк:

— Ай, батюшки, лошадь кончается!

И она, верно, из-под него выехала и протопала за занавеску, и Карандаш, наверно, разбился бы насмерть, но дядька с кнутом подтянул веревку, и Карандаш повис в воздухе. Мы все задыхались от смеха, и я хотел сказать мальчишке, что сейчас лопну, но его рядом со мной не было. Ушел куда-то. А Карандаш в это время стал делать руками, как будто он плавает в воздухе, а потом его опустили, и он снизился, но как только коснулся земли, разбежал-

ся и снова взлетел. Получилось, как на гигантских шагах, и все хохотали до упаду и с ума сходили от смеха. А он так летал и летал, и вот с него чуть не соскочили брюки, и я уже думал, что сейчас задохнусь от хохота, но в это время он опять приземлился и вдруг посмотрел на меня и весело мне подмигнул. Да! Он мне подмигнул, лично. А я взял и тоже ему подмигнул. А что тут такого? И тут совершенно неожиданно он подмигнул мне еще раз, потер ладони и вдруг разбежался изо всех сил прямо на меня и обхватил меня двумя руками, а дядька с кнутом моментально натянул веревку, и мы полетели с Карандашом вверх! Оба! Он захватил мою голову под мышку и держал поперек живота, очень крепко, потому что мы оказались довольно-таки высоко. Внизу не было людей, а сплошные белые полосы и черные полосы, так как мы быстро вертелись, и было немножко даже щекотно во рту. И когда мы пролетали над оркестром, я испугался, что стукнусь о контрабас, и закричал:

— Мама!

И сразу до меня долетел какой-то гром. Это все смеялись. А Карандаш сразу меня передразнил и тоже крикнул со слезами в голосе:

— Мя-мя!

Снизу слышался грохот и шум, и мы так плавно еще немножко полетали, и я уже стал было привыкать, но тут неожиданно у меня прорвался мой пакет, и оттуда стали вылетать мои помидоры, они вылетали, как гранаты, в разные стороны — полтора кило помидоров. И наверно, попадали в людей, потому что снизу неслся такой шум, что передать нельзя. А я все время думал, что теперь не хватало только, чтобы вылетела еще и сметана — триста граммов. Вот тогда-то мне влетит от мамы будь здоров! А Карандаш вдруг завертелся волчком, и я вместе с ним, и вот этого как раз не нужно было делать, потому что я опять испугался и стал брыкаться и царапаться, и Карандаш тихонько, но строго сказал, я услышал:

— Толька, ты что?

А я заорал:

— Я не Толька! Я Денис! Пустите меня!

И стал вырываться, но он еще крепче меня сжал, чуть не задушил, и мы стали совсем медленно плыть, и я увидел уже весь цирк, и дядьку с кнутом, он смотрел на нас и улыбался. И в этот момент сметана все-таки вылетела. Так я и знал. Она упала прямо на лысину дядьке с кнутом. Он что-то крикнул, и мы немедленно пошли на посадку...

Как только мы опустились и Карандаш выпустил меня, я, сам не знаю почему, побежал изо всех сил. Но не туда; я не знал куда, и я метался, потому что голова немного кружилась, и наконец я увидел в боковом проходе тетю Дусю и Марью Николаевну. У них

были белые лица, и я побежал к ним, а кругом все хлопали как сумасшедшие.

Тетя Дуся сказала:

— Слава богу, цел. Пошли домой!

Я сказал:

— А помидоры?

Тетя Дуся сказала:

— Я куплю. Идем.

И она взяла меня за руку, и мы все трое вышли в полутемный коридор. И тут мы увидели, что возле настенного фонаря стоит мальчик. Это был тот самый мальчик, что сидел рядом со мной. Марья Николаевна сказала:

— Толька, где ты был?

Мальчик не отвечал.

Я сказал:

— Куда ты подевался? Я как на твое место пересел, что тут было!.. Карандаш меня под небо уволок.

Марья Николаевна сказала:

— А ты почему сел на его место?

— Да он мне сам предложил, — сказал я. — Он сказал, что лучше будет видно, я и сел. А он ушел куда-то!..

— Все ясно, — сказала Марья Николаевна. — Я доложу в дирекцию. Тебя, Толька, снимут с роли.

Мальчик сказал:

— Не надо, тетя Маша.

Но она закричала шепотом:

— Как тебе на стыдно! Ты цирковой мальчик, ты репетировал, и ты посмел посадить на свое место чужого?! А если бы он разбился? Ведь он же неподготовленный!

Я сказал:

— Ничего. Я подготовленный... Не хуже вас, цирковых! Плохо я разве летал?

Мальчик сказал:

— Здорово! И хорошо с помидорами придумал, как это я-то не догадался. А ведь очень смешно.

— А артист этот ваш, — сказала тетя Дуся, — тоже хорош! Хватает кого ни попадя!

— Михаил Николаевич, — вступилась тетя Маша, — был уже разгорячен, он уже вертелся в воздухе, он тоже не железный, и он твердо знал, что на этом месте, как всегда, должен был сидеть специальный мальчик, цирковой. Это закон. А этот малый и тот — они же одинаковые, и костюмы одинаковые, он не разглядел...

— Надо глядеть! — сказала тетя Дуся. — Уволок мальчонку, как ястреб мышь.

Я сказал:

— Ну что ж, пошли?

А Толька сказал:

— Слушай, приходи в то воскресенье в два часа. В гости приходи. Я буду ждать тебя возле контроля.

— Ладно,— сказал я,— ладно... Чего там!.. Приду.

МОЙ ЗНАКОМЫЙ МЕДВЕДЬ

Один раз я пошел на елку в Сокольники. Нам всем выдали по синему картонному билету, он был согнут наподобие маленькой книжечки, и на первой странице обложки сверкала золотистая надпись: «С Новым годом!» А когда билетик раскрывался, между его страницами вырастала нарядная елка, она торчала торчком, и вокруг нее на задних лапах стояло разное зимнее зверье, зайцы и лисицы, все в теплых тулупчиках и шапках-ушанках. Это было здорово сделано, и уже из-за одного такого билета мне сразу захотелось пойти к ним в Сокольники, посмотреть, что они там еще приготовили для ребят. Я до этого бывал только на наших школьных елках или просто дома, и эти елки получались, конечно, очень веселые, но все-таки без зверей. Какие-то не такие. И поэтому я решил обязательно сходить в Сокольники. И пошел. И несмотря на то что на билете было написано — «Начало ровно в 2 часа», я все-таки пришел в половине третьего, потому что я опоздал. Я частенько опаздываю на всякие интересные дела,— просто беда какая-то. Один раз явился я в театр, а на сцене какой-то парень поцеловал белокурую девушку, и тут все захлопали, и стали кричать «браво», «бис». Тут вспыхнул свет под потолком, и этот парень и его девушка стали кланяться, как будто они бог вещь какое чудо сотворили. И еще я много раз опаздывал. Помню, мама испекла пирог и говорит:

— Погуляй с полчаса и приходи пирог есть!

И мы во дворе с Мишкой потренировались в хоккей, и я тут же пришел домой, а у нас уже полно гостей, и мама сказала:

— Опоздал, братец! Съели твой пирог! Иди на кухню!

И я пошел на кухню, и мне там дали студня и борща. А разве это замена? Против пирога? Никакого сравнения.

И в этот раз я хотя и встал в семь часов утра, но сумел-таки провозиться со всякой чепухой и опоздал на елку.

В Сокольниках народу было видимо-невидимо. Повсюду стояли маленькие домики на курьих ножках, как у Бабы-Яги, и веселые, как скворечники, домики, раскрашенные, нарядные и приветливые. В них продавались книжки, сладости, пончики или блины. Еще в Сокольниках стояли сделанные из снега большие фигуры, красивые кони, ужасающие драконы, и была мертвая

голова, и с нею сражался непобедимый Руслан. И были сделаны тридцать три богатыря, и Царевна-Лебедь, и космический корабль, и конца этим фигурам и выставкам не было, и я переходил от одной к другой, мне это очень интересно было, потому что я тоже умею лепить, поэтому я оторваться не мог от всей этой снежно-ледяной красоты и, шаг за шагом, не заметил, что я ушел далеко-далеко от людей в лес по этой аллее, и не обратил даже внимания на то, что она все время поворачивала в разные стороны и петляла, а некоторые фигуры стояли совсем не в ряд, а где-то посередине, и я постепенно немного заблудился.

В это время с неба посыпался снег, вокруг потемнело, и мне показалось, что пройдет еще очень много времени, если я пойду обратно по этой аллее, держась вблизи снеговых фигур. Я решил сократить расстояние и двинулся напрямик, через лесок, потому что я знал, приблизительно, конечно, где стоит елка. Я помнил, откуда пришел, поэтому я довольно весело побежал обратно по узенькой, засыпанной снегом тропинке. Она тоже петляла в разные стороны: влево, вправо и по-всякому, и были такие куски дороги, что нипочем не скажешь, где метро, где Большая Елка, и где вообще какие-нибудь люди.

Так я бежал довольно долго и даже начал уставать и тревожиться, но вдруг невдалеке я увидел большой раскрашенный дом и сразу успокоился. В окне этого дома мелькнул свет, на душе у меня стало повеселее, и я прямо-таки поскакал вперед, но не успел сделать и несколько скачков, как вдруг из-за здоровенной кривой сосны, стоявшей впереди, на тропку прямо передо мной выскочил огромный разъяренный медведь. Ужас! Он ревел и мчался прямо на меня. У меня сердце оборвалось. Я захотел крикнуть, но не смог. Язык не шевелился. В горле моментально пересохло. Я остановился как вкопанный и поднял руки кверху, и хотел было повернуться и удрать, но вспомнил, что медведь догоняет свою жертву с дьявольской быстротой и, если я побегу от него, это, пожалуй, разозлит его еще больше, и тогда уж он, наверное, настигнет меня в какие-нибудь три прыжка и разорвет в клочки! Я так думал, а медведь неся прямо на меня и пыхтел как паровоз, рычал и махал лапами, и я вспомнил, что читал, как надо спастись, если встретишь медведя. Нужно притвориться мертвым, он мертвых не ест! И в ту же четверть секунды я грохнулся наземь и закрыл глаза, и стал сдерживать дыхание, и все-таки дышал, потому что все это получилось с разбегу, и живот у меня так и ходил ходуном. И я слышал, что медведь все еще бежит ко мне, и подумал: «Все! Теперь капут!» Но он все не подбегал...

И за эту секунду я столько успел передумать, такое про себя шептал!.. Никому не расскажу этого. Никогда и никому. Но потом меня все-таки заело любопытство. Я все-таки подумал: «Интересно, а как это бывает, когда медведь задирает мальчишку? Ведь

про это только в книжках читаешь, а наяву никогда не удастся посмотреть». И я начал потихоньку раскрывать левый глаз. Он очень неохотно раскрывался, потому что страшно или ресницы чересчур крепко слепились, не знаю, но я его поборол, этот глаз, и все-таки раскрыл. Смотрю, а медведь стоит надо мной, опять-таки на задних лапах, и у него такой вид, словно он не знает, как ему быть. И сквозь меня снова, как молния, пролетела мысль. Я вспомнил еще одно средство спасения. Медведь очень нервный, и нужно его испугать как следует. Может быть, заорать? Я сразу подумал, как в сказке. Иванушка-дурачок:

«Э, была не была! Двум смертям не бывать, а одной не миновать!»

И я заорал страшным голосом:

— Пошел вон отсюда!

Медведь вздрогнул и шарахнулся в сторону. Он отскочил от меня, как будто его током ударило. А когда отскочил, то уже не остановился, а припустился от меня. Он бежал прекрасной резвой рысью и все еще не вставал на четвереньки, видно, был очень испуган, и забыл про все на свете. А я схватил ледышку, килограмма на два, что лежала рядом со мной, да как метну ему вдогонку, чтоб он, значит, еще лучше бежал от меня, теперь небось поймет, что со мной шутки плохи! И эта ледышка довольно метко угодила ему в самую башку. Тюк! Лучше не надо. Медведь даже споткнулся от этого удара. И тут случилось чудо!

Медведь вдруг остановился, обернулся ко мне и сказал:

— Мальчик, не хулигань!

А я был так разгорячен и испуган, что сразу даже не сообразил, что так на свете не бывает, чтобы медведи по-человечески разговаривали, я просто сказал ему:

— Вы сами не хулиганьте! Сам сожрать меня хотел!

Тут он сказал:

— Ты что? Серьезно? Ты испугался меня? Ты что, подумал, что я настоящий? Не бойся, не бойся, я не медведь! Я артист! Понял? Я хотел с тобой пошутить, а ты в обморок упал... Я артист...

У меня прямо отлегло от сердца... Я засмеялся. В самом деле, какой же я глупый! Я и позабыл, что на елках артисты часто наряжаются медведями, чтобы ребят потешать, и это, видно, был именно такой артист. Я успокоился и сказал:

— А чем докажете?

Он сказал:

— Да вот.

И снял с себя голову. Как горшок с частокола. Как шапку. Взял и снял. Очень красивая была голова, с большими клыками и со свирепо-малинового цвета языком. Лохматая, и глаза блестящие. Артист держал ее на вытянутых руках и говорил:



— На, возьми! Подержи, не бойся! А я подышу свежим воздухом, отдохну немного. Уж очень тяжела. А ты метко в нее попал, хорошо, что она не моя, а была бы настоящая, что тогда, а?

И он стал вертеть своей настоящей головой. Настоящая была у него какая-то неказистая. Лысая. С жалобными круглыми глазами...

Да, вот какие дела бывают. Только что я умирал от страха, а теперь вот стою и держу медвежью голову под мышкой, как арбуз, а хозяин этой ужасной головы, оказывается, артист. Я стоял разинув рот, а артист смотрел на меня и улыбался. Потом он чуточку искривился и сказал:

— Сердце колет... Нельзя мне волноваться. И бегать нельзя. Пойдем, проводи меня.

И он протянул мне лапу, то есть руку, и мы пошли к дому, который стоял неподалеку. Это я к нему бежал недавно. Мы почти уже дошли, но вдруг из дома выскочил какой-то клоун и, увидев нас с медведем, закричал:

— Аврашов, что же вы? Где же вы? Опаздываем! Спешим, нам надо еще у Книжного Городка сплясать.

— Как? — закричал артист-медведь. — Еще плясать? Я сегодня уже пять раз плясал! Хватит с меня!.. Что они там, все с ума посходили?

— Гусажин велел, — сказал клоун, — у него там прорыв. Надо подбавить смеху. Бежим!

— У меня сердце колет, — сказал артист-медведь, — а вы, Гоша, «бежим». Пойдем потихоньку. Давай, мальчуган, — сказал он мне, — давай сюда мою голову, ничего не попишешь. — Он еще раз посмотрел на меня своими жалобными глазами и криво усмехнулся: — Ну, что ж, старая кляча, пойдем пахать своего Шекспира!

Я ничего не понял. Какая кляча? Кто кляча? Где? Но сейчас было некогда, и я помог ему нахлобучить медвежью голову.

Он пожал мне руку своими когтистыми лапами.

— Иди туда, — сказал он и показал в сторону, — сейчас я там плясать буду.

И я пошел, куда он сказал, и скоро пришел, и там были артисты, они задавали вопросы, а ребята отвечали в рифму. Это было скучновато, но вдруг неожиданно появился клоун. Он колотил в медный таз, а за ним ковылял мой знакомый медведь. Клоун пищал, и чихал, и показывал фокусы, и потом он вытащил из кармана маленькую гармошку и стал на ней пикировать. А медведь затоптался на месте и, наконец, видно, разогрелся и пошел плясать. Он неплохо плясал, и выламывался, и вывертывался, и рычал, и бросался на ребят, и те со смехом отскакивали. Он много еще вытворял всякой потехи, это все долго длилось. А я стоял в сторо-

не и ждал, когда закончится его выступление, потому что мне во что бы то ни стало нужно было увидеть еще раз его человеческое лицо, его жалобные усталые и круглые глаза.

ТИХА УКРАИНСКАЯ НОЧЬ...

Наша преподавательница литературы Раиса Ивановна заболела. И вместо нее к нам пришла Елизавета Николаевна. Вообще-то Елизавета Николаевна занимается с нами географией и естествознанием, но сегодня был исключительный случай, и наш директор упросил ее заменить захворавшую Раису Ивановну.

Вот Елизавета Николаевна пришла. Мы поздоровались с нею, и она уселась за учительский столик. Она, значит, уселась, а мы с Мишкой стали продолжать наше сражение, — у нас теперь в моде военно-морская игра. К самому приходу Елизаветы Николаевны перевес в этом матче определился в мою пользу: я уже протаранил Мишкиного эсминца и вывел из строя три его подводные лодки. Теперь мне осталось только разведать, куда задевался его линкор. Я пошевелил мозгами и уже открыл было рот, чтобы сообщить Мишке свой ход, но Елизавета Николаевна в это время заглянула в журнал и произнесла:

— Кораблев!

Мишка тотчас прошептал:

— Прямое попадание!

— Я встал.

Елизавета Николаевна сказала:

— Иди к доске!

Мишка снова прошептал:

— Прощай, дорогой товарищ!

И сделал «надгробное» лицо.

А я пошел к доске. Елизавета Николаевна сказала:

— Дениска, стой ровнее! И расскажи-ка мне, что вы сейчас проходите по литературе.

— Мы «Полтаву» проходим, Елизавета Николаевна, — сказал я.

— Назови автора, — сказала она; видно было, что она тревожится, знаю ли я.

— Пушкин, Пушкин, — сказал я успокоительно.

— Так, — сказала она, — великий Пушкин, Александр Сергеевич, автор замечательной поэмы «Полтава». Верно. Ну, скажи-ка, а ты какой-нибудь отрывок из этой поэмы выучил?

— Конечно, — сказал я.

— Какой же ты выучил? — спросила Елизавета Николаевна.

— «Тиха украинская ночь...»

— Прекрасно,— сказала Елизавета Николаевна и прямо расцвела от удовольствия.— «Тиха украинская ночь...» — это как раз одно из моих любимых мест! Читай, Кораблев.

Одно из ее любимых мест! Вот это здорово! Да ведь это и мое любимое место! Я его, еще когда маленький был, выучил. И с тех пор, когда я читаю эти стихи, все равно вслух или про себя, мне всякий раз почему-то кажется, что хотя я сейчас и читаю их, но это кто-то другой читает, не я, а настоящий-то я стою на теплом, нагретом за день деревянном крылечке, в одной рубашке и босиком, и почти сплю, и клюю носом, и шатаюсь, но все-таки вижу всю эту удивительную красоту: и спящий маленький городок с его серебряными тополями; и вижу белую церковку, как она тоже спит и плывет на кудрявом облачке передо мною, а наверху звезды, они стрекочут и насвистывают, как кузнечики; а где-то у моих ног спит и перебирает лапками во сне толстый, налитой молоком щенок, которого нет в этих стихах. Но я хочу, чтобы он был, а рядом на крылечке сидит и вздыхает мой дедушка с легкими волосами, его тоже нет в этих стихах, я его никогда не видел, он погиб на войне, его нет на свете, но я его так люблю, что у меня теснит сердце...

— Читай, Денис, что же ты! — повысила голос Елизавета Николаевна.

И я встал поудобней и начал читать. И опять сквозь меня прошли эти странные чувства. Я старался только, чтобы голос у меня не дрожал.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой церковью сияет...

— Стоп, стоп, довольно! — перебила меня Елизавета Николаевна.— Да, велик Пушкин, огромен! Ну-ка, Кораблев, теперь скажи-ка мне, что ты понял из этих стихов?

Эх, зачем она меня перебила! Ведь стихи были еще здесь, во мне, а она остановила меня на полном ходу. Я еще не опомнился! Поэтому я притворился, что не понял вопроса, и сказал:

— Что? Кто? Я?

— Да, ты. Ну-ка, что ты понял?

— Все,— сказал я.— Я понял все. Луна. Церковь. Тополя. Все спят.

— Ну...— недовольно протянула Елизавета Николаевна,— это ты немножко поверхностно понял... Надо глубже понимать. Не маленький. Ведь это Пушкин...

— А как,— спросил я,— как надо Пушкина понимать? — И я сделал недотепанное лицо.

— Ну давай по фразам,— с досадой сказала она.— Раз уж ты такой. «Тиха украинская ночь... Как ты это понял?

— Я понял, что тихая ночь.

— Нет,— сказала Елизавета Николаевна.— Пойми же ты, что в словах «Тиха украинская ночь» удивительно тонко подмечено, что Украина находится в стороне от центра перемещения континентальных масс воздуха. Вот что тебе нужно понимать и знать, Кораблев! Договорились? Читай дальше!

— «Прозрачно небо»»— сказал я,— небо, значит, прозрачное. Ясное. Прозрачное небо. Так и написано: «Небо прозрачно».

— Эх, Кораблев, Кораблев,— грустно и как-то безнадежно сказала Елизавета Николаевна.— Ну что ты, как попка, затвердил: «Прозрачно небо, прозрачно небо». Заладил. А ведь в этих двух словах скрыто огромное содержание. В этих двух, как бы ничего не значащих словах Пушкин рассказал нам, что количество выпадающих осадков в этом районе весьма незначительно, благодаря чему мы и можем наблюдать безоблачное небо. Теперь ты понимаешь, какова сила пушкинского таланта? Давай дальше.

Но мне уже почему-то не хотелось читать. Как-то всё сразу надоело. И поэтому я наскоро пробормотал:

...Звезды блещут.

Своей дремоты превозмочь

Не хочет воздух...

— А почему? — оживилась Елизавета Николаевна.

— Что почему? — сказал я.

— Почему он не хочет? — повторила она.

— Что не хочет?

— Дремоты превозмочь.

— Кто?

— Воздух.

— Какой?

— Как какой — украинский! Ты ведь сам только сейчас говорил: «Своей дремоты превозмочь не хочет воздух... Так почему же он не хочет?

— Не хочет, и все,— сказал я с сердцем.— Просыпаться не хочет! Хочет дремать, и все дела!

— Ну нет,— рассердилась Елизавета Николаевна и поводила перед моим носом указательным пальцем из стороны в сторону. Получалось, как будто она хочет сказать: «Эти номера у вашего воздуха не пройдут».— Ну нет,— повторила она.— Здесь дело в том, что Пушкин намекает на тот факт, что на Украине находится небольшой циклонический центр с давлением около семисот сорока миллиметров. А как известно, воздух в циклоне движется от

краев к середине. И именно это явление и вдохновило поэта на бессмертные строки: «Чуть трепещут, м-м-м... м-м-м, каких-то тополей листы!» Понял, Кораблев? Усвоил! Садись!

И я сел. А после урока Мишка вдруг отвернулся от меня, покраснел и сказал:

— А мое любимое — про сосну: «На севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна...» Знаешь?

— Знаю, конечно,— сказал я.— Как не знать?

Я выдал ему «научное» лицо.

— «На севере диком» — этими словами Лермонтов сообщил нам, что сосна, как ни крути, а все-таки довольно морозоустойчивое растение. А фраза «стоит на голой вершине» дополняет, что сосна к тому же обладает сверхмощным стержневым корнем...

Мишка с испугом глянул на меня. А я на него. А потом мы расхохотались. И хохотали долго, как безумные. Всю перемену.

ПОДЗОРНАЯ ТРУБА

Я сидел на подоконнике, натянув рубашку на колени, потому что штаны были у мамы.

— Нет,— сказала мама и отодвинула в сторону нитки с иголкой.— Я не могу больше с этим мальчишкой!

— Да,— сказал папа и сложил газету.— На нем черти рвут, он лазает по заборам, он скачет по деревьям и носится по крышам. На него не напасешься!

Папа помолчал, зловеще поглядел на меня и наконец решительно объявил:

— Но я наконец придумал средство, которое раз и навсегда избавит нас от этого бедствия.

— Я не нарочно,— сказал я.— Что я, нарочно, что ли, да? Оно само.

— Конечно, оно само,— ядовито сказала мама.— У твоих штанов такой скверный характер, что они нарочно целыми днями подстерегают каждый гвоздик, цепляются за него и потом рвутся специально для того, чтобы позлить твою маму. Вот какие коварные штаны! Оно само! Оно само!

Мама могла так кричать «оно само» до утра, потому что у нее уже разыгрались нервы, это было видно невооруженным глазом. Поэтому я сказал папе:

— Ну, так что же ты придумал?

Папа сделал строгое лицо и сказал маме:

— Тебе нужно напярчь все свои способности и изобрести аппарат, который обеспечивал бы тебе наблюдение за твоим сыном в часы отсутствия. Мне сегодня некогда, сегодня «Спар-

так» — «Торпедо», а ты, ты садись к столу и, не теряя времени, изобрети сейчас же подзорную трубу. У тебя это очень хорошо получится, я знаю, что ты человек в этом отношении весьма талантливый.

Папа встал, порылся у себя в столе и положил перед мамой маленькое зеркальце с отбитым уголком, довольно большой магнит и несколько разных гвоздочков, пуговицу и еще чего-то.

— Вот, — сказал он, — это тебе необходимые материалы. В поиск, смелые и любознательные!

Мама проводила его к дверям, потом вернулась и отпустила и меня во двор погулять. А когда мы вечером все сошлись за ужином, у мамы были перепачканы клеем пальцы, и на столе лежала довольно симпатичная синенькая и толстая труба. Мама взяла ее, издалека показала мне и сказала:

— Ну, Денис, смотри внимательно!

— Это что? — спросил я.

— Это подзорная труба! Мое изобретение! — ответила мама.

Я сказал:

— Окрестности озирать?

Она улыбнулась.

— Никакие не окрестности! А за тобой присматривать.

Я сказал:

— А как?

— А очень просто! — сказала мама. — Я изобрела и сконструировала подзорную трубу для родителей, вроде подзорной трубы для моряков, только гораздо лучше.

Папа сказал:

— Ты объясни, пожалуйста, популярно, в чем тут дело, какие принципы положены в основу изобретения, какие проблемы оно решает, ну, и так далее. Прошу!

Мама встала у стола, как учительница у доски, и заговорила докладческим голосом:

— Теперь, когда я буду уходить из дому, я всегда буду видеть тебя, Денис. Я могу удаляться от дома на расстояние от пяти до восьми километров, но чуть я почувствую, что давно тебя не видела и что мне интересно, что ты сейчас вытворяешь, я сразу — чик! Направляю свою трубу в сторону нашего дома — и готово! — вижу тебя во весь рост.

Папа сказал:

— Отлично! Эффект Шницель-Птуцера!

Тут я немножко оторопел. Я никогда не думал, что мама может изобрести такую штуку. Ведь такая с виду худенькая, а смотри-ка! Эффект Шницель-Птуцера!

Я сказал:

— А как же, мама, ты будешь знать, где наш дом?

Она ответила, нисколько не задумываясь:

— А у меня в трубе сидит компасный магнит. Он всегда показывает на наш дом.

— Реакция Бабкина-Няньского,— сказал папа.

— Совершенно верно,— продолжала мама.— Таким образом, если ты, Денис, заберешься на забор или еще куда, это мне сразу будет видно.

Я сказал:

— А там у тебя что? Экран, что ли?

Она ответила:

— Конечно. Помнишь зеркальце? Оно отбрасывает твоё изображение прямо мне внутрь головы. Я сразу вижу, стреляешь ты из рогатки или просто так мяч гоняешь, безо всякого смысла.

— Обыкновенный закон Кранца-Ничиханца. Ничего особенного,— проворчал папа и вдруг, оживившись, спросил: — Прости, прости, пожалуйста, я перебую тебя. Один вопросик можно?

— Да, задавай,— сказала мама.

— Твоя подзорная труба что, она работает на электричестве или на полупроводниках?

— На электричестве,— сказала мама.

— О, тогда я тебя предупреждаю,— сказал папа,— ты берегись замыканий. А то где-нибудь замкнет, и у тебя в мозгах произойдет вспышка.

— Не произойдет,— сказала мама.— А предохранитель на что?

— Ну, тогда другое дело,— сказал папа.— Но ты все-таки поглядывай, а то, знаешь, я буду волноваться.

Я сказал:

— Ну, а ты можешь сделать такую штуку для меня? Чтобы и я мог за тобой присматривать?

— А это зачем? — снова улыбнулась мама.— Я-то уж наверняка не полезу на забор!

— Это еще не известно,— сказал я,— может быть, на забор ты и не станешь карабкаться, но, может быть, ты за машины цепляешься? Или скачешь перед ними, как коза?

— Или с дворниками дерешься? И вступаешь в пререкания с милицией? — поддержал меня папа и вздохнул: — Да, жалко, нет у нас такой машинки, чтобы нам за тобой наблюдать...

Но мама показала нам язык:

— Изобретено и выполнено в единственном экземпляре, что, взяли? — Она повернулась ко мне: — Так что знай, теперь я все время держу тебя под своим неусыпным контролем!

И я подумал, что при таком изобретении у меня начинается довольно кислая жизнь. Но ничего не сказал, а кивнул головой и потом пошел спать. А когда проснулся и стал жить, то понял, что для меня наступили черные дни. При мамином изобретении

получалось, что моя жизнь превращается в сплошное мучение. Вот, например, сообразишь, что Костик за последнее время уж очень разнахалился и самая пора ему как следует наkostenить пошее, а вот не решаешься, так и кажется, что подзорная мамина труба уставилась тебе прямо в спину. И наподдать Костику как следует просто невозможно в таких условиях. Я уж не говорю о том, что я вовсе перестал ходить на Чистые пруды, чтобы ловить там себе головастика полные карманы. И вся моя счастливая, веселая прежняя жизнь теперь стала запретной для меня. И так тоскливо тянулись мои дни, что я таял, как свеча, и места себе не находил. И дело, уж наверное, просто приближалось к печальному концу, как вдруг однажды, когда мама ушла, я стал искать свою старую футбольную камеру, и в ящике, где у меня хранится всякая утильная хурда-бурда, я вдруг увидел... мамину подзорную трубу! Да, она лежала среди прочего мусора, какая-то осиротелая, облупившаяся, тусклая. По всему было видно, что мама уже давно ею не пользуется, что она про нее и думать-то забыла. Я схватил ее и расковырял поскорее, чтобы взглянуть, что у нее там внутри, как она устроена. но, честное слово, она была пустая, в ней ничего не было. Пусто, хоть шаром покати!

Только тут я догадался, что эти люди обманули меня и что мама ничего не изобрела, а просто так, пугала меня своей ненастоящей трубой, и я, как доверчивый дурачок, верил ей и боялся, и вел себя, как приличный отличник. И от этого всего я так обиделся на весь свет, и на маму, и на папу, и на все эти дела, что я выбежал сразу во двор как угорелый и затеял там великую срочную драку с Костилом, и с Андрюшкой, и с Аленкой. И хотя они втроем прекрасно меня отлупили, все равно настроение у меня было отличное, и после драки мы все вчетвером лазали на чердак и на крышу, а потом карабкались на деревья, а потом спустились в подвал, в котельную, в самый уголь, и извозились там просто до умопомрачения. И все это время я чувствовал, что у меня словно камень с души свалился. И хорошо было, и свободно на душе, и легко, и весело, как на Первое мая.

НЕЗАВИСИМЫЙ ГОРБУШКА

Недели две тому назад у нас в школе был огромный праздник — встреча со знаменитым писателем. Мы давно уже всем классом читали его смешные рассказы и стихи, и они нам очень нравились. За веселье. И когда Раиса Ивановна сказала, что в субботу он придет к нам в класс, мы захлопали в ладоши и закричали «бис». Но Раиса Ивановна сказала:

— Прекратите шум! Здесь не цирк. Здесь школа. Лучше давайте подумаем, как мы встретим нашего гостя.

Мы сейчас же стали поднимать руки и предлагать. Мы галдели все вместе, каждый свое:

- Надо ему цветы подарить!
- Назначить его почетным пионером!
- Лучше подарить ему подушечку для иголок!
- Сняться с ним на карточку!
- Ерунда! Его нужно угостить хорошенько!
- Чай с хлебом, с маслом и сосисками!
- Идея! Как войдет, так сразу громовое ура!
- Верно! И салют из пугачей! Сто один залп!
- Да! Дверь открывается, а мы трах-трабабах!
- Ночь в Крыму — все в дыму!
- Шик, блеск!
- А я говорю, лучше подушечку для иголок!
- Плевать он хотел на твою подушечку! Что он ненормальный, что ли?
- От дурака слышу!
- Подарить надо моего кота Ваську. Шесть кило чистого весу!
- Нет, дудки. Подари кота кому-нибудь другому.
- Да его никто не берет!
- Подушечку для иголок!
- Пузырькова! Ты забудешь когда-нибудь про свои подушечки?
- Качать его надо!
- А если он тяжелый?
- Позвать восьмой класс на помощь!

Мы так долго еще обсуждали, и в конце концов Раиса Ивановна сказала:

— В общем, ясно. Букет цветов — раз. Аплодисменты — два. Потом мы попросим его почитать. А когда он почитает, мы его выберем почетным пионером нашего отряда. И Маша Кожина наденет ему пионерский галстук. А уже потом мы постараемся сфотографироваться вместе с ним. Вот и все! Скромно и хорошо, не правда ли? Договорились?

— Правильно, — сказали мы, — договорились, все в порядке.

И тут встал маленький Петька Горбушкин. Он поднял руку, но Раиса Ивановна его не замечала, куда там, он маленький и толстенький, как ежик, а в классе столпотворение, его не видно вовсе. Тогда я сказал:

— Раиса Ивановна, Горбушкин хочет что-то сказать.

Она сказала:

— Ну что же, Горбушкин, выкладывай!

И Горбушкин начал. Он сначала немножко запел, вот так: «А-а-а...»

А потом начал говорить:

— Ав... Авв... Аввв...

Он не смог с собою справиться. Он, наверное, волновался.

И мы терпеливо ждали, когда у него пройдет.

Дело в том, что наш Горбушкин заикался. С самого первого класса. И он не как-нибудь скромненько так заикался, нет, он был чемпионом заикания. Горбушка был неслыханный трехступенчатый заика. Прежде чем заговорить, он сначала как будто чего-то запевал потихоньку: «А-а-а-а-а-а-а...

А потом вдруг сразу он переходил на вторую ступеньку и начинал говорить первый слог нужного слова. Например, если он хотел сказать «Здравствуй», то после пенья «ааааа» он начинал молоть, как попугай, раз десять подряд одно и то же: «Ззздра... Ззздра... Здра...

И потом ему надоедало, и он соскакивал уже на третью ступеньку, и, быстро потряхивая головой, как будто желая избавиться от заикания, как от надоедливой мухи, Горбушка выкрикивал волшебное слово: «тех-тех-тех», и после этого гладко и быстро выговаривал:

— Здравствуй, Раиса Ивановна! Забыл дома тетрадь по русскому языку. Больше не буду!

Но это заикание у него получалось только в особо важных случаях, когда он волновался, а так он говорил очень хорошо, громко и бойко, и вообще был очень славный паренек, и лучше всех в классе рисовал лошадей, и всегда делился завтраком, и мы к нему привыкли, и никто никогда не смеялся над Горбушкой, что он заикается. И оттого, что мы над ним не смеялись, заикание у него почти совсем прошло. А вот сейчас он снова начал свою песенку «ааа»... И мы все терпеливо ждали. Нам хотелось узнать, что же скажет наш Горбушка. И он очень скоро сказал:

— Аааа... Ав а ва-тех-тех-тех — автограф надо у него попросить?

Это значит, Горбушка хотел попросить писателя, чтобы он ему надписал свою книжку на память. Я сказал:

— Молодец, Горбушка, правильная мысль!

И после этого мы стали ждать писателя. Некоторые в классе учили его стихи наизусть. Пузырькова все-таки вышивала ему подушечку для иголок, большинство ждало просто так, но с нетерпением, а дни катились один за другим очень быстро, и вот наконец наступила наша Великая Суббота. В этот день мы все, еще с утра, были вымытые, и причесанные, и прилизанные, в белых глаженных рубашках, с красными галстуками, и я просто удивился, что от этой чистоты получилось, как будто мы все очень красивые. Даже девочки, вот что странно. В общем, у нас был какой-то ненастоящий вид. И класс был нарядный и чистый, и на столе стоял букет цветов. И вдруг дверь распахнулась, и к нам вошел писатель. Он был высоченный. Под потолок. А больше ничего

особенного. Ни-че-го. Просто так. И главное, в нем не было никакой важности. Было сразу видно, что он нисколько не задается. Когда он вошел, мы сразу все встали, он подошел к столу, а Раиса Ивановна сказала:

— Дорогие ребята, сегодня у нас в гостях ваш любимый писатель Иван Владиславович...

И не успела она произнести его фамилию, как мы захлопали изо всех сил, а он улыбнулся и сразу стал такой симпатичный и веселый, что мы еще громче захлопали, и не выдержали и завопили, а некоторые даже стали подпрыгивать на одном месте, а другие их стали успокаивать, и успокаивали обеими руками, а те не захотели успокаиваться и стали отбиваться. Я, например, здорово съездил Левке по затылку, а затем он меня схватил поперек живота. В общем, у нас в классе получилась небольшая кутерьма.

Наконец Раиса Ивановна хлопнула по столу, и мы стали затихать. И когда стало совсем тихо, наш писатель уперся своими длинными руками в стол, наклонился и сказал:

— Эзздра... Эзздра... Здра...

Мы просто ошолбенели. Что это такое? Он заикается, что ли? А мы этого не знали. Это было для нас неожиданно. Нас никто не предупредил, и поэтому наша классная дурында Соня Пузырькова на задней парте сразу захихикала своим глупым голосом. Тогда писатель слегка покраснел и сказал в сторону Соньки нормально и спокойно:

— Ребята, я хотел вас предупредить, что когда я чем-нибудь взволнован или тронут, я начинаю немножко заикаться. Кому это смешно — может выйти из класса. Я не обижусь!

Вот как он ее отбрил. Она вся надулась, стала красная и опустила голову. А я встал и сказал:

— Иван Владиславович, не обращайтесь на Пузырькову внимания. Пожалуйста, не стесняйтесь. Заикайтесь сколько угодно.

И весь класс опять захлопал, а писатель улыбнулся и стал еще симпатичнее в сто раз. И он прочитал нам вслух все любимые наши стихи и рассказы. И он здорово читал, великолепно, лучше любого артиста, и мы чуть животики не надорвали, и так было это все интересно, особенно то, что он это сам все сочинил, сам придумал, и вот он здесь, живой, с нами, вправду, наяву!!!

Вот он сидит улыбается, и можно потрогать его руками, и он не рассердится, потому что добрые не сердятся на детей. И он все еще читал, и ребята даже визжали, а я просто не знал, что мне делать от удовольствия. И это продолжалось долго, наверно, больше часа, и я мог бы так сидеть и слушать до позднего вечера, но некоторые ребята стали поднимать руку и спрашивать: «Можно выйти?»

И тогда писатель остановился и сказал:

— Ну, вот на этом разрешите закончить. Желаю вам всем здоровья и веселья. Я надеюсь, что мы с вами подружались? Да?

Конечно, мы опять заорали, завопили и заголосили на разные манеры, и к нему подошла Маша Кожина, от горшка два вершка, и надела ему на шею пионерский галстук, а мы закричали:

— Спа! Си! Бо! Спа! Си! Бо!

И тут какая-то девчонка подарила ему цветы и совсем осмелела и поцеловала его в ухо. У него покраснели глаза, и он помахал рукой, чтобы привлечь наше внимание. Он сказал:

— Пппа... Пппа... Пппа...

И мы поняли, что он опять тронут и волнуется. Мы сейчас же притихли, чтобы услышать, что он нам скажет. Но в эту самую минуту Горбушка вытащил из парты какую-то книжку, встал, поднял руку и завел тоже:

— Ппа... Ппа... Ппа...

Горбушка, наверное, тоже волновался. Писатель глянул на него краешком глаза, но не обратил внимания. Он хотел успокоиться и что-то нам сказать. Но ему не удавалось успокоиться, как он ни старался, и поэтому у него получилось только: «Ппа... ппа... ппа...»

А Горбушка что хуже, что ли? Он тоже тянул свое: «Ппа... ппа... ппа...»

Тогда писатель разозлился и сказал:

— Ты чего, мальчик, дразнишься? Это некрасиво.

А Горбушка быстро ответил:

— Я и не думаю дразниться...

Он протянул писателю книжку и жалобно сказал:

— Пппа... ппа... пппа...

У писателя глаза прямо сверкнули. Я подумал, что он сейчас, чего доброго, убьет нашего Горбушку. Он сказал:

— А ты зачем заикаешься? Это я заикаюсь, а не ты. Не путай, пожалуйста!

Тут Горбушка протрещал с каким-то даже отчаянием:

— Я тоже заикаюсь. Ещё лучше вас! Ппа... ппа... ппа...

Я подумал, что без меня они, того гляди, передерутся сейчас. Я вскочил с места.

— Иван Владиславович,— сказал я,— это наш Горбушка! Он вас не дразнит. Просто он заикается тоже. Но он заикается самостоятельно, Иван Владиславович. Просто тут так сошлось. Что вы оба... Но вы не думайте, он сам по себе, а вы сами по себе. Горбушка! Ты что хотел сказать? Только не волнуйся! Возьми себя в руки! Постарайся!

Горбушка сейчас же постарался и взял себя в руки:

— Пожалуйста, надпишите мне вашу книжку на память, мы ее очень любим!

— Вот и все! — сказал я.— Молодец, Горбушка! Видите, Иван Владиславович, вот он что хотел сказать, он славный, а заикается он совершенно независимо.

Тут писатель засмеялся и сказал:

— Давай свою книжку!

Взял и написал на первой странице: «Независимому Горбушке на добрую память».

Потом он встал и тихо сказал:

— Ппо... ппо... ппозвольте сказать вам, что я вас очень люблю! — И ушел.

СЕСТРА МОЯ КСЕНИЯ

Один раз был обыкновенный день. Я пришел из школы, поел и влез на подоконник. Мне давно уже хотелось посидеть у окна, поглядеть на прохожих и самому ничего не делать. А сейчас для этого был подходящий момент. И я сел на подоконник и принялся ничего не делать. В эту же минуту в комнату влетел папа.

Он сказал:

— Скучаешь?

Я ответил:

— Да нет... Так... А когда же наконец мама приедет?

Нету уже целых десять дней!

Папа сказал:

— Держись за окно! Покрепче держись, а то сейчас полетишь вверх тормашками.

Я на всякий случай уцепился за оконную ручку и сказал:

— А в чем дело?

Он отступил на шаг, вынул из кармана какую-то бумажку, помахал ею издалека и объявил:

— Через час мама приезжает! Вот телеграмма! Я прямо с работы прибежал, чтобы тебе сказать! Обедать не будем, пообедаем все вместе, я побегу ее встречать, а ты приberi комнату и дожди-дайся нас! Договорились?

Я мигом соскочил с окна:

— Конечно, договорились! Урра! Беги, папа, пулей, а я приберусь! Минута — и готово! Наведу шик и блеск! Беги, не теряй времени, вези поскорее маму!

Папа метнулся к дверям. А я стал работать. У меня начался аврал, как на океанском корабле. Аврал — это большая приборка, а тут как раз стихия улеглась, на волнах тишина, — называется штиль, а мы, матросы, делаем свое дело.

— Раз, два! Ширк-шарк! Стулья, по местам! Смирно стоять! Веник-совок! Подметать — живо! Товарищ пол, что это за вид? Блестеть! Сейчас же! Так! Обед! Слушай мою команду! На плиту,

справа по одному «повзводно», кастрюля за сковородкой — становись! Раз-два! За-певай:

Папа только спичкой
чирк!
И огонь сейчас же
фырк!

Продолжайте разогреваться! Вот. Вот какой я молодец! Помощник! Гордиться нужно таким ребенком! Я когда вырасту, знаете кем буду? Я буду — ого! Я буду даже ого-го! Огогугаго! Вот кем я буду!

И я так долго играл и выхвалялся напропалую, чтобы нескучно было ждать маму с папой. И в конце концов дверь распахнулась, и в нее снова влетел папа! Он уже вернулся и был весь взбудораженный, шляпа на затылке! И он один изображал целый духовой оркестр, и дирижера этого оркестра заодно. Папа размахивал руками.

— Дзум-дзум! — выкрикивал папа, и я понял, что это бьют огромные турецкие барабаны в честь маминого приезда. — Пыйхь-пыйхь! — поддавали жару медные тарелки.

Дальше началась уже какая-то кошачья музыка. Закричал сводный хор в составе ста человек. Папа пел за всю эту сотню, но так как дверь за папой была открыта, я выбежал в коридор, чтобы встретить маму.

Она стояла возле вешалки с каким-то свертком на руках. Когда она меня увидела, она мне ласково улыбнулась и тихо сказала:

— Здравствуй, мой мальчик! Как ты тут поживал без меня?

Я сказал:

— Я скучал без тебя.

Мама сказала:

— А я тебе сюрприз привезла!

Я сказал:

— Самолет?

Мама сказала:

— Посмотри-ка!

Мы говорили с ней очень тихо. Мама протянула мне сверток. Я взял его.

— Что это, мама? — спросил я.

— Это твоя сестренка Ксения, — все так же тихо сказала мама.

Я молчал.

Тогда мама отвернула кружевную простынку, и я увидел лицо моей сестры. Оно было маленькое, и на нем ничего не было видно. Я держал ее на руках изо всех сил.

— Дзум-бум-трум, — неожиданно появился из комнаты папа рядом со мной.

Его оркестр все еще гремел.

— Внимание,— сказал папа дикторским голосом,— мальчику Дениске вручается сестренка Ксения. Длина от пяток до головы пятьдесят сантиметров, от головы до пяток — пятьдесят пять! Чистый вес три кило двести пятьдесят граммов, не считая тары.

Он сел передо мной на корточки и подставил руки под мои, наверно, боялся, что я уроню Ксению. Он спросил у мамы своим нормальным голосом:

— А на кого она похожа?

— На тебя,— сказала мама.

— А вот и нет! — воскликнул папа.— Она в своей косыночке очень смахивает на симпатичную народную артистку республики Корчагину-Александровскую, которую я очень любил в молодости. Вообще я заметил, что маленькие детки в первые дни своей жизни все бывают очень похожи на прославленную Корчагину-Александровскую. Особенно похож носик. Носик прямо бросается в глаза.

Я все стоял со своей сестрою Ксенией на руках, как дурень с писаной торбой, и улыбался.

Мама сказала с тревогой:

— Осторожно, умоляю, Денис, не урони.

Я сказал:

— Ты что, мама? Не беспокойся! Я целый детский велосипед выжимаю одной левой, неужели же я уроню такую чепуху?

А папа сказал:

— Вечером купать будем! Готовься!

Он взял у меня сверток, в котором была Ксенька, и пошел. Я пошел за ним, а за мной мама. Мы положили Ксеньку в выдвинутый ящик от комода, и она там лежала спокойно.

Папа сказал:

— Это пока, на одну ночь. А завтра я куплю ей кроватку, и она будет спать в кроватке. А ты, Денис, следи за ключами, как бы кто не запер твою сестренку в комоде. Будем потом искать, куда подевалась...

И мы сели обедать. Я каждую минуту вскакивал и смотрел на Ксеньку. Она все время спала. Я удивлялся и трогал пальцем ее щеку. Щека была мягкая, как сметана. Теперь, когда я рассмотрел ее внимательно, я увидел, что у нее длинные темные ресницы...

И вечером мы стали ее купать. Мы поставили на папин стол ванночку с пробкой и наносили целую толпу кастрюлек, наполненных холодной и горячей водой, а Ксения лежала в своем комоде и ожидала купания. Она, видно, волновалась, потому что она скрипела, как дверь, а папа, наоборот, все время поддерживал ее настроение, чтобы она не очень боялась. Папа ходил туда-сюда

с водой и простынками, он снял с себя пиджак, засучил рукава и льстиво покрикивал на всю квартиру:

— А кто у нас лучше всех плавает? Кто лучше всех окунается и ныряет? Кто лучше всех пузыри пускает?

А у Ксеньки такое было лицо, что это она лучше всех окунается и ныряет,— действовала папина лесть. Но когда стали купать, у неё такой сделался испуганный вид, что вот, люди добрые, смотрите: родные отец и мать сейчас утопят дочку, и она пяткой поискала и нашла дно, оперлась и только тогда немного успокоилась, лицо стало чуть поровней, не такое несчастное, и она позволила себя поливать, но все-таки еще сомневалась, вдруг папа даст ей захлебнуться... И я тут вовремя подсунулся под мамин локоть и дал Ксеньке свой палец и, видно, угадал, сделал, что надо было, она за мой палец схватилась и совсем успокоилась. Так крепко и отчаянно ухватилась девчонка за мой палец, просто как утопающий за соломинку. И мне стало ее жалко от этого, что она именно за меня держится, держится изо всех сил своими воробьиными пальчиками, и по этим пальцам чувствуется ясно, что это она мне одному доверяет свою драгоценную жизнь и что, честно говоря, все это купание для нее мука, и ужас, и риск, и угроза, и надо спасаться: держаться за палец старшего, сильного и смелого брата. И когда я обо всем этом догадался, когда я понял наконец, как ей трудно, бедняге, и страшно, я сразу стал ее любить.

ПОЮТ КОЛЁСА — ТРА - ТА - ТА

Этим летом папе нужно было съездить по делу в город Ясногорск, и в день отъезда он сказал:

— Возьму-ка я Дениску с собой!

Я сразу посмотрел на маму. Но мама молчала.

Тогда папа сказал:

— Ну что ж, пристегни его к своей юбке. Пусть он ходит за тобой пристегнутый.

Тут у мамы глаза сразу стали зеленые, как крыжовник. Она сказала:

— Делайте что хотите! Хоть в Антарктиду!

И в этот же вечер мы с папой сели в поезд и поехали. В нашем вагоне было много разного народу: старушки и солдаты, и просто молодые парни и проводники, и маленькая девочка. И было очень весело и шумно, и мы открыли консервы, и пили чай из стаканов в подстаканниках, и ели колбасу большими кусками. А потом один парень снял пиджак и остался в майке; у него были белые руки и круглые мускулы, прямо как шары. Он достал с третьей полки гармошку, и заиграл, и спел грустную песню про комсомольца,

как он упал на траву, возле своего коня, у его ног, и закрыл свои карие очи, и красная кровь стекала на зеленую траву.

Я подошел к окошку, и стоял, и смотрел, как мелькают в темноте огоньки, и все думал про этого комсомольца, что я бы тоже вместе с ним поскакал в разведку и его, может быть, тогда не убили бы.

А потом папа подошел ко мне, и мы с ним вдвоем помолчали, и папа сказал:

— Не скучай. Мы послезавтра вернемся, и ты расскажешь маме, как было интересно.

Он отошел и стал стелить постель, а потом подозвал меня и спросил:

— Ты где ляжешь? К стенке?

— Лучше ты ложись к стенке. А я с краю.

Папа лег к стенке на бок, а я лег с краю, тоже на бок, и колеса застучали: трата-та-трата-та...

И вдруг я проснулся оттого, что я наполовину висел в воздухе и одной рукой держался за столик, чтоб не упасть. Видно, папа во сне очень разметался и совсем меня вытеснил с полки. Я хотел устроиться поудобней, но в это время сон с меня соскочил, и я присел на краешек постели и стал разглядывать все вокруг себя.

В вагоне уже было светло, и отовсюду свисали разные ноги и руки. Ноги были в разноцветных носках или просто босиком, и была одна маленькая девчоночья нога, похожая на коричневую чурочку.

Наш поезд ехал очень медленно. Колеса тарахтели. Я увидел, что зеленые ветки почти касаются наших окон, и получалось, что мы едем, как по лесному коридору, и мне захотелось посмотреть, как оно так выходит, и я побежал босиком в тамбур. Там дверь была открыта настежь, и я ухватился за перильца и осторожно свесил ноги.

Сидеть было холодно, потому что я был в одних трусиках, и железный пол меня прямо заходил, но потом он согрелся, и я сидел, подсунув руки под мышки. Ветер был слабый, еле-еле дул, а поезд шел медленно-медленно, он поднимался в гору, колеса тарахтели, и я потихоньку к ним подладился и сочинил песню:

Вот мчится поезд — красота!

Стучат колеса — тра-та-та!

И случайно я посмотрел направо и увидел конец нашего поезда: он был полукруглый, как хвост.

Я тогда посмотрел налево и увидел наш паровоз: он вовсю карабкался вверх, как какой-нибудь жук. И я догадался, что здесь поворот.

А рядом с поездом была тропочка, совсем узкая, и я увидел, что впереди по этой тропочке идет человек. Издалека мне пока-

залось, что он совсем маленький, но поезд все-таки шел побыстрее его, и я постепенно увидел, что он большой, и на нем голубая рубашка, и что он в тяжелых сапогах. По этим сапогам было видно, что он уже устал идти. Он держал что-то в руках.

Когда поезд его догнал, этот дядька вдруг спустился со своей тропочки и побежал рядом с поездом, сапоги его хрупали по камешкам, и камешки разлетались из-под тяжелых сапог в разные стороны. И тут я поравнялся с ним, и он протянул мне решето, затянутое полотенцем, и все бежал рядом со мной, и лицо у него было красное и мокрое. Он крикнул:

— Держи решето, малый! — и ловко сунул мне его на колени.

Я вцепился в это решето, а дяденька ухватился за перильца, подтянулся, вскочил на подножку и сел рядом со мной. Он вытер лицо рубашкой и сказал:

— Еле влез...

Я сказал:

— Нате ваше решето.

Но он не взял. Он сказал:

— Тебя как звать?

Я ответил:

— Денис.

Он кивнул головой и сказал:

— А моего — Сережка.

Я спросил:

— Он в каком классе?

Дяденька сказал:

— Во втором.

— Надо говорить: во втором, — сказал я.

Тут он сердито засмеялся и стал стаскивать полотенце с решета. Под полотенцем лежали серебристые листья, и оттуда пошел такой запах, что я чуть не сошел с ума. А дяденька стал аккуратно снимать эти листья один за одним, и я увидел, что это — полное решето малины. И хотя она была очень красная, она была еще и серебристая, седая, что ли; и каждая ягодка лежала отдельно, как будто твердая. Я смотрел на малину во все глаза.

— Это ее холодком прикрыло, ишь притуманилась, — сказал дядька. — Ешь давай!

И я взял ягоду и съел, и потом еще одну, и тоже съел, и придавил языком, и стал так есть по одной, и просто таял от удовольствия, а дяденька сидел и смотрел на меня, и лицо у него было такое, как будто я болен и ему жалко меня. Он сказал:

— Ты не по одной. Ты пригоршней.

И отвернулся. Наверно, чтоб я не стеснялся. Но я его несколько не стеснялся: я добрых не стесняюсь, я стал сразу есть пригоршней и решил, что пусть я лопну, но все равно я эту малину съем всю.

Никогда еще не было так вкусно у меня во рту и так хорошо на душе. Но потом я вспомнил про Сережку и спросил у дяденьки:

— А Сережка ваш уже ел?

— Как же не ел,— сказал он,— было, и он ел.

Я сказал:

— Почему же было? А например, сегодня он уже ел?

Дяденька снял сапог и вытряхнул оттуда мелкий камешек.

— Вот ногу мозолит, терзает, скажи ты! А вроде такая малость.

Он помолчал и сказал:

— И душу вот такая малость может в кровь истерзать. Сережка, браток, теперь в городе живет, уехал он от меня.

Я очень удивился. Вот так парень! Во втором классе, а от отца удрал!

Я сказал:

— А он один удрал или с товарищем?

Но дяденька сказал сердито:

— Зачем — один? С мамой со своей! Ей, видишь ли, учиться приспичило! У ней там родичи, друзья-приятели разные... Вот и выходит кино: Сережка в городе живет, а я здесь. Нескладно, а?

Я сказал:

— Не волнуйтесь, выучится на машиниста и приедет. Подождите.

— Долго больно ждать.

Я сказал:

— А он в каком городе живет?

— В Курском.

Я сказал:

— Нужно говорить: в Курске.

Тут дяденька опять засмеялся — хрипло, как простуженный, а потом перестал. Он наклонился ко мне поближе и сказал:

— Ладно, ученая твоя голова. Я тоже выучусь. Война меня в школу не пустила. Я в твои годы кору варил и ел.— И тут он задумался. Потом вдруг встрепенулся и показал на лес: — Вот в этом самом лесу, браток. А за ним, гляди, сейчас село Красное будет. Моими руками это село построено. Я там и соскочу.

Я сказал:

— Я еще одну только горсточку съем, и вы завязывайте свою малину.

Но он придержал решето у меня на коленях:

— Не в том дело. Возьми себе.

Он положил мне руку на голую спину. и я почувствовал, какая тяжелая и твердая у него рука, сухая, горячая и шершавая, а он прижал меня крепко к своей голубой рубашке, и он был весь теплый, и от него пахло хлебом и табаком, и было слышно, как он дышит медленно и шумно.

Он так подержал меня немножко и сказал:
— Ну, бывай сынок. Смотри, веди хорошо...

Он погладил меня и вдруг сразу спрыгнул на ходу. Я не успел опомниться, а он уже отстал, и я опять услышал, как хрупают камешки под его тяжелыми сапогами.

И я увидел, как он стал удаляться от меня, быстро пошел вверх на подъем, хороший такой человек в голубой рубашке и тяжелых сапогах.

И скоро наш поезд стал идти быстрее, и ветер стал чересчур сильный, и я взял решето с малиной и понес его в вагон, и дошел до папы.

Малина уже начала оттаивать и не была такая седая, но пахла все равно как целый сад.

А папа спал; он раскинулся на нашей полке, и мне совершенно негде было приткнуться, и некому было показать эту малину и рассказать про дядьку в голубой рубашке и про его сына.

В вагоне все спали, и вокруг по-прежнему висели разноцветные пятки.

Я поставил решето на пол и увидел, что у меня весь живот, и руки, и колени красные,— это был малиновый сок, и я подумал, что надо сбегать умыться, но вдруг начал клевать носом.

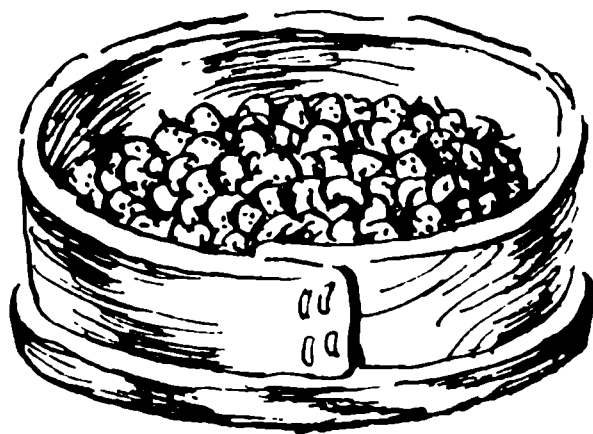
В углу стоял большой чемодан, перевязанный крест-накрест, он стоял торчком: мы на нем вчера резали колбасу и открывали консервы. Я подошел к нему и положил на него локти и голову, и сразу поезд стал особенно сильно стучать, и я пригрелся и долго слушал этот стук, и опять в моей голове запелась песня:

Вот мчится поезд —

кра-
со-
та!

Поют колеса —

тра-
та-
та!



ВАЛЕРИЙ МЕДВЕДЕВ

*Б*АРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Повесть



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

БАРАНКИН, К ДОСКЕ!

СОБЫТИЕ ПЕРВОЕ

ПОЗОР НА ВСЮ ШКОЛУ!

Если бы я и Костя Малинин не умудрились получить двойки по геометрии в самом начале учебного года, то, может быть, ничего такого невероятного и фантастического в нашей жизни не приключилось бы, но двойки мы схлопотали, и поэтому на следующий день с нами случилось что-то невероятное, фантастическое и, можно сказать, сверхъестественное!..

На перемене, сразу же после этого злополучного события, Зинка Фокина, староста нашего класса, подошла к нам и сказала: «Ой, Баранкин и Малинин! Ой, какой позор! На всю школу позор!» Потом она собрала вокруг себя девчонок и стала с ними, судя по всему, составлять против нас с Костей какой-то заговор. Совещание продолжалось всю перемену, пока не прозвенел звонок к следующему уроку.

За это же время Алик Новиков, специальный фотокорреспондент нашей стенгазеты, сфотографировал нас с Костей и со словами: «Двойка скачет! Двойка мчится!» — прилепил наши физиономии на газету, в раздел «Юмор и сатира».

После этого Эра Кузякина, главный редактор стенгазеты, посмотрела на нас уничтожающим взглядом и прошипела: «Эх, вы! Такую красивую газету испортили!»

Газета, которую по словам Кузякиной, испортили мы с Костей, выглядела действительно очень красиво. Она была вся раскрашена разноцветными красками, на самом видном месте от края до края был выведен яркими буквами лозунг: «Учиться только на «хорошо» и «отлично»!»

Честно говоря, наши мрачные физиономии типичных двоечников действительно как-то не вязались с ее нарядным и праздничным видом. Я даже не выдержал и послал Эрке записку:

«Кузякина! Предлагаю снять наши карточки, чтобы газета была очень красивой! Или, в крайнем случае, зачеркнуть лозунг!»

Слово «красивой» я подчеркнул двумя жирными линиями, а «зачеркнуть лозунг» — тремя, но Эрка только передернула плечами и даже не посмотрела в мою сторону... Подумаешь!..

СОБЫТИЕ ВТОРОЕ

НЕ ДАЮТ ДАЖЕ ОПОМНИТЬСЯ...

Как только прозвенел звонок с последнего урока, ребята гурьбой ринулись к дверям. Я уже собирался толкнуть дверь плечом, но Эрка Кузякина успела каким-то образом встать на моем пути.

— Не расходиться! Не расходиться! Будет общее собрание! — закричала она и добавила ехидным тоном: — Посвященное Баранкину и Малинину!

— И никакого не собрание, — крикнула Зинка Фокина, — а разговор! Очень серьезный разговор!.. Садитесь на места!..

Что здесь началось! Все ребята стали возмущаться, хлопать партами, ругать нас с Костей и кричать, что они ни за что не останутся. Мы с Костей вопили, конечно, больше всех. Это еще что за порядки? Не успели, можно сказать, получить двойки, и на те-

бе — сразу же общее собрание, ну, не собрание, так «серьезный разговор»... Еще неизвестно, что хуже. В прошлом учебном году этого не было. То есть двойки у нас с Костей и в прошлом году тоже были, но никто не устраивал из этого никакого пожара. Прорабатывали, конечно, но не так, не сразу... Давали, как говорится, опомниться... Пока такие мысли мелькали у меня в голове, староста нашего класса Фокина и главный редактор стенгазеты Кузякина успели «подавить бунт» и заставили всех ребят сесть на свои места. Когда шум постепенно затих и в классе наступила относительная тишина, Зинка Фокина сразу же начала собрание, то есть «серьезный разговор», посвященный мне и моему лучшему другу.

Мне, конечно, очень неприятно вспоминать, что говорили о нас с Костей Зинка Фокина и остальные наши товарищи на том собрании, и, несмотря на это, я расскажу все так, как было на самом деле, не искажая ни одного слова и ничего не прибавляя от себя...

СОБЫТИЕ ТРЕТЬЕ

КАК В ОПЕРЕ, ПОЛУЧАЕТСЯ...

Когда все расселись и в классе наступило временное затишье, Зинка Фокина закричала:

— Ой, ребята! Это просто несчастье! Новый учебный год еще не успел начаться, а Баранкин и Малинин уже успели получить две двойки!..

В классе снова поднялся ужасный шум, но отдельные выкрики, конечно, можно было разобрать.

— В таких условиях я отказываюсь быть главным редактором стенгазеты! (Это сказала Эрка Кузякина.)

— А еще слово давали, что исправятся! (Мишка Яковлев.)

— Трутни несчастные! В прошлом году с ними нянчились, и опять всё сначала! (Алик Новиков.)

— Вызвать родителей! (Нина Семенова.)

— Только класс наш позорят! (Ирка Пухова.)

— Решили все заниматься на «хорошо» и «отлично», и вот вам пожалуйста! (Элла Синицина.)

— Позор Баранкину и Малинину!! (Нинка и Ирка вместе.)

— Да выгнать их из нашей школы, и все!!! (Эрка Кузякина.)

«Ладно, Эрка, я тебе припомню эту фразу».

После этих слов все заорали в один голос, да так громко, что нам с Костей уже совершенно было невозможно разобрать, кто и что о нас думает, хотя из отдельных слов можно было уловить, что мы с Костей Малининым — оболтусы, тунеядцы, трутни! Еще раз

трутни, оболтусы, лоботрясы, эгоисты! И так далее! И тому подобное!..

Меня и Костю больше всего разозлило, что громче всех орал Венька Смирнов. Уж чья бы корова, как говорится, мычала, а его бы молчала. У этого Веньки успеваемость в прошлом году была еще хуже, чем у нас с Костей. Поэтому я не выдержал и тоже закричал.

— Рыжий,— закричал я на Веньку Смирнова,— а ты-то чего орешь громче всех? Если бы первым вызвали тебя к доске, ты бы не двойку, а единицу схлопотал! Так что молчи в тряпочку.

— Эх ты, Баранкин,— заорал на меня Венька Смирнов,— я же не против тебя, я за тебя ору! Я что хочу сказать, ребята!.. Я говорю: нельзя после каникул так сразу вызывать к доске. Надо, чтобы мы сначала пришли в себя после каникул...

— Смирнов! — крикнула на Веньку Зинка Фокина.

— И вообще,— продолжал кричать на весь класс Венька,— предлагаю, чтобы в течение первого месяца никому не задавали никаких вопросов и вообще не вызывали к доске!..

— Так ты эти слова ори отдельно,— крикнул я Веньке,— а не со всеми вместе!..

Здесь опять все ребята закричали в один голос и так громко, что уже нельзя было разобрать ни одного слова и вообще было невозможно понять, кто с Венькиным предложением согласен, а кто против.

— Ой, тише, ребята,— сказала Фокина,— замолчите! Пусть говорит Баранкин!

— А что говорить? — сказал я.— Мы с Костей не виноваты, что Михал Михалыч в этом учебном году вызвал нас к доске первыми. Спросил бы сначала кого-нибудь из отличников, например Мишку Яковлева, и все началось бы с пятерки...

Все стали шуметь и смеяться, а Фокина сказала:

— Ты бы, Баранкин, лучше не острил, а брал пример с Миши Яковлева.

— Подумаешь, какой пример-министр! — сказал я не очень громко, но так, чтобы все слышали.

Ребята опять засмеялись. Зинка Фокина заойкала, а Эрка покачала головой, как большая, и сказала:

— Баранкин! Ты лучше скажи, когда вы с Малининым исправите свои двойки?

— Малинин! — сказал я Косте.— Разъясни...

— Вот пристали! — сказал Малинин.— Да исправим мы ваши двойки... то есть наши двойки...

— Когда?

— Юра, когда мы исправим двойки? — спросил Костя.

— А ты, Малинин, своей головы на плечах не имеешь? — закричала Кузякина.

— В четверти исправим,— сказал я твердым голосом, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос.

— Ребята! Это что же получается? Значит, наш класс должен всю четверть переживать эти несчастные двойки! — всполошилась Кузякина.

— Баранкин! — сказала Зинка Фокина. — Класс постановил, чтобы вы исправили двойки завтра!

— Извините, пожалуйста! — возмутился я. — Завтра воскресенье!

— Ничего, позанимаетесь! (Миша Яковлев.)

— Так им и надо! (Алик Новиков.)

— Привязать их веревками к партам! (Эрка Кузякина.)

— А если мы не понимаем с Костей решение задачи? (Это сказал уже я.)

— А я вам объясню! (Миша Яковлев.)

Мы с Костей переглянулись и ничего не сказали.

— Молчание — знак согласия! — сказала Зинка Фокина. — Значит, договорились на воскресенье! Утром позанимаетесь с Яковлевым, а потом придете в школьный сад — будем сажать деревья!

— Что? — заорали мы с Костей в один голос. — Еще и деревья сажать?.. Да мы же... мы же устанем после занятий!

— Физический труд,— сказал главный редактор нашей стенгазеты,— лучший отдых после умственной работы.

— Это что же получается,— сказал я,— значит, как в опере, получается... «Ни сна, ни отдыха измученной душе!..»

— Алик! — сказала староста нашего класса. — Смотри, чтобы они не сбежали!..

— Не сбегут! — сказал Алик. — Сделайте веселое лицо! У меня разговор короткий! В случае чего... — Алик навел фотоаппарат на нас с Костей. — И подпись...

СОБЫТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

(Очень важное!)

А ЕСЛИ Я УСТАЛ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?!

Ребята, переговариваясь, выходили из класса, а мы с Костей все еще продолжали сидеть за партой и молчать. Признаться, мы оба были просто, как говорится, ошарашены. Я уже говорил, что раньше нам тоже приходилось получать двойки, и не раз, но никогда еще наши ребята не брали нас с Костей в самом начале года в такой оборот, как в эту субботу.

Я думал, что мы с Костей остались в классе совсем одни, и

хотел уже поделиться с ним своими мрачными мыслями, но в это время сбоку ко мне подошла вдруг Фокина.

— Юра! — сказала Зинка. (Вот странно! Раньше она всегда называла меня только по фамилии.) — Юра... Ну будь человеком!.. Ну исправь завтра двойку! Ну исправишь?

Она говорила со мной так, словно мы были в классе совсем одни. Словно рядом со мной не сидел мой лучший друг Костя Малинин.

— Фокина! — сказал я официальным голосом. — Если бы я был некультурный, я бы тебе сказал: «Не при-ста-вай!...»

Фокина (возмущенно). С тобой совершенно невозможно разговаривать по-человечески!

Я (хладнокровно). Ну и не разговаривай!

Фокина (еще возмущенней). И не буду!

Я (еще хладнокровней). А сама разговариваешь!..

Фокина (возмущенней в тысячу раз). Потому что я хочу, чтобы ты стал че-ло-ве-ком!

— А я что, не человек, что ли?

— Нет, Юра! — сказала Фокина серьезно. — Я хочу, чтобы ты стал человеком в полном смысле этого слова!

— А если я устал... Устал быть человеком! Тогда что?

— Как это устал? — спросила Фокина изумленным голосом.

— А вот так! Вот так! — возмущенно закричал я на Фокину. — Устал, и всё! Устал быть человеком!.. Устал! В полном смысле этого слова.

Зинка Фокина так растерялась, что просто не знала, что мне сказать. Она стояла молча и только часто-часто моргала глазами. Я боялся, вдруг она разнюнится. Но Зинка не разнюнилась, а как-то вся переменилась и сказала:

— Ну, Баранкин! Знаешь, Баранкин!.. Все, Баранкин!.. — и вышла из класса.

А я снова остался сидеть за партой, молча сидеть и думать о том, как действительно я устал быть человеком... Уже устал... А впереди еще целая человеческая жизнь и такой тяжелый учебный год... А завтра еще такое тяжелое воскресенье!..

СОБЫТИЕ ПЯТОЕ

ЛОПАТЫ ВСЕ-ТАКИ ВРУЧАЮТ... И МИШКА ВОТ-ВОТ ПОЯВИТСЯ

И вот то воскресенье наступило! На папином календаре число и буквы раскрашены веселой розовой краской. У всех ребят из нашего дома праздник. Идут кто в кино, кто на футбол, кто

по своим личным делам, а мы сидим во дворе на лавочке и ждём Мишку Яковлева, чтобы начать с ним заниматься.

В будние дни учиться тоже небольшое удовольствие, но заниматься в выходной день, когда все отдыхают, — просто одно мучение. На дворе, как назло, замечательная погода. На небе ни облачка, а солнце греет совсем по-летнему.

С утра, когда я проснулся и выглянул на улицу, все небо было в тучах. За окном свистел ветер и срывал с деревьев желтые листья.

Я обрадовался. Думал, пойдет град с голубиное яйцо, Мишка побойтса выйти на улицу, и наши занятия не состоятся. Если не град, то, может быть, ветер надует снег или дождь. Мишка с его характером, конечно, и в снег и в дождь притащится, зато в слякоть будет не так обидно сидеть дома и корпеть над учебниками. Пока я составлял в голове разные планы, все получилось наоборот. Тучи сначала превратились в облака, а потом совсем исчезли. А к приходу Кости Малинина погода вообще разгулялась, и теперь на дворе солнце и небо чистое-чистое. И воздух не шевелится. Тихо. Так тихо, что с березы, под которой мы сидим с Костей, даже перестали падать желтые листья.

— Эй вы, подберезовики! — раздался из окна нашей квартиры мамин голос. — Вы пойдете в конце концов заниматься или нет?

Этот вопрос она задавала нам пятый или шестой раз.

— Мы ждем Яковлева!

— А разве без Яковлева начать нельзя?

— Нельзя! — сказали мы с Костей в один голос и отвернулись от окошка и стали смотреть сквозь кусты акаций на калитку, из которой должен был появиться Мишка.

Но Мишки все не было. Вместо него за калиткой маячил, то и дело высовываясь из-за дерева, Алик Новиков. Он был, как всегда, весь увешан фотоаппаратами и всякими фотопринадлежностями. Я, конечно, не мог смотреть спокойно на этого шпиона и поэтому отвел взгляд в сторону.

— Воскресенье называется! — сказал я, стиснув зубы.

В это время к Алику подошла Зинка Фокина; на плече она несла четыре лопаты, под мышкой у нее была зажата какая-то картонная коробка, а в левой руке сачок для ловли бабочек.

Алик сфотографировал Зинку с лопатами на плече, и они вместе направились к нам. Я думал, что Алик взвалит теперь лопаты на свои плечи, но этого почему-то не случилось. Все четыре лопаты продолжала тащить Зинка Фокина, а Алик продолжал держаться обеими руками за фотоаппарат, который висел у него на шее.

— Эй Вы, Фото-Граф,— сказал я Алику, когда они вместе с Зинкой приблизились к скамейке.— Кажется, эти лопаты Вам не по плечу, Ваше Проявительство!

— Зато они будут по плечу вам с Костей,— сказал, ничуть не смутившись, Алик Новиков, наводя аппарат на нас с Костей.— И подпись: староста класса Э. Фокина торжественно вручает хозинвентарь своим соотечественникам...

Зинка Фокина прислонила лопаты к сиденью скамейки, а Алик Новиков щелкнул фотоаппаратом.

— Да,— сказал я, внимательно разглядывая лопаты.— Как в журнале «Костер» получается...

— Что это еще получается? — спросила меня Фокина.

— Загадочная картинка,— пояснил я.

— Понимаю,— сказал Алик,— где у этой лопаты ручка?

— Нет,— сказал я Алику.— Где мальчик, который будет работать этой лопатой?..

— Баранкин! — возмутилась Зинка Фокина.— Ты что, не собираешься сегодня озеленять школу?

— Почему это я не собираюсь? — ответил я Зинке.— Собираюсь я собираюсь... Только неизвестно, сколько времени я буду собираться...

— Баранкин, будь человеком! — сказала Фокина.

Она хотела сказать нам с Костей что-то еще, но раздумала, повернулась и с лопатой на плече молча зашагала по направлению к школе.

Алик Новиков снова занял свой пост у калитки за деревом. Костя помрачнел еще больше и уставился на лопаты; он смотрел на них как загипнотизированный, а я наоборот: я пытался на этот «инвентарь» не обращать никакого внимания. Стараясь изо всех сил казаться веселым, я стал смотреть на деревья, даже не догадываясь о том, что до невероятных, фантастических и, можно сказать, сверхъестественных событий, которые развернутся в нашем дворе, остается совсем немного времени...

СОБЫТИЕ ШЕСТОЕ

СЕМЬ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ В НЕДЕЛЕ — ВОТ ЧТО ПОРАЗИЛО МОЕ
ВООБРАЖЕНИЕ!

В кустах громко чирикали воробьи. Веселыми компаниями они то и дело срывались с веток, перелетая с дерева на дерево, на лету их стайки то сжимались, то растягивались. Было похоже, будто все воробьи были связаны между собой резиновыми нитями.

Перед самым моим носом в воздухе беззаботно летала какая-то мошкара. Над клумбой порхали бабочки. На скамейке, на которой мы сидели с Костей, бегали черненькие муравьи. Один муравей даже залез мне на колено и стал греться на солнышке.

«Вот у кого, вероятно, каждый день воскресенье!» — подумал я, с завистью глядя на воробьев. Не сводя глаз с акации, я стал, наверное, в двести пятидесятый раз сравнивать свою жизнь и жизнь воробьев и пришел к очень печальному заключению. Достаточно было взглянуть один раз, чтобы убедиться, что жизнь птиц и разных насекомых была беззаботной и просто замечательной: никто из них никого не ждал, никто ничему не учился, никого никуда не посылали, никому не читали нотации, никому не давали в руки лопаты... Каждый жил сам по себе и делал все, что ему вздумается. И так всю жизнь! Все дни раскрашены розовой краской! Все время — праздник! Семь дней в неделе — и все воскресенья! А у нас с Малининым один выходной в семь дней, и то, разве это выходной день? Так, только одно название. А хорошо бы пожить хоть один денечек вот так, как живут эти счастливые мураши, или воробьи, или бабочки, только чтобы не слышать этих глаголов, которые с утра до вечера так и сыплются на твою несчастную голову: просыпайся, одевайся, походи, принеси, отнеси, купи, подмети, помоги, выучи! В школе тоже не легче. Стоит мне появиться в классе, только я и слышу от Фокиной:

«Ой, Баранкин, будь человеком! Не вертись, не списывай, не груби, не опаздывай!..» И так далее, и тому подобное...

В школе будь человеком!

На улице будь человеком!

Дома будь человеком!

А отдыхать когда же?!

И где взять время для отдыха? Немного свободного времени еще, конечно, можно выкроить, а вот где найти для отдыха такое местечко, чтобы тебе абсолютно никто не мешал заниматься всем, что твоей душе угодно? И здесь мне пришла в голову та невероятная идея, которую я уже давно тайно от всех вынашивал в своей голове. А что, если взять и попытаться ее о-су-щест-вить! Осуществить сегодня же! Сейчас! Более подходящей минуты, может быть, больше никогда и не будет, и более подходящей обстановки и настроения тоже, может быть, никогда не будет!.. Сначала надо обо всем рассказать Косте Малинину. А может быть, не стоит?.. Нет, стоит! Расскажу! А там будь что будет!

— Малинин! — сказал я шепотом. — Слушай меня, Малинин!.. — От волнения я чуть было не задохнулся. — Слушай!

Конечно, если бы мне не нужно было в этот выходной день заниматься, а потом еще и работать в школьном саду, то я, может быть, никогда бы не поделился с Костей своим невероятным

и неслыханным замыслом, но двойка, красовавшаяся в моем дневнике, и лопата, прислонившаяся ко мне своим черенком, переполнили, как говорится, чашу моего терпения, и я решил действовать.

СОБЫТИЕ СЕДЬМОЕ

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ ИНСТРУКЦИЯ

Я еще раз взглянул на окна нашей квартиры, на небо, на воробьев, на калитку, из которой вот-вот должен был появиться Мишка Яковлев, и сказал по-настоящему взволнованным голосом:

— Костя! А ты знаешь, что утверждает моя мама?!

— Что? — спросил Костя.

— Моя мама утверждает, — сказал я, — что если по-настоящему захотеть, то даже курносый нос может превратиться в орлиный!

— В орлиный? — переспросил Костя Малинин и, не понимая, к чему это я говорю, уставился в стену нашего дома, на которой было написано мелом:

БАРАНКИН — ФАНТАЗЕР НЕСЧАСТНЫЙ!!!

— В орлиный! — подтвердил я. — Но только, если захотеть по-настоящему.

Малинин отвел свой взгляд от забора и недоверчиво посмотрел на мой нос.

Мой профиль был полной противоположностью орлиному. Я был курносый. По выражению моей мамы, я настолько курнос, что через дырочки моего задранного кверху носа можно разглядеть, о чем я думаю.

— Так что же ты ходишь с таким носом, если он может у тебя превратиться в орлиный? — спросил Костя Малинин.

— Да я не о носе, дуралей!

— А о чем? — все еще не понимал Костя.

— А о том, что, если по-настоящему захотеть, значит, можно из человека превратиться, к примеру, в воробья...

— Это зачем же нам превращаться, к примеру, в воробьев? — спросил Костя Малинин, глядя на меня как на ненормального.

— Как зачем? Превратимся в воробьев и хоть одно воскресенье проведем по-человечески!

— А как это — по-человечески? — спросил ошеломленный Малинин.

— По-человечески — значит по-настоящему, — пояснил я. —

Устроим себе настоящий выходной день и отдохнем как полагается от этой арифметики, от Мишки Яковлева... от всего на свете отдохнем. Конечно, если ты не устал быть человеком, тогда можешь не превращаться — сиди и жди Мишку...

— Как это — не устал? Я очень даже устал быть человеком! — сказал Костя. — Может, побольше твоего устал!..

— Ну вот! Вот это по-товарищески!

И я с еще большим увлечением стал расписывать Косте Малинину ту жизнь, без всяких забот и хлопот, которая, по моему мнению, ожидала нас, если бы нам удалось каким-то образом превратиться в воробьев.

— Вот здорово, — сказал Костя. — Вдох — выдох!

— Конечно, здорово! — сказал я.

— Подожди! — сказал Костя. — А как же мы с тобой будем превращаться? По какой системе?

— Не читал, что ли, в сказках: «Стукнулся об землю и превратился Иванушка в орла быстрогокрылого... Стукнулся еще раз об землю и превратился...»

— Слушай, Юрка, — сказал мне Костя Малинин, — а это обязательно — стукаться об землю?..

— Можно и не стукаться, — сказал я, — можно и при помощи настоящего желания и волшебных слов...

— А где же мы с тобой возьмем волшебные слова? Из старой сказки, что ли?

— Зачем — из сказки? Я сам придумал. Вот... — Я протянул Косте тетрадь. Тетрадь, которую еще никто не видел на свете, кроме меня.

— «Как превратиться из человека в воробья по системе Баранкина. Инструкция», — прочитал Костя свистящим шепотом надпись на обложке тетради и перевернул первую страницу...

СОБЫТИЕ ВОСЬМОЕ

«НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ, ХОЧУ БЫТЬ ПТИЦЕЙ!..»

— «Не хочу учиться, хочу быть птицей!..» А это что, стихи, что ли? — спросил меня Костя.

— Не стихи, а заклинание. В рифму... — пояснил я. — В сказках так всегда полагается. Читал в «Снежной королеве»? Снип-снап-снур-ре-пурре-базелюрре...

— «Я уверен, без забот воробей живет! Вот я! Вот я...» А дальше неразборчиво...

— Чего неразборчиво? — сказал я. — «Вот я! Вот я! Превращаюсь в воробья!..»

— Складно получается! — сказал Костя.

— Всю ночь не спал, — сказал я шепотом, чтобы нас с Костей кто-нибудь не подслушал.

— А что ж мы с тобой теряем время? — крикнул Малинин. — Давай скорее превращаться, пока Мишка Яковлев не пришел!

— Ты какой-то чудака, Малинин! Как это — скорей? Может, у нас с тобой еще ничего не получится, а ты уже радуешься да еще орешь на весь двор!

— Ну и что?

— Как это ну и что! Дело таинственное, можно сказать, не проверенное. Кто-нибудь подслушает — потом смеяться будут если у нас ничего не выйдет.

— Ты же сам говорил, что если есть волшебные слова да еще если захотеть по-настоящему, то обязательно выйдет! — сказал Костя шепотом.

— Конечно, выйдет, если захотеть по-настоящему! А вот как это — захотеть по-настоящему? Вот в чем загадка! — прошептал я. — Ты, Костя, в жизни чего-нибудь хотел по-настоящему?

— Не знаю, — тихо сказал Костя.

— Ну вот! А говоришь — скорей! Это тебе не двойку в тройку превращать. Здесь, брат, двух человек надо превратить в воробьев. Вот какая задача!

— А зачем — в воробьев? В бабочек, я думаю, легче.

— Зачем же в бабочек? Бабочки — насекомые, а воробьи — это как-никак птицы. На прошлом уроке мы как раз проходили воробьев. Ты в это время, правда, постороннюю книгу читал.

— Верно. Я про воробьев не слушал.

— Ну вот, а я слушал. Нина Николаевна нам целый час рассказывала о воробьях. Знаешь, какая у них замечательная жизнь?

— В воробьев так в воробьев! — сдался Костя Малинин. — Я в драмкружке в «Снежной королеве» ворона играл, мне в воробья будет даже легче превращаться. Давай скорее!

— Тебе бы только скорее! Сначала надо хоть немного потренироваться, — сказал я, забираясь с ногами на лавочку.

Присев на корточки, как воробей, я втянул голову в плечи и заложил руки за спину, словно крылья.

— Похоже! — сказал Костя, повторяя за мной все движения. — Чик-чирик!

— Ну вот что! — сказал я. — Тренироваться так тренироваться, а раньше времени чирикать нечего. Давай лучше отработаем воробьиную походку.

Сидя на корточках, мы стали прыгать по лавочке и чуть не свалились на землю.

— Тяжело! — сознался Костя, для равновесия размахивая руками, как крыльями.

— Ничего, — успокоил я Малинина, — когда мы станем настоящими воробьями, прыгать будет легче.

Костя хотел еще немного попрыгать, но я ему сказал, что тренировка окончена и что теперь мы переходим к самому главному — к превращению человека Малинина и человека Баранкина в воробьев.

— Замри! — скомандовал я Косте Малинину.

— Замер!

— Сосредоточься!

— Сосредоточился! — ответил Костя.

— А теперь мысленно, как говорится, в своем воображении, начинай превращаться в воробья! Понятно?

— Понятно!

— Если понятно, тогда к превращению из человека в воробья приготовились!

— Приготовились!

— Начали!

— Начали!

Я зажмурил глаза, напрягся и, мысленно повторяя слова заклинания, начал изо всех сил мысленно, в своем воображении, превращаться в воробья, сомневаясь про себя в том, что у меня хватит настоящего желания и настоящих сил, необходимых для такого неслыханного и невиданного и, можно сказать, сверхъестественного задания...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧИК-ЧИРИК! ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА!

СОБЫТИЕ ДЕВЯТОЕ

СТОИТ ЗАХОТЕТЬ ПО-НАСТОЯЩЕМУ И...

Сказать по правде, у меня всю жизнь часто возникали в голове всякие трудноосуществимые желания и фантазии.

Одно время я, например, мечтал изобрести такой аппарат, с помощью которого можно было бы у любого человека на расстоянии отключить голос. По моим расчетам, этот аппарат (я его

назвал ТИХОФОН БЮ-1 — отключатель голоса по системе Баранкина) должен был действовать так: предположим, сегодня на уроке учитель рассказывает нам о чем-нибудь неинтересном и тем самым мешает мне, Баранкину, думать о чем-нибудь интересном; я щелкаю в кармане выключателем тихофона, и голос учителя исчезает. У кого такого аппарата нет, те продолжают слушать, а я в тишине спокойно занимаюсь своим делом.

Другой пример: я захожу утром в класс. Зинка Фокина налетает на меня и тут же начинает читать мне нотацию: я спокойно щелкаю в кармане рычажком и выключаю голос Фокиной на весь день...

Мне очень хотелось изобрести такой аппарат, но дальше названия почему-то дело не пошло, может быть, потому, что я не по-настоящему хотел изобрести такой аппарат?

Или вот в прошлом году, в последний день летних каникул, перед тем как лечь спать, мне, например, ужасно захотелось стать взрослым, но не через пятнадцать — двадцать лет, как становятся все нормальные люди, а завтра же. Скажем, так: спать ты ложишься еще мальчишкой, просыпаешься утром, смотришь — ты уже взрослый, с усами, и в школу идти не надо... Желание мое было ужасно сильным, я даже во сне только об этом и думал. Утром первого сентября я проснулся, конечно, пораньше. Смотрю — лежу в постели таким же, как уснул, без усов, и надо идти в школу...

Были у меня и другие сильные желания, но ни одно из них, конечно, не захватывало меня вот так, по-настоящему, как желание превратиться из человека в воробья!..

Я сидел на лавочке не шевелясь, не отвлекаясь, не размышляя ни о чем постороннем, и думал только об одном: «Как бы мне скорее превратиться в воробья». Я ждал наступления этого момента с такой силой, с какой не ждал даже начала летних каникул. А то, что во дворе с минуты на минуту должен был появиться Мишка Яковлев, только удесяттерило мои силы и намерения.

Сначала я сидел на лавочке просто так, как сидят все обыкновенные люди, и не чувствовал ничего особенного. В голову по-прежнему лезли всякие неприятные человеческие мысли: и про двойку, и про арифметику, и про Мишку Яковлева, но я старался обо всем этом не думать. Я считал, что если уж я решил твердо превратиться в воробья, то и думать надо только исключительно о чем-нибудь воробьином. Через некоторое время я заметил, что у меня в голове наконец-то вместо человеческих мыслей стали появляться и не человеческие. Так, например, мне внезапно захотелось немного пощебетать на воробьином языке.

Вслед за мыслями стали возникать сами по себе разные нечеловеческие желания и намерения: то мне хотелось вспорхнуть

с лавочки и немного полетать по воздуху, то посидеть на самой вершине березы, то немного пожить в скворечнике...

А когда я, по привычке, попробовал опять подумать о чем-нибудь человеческом, то у меня, к моему удивлению, на этот раз ничего не получилось. Арифметика мне показалась глупейшим занятием. Двойка почему-то вообще перестала меня расстраивать и потеряла всякое значение, а Мишка Яковлев стал мне представляться не знаменитым на всю школу отличником, а каким-то неуклюжим и несчастным существом, которое не умеет делать даже такой простой вещи, как летать по воздуху.

В это самое время у меня по ногам начали ползать мурашки. Они ползли все скорее и скорее. Потом побежали по спине, по рукам, по всему телу. Вдруг совершенно неожиданно мне захотелось поклевать овса. Да, да! Овса! Нечищенного, сырого овса! И чтобы он лежал на земле в пыли. И чтоб его было много, этого овса, очень много. В общем, столько, чтобы я мог наклеваться досыта.

Сижу я на лавочке с закрытыми глазами, по телу у меня мурашки, словно сумасшедшие, носятся, как ребята на большой перемене, а я сижу и думаю: «Интересно, что же означают эти мурашки и этот овес? Мурашки — это еще мне понятно, это я, наверное, ноги отсидел, а при чем здесь овес?»

Я даже мамину овсяную кашу на молоке с вареньем и ту ел дома всегда без всякого удовольствия. Почему же мне хочется сырого овса? Я ведь все-таки человек, а не лошадь! Сижу, думаю, гадаю, но ничего сам себе объяснить не могу, потому что глаза у меня плотно закрыты, и от этого в голове совершенно темно и неясно.

Тогда я подумал: «Уж не случилось ли со мной чего-нибудь такого...» — и поэтому я решил осмотреть себя с ног до головы...

Затаив дыхание я чуть-чуть приоткрыл глаза и первым делом взглянул на свои ноги. Смотрю — у меня вместо ног, одетых в ботинки, босые воробьиные лапы, и этими лапами я стою босиком на лавочке, как самый заправский воробей. Я открыл глаза пошире, смотрю — вместо рук у меня крылья. Открываю глаза еще больше, верчу головой, гляжу — сзади торчит хвост. Это что же получается! Получается, что я все-таки превратился в воробья!

— Я — воробей! Я больше не Баранкин! Я самый настоящий, самый что ни на есть воробейный воробей!

Так вот почему мне так вдруг захотелось овса: овес — любимое кушанье лошадей и воробьев! Все понятно! Нет, не все понятно! Это что же выходит? Значит, моя мама была права. Значит, если по-на-сто-я-ще-му захотеть, то можно действительно всего достичь и всего добиться!

Вот это открытие! О таком открытии стоит, пожалуй, прочи-

рикать на весь двор. Да что на весь двор — на весь город, даже на весь мир.

Я распустил свои крылья! Я выкатил грудь! Я повернулся в сторону Кости Малинина — и замер с разинутым клювом.

Мой друг Костя Малинин продолжал сидеть на лавочке, как самый обыкновенный человек... Косте не удалось превратиться в воробья!.. Вот тебе раз!

СОБЫТИЕ ДЕСЯТОЕ

ЧТО НА ВОРОБЬИНОМ ЯЗЫКЕ ОЗНАЧАЕТ...

Малинину не удалось превратиться в воробья!

Он пыжился, жмурился, все время ощупывал себя руками, чуть слышно шептал себе под нос: «Вот я! Вот я! Превращаюсь в воробья!» — и все безрезультатно. А еще торопил меня, а еще кричал на весь двор: «Давай скорее превращаться в воробьев! Давай быстрее! Давай сейчас же!» А сам как был Малининым, так и остался. Только покраснел как рак, и больше ничего.

— Малинин! — закричал я на Костю. — В чем дело? Почему ты не превращаешься в воробья?..

Но вместо этих слов из моего рта вылетело обыкновенное воробьиное чириканье: «Чик-чирик! Чьвит-чьвит! Чиу-чиу!»

Повернув голову, Костя посмотрел в мою сторону и с изумлением вытаращил глаза.

— Баранкин! — сказал он. — Это ты, Баранкин?..

— Чио! Чио! Чья! Чья! — ответил я ему по-воробьиному, что означало: «Конечно, я! Не узнаешь, что ли?!»

Убедившись, что я не вру и что я уже действительно не я, а самый настоящий воробей, Малинин покраснел еще больше — наверное, от зависти! — и чуть даже не разревелся.

— Как же это у тебя получилось? — спросил он, часто моргая глазами.

Я сказал:

— Чень-чень-чень! Чик-чик-чик!.. (Очень просто! Чик! Чик! Чик! И готово!)

Затем между мною и Костей произошел следующий разговор на разных языках:

К о с т я (со слезами на глазах). Значит, превратился! Вот здорово! А почему же я не превратился?

Я. Чирик! Чим-чирим! (Откуда я знаю!) Чирик-чиквить-чить! (Наверное, хотел не по-настоящему!)

К о с т я. Что ты на меня чвикаешь? Говори по-человечески!

Я. Р-р-р-рчик! Чуть-чуть-чьвим-чим! (Как же я могу говорить по-человечески, если я воробей!) Чепчик! Чи-чи-нип!

К о с т я. Еще «чепчиком» обзывает!

А я совсем его и не обзывал «чепчиком». Я ему сказал: «Не падай духом, Малинин! Еще раз попытайся».

Костя стал ругать меня за то, что я, не дожидаясь его, превратился в воробья, но я ему не стал ничего чирикать в ответ. Мне самому тоже было это неприятно. Уговаривались вместе превратиться в воробьев — и вот вам пожалуйста. Конечно, быть воробьем одному не так интересно, как вдвоем.

Я махнул крыльями. Взлетел. Уселся на заборе злой-презлой и повернулся спиной к Косте Малинину. И надо же было, чтобы в эту минуту на улице из-за угла показался на велосипеде Мишка Яковлев. Я схватился крыльями за голову. Все пропало! Теперь Малинин уж ни за что не успеет превратиться.

— Вот я! Вот я! Превращаюсь в воробья! — донесся до меня снизу голос Кости Малинина.

Не сводя глаз с Мишки Яковлева, я крикнул Косте с забора:

— Чим-чим-чим! Чер-чилим! Чер-чилим! Черес-чур! Черес-чур! (Поздно! Мишка на велосипеде едет! Сейчас он тебя учить-ся поведет!)

Сам чирикаю и вижу, как Мишка уже въехал во двор и к лавочке подъезжает, на которой сидит несчастный Костя Малинин, то есть не сидит, а должен был сидеть... Я говорю «должен был», потому что, когда Мишка Яковлев подрулил к лавочке, Кости на скамейке уже не было. Вместо Кости на скамейке стоял на полусогнутых лапах воробей, и, судя по всему, этот воробей был не воробей, а бывший Костя Малинин. Значит, пока я переживал и уже ни во что не верил, Костя Малинин взял и тоже превратился в воробья со второй, а может, и с третьей попытки. Впрочем, неважно, с какой попытки, важно, что превратился.

— Костя,— крикнул Мишка, слезая с велосипеда,— Малинин! Ты куда спрятался? Странно! По-моему, я его только что видел на лавочке. Конечно, видел. Вот его учебники и тетради!

Мишка собрал тетради и учебники и, не обращая никакого внимания на рядом сидящего воробья (который был вовсе не воробей, а Костя Малинин — вот смехота!), оглядел весь двор, потом посмотрел на наше окно, из которого показалась голова моей мамы.

— Здравствуй, Миша! — сказала мама.— А где же Юра и Костя?

— А я как раз хотел вас об этом спросить! — сказал Яковлев.— Учебники и лопаты на лавочке лежат, а их нет...

— Вот сорванцы! — сказала мама.— Наверное, на улицу убежали... Ты, Миша, заходи в комнату, они сейчас вернутся!

Мишка положил Костины учебники на седло и скрылся в подъезде, а я слетел с забора на лавочку к Косте Малинину.

— Ир-чик! Ир-чик! Чуть-чуть-чуть! — сказал я Косте. (Молодец, Малинин! Превратился все-таки!)

На что мне Костя прочирикал:

— Че-че-че? (Честное слово?)

— Че-че-че! — сказал я. — Чуф-чуф-чуф! Чи-чи-чи! (Честное слово! Открой глаза и увидишь!)

И Костя открыл свои голубые, как у девчонки, глаза... Глаза у него так и остались голубыми! Воробей с голубыми глазами! Здо́рово! Стоит на лапках, качается, хвостом сам себе равновесие помогает держать и от удивления все еще прийти в себя никак не может.

А я вытер крылом пот со лба и сказал:

— Все в порядке! (Ч-уфф!)

— Ч-уфф! (Все в порядке!) — сказал Костя Малинин и тоже вытер крылом лоб.

Мы обнялись и, подпрыгивая от радости, закружились по скамейке...

СОБЫТИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

ВСТРЕЧА С БЕСХВОСТЫМ

— Сейчас наедемся овса, — сказал я Косте Малинину, — и помчим-чим-ся! Полетим!

— Куда?

— Можно направо, можно налево. Раз мы с тобой превратились, то теперь все можно. — Я поднял крыло, отставил лапку и прочитал с выражением: — «Мы вольные пти-ти-ти-цы! Пора, брат, пора! Туда, где за морем белеет гора!..» Одним словом, куда захотим-тим, туда и поле-тим-тим! Вот какая жизнь!

Малинин засмеялся.

— Юр-чи-чик! — сказал он. — В воробья ты превратился, а клюв у тебя остался курносый. Чу-чу-деса!

— Врешь!

— Ни-чуть, ни-чуть!

— А у тебя глаза голубыми остались, как у дев-чон-ки! Чеп-чик!

Я спорхнул с лавочки к луже и стал смотреться в воду. Клюв у меня действительно остался курносый, и вообще я весь получился какой-то серый, и перья у меня топорщились во все стороны, и на лбу торчал хохолок... Костя Малинин выглядел совсем по-другому: у него была нарядная белая грудка с галстуком, сам он был весь чистенький, аккуратненький, с приглаженными перышками, как будто он только что из парикмахерской вылетел.

Впрочем, я ничуть не расстроился: я, когда был человеком, тоже не отличался особенной красотой и аккуратностью. Подумаешь, курносый так курносый. Взъерошенный так взъерошенный.

Не в этом дело. Дело в том, что я во-ро-бей и что теперь мне никто и ничто не может испортить моего замечательного воробьиного настроения. А настроение у меня было действительно замечательное! Еще бы! В голове совершенно пусто — ни забот, ни мыслей, ни тревог! И так будет весь день! Целый день-день-день-день! Ну и день-день-день! Вот так день-день-день! Заме-ча-чательный день! Че-че-рес-чур за-ме-ча-тельный.

Я напился дождевой воды и ударил крылом по своему отражению, обдав брызгами Костю Малинина, скакавшего по ту сторону лужицы.

— Костю-чок-чок-чок! Ну, как жизнь?

— Заме-ча-тельная! — чирикнул Малинин, брызгая в меня водой.

— А что я тебе говорил? А ты говорил: «Превратимся лучше в бабочек!» Давай искупаемся!

— Холодно. Давай лучше овес искать. Очень-чень есть хочется.

Найти овес на нашем дворе оказалось делом нелегким. Мне попадались и конопляные зернышки, и арбузные семечки, и семечки обыкновенные, а вот овса все не было.

— Ты че-чего дерешься! — услышал я вдруг за спиной Костин голос. — Юр-чик! Он у меня из хвоста перо выдернул! Хулиган какой!

Я оглянулся и увидел, что недалеко от меня Костю Малинина гоняет по траве здоровенный бесхвостый воробей.

— Я скачу, — затрещал Костя, подбегая вприпрыжку и прячась за мою спину, — вижу, в траве овес лежит, нагнулся — слышу, у меня из хвоста кто-то перо дергает! Хулиганство какое!

— Ты че-чего к маленьким пристаешь? — спросил я, подсккивая к здоровенному воробью. — Че-чего ты людям выходной день-день портишь?

— Я ни-че-че-го! А че-че-го этот птен-чик на мой овес разлетелся? На чу-чу-жой двор заявились да еще распоряжаются здесь! Что-то я вас здесь раньше никогда не замечал!

Я хотел по-хорошему объяснить воробью, почему он не мог нас раньше видеть на дворе, но верзила-воробей и не стал меня слушать. Он подскочил ко мне и, не говоря ни слова, ударил меня по-воробьиному крылом в грудь. Ударил. Отскочил. Ноги расставил и крылья для устрашения распустил.

Но я не растерялся. Я тоже распустил крылья веером, хвост — трубой, подскочил к верзиле нос к носу да ка-ак дам ему поднож-

ку! Обыкновенную человеческую подножку. Конечно, верзила-воробей не знал такого приема и, хотя он был выше меня на целую голову, свалился на траву как подкошенный. Лежит на лопатках, ноги кверху задрал и молчит и больше не задирается.

Он думал, наверно, что мы ему сейчас с Костей зададим хорошую взбучку. А мне этого воробья почему-то даже жалко стало.

— Эй ты, куцый! — сказал я. — Вставай! У нас лежачего не бьют! Можешь проваливать... впро-чем-чем, можешь и остаться! Мы тебя сейчас-час угостим овсом. Костя, где овес?

— Здесь, в траве. Вот ов-син-синки и вот ов-син-синки.

Но бесхвостый не обратил на мои слова никакого внимания. Он молча поднялся, отряхнулся и испуганно запрыгал прочь.

— Чеп-чик! — крикнул ему Малинин вслед, махая хвостом.

— Сам ты чеп-чик! — сказал я Косте, зажимая лапой золотистую овсинку. — Не мог без меня дать сда-чи!

Ко мне снова вернулось хорошее настроение. И Костя Малинин опять стал веселый-превеселый.

— А здорово ты его чеб-чеб-бурахнул! — сказал Костя, выгребая из травы зернышко овса.

У меня даже слюнки потекли от одного вида аппетитных овсинок. Я поточил клюв о камешек и еще крепче зажал зернышко лапой. Сейчас я эту овсинку раздолблю и съем... Сейчас!

— Кошка! — услышал я за спиной отчаянный голос Кости Малинина и обернулся...

СОБЫТИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

КОШКА МУСЬКА ХОЧЕТ МЕНЯ СЪЕСТЬ

Итак, я обернулся... Смотрю, Кости Малинина уже на земле нет, он уже на акации. Привесился к ветке вниз головой, крыльями машет и кричит как сумасшедший:

— Кошка! Сзади тебя кошка!

Я повернул голову в другую сторону. От мусорного сарая ко мне действительно приближалась кошка, обыкновенная кошка. Только я никак не мог понять, что было в этом ужасного и почему Костя устраивает такую панику, как будто на дворе появился тигр. Просто псих какой-то этот Малинин! Если бы я знал, что он будет таким нервным воробьем, я бы ни за что с ним не связывался.

— Юр-чик! Скорей улетай! — продолжал метаться на ветке Костя Малинин.

Кошка подошла поближе и остановилась. Я бочком подскочил к ней. И в этой незнакомой кошке сразу же узнал любимую мамин-

ну кошку Муську. Когда я еще сидел на лавочке как человек, она спрыгнула с подоконника, подошла ко мне и стала тереться о мою ногу, а я ее прогнал, чтобы она не мешала мне думать.

— Здорóво, Муська! — чирикнул я обрадованно. — Чу-чу-чужь, кто я такой, или нет?.. Ты что, не узнаешь своего хозяина, что ли?.. Да ты не бойся, подойди поближе, я тебя не съем! Это же я! Вот чу-чу-дачка! А вон на дереве Костя Малинин. Тоже не узнаешь? Костя, не бойся, лети сюда! Это наша Муська!

— Ты с ума сошел! — снова затрещал на акации Малинин. — Она же тебя съест!

— Меня? Своего хозяина? Это ты с ума сошел!

Не успел я закончить фразу, как сзади на меня обрушилось что-то урчащее, тяжелое и подмяло под себя. «Муська!» — успел подумать я и рванулся изо всех сил в сторону и вверх по направлению к акации, на ветках которой продолжал чокать и трещать Малинин. Я летел, как камень из рогатки. Я чуть не сбил с дерева своего лучшего друга. Хорошо, что он удержался. Тем временем я тоже успел зацепиться за ветку. С ветки акации я взглянул вниз. Муська водила хвостом по траве, продолжая урчать.

В воздухе медленно, как рыбки в аквариуме, плавали выдранные из моего бока маленькие перышки.

— Полу-чи-чил! Полу-чи-чил! — продолжал злорадно трещать Костя Малинин.

— Ниче-че-го не понимаю, — чирикнул я. — Такая знакомая кошка... Можно сказать, родная...

— «Родная, знакомая»... Скажи спасибо, что вывернулся...

— Баранкин перед кошками никогда не отступал!

— Храбрый какой! Расчи-чи-рикался: «Иди сюда, я тебя не съем, чу-дач-ка!» Сам чу-чу-дак! Ты забыл, что ли, что кошки едят воробьев?

— Да нет, — сказал я, — просто я еще не привык к тому, что я воробей!

— «Не привык»! А почему же я сразу привык? — сказал Костя и добавил: — Вот съела бы тебя твоя родная Муська, что бы я твоей матери сказал?

Я представил на секунду, что было бы, если бы мне действительно не удалось вырваться из Муськиных лап, и мне стало не по себе. Откровенно говоря, я просто испугался, хотя опасность миновала и бояться было уже нечего, но перья у меня все равно зашевелились и встали дыбом.

— Что это с тобой? — спросил меня Костя. — Ты какой-то чу-чу-чумовой!

— Да так... Жарко! — сказал я, обмахиваясь одним крылом.

Костя опять начал ругать меня, а я взял и сунул голову под крыло, но в это время кто-то ткнул меня чем-то острым в бок...

СОБЫТИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

О ЧЕМ ЧИРИКАЮТ БАБУШКИ

Я выглянул из-под крыла и увидел сидящего рядом со мной старого, облезлого воробья.

— Ты, птен-чик желторотый,— сказал мне старый воробей,— я тут все время за тобой с березы наблюдал. Ты что, вообще дурачок-чок-чок или только притворяешься?

— А что вам от меня надо?

— Ты не груби старшим.

— Я не грублю. Это у меня такой голос.

Чтобы отвязаться от старика, я снова спрятал голову под крыло, но старик опять пребольно клюнул меня в шею.

— Слушай, когда с тобой разговаривают старшие! Чти взрослых! Чти-чти-чти! Не чуф-чуф... не чуфырься.

— А я не чу-фырюсь!

— А что это ты про кошек чирикал? Какие могут быть у воробья знакомые кошки? Ах вы, птенч-птенч-птенчики! И чему только учат вас родители?

Старик закатил глаза и стал чирикать о том, какие в его времена были прилежные и послушные воробьята, какие они все были умные, как они не чуфырились, а теперь все чуфырятся.

Стоило превращаться в воробьев, чтобы выслушивать эту чеп-чеп-чепуховую нотацию. Да у нас по вечерам старухи как усядутся вместе на лавочке, только об этом и чирикают, то есть разговаривают.

— Вы чьи дети? Чьи вы? Чьи вы? — спросил меня старик.

— Ничьи! Ничьи! — сказал я, срываясь с ветки.

— «Чуфырься, не чуфырься»! — сказал Костя, работая крыльями.— Чок-чок-чокнутый какой-то!

Мы закружились над нашим двором, выбирая дерево, не занятое воробьями. Хотя я и сам был воробей, но мне почему-то вдруг захотелось держаться от них подальше. Знакомство с бесхвостым и со стариком произвело на меня не совсем приятное впечатление. А больше всего меня расстраивало вот что: с той минуты, как мы превратились с Костей в воробьев, прошло, наверное, уже полчаса, а наша воробьиная жизнь все как-то не налаживалась, и вообще все шло совсем не так, как я ожидал. Время идет... Завтра, между прочим, снова в школу...

Косте Малинину я, конечно, ничего не сказал. В конце концов, впереди еще целый день — жизнь наладится, и все будет хорошо. Главное, не надо отчаиваться и терять надежды.

Покружив в воздухе, мы опустились с Костей на дерево. На дереве не было ни одного воробья.

Ветка, на которую мы уселись, выходила на солнечную сторону. Солнце пригревало, как летом.

С удовольствием втянув голову в плечи, я уже собирался спрятать ее под крыло, как вдруг у меня над ухом что-то противно свистнуло. Раздался щелчок. Посыпались листья. Ну что еще такое? В чем дело? Я открыл глаза и посмотрел вниз.

СОБЫТИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

ДАЛЬНОБОЙНАЯ РОГАТКА С ОПТИЧЕСКИМ ПРИЦЕЛОМ

Возле лавочки, на которой мы еще недавно сидели с Костей Малининым, стоял мой сосед по квартире, белобрысый Венька Смирнов, и отвратительно шурился. В руках у него была рогатка с оптическим прицелом. Рогатку я узнал сразу. Никто лучше меня не делал таких дальнобойных рогаток. Венькину рогатку тоже смастерил я по его личной просьбе.

Венька смотрел на меня в оптический прибор. Я смотрел на Веньку. На Венькином лице было написано: «Не попал! А жаль!..» Так... Мало того что меня чуть-чуть не слопала кошка, теперь в меня стреляют из рогатки, сделанной моими же руками!

— Ну, подожди, Венька! — чирикнул я с дерева. — Подожди, белобрысый! Когда я опять превращусь в че-че-ловека, я тебе покажу, как стрелять в меня из рогатки!

Не обращая никакого внимания на мое чириканье, Венька нагнулся и стал искать камень. Мы с Костей переглянулись и, не сговариваясь, одновременно рванули с дерева. Я решил улететь подальше от нашего двора, подальше от кошки Муськи, от белобрысого Веньки с рогаткой, от этих драчливых и негостеприимных воробьев. Мы пролетали один двор за другим. С высоты нашего птичьего полета оказалось, что в нашем городе кошек было гораздо больше, чем я предполагал, когда был человеком. Мальчишек с рогатками тоже было много. Это открытие меня расстроило. Из своего небольшого воробьиного опыта я уже успел понять, что любое знакомство с рогаткой или кошкой может окончиться очень плохо для воробьев. Малинин тоже меня стал почему-то ужасно раздражать. Тащится где-то там, в хвосте, отстают все время и вообще летит с таким видом, как будто он мне одолжение делает.

— Че-че-го ты все время отстаешь? — не выдержал я и напустился на Костю: — Гянушка противная!

— Я устал!

— «Устал»!.. Че-че-тыре квартала пролетели, а он уже устал!

— Я не лететь устал. Я устал быть воробьем!

— Подумаешь! Полчаса всего как воробей — и уже устал! А как же воробьи бывают всю жизнь воробьями?! Знал бы, не связывался с тобой!

Я высмотрел сверху небольшой сквер и спланировал вниз.

— Можешь отдыхать! — сказал я Косте, когда он следом за мной плюхнулся на ветку.

Костя приподнял крыло и уже хотел спрятать голову под мышку, но вдруг над нами раздался голос:

— Вот они где, бездельники! Я их послала за соломой, а они греются на солнце! Хороши сыночки!..

СОБЫТИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА СЫНОВЬЯ ОТРЕКАЮТСЯ ОТ СВОЕЙ МАТЕРИ

Я взглянул вверх и увидел толстую воробиху, свесившуюся с соседней ветки. Это она назвала нас своими сыночками.

— А почему вы молчите, почему вы ничего не от-ве-ча-ча-чаете своей мамочке?

— Ниче-го не понимаю! — шепнул мне Костя. — Почему она называет себя нашей мамочкой?

— А че-че-го тут непонятного? Наверное, она приняла нас за своих птенцов.

— А мы что, похожи?

— Откуда я знаю...

— По-чему вы пря-че-тесь от своей мамо-чки? — продолжала щебетать воробиха. — Не бойтесь! Летите сюда. Так и быть, на этот раз я вам ничего не сделаю.

— А может, мы действительно похожи на ее сыновей?

— Может, и дей-стви-тви-тельно!

— Этого еще не хватало! Извините, гражданка! — сказал Костя. — Мы ни от кого не пря-чем-ся, а вас мы вообще видим в первый раз!

— Это что еще за «гражданка»? — заверещала воробиха. — Воробьи добрые, вы только послушайте, как он называет свою мамо-чку!

Воробьи, сидевшие целой стаей на соседнем дереве, громко возмутились, а толстая воробиха так разозлилась, что даже клюнула Костю Малинина в шею.

Костя заорал.

— Те-теч-ка! — вступился я за своего друга. — Че-че-стное слово, мы не ваши дети. Ну, че-че-стное-прече-честное!

— Глядите, воробьи добрые, и этот не хо-чет признавать свою

мамо-чку,— затрещала воробья, подскакивая на ветке и взмахивая крылышками.

Воробьи стали ругать нас с Костей еще громче, а наша «мамочка» задала нам такую трепку, что из нас с Костей пух полетел, как из подушек... Пришлось нам с Малининым взять свои слова обратно и назвать воробья «мамочкой».

— То-то! — мгновенно успокоилась воробья.— А теперь, сыночки, летим! Учи-читься вить-вить гнездо!

— Как — учи-чи-ться? — закричали мы с Костей в один голос.

СОБЫТИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

МЫ С КОСТЕЙ УЧИМСЯ ВИТЬ ГНЕЗДО

— Вы что, все позабыли, что ли? — сказала воробья.— Вчера мамочка у-чила вас, как нужно вить-вить гнездо, а сегодня будете вить-вить сами!

— Интересное дело! — чирикнул тихо Костя.— По-чему ты мне не сказал, что воробьи тоже у-чатся?

— А откуда я мог это знать?

— А за-чем ты говорил, что у воробьев заме-чательная жизнь?

— Это же не я, это Нина Николаевна говорила,— соврал я.— Вот привязался!

— В общем, ты как хочешь, а я лично не буду у-читься вить-вить гнездо! — прочирикал Костя.

— Кто сказал, что не хо-чет у-читься вить-вить гнездо? — спросила грозно воробья, подлетая к нам с Костей.

— Это не он сказал, это я сказал! — чирикнул я, загораживая Костю, и добавил: — А драться, по-моему, не педаго-ги-чно!

— Что! Ты где это таких слов нахватался?

Воробья изо всех сил клюнула меня в спину и погнала нас вместе с Костей на соседнее дерево, где были заготовлены впрок соломинки, конский волос и другие стройматериалы.

— Зна-чи-чит, гнездо вьется так... — защебетала воробья.— В клюв берется соломинка и сворачив-чивается в ко-леч-ко... Ну-ка, повторите, сыночки!

— В клюв берется соломинка,— прочирикали мы с Костей хором,— и сворачивается в ко-леч-ко...

Урок начался. Мы с Костей, не глядя друг на друга, с отвращением взяли в рот по соломинке.

«Интересно, бывают у воробьев на уроках перемены?..» — подумал я с тоской, сворачивая соломинку в колечко так, как учила нас толстая воробья.

— За-тем, зна-чит!..— продолжала щебетать воробьях, ловко укладывая соломинки и приминая их грудью.— За-тем, зна-чит!..

Но что делается «затем», мы так и не узнали, потому что в эту минуту к нам свалился с неба прямо на голову толстый рыжий воробей. Ветка, на которой мы сидели, так и закачалась под его тяжестью.

— Папо-чка прилетел! Чиканька наш! Чика! Чика! Чика! — обрадовалась воробьях, приседая и раскачивая ветку еще сильнее.

Мы раскрыли с Костей от удивления клювы и выронили соломинки и устали на рыжего воробья Чику, который, по словам толстой воробьяхи, был нам с Костей родным папочкой...

СОБЫТИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

ДРАКА ЗА СКВОРЕЧНИК

— Скорей, сыно-чки! Скорей, воробьятки! — затрещал рыжий дяденька-воробей, похлопывая себя крыльями по толстым ножкам и бокам.— Стрижи улетают на юг! Освобождается скворечник-чник. Чудесный сквореч-чник!

— Настоящий сквореч-чник-чник! — зачирикала радостно воробьях.— Моя меч-та! Меч-та! Меч-та!

— Да-да! Скворечник! Надо только успеть занять. Боюсь, придется подраться! Скорей в путь-путь-путь! Летим-тим-тим!

— Ле-тим-тим-тим! — подхватил я, решив, что уж лучше драться за скворечник, чем учиться вить гнездо.

— А может, не надо драться... Может, лучше поучим-чим-ся вить-вить гнездо! — пискнул Костя Малинин.

— Хвост не дорос старших учить! Хотел бы я видеть, что ты запоешь зимой, когда будет холодно!

— Вот именно! — поддакнул я рыжему воробью.

Воробей сорвался с ветки, столкнул крылом меня и Костю и, отчаянно чирикавая, рванулся вперед, показывая нам направление. Воробьях пристроилась сзади, и, как только мы начинали с Костей отставать, она тут же своим острым клювом подгоняла нас и поддавала нам жару.

— Чур-чур, не отставать! Чур-чур! Вперед! Вперед! Чур-чур! — трещал рыжий воробей, то и дело оглядываясь.

— Ладно, Юрка, я тебе этого никогда не забуду! — сказал мне Костя на лету.— Если уж ты на всю жизнь решил остаться воробьем, и оставайся и дерись за свой скворечник. А я лично не буду. Вот выберу момент и сбегу! Улечу, и все!

— Тише, чудак! Все дело испортишь! Сейчас от этого рыжего все равно подобра-поздорову не отвяжешься!

— Что же делать? У меня уже сил больше нет быть воробьем!

— Что делать? Сбежим по дороге! Жди сигнала! С Баранкиным не пропадешь!

— Не пропадешь? Как же! С тобой как раз, того и гляди, пропадешь! — простонал Костя Малинин.

И он оказался прав. Мы действительно с ним чуть-чуть не пропали, и все из-за меня. И зачем я только согласился драться за этот скворечник?!

Сбежать по дороге нам, конечно, не удалось. Рыжий воробей и воробья все время внимательно следили за нами и не давали отстать ни на шаг. Дело оборачивалось хуже, чем я предполагал. Если мы ввяжемся против своего желания в драку, то я-то, может быть, и вывернусь, а уж Косте наверняка несдобровать. Он и на земле не приспособлен к драке, а тем более с воробьями, да еще в воздухе.

Не успел я подумать об этом, как вдруг неожиданно рядом послышалось отчаянное чириканье, и мы всей «семьей» врезались в стаю воробьев, дерущихся в каком-то незнакомом саду за тот самый скворечник, о котором мечтали наши «родители».

Я даже не знаю, как это получилось, но мы с Костей внезапно очутились в самой гуще боя, сразу же потеряв из виду своих «родителей». Справа, слева, сверху и снизу, отчаянно чирикаая, кружились совершенно чужие и незнакомые нам воробьи.

Хорошо, что Костя Малинин догадался вцепиться клювом в мой хвост, а то бы мы наверняка потеряли друг друга в этой суматохе.

Тащить Костю на буксире и отбиваться было, конечно, трудновато, но я довольно ловко увертывался от налетающих на меня воробьев, осыпая их всякими угрозами и проклятиями. Хорошо, что я совсем недавно прочитал книжку о фигурах высшего пилотажа. В этом воробьином бою все это мне очень здорово пригодились...

Я взмывал вверх по всем правилам, падал на крыло, взлетал свечкой, входил в штопор, и наконец-то на бреющем полете мне удалось выйти из воробьиного окружения. Костя, увидев, что опасность миновала, отцепился от моего хвоста, и мы вместе что есть духу пустились из последних сил наутек от этих проклятущих воробьев.

— Бей их чем-чем-чем попало! — раздались вдруг за нашими спинами воробьиные голоса.

Я оглянулся и увидел, как от дерущихся птиц отделились четыре воробья и сыпанули за нами вслед...

СОБЫТИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

КОСТЯ МАЛИНИН «НАЧИРИКАЛСЯ»

— Кон-чится это когда-нибудь или нет? — простонал Малинин, прибавляя ходу.

— Вот эти громче всех чирикали! — крикнул кто-то сзади. Преследующие нас воробьи стали заходить нам в хвост.

— Ребята! Да ч-то вы! Мы же только чи-рика-ли! — оправдывался я на лету.

— А за-чем-чем прилетели?

— Ни за чем. Так просто — посмотреть!

— Посмотреть? Вот мы сей-час вам покажем!.. Сейчас мы из вас пустим пух!

Воробьи стали нагонять нас, и, вероятней всего, они задали бы нам взбучку и пустили бы из нас пух, если бы я не применил на лету один остроумный боевой прием, который у летчиков называется «бочкой». Выбрав удобный момент, я подпустил преследователей к себе поближе, потом совершенно неожиданно перевернулся в воздухе на спину и лягнул одного из нападающих на меня воробьев ногами — воробей отлетел в сторону и шмякнулся в забор.

— Ага! — закричал я страшным голосом. — Барр-ран-кин в воздухе! Берегись!

Я лягнул другого — и другой отлетел. Так я летел, и орал, и брыкался до тех пор, пока не разбросал в разные стороны всех преследователей. Противники, не имевшие, конечно, никакого понятия о высшем пилотаже, опешили, совершенно растерялись и стали отставать, отставать...

Пользуясь замешательством воробьев, мы, прибавив ходу, скрылись за деревьями и в изнеможении свалились на первую попавшуюся крышу. От меня валил пар, а сердце прыгало, как крышка на кипящем чайнике.

— Кончено! — сказал Костя, еле переводя дух. — Ты как хочешь, а я лично на-чи-рикался! Все!

Малинин стукнул клювом по крыше и стал из последних сил ругать меня за то, что я все ему наврал с три короба про замечательную жизнь воробьев.

— А еще целый месяц наблюдал за ними... — сказал Малинин, передразнивая мой голос: — «У них жизнь без забот! У них жизнь без хлопот»!..

— А что я, виноват, — сказал я, — если мне так показалось?.. А Костя Малинин сказал:

— Я говорил, что нам надо было сразу в бабочек превратиться. Бабочки и гнезд не вьют, и кошки их не едят, и питаются

они не овсом, а сладким нектаром. Ох, и вкусная, наверное, штука!..

Я промолчал. В жизни бабочек Костя Малинин, конечно, гораздо лучше меня разбирался. У него одно время даже была их целая коллекция, только он ее променял на марки. Вероятно, Костя был прав, и нам действительно следовало сразу же превратиться в бабочек. Заманчиво, конечно, целый день порхать с цветка на цветок и все время есть сладкое...

И все же, прежде чем начать превращаться в бабочек, я хотел расспросить Костю поподробнее об их жизни. А то как бы нам не напороться во второй раз...

— А помнишь, нам Нина Николаевна рассказывала, — сказал я, — что бабочки опыляют цветки...

— Ну и пусть опыляют себе! — сказал Костя. — А мы с тобой не будем! Дураков нет!

Несмотря на то что в Костином ответе была своя железная логика, я все-таки решил задать еще один вопрос.

— А как у бабочек в смысле учебы? — спросил я. — Может, они тоже чему-нибудь учатся?

— Ты еще долго мне будешь вопросы задавать? Вон уже кошки появились! — заорал на меня как очумелый Костя Малинин.

Я думал, он меня разыгрывает. Смотрю — из чердачного окна действительно вылезли три кошки, перемазанные углем, и уставились на нас с Костей. Две из них мне были совершенно незнакомы, а третья была наша Муська. Видно, она все-таки окончательно решила меня съесть. Рассуждать больше было некогда.

— К перепревращению в бабочек приготовились! — командовал я лихорадочным шепотом.

— Приготовились! — отозвался Малинин.

— На-чали! — сказал я.

— Как — на-чали? — сказал Костя Малинин. — А чего говорить? Какие слова?

Действительно, я совсем и забыл, что мое старое воробьиное заклинание совсем не годится для нового превращения в бабочек.

— Сейчас! — сказал я. — Сейчас! Сейчас переделаю...

— Скорей переделывай! — заорал Костя.

— Готово! — сказал я. — Повторяй за мной!.. «Не хочу быть воробьем! Хочу быть бабочкой!.. То есть мотыльком!..»

Я уверен, без забот
Мотылек живет!
Вот я! Вот я!
Превращаюсь в мотылька!

— Нескладно получается! — сказал Костя, глядя в ужасе на приближающихся кошек.

— Вот очутишься в животе у кошки,— сказал я,— тогда складно получится! Повторяй скорее!

И Костя Малинин, закрыв от страха глаза, стал сыпать скороговоркой слова моего нескладного волшебного заклинания, обгоняя меня на каждом слове:

Я уверен, без забот
Мотылек живет!..

«Только бы успеть! — подумал я.— Только бы успеть превратиться до того, как нас сцапают кошки!..» Это была последняя мысль, мелькнувшая в моей измученной воробьиной голове, разрывавшейся от забот, тревог, ужаса и волнений...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Я — КАПУСТНИК И КОСТЯ — МАХАОН

СОБЫТИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

ВРЕДИТЕЛЬ, ИЗВЕСТНЫЙ НАСЕЛЕНИЮ

Пока мы с Костей Малининым шептали наперегонки слова заклинания и сосредоточивались, кошки во главе с нашей Муськой тоже не теряли даром времени. Осторожно ступая на лапы, они подкрадывались к нам все ближе.

«Ладно, Муська,— мелькнуло у меня в голове,— если я останусь в живых, я с тобой дома рассчитаюсь!»

Больше о кошках я решил не думать, так как это мне мешало превращаться в бабочку. Теперь я все свое внимание сосредоточил на цветах, на жизни, в которой не надо вить гнезд или драться за скворечники, а нужно только порхать с цветка на цветок, греться на солнце и есть один сладкий нектар, но вместо этого мне, как назло, в голову все время лез проклятый овес и перед глазами продолжали мелькать воробьи, кошки, Венька с рогаткой и всякая подобная чепуха из моей воробьиной жизни.

Я расстроился, открыл глаза и увидел, что расстояние между мною и кошками значительно сократилось, а я как был проклятым воробьем, так им и остался. Тогда я расстроился еще сильнее и решил больше не закрывать глаза — будь что будет!

Сделав еще несколько шагов, кошки вдруг остановились и стали о чем-то между собой фыркать и мяукать.

«Совещаются, кому кого есть, — подумал я, — делят двух воробьев на трех кошек. Ну и пусть... Теперь уж я наверняка не успею превратиться в бабочку...» На всякий случай я еще несколько раз мысленно произнес волшебное заклинание:

Я уверен, без забот
Мотылек живет!
Вот я! Вот я!
Превращаюсь в мотылька!

Тем временем кошки разделились: одна стала подкрадываться к Косте, а Муська со своей подругой направились ко мне. «Вот хитрюга! Знает, что она одна со мной все равно не справится... И что я ей такого сделал, — подумал я, не сводя глаз с Муськи, — только один раз чернилами облил, и то нечаянно...»

В трех шагах от меня Муська и ее помощница замерли на месте. Они присели, выгнули спины трамвайной дугой и заурчали. Царапая железную крышу когтями, приготовились к прыжку. «Собираются прыгать! Значит, мы с Костей не превратились в бабочек, — подумал я. — Не успели! Значит, все пропало!.. Мне стало холодно. По телу побежали мурашки. Очевидно, это были последние мурашки в моей жизни... Я уже хотел крикнуть: «Прощай, Малинин! Извини, что я втянул тебя в такую историю!»

Но здесь с кошками случилось что-то непонятное: они выпучили глаза, фыркнули и, вместо того чтобы прыгнуть вперед, изо всех сил прыгнули в обратную сторону от нас. Шерсть у кошек поднялась дыбом; покрутив очумело головами, все вместе еще раз подскочили на месте и дунули в чердачное окно.

Они исчезли так быстро и неожиданно, словно позади нас с Костей увидели огромную собаку. Я оглянулся — никакой собаки сзади не было. Зато я увидел бабочкины крылья, которые торчали за моей спиной, как два паруса.

Так вот почему кошки так испугались: на их глазах из съедобного воробья я превратился в несъедобную бабочку! Успел все-таки! Вот здорово! Я в восторге пошевелил маленькими треугольными крыльями и повернулся к Косте Малинину, чтобы поделиться с ним своей радостью, но от неожиданности вытаращил глаза. Рядом со мной, на том самом месте, где несколько минут назад лежал пластом и чуть слышно чирикал полуживой

воробей Малинин, теперь сидела прекрасная бабочка с огромными треугольными крыльями какого-то сказочного черно-зеленого цвета. Такой красивой бабочки я еще никогда не видел, даже на картинках в книжке.

Не может же быть, что Малинину Косте удалось превратиться в такое красивое насекомое. Нет, эта бабочка безусловно настоящая бабочка — сразу видно. А если это самая настоящая бабочка, то где же тогда мой лучший друг Малинин?.. Уж не свалился ли он от страха с крыши на мостовую? Я посмотрел вниз. А может быть, Костю в суматохе незаметно для меня все-таки успела сцапать кошка? Я посмотрел в чердачное окно. А может быть, он испугался кошек и перелетел на соседнее дерево? Я повернулся и стал разглядывать растущий рядом с домом тополь.

— Чего ты крутишься, как на уроке? — спросила меня вдруг сказочно красивая бабочка голосом самого обыкновенного Кости Малинина.

Я уставился на бабочку и спросил не своим от волнения голосом:

— А ты кто такая?

— Не кто такая, а кто такой!

— А кто ты такой?

— Да ты что, Баранкин, ты нарочно не узнаешь меня, что ли?

— Малинин, это ты?

— А то кто же! Не узнал?

— Да, попробуй тебя узнай! Вот это превратился так превратился! А я уж испугался, думал, с тобой что случилось.

— Как же! Держи карман шире! — сказал Малинин, разводя крыльями и поднимая вокруг себя ветер.

Я даже не мог отвести от Кости глаз, такой он был необычный.

— Костя, — сказал я, — как же ты называешься?

— Как я называюсь? Очень просто!.. Сейчас вспомню. Крылья у меня сверху черно-зеленые?

— Черно-зеленые.

— А с обратной стороны?

— Коричневато-черные.

— С золотыми точками?

— С точками... И еще на каждом крыле по половине луны и по целой радуге.

— Все ясно! Я превратился в махаона из семейства парусников,

— А я?

— А ты превратился в этого... Ну-ка, повернись!

Я повернулся. Малинин критически осмотрел меня с ног до головы.

— Так...— сказал он.— Крылья у тебя маленькие, желтенькие с черными пятнышками. Понятно. Ты превратился в этого... во вредителя.

— В какого вредителя?

— В огородного, известного населению под названием капустник из семейства белянок...

— Вот тебе раз! — возмутился я.— А почему я превратился в капустника, а ты — в махаона?

— «Почему, почему»! Откуда я знаю! Наверное, потому, что махаоны водятся на Дальнем Востоке, а я жил три года в Хабаровске. А ты водишься в средней полосе России.

— А это точно?

— Точно! У меня же коллекция была! Я все породы бабочек знаю... Я — махаон, а ты — вредитель...

— «Вредитель»! От тебя очень много пользы! Если хочешь знать, так капустником быть даже лучше, чем махаоном.

— Это почему же?

— Потому что... потому что... у тебя крылья расфуфыренные, как у девчонки. Мне, например, с такими крыльями было бы просто стыдно появиться среди ребят... то есть среди мотыльков.

— Стыдно — и появляйся на своих!

— И появлюсь!

Я взлетел над крышей и сделал пробный круг возле чердачного окна. Крылья у меня были, конечно, не такие удобные и прочные, как у воробья, но летать на них было удивительно приятно.

Летишь и все время проваливаешься в какие-то воздушные ямы. Проваливаешься и летишь. И от этого в животе у тебя дух захватывает и такое ощущение, как будто ты на лету от радости умираешь. И поэтому тебе просто как девчонке хочется громко сказать или «ух!», или «ах!», или «ох!». Или просто завизжать от радости!

А впереди тебя ждет сладкий нектар! Амброзия, можно сказать! И новые воздушные ямы! И это удивительное ощущение, от которого в животе дух-ух-ух захватывает!.. И сознание, что все это, вместе взятое, будет продолжаться, сколько мы с Костей захотим.

И какая при этом разница, кто ты такой — безвредный махаон или вредный капустник? В конце концов, это люди знают, кто из бабочек кто, а сами бабочки в бабочках все равно не разбираются.

А если это все так, то — ух! ах! ох! — молодец Малинин, что надоумил меня стать бабочкой.

В это время ко мне как раз подлетел мой лучший друг Костя — махаон — Малинин, и мы стали с ним качаться в воздухе на каких-то невидимых качелях.

— Ну как? — спросил меня Костя, слетая вниз.

— Порядок! — ответил я, взлетая вверх. — Только есть очень хочется.

— Ну, это дело поправимое, — сказал Малинин. — Ух, сейчас я тебя угощу нектаром. Нектар пить — это тебе не овес кле-вать! Это, брат, знаешь какая вкусная штука!.. Лапки оближешь! Летим скорее!

— Летим! — сказал я. — Во весь дух-ух-ух летим!

— Летим, — сказал Костя. — Во весь дух-ух-ух! Выдох — вдох-ох-ох! Крылом мах-ах-ах! Словно пу-ух-ух! Во весь дух-ух-ух!..

СОБЫТИЕ ДВАДЦАТОЕ

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»

Мы с Костей сделали еще один прощальный разворот над чердаком и уже хотели лететь за нектаром, как вдруг Костя Малинин заметил на стене дома маленькую желтенькую бабочку. Она сидела под железным желобом, вцепившись лапками в кирпичную стенку, сложив крылья как прочитанную книгу.

— Настоящая! — сказал Костя Малинин. — Не то что мы с тобой! Привет бабочкам! — крикнул он, помахав в воздухе лапкой. — Это крушинница.

— Ну и пусть! — сказал я. — Давай скорее — летим за нектаром!

— Подожди! Надо с ней познакомиться!

— Вот не было печали! Эх ты, девчатник!

— Здравствуйте, бабочка! — сказал Костя Малинин, цепляясь за стенку рядом с крушинницей.

— Костя-махаон — девчатник! Костя-махаон — девчатник! — стал дразнить я Малинина, летая над самой его головой.

— Привет крушинницам! — сказал Костя, поднимая в знак приветствия вверх обе лапки.

— Позор девчатникам! — сказал я.

Костя еще раз поздоровался с бабочкой, но она продолжала сидеть молча и неподвижно, не обращая на Малинина никакого внимания.

— Ух и воображает из себя! — сказал я. — Так тебе и надо.

— Да нет, она не воображает, — сказал Костя, внимательно разглядывая крушинницу. — Она спит! Конечно, спит!

— Спящая красавица! Понятно. Проснитесь, спящая красавица! С вами хочет познакомиться сам Костя-махаон из семейства парусников!

Я сел рядом с бабочкой и потормошил ее лапкой.

— Бесполезно! — сказал Костя. — Теперь ее из пушки не разбудишь. Она ведь на всю зиму уснула.

— Почему это — на всю зиму?

— Потому что у них, у бабочек, такой закон природы!

— Чего ты врешь, Малинин, какой это еще закон природы?

— Да честное слово! Все бабочки осенью умирают или засыпают до самой весны. У них даже расписание есть, когда кому засыпать.

— Подожди, а как же мы с тобой? — встревожился я.

— Что — мы?

— Мы с тобой тоже бабочки, значит, мы тоже заснем по расписанию?

— Вообще-то раз мы бабочки, значит, тоже, наверное, должны уснуть... когда-нибудь.

Меня это «открытие» просто ошеломило.

— Так зачем же мы тогда с тобой превращались в бабочек? Если мы каждую минуту можем заснуть, да еще на всю зиму! Мы же на один день только превратились, а уснем вдруг — и каникулы зимние проспим. Эх, Малинин, Малинин!

— Чего ты орешь? — сказал Костя. — Тебе же пока спать не хочется?

— Нет еще.

— Ну и летим за нектаром, а там будет видно.

— Что значит «там будет видно»? А если я усну на лету и проснусь только весной, превращусь в человека, а на экзаменах что буду делать? По всем предметам двоек нахватаю из-за тебя.

— Подумаешь, — сказал Костя, — дома его спать не уложишь, а здесь он, видите ли, боится на лету уснуть. Не бойся, не уснешь. Я отвечаю!

— Не усну?

— Конечно, не уснешь. Осенью засыпают какие бабочки? Обыкновенные. А мы с тобой бабочки необыкновенные.

— А какие же мы?

— Мы с тобой человекообразные бабочки, вот какие! — заорал на меня Малинин.

— Ну и что? — заорал я на Костю.

— А то, что на человекообразных бабочек этот закон природы, может быть, не распространяется!

— Может быть, не распространяется, а может быть, и распространяется!

Я хотел еще немного поругать Костю Малинина за его легко-

мыслие и особенно за то, что он имел коллекцию бабочек, а скрыл от меня такой ужасный закон природы, но в это время над нами, шумя крыльями, пролетел воробей и тут же вернулся обратно. При виде воробья Малинин почему-то сразу перестал на меня орать, съежился и полез прятаться под крышу.

Воробей прицепился к стенке недалеко от меня и нацелился на меня одним глазом. Лицо воробья показалось мне почему-то очень знакомым. Когда он повернулся ко мне боком, я увидел, что у воробья нет хвоста. Теперь я его узнал сразу: это был тот самый куцый воробей, с которым я подрался на дворе из-за овса.

— Здорово, чепчик! — крикнул я своему старому знакомому. — Ты на меня не сердишься?

— Баранкин, прячься сейчас же! — услышал я за спиной Костин голос. — Он тебя склюет!

— Кто это меня склюет? Баранкин перед воробьями никогда... — Не успел я окончить фразу, как выскочивший из-под крыши Малинин схватил меня за лапу и утащил под железный желоб.

В эту же секунду бесхвостый воробей оказался на моем месте. Обнаружив мое исчезновение, он повертел во все стороны головой, подобрался к спящей крушиннице, внимательно ее осмотрел, клюнул, моментально проглотил и полетел как ни в чем не бывало дальше. Я посмотрел из-под крыши вслед улетающему воробью, потом уставился на Малинина.

— Я тебя забыл предупредить, Баранкин, — сказал Костя виноватым голосом, — что настоящие воробьи очень любят есть бабочек, так что ты не очень-то старайся попадаться им на глаза...

Мне, конечно, очень хотелось высказать Косте все, что я думал в эту минуту и о нем, и о жизни бабочек, но я молча сложил лапы на груди и сдержался. В конце концов, я не Малинин, это он расхныкался, когда устал быть воробьем. А я Баранкин! Уж если я превратился в бабочку, то я все трудности и всякие нечеловеческие мучения буду переживать молча, как настоящий мужчина. Тем более, что у меня и сил-то не было ругаться с Малининым, так мне хотелось есть в эту минуту.

СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

КЕПКА-ЗЕНИТКА

Подождав, пока воробей улетит подальше, мы с Костей осторожно вылетели из-под крыши и направились за нектаром к видневшейся внизу клумбе с цветами. Я, конечно, по-прежнему

проваливался на лету в воздушные ямы, но уже того ощущения, что я умираю от радости, у меня почему-то не было. И «ухать» мне что-то вдруг расхотелось.

— Птицы только вверху опасны,— сказал Малинин,— а к земле чем ближе, тем безопаснее. В крайнем случае, увидишь воробья — маскируйся.

«Маскируйся»! А если, пока я буду есть нектар, меня самого съедят, тогда что?..» Меня так и подмывало задать этот вопрос Малинину, но я снова сдержался и промолчал. Цветов на клумбе было очень много — и красных, и белых, и синих,— и от всех шел такой чудесный нектарный запах, как от маминого печенья на кухне.

У меня от одного запаха нектара слюнки потекли и даже голова закружилась. Я уже не слушал, что говорит мне Костя. Я самостоятельно выбрал самый большой цветок и закружился над ним, выбирая место для посадки.

— Дави его! — раздался внезапно за моей спиной чей-то пронзительный голос.

Я перевернулся в воздухе и увидел недалеко двух мальчишек с лопатками; они размахивали кепками и бежали по направлению ко мне, громко топая ногами.

— Это непарный шелкопряд! Дави! Я его знаю! — крикнул один из них и, заложив пальцы в рот, оглушительно свистнул.

Так как я, по словам Кости, был капустник и к непарному шелкопряду не имел никакого отношения, то я не обратил на крики ребят никакого внимания. Я опять спокойно перевернулся в воздухе и снова закружился над тем самым большим цветком, от которого так вкусно пахло нектаром. В это время сзади меня накрыла огромная тень, что-то свистнуло возле крыла и сильным толчком воздуха бросило на землю.

— Ур-ра! Сбили! — закричал один из мальчишек, закружив кепку над головой.

Голос этого мальчишки мне показался знакомым.

— Нет, не сбили! — сказал другой мальчишка.— Он спрятался среди цветов! Ищи!..

И второго мальчишки голос мне тоже показался знакомым. Я присмотрелся получше к истребителям непарных шелкопрядов и узнал в них своих одноклассников — Веньку Смирнова, того самого Веньку, что стрелял в нас с Костей из рогатки, когда мы были еще воробьями, и Генку Коромыслова, Венькиного прихлебателя.

«Ладно, Венька! — подумал я.— Твое счастье, что я сейчас бабочка, а то бы я рассчитался с тобой за все!»

Тем временем Венька и Генка стали рыскать по траве и искать меня среди цветов. Но я не растерялся. Я, как только упал на землю, сразу же сложил крылья вместе и сделал вид, что я не бабочка, а сухой березовый листик. Ребята топтались рядом со мной, один из них даже отшвырнул меня носком ботинка. Подождав, когда они повернутся ко мне спиной, я подпрыгнул на крыльях и взлетел.

— Вот он! — заорали истребители непарных шелкопрядов, но было уже поздно.

Я уже взмыл высоко в воздух и совершенно неожиданно оказался рядом с Малининым.

— Я тебе кричу: «Улетай!» — завопил на меня перепуганный Костя, — а ты в цветок лезешь!

— Так ведь они кричали: «Дави шелкопряда!» — а ты сказал, что я капустник!

— Больно эти оболтусы в бабочках разбираются! — сказал Костя, опускаясь на электрические часы, висевшие на столбе над клумбой.

Я посмотрел, который час, и почесал лапкой затылок. На часах было уже ровно двенадцать, а наша жизнь опять шла совсем не так, как ее расписывал Костя Малинин. Есть хотелось все больше и больше, а Венька с Генкой так и не отходили от клумбы. Они подмигивали мне, махали руками, кивали головой и терпеливо ждали, когда я снова спущусь на клумбу. Как же, нашли дурака! Я думал, что им все-таки надоест ждать и они уйдут, и тогда уж мы с Костей наедемся нектара, но эти лоботрясы стали опять свистеть, размахивать кепками и называть меня всякими обидными именами и прозвищами.

— От вредителей слышу! — крикнул я, разозлившись. — Зинка Фокина вас в саду на воскресник ждет, а вы здесь с бабочками прохлаждаетесь!

После этого Генка запустил в нас кепкой, а Венька полез на столб и сорвался.

— Здесь не позавтракаешь! — сказал Костя так, словно он знал, о чем я в эту минуту думаю.

СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ

ПРОЩАЙТЕ, РЕБЯТА! МОЖЕТ, БОЛЬШЕ НЕ УВИДИМСЯ...

— Знаешь что, — сказал я Косте, — давай лучше слетаем на какой-нибудь огород. Там сейчас хорошо, все поспело, и репа, и морковь, и капуста! И цветы там есть. И народу не так много.

— Эх ты, капустник ты несчастный...— сказал Костя Малинин.— Да с тобой сейчас нельзя лететь ни на какой огород.

— Это почему это?

— Потому что сейчас на всех огородах таких вредителей, как ты, травят.

— Чем травят?

— Чем? Разными химическими ядами...

После таких слов у меня просто крылья опустились и перед глазами поплыли какие-то разноцветные круги.

— Что же это получается? — возмутился я.— На улице, того и гляди, крылья оборвут, в огороде травят, в небе воробьи клюют... Для чего же мы превращались в бабочек? Чтобы с голодудохнуть?

— Ладно, Баранкин,— сказал Костя,— не расстраивайся. Угощу я тебя нектаром! Полетели!

— Куда полетели?

— В школьный сад!

— Там же ребята деревья сажают!

— Вот и хорошо! Мы там нектара в цветнике наедемся, и заодно с нашими ребятами увидимся.

Костя Малинин сказал это так, словно он очень соскучился по нашему классу.

— В школу так в школу! — сказал я.— И ребята знакомые! Может, не тронут...

Мне, правда, и самому тоже почему-то захотелось увидеться с ребятами. Я даже не знаю почему. И, хотя в эту минуту мне вообще-то больше всего на свете хотелось есть, мне вдруг гораздо больше захотелось просто пролететь мимо нашей школы, мимо родного класса, с которым у меня было связано столько замечательных воспоминаний!.. Кто сказал «замечательных»? Кто сказал «мимо родного класса»? Неужели это сказал я, Баранкин? Что это со мной происходит? Я, кажется, начинаю уже сходить с ума от этого голода.

Чтобы прийти в себя, я взял и встряхнулся, как собака после купания.

И правильно сделал, потому что после встряхивания мои жалобные мысли, как брызги, разлетелись в разные стороны и мне сразу же стало легче. И теперь я мог думать о встрече мужественно, без всяких переживаний, не то что Костя Малинин. У него, как только он заговорил о ребятах, глаза сделались какие-то большие-пребольшие и, по-моему, даже мокрые-премокрые.

— Там и позавтракаем,— сказал грустно Костя.

— И пообедаем, и поужинаем,— сказал я бодрым голосом, чувствуя, что одного завтрака мне будет маловато.

Спорхнув с часов, мы наперегонки полетели к школьному саду.

Первый раз в жизни мы мчались в школу с Костей Малининым с такой скоростью, с какой обычно спешим из школы домой. Я, конечно, был уверен, что прилечу в сад первым. Каково же было мое удивление, когда я сразу же отстал от Малинина на три дома. Я сначала даже не поверил своим глазам. У нас в классе Костя считался самым слабосильным парнем, а со мной на уроках физкультуры даже никто не пытался тягаться. Уж по физкультуре у меня в дневнике всегда была пятерка. Только моя мать почему-то никогда не считала эту пятерку настоящей. Я решил поднажать и замахал своими желтыми треугольниками как сумасшедший, но и это не помогло ни капельки. На своих расфуфыренных крыльях Костя-махаон на этот раз летел как по линейке, рассекая крыльями воздух и поднимая вокруг себя какой-то художественный свист, а я все время, как и раньше, проваливался в те же воздушные ямы, шатался из стороны в сторону, кувыркался и беззвучно падал то на одно крыло, то на другое.

Заметив, что я отстал, Костя Малинин, к моему стыду, вернулся обратно и сказал мне, Баранкину, первому силачу в классе, слова, которые я не забуду никогда в жизни: «Эй ты, капустник! Ты не можешь лететь побыстрее? Что ты все время отстаешь?» Сказав это, он назло мне опять легко обогнал меня, потом опять вернулся, опять обогнал, крикнул: «Баранкин! Ты что летишь, как пирог с капустой! Жми на все педали! Нектар близко!» Этих слов я Малинину тоже никогда не забуду.

Когда он, загребая своими крыльями, как веслами, еще раз пролетел, торжествуя, надо мной, я взял и схватил его за задние лапы и таким образом прицепился к Малинину на буксир. Убедившись, что я больше от него не отстаю, Костя перестал осыпать меня всякими ядовитыми словечками, и, как ни пробовал от меня оторваться, теперь у него из этого ничего не получалось.

— Что-то тяжело лететь стало! — сказал Костя. — Выдох — вдох-ох-ох-ох!

— А по-моему, лететь стало гораздо легче! — сказал я и подумал про себя: «Пусть Костя поработает за двоих, раз у него такие крылья. Я же таскал его на своем хвосте, когда был воробьем, теперь могу и отдохнуть немного».

Сложив крылья, я скользил по воздуху вслед за Малининым, наслаждаясь художественным свистом Костиных крыльев и для вида изредка помахивая своими равнобедренными треугольниками. Так, на буксире, Костя доставил меня до самой школы, до того места, где в саду наш класс сажал деревья.

— Тормози! — крикнул я Косте, когда он, пыхтя, перетянул меня через верхушку дерева и потащил мимо ограды к кирпичному зданию нашей школы.

Опустившись на один из подоконников на высоте третьего этажа, мы подползли к самому краю и посмотрели вниз. В саду кипела работа. Одни ребята, весело переговариваясь, копали ямки, другие бережно опускали в землю саженцы и поливали их из леек водой. Костя Сергеев нарочно перемазался весь землей и строил всякие рожи. И все смеялись. Все были довольны! И всем было хорошо!

— Ну и пусть работают! — сказал Костя. — Они работают, а мы будем есть нектар. Если бы они узнали, что мы сейчас будем есть настоящий нектар, они бы нам наверняка позавидовали...

— Кому это — нам? — спросил я.

— Нам, бабочкам... — сказал Костя Малинин неуверенным голосом.

Я вспомнил «спящую красавицу», которую склевал бесхвостый воробей, прислушался к урчанию в своем голодном желудке, посмотрел с ненавистью на воробьев, шныряющих в школьном саду, и сказал:

— Да уж, конечно. Они бы нам позавидовали... — Я сказал это без всякого энтузиазма, отвернулся от ребят и увидел, как в школьные ворота влетели на велосипеде Мишка Яковлев и Алик Новиков (он сидел на багажнике).

Что-то громко крича, они подкатили прямо к Зинке Фокиной и, соскочив на землю, стали о чем-то рассказывать ей и окружившим ее ребятам. В саду наступила тишина. Никто внизу больше не смеялся, не шутил, а Костя Сергеев даже вытер платком с лица землю и перестал кривляться.

— Что-нибудь случилось, — сказал Костя.

Я промолчал. Мишка и Алик, поговорив со старостой нашего класса, снова сели на велосипед и укатили. Зинка Фокина посмотрела из-под руки им вслед, затем подозвала к себе еще троих наших ребят, отобрала у них лопаты и дала какое-то задание.

Ребята выбежали на улицу и разошлись в разные стороны.

— Ищут кого-то... — сказал Малинин.

— Не кого-то, а нас с тобой! — сказал я Косте.

— Ну и пусть! — сказал Костя. — Они будут искать, а мы будем есть нектар. Полетели!

Я промолчал. Есть, конечно, хотелось все сильнее и сильнее, и нектар был близок... Но воробьи тоже были совсем рядом, и их чириканье совершенно отбивало у меня всякий аппетит.

«Как бы они нас все-таки не склевали с Костей...» — подумал я, глядя на воробьев, шныряющих среди клумб с цветами. Подумал я об одном, а сказал, конечно, совсем другое.

— Летим! — сказал я громко и решительно и добавил тихо про себя: «Прощайте, ребята! Если нас с Костей склюют воробьи, то мы, наверное, больше никогда не увидимся!..

Нацелившись на клумбу с цветами, я распустил крылья и прыгнул ласточкой с подоконника вниз, словно с купальной вышки в холодную воду...

СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

ПРОТИВОЧИХАТЕЛЬНАЯ ПРИВИВКА

В воздухе от цветов опять запахло вкусным нектаром, словно в кухне от маминого печенья. Я сложил крылья, нацелился в середину самого большого цветка и нырнул в него вниз головой, но промахнулся (неудивительно!) и воткнулся в траву по самые пятки своих задних лап. Пришлось выбираться из травы и начинать все сначала.

На этот раз я забрался на цветок по стеблю и запустил хоботок в самую середину цветка, туда, где, по моим расчетам, должен был находиться нектар. Однако долгожданного нектара в цветке не оказалось. Запах нектара был, а самого нектара не было. Пахло хорошо, точь-в-точь как в мамином пустом флакончике из-под духов, а поживиться было нечем. Тогда я взял и забрался в цветок прямо с головой, так что у меня наружу только одни крылья и ноги торчали, стал шарить в темноте хоботком по стенкам, но в это время из цветка кто-то полез мне навстречу.

Я решил, что это какая-нибудь посторонняя бабочка успела раньше меня забраться в цветок и слопать весь нектар. От одной этой мысли меня прямо зло разобрало. Ты из-за этого нектара, можно сказать, жизнью рискуешь, а у тебя его из-под самого носа слизывают. Я взял и боднул бабочку головой. Бабочка угрожающе загудела и боднула меня, затем она уперлась своей головой в мою голову и выдавила меня из цветка наружу, как зубную пасту из тюбика. Я со злости ударил крыльями по тычинкам с такой силой, что цветочная пыльца поднялась столбом и окутала меня, словно облаком. Я от этой пыльцы чуть не задохнулся.

— Ладно, бабочка, — сказал я, разгоняя крыльями пыльцу, — только появись на свет, я тебе все лапы... А-а-п-чхи!!! Я тебе покажу, как чужой нектар... А-а-п-чхи!..

Пока я чихал, смотрю — из цветка вылезает... только не бабочка, а пчела, самая настоящая пчела, вся полосатая, словно она в пижаме. Вылезла это она из цветка и уставилась на меня своими буркалами. Она на меня смотрит, а я сижу на краю цветка и чихаю на нее и, главное, удержаться никак не могу. А пчела, видно, так растерялась, что даже гудеть перестала. Я чихаю, а она лапой утирается, я чихаю, а она утирается и молчит. Раз десять я,



наверное, на пчелу чихнул, не меньше, а потом опомнился и даже в ужас пришел. «Баранкин,— сказал я сам себе,— на кого ты чихаешь, Баранкин? Ты на пчелу чихаешь, несчастный капустаник... Вот она сейчас тебе...апчхи!.. как сделает противочихательную прививку, тогда ты будешь знать... как чихать на пчёл!.. Тебя ведь, когда ты был человеком, кусали один раз пчелы, так что ты... апчхи!.. знаешь, чем это пахнет!..»

«Знаю!» — ответил я сам себе и, как сидел на краю цветка, так и повалился навзничь в траву.

Перевернувшись несколько раз через голову и смотав поскорее свой пустой хоботок, я выровнял над самой травой полет и стал улепетывать от пчелы в кусты, подальше от цветочных клумб, через дорожку, за деревья, туда, где среди стволов мелькало что-то пестрое, похожее на крылья Кости Малинина.

Я думал, что Малинин позорно бросил меня одного посреди клумбы: оказывается, его в кусты тоже загнала пчела, она и сейчас все еще металась за ним и что-то грозно гудела на своем пчелином языке.

«Так ему и надо! — подумал я, наблюдая, как пчела усердно гоняется за Костей.— Жалко, что пчела только одна. Я бы сейчас сам напустил на Малинина еще штук сто пчел, чтобы он в следующий раз не болтал языком и не вводил никого в заблуждение. «Будем порхать с цветка на цветок!.. Во весь дух! Крылом мах! Словно пух-ух-ух! Нектара наедемся!..» Вот и пусть сейчас его пчела угостит таким «нектаром», чтоб ему в другой раз не захотелось больше превращаться в бабочку... Апчхи!»

— Спасите! — закричал в это время Малинин.— Баранкин! Где ты? Ой, мама!

Мне хотелось, чтобы пчела подольше погонялась за Костей и как следует его проучила, но, когда он закричал, да еще таким жалобным голосом, мне его даже жалко стало. И потом я вспомнил, что Малинин не человек, а бабочка. Его пчела ужалит, а он возьмет и заболеет или, того хуже, умрет от пчелиного яда. Что я с ним тогда буду делать?.. Я ведь не знаю, как бабочки переносят укусы пчел, а может быть, они их вообще не переносят...

Схватив в лапы легонький сучок, я подлетел к пчеле сзади и изо всех сил ударил ее по голове. Оглушенная ударом, пчела свалилась в кусты, а у меня от голода потемнело в глазах, и я, кренясь на один бок, стал падать в траву...

СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ...

НО В ДЕЙСТВИЕ ВСТУПАЕТ УЖАСНЫЙ ЗАКОН ПРИРОДЫ

Когда я открыл глаза, я увидел, что лежу на берегу большой лужи, а возле меня сидит мой лучший друг Малинин и обмахивает меня своими расписными крыльями.

Вообще-то я не знаю, для чего это я открыл глаза. Мне открывать их совсем не хотелось. И ухать мне больше тоже не хотелось. И охать не хотелось. И ахать не хотелось. И желание визжать от радости тоже пропало. А с чего тут визжать-то? В носу все время эта проклятая пыльца свербит... Ап-чхи!.. И в животе совершенно куда-то исчезло это ощущение, что ты умираешь от радости... Ап-чхи!.. То есть ощущение, что ты умираешь от чего-то, осталось, только вот от чего?.. Наверное, от голода... Все куда-то исчезло. Только одно замирание духа осталось. Дух у меня все время продолжал замирать. И замирал он почему-то все больше и больше. Вот сейчас замрет совсем... и все... Ап-чхи!.. Даже чихать и то сил нет...

— Ты чего лежишь, Баранкин? — спросил меня Костя.

— Захотелось полежать, вот и лежу, — сказал я. — Ап-чхи!.. Да что такое, никак не могу прочихаться.

— Простыл, что ли? — спросил Малинин.

— Не простыл, — сказал я, — а наухахохался...

Малинин как-то печально-печально покачал головой, сделал выдох — вдох-ох-ох и сказал:

— А знаешь, где еще можно поесть нектар?

— Иди ты со своим нектаром знаешь куда... Ап-чхи!.. — Я смерил Малинина презрительным взглядом с ног до головы и чуть не расхохотался.

Он сидел на берегу лужи, весь перемазанный цветочной пылью, одно крыло у него торчало торчком, а другое повисло, как ухо у собаки. И вид у него был такой несчастный-пренесчастный, что мне его опять стало ужасно жалко, но на этот раз я взял себя в руки.

Собрав последние силы, я пополз молча к луже и стал с наслаждением пить из нее обыкновенную дождевую воду. Малинин попробовал еще раз заговорить со мной, но я теперь на все его вопросы отвечал презрительным молчанием. Я решил с ним вообще больше никогда в жизни не разговаривать.

Я демонстративно пил из лужи сырую воду (это вместо обещанного нектара!) и размышлял. Неужели я все-таки ошибся? Да нет, не может же быть, чтобы на земле не было такой жизни, о которой я мечтал там, на лавочке во дворе. Есть такая жизнь, и я ее во что бы то ни стало найду! Просто мы с Малининым Костей, очевидно, не там ее искали. Конечно, наше превращение в бабочек

и воробьев было ошибкой. Теперь-то уж это было совершенно ясно. Их жизнь выглядела только со стороны прекрасной, а на самом деле она оказалась просто невыносимой. Но почему? Я молча пил воду, думал, думал и решил, что такой жизни, о которой мы мечтали с Костей, наверное, вообще на земле нет...

В это время мимо меня пробежал по берегу лужи муравей. Муравей то бежал, то останавливался, а я смотрел на него и продолжал мучительно думать: «...Если такой жизни нет на земле, то, может быть, она есть **Т А М**, под землей, и если от всяких хлопот и забот нельзя улететь, так, может, от них можно просто взять и спрятаться, взять и скрыться от них, предположим, в том же муравейнике...»

Я проводил взглядом муравья и с сомнением покачал головой. Спрятаться в муравейнике, конечно, можно, а как быть с муравьями? Они же, можно сказать, знаменитые работяги. Сколько я ни наблюдал за ними, никогда я не видел, чтобы муравьи просто сидели бы на месте и ничего не делали. Все время они или куда-то бегут, или откуда-то возвращаются и всегда с собой тащат или какой-нибудь листик, или комочек земли, или хвойную иголку... И на муравейник как ни посмотришь, все время они его ремонтируют, с утра до вечера...

Вот так превратишься в муравьев, а они возьмут и заставят вместе с ними пыхтеть на строительстве... Нет уж, если и рискнуть еще раз, то превратиться в кого-нибудь другого, только не в муравья!.. А в кого? В кого же все-таки нужно превратиться так, чтобы опять не влопаться в эти ужасные перепалки и передраги, из которых мы с Костей еле ноги унесли? В кого же надо превратиться? В кого?..

И тут я вдруг неожиданно вспомнил, как в тот злополучный день на общем собрании Алик Новиков почему-то обозвал нас трутнями! Тру-тня-ми! Минуточку! Минуточку! А что такое трутни? А трутни — это, между прочим, и есть такие существа, которые ведут такую жизнь, о которой мы мечтали с Костей на лавочке! И не «кажется», а абсолютно точно! Совершенно даже определено! Поэтому они и называются тру-тня-ми! А если все это так, тогда почему же мы превращались в воробьев и в бабочек? Вот дураки! Какие же мы с Костей были беспросветные дураки!

— Малинин! — закричал я (когда я понял нашу ошибку, я, конечно, сразу же перестал сердиться на Костю и решил тотчас же поделиться с ним своим открытием). — Малинин! — закричал я. — Ох и дураки мы с тобой, Малинин!

— Конечно, дураки! — согласился со мной охотно Малинин. — Особенно ты, Баранкин!..

— Да я-то, я просто круглый идиот, Малинин! И как это мне сразу в голову не пришло!.. Сколько зря времени потеряли!

— Вот именно! — отозвался Костя.

— И зачем нам надо было превращаться с тобой в воробьев и бабочек?

— Вот я тебя и хочу об этом спросить, Баранкин! — сказал Малинин. — Зачем нам надо было с тобой превращаться в бабочек и воробьев?

— Когда нам надо было сразу же превратиться в трутней!

— Как в трутней? Почему — в трутней? — закричал Костя Малинин испуганным голосом.

— Потому — в трутней, что трутни потому и называются трутнями, что они в жизни ничего не делают или делают только то, что им захочется! А мы с тобой на лавочке как раз об этом и мечтали!

— Знаешь, Баранкин! — сказал Малинин каким-то противным голосом. — Я из-за тебя уже столько истратил сил на то, чтобы ничего не делать, что уж лучше бы я все время что-нибудь делал!

— Малинин! — закричал я. — Но ведь я тоже не меньше твоего на это сил потратил! А теперь мы превратимся в трутней и от всего этого и отдохнем!

— Как — превратимся! — завопил Костя Малинин. — Опять превратимся?.. Ну знаешь, Баранкин! Хватит с меня, Баранкин! Я и так за эти два раза напревращался по горло!

— Костенька! Так ведь те же два раза не в счет! Раз не в того, в кого надо, превращались, значит, не считается ведь!

— Почему это — не считается?

— Потому что надо же нам в конце концов превратиться в того, в кого надо было превратиться... А превратиться-то нам надо было в трутней!..

— Да в каких трутней?.. — спросил Костя вдруг каким-то спокойным и даже безразличным тоном.

— Ну что ты? — сказал я. — Что ты, не знаешь, что ли, какие бывают из себя трутни?

— Не знаю я, какие из себя бывают трутни, — ответил Малинин, почему-то потягиваясь и зевая.

— Ну что ты, Костя, — сказал я растерянно, — ты должен знать, какие бывают они из себя...

— Почему это я должен?.. А ты сам-то, Баранкин, знаешь?..

Я хотел по инерции закричать, что я, конечно, знаю, какие трутни бывают из себя, но поперхнулся и ничего не сказал, потому что, честно говоря, я... не имел ни малейшего представления о том, как выглядят эти самые изумительные трутни, в которых нам дав-

но бы следовало превратиться с Костей Малининым! Вместо этого я произнес совсем другое.

— Ну что ты, Малинин,— сказал я,— помнишь, нам Нина Николаевна рассказывала про трутней и рисунки показывала...

— Не помню,— сказал Малинин,— и ты не можешь помнить...

— Это почему?

— Потому что на этом уроке мы с тобой вместе изобретали новый язык...

Это правда, на том уроке мы с Костей действительно оба не слушали Нину Николаевну: в это время мы изобретали новый язык. Задача была трудная, нужно было изобрести такой язык, который на всем земном шаре понимали бы только два человека — я и Костя Малинин. Ясно, что нам было не до Нины Николаевны и не до трутней...

— Подожди, Малинин,— сказал я,— но ты же иногда посматривал на доску?

— Ну и что?

— Так, может, ты хоть случайно запомнил, как выглядят эти трутни?..

— Ничего я не запомнил,— сказал Малинин, снова потягиваясь и зевая.

— А ты, может, мне это нарочно говоришь, чтоб не превращаться в трутней?

— Да честное слово!!!

Это был ужасный удар. Ни я, ни Малинин не имели ни малейшего представления о том, как выглядят трутни, в которых нам следовало превратиться...

Это что же получается? Значит, перепревращение отменяется?! Значит, перепревращение не состоится?! А как же ОНО может состояться, Баранкин, если ты не представляешь, как выглядит ТО, во ЧТО ты должен перевоплотиться! И зачем только я на том уроке занимался посторонним делом! Эх, Баранкин, Баранкин! Нину Николаевну надо было слушать, а не новый язык изобретать!

— Тру... тру... тру...— вдруг ни с того ни с сего забормотал Малинин себе под нос.— Вспомнил, вспомнил... Пчелки такие маленькие... с кры... с кры... с кры...

С этими словами Малинин как-то странно закачался и стал валиться на бок.

— С кры... с кры... с кры... с крыльями! — подхватил я.— Правильно, Малинин!

Вспомнил! Теперь и я тоже вспомнил рисунок трутней, что висел на доске в нашем классе... Это были пчелы, такие маленькие пчелы нашего, мужского, как говорится, рода с небольшими прозрачными крылышками...

Все!!! Вот теперь наконец-то мы отдохнем с Костей по-настоящему, как полагается! Отдохнем от всего на свете. Все надежды, весь мой энтузиазм и даже впустую растраченные силы — все, все вернулось ко мне!

— Вставай, Малинин! — закричал я на Костю. — Нечего тебе тут разлеживаться! Работать надо! — сказал я, подразумевая под словом «работать» то самое единственно необходимое, единственно правильное, единственно недурное превращение в трутней, которое предстояло нам сейчас совершить. — Вставай же, Малинин! — завопил я не своим голосом, весь дрожа от нетерпения и желания пополнить Костиной и моей персоной ряды трутней на земном шаре.

Однако мои радостные крики почему-то не произвели на Костю никакого впечатления.

Малинин, все еще продолжая лежать на боку, что-то забормотал мне в ответ, но я не понял ни одного слова.

— Что ты говоришь? — спросил я его.

— Хр-ры... — сказал Костя.

— Костя, да что с тобой? — закричал я на Малинина изо всех сил и стал трясти его за лапку. — Ты что?.. Ты притворяешься, что спишь, что ли? Значит, не хочешь все-таки превращаться в трутней! Ну и черт с тобой! Я и один могу!

— Хр-ры! — отозвался Малинин и тут же начал чуть слышно бормотать такую чепуху, что я сразу понял: Костя не притворяется, он спит!

Костя Малинин спит! Он уснул. Вспомнил про трутней и уснул в последний момент! Уснул в такую минуту! Перед таким превращением! Уснул по всем ужасным правилам и законам природы, по которым осенью засыпают все настоящие бабочки... Уснул и даже не предупредил меня, а еще говорил, что этот «закон» на нас, на человекообразных бабочек, не распространяется, а сам взял и уснул, как та самая «спящая красавица», которую склевал воробей... Хорошо, что поблизости нет воробьев... Нет! Пока нет, а долго ли им появиться? Надо будить Костю Малинина, скорее будить... Будить, пока не поздно, пока не появились проклятые воробьи!

Я теребил Костю за лапы, я толкал его в бок, я дергал его за крылья, но все было напрасно — Костя Малинин не просыпался. Мне стало не по себе.

— Костя! — заорал я. — Проснись сейчас же! Слышишь? Или мы с тобой на всю жизнь поссоримся!

— Хр-р-ры... — сказал Костя Малинин.

«Если он заснул как человек, то я его, конечно, разбужу, — подумал я, — а если он заснул, как бабочка, до самой весны, да еще по расписанию, то я... то я... его все равно разбужу! Я должен его разбудить во что бы то ни стало! Надо ему... Что ему надо?..

Нет, надо его!.. Что его надо?.. Знаю!.. Надо его облить водой!..»

Я слетел с камушка к луже и стал набирать через хоботок воду и тут услышал приближающиеся из-за кустов голоса ребят из нашего класса...

СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ,

ТАКАЯ БАБОЧКА, КАК Я, У НИХ В КОЛЛЕКЦИИ ЕСТЬ

— Несправедливо! — сказал Костя Семенов, появляясь из-за куста.— Мы здесь все работаем, а Баранкин с Малининым где-нибудь в кино сидят...

Все зашумели, а я подумал про себя: «Вам бы такую картину показать, какую мы с Костей видели!..»

— Правильно говорит Семенов! — сказала Вера Большова.— Если работать, так всем, а не работать, так тоже всем...

— Баранкин с Малининым сбежали, а Смирнов и Пенкин вообще не явились! — сказал Семенов.

«Вот еще не вовремя приперлись сюда,— подумал я, прячась за кустик травы.— Интересно, долго они собираются здесь торчать или нет?..»

— Да выгнать этого Баранкина из школы, и все! — закричала Эрка не своим голосом.— Хватит с ним нянчиться!..

— Куда его выгнать? — сказала Фокина.— На улицу, что ли?

— Почему — на улицу? — ответила Кузякина.— Перевести в триста пятнадцатую школу...

— А почему в триста пятнадцатую? — спросил Костя Семенов.

— Потому что мы с этой школой соревнуемся... Вот и пусть Баранкин там получает двойки! Нам это будет даже выгодно!..

— Значит, ты, Эра, предлагаешь перевести в другую школу Юрины двойки? — сказала Фокина.— А что с Баранкиным делать?

— Ладно, вы тут разбирайтесь, а мы пошли газировку пить! — сказал Костя Семенов.

— Надоело про этого Баранкина слушать,— добавил Валя Череваткин.— Пошли.

— Юннатов прошу остаться! — сказала Фокина.

Ребята ушли, а девчонки расселись на полянке вокруг Зинки Фокиной, хихикая и о чем-то переговариваясь между собой.

— Тише, девочки! — сказала Зинка Фокина, раскрывая толстую книгу.— Не отвлекайтесь, пожалуйста! Темой нашего сегодняшнего занятия являются...

— Бабочки! Бабочки! — заверещали девчонки все вместе, размахивая сачками.

— Правильно! Бабочки! — подтвердила Зинка и стала листать книгу.

Бабочки? Это что значит? Это значит... Я и Костя — тема сегодняшнего занятия... Ну, знаете! Я чуть было не поперхнулся той самой водой, которой собрался опрыскивать Костю Малинина. Вот тебе раз!.. Теперь мне понятно, зачем эти юннатики-лунатики с собой сачки притащили: чтобы ловить нас, бабочек. Пожалуй, в таких условиях будить Костю даже опасно... Я выпустил из хоботка воду. Проснется еще, крыльями как замахнет спросонок, а девчонки его тут цап-царап... Что же с ним делать? Вот задача! Спрятать его, что ли?.. Вон клочок газеты. Взять и прикрыть его бумагой, чтоб никто не видел... Я вцепился в клочок газеты и стал тащить его в сторону Кости Малинина.

Зинка Фокина поправила очки, откашлялась и стала читать ужасно противным голосом:

— «Бабочки — одно из интереснейших явлений в мире насекомых...»

Я остановился на минуту, чтобы передохнуть, и с новыми силами поволок обрывок газеты через дорожку (самое опасное место! Как бы не заметили!). Перетащив бумагу через дорожку, я залез в траву и оглянулся. Все было как будто бы в порядке. Костя Малинин продолжал как ни в чем не бывало храпеть во сне. Девчонки сидели смирно. Фокина продолжала бубнить:

— ...Большое значение бабочки имеют и для хозяйственной деятельности человека...»

— Ой, Зиночка! Бабочка! Бабочка! — закричала вдруг одна из юннатов нечеловеческим голосом.

Я повернулся на голос и замер.

— Где? Где бабочка? Какая бабочка? — загалдели сразу все девчонки.

— Да вот же! Возле лужицы в траве! Неужели вы не видите?!

Зинка Фокина закрыла книгу, впилась в траву глазами и насторожилась, как собака-ищейка. Я от ужаса просто вспотел.

«Все пропало! — мелькнуло у меня в голове. — Кого-то из нас заметили! Но кого? Меня или Костю?.. Только не Костю, только бы не Костю!..»

Наступила тишина. Я стоял как дурак возле клочка газеты, утирая лапой пот со лба, и глядел на девчонок. Мне казалось, что они все смотрели на Костю Малинина, а я стоял как дурак и смотрел на них (а что я еще мог делать?).

— Так, — сказала Фокина, поправляя очки и глядя куда-то

в мою сторону, — капустница из семейства белянок. Не обращайтесь внимания, девочки! Такая бабочка у нас в коллекции есть!.. — Она снова уткнула свой нос в книгу, а я от радости даже разозлился.

«У них в коллекции есть такая бабочка, как я!.. Как же!.. Держите карман шире! Юннатики-лунатики!»

Я сделал лапой «нос» девчонкам, которые после слов Фокиной сразу же потеряли ко мне всякий интерес. Впрочем, теперь мне это было на руку, теперь я мог, не привлекая к себе внимания, в два счета загородить Костю клочком газеты от глаз девчонок.

На счет «раз» я подтащил бумажный клочок к Косте, на счет «два» я стал поднимать клочок на ребро. Но взявшийся неизвестно откуда ветер вырвал бумагу из моих лап и понес над травой.

— Ой, Зиночка! — снова заверещала одна из юннатов, как будто ее змея ужалила. — Вы только посмотрите, какая бабочка! По-моему, у нас такой в коллекции нет!

— Девочки! Вы перестанете отвлекаться? — сказала Фокина недовольным голосом. Она отвела взгляд от книги и так и застыла с вытаращенными глазами. — Что такое?.. — зашептала она испуганно. — Не может быть! Ой, девочки! Я, наверное, сплю! Ущипните меня!.. Ой, девочки! Да ведь это же ма-ха-он! Самый настоящий Мааков махаон из Уссурийского края... Как же он здесь очутился? Махаон в нашем городе? Вот чудеса! Поразительное явление! Целое открытие! Тема для научного доклада!

Бормоча эти слова, Фокина успела тихонечко взять у одной из девчонок сачок, подняться, сделать шаг вперед и застыть на одной ноге.

Итак, случилось то, чего я боялся больше всего на свете: кружок юннатов во главе с Зинкой Фокиной обнаружил спящего махаона, то есть не махаона, а спящего Костю Малинина, и сейчас моему лучшему другу грозила, быть может, самая смертельная опасность из всех опасностей, каким мы подвергались с ним все э-т-о в-р-е-м-я...

— Девочки! — скомандовала шепотом Фокина остолбеневшим юннаткам. — Окружайте, только тихо... Чур, ловить буду я сама!..

Молча, с сачками на изготовку, девчонки стали окружать спящего Малинина, того самого Костю Малинина, которого они, по своему неведению, считали Мааковым махаоном, чудом залетевшим в наш город из далекого Уссурийского края!..

СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ

В МОРИЛКУ, ПОТОМ В СУШИЛКУ И В РАСПРЯМИЛКУ...

— Сейчас мы его поймем! — прошипела шепотом Фокина, качаясь на одной ноге и боясь спугнуть Костю. — Поймаем — и в морилку, потом в сушилку, потом в распрямилку...

— Хр-р-ы... — донесся до меня голос сладко спящего Малинина.

Костя спал и даже не предполагал, какую страшную гибель готовила ему староста нашего класса Зинка Фокина. Нельзя было терять ни одной минуты.

Тем более, что вернувшиеся с улицы ребята тут же присоединились к Зинке Фокиной и тоже выразили самое горячее желание поймать Костю Малинина, то есть махаона, и посадить его в морилку. (Вот лоботрясы несчастные! Что угодно согласятся делать, лишь бы не работать!)

Появившиеся на участке Венька Смирнов и Генка Коромыслов тоже решили принять участие в этом ужасном деле. Венька растолкал девчонок, взглянул на Костю Малинина и заорал: «Да мы же этого типа с Генкой недавно на улице ловили!...»

Зинка Фокина, вместо того чтобы сделать Смирнову и Коромыслову выговор за опоздание на воскресник, только зашипела на Веньку, а девчата, воспользовавшись суматохой, оттеснили всех ребят в кусты и стали осторожно сжимать вокруг Малинина Кости смертельный круг.

Что же делать? Что делать?

Я выпорхнул из травы, налетел на Зинку Фокину и стал виться вокруг ее правого уха и умолять ее, чтобы она оставила в покое Костю Малинина.

— Зиночка! — кричал я. — Остановись! Это же не бабочка! Это человек в виде бабочки! Не махаон это! Это Малинин!

Но Зинка Фокина отмахнулась от меня, как от надоедливой мухи.

— Девочки! Да что же вы делаете! — кричал я изо всех сил.

Но они все словно оглохли и ослепли: они меня не видели и не слышали, словно я и вообще не существовал на свете.

Страшное кольцо продолжало сжиматься вокруг Кости Малинина все тесней и тесней.

Я заметался, потом взлетел вверх; оставалось только одно: сбить спящего Малинина с камня — взять его на таран! Быть может, он хоть от удара проснется. Сложив крылья, я ринулся вниз, скользнул над травой и что есть силы ударил Костю головой в бок. От сильного удара в голове у меня все помутилось и перед

глазами поплыла радуга, а Костя сорвался с камня, подпрыгнул, подлетел, проснулся в воздухе и как очумелый закрутил глазами.

— Костя! Делай свечку! Свечку делай! — заорал я не своим голосом.

— Какую свечку? — сказал ничего не соображающий Костя Малинин, протирая заспаные глаза.

Тогда я схватил его за лапу и потащил за собой в небо круто вверх. И откуда у меня только сила взялась! В одну секунду я поднял Костю Малинина, как на лифте, выше кустов.

Внизу, где-то там, под нами, раздался дикий визг.

— Это что, большая перемена? — спросил меня Костя одуревшим от сна голосом и закрыл глаза.

— Какая еще перемена? — сказал я и наподдал Косте сзади лапой, чтобы он хоть немного пришел в себя. В глазах у меня все еще продолжало сиять какое-то северное сияние. — Ты что, еще не проснулся, что ли?

— Сейчас, сейчас! — сказал Малинин. — Сейчас я наемся нектара и сяду за геометрию... А этому Мишке надо крылья оборвать...

— Какому Мишке?

— Яковлеву... из семейства отличников. Чтобы он не соглашался другой раз заниматься с нами в воскресенье...

Малинин хотел сказать что-то еще, но вдруг перестал махать крыльями, громко захрапел и начал валиться в кусты, в самую гущину листьев.

— Костя! Не засыпай! Пропадешь! — рявкнул я и стал валиться вслед за своим другом в кусты сирени, цепляясь на лету крыльями за сучки и листья.

От удара о ветку Костя опять проснулся. По ветке взад-вперед ползали муравьи; они мельтешили у меня под ногами, и мне пришлось двум из них дать хорошего пинка, чтобы они не лезли не в свое дело в такой, можно сказать, критический момент.

— Сейчас же превращайся из бабочки в трутня, слышишь? — сказал я Косте, разгоняя муравьев.

— В какого трутня? Из какой бабочки? Ты что, Баранкин, свихнулся, что ли? — сказал Малинин и повалился на бок.

Вероятно, у спящего Малинина так все перепуталось в голове, что он уже ничего не соображал и вообще нес какую-то страшную ахинею. Тогда я его приподнял за крылья:

— Превращайся в трутня! Слышишь, Малинин?

— Как это может человек превратиться в трутня? Ты, Баранкин, фантазей... из семейства человеков... то есть че-ло-ве-ков... то есть... я спать хочу, — сказал Малинин и повалился на другую сторону.

Было слышно, как по саду с криком и визгом продолжали рыскать девчонки. Если они заметят в кустах яркие крылья Кости-махаона, мы пропали.

— Ты превратишься в трутня или нет? Последний раз тебя спрашиваю! — Я снова поднял упавшего на бок Малинина, при этом я успел лягнуть задними лапами двух нахальных муравьев, которые намеревались заползти мне под самое брюхо.

— Ладно, Баранкин! — промычал Костя. — Если уж тебе так хочется... Только я сначала посплю...

— Нет! Сначала ты превратишься в трутня, а потом будешь спать! Слушай мою команду! — Я схватил Костю за передние лапы и стал изо всех сил трясти его, приговаривая: — Повторяй за мной! Повторяй за мной:

Ни ночью, ни днем
Не хочу быть мотыльком!
Всех на свете лучше
Быть, конечно, трутнем!

— Вот он где спрятался! — взвизгнул не遠далеке голос Зинки Фокиной. — Я так и знала, что он далеко не улетит! Девочки! Окружайте куст!

«Все! Нас обнаружили! Мы пропали! — подумал я. — И Малинин опять заснул! И теперь я с ним уже ничего не смогу поделать!»

У меня при одной этой мысли опустились крылья, и я даже не стал распихивать муравьев, которые опять наползли с разных сторон.

«Пусть ползают, — произнёс я мысленно, — теперь все равно...»

И вдруг именно в эту минуту раздался смех Кости Малинина.

Я с ужасом посмотрел в его сторону — уж не сошел ли он во сне с ума от всех этих переживаний — и вижу, как два муравья ползают возле его брюха и щекочут Костю своими усиками. Они его, значит, щекочут, а он, значит, смеется, тихо, правда, но смеется, спит и смеется. Вот балда, как же это я забыл, что Костя Малинин больше всего на свете щекотки боится. Я еще в лагере его сколько раз будил при помощи щекотки. Вот спасибо муравьям, что надоумили. И, не теряя больше ни секунды, я всеми четырьмя лапами сразу стал щекотать Костю под мышками. Тихий смех Кости-махаона сразу же перешел в хохот, и он проснулся. Сразу же проснулся! И глаза открыл, и совершенно спать перестал.

Трясется весь, хохочет, заливается как сумасшедший, лапами за живот хватается и говорит, захлебываясь от смеха:

— Ой, Баранкин! Ха! Ха! Зачем ты меня щекочешь? Ха! Ха! Ха!

— Ха! Ха! Ха! — отвечаю я Малинину.

Меня тоже в эту минуту разобрал смех, во-первых, на нервной почве, во-вторых, очень уж я обрадовался, что Костя проснулся от этого ужасного сна и окончательно пришел в себя. Я от этой нервной радости даже на время забыл о той смертельной опасности, которая еще продолжала грозить Косте Малинину. А главное, хоть Костя и проснулся, я все равно продолжал его щекотать. Кто его знает! Перестанешь щекотать, он возьмет и опять заснет.

— Да ну вас! — сказал Костя Малинин мне и муравьям, отталкивая меня и муравьев от себя. — Расщекотались здесь! Ха-ха! А что это там за шум! Ха-ха-ха!

И здесь я снова с ужасом вспомнил о том, что грозит моему лучшему другу, и не только вспомнил, но и понял, что, судя по голосам, Зинка с девочками уже начали окружать наш куст.

— Малинин! — заорал я. — Сию же минуту сосредоточивайся и начинай превращаться в трутня!

— Почему — в трутня? В какого трутня? — спросил Костя, сладко потягиваясь.

— Потому что там Зинка Фокина с юннатками. Они тебя как махаона хотят запрятать в морилку! Потом в сушилку! Потом в распрямилку!

— Как — в морилку? Зачем в морилку?

— Для коллекции! — заорал я.

При слове «коллекция» с Малинина сон прямо как рукой сняло, и он, очевидно, сразу все, все, все вспомнил, понял все, все, все, понял и осознал весь ужас положения, в которое мы с ним попали. Еще бы! Что такое коллекция, Костя знал хорошо, ведь он сам был когда-то юннатом и у него у самого когда-то была такая коллекция, в которую так хотела сейчас упрятать его Зинка Фокина.

— Что же ты меня сразу не разбудил?

— Я еще тебя не разбудил?! Скажи спасибо мурашам. Это они меня надоумили... В общем, скорей повторяй за мной!

Я стал орать Малинину заклинание в самое ухо, а сам вижу, что он меня совсем не слышит, он, очевидно, при слове «коллекция» от ужаса обалдел и вообще перестал понимать, что я от него хочу.

Я ору изо всех сил:

Всех на свете лучше
Быть, конечно, трутнем!

А Малинин все молчит, потом вдруг как заорет:

Ой, мамочка!
Я не хочу быть бабочкой!
Хорошо быть мурашом!
Бабочке нехорошо!

Я сначала даже не понял, что на этот раз мы с Малининым начинаем превращаться в совершенно различных насекомых и наши пути, как говорится, расходятся в разные стороны. Я хочу стать трутнем, а Малинин хочет связать свою жизнь с муравьями! Зачем он это делает? Неужели он не соображает, что там его ждет? Да нет, он сейчас, по-моему, вообще ничего не соображает. Он сейчас соображает только одно, что лучше уж быть живым трудящимся муравьем, чем мертвой бабочкой.

Как вы думаете, мог я оставить Малинина одного в такой ситуации? Мог я сам стать долгожданным трутнем, а Малинину позволить превратиться в рабочего муравья? Конечно, не мог! Отвечаю я за Малинина или не отвечаю? Отвечаю, и еще как отвечаю, головой своей отвечаю! Ведь это я его втравил в эту историю, а не он меня.

В эту минуту за кустами, в довершение всего, раздался прямо какой-то лошадиный топот, треск ломаемых сучьев. За листвой со всех сторон замелькали разноцветные сачки, несколько девчонок взгромоздились с сачками даже на дерево и тем самым отрезали нам с Костей последний путь к спасению.

Все! Мне ничего больше не оставалось делать, как набрать в легкие побольше воздуха и вложить все свои последние силы в заклинание, которое в горячке придумал этот псих Малинин.

Ой, мамочка!
Я не хочу быть бабочкой,—

затараторил я вслед за Костей Малининым.—

Я уверен, хорошо
Быть на свете мурашом!..

Ой, я был в этом не уверен, совсем не уверен! Малинин, что мы с тобой делаем? И зачем только мы с тобой превращаемся в муравьев?!

Это была последняя мысль, мелькнувшая в моей измученной бабочкиной голове, разрывавшейся от забот, тревог, ужаса и волнений...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

КАРАУЛ! МИРМИКИ (ГИБЕЛЬ МАЛИНИНА)

СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ,

НЕПРИЯТНОЕ ДЛЯ ЗИНКИ ФОКИНОЙ И СПАСИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ НАС С КОСТЕЙ

— Зиночка! — прошипела какая-то девчонка за кустом. — А если полетит капустница, что с ней делать?

Говоря о капустнице, девчонки, конечно, имели в виду меня, Баранкина. Поэтому для меня этот вопрос прозвучал так: «Зиночка, а если полетит Баранкин, что с ним делать?»

— Тоже в морилку! — ответила Зинка Фокина. — Махаон у нас будет экспонатом, а на капустнице я буду учить вас работать с распрямилкой.

«Дождлся, Баранкин!» — подумал я про себя, прислушиваясь к звукам, долетавшим из-за куста. Судя по всему, там шли последние приготовления к штурму куста сирени: звякали флаконы, шуршали коробки для упаковывания бабочек, доносились страшные вопросы и еще более ужасные ответы.

— Зиночка, а если махаон (то есть Костя Малинин) попадет в сачок, можно его за крылья брать?

— Ни в коем случае! Нужно, чтобы у бабочки были неповтертые крылья... Приготовьте морилки! Нина, у кого булавки для накалывания?..

— У меня.

— Приготовь булавки!

— Ой, я боюсь!

— Катя! Возьми булавки ты!.. Зоя, води наблюдение!..

— Я и так веду!..

— Все готовы?

— Всссе! — зашипели девчонки, как змеи.

— Открыть морилки!

Морилки были открыты — в воздухе запахло табаком. Кто-то громко чихнул. Кто-то сказал: «Ой, я боюсь!» Одна девчонка обожглась о крапиву и заойкала. На нее все зашикали. Раздался треск осторожно раздвигаемых сучьев. Вопросы:

— Где они?

— Вон они!..

— Где? Не вижу! На нижней ветке, что ли?

— Да нет! Выше!

— Выше?

— Ниже!

— Еще ниже! Правее! Теперь левее! Вон сухой лист, а рядом две бабочки!..

— Ой, девочки! Действительно!..

— Тише вы там!

Шорох раздвигаемых веток усилился, и покрасневшееся лицо Фокиной, исцарапанное и покрытое паутиной, показалось в самых дремучих зарослях сирени; глаза, как у безумной, забегали по листьям.

— Ну, что там, что там, что там?.. — зашипели со всех сторон девчонки.

— Никого... — сказала Зинка Фокина растерянным голосом. — Никого!..

Конечно, если бы Зинка Фокина повнимательней пригляделась к тому месту, на котором она сама, своими глазами, несколько минут назад видела двух бабочек, то она при желании могла бы заметить двух маленьких черненьких муравьев, вцепившихся всеми шестью лапами в шероховатую кору сирени, но Зинке Фокиной было не до муравьев. Она еще раз пошарила печальными глазами по веткам и, глубоко вздохнув, произнесла:

— Как сквозь землю провалились... Никого!

— Как это — никого?.. А мы кто такие? — прошептал один муравей другому.

Голубоглазый муравей рассмеялся, пошевелил усиками и стукнул лапой по плечу муравья с темными глазами.

Черноглазый муравей посмотрел на расстроенное лицо Зинки Фокиной, тоже пошевелил усиками, но ничего не сказал.

— Не может быть! — прошептала Зинка Фокина. — Я же своими глазами видела... Не могли же они сквозь землю провалиться!.. — Она еще раз обшарила весь куст мокрыми от слез глазищами и сказала: — Черт побери! Вот черт побери!

— Ругается! — обрадовался голубоглазый муравей (это был, конечно, Костя Малинин). — Ругается! — сказал он, потирая лапы. — Зин-зин-зинка Фокина чертыхнулась два раза! Вот здорово!

Костя подкрутил свои усики, хлопнул муравья с черными глазами по спине (это был, конечно, я, Баранкин!) и весь затрясся от беззвучного смеха.

Зинка Фокина сделала шаг назад. Ветки со свистом сомкнулись, и мы с Костей остались одни на раскачивающемся сучке сирени.

— Урра! — сказал Костя Малинин. — Опасность воздушного нападения миновала! Отбой!

Костя Малинин радовался, он радовался как человек, то есть он радовался как муравей, избежавший смертельной опасности, когда он был еще мотыльком. Его веселый муравьиный голос напоминал сигналы электрического зуммера.

Хотя я тоже, как и Костя, избежал смертельной опасности и успел вовремя превратиться в муравья, но я не очень-то радовался: ведь если мы успели превратиться в муравьев, то мы с таким же успехом могли превратиться и в трутней. А от муравьиной жизни я абсолютно не ждал ничего хорошего, поэтому я не стал разделять Костиных восторгов, а мрачно сказал:

— Эх, Малинин! Что ты наделал, Малинин!

— А что я? — прозудел весело Малинин. — Что я, по своему желанию уснул, что ли? Это же закон природы!

— Да я не про закон природы! Я говорю: и зачем мы только из-за тебя превратились в муравьев, а не в трутней?

— Если бы тебе гро-зи-зи-ло попасть в коллекцию, стал бы ты очень выбирать, в кого тебе превратиться...

Я на это ничего не сказал Малинину, потому что в его словах, безусловно, была доля правды.

— И вообще, Баранкин, — продолжал Костя, — трутни — это ведь вроде муравьев, только с крыльями, а нам с тобой крылья ни к чему, мы с тобой налетались уж на этих крыльях. Давай уж лучше уползем-зем-зем от всего света под землю, в муравейник. Уж там мы с тобой никого не встретим — ни юннатов, ни отличников, ни кошек, ни воробьев...

— Очень ты спрячешься в муравейнике, — налетел я на Малинина: его глупые рассуждения меня просто разозлили. — «Уползем-зем-зем»!.. Ты что, не знаешь, что ли, что муравьи — это самые, самые трудящиеся насекомые на всем свете? И что их каждый день заставляет работать... этот, как его, инстинкт?

— Почему не знаю! — стал оправдываться Малинин. — Очень даже знаю, что муравьи трудящиеся. Но ведь сегодня выходной день!

Такое заявление со стороны Кости Малинина для меня было совершенно неожиданным.

— Ну и что, что выходной? — опешил я.

— А в выходной они, наверное, не работают!

— Значит, по-твоему, в выходной день инстинкт на муравьев не действует, что ли?

— Знаешь, Баранкин, — сказал Малинин убежденным голосом. — Я вообще считаю, что никакого инстинкта нет.

— Как — нет? — снова опешил я. — Нам же его преподают в школе!

— Ну и что, что преподают?.. Просто этот инстинкт все учителя нарочно придумали, чтобы нам вопросы задавать на уроках! Соображаешь?

Когда Малинин мне все это высказал, я сразу же стал соображать: а может быть, действительно Костя прав и никакого инстинкта у муравьев вообще нет, а выходной день, наоборот, есть... А если выходной день у муравьев есть, тогда нет ничего страшного в том, что мы превратились не в трутней, а в мурашей... Конечно, у муравьев есть выходной день!.. А может быть, все-таки нет? Я попробовал представить себе жизнь без выходных дней и не смог. Еще я вспомнил беседу, которую в школе проводил с нами доктор. Беседа была о том, что надо обязательно отдыхать каждый выходной день. Если людям надо отдыхать каждое воскресенье, то муравьям тем более: они ведь такие маленькие и слабенькие. Нет! Конечно, у муравьев должен быть выходной день, и он у них, конечно, есть! А если выходной есть, тогда, пожалуй, все в порядке! И можно не вешать нос, то есть усы, и можно бежать в муравейник и занять там какую-нибудь отдельную комнату, и начать ходить там на голове, и вообще делать все, что только тебе вздумается. Здо́рово я развеселился от этих мыслей.

— Малинин! — прозудел я, спрыгивая с ветки на землю. — Сейчас мы разыщем с тобой муравейник, займем отдельную комнату, запремся, закроем дверь на замок и...

— У них же нет, наверное, дверей и замков в комнатах, — усомнился Костя.

— Неважно! — сказал я, развеселившись еще больше. — Важно, что комнаты есть, а уж загородиться чем-нибудь от всего на свете мы сумеем! Мы с тобой бабочки ученые и воробьи стреляные, нас теперь на мякине не проведешь!

Я побежал по земле и на радостях ударил лапой попавшееся мне на пути круглое семечко, напоминавшее по форме футбольный мяч.

Костя Малинин принял мою передачу и отпасовал семечко обратно. Только здесь, на земле, я разглядел хорошенько Костю-муравья. Он весь блестел так, словно его начистили сапожным кремом, и талия у него была очень смешная — тонюсенькая-претонюсенькая, как у девчонки, и лап было сразу шесть штук. «Очень это здо́рово, что у муравья шесть лап, — подумал я, — в футбол удобно играть. Особенно бить по воротам, со всех шести лап. И в воротах стоять тоже удобно: на двух лапах стоишь, четырьмя ловишь мяч...

В доказательство своей мысли я подпрыгнул в воздухе и ловко принял на грудь семечко-мяч всеми четырьмя лапами сразу. В обнимку с мячом я упал на землю и покатился, громко смеясь от удовольствия.

— Куча мала! — крикнул Костя Малинин и повалился на меня.

Мы начали было кувыркаться, но тут я заметил, что из леса, то есть из травы, навстречу нам вышло человек шесть муравьев. Я, конечно, очень обрадовался. Вскочил.

— Здорово, ребята! — крикнул я муравьям, поднимая в знак приветствия все четыре лапы. Потом я ударил по мячу лапой и сказал: — Может, по случаю выходного в футбол сыграем, ребята?.. Вас сколько человек? Шесть? И нас двое! Как раз! Разделимся на две команды по четыре! Чур, я — центр нападения!

Настоящие муравьи как-то странно посмотрели на меня, хлопали друг друга усиками, пошептались между собой, дали задний ход и тихо скрылись в зарослях травы.

Мы с Костей побежали их догонять, но в соседнем лесу, то есть в траве, уже никого не было, зато совсем рядом внизу, под пригорком, мы обнаружили дорожку, по которой шло самое оживленное муравьиное движение.

Муравьи сновали взад и вперед. Одни из тех, что были поменьше ростом, несли на себе комочки земли, палочки, листики, хвойные иголки. Другие муравьи, широкоплечие, с большими головами и огромными челюстями, волокли гусениц, мертвых мух и жуков...

— Что это они, Малинин? — спросил я Малинина, насторожившись. — Работают, что ли?

— Да что ты, Баранкин, — ответил Малинин, — это они гуляют по своей главной улице.

— Как — гуляют? — спросил я недоверчиво.

— Так, гуляют. Сегодня же воскресенье!

— А зачем же они тащат на себе всякие бревна и камни, если сегодня воскресенье?..

Малинин промолчал.

— А по-моему, они не гуляют, а работают...

— Ну что ты, Баранкин, — возмутился Малинин, — какая же работа может быть в выходной день?

— А бревна на плечах? — спросил я Малинина.

— А бревна... — ответил Малинин. — А бревна... Это у них так принято — гулять с бревнами на плечах!

— Принято? — переспросил я, потом потер глаза лапами, уставился повнимательней на муравьев, и сердце у меня заныло от какого-то очень нехорошего предчувствия.

Это ощущение возникло у меня и от того, что я увидел, и еще от фразы Малинина, которую он произнес, глядя на муравейник.

— Знаешь что, Баранкин, — сказал Костя, — давай лучше не пойдем в муравейник, давай лучше гулять одни, где-нибудь

там...— И Костя махнул лапой в сторону, совершенно противоположную муравейнику.

Собственно говоря, я это и сам хотел предложить Косте, просто он немного опередил меня с этим предложением, поэтому я, не колеблясь ни секунды, сказал:

— Давай, Малинин, давай! Включай, Малинин, задний ход.— «Пока не поздно»,— хотел добавить я, но промолчал.

Мы хотели попятиться прочь от муравейника, но здесь с нами обоими случилась непонятная вещь: вместо того, чтобы пятиться назад, мы стали пятиться вперед, прямо по направлению к муравейнику. Я ясно чувствовал, что делаю это вопреки своему желанию, чувствовал и понимал, но ничего не мог с собой сделать, потому что какая-то неведомая сила медленно, шаг за шагом, стала приближать нас с Костей к муравейнику.

СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ

МЫ РЕМОНТИРУЕМ МУРАВЕЙНИК

Медленно, нехотя, вопреки своему желанию мы продолжали с Костей приближаться к снующим взад-вперед муравьям, и с каждым шагом мне становилось все ясней и ясней, что все муравьи, все до одного, заняты делом, несмотря на то что для всех людей этот день был выходным днем.

Муравьи работали, работали, трудились, и отрицать это было просто бессмысленно. Незаметно мы очутились в самой муравьиной гуще, так близко, что даже было слышно, как они громко пыхтят под своими ношами. Рядом с нами, например, целая бригада тащила домой огромную стрекозу. И, хотя муравьи из этой бригады суетились, как девчонки, мешали друг другу, а главное, тащили стрекозу в противоположные стороны, несмотря на это, стрекоза каким-то чудом двигалась все же по направлению к муравейнику.

— Работают муравьи! — сказал я Косте.

Муравьи работали! Работали все без исключения. Никто из них не отлынивал, никто не занимался посторонними делами, или разговорами, или играми, никто не лежал под кустом и не загорал, а главное, никто никем не командовал и никто ни на кого не орал вроде нашей Зинки Фокиной. Вы бы послушали, какой она шум поднимает на каждом субботнике!

— Работают! — сказал я Косте Малинину.

— Ну и что, что работают! — огрызнулся Костя.— Темные, вот и работают. Необразованные личности! Наверное, даже не

знают, что такое воскресенье. А мы с тобой образованные! Мы с тобой работать не будем!

— И инстинкт, значит, существует,— сказал я очень серьезным голосом.— Раз они ему подчиняются, значит, ОН существует!

— Ну и пусть себе подчиняются! А мы не будем никому подчиняться! — сказал упрямым голосом Костя Малинин.

Я вообще-то тоже, как и Костя Малинин, был абсолютно уверен, что инстинкту и в самом деле можно было не подчиняться, даже если он и существует на самом деле... Каково же было мое удивление, когда мне вдруг ни с того ни с сего совершенно неожиданно ужасно захотелось приступить к работе вместе с темными и необразованными муравьями. Это желание было сильным и непреодолимым. Мне казалось, что если я сию же минуту не взвалю себе на плечо какой-нибудь груз и не начну трудиться, как все муравьи, то я просто умру на месте.

Подобрав с земли сухую ветку, я молча взвалил ее на плечо и поволок к муравейнику. И тут мне сразу стало легче, как будто гора с плеч свалилась! Стало даже как-то весело и приятно. В это время то же самое случилось и с Костей Малининым, то есть сначала, когда я взвалил на плечо сучок, он посмотрел на меня, как на ненормального, а потом тоже вдруг с необычайной энергией и желанием подхватил ветку с другого конца и стал молча помогать мне, падая и спотыкаясь на каждом шагу.

Сучок был тяжелый, как настоящее бревно, он то и дело цеплялся за траву, за камни, скатывался с плеч, но мы продолжали над ним пыhtеть и тащить его с большим удовольствием, пока не дотащили по подземному ходу до самого муравейника. Возле входа в муравейник два муравья перехватили у нас бревно и утащили в темноту, а мы с Костей послушно повернулись в обратную сторону и побежали за новым стройматериалом.

Вот так! Таким, как говорится, образом присоединились мы с Костей к «гуляющим» муравьям и стали вместе с ними «гулять» со всяким мусором на плечах, то удаляясь от муравейника, то возвращаясь к нему обратно. Взад-вперед! Взад-вперед! С ветками, с хвойными иголками на плечах, с сухими листиками, с комочками земли бежали мы как заведенные и даже перестали разговаривать друг с другом — так занялись мы этой работой.

Честно говоря, работать под управлением инстинкта — дело малоинтересное и, я бы сказал, глупое. Голову твою все время как бы сверлит одна фраза: «Давай, Баранкин! Давай! Тащи! Волоки! Перетаскивай, Баранкин! Ворочай, Баранкин!.. А ЗАЧЕМ «тащи»? ДЛЯ ЧЕГО «тащи»? Ты ничего не соображаешь, а соображать тебе все время что-то не дает и мешает, и от этого ты себя чувствуешь просто каким-то дураком и даже кретином... Один раз только на меня нашло просветление,

это когда мне надоело таскать бревна на плече, и я быстренько соорудил для нас с Костей носилки, но дурацкие ощущения в голове все равно не проходили, и фраза: «Давай, Баранкин! Давай! Тащи! Волоки! Перетаскивай!..» — продолжала тупо сверлить мой мозг.

Второй раз на меня нашло просветление, когда я хотел спросить у Малинина (раз уж он втравил меня в эту муравьиную историю), долго ли еще будет нас гонять этот проклятый инстинкт, но затем я с большим трудом сам вспомнил, что я совсем недавно прочитал книгу «Пароль скрещенных антенн», где черным по белому было написано, что муравьев инстинкт заставляет работать до самого-самого захода солнца...

Не знаю, может быть, мы с Костей в этот день привыкли бы к этому муравьиному конвейеру и действительно проработали до самого захода солнца, если бы не одно происшествие, которое случилось, когда мы в двадцатый или тридцатый раз возвращались с носилками к муравейнику. Именно в это время мимо нашего (нашего!) муравейника проходил Венька Смирнов. Ничего хорошего от этого произойти, конечно, не могло. Не успел я об этом подумать, как Венька, насвистывая, ткнул два раза черенком лопаты в муравейник и, так же насвистывая, ушел прочь.

Что здесь с нами случилось! С «нами»... Это я имею в виду не только нас с Костей, а всех муравьев. Что здесь с нами со всеми случилось! Мы сразу все, как один, как по команде, к-а-к запсиховали, как занервничали, как заметались и к-а-к бросились все перевыполнять всякие нормы по ремонту нашего общего муравейника. Было такое впечатление, что инстинкт из-за этого Веньки взял нас всех и «переключил» с первой скорости на третью и поэтому мы все стали работать с удесятеренной силой.

Когда я все это ощутил, мне так и захотелось огреть Малинина носилками по спине, но при всем желании я этого не мог сделать, потому что носилки с другой стороны держал Костя Малинин и еще потому, что мою голову с удесятеренной силой продолжала сверлить фраза: «Давай, Баранкин! Скорей давай! Тащи скорей! Волоки скорей! Ворочай! Давай, Баранкин! Давай скорей! Давай! Давай! Скорее! Скорее!.. И еще потому, что, как бы я ни сердился на Костю, я бы никогда не смог не только ударить его, но даже тронуть пальцем.

Ведь он вместе со мной несется сейчас на третьей скорости, и его несчастную голову в эту минуту тоже, вероятно, сверлит эта проклятая фраза: «Давай скорей, Малинин! Давай! Тащи скорее! Волоки скорей! Ворочай! Давай, Малинин! Давай! Давай! Давай! Скорей! Скорей! Скорей! Скорей!..

СОБЫТИЕ ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ

ЭТО БЫЛ, НАВЕРНОЕ, ЕДИНСТВЕННЫЙ В СВОЕМ РОДЕ
«БУНТ» НА ЗЕМЛЕ

Все!.. Все рухнуло!!! Все мои надежды, все мои мечты и фантазии — все рухнуло! Я понял, я окончательно уверился в том, что такой жизни, о которой я мечтал, сидя на лавочке в ожидании Мишки Яковлева, такой жизни нет и не может быть нигде — ни на земле и ни под землей... Ни у воробьев, и ни у бабочек, и ни у муравьев!.. И у трутней тоже наверняка нет такой жизни. И такого состояния, в котором можно ничего не делать, тоже, вероятно, не существует, потому что если бы мы сейчас с Костей даже были трутнями, а не муравьями, то мы бы с ним старались ничего не делать, а для того чтобы ничего не делать, как я убедился, нужно обычно столько сделать, что уж лучше что-нибудь делать, чем пытаться ничего не делать...

...Нет такой жизни! И незачем ее искать! И нечего терять время! О-н-а не существует! А если все это так, то зачем же тогда я и мой лучший друг Костя Малинин все еще продолжаем быть муравьями? Почему мы на третьей скорости ремонтируем муравейник, в котором даже не собираемся жить? Зачем мы обливаемся потом и падаем на каждом шагу от усталости?

Пора! Пора возвращаться, пока не случилось какой-нибудь ужасной неожиданности. У этих птиц и насекомых каждую минуту может случиться такое, что потом и костей не соберешь.

Я оглянулся на Костю Малинина. Малинин молчал, он ни о чем меня не спрашивал, он не ворчал на меня за то, что в третий раз попал в такую передрыгу, он не ругал и не проклинал меня, и это было невыносимо. Уж лучше бы он меня разнес за все в пух и прах.

Но Костя молчал, словно воды в рот набрал. Он копошился, нагружался, разгружался, снова нагружался и опять разгружался, носил, таскал, перетаскивал, не отставая от меня ни на шаг. Костя работал, как смелый заправский муравей.

«Надо остановиться! — подумал я. — Немедленно прекратить работу и остановиться. Надо сохранить силы для нашего возвращения. А то этот инстинкт к вечеру загоняет нас с Костей до полусмерти, так, что не шевельнешь ни рукой, ни ногой... В конце концов, пусть этому инстинкту обыкновенные муравьи подчиняются без всякого рассуждения, а мы Е-М-У докажем, что мы с Малининым разумные существа. Докажем! А как мы ему докажем, если от моего этого самого разума в голове уже почти ничего не осталось! И мыслей никаких, кроме «Жми! Тащи! Неси! Ворочай!..» И вот я жму, тащу, несу, ворочаю, а сам себе тихонько

командую: «Думай, Баранкин! Думай!.. Соображай все-таки на-зло этому самому инстинкту! Не подчиняйся ему! Не подчиняйся!..»

И вот тут-то в моей голове при слове «не подчиняйся» вдруг мгновенно созрел план заговора, может быть единственного в своем роде на всем земном шаре. Я решил против инстинкта поднять самый настоящий бунт и самое настоящее восстание!

Я остановился на бегу с охапкой хвойных иголок! Я поднялся на задние лапы. Я распрямил свою усталую спину. И закричал громко, на все поле боя, как Петр Первый под Полтавой.

— Малинин! — скомандовал я. — Сбрасывай с себя мусор! Будет!

— «Будет»? Что будет? — спросил Костя совершенно равнодушным голосом.

— Бунт будет! Вот что будет! Заговор!

— Против кого заговор?

— Против И-Н-С-Т-И-Н-К-Т-А! Заговор!..

— А что такое «заговор»? — спросил Малинин.

Вот тебе раз! Видно, у Кости от этой муравьиной жизни уже начал ум за разум заходить, раз он уже начал забывать значение самых обыкновенных человеческих слов.

Тогда я быстренько напомнил ему значение слова «заговор» и объяснил ему, что это значит. Костя тупо выслушал меня и тупо спросил:

— А какой заговор?

— Что значит — какой? Обыкновенный!.. То есть не обыкновенный, а смертельный — вот какой! Понимаешь?

— А что значит «смертельный»? — опять задал мне вопрос Костя.

— Смертельный — это значит: мы лучше с тобой умрем, но не подчинимся инстинкту!

— А что такое «не подчинимся»? Как — не подчинимся? — Малинин посмотрел на меня печальными глазами и недоверчиво вздохнул.

— Ну, очень просто! Понимаешь, он, инстинкт, будет нас, меня и тебя, нагружать... Понимаешь, нагружать!

— Нагружать — это я понимаю, — сказал Костя.

— Ну вот! — обрадовался я. — Он, инстинкт, будет нас нагружать и заставлять работать, а мы, я и ты, будем ему не подчиняться... Не подчиняться — понимаешь?..

— А как — не подчиняться?

— А вот так не подчиняться! Вот так! Смотри!

Я взял и сбросил охапку хвойных иголок со спины на землю. Костя Малинин сначала посмотрел на меня, как на ненор-

мального муравья, потом с трудом о чем-то подумал и тихонько опустил на землю березовый лист. Потом мы вместе налегке сбежали с муравьиной дорожки в сторону. Инстинкт, конечно, хотел тут же заставить меня поднять иголки, но я ему не подчинился. Костя Малинин стоял напряженившись рядом со мной, потом вдруг закружился на месте, как собака, которая хочет поймать себя за свой хвост.

— Чего ты вертишься? — спросил я Малинина.

— Очень хочется вернуться и поднять лист, — прошептал Малинин.

— Не подчиняйся ни за что! Преодолевай!

— Я и так преодолеваю.

— Молодец! — похвалил я Малинина, забираясь под куст травы. — Иди сюда.

Тяжело дыша и преодолевая на каждом шагу сопротивление инстинкта, Костя с трудом приблизился ко мне и вцепился в меня всеми шестью лапами. Я подтянул к себе березовый листок и укрылся им с головой, словно одеялом, чтобы нас никто не видел.

— А теперь, — сказал я лихорадочным шепотом, — теперь, Малинин, сосредоточься и повторяй за мной:

Ни ночью! Ни днем!

Не хочу! Быть!

Муравьем!

Я! Хочу! Навеки!

Быть! Человеком...

Громко всхлипнув, Костя глубоко вздохнул и вместо волшебных слов заклинания сказал:

— Ой, мамочка!..

— Чего ты? — спросил я.

— Меня за ногу кто-то дергает!..

Я, конечно, подумал, что это к Косте опять инстинкт привязался. Приподняв березовый лист, выглянул наружу, смотрю — нет, не инстинкт, а какой-то совершенно незнакомый муравей схватил Костю за заднюю лапу и тянет изо всех сил...

СОБЫТИЕ ТРИДЦАТОЕ.

НЕБЫВАЛОЕ И НЕСЛЫХАННОЕ НА ВЕСЬ МУРАВЕЙНИК

Я думал, что мне удастся легко отделаться от муравья, но я ошибся. Муравей оказался очень настырным. Он и меня тоже схватил за одну лапу.

Я ему, конечно, пригрозил: «Отцепись! А то хуже будет!» — а он все тянет и тянет, потом дергать начал, потом взял и стянул с нас одеяло, то есть березовый лист. Я, конечно, разозлился и вскочил на ноги; старый муравей обстукал нас с Костей с ног до головы усиками, словно доктор, и спрашивает:

— Вы что, заболели?

— Нет,— говорю,— я лично здоров...

— А почему же вы лежите?

— А мы отдыхаем!

— А почему вы отдыхаете, когда все работают?

— Потому что сегодня воскресенье,— сказал я.

— Какое воскресенье? — не понял муравей.

— Выходной день,— пояснил я.

— Какой выходной? Почему выходной?..

— Обыкновенный день отдыха,— сказал я.

Весть о том, что два муравья в самый разгар работы легли спать, сразу же облетела весь муравейник. Это происшествие было, вероятно, настолько небывалым и неслыханным, что на нас собрались посмотреть все муравьи. Одни окружили меня и Костю на полянке плотным кольцом и стали таращить на нас глаза, другие забрались на цветы и траву и разглядывали нас сверху.

— Что такое выходной день? — продолжал допрашивать меня дотошный муравей.

— Выходной день — это такой день, когда никто не работает,— стал объяснять я собравшимся, и чем больше я им объяснял, тем меньше они меня понимали.— В общем,— сказал я,— когда мы жили там, мы в этот день никогда не работали.

— Где это «т-а-м»?

— Там! — Я махнул лапой в сторону большого каменного дома.— Там... Вон в том кирпичном муравейнике, то есть не в муравейнике, а в этом... в человеичнике...

Я совсем запутался и замолчал. Из толпы муравьев слышались голоса:

— Подозрительно! Подозрительно!

— Кто они такие?

— Надо разобраться, разобраться!

— Не надо разбираться, оторвать им ноги, и все!

— Они не мы, они чужие! Они и говорят не по-нашему!

— Надо разобраться, разобраться!

Пока старые муравьи совещались между собой, что с нами делать, толпа продолжала шуметь. Пока толпа продолжала шуметь, а старые муравьи продолжали совещаться, я успел шепнуть Косте:

— Малинин! Повторяй за мной слова, пока не поздно:

Ни ночью! Ни днем!
Не хочу! Быть!
Муравьем!

Но Малинин Костя будто оглох. Он с ужасом смотрел на старых муравьев, совещавшихся между собой в стороне, и ничего не слышал.

Тогда я тоже замолчал. Не мог же я поступить иначе, тем более что к этому времени старые муравьи кончили совещаться и один из них со словами «слушайте все!» снова приблизился к нам с Костей.

— Слушайте все! — сказал он. — Вот эти два муравья, — старый муравей показал лапой в нашу сторону, — эти два бездельника, не дожидаясь Луны, прекратили работу в самый разгар Солнечного Света!.. Не дожидаясь захода Солнца, они перестали работать и легли спать, укрывшись березовым листом. Я старый муравей, но я никогда не слышал от старейших муравьев, чтобы в нашем муравейнике когда-нибудь произошло такое не виданное моими глазами, не слыханное моими ушами преступление.

Толпа грозно загудела.

— Слушайте все! — повторил старый муравей. — Совет Старейших Муравьев решил приговорить этих двух преступников к Смерти!..

Толпа муравьев загудела одобрительно. Костя Малинин не успел пикнуть, как к нему и ко мне подошло штук десять муравьев. Не говоря ни слова, они схватили нас с Костей за ноги, перевернули и понесли прочь от муравейника.

СОБЫТИЕ ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ

ВОТ ЧТО ТАКОЕ МИРМИКИ И ВОТ ЧТО ТАКОЕ КОСТЯ МАЛИНИН

Не знаю, чем бы кончилось все это (я даже боюсь догадываться, чем бы это все могло кончиться!), если бы сидевший на высоком цветке муравей не закричал:

— Мирмики идут! Мирмики! Мирмики!!!

При слове «мирмики» волочившие меня и Костю муравьи как-то странно задрожали с ног до головы и бросили нас на землю. Потом они заметались во все стороны, замахали дрожащими усиками и забавно задрывали ногами. Все это было похоже на какой-то воинственный танец дикарей. Постукивая друг друга усиками, приподнимаясь на задние лапы, пританцовывая и при-

нимая время от времени страшные, угрожающие позы, муравьи повторяли один за другим то странное и непонятное слово, которое произнес муравей, сидевший на цветке: «Мирмики! Мирмики!» Затем они, как один, все вместе упали с задних лап на четвереньки и опрометью бросились в кусты травы, позабыв про нас с Костей. Прошло еще мгновение, и муравьи все до одного скрылись за стволами травинок. Поляна опустела. Мы остались одни.

Не знаю отчего, но мне почему-то тоже передалось то самое тревожное настроение, которое охватило всех муравьев при слове «мирмики».

— Лезь за мной! Только тише... Не шуми,— сказал я Косте Малинину, влезая на близрастущий цветок и оглядывая окрестности.

— Почему тише? — спросил Малинин, карабкаясь следом за мной.

— Так! На всякий случай,— сказал я, не догадываясь о том, что моя предосторожность ровно через минуту спасет нам с Костей жизнь.— Ползи выше.

— А я что, не ползу, что ли? — огрызнулся Малинин.

Забравшись на лист, я хотел уже подняться еще выше, как вдруг заметил внизу, под нами, черного хромого муравья и всех остальных наших «носильщиков». Они вышли из густой травы, как-то странно пятясь спинами. Рассыпавшись цепочкой, остановились. Свесив головы с листка, мы с Костей стали молча наблюдать за странным поведением черных муравьев. Они стояли не шевелясь, словно солдаты, приготовившиеся к бою, и в эту минуту из травяного леска выползло штук пятнадцать здоровенных муравьев красно-рыжего цвета. Выползли и тоже остановились.

То, что произошло дальше, походило на коротенький киножурнал про войну.

Рыжие муравьи, как собаки, бросились на черных, щелкая своими огромными челюстями, как щипцами. Не успел я моргнуть, как по земле покатались, словно мячики, головы черных муравьев. Из всех черноголовых солдат уцелел только один хромоногий. Видно, это был самый опытный и бывалый солдат, так ловко отбивался он от нападающих на него двух рыжих муравьев. Одному из них он даже успел вцепиться в усики, и тот от боли закрутился волчком по земле, но в это время еще двое рыжих подоспели к своим на помощь и, схватив хромого за задние лапы, растянули его на земле.

Черный встряхнулся, но тут еще один рыжий мирмик прыгнул ему на спину, и с черными муравьями все было кончено.

Рыжие с победоносным видом огляделись по сторонам, пошевелили усиками и стали молча счищать пыль с боков и приводить себя в порядок.

Я отполз от края листка, чувствуя, как инстинкт, тот самый инстинкт, который мы недавно преодолели с Костей Малининым, начинает снова пробуждаться во мне, и не только начинает пробуждаться, но, кажется, посылает меня в бой на помощь нашим черноголовым муравьям. Еще секунда, и я бы непременно спрыгнул с цветка прямо на спины рыжим мирмикам, но я не спрыгнул с цветка, я взял и, как в прошлый раз, преодолел в себе инстинкт, потому что это было с его стороны явной глупостью — посылать меня одного в бой против целого отряда мирмиков. И потом я твердо знал: если я нападу на рыжеголовых, то инстинкт заставит, конечно, и Костю ввязаться в драку, а уж где-где, но в драке с мирмиками Малинину несдобровать, это определено.

Пока я мысленно боролся с инстинктом, мирмики успели скрыться в зарослях травы, и поляна снова опустела. Стараясь не шуметь, мы с Костей на цыпочках быстро вскарабкались на самую верхушку цветка и чуть не ахнули. Оказывается, рыжие муравьи к этому времени успели окружить муравейник со всех сторон. На полянах и в траве уже кипело самое настоящее ожесточенное сражение.

— Война, Малинин! — сказал я.

— Война, Баранкин! — сказал Костя Малинин.

Хотя рыжих солдат на поле боя было гораздо меньше, зато они были крепче, сильнее и гораздо опытнее черных муравьев. Медленно, шаг за шагом, они теснили черных муравьев, отступавших к муравейнику. Поляны, взятые с бою рыжими мирмиками, были все усеяны черными трупиками. Они лежали на земле в самых разнообразных позах. Раненые вздрагивали ногами, слабо шевелили челюстями.

— Гады! — закричал вдруг Малинин, поднимаясь на задние лапы. — Вот гады! Маленьких бьют!

Я схватил Малинина на всякий случай за лапу и оттащил от края наблюдательного пункта.

А бой тем временем разгорался все сильнее и сильнее. Дерущиеся хватали друг друга за ноги, делали подножку, откусывали усики и вцеплялись в горло мертвой бульдожьей хваткой.

— Вперед, чернопузые! Не робей! Бей рыжих! — орал Костя, вырываясь у меня из рук. — Бей захватчиков!

А чернопузые были действительно молодцы. Они как-то очень быстро сумели приноровиться к мирмикам и дрались теперь как львы, используя свое численное превосходство. Впятером или вшестером они дружно бросались на рыжего великана, за ноги и за усики растягивали его на земле и приканчивали.

— Так их! Так их! — заорал я во все горло.

— Вперед, чернопузые! — закричал Костя.

— Ура! — закричали мы вместе с Костей.

Рыжие дрогнули и стали отступать.

Я заложил лапу в рот и оглушительно свистнул. Костя запрыгал от радости по цветку, закружился и вдруг остановился как вкопанный.

— Смотри! — сказал он, глядя в противоположную от муравейника сторону.

Я взглянул вниз и увидел вдалеке за холмом большущий отряд мирмиков, спешивших к своим на помощь. И это в ту минуту, когда черные заставили отступить рыжих по всему фронту. Если эта армия рыжеголовых подоспеет на помощь, черным несдобровать. Нам с Костей тоже несдобровать: мы ведь с ним тоже черные муравьи. Кругом война, а мы расселись, как в кино, и смотрим.

Если бы сейчас я и Костя были людьми, а не мурашами, мы бы могли черным помочь как полагается, а так — что от нас толку! А может быть, и так будет толк? Если сейчас взять на себя командование черными мурашами, сразу может получиться другая картина. Конечно, они нас хотели с Костей казнить, ну да ладно! Это они не со зла, а за дело. Вообще-то они хорошие ребята! И дерутся здóрово, только очень уж как-то инстинктивно, не соображают, что к чему, и главнокомандующего у них нет, каждый сам за себя, а если бы им сейчас командира, вот тогда бы они показали этим рыжим мирмикам, где раки зимуют!

А что, если нам действительно взять командование на себя? Я — главнокомандующий, Костя — начальник моего штаба. Да нет, Костя Малинин наверняка испугается — какой из него начальник штаба! Нет, уж лучше поскорее превратиться в людей, превратиться и отогнать этих рыжеголовых от муравейника.

— Малинин! — скомандовал я, не отрывая глаз от сражения. — Повторяй, Малинин!..

Я хочу навеки
Быть Человеком!
Ни ночью, ни днем
Не хочу быть муравьем!

— Баранкин, за мной! Смерть мирмикам! — услышал я за спиной отчаянный крик Кости Малинина.

Я обернулся, но было уже поздно. Со словами: «Баранкин, за мной! Смерть мирмикам!» — Костя спрыгнул с цветка и, подхватив на бегу с земли сучок-дубинку, ринулся наперерез отряду рыжих муравьев-разбойников на соединение с черными мурашами.

СОБЫТИЕ ТРИДЦАТЬ ВТОРОЕ

МЫ ПОПАДАЕМ В ОКРУЖЕНИЕ

«Инстинкт!» — мелькнуло у меня в голове. Неужели в Косте Малинине заговорил инстинкт и не только заговорил, но и погнал его на войну? Нет! Я слишком хорошо знал Костю Малинина, чтобы так подумать. Костя в жизни был не очень-то смелый, и никакой инстинкт не мог заставить его ввязаться в драку. Просто на этот раз в Косте заговорил ЧЕ-ЛО-ВЕК, ведь в каждом же человеке должен заговорить человек, если на его глазах большие начинают несправедливо обижать маленьких, да еще таких симпатичных и настоящих работяг, какими были чернопузые мураши. Да! В Косте заговорил ЧЕ-ЛО-ВЕК! Ну, Малинин! Молодец Малинин! Взял и на расстоянии услышал мои мысли и ринулся в самую гущу боя на выручку черным мурашам. Ни секунды не раздумывая, я тоже прыгнул с цветка и сломя голову помчался за Малининым вдогонку, вниз по склону горы.

С горы было хорошо видно, как большущий отряд рыжеголовых стал заходить в тыл черным муравьям. Надо было во что бы то ни стало предупредить об этом НАШИХ, но Малинин, вместо того чтобы идти на соединение с черными, вдруг яростно рванулся влево и помчался один прямо навстречу наступающим по всему фронту мирмикам.

— Костя! — орал я на бегу. — Малинин! Подожди! Не в ту сторону наступаешь! Куда ты? Убьют! Костя! Остановись!

Но Костя на мои крики не обращал никакого внимания.

— Вперед! На врага! Бей фашистов! — визжал он, размахивая дубинкой и прибавляя ходу. Он мчался каким-то лошадиным галопом, оставляя за собой облака пыли.

Отряд мирмиков, заметив несущегося им наперерез черного муравья, сразу же изменил направление движения. Перестроившись на ходу, мирмики о чем-то быстро посоветовались между собой и помчались навстречу Косте Малинину. Сейчас они сшибутся, и голова Малинина, отрубленная страшной челюстью, покажется по траве... Охватив полукольцом несущегося им навстречу Малинина, мирмики тем самым совершенно отрезали нас от своих.

Теперь все решала скорость. В три тигриных прыжка я нагнал Костю, схватил его за задние лапы и поволол прочь за холм, к маленькому ручейку. Переправившись через бушующий поток на березовом листке, я стащил Малинина за ноги на берег и спрятал в траве в то самое время, когда на противоположный берег высыпали преследующие нас рыжие муравьи. Для большей безопасности я оттащил Костю поглубже в лес и стряхнул его со спины.

Костя Малинин продолжал сидеть с очумелым видом на траве, глаза у него были выпучены так, будто он все еще продолжал мысленно мчаться навстречу мирмикам.

— Эх ты, вояка! — сказал я, с трудом вырывая из Костиных лап сучок-дубинку. — Размурашился! Сейчас как тресну тебя по башке, чтобы ты в другой раз не лез куда не надо! Шел бы на соединение с нашими, а ты... Эх, Малинин!..

Я бы, наверное, и вправду влепил Косте оплеуху, если бы в чаще травы в эту минуту не мелькнула спина рыжего мирмика. Я повернул голову. Из кустов высунулась рыжая морда и зверски пошевелила огромными челюстями. Справа и слева тоже показались рыжие муравьи... Вот тебе раз! Значит, им тоже удалось перебраться через ручей, и не только перебраться, но и окружить нас со всех сторон.

— Лезь на цветок! — тихо шепнул я Малинину. — Моментально сосредоточивайся и немедленно превращайся в человека!

— А ты?

— Я буду прикрывать твой отход. Сам видишь, в какое положение попали. Лезь!

Костя шмыгнул по стеблю вверх, я — за ним. Мирмики услышали шорох и задрали вверх морды. Один из них, чтобы лучше видеть, встал на задние лапы.

— Лезь выше, — шепнул я Косте, — заметили, гады! Лезь на самый цветок и там скорее превращайся...

Пока Малинин карабкался на верхушку цветка, мирмики окружили стебель и стали молча один за другим подниматься вслед за нами.

СОБЫТИЕ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕ

ДЕСЯТЬ БОЛЬШИХ НА ДВУХ МАЛЕНЬКИХ И ПАУТИНКА-САМОЛЕТ

— Эх, вы! — крикнул я, свешиваясь с листика. — Десять больших на двух маленьких... Не стыдно?

В полном молчании мирмики продолжали подниматься по стеблю все выше и выше. На расстоянии двух-трех сантиметров от меня они остановились и заскрежетали челюстями. «Интересно! Успеет превратиться Малинин в человека или нет? — подумал я, перехватывая дубинку из одной лапы в другую. — А ничего он без меня и не сумеет, и не успеет...»

— Ты, рыжий, — крикнул я самому здоровому мирмику, — давай один на один! Я тебя вызываю!



Рыжий верзила, не говоря ни слова, сделал шаг вперед и раздвинул челюсти. Я размахнулся и изо всех сил двинул его сучком по башке. Мирмик покачнулся и, не издав ни звука, молча свалился на землю. Место сбитого моментально без шума заняли двое рыжих муравьев.

Я уже приготовился их хорошенечко встретить, вдруг слышу — сверху раздается голос Малинина:

— Юрка! Осторожней! Третий мирмик к тебе со спины заползает...

Взобравшись на лист, я тремя ударами сбил трех мирмиков со стебля и крикнул:

— Малинин! Ты почему не превращаешься в человека, почему не выполняешь моего приказа?

— А я без тебя все равно не буду ни в кого превращаться! — зашипел сверху Костин голос.

— Нет, будешь! — заорал я, отбиваясь от наседающих на меня мирмиков и влезая на самый венчик цветка.

Все! Дальше ползти было некуда. Внизу, под нами, были мирмики, вверху — небо, посередине — мы с Костей Малининым.

— Это почему же ты не будешь превращаться? — заорал я на Малинина, но в это время из-за лепестка показалась рыжая голова и свирепо завращала глазами. — Малинин, превращайся сейчас же! — Я ударил мирмика палкой по черепу.

Мирмик скрылся.

— Превращаться, так вместе! — сказал Малинин.

Из пропасти с другой стороны опять вылезла голова мирмика.

— Вместе не успеем! — Я кольнул муравья сучком, словно шпагой.

Муравей спрятался.

— А один я не буду! — сказал Малинин.

Я размахнулся изо всех сил, чертыхнулся и съездил высунувшегося мирмика с такой силой, что сучок переломился. Мирмик полетел на землю, а у меня вместо грозной дубинки остался в руках какой-то жалкий обломок.

Мы отступили с Костей к самой середине ромашки. Защищаться больше было нечем, и мирмики словно догадались об этом. Четыре рыжие головы одновременно высунулись с разных сторон. Мы с Костей обнялись.

— Пропали! — сказал Малинин. — Прощай, Баранкин!

Я даже не стал успокаивать своего лучшего друга, потому что все было похоже на то, что мы с Костей Малининым действительно пропали. Внизу были мирмики, вверху — небо, между

мирмиками и небом — мы с Костей. Хоть бы перескочить на соседний цветок, да не допрыгнешь — далеко... Еще можно спрыгнуть с цветка на землю, но мирмики, кишевшие в траве, только этого и ждали. А ведь столько раз нам с Костей удавалось избежать смертельной опасности, можно сказать, чудом, но ведь удавалось! Неужели на этот раз я не найду выхода из положения, неужели нам с Костей суждено погибнуть так глупо вот здесь, на цветке ромашки, в нескольких шагах от настоящей человеческой жизни? Неужели ВСЕ, ВСЕ, что мы узнали, пережили и почувствовали, пропадет зря?!

— Держись, Малинин! Сейчас мы покажем этим мирмикам, как погибают настоящие ребята!

Я поднялся на задние лапы, чтобы встретить как полагается этих мирмиков, и ударился головой о туго натянутую под ветром паутину: она зацепилась за лепесток и болталась над цветком, словно ниточка из волшебного ковра-самолета.

— Малинин! — заорал я на Костю, и Костя на этот раз понял меня без слов.

Он шмыгнул по паутинке вверх, я — за ним. Осталось только перекусить паутинку... И я ее перекусил. И паутинка полетела в ту минуту, когда четыре мирмика одновременно бросились на нас со всех сторон. Мирмик, целившийся откусить мне голову, только полоснул челюстями вскользь по ноге. Четыре челюсти, каждая из которых походила на капкан, щелкнули еще раз, но было уже поздно. Мы с Костей поднялись в воздух. Я взглянул вниз на поляну и не поверил своим глазам: оказывается, пока мы с Малининым отбивались на цветке от численно превосходящих сил рыжих противников, черные муравьи успели наголову разгромить мирмиков и вернулись к своим обычным занятиям.

Война кончилась так же неожиданно, как и началась, и только одни раненые муравьи да носильщики трупов, утаскивавшие убитых подальше от муравейника, напоминали о том, что всего несколько минут назад на этих полянах шло самое ужасное сражение. Маленькая ниточка из паутинного ковра-самолета уносила нас с Костей все дальше и дальше от цветка в сторону муравейника.

Ни ночью, ни днем
Не хочу быть муравьем! —

запел я громко, во весь голос.

Я хочу навеки, —

подхватил Малинин, —

Быть Человеком!..

И в это время за моей спиной раздался какой-то ужасный свист. Плотная волна воздуха толкнула меня в бок, перевернула вверх тормашками, завертела волчком и сорвала с паутины. Кувыркнувшись несколько раз через голову, я успел заметить, как огромный стриж на всем ходу склевал Костю Малинина и взмыл в небо...

Когда я понял, ч-т-о случилось, мне стало дурно, я потерял сознание и свалился без чувств на землю...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

СОБЫТИЕ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ

«ЗАГРОБНЫЙ» ГОЛОС

Не знаю, сколько времени мне пришлось пролежать без памяти в траве, наверное, очень долго, но когда память стала постепенно возвращаться ко мне, я все равно продолжал валяться, словно без памяти.

Я лежал и бредил. Все, что мы пережили с Костей, все-все в чудовищной последовательности снова мелькало перед моими глазами. Я попробовал открыть глаза, но от этого ничего не изменилось — или вокруг была ночь, или я ослеп... Тогда я стал думать о Косте.

Костя погиб, но в моей памяти он был совсем-совсем живой. Моя память, хоть ненадолго, воскресила моего лучшего друга, и от этого мне стало немного легче. И почему только этот проклятый стриж склевал не меня?.. Ведь я же втравил Костю в эту историю, и вот я живой, а Костя погиб, погиб как муравей, не успев даже превратиться в человека! Сначала эта мысль мне показалась правильной, а потом я подумал еще немного, и эта мысль мне показалась неправильной. Что значит — Костя погиб как муравей, не успев превратиться в человека? Да Костя, в кого бы он ни превращался, он все равно по отношению ко мне оставался че-ло-ве-ком! И на помощь муравьям Костя бросился как человек! И меня в беде не оставил! И один без меня не захотел ни в кого превращаться! И перед мирмиками не струсил! Да если бы Эрка Кузякина видела, как бесстрашно себя вел Костя Малинин

на войне, да оца бы ему одному весь номер стенной газеты посвятила, а Алик Новиков, если бы он был муравьиным корреспондентом, да он бы на него всю пленку исцелкал.

Нет, Костя Малинин все ЭТО время был человеком, и погиб он как человек. И не надо было ему шептать никаких волшебных слов, и не надо было ему желать по-настоящему превратиться в человека, потому что он уже давно превратился! Да! Костя Малинин, безусловно, превратился в человека, а я? Конечно, самому о себе мне трудно говорить, и вел я себя по отношению к Косте Малинину как человек или нет, мне тяжело самому судить... Может быть, я как был муравьем, так и остался? Может быть... Только я тоже, честно говоря, я тоже старался не подгадить... Мне ведь тоже из-за Кости Малинина мирмики сколько раз голову чуть-чуть не оттяпали. Хорошо, что в последний раз еще промахнулись да вместо головы в лапу вцепились, а лапа до сих пор вон как болит и ноет.

Верхней лапкой я осторожно погладил ту, что прокусили мирмики, и дернулся... Нет, нет, на этот раз я не лапкой гладил муравьиную лапку, а рукой, человеческой рукой я гладил ногу, — так мне, во всяком случае, показалось... Тогда я открыл глаза и действительно увидел вместо лапы обыкновенную мальчишескую ногу. Это была моя нога, и только запекшаяся от крови царапина напоминала о том, что эта нога совсем недавно была муравьиной лапой, и руки у меня были теперь как руки, и голова... И голова на месте...

Чтобы прийти окончательно в себя, я еще немного полежал в траве, потом немного посидел, а потом встал, отряхнул штаны и, спрятав руки в карманы, как человек зашагал к дому. Я шел, не глядя по сторонам, уткнувшись глазами в носки ботинок. В голове у меня шумело, все тело ныло, словно меня всего исколотили палками, а нога, покусанная мирмиками, так саднила, что на нее было больно наступать. Раз пять или шесть я натыкался на каких-то прохожих, которые каждый раз при этом мне говорили: «Под ноги надо смотреть, мальчик!» — как будто бы я смотрел не под ноги, а по сторонам.

Не помню, как я добрался до своего двора, потому что всю дорогу я шел как во сне и очнулся только тогда, когда налетел животом на калитку.

Не вынимая рук из карманов, я пинком распахнул дверцу, подошел к скамейке и сел. Во дворе было все по-прежнему. Все так же с акаций то и дело срывались веселые компании воробьев, над клумбой порхали бабочки, а по скамейке бежали черные муравьи. Все было на своем месте. Не было только Кости Малинина. Не было и уже не будет больше никогда. Да и самого меня тоже, пожалуй, не было, то есть вообще-то я был, но я был уже совсем какой-то не такой. Я сидел на лавочке сам не свой. Мне

все казалось, что я только что вернулся из какого-то очень-очень далекого и очень опасного путешествия, в которое я отправился вместе со своим другом Костей Малининым много-много лет тому назад. Отправился вместе с Костей, а вернулся один. И теперь уж всю жизнь буду один, совсем один...

Я закрыл лицо руками и заревел, заревел первый раз в своей жизни. Слезы бежали по щекам, по рукам, по шее и даже по животу. Сажу, реву, а слезы все бегут и бегут. Я даже удивился: откуда у человека может взяться столько слез? С другой стороны, если человек ни разу в жизни не ревел, то у него за все время слезы вполне могли накопиться в таком большом количестве.

— Баранкин! Ты это чего разнюнился? — раздался совершенно неожиданно откуда-то сверху голос Кости Малинина.

СОБЫТИЕ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ

МЫ СУЩЕСТВУЕМ!

— Костя,— сказал я, перестав всхлипывать и обливаться слезами.— Это ты?

— Я! — сказал голос Кости Малинина сверху, голос был глухой и далекий, словно он шел с неба.

— Ты уже... т-а-м?

— Где — т-а-м?..

— Ну где там, на т-о-м свете, что ли?

— На каком на т-о-м свете?.. Я на заборе, а не на том свете, чего это ты городишь?..

— Ну что ты меня, Малинин, обманываешь? Я же сам видел, как тебя съел стриж. А раз он тебя съел, то ты не можешь сидеть на заборе.

— Кого съел стриж? Меня?.. Он тебя съел, а не меня, я своими глазами видел.

— А я тебе говорю, он тебя съел!

— Как же он меня съел, если я живой и невредимый сажу на заборе? Открой глаза и убедишься!

— «Открой»! А если я боюсь?

— Чего ты боишься?

— Я глаза открою, а ты не существуешь,— сказал я и снова пролил целых два ручья слез.

— Хорошо,— сказал сверху голос Кости Малинина,— сейчас ты убедишься, существую я или не существую.

Вверху что-то завозилось, зашебаршило и затем прыгнуло мне на плечи.

Я свалился на землю и открыл глаза. Костя Малинин был жив, никаких сомнений и быть не могло. Он сидел на мне верхом, тузил меня кулаками и приговаривал:

— Ну как, существую я или не существую? Существую или не существую?

— Существуешь! — заорал я, и мы вместе с Костей покатились по траве, устланной желтыми листьями. — Костя Малинин из семейства Малининых существует!!! Уррра!!! Уррра!!!

— Значит, с-у-щ-е-с-т-в-у-е-м?

— С-у-щ-е-с-т-в-у-е-м, значит!

— А как мы с тобой существуем?

— Как люди!

— Как ч-е-л-о-в-е-к-и!

— Урра!!! — крикнули мы на радостях в один голос и снова бросились обнимать друг друга.

— Постой! Постой! — сказал я Косте. — Дай-ка я на тебя посмотрю...

— Да что ты, Юрка! — засмеялся Костя. — Что, ты меня раньше не видел, что ли?..

— Не видел! — сказал я. — Раньше я тебя не видел и ты меня тоже по-настоящему не видел... А главное, что я раньше сам себя не видел и ты сам себя не видел...

И мы стали молча смотреть друг на друга. Костя смотрел на меня, а я смотрел на Костю, и не просто смотрел, а рассматривал всего, с ног до головы, рассматривал как какое-то потрясающее чудо природы. Некоторое время я, например, тараща глаза, разглядывал Костины руки, покрытые боевыми ссадинами и царапинами. Раньше я, конечно, ни за что бы не обратил внимания ни на свои, ни на чужие руки. Руки и руки... А сейчас я не мог оторвать от них глаз. Вот это да! Это вам не какая-нибудь муравьиная лапка или воробьиное крылышко! Вы тоже никогда не обращали внимания на свои руки? Нет, из ребят, может быть, кто и обращал внимание, а девчонки определенно обращают внимание только на свое лицо.

А голова!.. Я на свою голову тоже раньше не обращал особенного внимания. Голова и голова... Есть на плечах, и ладно! Нахлобучишь кепку — и хорошо! Пофантазируешь — и довольно! А теперь, теперь... После всего-всего, что я пережил, уж я-то точно знал, что если руки человека — это чудо, то уж голова — это самое расчудесное чудо из всех расчудесных чудес. Даже голова Веньки Смирнова — это тоже чудо. Только он еще не знает об этом, а во-вторых, не умеет этим чудом пользоваться. А таких, как Венька, на земном шаре может, наверное, много человек набраться. И в Америке есть свой Венька Смирнов, и во Франции, и в Англии... И везде есть такие ребята, которые ни о чем не думают, и такие, которые думают совсем не о том, о чем надо

думать,— такие тоже есть. Например, я и Костя Малинин! Но теперь-то я точно знаю, отчего это все происходит: оттого, что не все ребята знают о том, как это замечательно интересно — думать вообще и особенно думать о том, о чем нужно думать. Думать и соображать! И опять же не как-нибудь, так, инстинктивно, как говорится, по-муравьиному, а по-настоящему думать — по-че-ло-ве-че-ски!!!

Не знаю, сколько бы еще времени просидели мы с Костей вот так на траве, думая об одном и том же...

Мне Костя, конечно, не говорил, но я готов был дать голову на отсечение, я чувствовал, я слышал, честное слово, слышал, что Костя Малинин думает слово в слово о том же, о чем думаю я, но только в самый разгар наших размышлений с дерева на спину мне прыгнуло что-то пушистое и так вцепилось сквозь рубашку в искусанное муравьями, исклеванное воробьями тело, что я чуть не заорал.

— Муська! — закричал обрадованно Костя Малинин.

Конечно, это была она — наша Муська, та самая Муська, которая два раза хотела меня съесть, когда я еще был воробьем.

— Ага, Муська! — закричал я, отдирая Муську от своей спины. — Вот я сейчас с тобой за ВСЕ и рассчитаюсь! Муська! — Я хотел схватить ее за ухо, но мне помешал это сделать Костя Малинин.

— Ладно, Баранкин! — сказал Костя. — Прости ее на радостях, раз уж все кончилось хорошо!..

И здесь Костя, видно, так снова обрадовался, что все кончилось так хорошо и даже замечательно, что бросился на меня и стал обнимать изо всех сил. Потом я от радости обнял скамейку, ту самую скамейку, на которой мы сидели еще Т-О-Г-Д-А, потом я обнял забор, который стоял возле березы, а потом мы вместе с Костей обняли березу, ту самую березу, под которой стояла та самая скамейка, на которой мне первый раз в жизни пришла в голову мысль, что я, видите ли, устал быть человеком...

— Я их по всем дворам разыскиваю, а они с деревьями обнимаются! — крикнул Мишка Яковлев с велосипеда, влетая с Аликом неожиданно на своей машине во двор.

Потом за ними показались Зинка Фокина, Эра Кузякина и все остальные.

— Мишка! — крикнули мы с Костей в один голос, набрасываясь на Яковлева с двух сторон и заключая его в свои объятия.

От неожиданности Мишка выпустил руль, и мы свалились на землю. Я и Костя продолжали обнимать и целовать Мишку Яковлева и Алика Новикова.

— Да вы что, ребята? Вы с ума сошли? Мы же вчера только виделись! Ребята! Да что это вы, как девчонки прямо! — отбивались от нас и Алик и Мишка.

— Алик и Мишка! — сказал Костя Малинин со слезами на глазах, чмокая Яковлева в ухо. — А что здесь без вас было!..

— Что было? Где было? — насторожился Алик.

— Что б-ы-л-о, т-о п-р-о-ш-л-о, — сказал я и так при этом посмотрел на Костю Малинина, что тот прикусил язык.

В это время нас окружили девчонки из нашего класса.

— Их, конечно, по всему городу ищут, — сказала Эра Кузякина, — они, конечно, на траве валяются!..

— Баранкин! — сказала Зина Фокина. — Вы намерены, в конце концов, заниматься или нет?

— Зиночка! — сказал я. — Зиночка! — повторил я. — Если бы ты знала, Зиночка, к-а-к мы с Костей намерены з-а-н-и-м-а-т-ь-с-я!

— И заниматься, и работать! — сказал Костя и взял из рук Эры Кузякиной лопату.

А я взял лопату у Зины Фокиной.

— Баранкин! — сказала Эра. — А почему у вас с Костей вид какой-то ненормальный? И поведение тоже... — добавила она.

— Потому что потому!.. — закричал я.

— Ну, пошли, — сказал Мишка, — а то и так сколько времени зря потеряли!..

— Минуточку! — сказал я. — Ребята!.. Я должен вам всем сказать, что ЧЕЛОВЕК — ЭТО ЗВУЧИТ!

— Баранкин! — сказала Эра. — Ты говоришь неправильно! Нужно говорить: «Человек — это звучит гордо!»

— Ладно, Эрка! — сказал я. — Мы-то теперь уж лучше твоего знаем, как звучит че-ло-век! Верно, махаон?.. То есть верно, Малинин?

— Верно, Баранкин!

После этих слов мы с Костей снова сдавили Мишку с двух сторон в своих объятиях.

— Ну, — сказал торжественно Костя Малинин мне и Мишке, — поползли, значит?

С этими словами он на глазах у всех стал вдруг опускаться на четвереньки. Хорошо, что я успел вовремя схватить его за шиворот.

— Куда поползли? — спросил Мишка. — Почему поползли?

— Ну вот! — закричала Эрка Кузякина. — Они опять за какие-то свои штучки принимаются!..

— Малинин! — сказал я грозно вслух. И затем так же грозно изобразил на лице, чтобы он выбросил сейчас же из головы свои старые муравьиные замашки.

— Я хотел сказать: по-ле-те-ли! — сказал Костя и начал уже было махать одной рукой, словно крылом махаона. Хорошо, что я и на этот раз успел схватить его за руку.

Все, конечно, опять стали на нас смотреть, как на ненормальных. А я? Разве я мог им что-нибудь объяснить? Поэтому я крепко-накрепко сжал Костину руку и сказал многозначительно.

— М-а-л-и-н-и-н!.. — сказал я. — Чвик! Вычвик! То есть...

— Выдох! — сказал Костя Малинин. — Вдох-ох-ох!

И пусть ребята, как всегда, нас не поняли, но Малинин меня понял! И я его понял! И больше мы не сказали ни слова, потому что мы все втроем (я! Костя! и Мишка!) полетели заниматься. То есть мы не полетели, конечно, мы, конечно, побежали, но вместе с тем и как бы полетели.

На лестничной площадке я совершенно неожиданно столкнулся носом к носу с Венькой Смирновым. Помните его? Он еще стрелял в нас с Костей из рогатки, когда мы были воробьями. А когда были бабочками, то он нам хотел крылья оборвать!.. А когда были муравьями, то он муравейник наш разрушил!..

— Приветик! — сказал Венька, щурясь и прыгая сразу через две ступеньки вниз.

Я успел схватить его за рубаху и остановить.

— Ты чего? — спросил Венька.

— Вот чего! — сказал я, притягивая Веньку к себе и давая ему подзатыльник.

— За что? — спросил, щурясь, Венька.

— Не будешь в другой раз стрелять в меня из рогатки!

— Когда я стрелял в тебя из рогатки?

— Когда я сидел вон на той ветке! — Я показал рукой в окно на тот самый тополь, с которого меня и Костю чуть-чуть не сбил Венька из своей катапульты.

— Когда ты сидел на той ветке? Что ты городишь, Баранкин, какую-то чепуху?..

— Чеп-чеп-чепуху, говоришь? А двоих воробьев на тополе помнишь?

Венька сощурился, соображая, как лучше ответить на мой вопрос.

— А это тебе за бабочек! Чтобы ты нам, то есть им, в следующий раз крылья не обрывал!.. А это за муравьев, чтоб лопатой в муравейник не тыкал...

Я дал Веньке еще два раза по шее, выхватил из его кармана рогатку с оптическим прицелом, сломал ее и бросился догонять Мишку с Костей.

— Баранкин! — донесся до меня снизу Венькин голос.
— Что тебе?
— А я так ничего и не понял все равно!
— Станешь ч-е-л-о-в-е-к-о-м, тогда в-с-е п-о-й-м-е-ш-ь! — крикнул я, перегнувшись через перила.

СОБЫТИЕ ТРИДЦАТЬ ШЕСТОЕ

Я ХОЧУ НАВЕКИ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

В этот день мы занимались с Яковлевым, наверное, часа четыре подряд. Когда Мишка в самый разгар занятий спросил нас: «Ребята, а вы не устали? Может, хотите отдохнуть?» — мы с Костей в один голос закричали на Мишку: «Нет, нет! Мы не устали! Что ты? Какой еще там отдых! Ты давай не отлынивай, Яковлев!» — «Я не отлыниваю», — сказал пораженный Мишка и стал объяснять нам следующую задачу, потом он повторил с нами пройденное, потом объяснил еще одну задачу, потом устроил нам с Костей небольшой экзамен, потом он положил голову на стол и сказал хриплым шепотом, что больше он с нами заниматься не может, потому что он уже сорвал голос и вообще совершенно выбился из сил.

Тогда мы взяли лопаты и пошли с Мишкой в сад сажать деревья. Физический труд — лучший отдых после умственного напряжения.

Когда мы выбежали во двор, то увидели Алика. Он все это время сидел на лавочке и караулил, чтобы мы не сбежали. Вот чудак! Узнав, что мы добровольно идем работать в сад, он вытаращил глаза и побежал следом за нами, щелкая на ходу фотоаппаратом. В саду нам сажать ничего не пришлось — все деревья были посажены. Тогда мы стали их поливать, а Алик опять все время таращил на нас глаза и щелкал фотоаппаратом. Потом мы вернулись опять ко мне домой и занимались до тех пор, пока и Мишка и Костя не устали окончательно.

Когда Яковлев и Малинин разошлись по домам, я все еще продолжал сидеть над учебниками и заниматься самостоятельно. Самостоятельно я занимался до тех пор, пока не заснул за столом. Как я очутился в постели, я не помню, наверное, в постель меня перенес отец. Зато проснулся я на следующее утро сам, и так рано, что все еще спали. Я с-а-м застелил аккуратно постель, тихо позавтракал, собрал учебники, на цыпочках вышел из дома и побежал в школу. Сегодня я должен был, я был о-б-я-з-а-н прийти с-е-г-о-д-н-я в школу самым п-е-р-в-ы-м!

Так я и сделал. Я явился в школу тогда, когда все мои одно-

классники еще крепко спали в постелях — и Зинка Фокина, и Миша Яковлев, и Алик Новиков, и Костя Малинин, — ну, этот-то, наверное, спит без задних ног! Один я из всего класса не спал. И не только не спал, а уже был в школе часа за два до начала занятий. Так рано, вероятно, еще ни один ученик в жизни не приходил в школу. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что по противоположной дорожке к школьному крыльцу за кустами сирени тоже крадется чья-то фигура. Я остановился. Фигура тоже остановилась. Я сделал три шага к школе, и фигура тоже сделала три шага. Я стал подкрадываться к входной лестнице, и фигура стала подкрадываться. Я высунулся из-за куста, фигура тоже высунула свою физиономию. Мы долго смотрели друг на друга, наконец мне надоело молчать.

— Малинин! — сказал я.

— Ну?

— Ты чего это так рано появился в школу?

— А ты?

— Я т-а-к п-р-о-с-т-о... А ты?

— И я т-а-к п-р-о-с-т-о...

— Понятно! — сказали мы вместе.

Тихо, стараясь не шуметь, мы с Костей поднялись одновременно по каменной лестнице и прикинули лицами к холодному и мокрому от росы дверному стеклу и стали молча ждать, когда нас пустят в н-а-ш-у ш-к-о-л-у.

Мы стояли молча, не глядя друг на друга, стояли и просто ждали, даже не подозревая, что ровно через два часа начнутся такие удивительные события, события, которые потрясут не только весь наш класс, но и всю школу.

Во-первых. Ровно через два часа и десять минут меня вызовет к доске Нина Николаевна, и я буду ей рассказывать все, что я знаю о жизни бабочек. И Нина Николаевна мне скажет: «Юра Баранкин! Жизнь бабочек ты знаешь очень хорошо. Садись! Молодец! Когда ты отвечал, мне даже показалось, что у тебя за спиной выросли крылья!..» После этих слов весь класс так и покатится от смеха, и только мы с Костей не улыбнемся и будем сидеть за партой серьезные-пресерьезные.

Во-вторых. Через два дня мы с Малининым Костей исправим по геометрии двойки на четверки.

В-третьих. Через три дня Зинка Фокина заявит во всеуслышание, что будто бы мы с Костей, по ее мнению, заболели какой-то загадочной болезнью и что это у нас, вероятно, скоро пройдет.

В-четвертых. Еще через несколько дней Зинка Фокина вдруг почему-то перестанет при каждом удобном случае говорить мне: «Баранкин, будь человеком!»

В-пятых. Дней через пятнадцать мой отец будет, как всегда,

проверять мой дневник, и первый раз за всю жизнь он при этом ничего мне не скажет и только удивленно пожмет плечами и молча переглянется с мамой.

В-шестых. Ровно через месяц директор нашей школы Василий Васильевич Туркин...

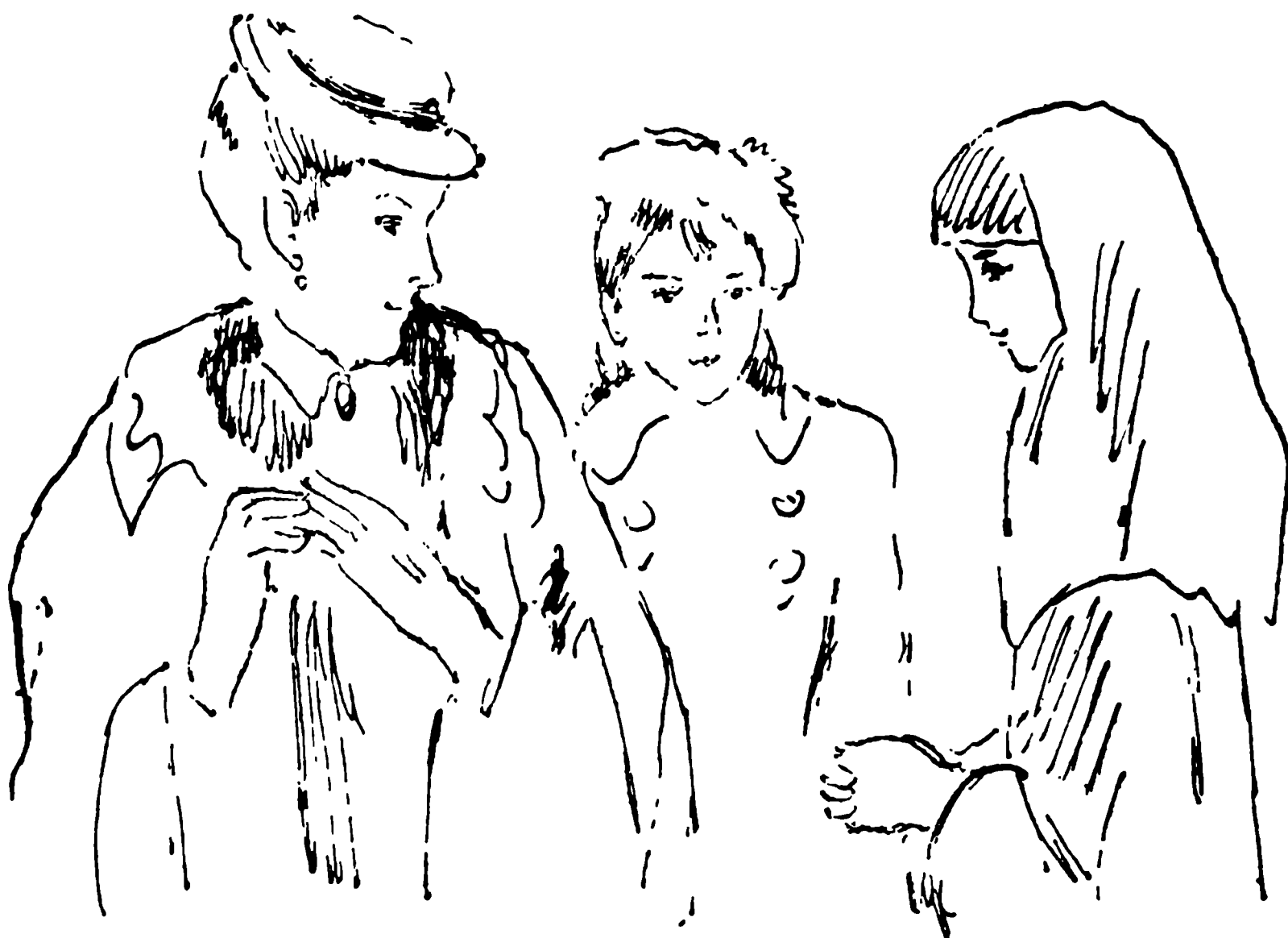
Впрочем, об этом, пожалуй, говорить еще рано, ведь это случится через месяц, а сейчас еще прошло только десять минут, всего десять минут, как мы стоим с Костей на школьном крыльце, просто стоим и ждем, когда же наконец-то откроется дверь и нас пустят в школу, в н-а-ш-у ш-к-о-л-у.



МАРИЯ ПРИЛЕЖАЕВА

ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА МАЯ

Повесть



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСТВО, ПРОЩАЙ!

1

— Вставай! Живо, скорей!

— Кто тут? Мама? Что, мама?

Она стояла со свечкой, придерживая у горла незастегнутый капот. Крошечный язычок пламени освещает худое лицо. Темень кругом. Только желтый огонек слабо высвечивает из тьмы мамино лицо. Волосы нечесаными прядями свисают на плечи и грудь.

— Слышишь?

— Нет.

— Вслушайся. Слышишь?

Катя села, натянула одеяло.

— Не слышу. Нет, не слышу.

Некоторое время мама молча хмурила брови. Катя узнала то выражение лица. То. Оно недавно появилось. Или Катя только недавно заметила? Кажется, вот мама здесь. И будто не здесь. Что-то чужое в ней. Катя боялась ее такую.

— Разбудить Татьяну? — спросила робко.

— Татьяна отпущена к родным на три дня.

— Зачем?

— Нужно.

Татьяна отпущена к родным. Значит, в усадьбе они с мамой одни. В саду березовая аллея, сиреневые кусты вдоль забора, три тенистые липы над крокетной площадкой — укрывайся где хочешь. Боже! А за садом перебеги лужайку — и церковь. Иногда в церкви выставляют на ночь покойника. Может быть, и сейчас...

«Вдруг... среди тишины... с треском лопнула железная крышка гроба и поднялся мертвец. Зубы его страшно ударяли ряд о ряд, в судорогах задержались его губы, и, дико взвизгивая, понеслись заклинания. Вихрь поднялся по церкви, попадали на землю иконы...»

— Одевайся! — коротко велела мама.

«Зачем? Ведь ночь».

Спорить нельзя. Спрашивать нельзя. Натянуть платишко, скорей, как-нибудь. Руки не лезут в рукава.

— Поторапливайся, не маленькая, давно уже взрослая.

Катя кое-как справилась с платьем, накинула шарфик. Конечно, деревенские девчонки в ее-то годы... Вон Саньку возьмите...

— Хочешь знать, почему отпустила Татьяну? — спросила мама, беспокойно оглядываясь по сторонам. От желтенькой свечки тьма по углам кажется гуще. Настоящая крошечная тьма. Мама прикрыла свечку ладонью, чтобы не задуть. — Есть подозрения... она связана с теми.

«Господи», — перекрестилась Катя под шарфиком.

— Объясни, мама, пожалуйста.

— После. Сначала осмотрим дом.

— И наверху?

Дом с летним мезонином. Наверху две небольшие комнаты. Когда летом они из города приезжают в усадьбу, в мезонине живет Вася. Нынешним летом Васи нет, и комнаты наверху стоят нежилые. И два просторных чердачных чулана пусты. Конечно, и при Васе в чуланах никто не живет, но сейчас там как-то особенно пусто. Сумрачно. Свисают пряди паутинок со стропил. Того и гляди, споткнешься о балки. Или налетишь на печные кирпичные трубы.

Мама медленно шла по дому со свечкой. В столовой крупные квадратные плиты паркета осели, у стен пол покатым, а в середине

комнаты образовалась как бы впадина. Обеденный стол накренился, посуду ставить нельзя: поедет, как с горки. Впрочем, они давно не обедают в столовой.

Татьяна скажет иной раз, не маме, конечно, а Кате, тихонько сочувствуя:

— Ничего-то барского в вас не осталось.

Татьяна давно живет у них, еще при папе жила. Смутно припоминается Кате: при папе в доме былолюдно, приезжали гости, играли на пианино, пели, гоняли на крокетной площадке шары.

Мама и теперь иногда играет на пианино. И на селе их зовут по-прежнему — барские. Настоящая их фамилия Бектышевы, но на селе, может быть, и не знают их настоящей фамилии.

Катя шла за мамой по пятам. В голову, как нарочно, лезли разные страшные истории. Вот, например, Санька божится, что, раз у них в усадьбе зимами печки не топят, в печных трубах с холодами селятся черти.

— А еще они оттого выбрали вас, что мать неверующая.

— Врешь, Санька. Верующая!

— Крест носит? Глянь-ка, есть на матери крест?

Креста нет. Много слезных молитв вознесла Катя богу, чтобы помиловал маму, не уготовал ей, грешной, место в аду.

«Господи, прости маму. Прости, прости, что не носит креста».

Но другим, даже Саньке, ни за что не признается.

— Есть крест. Лопни мои глаза, если вру.

— Лопнут, дождешься. И в церковь твоя мать не ходит.

— В городе ходит. Там хор. Здесь не поют, а гнусавят, оттого и не ходит.

— Молиться везде можно.

— Вот она где захочет и молится.

«...А все-таки зачем она меня разбудила? Неужели лез вор?»

В деревне, в их селе Заборье, пересеченном тихой рекой Шухой, про воров не слышать. Здесь и замков на дверях не водится. В страдную пору, когда все село на лугах или в поле, если в какой избе не останется даже бабки с малым дитем, щеколду на дужку накинута, щепкой заткнута — вот вам и запор.

Маме почудились воров. Что-то почудилось. У нее бессонница, целые ночи не спит, поневоле пригрезятся страхи.

Они на цыпочках обошли комнаты.

Заглянули на кухню.

Нигде никого.

Пришли в мамину спальню. Здесь душно, форточки закрыты. Шторы опущены. Кровать отгорожена ширмой. На ночном столике пепельница с грудой окурков. Вещи насквозь пропитаны едким табачным дымом.

Мама вставила свечку в подсвечник на столике и в страшной

усталости, будто отшагала верст двадцать, села на кровать. Закурила.

Вот что еще Катю смущало. Ни в деревне, ни в городе она не видела курящих женщин. А мама не выпускала изо рта папиросы, постоянно дымила.

— Бабы наши на твою мать дивятся,— говорила Санька.— Чудные вы, барские.

— Бектышевы, а не барские.

— Пускай Бектышевы. Все у вас по-чудному, не как у других.

— ...Можешь лечь,— позволила мама, докурив папиросу и зажигая от свечки другую.

И забыла о Кате.

Катя привыкла — мать никогда ее не ласкала. Васю ласкала: «Надежда моя!»

Когда приносили письмо из действующей армии, мама, бледная, дрожащими пальцами торопливо надрывала конверт, читала, целовала листок, от слез буквы расползались, и Катя после с трудом могла разобрать, что пишет Вася о войне.

Катя тоже любила его. Больше всех на свете любила его.

Какое измученное у мамы лицо! Далекие глаза, настороженные, будто все время ждет, вот кто-то подкрадется неслышно...

— Спокойной ночи, мама!

— Ступай.

Если бы можно было спросить: «Мамочка, что с тобой? Отчего ты молчишь? Не ешь. Ничего не ешь, только куришь. Что с тобой, мама?»

Катя спала на диване в гостиной, так называлась эта комната, где стояло пианино, ломберный столик для карточной игры, потертая плюшевая мебель.

Отчего-то грустно припомнилась одна летняя ночь. Тогда Васю еще не призывали в армию, он жил с ними в усадьбе, пол в столовой тогда еще не провалился. Катино место было в столовой. У нее не было в доме постоянного места.

Она крепко спала и внезапно проснулась. словно что-то толкнуло ее. В окно светили звезды. Огромные синие и зеленые звезды. Катя не поверила: правда ли? Может быть, она все еще спит? Неужели взаправду эти таинственные звезды, таинственная тишина?

...Под окном что-то стукнуло. Кто-то влезал в раскрытое окно гостиной. Катя в страхе едва не вскочила. Ах да! Ведь это Вася возвращается со свидания с дочкой доктора из земской больницы, в пяти верстах от Заборья.

Кате нравилось, что Вася влюблен, пишет докторской дочке записки, рвет и, схватившись за голову, долго сидит без звука, выражая всей позой муки любви. Впрочем, чаще вскочит на

велосипед и укатит в коричневый флигель возле больницы и — до позднего вечера.

Вот вернулся со свидания звездной ночью, раскрыл пианино, играет. Чуть слышно.

«Я счастлив, милая жизнь!»

2

Сквозь тюлевые занавески солнце теплыми пятнами расплескалось по комнате. Если солнечные пятна останутся на третьем сверху стенном пазу, значит, восемь утра.

В разгаре лета стены гостиной рано заливаются светом. Волнами наплывает запах жасмина. В скворечне и под застрехой громко пищат птенцы, разевая жадные клювы, — сад щебечет, стрекочет.

Сейчас тихо в саду. За окном красные кисти рябин. Лето уходит, лету скоро конец. Скоро сад весь станет желтым и пестрым, а гроздья рябины все тяжелей и багрянее.

Рябина ты багряная, я тебя люблю.

Солнце золотое, я тебя люблю...

Нет, лучше так: «Солнце золотое, я тебя пою». Такими словами в обычной жизни не говорят. И хорошо. Поэты говорят необычно.

Утром радостно. Особенно в каникулы в Заборье. Хочется вскочить, куда-то бежать, кажется, именно сегодня случится что-то из ряда вон выходящее...

Но вспомнилась ночь, и Катя с тяжелым сердцем пошла к маме. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Иногда скажут: «Занимайся своими делами». И на весь день свобода, раздолье, лети куда хочешь, на все четыре стороны, до вечера не хватятся.

Но чаще напротив: «Довольно бить баклуши. Делай французский перевод».

Или засадят на полдня играть гаммы. Катя ненавидела гаммы, упражнения Ганона, даже детские пьесы Чайковского! У нее нет музыкальных способностей, музыкального слуха. Неловко признать, в этом смысле она просто пень.

Но она не ответит маме: «Не буду». Или: «Не хочу». Или что-нибудь в этом роде.

— Мама, можно прочесть эту книгу?..

— Мама, можно, ко мне придет одна девочка?..

— Мама, можно?..

И если нельзя, так нельзя.

Как-то раз, после одного «мама, можно?», Вася сказал:

— Послушная ты.— Катя не поняла, хорошо это или плохо. Он с жалеющей улыбкой добавил: — Послушные не открывают Америк.

Она поняла. Резко дернулось в груди.

— Пожалуйста, открывайте Америки, а я и так проживу.

— Катюшон, не сердись, не то я сказал,— виновато признался Вася и взял ее за виски, крепко держал и глядел в глаза, не отпуская, покуда у нее не выступили все-таки слезы.— Не сердись, Катюшон.

Разве могла она на него сердиться?

Иногда утром, поднявшись раньше всех, они уходили вытаскивать поставленные на ночь удочки. Ставил он, наживлял на крючок пескаря или другого живца и закидывал удочку на ночь где-нибудь неподалеку от омута в кустах, чтобы кто не позарился на леску. Омуты в их родниковой извилистой Шухе множество, рыбы всякой уйма — голавлей, окуней, сазанов, крупные, в полруки, а то и больше.

Вася будил Катю до солнца.

Над берегами Шухи навис туман. Белый. Вступишь в него, и скоро платье влажно прилипнет к спине. Вася давал Кате вытащить самое большее две удочки в утро. Она разводит ветви куста, вся облитая холодной росой, осторожно берется за удилище и сразу чувствует, взяла рыба или нет. Если взяла, тяжело тянет вниз или начинает метаться в стороны, сумасшествовать. Того и гляди, сломает удилище.

Стиснув зубы, чтобы не завизжать от азарта, Катя медленно, как учил Вася, ведет удочку. Не упустить бы, не упустить!

Когда они возвращались домой, заря разливалась в полнеба, туман таял, свежо зеленела трава.

Крестьяне шли в поле.

— Добытки, на ушицу раздобыли рыбешки,— скажет баба с серпом на плече.

— Чо им не баловаться? Им рожь не жать,— скажет другая.

Потом Вася все реже жил дома. Поступил учиться в Московский институт путей сообщения. Потом началась война.

Третий год идет война, немцы нас бьют, плохи наши дела. У всех одно на уме: чем только все это кончится?

Санькин отец вернулся из лазарета на деревянной ноге. Однажды, дожидаясь Саньку возле ее огорода, Катя случайно подслушала разговор Санькиного отца с таким же отвоевавшим мужиком без руки.

— Невидная, безрукая да безногая наша житуха.

— У кого она видная, ежели ты из бедного классу? Главное дело, германца никак не осилим.

— Царь у нас некудышный. Вовсе плохонький царь... С эдакой головой не осилишь.

— Офицерье туда ж. Один к одному сволота.

Катя обмерла: ведь Вася-то, брат ее,— прапорщик!

Солдаты не заметили Катю. Не дождавшись Саньки, она умчалась домой.

Вот в какие неприятные случалось ей попадать положения. Ладно, что Катя довольно быстро о них забывала.

...Где же мама?

Окна в маминей спальне задернуты темными шторами. Кровать не застелена. На ночном столике огарок свечи в подсвечнике, куча окурков. И на полу окурки, пепел.

Катя обошла дом. Мамы нет. В кухне самовар холодный, не ставленный. Где она? Ушла к Ольге Никитичне? Едва ли, с Ольгой Никитичной у них близкого знакомства нет.

Катя съела булку и вдруг вспомнила вчерашнего воробушка. Утром она набрела на него у крокетной площадки. Он беспомощно лежал со сломанным крылышком. Катя подняла воробья, жалостно слушая, как колотится в ладони маленькое воробьиное сердце. Весь день выхаживала воробушка, кутала, поила, кормила, но он не пил и не ел и к вечеру умер. Катя спрятала его в коробку, там он и пролежал всю ночь. Сегодня похороны. Ни одного лета у нее не обходилось без похорон.

Воробушек за ночь окостенел, головка свесилась набок. Она вышла с ним в сад вырыть где-нибудь под кустами могилу. Тут как раз за садом на колокольне зазвонили. Медно ударял большой колокол, гудел, далеко разливаясь по полям и лугам, а малые колокола трезвонили наперебой, будто бегут вперегонки.

«Названивают, словно на праздник. Да и верно праздник, должно быть».

— Ты здесь зачем? — резко послышалось сзади.

Мама. Какой сиплый голос! Волосы растрепаны, подол юбки мокрый, видно, долго бродила по росистой траве.

— Живо домой!

Почему-то в это ясное розовое утро, когда она так печально любила воробушка, грубый окрик матери больно оскорбил Катю.

Но она и теперь ничего не сказала и пошла домой, понутив голову, держа в руке птичку.

— Ты подавала им знаки,— сказала мать, входя в кухню.

— Кому? — испугалась Катя. Ужасно испугалась. Нет, она не может больше все это терпеть! Не может, не хочет. Она убежит.

В глазах матери стояла какая-то хитрость. Эта хитрость и было самое страшное, потому что ее нельзя было понять, и

Катя не знала, что думать, что делать, и хотела спрятаться, куда-нибудь скрыться, чтобы не видеть выпытывающих и одновременно каких-то бездонно пустых маминых глаз.

— Ты подавала им знаки. Им. На колокольне.

— Мама! — взмолилась Катя.

— Молчи. Я все знаю. Давно за тобой слежу. — Пальцы цепко впились Кате в плечо. — Признавайся. Признавайся. Ну, призна...

Но на кухонном крыльце раздались шаги, кто-то взялся за дверную скобу. Мама мигом отпустила Катю, отскочила к стене, прижалась, словно хотела втиснуться в стену.

— Кто там?

Вошла Ольга Никитична. Ангелы в небесах слышали Катин ужас, прислали на помощь Ольгу Никитичну.

Всегда она бывала ровна и спокойна, а сейчас казалась озабоченной и заговорила с какой-то искусственной ласковостью:

— Александра Алексеевна, а у вас нынче вид посвежевший. Но доктора все же я к вам привела...

— Я здорова, — оборвала мама.

Старый доктор, с чеховским высоким лбом и пенсне, тот самый, из земской больницы, в дочку которого был влюблен Вася, пристально поглядел на маму и сказал, как Ольга Никитична, естественно ласково:

— Здравствуйте, Александра Алексеевна. Оказия вышла в Заборье, дай, думаю, загляну поведать.

— Я здорова, — повторила мать. И ровным голосом, словно о чем-то будничном, вовсе обыденном: — Я знаю, кто хочет меня отравить.

Ольга Никитична порывисто обняла Катю, привлекая к себе.

— Полноте, Александра Алексеевна, кому надо вас отравлять? — возразил доктор.

— Не спорьте. Я знаю, кому и зачем это надо, — ответила мать, и в глазах блеснуло то — непонятное, злое и хитрое.

— Идем, — позвала Катю Ольга Никитична. — Нечего здесь делать тебе.

Она крепко взяла ее за руку и повела из дому, как маленькую.

Катя несла воробушка.

3

Ольга Никитична жила в деревянном домишке, который только тем отличался в ряду деревенских изб, что в палисаднике было тесно и празднично от толпы пышных георгинов и флоксов. Муж ее был фельдшером в той же земской больнице в пяти

верстах от Заборья, но его тоже призвали в армию. Почти всех мужчин из деревень и сел в окрестности угнали на фронт.

Ольга Никитична учила в школе ребят и зимами жила одна, а на каникулы приезжала из города дочка Зоя, старше Кати, лет пятнадцати, тоже гимназистка.

— Пока побудешь у нас, а там видно будет,— бодрясь и словно стараясь скрыть что-то, говорила Ольга Никитична и тут же, среди бела дня, принялась стелить Кате постель в крохотном кабинетике фельдшера на его давно пустовавшей кровати.

— Пока с Зоей побудешь. Зоя тебя рукоделию научит. Она у нас мастерица. Что за барышня, чтоб иголку не умела держать? Ну вот и готова постелька.

Ольга Никитична говорила без умолку о всяких пустяках вроде Зоиногo рукоделия, казалось, боясь Катиных вопросов. Но Катя ни о чем не спрашивала. Кое-что уже сама поняла. Правда, не все.

Зоя вышивала гладью скатерку. Вечно вышивала, целые дни сидела за пяльцами.

— Полюбуйся, Катя, кружев у меня на две дюжины полотенец навязано! Кончу гимназию, а приданого полный припас.

— По нынешним временам и с приданым девки с рук не идут. Женихов-то всех перебили,—вздыхнула Ольга Никитична.

Катя глядела в окно. Виден их сад с темной зеленью сиреневых кустов, желтеющей березовой аллеей, пламенными кострами рябин. Вытопанная лужайка у церковной ограды. Белая колокольня умолкла — обедню отслужили. Позади усадьбы и церкви вправо и влево стройный порядок крестьянских изб.

Обычно села строятся вдоль реки, а наше Заборье перекинуло поперек Шуки мост и вытянулось в ту и другую сторону чуть не по версте. Зачем село ушло от реки? Может, приманили леса? Обoими концами Заборье упирается в леса. Там между шатровых елей путается орешник, жестко шуршат осины, черноствольная ольха обступила болотца. Болотец у нас много, затянутых светлой ряской, веснами сотни лягушек задают концерты, на все село слышно.

«Что с мамой? Что с мамой?»

— Ольга Никитична, я пойду к маме.

— О маме не тужи. Есть кому о ней позаботиться,— тем же старательно-спокойным тоном ответила Ольга Никитична.

Катя глядела в окно. Виден их сад...

— Тогда сбегая к Саньке,—попросилась она.

— А это — сделай милость, беги.

Катя не оглянулась на Зою, отчасти она чувствовала себя по отношению к Зое изменницей, но не хочется сидеть над пяльцами.

И говорить с Зоей не о чем. Удивительно не о чем с ней говорить.

Она припустила бегом. Катя не любила тихо ходить. Ей нравилось мчаться и размахивать прутом, будто всадник на несущемся коне.

Все это называлось мальчишескими ухватками, вовсе не идущими девочке, называлось дурными манерами. Наверное, так оно и было, и мама поделом бранила ее, но, вырвавшись из дома, Катя начисто о манерах забывала.

Санька мыла полы. Двое мальчишек, пяти и трех лет, на широченной, покрытой лоскутным одеялом кровати строили из чурок амбар. Третий, маленький, спал в зыбке, подвешенной к потолку на шесте, а Санька, домывая полы, скребла косарем у порога.

— Помочь?

— Вона помощница выискалась! — хмыкнула Санька. — Тряпку выжать и то небось не умеешь. Что долго не была?

— Мама не позволяла.

— Своей воли вовсе нету. Ох и подневольная ты!

Санька быстро управилась, краем кофтенки вытерла со лба пот, сполоснулась под глиняным рукомойником, Кате приказала разуться, чтобы не наследить на чистом полу, вытащила ухватом из печки чугунок с пареной репой и кликнула братишек за стол. Маленький заворочался, просыпаясь, но Санька потрясла зыбку и мигом его укачала.

— Ой, — вспомнила Катя, — воробушка мертвого у Ольги Никитичны на окошке оставила. Похоронить хотела.

— Сиди. У Ольги Никитичны кот-ворюга. Небось давно твоего воробушка сожрал.

— Как тебе не стыдно! Какая ты жестокая, Санька.

— Ладно, не хнычь, — одернула Санька. — Мертвым не больно. Живых жрут. Ешь репу. Не хнычь.

— Как это живых жрут?

— Вот так.

Санька молча ела репу, мальчишки и Катя от ее строгости присмирели.

— Вот так, — распаляясь, продолжала Санька. — Наш тятка с войны на деревяшке вернулся, на груди «Георгий». «Георгия» зазря не нацепят, его за храбрость дают. А староста не поглядел на медаль, самую далекую да худую делянку тятке отмерил в лугах. Луга-то барские, ваши, миром у вас арендуем. Вам денежки мирские беззаботно плывут, а над нами староста. По-божески это, что тятка на деревяшке за десять верст убирать сено хромает? По-божески это, что нынче праздник преображения господня, а тятка с мамкой чем бы праздновать или на своем дворе похозяйствовать — к чужим батрачить ушли?

— Чего они батрачат-то?

— «Чего, чего»! Овсы лошадным косят. Глянь во двор, есть у нас лошадь? Нету. Безлошадные мы. И землю староста тятке потощей выделяет. Сживает со свету тятку.

— За что?

— За то, что голова непоклонная,— сверкнув глазами, гордо ответила Санька и понесла чугуны на шесток.— Ребятишки, айда в огороды. Сядем там в холодку. Малого под лопухами пристроим. А мне маманя ребячьих портов собрала, в дырах все, латать надо.

Она расстелила дерюжку у куста бузины, маленького устроила под лопухами. И повеселела и принялась одну за другой нашивать заплаты на ребячьи штаны.

— А ты рассказывай, Катя.

Вот это-то Катя и любила! Любила Санькины горящие изумлением глаза, любопытство и сияние в них, как только начинался рассказ. Любила сочинять длинные-длинные истории, не похожие на Санькины сказки о ведьмах и чертях. В Катиных историях прочитанное мешалось с выдумками и речь шла о жизни. Вроде как о ее собственной, Катиной, жизни и совсем не ее, вроде как о ней самой и совсем не о ней. В ее историях происходили разные события, ее герои страдали, терпели лишения, страшные испытания валились на них, но конец был счастливый. И Санька благодарно вздыхала, ахала, охала, и ее глубокие переживания так вдохновляли Катю, что она придумывала все новые повести. Специально для Саньки. И для себя, разумеется. Всегда со счастливым концом.

— Беда-то! У нас на селе и не случалось такого! — долетело до них в разгаре Катиной повести.

Говорили у крыльца. Видно, вернулись с поля. Говорила Санькина мать:

— Да правда ли? Может, врут?

— Где там врут! — спорил другой женский голос.— Своими глазыньками видела, как она, бедная, билась. «Не хочу! — кричит.— Изверги вы». Дак они ей руки связали, Лександре Ляксе-не, сердечной! Да силком на телегу. А она криком кричит: «Спасите, убивать меня повезли!»

— Боже мой! — простонала Катя. Вскочила.— Мама! Спасите ее! Не убивайте ее!

Она выбежала из огорода к крыльцу. Там две женщины и Санькин отец на деревянной ноге. Замолчали. Испугались ее вида.

— Ты... деушка...— запинаясь, сказал Санькин отец,— с матерью твоей не того... худо ей... так ты, ежели вовсе не будет к кому прислониться... в случае... приходи.

И стал торопливо подниматься на крыльцо, стучая о ступеньки деревянной ногой.

— Усадьба у ней. Управитель найдется,— возразила Санькина мать.

— Я не про то. Ежели стоскуется. Вот я про что.

Деревяшка стукнула о ступеньку.

Наползавшая с востока туча завесила солнце, притемнила день.

Стая молодых галок снялась с колокольни и, звонко цокая, пронеслась над селом.

4

Спустя несколько дней у палисадника Ольги Никитичны остановился тарантас, запряженный парой. Приехала высокая пожилая дама, в шляпе из кремовой соломки, дорожном светло-сером платье и серой же, но потемнее, тальме со стоячим широким воротником, как, видела Катя, рисуют в иллюстрированном журнале «Нива» именитых особ старинных фамилий королевства Великобритании. Но не стоячий воротник ее тальмы, будто срисованный с иллюстраций из «Нивы», удивил Катю. Удивило, что приезжая старая дама (наверное, не меньше шестидесяти) казалась притом совсем не старухой. Статная, стройная. Поднимающиеся венцом вокруг лба блестящие, без седины волосы; темные, будто смотришь в колодезь, глаза, светлая кожа с легким румянцем.

Величавая и праздничная, она неспешно оглядела Катю у окна, Зою за пальцами.

— Кто из вас Катя Бектышева?

— Я.

— Здравствуй. Я твоя баба-Кока.

Оторопь взяла Катю. Даже «здравствуйте» ответить не нашлась.

— Ксения Васильевна, наконец-то! Получили телеграмму? А я жду не дождусь, отчего задержка, разгадать не умею! — всплескивала руками и восклицала Ольга Никитична.

— В полчаса такой трудный шаг не решишь. Есть о чем подумать — перелом жизни, не шутка,— медлительно ответила гостья.

«Какой шаг? Какой перелом? — пронеслось у Кати.— Зачем она приехала? А, знаю, знаю, ей меня отдают. Ольга Никитична, не отдавайте, я к вам привыкла, вы добрая. Я не стала бы вам мешать, ведь недолго осталось. Кончится же война, вернется Вася. Ольга Никитична! Не отдавайте меня!»

Но Катя молчала. Почему? Почему в самые решительные моменты жизни она тушевалась? События шли своим чередом, она не противилась. Слушалась.

Впрочем, приезжая дама в тальме пока ничего дурного

Кате не сделала. Напротив! Изредка откуда-то из Москвы приходила на Катину имя по почте посылка. Кукла в желтых кудряшках и гофрированном платье. Или «Отверженные» Виктора Гюго в дорогом переплете.

Однажды пришла необычная по виду посылка — что-то длинное, узкое. Оказалось, зонтик из розового муслина, с кружевной оборкой. Во всем Заборье ни у одной девчонки ничего подобного не было. О летних зонтиках от солнца, тем более с кружевными оборками, в деревне не слыхивали. Кто здесь от солнца хоронится?

Катя примчалась к Саньке. Был вечер. Стадо уже пригнало, пыль от копыт на дороге улеглась. Воздух снова стал чист. Катя раскрыла зонтик. Санька так и присела.

— Батюшки светы! Щелк, и раскрылся!

Пылая от счастья, Катя позвала Саньку прогуляться по деревне под зонтиком. Из всех изб сбежались девчонки и мальчишки. За зонтиком следовало шествие, как за иконой в престольный праздник.

— Приятно, даже и нет солнца, а как-то приятней с зонтиком, верно?

Санька только молча кивала. Такой удивительный сваливался иногда на Катю сюрприз.

И три слова на почтовом листке: «Целую. Баба-Кока».

...«Что со мной будет?» — сжимая холодные пальцы, думала Катя, убежав в палисадник, пока Ольга Никитична повела бабу-Коку вымыться и переодеться с дороги.

Ксения Васильевна, мамина тетка, была крестной Васи и Кати. Это было при отце. Отец и назвал ее бабой-Кокой. Так с тех пор и пошло. Говорят, баба-Кока дружила с отцом, во всяком случае, находила общий язык. С мамой у них общего языка не было. Поэтому, когда отец расстался с семьей, баба-Кока не появлялась в их доме. Оттого Катя и не знала ее. Отца она тоже не знала. Отец — Платон Акиндинович — полковник в отставке. И все. А где он? Какой?

Иногда услышит от Татьяны: «Обходительный был, весельчак. С мамашей твоей характерами уж больно несхожий. Да еще попивал...»

Иногда из разговора мамы с Васей: «О чудачествах интересно в романах читать, но терпеть рядом, каждый день?..»

Должно быть, по этой причине мама не терпела и свою тетку Ксению Васильевну. Про Ксению Васильевну говорили, что она прожила жизнь сумасбродно.

Однажды Вася получил письмо, передал маме:

— У бабы-Коки снова перемены.

Мама прочитала небольшую, мелко исписанную страничку, холодно бросила:

— Очередное чудачество.
— Невинное. Даже душеспасительное,— сказал Вася.
«Что там? Какие перемены? Какое чудачество?»
Но Кате не разрешалось любопытствовать. Задавать вопросы нельзя. Вмешиваться в разговоры старших нельзя.

И вот из-за маминой болезни предстояла ей новая жизнь. Несло, как ветром былинку. Куда?

Накануне отъезда все пришли в их бектышевский сад. Дом заперт. Заколачивали окна. Санькин отец, хромя на деревяшке, стучал молотком, прибывая крест-накрест доски.

— Словно гроб заколачиваем,— всхлипнула Ольга Никитична.

Санька кинулась Кате на шею:

— Подруженька, век помнить буду! Катя, и ты меня не забудь.

Солнце зашло, когда они уходили. Полный печали, спускался бесшумный вечер.

Катя оглянулась от калитки. На клумбе в глубокой тишине клонили пестрые шапки осенние астры.

5

— Станция Александров! Остановка пять минут. Поезд следует до Москвы. Александров...

В черной тужурке с блестящими пуговицами, мягко ступая по ковровой дорожке, проводник шел коридором второго класса, деликатно постукивая в двери купе, где приказано разбудить. Стукнул Ксении Васильевне, но они с Катей были уже готовы.

— Носильщика, и поскорей,— распорядилась Ксения Васильевна.

— Эй! Носильщик, сюда.

Рысью подбежал немолодой, слабосильный на вид мужичок в белом фартуке, с бляхой на груди, суетливо подхватил чемодан, саквояж, набитый постелью, и перевязанный ремнями портплед — все Катино имущество,— через минуту они оказались на утренней малолюдной платформе, где дворник поднимал метлой тучу пыли. Носильщик проводил пассажиров на привокзальную площадь к извозчикам. Катя думала, они едут в Москву, а ее привезли в Александров. Только улица, по названию Московская, длинно тянулась от вокзала из конца в конец города.

Что за город!

Что за город по сравнению с тем, в котором Катя жила

раньше? Там липовый тенистый бульвар выведет на высокую набережную, и откроется тихая, вольная Волга, утекая в туманную даль, и всю тебя обоймет непонятное счастье. Там на центральной площади известный всей России театр, с колоннами, огнями, афишами. Когда Катю брали на спектакль, это был праздник надолго-надолго. Там нарядные улицы, каменные дома, витрины с игрушками, у которых можно простоять час или два, замирая от восхищения, любуясь, особенно куклами.

Нужно признаться, Катя везла свою единственную куклу на новое местожительство, тайно ото всех затискав в чемодан. Куклу, как и муслиновый зонтик, когда-то прислала из Москвы баба-Кока.

В желтых кудряшках, кисейном розовом платице, с растопыренными розовыми ручками, круглыми, как пуговички, голубыми глазками, кукла была модной барышней. А Катя в это именно время читала «Отверженные», обливаясь слезами над страданиями несчастной Козетты, ненавидя разряженных дочек трактирщика. Кукла в кисейном туалете напоминала тех злых модниц. А Кате хотелось, чтобы она была забитой, оборванной, чтобы можно было спасти ее, приютить, пожалеть.

Она порвала на кукле наряд, взлохматила волосы, измазала щеки. Кукла стала Козеттой. Катя страстно любила Козетту, покрывая поцелуями ее чумазое лицо.

— Дикарка какая-то со своими дурацкими фантазиями. Нелепый ребенок! — сухо заметила мать.

Но не отобрала куклу.

Катя делилась с Козеттой всей своей жизнью. Козетта знала ее беды и радости. Неужели бросить ее в заколоченном доме? Надо совсем быть бездушной. Налетят сырые осенние ветры. Увянут астры. Осыплются листья берез. И никто, ни один человек не придет в голый сад, к забытому дому.

«Все-таки куда мы приехали?» — разгадывала Катя, трясаясь вместе с бабой-Кокой по булыжной мостовой на извозчике.

По сторонам стояли в ряд деревянные одноэтажные домики. Заборы, заборы. Домик — дощатый забор. Домик — забор. Крылец не видно. Крыльца за воротами. Только деревянные кружевные узоры на карнизах и окнах веселили Московскую улицу. Правда, иногда среди простеньких домов-близнецов выделялся особняк-купчина, даже каменный, и по балкончикам, башенкам и всяким другим украшениям можно было понять, как он богат и доволен собой.

Правда, увидела Катя красное кирпичное здание с высокими окнами и вывеской над подъездом: «Мужская гимназия». И магазины, мелочные лавчонки на Торговой площади. А за площадью снова одноэтажные аккуратные дома и заборы.

— Мы здесь будем жить? — спросила Катя.

— Здесь, да не совсем. Удивишься, где мы жить будем. Катя вздохнула. Последнее время часто приходилось ей удивляться.

Ударил колокол к обедне. Не как в Заборье, дребезжаще — блям, блям, а могучий хор колоколов, больших, средних, малых, многоголосо гудящих, поющих и торжественно возносящихся к небу.

И стал виден монастырь на обширном зеленом холме. Отделяла его от города река Серая, что кружила поперек и вдоль улиц, осененная серебристыми сводами ив.

Белые стены обнесли монастырь. По углам сторожевые башни. Сверкали синевой и золотом церковные главы. Легко и изящно высились шатры колоколен.

Извозчик обернулся:

— В обитель прикажете?

Баба-Кока кивнула.

«Что такое?» — не поняла Катя. И вдруг поняла. Так вот то чудачество, душеспасительное, о котором когда-то она услышала разговор мамы с Васей. Значит, ее привезли в монастырь? Да, в монастырь. Не со многими девочками такое случается.

Что до Кати, она настолько всем происходящим с нею была озадачена, что не знала, огорчаться или радоваться. Чему уж тут радоваться! Известно, в монастыри испокон веку ссылали неугодных государям людей и даже цариц и царевен. Все знают, сестра Петра Великого Софья так и зачахла за монастырской стеной.

— Что ты молчишь? — удивленно заметила баба-Кока.

Приученная дома о своих переживаниях помалкивать, Катя и тут не ответила.

Белокаменные, с прихотливой резьбой и яркими куполами и крышами церкви; три липовые аллеи с трех сторон ведут к собору в центре обители; подстриженные барбарисы окаймляют лужайки; дорожки посыпаны гравием или желтым песком; разноцветные флоксы и георгины на клумбах; прячутся в зелени сиреневых кустов нарядно покрашенные флигеля — монашеские кельи, как после Катя узнает; все ухожено, чисто. И на фоне этих радостных красок черные силуэты монашенок, которые, казалось, не шли туда и сюда, а бесшумно скользили с опущенными головами в черных клобуках.

— К главному келейному корпусу, — распорядилась Ксения Васильевна.

Келейный корпус, двухэтажное белое каменное здание, едва не полверсты тянулось вдоль монастырской стены и вместе с ней под прямым углом поворачивал.

«На букву «Г» похоже», — подумала Катя. И не ошиблась: главный корпус в монастыре так и называли Глаголем.

— Вот мы и дома,— сказала Ксения Васильевна.

А домом была келья. Высокий сводчатый потолок, как в часовне. Узкие окна. Зажженная перед иконой лампада.

...После Катя оценит книжные полки, свежий номер журнала «Русская мысль», газеты, а сейчас ее грудь стеснили страх и тоска. Неужели ее, как царевну Софью, заточат здесь навсегда за монастырской стеной?

— С приездом, матушка Ксения Васильевна! — раздался звонкий девичий голос.

Из-за перегородки вышла тоненькая девушка, одетая в черную рясу до пола и черный платок. Монашенка! Да разве бывают такие молоденькие монашки, с лукавым, смеющимся взглядом?

«Хорошенькая...— ревниво подумала Катя.— Да, особенно по сравнению со мной».

К своей внешности Катя относилась, быть может, излишне критически, не раз слыша мамины суждения: «До чего долговяза, сущая цапля», или: «Не вертись перед зеркалом, красивей не станешь».

А у этой монашки такое белое личико, пухлый рот, короткие, темные, будто удивленные, бровки.

Она сложила на животе руки, всунув в широкие рукава рясы, и низким поклоном до пояса поклонилась Ксении Васильевне. Кате не так низко, с острым любопытством быстро ее оглядев.

— Что прикажете, матушка Ксения Васильевна?

— Здравствуй, Фрося. Как ты здесь без меня? Свари-ка нам кофею, да топленого молока подай, да калачей с маслом,— приказала Ксения Васильевна.— Ну, Катерина Платоновна, располагайся на житье. Привыкай.

Так, хочешь не хочешь, было суждено Кате Бектышевой расположиться на житье в Успенском первоклассном девичьем монастыре, образованном на месте Александровской слободы, где в далекие времена много лет жил и властвовал со своей опричниной царь Иван Грозный.

6

В первый же день Фрося повела Катю поглядеть монастырь. Хотелось ей похвалиться. Правду сказать, было чем. Что Троицкий спокойно-торжественный древний собор, что Распятская церковь «иже под колоколы», то есть под колокольней, что другие храмы и звонницы — все поражало благолепием, и невольно почудится, что за каждым твоим шагом и мыслью неусыпно следит божье карающее и милующее око.

Однако Фрося беспечно болтала о том о сем, и лишь когда издали увидит черную фигуру монахини, умолкнет и, вложив

руки в широкие рукава, низким поклоном приветствует встречную.

Показала она Кате церкви и звонницы, святые врата и трапезную, просвирню, где пекут просфоры, и даже квасную, где варят вкусный монастырский квас. Показала три ведущие к собору аллеи. Аллея Свиданий, аллея Мечтаний, аллея Разочарования.

— Мирские эти прозвища, — осуждая, качнула головой. — В наши божьи храмы полгорода ходит. Барышни с кавалерами сговорятся заранее да перед всенощной и гуляют аллеями. А то и после всенощной, пока монастырские врата не запрут. А еще покажу я тебе...

И она привела Катю в страшное место. Вернее, страшное место здесь было когда-то, а сейчас раскинулся обыкновенный, засеянный газоном лужок.

— У нас об этом молчат, — говорила Фрося. — Мне Ксения Васильевна из книжки читала, а ты никому не рассказывай, ни единой душе. Ты, о чем узнаешь, молчи.

Вот что Катя узнала.

Давно, три с половиной века назад, когда Русью правил царь Иван Грозный, на месте монастыря была царская слобода, обнесенная стенами, земляными валами и рвом, до краев наполненным водою.

Дивные царские дворцы и хоромы стояли в слободе, а простому народу сюда доступа не было. Даже и птица не залетит в слободу, где жил царь со своей кромешной опричниной.

Царь был лют. Всюду чудились ему враги и измены. По приказу цареву в слободе устроили пыточный двор — здесь сейчас трава зеленеет, цветочки цветут, а тогда людей жгли на кострах, подымали на дыбе, рвали ноздри, клеймили раскаленным железом. Сажали в подвалы на цепь, годами гноили.

Стынет сердце, представляя эти адовы муки!

— А вот погляди...

Фрося привела Катю к невысокому каменному зданию, по-старинному его называли палатой, на самом же деле это была тюрьма, специально построенная для сводной сестры Петра Первого Марфы. Заслушание сослали ее, тут она и померла «в печалях и болезнях».

— Да что, разве царевна Марфа одна? Здесь не одну запирали!

Стало Кате не по себе. Конечно, и раньше слышала о ссылках и пытках, но когда увидела своими глазами, постояла перед каменной, низкой, с крохотными оконцами «палатой», где захла в неволе царевна, — потускнели в глазах монастырские клумбы, и лужки, и церкви с золотыми куполами.

— Наша обитель святая, святой и пребудет вовек, — то-

неньким голоском зачастила Фрося, увидев появившуюся вблизи монахиню, отдавая ей низкий поклон.

Монахиня проплыла мимо, перебирая на ходу четки. Фрося, пока она проплывала, не подняла головы. А когда из виду скрылась, шепотом:

— Злюка. Губы-то поджала, заметила? Ходит, высматривает. Чуть что не так, сейчас на послушание.

— Это что?

— За грех работой наказывают, да потрудней, потяжелше. А то на всю ночь поставят поклоны бить. На каменном полу на коленках.

— Зачем же ты...— Катя запнулась,— почему ты так с ней?

— Прислуживаю? Здесь без этого нельзя. Заклюют.

— Значит, плохо тебе? — хмуро спросила Катя.

Фрося фыркнула, но тотчас прихлопнула ладонью рот, ибо в обители надлежит пребывать смиренно, тешить бесов смехом грешно.

— Я за Ксенией Васильевной как в раю здесь живу! Я о лучшем-то и думать не думаю. Каждый день за Ксению Васильевну молюсь, что из пропасти вытащила.

Конечно, Кате захотелось узнать, из какой пропасти вытащила Фросю Ксения Васильевна.

Неужели никто и не протянул бы руки и пропала бы девочка, если бы в цветущее яблонями и вишенником, богатое село Медяны на берегу живописного озера не приехала пожилая дачница с мужем!

С давних пор в Медяны приезжали дачники из разных городов, однако на этих двоих все поглядывали с необычным интересом. На нее особенно. И обходительна, и хороша, волосы убраны надо лбом, как корона, но в годочках порядочных, муженек-то лет на пятнадцать моложе и все что-то пишет — ученый, видать. Пускай себе пишет, да невенчаны живут — вот в чем загвоздка!

Глядело все село на Ксению Васильевну с удивлением, а отчасти и с жалостью.

А Фросе Евстигнеевой вольно жилось в доброй семье. Одно плохо: брата женили, и вошла в дом невестка. Неласковая, на шутку обидчивая. А Фрося любила пошутить. Чего не шутить, когда единственной дочкой у тяти и мамы растет. Мамонька то и глядит, как побаловать: и поспать подольше даст утром, и кусок получше подсунет, а в престольный праздник узорчатый полушалок из укладки вынет на выбор: форси.

Невестка все примечает. Молчит, а копит в уме.

Однажды в праздник Фрося на завалинке шелкала с под-

ружками семечки, когда по деревне с воем пробежал мужик, волоча багор:

— Караул! Евстигнеевы тонут. Спасайте!

Все село, свои и дачники, с плачем и криками побежали к озеру. Фрося вырвалась вперед.

— Тятенька! Матушка! — кричала, кидалась в воду. Ее держали. Фрося билась, вопила: — Тятенька! Мама!..

Они уехали в лодке на остров за сеном. Может, и лишку нагрузили, пожадничали, да не в том одном причина: внезапно — у них нередко такое случалось на озере — поднялся ветер, резкий, крутой, вздыбил волны, погнал завитые белыми гребнями валы; лодку захлестнуло, перевернуло стогом набок, и на глазах онемевшей толпы все ушло под воду. Весь народ видел, как Фросин отец спасал мать, как она раза два взмахнула руками и скрылась из глаз. А потом поплыл, качаясь на волнах, один отцовский картуз. И когда подоспели соседские лодки с веревками и баграми к месту беды, только волны, завиваясь белыми гривами, гуляли на угрюмом просторе.

Так в полчаса стала Фрося круглой сиротой.

А хозяйкой в доме Евстигнеевых стала невестка.

И припомнились Фросе шутки и смех, и утренние, сбереженные матушкой сны, и цветастые полушалки из матушкиной укладки.

Изменилось все. Жизнь стала сиротской.

Но ведь не всякая сиротская жизнь облита дни и ночи слезами? Ведь бывает, и чужие люди душевно живут?

Нет, слишком уступчив был Фросин брат, слишком подчинен молодой жене, а скорее, недалекого ума был мужик: верил всем ее злым наговорам.

— Ты зачем про нас по селу языком подлым чешешь? Ты по что на весь мир нас срамишь?

— Братчик, родненький, не срамлю я.

— Врешь.

И стегал вожжами, пока с ног не свалит.

— Забьют девчонку, — поговаривать стали на селе.

Но в чужие семейные дела не вступались. Кому охота из-за сиротки врагов наживать? Иная баба из жалости сунет кусок, потихоньку на ходу приласкает. Фрося только голову ниже опустит. И молчит, вовсе стала молчунья.

Как-то раз, когда Фрося одна оставалась в избе, вбежала старая нарядная дачница с затейливой прической. Фрося сидела на лавке, усохшая, с безжизненным взглядом. Ксения Васильевна схватила ее худенькую девчоночью руку.

— Слух идет, тебя бьют?

— Нет, нет, барыня, ради Христа, и не говорите такого! — испугалась она.

Ксения Васильевна приподняла линиялую юбчонку на Фросе, увидела иссеченные синими и багровыми рубцами ноги.

— Изверги! Сейчас же идем.

И потянула Фросю бегом, позади огородов, на дальний конец села, где возле самого озера снимала у старой бобылки, бабки Степаниды, избу под дачу.

Долго ли все длилось потом или нет, Фрося не помнит. Наверное, недолго. Ксения Васильевна и ее невенчаный муж наняли тарантас, и вороной жеребец умчал их с Фросей из Медян.

Фрося боялась, не верила, плечи тряслись от рыданий.

Они не утешали, дали ей выплакаться, а между собой обговаривали, куда ее деть.

На фабрику? Тяжело. Двенадцать часов в сутки стой у станка. Без солнца, без воздуха. Не выдержит. В прислуги? Избитая, вся в синяках, глаза одичалые, кто такую возьмет?

Оставалось одно. У Ксении Васильевны был внесен в Александровский монастырь порядочный вклад и пожизненно откуплена келья. На случай, если останется одинокой под старость, будет где приклонить много испытавшую голову. Так оно и случилось, и скоро...

Сюда привезла Ксения Васильевна Фросю. Поклонилась игуменье матери Тамаре, важной и властной, ценившей светские связи.

Так стала Фрося послушницей Александровского первоклассного девичьего монастыря.

Постепенно рубцы на ногах отошли, стала затягиваться душевная рана, любопытством и жизнью заблестели глаза.

7

Начался учебный год. Баба-Кока посетила начальницу Александровской женской гимназии, и Катю Бектышеву приняли в четвертый класс.

Ровно полчаса девятого она вышла из монастырских ворот. Несколько девочек в коричневых платьях и черных передниках собрались здесь и крестились на образ богоматери, врезанный в каменную кладку монастырской стены.

— Матерь божия, дай, чтобы ученье шло хорошо, — громко и весело молилась коренастая, крепкая девочка, с широким лбом, широко расставленными светло-зелеными глазами и толстой русой косой. — Новенькая? — увидела Катю. — Девочки, у нас новенькая, хватит молиться.

Видимо, она была командиршей, все сразу ее послушались.

— В монастырь на квартиру поставили? — расспрашивала она Катю. — Мы тут тоже углы у монахинь снимаем. О тебе

как условлено? С поломытьем? Воду будешь таскать? Нет? Девочки, слышали, она без полов, без воды, не жизнь, а масленица. Как звать? А меня — Лина Савельева.

— Акулина, — жиденьким голоском поправила белобрысая, остроносая девочка, вынырнув из-за чьей-то спины.

— Выскочка! — обрезала Лина. И Кате: — Поп, верно, Акулиной окрестил, а я желаю быть Линой. У тебя кто отец?

Когда ее спрашивали про отца, Катя терялась и мучилась. Отец есть, но где? Кто? Какой? У них дома даже карточки папиной не осталось или так далеко упрятана мамой, что не найдешь. Среди одноклассниц она была единственной девочкой, которую бросил отец и ни разу не вспомнил, ни разу не захотел на нее поглядеть.

Стыдно? Кто скажет? Ей стыдно. Она вся сжималась, когда среди подружек заходила речь об отцах. Как не хотелось ей врать! Она не любила врать. И врала. И никогда никому не признается в правде.

— Кто отец? Папа полковник. Командует полком в действующей армии.

— Их ты! Девочки, слышали! Полковник, немцев лупит на фронте.

— Девочки, девочки, у ней отец полковой командир! — слышались со всех сторон возгласы.

— А еще кто у тебя есть? — допрашивала та, что назвалась Линой.

— Брат Вася. Прапорщик. Тоже воюет в действующей армии, — освобожденно вздохнула Катя.

— Их ты! Девочки, слышали? И отец и брат. Значит, с матерью живешь?

— Как же с матерью, когда в монастыре на квартире? — снова высунулась белобрысая.

— Да ведь верно. А мать где? — допрашивала командирша.

Катя замерла. Больно съежилось сердце. Она была диким зверьком, пойманным в клетку. Чужие девочки. Толпа чужих, насмешливых, любопытных девчонок, которые желают все знать о новенькой: как определили на квартиру, откуда приехала, кто родные, где мать?

— Мать тоже в действующей армии. Сестрой милосердия, — сказала Катя спокойно. Но губы дрогнули. Глаза сузились и глядели холодно, боясь встретиться с другими глазами, и видели осеннее светлое небо. И облако...

Гляжу я на синее небо,
Синий большой океан,
Плывет на нем облако-парус
Одно. Из каких оно стран?

Однажды, когда было грустно, она сочинила эти стихи.

— Девочки, у нее и мать в действующей армии, сестрой милосердия, о-го-го! — уважительно протянула Лина.

Что тут поднялось! Все что-то говорили, ликовали.

Так с ликованием и ввели Катю Бектышеву в гимназию и доставили до четвертого (так называемого параллельного) класса, на втором этаже, около лестницы, где в дверях поджидала воспитанниц классная дама средних лет, в синем платье, сухоощавая и подтянутая, как и следует быть.

— Людмила Ивановна! У нас новенькая, Катя Бектышева. У нее вся семья в действующей армии: и отец, и брат, и мама сестрой милосердия. Людмила Ивановна, посадите ее со мной.

— Нет, со мной!

— Нет, со мной!

Катя в глубоком реверансе опустилась перед классной дамой. В прежней гимназии в губернском городе было принято приседать, а здесь, в провинциальном городке, о таких церемониях не слышали.

Фурор был необыкновенный! Толпа на площадке перед четвертым параллельным росла. Новенькая с первого дня сделалась известной личностью.

Ее посадили с Линой Савельевой.

«Давай дружить, со мной все дружат, а она — Акулина, солдат в юбке из деревни Серы Утки», — сунула Кате записку белобрысая Клава Пирожкова.

Первым уроком был закон божий. Легкой походкой вошел молодой законоучитель в темно-вишневой рясе на атласной подкладке, с большим позолоченным крестом на груди. Он был похож на Иисуса Христа, как обычно рисуют его на иконах. Продолговатое лицо, прямой нос, задумчиво-добрые глаза и разделенные пробором темные, до плеч, завивающиеся на концах волосы.

— Отец Агафангел, у нас новенькая, Катя Бектышева!

— Пастырь радуется новой овце, приставшей к стаду, — произнес отец Агафангел.

— Ученый, страх! А ничего, добрый, — шепнула Лина.

«Неужели и он будет расспрашивать?» — подумала Катя.

— Отроковица Бектышева, богослужения посещаешь усердно?

— Да, — не поднимая головы, ответила Катя.

— Гляди очами открыто, ибо в страхе и потуплении не таится ли ложь?

Катя выпрямилась и с отчаянием ждала. Что будет? Он угадал ее ложь.

— Видимость твоя снаружи приятна, — продолжал отец Агафангел. — Однако истинная красота наша внутри нас, и надобно

заботливо ее в себе сохранять, как садовник в саду оберегает цветы. Произнеси, Бектышева, молитву, коя твоему сердцу особенно дорога.

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое... — зачастила Катя.

Он прохаживался по классу, слушая ее тарахтенье с легкой улыбкой.

— Разъясни нам, Бектышева, каким русским словом обозначить можем славянское «иже»?

Вот так да! Катя тысячи раз слышала и знала наизусть молитву, но в голову не приходило задуматься, что значит маленькое словцо «иже». В самом деле — что?

— Смятение твое, Бектышева, тебя обличает. Сколь легко-весно возносишь ты господу богу словеса молитвы, не разумея их смысла... Отроковицы, понятно ли вам мое наставление?

— Понятно! — хором ответил класс.

— «Иже», слово сие означает, — продолжал отец Агафангел, — означает по-русски «который».

Он начал урок, вернее, рассказ:

— И вот настал вечер. Пламенный круг солнца опустился за горизонт, краски потухли, на земле стало темнеть, подул ветер, неся прохладу и свежесть разгоряченной земле. А ученики все ждали Учителя. Но Учитель не шел. «Где ты, Христос, сын божий?» — тревожились ученики. Но он все не шел.

Отец Агафангел неслышными шагами приблизился к Кате и положил руку на ее голову. Широкий рукав рясы опустился ей до плеч. Она вдыхала что-то душистое и теплое, лица ее касался шуршащий шелк подкладки, было темно у него в рукаве и таинственно.

— «Где ты, Учитель?» — слышала Катя.

Наступила безмолвная пауза.

Отец Агафангел оставил Катю и, бесшумно ступая между партами, накрыл рукавом чью-то другую девичью голову и рассказывал дальше:

— И ученики вошли в лодку и поплыли. А ветер усиливался, поднялось большое волнение на море. Лодку качало. Ученики испугались. Но на берегу появился Иисус. «Это я, — сказал он. — Не бойтесь». И не велел им плыть к берегу, а сам пошел к своим ученикам по водам. И сразу ветер уменьшился. И волны смирно, как утомленные овцы в полдень, подкатывая к его ногам, улегались и утихали. И он шел по водам. Ибо может все наш господь. Он все знает и видит. Помните, всякий наш грех ведом ему. Милостив и вселюбив господь, но всякий да убоится обманывать бога.

Зазвенел колокольчик с урока и застал в классе тишину.

Катя была вся захвачена уроком. Образ идущего по волнам

молодого, похожего на отца Агафангела бога представлялся ей таким прекрасным, наверное, он простит ее ложь, ведь понимает же он...

— Зачем ему водами-то надо идти, шел бы, как все, по земле,— сказала Лина.

— Ах, да что ты! Ну что такое ты говоришь! — возмутилась Катя.— Пойми, как это хорошо! Как волны у его ног улегались...

Лина пожала плечами и ушла на перемену в коридор, а бело-брысая Клава Пирожкова торопливо сказала:

— Видишь, видишь, какая она! Акулина — Акулина и есть. Ей все нипочем. Она тебя в омут затянет.

Дома, вернувшись с уроков, если было чем поделиться, Катя делилась с Козеттой. Мама не интересовалась Катиными гимназическими делами. А Козетта была внимательной слушательницей. Ей можно было шептать час или два обо всех происшествиях, ее красивые стеклянные глазки не мигали, только разве положишь на спину, тогда ресницы захлопывались.

И здесь, придя из гимназии, Катя вспомнила о Козетте, но баба-Кока позвала:

— Иди-ка, сюда.— Указала на низенькую скамеечку возле кресла: — Садись.— И сама уселась поудобнее в глубокое кресло у столика, заваленного книгами и журналами, и с интересом спросила: — Выкладывай. Да без пропусков, все.

Катя замечала, баба-Кока приглядывается к ней день ото дня внимательнее, будто читает в ней что-то.

Катя смущалась. Ей привычнее было ютиться в стороне, не на виду. А баба-Кока настойчиво, хотя и осторожно, вникала в Катину жизнь, допытывалась до малейших подробностей.

— Выкладывай. Какой класс? На каком этаже? Какие учителя? О чем говорили с подружками?

Тут Катя на мгновение запнулась и утаила, что подружки интересовались папой и мамой и вообще всей ее жизнью. Зато про отца Агафангела рассказала подробно.

Отец Агафангел самый интересный учитель, остальные учителя довольно обыкновенные, таких Катя встречала и раньше, а отец Агафангел... А красивый!

— Красивый, ничего не скажешь,— усмехнулась баба-Кока.— И с той же неясной усмешкой: — Проповедник вне конкуренции.

— А служит-то как! — подхватила Фрося.— Отец Агафангел священнослужитель в нашей обители. А я кадило ему подаю. То другие послушницы, а мой черед придет, тогда я...

- Баба-Кока, можно, я задам вам один вопрос?
- Можно. Если не глупый.
- Щекотливый.
- Скажите пожалуйста!

Ксения Васильевна кипятила кофе. Кофейник похож на маленький самоварчик с трубой. Вдувают угли в трубе. Вода закипит, заваривайте кофе — минута, и крепкий, упоительный запах разольется по всему помещению. У бабы-Коки и чашечка для кофе специальная есть, крошечная, из тончайшего фарфора. Пьет маленькими глотками и наслаждается.

— Спрашивай. Только, чур, или правду отвечу, или откажусь отвечать..

— Что такое счастье? Баба-Кока, вы были счастливы?

Ксения Васильевна отставила чашечку, побарабанила по столу. Пальцы у нее длинные, тонкие. Она носила кольца. Много, с разными камнями. Баба-Кока называла их самоцветами. Катя с удивлением узнала — камни живые. Вот изумруд. «Взгляни, его цвет, — показывала Ксения Васильевна продолговатый камень в кольце, — нежно-зеленый, свежий, молодой. Как весенний березовый лист. Есть поверье — не поверье, а правда: если утром, проснувшись, любовно на него поглядеть, весь день для тебя будет светлым и ясным. И еще изумруд исцеляет. Целебен от разных недугов и отгоняет тоску. Полюбуйся, зеленый с золотистым отливом. Изумруд! Жизнерадостный камень!» У Ксении Васильевны к каждому камню было свое отношение. Бирюзу она пренебрежительно называла глупенькой. «Голубая, наивная. Наивность всегда глуповата». Она снимала кольцо с бирюзой и бросала в ящик бюро из красного дерева.

— Что такое счастье? Не знаю. У каждого, наверное, свое. Нет для всех одного, общего счастья. Да, конечно... Вот я, например, никогда не работала.

Она обратила на Катю темные и вместе ясные глаза и как бы в недоумении качнула головой.

— У меня не было своего труда. Своего места в жизни. Хотя бы маленького, ну, быть бы учительницей или фелъдшерницей... Впрочем, об этом я не тоскую. Но ведь бывают великие актрисы, музыкантши. Бывают ученые женщины. Например, знаменитая, первая в мире русская ученая женщина-математик Софья Ковалевская. Отними у них творчество — и нет счастья. Или другое. Слышала о революционерках? Наверное, настоящее счастье — это то, что у тебя есть большая цель, без которой не можешь жить, всю себя ей отдаешь. Что, Катя, молчишь?

— Слушать интересно.

— У меня ничего этого не было... — Баба-Кока повертела на

пальце кольцо с рубиновым камнем, фиолетово-красным. Улыбнулась как-то непонятно, сожалеюще. — У меня свое было счастье. Находила — теряла. Вновь находила, снова теряла. Кануло все. Ничего не осталось. Воспоминания. Единственный мир, из которого мы не можем быть изгнаны. — Она помолчала. — Иди, Катюша, учи уроки.

Она укутала плечи паутинным оренбургским платком, взяла книгу.

Катя отошла.

Келья бабы-Коки со сводчатым, как в часовне, потолком делилась легкой перегородкой на две половины: спальню Ксении Васильевны, без окна, и общую комнату, где у одного окошка расположилось глубокое кресло перед столиком, — это кабинет бабы-Коки. В ее кабинете до потолка книжные полки. Вся стена в книгах. У другого окна — квадратный стол, он и обеденный, он и Катин для приготовления уроков, возле него на диване Катя спала, и в изголовье ногами горела перед иконой лампада.

В порядке разложены на столе учебники, тетради и дневник, где усердно записано заданное на завтрашний день, — прилежная ученица из четвертого параллельного устраивается готовить уроки.

Баба-Кока поднялась, надела ротонду и меховую шапочку, — ранняя снежная зима уже прикатила, пышные сугробы встали вдоль соборных аллей и монастырских дорожек.

— Про счастье точно не знаю, — проговорила баба-Кока, — а что несчастье, скажу. Одиночество, особенно в старости, — вот что несчастье.

Она ушла. Катя поглядела в окно. Баба-Кока в длинной ротонде медленно шла снежной дорожкой, статная и прямая, высоко неся голову.

Катя достала тетрадь, разделила пополам. Начинался творческий процесс. Обычно он начинался с того, что тетрадка делилась на две половины, затем одна складывалась вчетверо — и перед вами книжечка. Катя всю ее исписывала сразу набело, узкими строчками, нанизывая букву на букву. Таким образом, тетрадки хватало на две, а то и три повести.

Катя задумалась. Самое трудное — придумать заглавие. Но сейчас, под впечатлением разговора с бабой-Кокой, название явилось само собой: «Одинокая».

Катя писала повесть о бедной девочке, которую никто не любил, хотя она была и добра, и хороша, и умна. Нельзя понять, почему ее не любили. Ей плохо жилось на свете, но она не теряла своей доброты. Никого не судила, всем прощала, удивительно была хорошая девочка! Когда другие девчонки веселой толпой убегали в лес по грибы или ягоды, она одиноко брела сторонкой, вдали от всех. Но однажды молния ударила в дом и убила всех,

живым остался лишь малый ребенок. Одинокая бесстрашно кинулась в пылающий дом. Огонь ее охватил, она задыхалась...

Катя хотела бы описать другой подвиг, не такой избитый, но что-то ничего оригинального не получалось.

Известно, Катины повести всегда кончаются счастливо. Так и здесь. Ребенок спасен... Все обнимают и благодарят Одинокую. Все оценили ее благородство и...

— Катя, ты совсем заучилась, — заметила Ксения Васильевна.

Она вернулась с прогулки и перебирала за столиком какие-то старые письма, кипу писем в длинных глянцевитых конвертах. Письма хранились в шкатулке, баба-Кока держала ее запертой.

— Кончай, Катя, уроки. Учение — свет, однако во всем нужна мера.

Катя затиснула в сумку учебники, не успев ни в один заглянуть. Голова пылала, сердце полно счастья и слез.

— Что с тобой? — удивилась баба-Кока.

Катя молча обняла ее и поцеловала. Она впервые сама поцеловала бабу-Коку, потому что, хотя писала восторженные повести, показывать свои чувства стеснялась. А тут вдруг поцеловала. Да еще и еще. Что такое с ней происходит?

И чтобы не проговориться, что под подушкой лежит новая повесть, скорее нырнула в постель, укрылась с головой и под одеялом еще долго любила, жалела и восхищалась своей «Одинокой».

Все же Лине на следующий день дала почитать.

— Ой, что делается! Она еще и писательница! — с каким-то почти благоговением воскликнула Лина и на уроке читала, пряча под партой, Катину повесть. — Девочки, наша Катька Бектышева — писательница.

Все перемены девочки читали Катину повесть. Успех был полный, шумный!

И весь этот удивительный день Катю сопровождали удачи. Ни на одном уроке ее не спросили, кроме последнего. Учительница географии вызвала к карте и, вручив указку, предложила рассказать и показать и... естественно, поставила двойку. Первая, увы, как потом оказалось, не последняя Катина двойка.

Эта маленькая неприятность сегодня для Кати не имела значения. У нее кружилась голова от славы и общей любви.

Надя Гирина, высоконькая капризная девочка, дочь богатейшего в городе купца, которую возили на уроки в пролетке, хотя гиринский особняк отстоял от гимназии в десяти минутах ходьбы, девочка, которая на большой перемене вынимала из сумочки бутерброды с розовой ветчиной и, чуть надкусив, брезгливо бросала в корзину для мусора, эта «княжна», усвоившая, видимо, по наследству от отца торговую жилку, поманила Катю:

— Мне очень понравилось твоё произведение, ты можешь его мне уступить?

— Как уступить?

— Очень просто, в обмен. Принесу тебе завтра ленту. Красную, синюю, какую захочешь. Десять аршин разных лент. Согласна?

— Нет.

— Двадцать аршин! — уговаривала Надя Гирина.

— Ты ведь можешь ещё написать, — вмешалась, вытягивая руки и прося, Клава Пирожкова, так распалила её воображение эта сделка.

Конечно, Катя могла написать ещё повесть. И не одну и не две. Она могла писать постоянно, каждый день. Но почему-то не хочется отдавать «Одинокую» в обмен на ленты. Хотя соблазнительны ленты. Подумайте, двадцать аршин!

Но все-таки нет!

Надя Гирина вспыхнула и отошла. Клава Пирожкова в изумлении выкатила светлые бусинки:

— Дура! Ты могла бы и тридцать аршин запросить, ой, дура! Ведь Наденька Гирина единственная, у них лучший галантерейный магазин в городе, а она единственная у отца с матерью, ей все, что захочет, дозволено. Она меня в гости принимала, из всего класса — меня! Ой, видала бы! Залы, гостиные, горничные в белых наколках, и все: «Барышня, что изволите? Барышня...» Подарила бы повесть, и тебя позвала бы. Теперь не позовет, не добьешься.

— Подумаешь! И не надо! — дерзко ответила Катя.

И подарила свою «Одинокую» Лине Савельевой.

9

Катя любила в бабушкиной келье стену, сплошь уставленную книжными полками. Тесные ряды пестрых корешков манили. Толстые, тоненькие. Корешки читанных и нечитанных книг, каждая — целый мир.

— Последняя радость, оставшаяся мне, — говорила баба-Кока.

Кате нравилось рыться в книгах. Вытащить, полистать, запомнить название. Какую-то отложит читать. Другую вытащит. И другую.

Бабушкины книжные полки больше пробуждали в ней охоту узнавать, чем уроки в гимназии. Там все было полезно, необходимо, но почти все довольно-таки скучно.

Баба-Кока позволяла Кате рыться в книгах сколько душе по-

желается, но говорила — не наставительно, она не привыкла наставлять, — просто делилась:

— В твои годы я хватала подряд, что попадется. Иной раз на такой романчик наткнешься, после никак мусор из головы не выветришь. Надо находить и ценить талантливую, умную книгу. Не все книги равны. Вот, например... Ты вот все повести пишешь, — сказала баба-Кока, и Катя, стоявшая к ней спиной на стремянке, доставая с верхней полки том истории Ключевского, в ожидании замерла.

Она привыкла к славе. На нее из других классов приходили глядеть, вот до чего дело дошло! Она раздавала свои повести девочкам, в первую очередь тем, кто громче восхищался ее творчеством. У Лины Савельевой целая библиотека скопилась Катиних повестей.

— Ты тут оставила одну, а я познакомилась, — сказала баба-Кока и громко, с выражением стала читать: — «В черном небе сверкали зловещие молнии и грохотал гром, похожий на рыкание льва. Девочка в бархатном платье с кружевным воротничком стояла у окна. У нее были голубые, как фиалки, глаза. Локоны опускались на плечи...» Фу ты! — шумно вздохнула Ксения Васильевна, кладя Катино произведение на стол, отодвигая дальше от себя уничтожающим жестом. — Чего не нагородила! И локоны и фиалки! Откуда только взялось? Вздор сочиняешь, мать моя. Героини твои разнаряженные, красавицы, а ни жизни, ни живого словца. Выдумки все. Бросила бы ты свои выдумки.

Стоя к бабке спиной, Катя леденела от ужаса и чувствовала: щеки пылают, уши пылают, вся горит на костре.

— Знаю, неприятно. Одних приятностей от жизни не жди. Да слезь ты с вышки своей, подойди, — велела баба-Кока.

Катя слезла со стремянки. Баба-Кока указала на низенькую скамеечку для ног возле кресла.

— Сядь.

Катя села.

— Если уж терпения нет, охота писать, — сказала бабушка, — пригляделась бы к жизни, рисовала бы жизнь. Писательница! — безжалостно усмехнулась она. — А что вокруг разглядела? О чем поразмыслила? За Фросей ничего не заметила?

— А что?

— Какая-то стала погашенная.

Верно, Фрося последнее время не та. Фрося именно стала погашенной. Как точно подметила баба-Кока! И ходить стала к ним реже. Прибежит, натаскает из колодца воды, истопит печку, вымоет пол, принесет из монастырской трапезной обед. Без слов, без улыбки, с потупленным взором, будто прячась и страшась разговоров, и ускользнет в церковь или в келью для послушниц, где жила.

Куда делать ее лукавая веселость и ласковость? Куда делась прежняя Фрося?

— Если уж очень велика охота писать...— продолжала раздумывать вслух баба-Кока.— Может, где-то и тлеет талантик, глушить тоже грешно... Но мастерству учиться надо, всю душу ему до конца отдавать, всю жизнь. Это — как подвиг, когда настоящее.

В тот для Кати нерадостный вечер Ксения Васильевна рассказала историю. О таланте и подвиге.

При Иване Грозном это было. Монастыря девичьего тогда в помине не было, жизнь в Александровской слободе шла и разгульная и государственными делами исполненная. Иноземные послы наезжали в цареву слободу на поклон и для переговоров с великим государем Руси. Принимали послов в дворцовых палатах. Царь сидел на позолоченном троне. Бояре, цветно и пышно одетые, в безмолвной спесивости восседали на скамьях вдоль стен. Множество стрельцов с оружием и телохранителей в красных кафтанах выстроились от входа в кремль до дворца. А в версте от царского города стоял караул. Хватали каждого, кто по неведению забредет близко к государеву жилью. Пытали, вырывая под пытками, за каким делом идет, да куда, да к кому, не изменник ли?

Иноземные послы царя Ивана глупым не звали. Никто не скажет, что неумен. Речи царевы остры и находчивы. Мыслью быстр, сердцем вспыльчив и гневен. Грозным звали его. Шепотом, при закрытых дверях. А летописцы тайно записывали в летописях. По деревням и городам шло да шло и до наших лет дошло — Грозный.

Но ученый. Изрядно ученый. Богатейшее у грозного царя было в Александровской слободе книгохранилище, где сберегались древние книги, редкие письма, драгоценные рукописи.

Может быть, об этом-то, об учености Грозного, о его почитании книг и услышал один боярский холоп, смысленый, до отчаянности смелый Никитка. Он был молод, и в голове его толпились дерзкие мысли: не спал, дни и ночи лелеял небывалую, даже страшную выдумку. И втайне мыслил: «Придется по сердцу государю, ведь во славу Руси я свою затею готовлю, мудрый у нас государь, к наукам приверженный».

Словом, Никитка надеялся на поддержку и одобрение царя. Впрочем, когда целиком предался своему делу, и о царе позабыл и о славе не думал, а трудился, трудился, трудился с мучением и радостью, как бывает это у великих талантов.

Делал Никитка летательный аппарат. Хотел лететь. Слыхано ли, чтобы человек полетел? Богом создано: рыба плавает, птица летает, человек идет по земле. Нельзя нарушать божий

закон. Покарает за дерзость господь. Но ведь изобрели люди корабль и плавают по рекам и морям, и бог не карает...

А если изобрести крылья и полететь, как птица, реять в небе и сверху, оттуда, с неба, окинуть взглядом землю? Какая она, родимая, если с неба глядеть?

Долго трудился Никитка над летательным аппаратом. Обдумывал, высчитывал, строил, ломал, плакал... Снова строил.

Весть о мечтаниях и изобретении Никитки долетела до Грозного. И среди иноземцев пошло любопытство и толки. И бояре узнали.

— Дьявольское наваждение, бесы в парня вселились, порченый, на дыбу его, — говорили одни.

Другие ждали, что скажет царь. Царь молчал.

Вот летающая птица готова, Никитку привели к царю. Царь тощий, сутулый, нос отвислый, редкая борода торчит, как пучок конопли, и белесые, будто и не человечесьи, очи не верят, пытаются.

Никитка упал в ноги царю. Царь концом жезла его тронул:

— Не осрамишь наше государево достоинство перед чужеземными гостями да посланниками и перед недругами нашими?

— Верь, великий государь!

— Ино завтра лети.

Настало завтра. По всей слободе из дома в дом передавалось в смущении и страхе: со звонницы крылатый человек полетит. Звонница эта, с которой, по преданию, при Грозном русский Икар совершил первый полет, и сейчас стоит, а под ней церковь, по названию Распятская. Художники и архитекторы приезжают, любуются.

Никитка поднимался по каменной узкой лестнице. Шагал — и слабел, и слабел. Страшно первому начинать новое дело. Не знаешь, что тебя ждет. Уверен, а не знаешь... Смел, а боишься.

Он забрался на звонницу и увидел синие цепи далеких лесов, розоватый снег на утреннем солнце, увидел такую чистоту и красоту, такой прекрасный, сверкающий мир, что смелость вернулась к нему и сердце заколотилось в восторге.

Внесли аппарат, похожий на птицу с широкими крыльями. Никитка поглядел вниз. Толпы народа стояли в глубокой тишине. Царь, опираясь на жезл, сидел в отдалении на красном кресле, в шубе и куньей шапке, окруженный опричниками и стрельцами.

Никитка влез в летательный аппарат, оттолкнулся. Толпа ахнула. Он полетел. Плавно, как птица, реял его аппарат с распростертыми крыльями и тихо, будто в раздумье, стал опускаться. И невредимо опустился в сугроб.

К Никитке подбежали люди, принялись развязывать веревки, которыми он был к аппарату привязан, помогали вылезти. Вокруг стояли гул и смятение.

Но вот толпа стала постепенно стихать и редеть. Никитка за-

метил: помогавшие ему люди отошли от него. Скоро и вовсе рядом никого не осталось.

Издали Никитка разглядел уходящего царя. Царь ступал тяжело, спина согнута, голова втянута в плечи.

Холоп Никитка остался возле аппарата один. Растерянный, в недоумении, один.

Поднял взор к небу и словно очнулся. И вновь восхитился синевой и сиянием неба. Гордостью блеснули глаза: «Я летал!»

За ним пришли. Куда его поведут? К царю?

Его привели не к царю. Втолкнули на пыточный двор. Связали за спиной руки. И пыточный дьяк в кафтане, забрызганном кровью, прочитал Никитке царский указ:

«Человек — не птица, крыльев не имать. Аще кто приставит себе аки крылья деревянна, противу естества творит, за сие содружество с нечистой силой отрубить выдумщику голову. Тело окаянного пса смердящего бросить свиньям на съедение, а выдумку после священные литургии огнем сжечь».

10

В воскресные дни Успенская церковь монастыря бывала полна. Сходились купчихи, чиновники, служилый люд разного звания, учителя и учащиеся. Особенно гимназистки в белых праздничных передниках, с белыми лентами в косах любили молиться в Успенской церкви. Не в Покровской или Троицком соборе, а именно в Успенской, где служил отец Агафангел. Расшитая жемчугом и золотом риза, епитрахиль в крупных дорогих камнях — вся его церковная одежда блестела и переливалась многоцветными красками.

Гимназистки плавно склонялись, когда он обращался с кадилом в их сторону. А Катя восхищенно наблюдала за Фросей. В черной ряске, с матово-белым лицом, она подносила отцу Агафангелу кадило. И удалялась, тоненькая, будто без веса, будто скользила по воздуху.

Каждое воскресное утро Катя наблюдала это пышное представление: выходы на амвон священника и дьякона, открывание и закрывание царских врат, хоры монахинь в мантиях и клобуках с вуалями, бархатный голос отца Агафангела, скольжение Фроси при подавании кадила.

Лина, больше занятая рассматриванием публики, толкнет в бок:

— Ух ты, нашей Надьки Гириной мамаша как вырядилась! А наш отец Агафангел гляделками на нее своими стреляет. Кадилом машет, а сам пялится, вот это да! А вон, к клиросу ближе, гимназистик, лопоухий чуток, знала бы, что он мне нынче сказал!

Прыснет в кулак и, чтоб отвести глаза классной даме, быстро закрестится, и, конечно, Людмила Ивановна, сопровождавшая воспитанниц на воскресные службы, не разобравшись, кто прыснул, почему-то на Катю направит строгие стекла пенсне. Катя склонит голову.

Но молитвы не идут на ум. Уже надоело наблюдать за открыванием и закрыванием царских врат и кадилом отца Агафангела. Душно от ладана.

Вдруг представится Кате, как славно сейчас в зимнем лесу. Снегу по пояс. Веселой стезжкой вьется заячий след. Пушистая белка пролетит поверху леса, стряхивая иней с макушек деревьев. Откуда-то выпорхнут и усядутся на ветвях снегири. Катя любила красногрудых веселых пичуг. Они и в монастырь прилетают и рассаживаются грациозными группками в сиреневых кустах под окошками келейного корпуса: Катя с Фросей любовались их прилетом и хлопотливой, радостной жизнью...

— Быть бы птичкой, петь бы да петь, — скажет Фрося. Вспыхнет. И что-то загадочно-тайное промелькнет в ее светлой улыбке...

Катя поискала глазами Фросю у алтаря, но последнее время она не прислуживала отцу Агафангелу. Другие послушницы прислуживали, а Фроси нет в церкви. Отчего ее нет?

В остальном это воскресное утро было таким, как всегда. Впереди большой свободный день! Чем бы поинтереснее заняться? Побежать с Линой на каток? Или нет, дома ждет начатая книга, «Поединок» Куприна. Живо домой!

А дома ждало другое. Ждало неожиданное.

За их обеденным столом, заставленным разными кушаньями вроде маринованных грибков, селедки с горячим картофелем, белых монастырских калачей и прочего, возле бабы-Коки сидел...

Кто мог представить! Кто мог поверить! На мгновение Катя застыла у порога, слезы хлынули, и она подбежала и повисла у Васи на шее.

Целовала, всхлипывала, смеялась. Трогала на плечах погоны, желтые пуговицы военной гимнастерки и даже кобуру револьвера. А он глядел не нее с той любимой, единственной Васиной улыбкой, которую она так знала, так знала!

Он был по-прежнему хорош. Война не изменила его. Смуглый румянец на щеках, чистый лоб, высокая шея, прямая осанка и Васин голос, родной.

Кажется, стал немного постарше. В военной форме. Катя не видела его в военной форме. Как хорош! Где Фрося? Поглядела бы на Катиного брата, прапорщика Василия Платоновича Бектышева! Где Линка Савельева? Влюбилась бы с первого взгляда.

— Ты надолго, Вася? Хоть недельку погостишь? Сколько

мне надо тебе рассказать обо всем! Баба-Кока, не отпускайте его. Хоть недельку погости у нас, Вася!

— Какое недельку! Катюша, один день остался мне отпуску.

— Один день? Почему?

— Ведь я на военной службе, Катя.

— Ну и что? Неужели тебе так мало дали отпуску? Один день остался. Остался? Ты где-нибудь был? Где ты был?

— А неважны, господа военные, ваши дела,— сказала баба-Кока, не слыша или не понимая Катиной мольбы или намеренно переводя разговор на другие рельсы.— Совсем плохи дела. Подай, Катя, газету.

Газету «Русское слово» баба-Кока читала ежедневно, иногда и Катю с Фросей посвящая в некоторые политические новости, но в вопросах политики ее собеседницы были не очень сильны, вернее, совсем непонятливы.

Баба-Кока читала без очков.

— «Наши части, перейдя в наступление, сбили противника, но затем под натиском немцев отошли в исходное положение». Ну? Что скажешь?

Вася пожал плечами.

— Война.

— Слушайте дальше, господин прапорщик: «На восточном берегу реки... наши части, ведя упорный бой, продвинулись на полторы версты, но затем контратакой противника были вынуждены отойти на исходное положение». Ну? Что скажешь? Третий год воюем. Что наше победоносное православное войско?

Вася нагнулся к бабе-Коке и негромко, но внятно:

— Нашему победоносному православному войску до чертиков надоела война.

— Что ты! Что ты?! — испуганно замахала на него баба-Кока.— Мы должны добиться победы. Срам будет нам перед народом, если мы...

— Кто мы? Вы, баба-Кока? — спросил Вася, и Катя увидела насмешливый огонек у него в глазах.

— Что-то не пойму я тебя, Василий,— проговорила Ксения Васильевна, медленно разглаживая скатерть по сгибу стола.

— Народу дела нет до нас с вами. И солдатам от победного конца прибыли нет. Солдаты о доме соскучились, им земля мерещится.

— Не пойму. Да ведь это изменой зовется, Василий,— упавшим голосом произнесла баба-Кока.

— Это зовется честным взглядом на жизнь. Армия распадается, генералы бездарны, в ставке разлад, у солдат неверие...

— Василий, опасное ты говоришь.

— На позициях за такие речи расстрел. Но ведь я в вашем доме, баба-Кока.

— Вася, откуда у тебя трудные мысли такие?

— Оттуда. С войны.

Они говорили о войне, только о войне. О каких-то генералах, из-за чьей глупости погибли полки наших солдат. На фронтах усталость, отчаяние. В царя не верят. Фабрикантов и помещиков ненавидят.

— Значит, и нас? — спросила Ксения Васильевна.

— За что нас любить?

— Разве мы делали кому-нибудь худо?

— А хорошее делали?

— Хорошее — да.

— Может быть, изредка, но... но вот у нас с Катей триста десятин земли остается в наследство, а я косы в руки не брал, а Катя снопа сжать не умеет. А у Саньки — твоей, Катя, подружки, — у Санькиного отца наберется ли в Заборье три десятины?

— погоди, погоди, значит, ты хочешь, чтобы поровну, что ли? — удивленно вскинула брови баба-Кока.

— Я о солдатских и мужицких мечтах говорю.

— Вон у вас что-о там, — все более дивясь, протянула Ксения Васильевна.

— Вы в монастырских стенах заперлись, баба-Кока. Ничего не видите, не знаете, кроме того, что скажет «Русское слово». Газета умеренных взглядов, и то каждый день колонка или две пустые. Это что значит? Значит, цензура вымарывает. Чего народу знать не положено, вымарать, вон! И чтоб интеллигентным дамам нервы не портить. Впрочем, кому по нынешним временам интеллигентные дамы нужны?

— А теперь в грубость пошел.

— Не сердитесь, баба-Кока.

Он поцеловал ей руку, а она его долгим поцелуем в лоб.

Так они сидели за неубранным столом и говорили до сумерек, когда снег поголубел за окном.

Позабыли обедать. На столе почти нетронутые оставались закуски, по военному времени довольно обильные.

Вася ел неохотно, выпил несколько рюмок настойки и все вспоминал о фронте.

— А во дворце что творится! Пьяный мужик Распутин вертит всей царской фамилией, в сущности, правит страной. Стыд, позор.

Прикрыл ладонью глаза. Отдернул руку.

— Да, время настало, надо решать. Нельзя плыть по течению. Надо решать свой путь.

Неожиданно бабе-Коке пришла мысль прогуляться. Надела ротонду и меховую шапочку и оставила Катю с Васей одних.

— Поговорите тут, а я погуляю.

Странно. Утром не пошла к обедне, сказала, нездоровой, а тут вдруг гулять. Скорее всего, она знала, что утром придет Вася, поджидала его, хотела встретить без Кати, одна. Конечно, конечно! Но почему? Непонятно. Они что-то скрывают от Кати.

— Вася, ты сказал, надо решать путь. Какой путь, Вася? Как решать?

Он ласково потербил ее волнистые волосы.

Несколько времени они сидели молча, а за окном снег все голубел, ближе подплывали сумерки, в комнате стало темно, но лампу зажигать не хотелось.

— Милая моя сестренка, нам повезло, что мы встретили бабу-Коку.

— Вася, а мама... что с мамой?

Он крепко обнял ее и отпустил.

— Ты спрашиваешь, какой путь?

— Да, и об этом. Но ведь еще она спросила о маме?

— Вечерним поездом мне уезжать, — говорил Вася. — Снова позиции, окопы, грязь, вши... А путь? Знаешь, сейчас появились новые люди, большевиками их называют. Не слышала? Нет, конечно, не слышала. Большевик. Тайное слово, мятежное. Говорят, означает оно — борец за справедливость и счастье народа. Поняла?

— Поняла. Ты большевик?

Вася закурил папиросу, встал, прошелся по келье. Стемнело совсем. Катя смутно видела его лицо и, обхватив коленки и дрожа от волнения и какой-то новой, восхищенной любви к брату, ждала.

— Сложно все. Не сразу разберешься. Большевики борются против царя, царского строя, фабрикантов и помещиков. А ведь я помещичий сын.

— Ну и что, Вася? Ну и что?

— Солдаты не обязаны верить мне на слово.

— А ты за большевиков?

— Не знаю. Что знаю о них, их программе, мне убедительно, но я не все знаю... Но я ненавижу распутство Распутина и весь наш николаевский строй... А! Что говорить! Если встречу большевика, настоящего, не побегу, пригляжусь внимательнее. Катюша, говорят, за ними сила. И правда.

— Они тебя примут, Вася. Увидишь, примут.

— Одного я хочу, об одном мечтаю — чтобы скорее окончилась война, бессмысленная, гнусная бойня! Хочу снова ходить на лекции в институт, учиться, читать, слушать музыку, по-человечески жить наконец!

Вернулась баба-Кока. Наступил час отъезда. Странный день кончился. Фрося не приходила. Со стола не убиралась посуда. Все были печальны и взволнованны и так откровенно и долго говорили о жизни, а о чем-то важном осталось не сказано. О маме.

Катя поняла: Вася и баба-Кока намеренно о маме молчат. Плохо. Настал час ему уходить.

Катя и баба-Кока проводили Васю до монастырских ворот. Ворота уже закрыты на ночь.

— Матушка, Ксения Васильевна, — с поклоном сказала вратарница, — ежели угодно до станции внука проводить, извозчика кликнуть можно, езжайте, а вернетесь — пушу.

— Дальние проводы — лишние слезы, — отказалась Ксения Васильевна. — До свидания, Вася. Как бы там что бы ни было, защищайте Россию.

— Спасибо вам, баба-Кока, за Катю.

Катя молчала. Никогда никого не любила она с таким восторгом, такой пронзительной нежностью, как брата! Больно в груди, так она любила его! Мцыри. Вот он кто, Мцыри, свободный, вольный.

«Скорее бы кончилась война, будем вместе, никогда не расстанемся, пусть он женится на докторской дочке, все равно мы всегда будем вместе, Вася!»

Он ушел. А баба-Кока почему-то позвала Катю в церковь Успения. Ту самую церковь, где утром отец Агафангел отправлял воскресную службу. Вход в эту церковь не закрывался круглые сутки. С вечернего часа и всю ночь там читали псалтырь.

Почему баба-Кока, вовсе не богомольная, проводив Васю в действующую армию, привела Катю в Успенскую церковь слушать псалтырь?

Холодный мрак в церкви. Посреди высокая узкая тумбочка, как сказали бы дети, незнакомые с церковными обрядами и утварью, но Катя-то знала, что это не тумбочка, это аналой, и на нем тяжелая, в бархатном переплете с золочеными застежками книга — псалтырь.

Темно, мрачно в церкви. Гулко отдается эхо шагов. Входят баба-Кока и Катя.

Перед аналоем монашенка в черном. Колышется слабый огонек длинной свечи, пахнет растопленным воском. Холодно.

Монашенка протяжно читает псалтырь. Сменщица ее, также вся в черном, неслышно прикорнула у стены на скамейке.

Монашенка читает псалтырь:

— «Душа наша уповает на господя: он помощь наша и защита наша. О нем веселится сердце наше, ибо на святое имя его мы уповаем...»

Катя поглядела на бабушку. Она стояла не склонив головы, не молясь, в глубокой задумчивости. Как печально лицо!

Вася сказал: они с бабой-Кокой не видят жизни, отгороженные монастырской стеной. Должно быть, да. Вот, например, только теперь рядом с афишей, где конный казак в папахе набекрень прокалывает пикой немца, Катя заметила на заборе другую афишу.

Воззвание Московского митрополита Макария:

«Бога бойтесь, царя чтите, а с мятежниками не сообщайтесь, каковых ныне много развелось на русской земле. Они снуют среди народа, чтобы обольщать его разными несбыточными обещаниями. Не слушайте их!»

Катя долго вчитывается в митрополичье воззвание.

Нехотя шагает в гимназию. Очередь у булочной, длинный хвост женщин, укутанных в шали. Хлеб выдается по карточкам. Но иной раз простоят много часов, иззябнут, измучаются — и зря. Не хватило на всех. Полхвоста разойдется ни с чем.

Раньше Катя не замечала всего этого: очередей, истомленных женщин, укутанных в шали. Им с бабушкой хлеб выдавали из монастырской пекарни. Фрося сбегает, принесет сколько надо.

Мясная лавка. Отчего нет очереди? А, вон что. Объявление на двери:

«Сегодня, во вторник, а также в среду, четверг и пятницу мясных продуктов в продаже не будет по случаю правительственного закона о мясопустных днях».

Монастырскую трапезную мясопустные дни не заботят. Там кушают рыбу. Мороженой, вяленой, копченой, соленой рыбы в монастырских кладовых и погребах припасено на год, а может, и два.

У монастыря огороды с выкопанным для поливки прудом. В погребах выстроены в ряд десятки бочек с квашеной капустой, солеными огурцами, мочеными яблоками, маринованными маслятами и рыжиками; на жердях висят пахучие связки сушеных белых грибов.

Монашенки любят вкусно покушать, и наливочки в потаенных шкафах по кельям хранятся, а для официальных угощений, когда прибудет к игуменье архиерей или иной чин из духовного начальства, тут же достают из подвалов жбаны с крепкими старыми винами — от одной рюмки такое пойдет кружение голов, что... Впрочем, Катя знает все это понаслышке, своими же глазами на монастырском дворе она видит черные фигуры, бесшумно движущиеся, с постными лицами, опущенными взорами — что в них закрыто, не угадать.

Между тем дни идут своим чередом.

Позади и крещенские морозы, и сретенские, февраль в разгаре. Метели свищут в полях, скрипят растревоженные ветрами

монастырские березы и липы, вдоль стен навалило сугробов аршина в три высотой, дорожками идешь, как по траншеям.

За гимназической партой Катя забывала о тяготах жизни, тем более что ей-то не приходилось стоять в очередях и голода испытывать не случалось. Разумеется, первой ученицей Катя не стала, но училась довольно прилежно, не отвлекаясь, как раньше, на сочинение повестей.

Критика бабы-Коки отбила охоту писать. Может быть, слишком скоро Катя сдалась? Значит, не хватает таланта. Талант требует подвига. Видно, Катя не способна на подвиги.

Она задумалась об этом на уроке рисования, закончив срисовывать с натуры глиняную копию древнегреческой вазы, которая в тетрадке ее получилась такой кособокой, что едва ли и на тройку потянет. Ах, отметки по рисованию мало беспокоили Катю. Художницей ей тоже не быть.

Хотя иногда вообразится что-то щемяще-красивое — тропа в ржаном поле, синие васильки, курчавые облака в небе. Или ночь и звезды над темным садом, когда Вася, вернувшись со свидания с докторской дочкой, влезет в раскрытое окно и тихо играет на пианино.

А скособоченную вазу перерисовывать неохота. Скучно.

От скуки все и случилось.

Впереди сидела Клава Пирожкова и не скучала. Напротив, рисовала с необыкновенным усердием, что учителю-новичку, только со студенческой скамьи, конечно, нравилось. Она вовсю старалась показать, как увлечена рисованьем. Покачивала головой, наклоняла то вправо, то влево, ее беленькая косичка тоже качалась вправо и влево, и вдруг Катя ни с того ни с сего, не отдавая отчета, что делает, взяла беленькую косичку и опустила кончик в чернильницу. Клава мотнула косичкой, чернильные брызги разлетелись в стороны, жирно шмякнулись на тетрадь соседки. Та заревела. Учитель приблизился к Катиной парте с испуганным и несчастным лицом. Бедняга, у него не было педагогического опыта, пуще всего он боялся уронить авторитет и оттого не осмелился вступить в объяснения с нарушительницей спокойствия в классе, а только тихо вытянул палец:

— К стене!

Зато после Людмила Ивановна обстоятельно занялась ее воспитанием.

— Ведь ты из хорошей семьи, твою бабушку знают в городе, она образованная и обеспеченная дама, желает, чтобы ты была подготовлена войти в порядочное общество.— Поблескивая пенсне в золотом ободке, классная дама со вкусом рассуждала о порядочном обществе.— Ведь у тебя папа — полковник.

Вспомнила и Катин реверанс — Катя купила ее реверансом. Людмила Ивановна знала и о Катиних повестях и вопреки ба-

бушке одобряла Катин талант. В общем, она распекала провинившуюся Бектышеву не так уж сурово. Только под конец обратилась к Клавиной косичке и записала Катин проступок в дневник.

Необходимые воспитательные меры были приняты по отношению к Кате, она возвращалась домой, осознав свою вину, поэтому не было смысла рассказывать бабе-Коке о происшедшем.

Тем более баба-Кока сегодня уезжала в Москву по делам на три дня: «Денежный вопрос надо выяснить».

Катя оставалась одна. Не совсем одна, Ксения Васильевна позвала домовничать Лину.

Безнадзорная, вольная жизнь! Делай, что хочешь. Гимназия остается, правда, за ними. Но после гимназии живи, как знаешь, делай, что хочешь. Пожелаешь — обедай, а не пожелаешь — пей чай с вареньем. Беги на каток или до вечера валяйся с книгой на диване. Три беспечных, самостоятельных дня!

Они улеглись спать с Линой вместе на бабушкиной широкой кровати, под ее пуховым одеялом, теплым, как печь. Темно, только в переднем углу кельи тихо светит лампада, узенький синевато-желтый огонек виден поверх невысокой перегородки бабушкиной спальни.

— Давай разговаривать.

— Давай.

— О чем?

— О любви.

Лина любила говорить о любви. Она постоянно в кого-то была влюблена, всякий раз на всю жизнь.

— Ну, познакомились, ходим по аллее Свиданий. Ну, вот, первый день ничего. Второй — ничего. А на третий зовет: идемте на Серую, я там знаю одно прекрасное место под ивами. Я, конечно, — нет. А он молит, слышала бы — дрожь по телу, так молит. Я все — нет. Гордо. Знаешь, как гордость завлекательно действует! Скажи только «нет», ни за что не отступит. Томила-томила, под конец согласилась. Идем к Серой. А там ивы. Густые. Сели под ивами, все равно как под волшебным шатром, а речка журчит, и он берет мою руку, вот эту левую, робко... Катька, неужели ты никогда не влюблялась?

Кате интересно, непонятно, ново и трепетно. В темноте виден блеск Лениных глаз. В темноте глаза у нее блестят, как у кошки, или если подыскать сравнение поэтичней, как светляки в ночном лесу.

— Не влюблялась? Никогда? Чудеса! Ты просто дура. И не целовалась? Ни с одним мальчишкой? Ни разу?

— Ни разу, — признавалась Катя шепотом, потому что эти сладкие и чем-то немного стыдные — может быть, своей тайной — слова о поцелуях и любви, не той любви, какой она любила Васю,

а совсем другой, неизвестной, манящей, пугающей, слова эти радовали и мучительно смущали ее.

— Лина! Где ты встречаешь их?.. В монастыре мальчиков нет. В гимназии тоже нет.

— Ой, уморила! Ой, от смеха умру! — изумляясь неведению подружки, визжала Лина, подпрыгивая на бабушкиной мягкой перине, тузя кулаками подушку, не зная, что еще выкинуть от избытка жизни и юности.

— Да на обеднях и всенощных ты разве мальчишек не видишь? Неужели ни единого в церкви на службах не высмотрела? Рыба ты, Катька, вот ты кто. Только дуры да рыбы не влюбляются, знай.

— Не хочу тебя слушать.

Катя поворачивалась к Лине спиной. Но слушать хотелось, и через минуту они мирились, и Лина посвящала Катю в свои пылкие чувства: ревности, разочарования и вновь очарования. Только имя поклонника оставалось в тайне.

— Катя, Катя, неужели тебе недоступна любовь? А ведь ты хоть и рыба, а глаза выразительные! И волосы волнистые, мне бы такие. А косы нет, чудно! Ни одной девчонки у нас в классе нет стриженной, одна ты, всё у тебя не как у других, какая-то ты ни на кого не похожая. И отчего это тебя ни один мальчишка не выберет?

Сон смаривал их на полуслове. Они засыпали. Им снились счастливые сны.

И вот за эти три дня отъезда Ксении Васильевны, когда у Кати все шло так легко и беспечно, случилось несчастье.

До устали наговорившись и намечтавшись вчера, подружки проснулись в воскресенье поздно, встали не сразу, а вставши, поделили хозяйственные дела: Кате жарить на керосинке яичницу, Лине идти за водой на колодец.

Она вернулась тотчас, с громом швырнула пустое ведро.

— Катя! Фросю увозят.

— Кто? Куда? Почему?

Черная толпа послушниц и монахинь безмолвно стояла у крыльца Келейного корпуса. Седая от мороза лошадка, запряженная в розвальни, старательно хрупала в холщовой торбе овес. Юркие воробьи отважно ухватывали мимо лошадиной морды из торбы овсинки. Стайка снегирей перепархивала в кустах. Все мирно, обычно.

Но тишина! Неясная, гнетущая тишина черной толпы. Руки, всунутые в рукава зимних шуб-ряс, смиренно сложены на животе,

глаза прикрыты, ни шороха, ни слова, ни скрипа снежка под ногой. Все ждут, и что-то нечистое в смиренности лиц, рук, опущенных глаз.

И вот появилась на крыльце Келейного корпуса Фрося.

Смутное движение прошло по толпе. На секунду. И еще немее молчание.

Катя привыкла видеть Фросю в ряске, стройную, легкую, что-то возвышенное в ней было. А сейчас? В короткой не по росту, замызганной дубленой шубейке, холщовой юбке до пят, голова обмотана серой шалькой. И согнутые плечи, и дрожащие губы.

Фрося! Что с тобой, Фрося?

— Простите, сестрицы и матушки! — срывающимся голосом выговорила она, кланяясь глубоко во все стороны.

Никто не ответил. Не отозвалась ни одна сестрица и матушка.

Довольно молодой еще мужик, в шапке, надвинутой низко на лоб, с перекошенным в какой-то презрительной ухмылке лицом, вынес Фросин сундучок и узел с постелью. Бросил в сани.

— Садись.

Она стояла, жалко уронив руки. Невыносимая тоска и отчаяние трепетали в каждой черточке ее бледного лица, мертвенно-бледного, кажется, уже неживого. Катя протолкалась сквозь толпу монахинь к саням.

— Почему вы ее увозите? Фрося, Фросечка, зачем тебя увозят?

— Затем, что выгнанная из монастыря твоя Фросечка.

— За что? Фрося! Ведь ты монашенка, Фрося.

— Не монашка она, а гулящая девка, брюхатая. Ну, ты, стерва, садись, вот кнутомогрею.

Мужик замахнулся. Фрося упала в сани.

Черная монашеская толпа стояла без движения, без шороха.

Мужик тронул лошадь. Фрося рывком поднялась, села. Новое — злоба и ярость кипели во взгляде. Губы дергались.

— Вы... ты... ты... ты... — задышающимся голосом твердила она, указывая на кого-то, на одну и на другую в толпе монашек. — Прощенья прошу? А за что? Вам, что ли, меня прощать? Знаю про вас, распроведала! Блудливые вы, как кошки. А потаенные, хитрые. Все у вас шито-крыто.

— Молчи! — рявкнул мужик, дергая вожжи.

— Не умею, как вы, не хочу! — кричала Фрося. — Я-то верила — святая обитель!.. Ох, и обманули ж меня, ох, обездолили...

Она зарыдала, падая лицом в узел. Мужик дернул лошадь, ткнул кнутовищем Фросю:

— Молчи!

— Не смейте ее бить! — кричала Катя и бежала рядом с санями. — Не смейте!

— Опозорила нас. Погодь, в Медяны приедем, смерти запро-
сишь, бесстыжая.

Катя стиснула ладонями лицо: не слышать, не видеть. Ворота
открылись, пропустили сани, закрылись, и Катя, плача, поплелась
домой.

Черная толпа у Фросиноного крыльца поредела, но не растаяла.
Сстояли кучками, шептались лбом ко лбу. Лины нет.

Катя вернулась в келью, легла на бабушкину постель. Черные
монахини стояли в глазах. Безгласные. Ни у одной не дрогнуло
сердце. Что же это за цепи, что вас сковали так намертво? Что
Фрося кричала: все у вас шито-крыто? Значит, ложь, ложь!
А Фрося... любила кого-то? Где он? Почему не прибежал ее за-
щитить? Фрося, родная, вот отчего ты погасла... Фрося, зачем
ты скрывала от нас свое горе, что он бросил тебя?

Лина явилась домовничать только под вечер, вся взбудоражен-
ная. Весь день бегала по монастырю и подругам, выводывала, что
было, как было.

— Катя, с ума сойти, не поверишь!

Она выкладывала узнанное, полная возмущения и в то же вре-
мя довольная, что первая принесла новости, — ведь всегда хочет-
ся первой узнать о чрезвычайном событии и поразить, как пора-
зила она Катю.

— Это мы с тобой вороны, все проворонили, а многие знали,
и в городе и монахини замечали, догадывались, только сказать
вслух боялись, огласки боялись, вот и тянули, не открывали, что
Фросю отец Агафангел сгубил.

— Неправда, что отец Агафангел, сейчас же признавайся,
неправда! — в ужасе закричала Катя. Вскочила, топая ногами.
Схватила какую-то книжку, швырнула. — Неправда! Неправда!
Врешь.

— Вот как раз и не вру. Не кипятись, слушай. Не вру. У отца
Агафангела жена затрапезная, ни интереса, ни завлекательности,
пироги только печь и умеет. Ясно, Фрося ему приглянулась. А она
не устояла, Фросенька наша, перед его красотой. В него за одни
проповеди влюбишься. Фрося и поддалась. Теперь ее за позор и
в деревне со света сживут.

— Лина! Почему родить ребенка позор?

— Спрашивает! Вот еще божья коровка! В церкви обвенчать-
ся надо.

— Фросе без венчания позор, а отцу Агафангелу не позор?

— Родить-то ей, а не отцу Агафангелу. А еще скажу тебе, ах-
нешь! — почему-то перешла на шепот Лина. — Кто им встречи
подстраивал? Сама мать игуменья. После церкви отец Агафангел
к игуменье чай пить, а Фросю кликнут, будто стол собирать, а
на самом-то деле... у игуменьи комнат небось десять, целый
этаж...

...Весь день прошел в тоске и несбыточных планах спасения Фроси. Безутешный нескончаемый день. Нескончаемый вечер. Поздняя ночь. Лина давно сладко похрапывала, уткнувшись в подушку, а Катя металась. Ломило голову, все тело, словно ее заодно с Фросей избили кнутом.

Изредка доносились со двора мерные гулкие удары колокола. Это назначенные на ночное послушание монахини вызванивали на колокольне часы. У запертых ворот дежурят вратарницы. В Успенской церкви до утра читают псалтырь.

12

Гимназия шепталась, шушукалась. В коридорах и классах обсуждалось вчерашнее монастырское происшествие.

— Девочки, девочки, ведь ей еще и восемнадцати нет. Помните, кадило отцу Агафангелу подавала?

— А я тогда еще поняла: что-то тут есть. Вся так и сияет, кадило подает и сияет. А хорошенькая! Жалко-то как!

— Девочки, значит, он соблазнитель? Священник — соблазнитель. Как же это? Теперь отчислят его из священников?

— Держи карман шире. Мать игуменья горой за него.

— Почему?

— Потому. На его службы в храм не пробьешься. Все богачихи со всего города на отца Агафангела в колясках съезжаются. За одну обедню или всенощную больше чем за неделю в монастырскую кружку нажертвуют. Согласится мать игуменья из-за девчонки знаменитого священника из монастыря отчислить? Как бы не так!

— Девочки, а по-моему, Фрося сама виновата, — сказала Клава Пирожкова.

— Что? Клава, что ты? Девочки, что она говорит!

— Станет отец Агафангел на вашу Фроську внимание обращать! — фыркнула Клава. — У нее другой кто-то был.

— Клавка! Ах бессовестная, бессердечная, вруша!

Клаву Пирожкову стыдили и ругали за вранье и бессердечие, пока не увидели в дали коридора сухощавую фигуру в синем платье, с золоченым пенсне на близоруких глазах.

— Тише, тсс... Людмила Ивановна на горизонте.

Закон божий в четвертом параллельном был последним уроком. Неужели будет все, как всегда? Как он войдет? Как станет их учить? Ведь он говорил, что бог все видит и знает. Он учил их божьим заповедям.

Зазвенел звонок и не успел отзвенеть, девочки сидели на местах, затаив дыхание. Отец Агафангел вошел. В рясе вишневого

цвета на атласной подкладке, стройный, степенный и в то же время по-молодому подвижный.

Девочки поднялись. Неужели он не услышал эту полную горя и недоумения казнящую тишину класса?

У отца Агафангела была своя метода ведения урока.

Он начинал с какой-нибудь истории, притчи, какой-нибудь подходящей к случаю проповеди, а уже затем спрашивал заданное.

И сейчас, как обычно, неспешно прохаживаясь между партами, отец Агафангел начал без вступления и, рассказывая бархатым голосом притчу, по обыкновению, протянул руку положить на чью-то девичью голову. Он привык как бы всегда благословлять, не замечая, кого, чью голову ненадолго отечески накроет широким рукавом, шуршащим атласной подкладкой.

Катя сжалась. Атласная подкладка мягко коснулась лица. Она почувствовала тепло его белой руки. Она задохнулась и, мучаясь отвращением, впиалась ногтями в теплую, мягкую, душистую руку.

Он не удержался, отшатнулся, вскрикнул. Все произошло мгновенно, но весь четвертый параллельный увидел, как потерялся отец Агафангел, багровые пятна растеклись по его бело-розовому лицу, он поправил крест на груди, почти шепотом спросил:

— Ты больна? Тебе плохо?

Может быть, она верно больна, со вчерашнего дня у нее разламывается голова, ноги тяжелые, будто привязаны гири.

— Мне противно, что вы меня тронули, — сказала Катя.

Наступило молчание. Долгое, жуткое. Девочки не смели пошевелиться.

Тяжело ступая, словно на десять лет постарев, отец Агафангел прошел к учительскому столу, сел, вырвал из записной книжечки листок, что-то написал, со скорбным лицом, придерживая золоченый крест на груди, как бы ища в нем поддержки и силы пережить оскорбление.

— Выйди вон из класса, Бектышева, и отнеси записку начальнице.

У Кати отдавался в ушах стук своих башмаков, такая тишина провожала ее, будто на похоронах.

Коридоры пусты. Катя шла пустым коридором, неся начальнице записку. Остановилась. Позвала негромко:

— Бог! — Негромко, чужим, странным голосом: — Бог! — Прислушалась, в висках бьет набат. — Отец Агафангел учил... нет, он не отец, он поп... поп Агафангел учил, ты все видишь. Ты увидал, что он сгубил Фросю? Фрося на тебя уповала. Я слышала тогда с бабой-Кокой, монашка читает псалтырь: «На твое имя мы уповаем». Где ты, бог? Ну? Ну? Отвечай. Тебя нет. — Катя в ужасе смолкла. В висках бьет набат. В коридоре пусто, тихо. Лишь монотонный доносится из ближнего класса голос учителя. Пусто, тихо. Катя ждет. Тихо. И, белея от потрясения, от того,

что ей так вдруг бесповоротно открылось, она выговаривает внятно: — Тебя нет. Поп Агафангел тобой пугает, тобой прикрывается. Тебя нет.

Приемная начальницы — тайное тайных. Гимназистки вступали сюда лишь в экстренных случаях, хотя моложавая пышная начальница гимназии с ямочками на щеках и ясными глазами слыла доступной и справедливой. Ту приласкает, не считаясь, из бедной или богатой семьи гимназистка, ту похвалит за отличные успехи в ученье. Ту накажет. Не зря, по заслугам.

— В чем виновата? — спросила начальница, догадываясь: по пустякам, да еще во время урока, никто не явится к ней. — Записка?

Как разом все в ней изменилось! Где ямочки на щеках? Где ясность глаз? Где певучий, приветливый голос?

— Ты посмела? У тебя повернулся язык оскорбить пастыря, выдающего умом и талантом законоучителя? Ты посмела?

Неумолимость глядела на Катю из светлых заледенелых глаз. Пощады не жди. Дрожь охватила Катю. Она не могла унять дрожь. Нет, не смельчак Катя Бектышева, ее бунт был ей нелегко, очень был труден.

— Он обманул Фросю, а еще пастырь! А где бог? Что он смотрит, если он бог?

— Не смей богохульствовать! — шлепнув ладонью по ручке кресла, почти визгливо повысила голос начальница. И, помолчав, обдумав: — Скажешь бабушке, чтобы немедленно явилась.

— Бабушки нет, уехала в Москву.

— Бабушки нет. Отца нет. Матери нет...

— Какое вам дело? Вас не касается. Какое вам дело!

— Мне до всего дело в стенах учебного заведения, вверенного моему попечению, — с неожиданным спокойствием, становясь оттого еще беспощадней, сказала начальница. — Екатерина Бектышева, ты исключена из гимназии. Когда бабушка вернется, пусть придет. А сейчас ты исключаяешься. Не смей приближаться к порогу гимназии. Иди.

Зазвенел звонок к концу уроков, двери классов распахнулись настежь, коридоры наполнились шумом и топотом.

Катя спешила, не поднимая глаз. Никого не видеть, не слышать, не делиться ни с кем.

В вестибюле у вешалки Клава Пирожкова сутилась возле Нади Гириной, помогала одеваться, держа Надину сумку с книгами, и громко, взхлеб возмущалась:

— У нее и бабушка безбожница. И отец бросил. У нее вся семья... Она таковская, я давно раскусила.

Катя скорее шагнула за дверь.

Все в ней окаменело. Она шла равнодушно домой. Исключение из гимназии не беспокоило Катю. Больше она сюда не придет, да-

же книги оставила в классе. Лина захватит. Наверное, осталась после уроков разузнавать новости, жить не может без новостей.

Трудно шагать, еле двигаются ноги, тяжелы, как тумбы, и вся Катя себе тяжела.

Дома одиноко. Бабушки нет. Фроси нет.

Не сняв шубы, Катя подошла почему-то к креслу бабы-Коки, села. Что делать? Дождаться возвращения бабушки? Баба-Кока, возвращайтесь скорее!

Горят глаза. Больно глазам. Голову ломит. Что с ней? Холодно и горячо, сухо во рту.

На столе газета «Русское слово». Вчерашняя. Почтальон принес ее еще вчера, а Катя положила на столик. Вернется баба-Кока, прочтет. Катя не читала газет. Политика была ей скучна. Она закрыла глаза. Кажется, заснула. Проснулась. Где баба-Кока? Да ведь она в Москве, по делам...

Машинально, неизвестно зачем, Катя развернула газету. Все делала она сейчас машинально, неизвестно зачем.

На последней странице мелкими буквами напечатан столбик:

...Сведения Главного штаба. От особого отдела Главного штаба о потерях в действующих армиях.

Убиты: Капитан...

Подполковник...

Прапорщик...

Буквы подпрыгнули, выросли. Острые, как колья. Огромные, черные. Закачались:

«Прапорщик... Бектышев... Василий Платонович...»
Вася.

13

Мчатся красные тучи. Разве бывают красные тучи? Мчатся, мчатся. Огненные клубы пышут зноем в лицо. Жарко. Спасите!.. Горю... Теперь я знаю, какой ад. За что вы меня мучаете? Что я вам сделала? А! Вы мне платите за отца Агафангела.

Тучи унеслись, запылали костры... Еще жарче. Вася! Это ты, Вася? Они говорят, ты убит. Я знаю, ты жив. Тебя не убьют. Вася, уедем в Заборье, позовем бабу-Коку, вместе уедем, мы защитим тебя, там тебя не убьют. Не хочу, не хочу, чтобы тебя убивали!

Дайте воды! Зачем вы меня отослали в Сахару... солнце как желтая дыня. Как жжется песок...

— Катенька, детка, очнись! — молила Ксения Васильевна.

Много ночей она провела без сна у Катиного изголовья, меняя холодные компрессы на ее горячем лбу. Палата большая,

восемнадцать коек. Стоны и бред доносятся из разных концов. Тифозная палата. Возвратный тиф оттого и называется возвратным, что возвращается. Коварная болезнь. Шло на поправку, после пяти недель Катя начала подниматься, вдруг снова жар, озноб, головные боли, беспамятство. Хуже, чем было. Вся пышет огнем, вся сгорает.

— Острый рецидив, — сказал доктор.

— Доктор, очень опасно?

— Не буду скрывать. Сердце ее мне не нравится. Боюсь осложнений на сердце.

«Неужели я теряю тебя? — в тоске думала Ксения Васильевна. — Катя, Катя! Не уходи, не оставляй меня, девочка».

Она не подозревала, как глубоко привязалась к этой длинноногой девчонке-фантазерке, смешливой и диковатой, наивной и умненькой.

Между тем догадки врача подтвердились — после возвратного тифа осложнение на сердце. Из тифозной палаты Катю перевели в другую, громадную, как сарай, тесно заставленную койками. Ксения Васильевна дневала и ночевала у Кати. Нянь и сиделок не хватало в больнице. Ксения Васильевна заделалась и сиделкой и няней. Меняла больным белье, ставила градусники, слабых кормила с ложечки. Свою Катю кормила.

Температура упала, а сил нет. Совсем нет. Не поднять руки. Даже головы не повернуть к окну. А за окном весна. Какое весна! Там давно уже лето, нежаркое, дождливое лето. В день по многу раз набегали на небо одна за другой быстрые тучки. Набежит, завесит солнце, прольется мелким дождем, и мокрые листья берез под окошком повеют прохладой.

Снова напасть — плеврит. Да не простой, эксудативный. Снова компрессы, банки, шприцы. Снова на ниточке жизнь.

«Я проглядела. Дожди, а у меня окно не закрыто. Простудила ее. Старуха, из ума выжила!» — казнилась Ксения Васильевна.

Не отходила от Кати, боялась на час оставить одну.

Долго-долго не отступала болезнь. Медленно-медленно возвращалась жизнь к Кате. Тихая, грустная лежала она. Ксению Васильевну вдруг одолевал приступ кашля, и она кашляла в платок, задыхаясь, пряча слезы.

Настал наконец день, когда Катя сказала:

— Хочется есть.

— Милочка моя, оживаешь, — обрадовалась Ксения Васильевна.

«Оживает?!» — радовалась она, когда Катя попросила однажды:

— Баба-Кока, расскажите что-нибудь.

Рассказать было что. За Катину болезнь порядочно накопилось рассказов.

Катя металась в бреду, когда в феврале по городу шли манифестации с красными флагами. Флагами, музыкой, песнями. Царя свергли. Царь отрекся от престола. В России революция. Бескровная, мирная. Теперь осталось расправиться с немцами и начать жить по-мирному.

Временное правительство объявило: война до победного конца! Свобода, порядок, победа над врагами отечества.

Ксения Васильевна с подъемом рассказывала все это Кате. Она не любила царя — маленький человечиска! — а лозунги Временного правительства о победе над немцами и порядке привлекали Ксению Васильевну, были ей по душе.

Катя слушала молча, тихо. Так слаба она была, даже удивляться нет силы.

Только в июле Ксения Васильевна повезла Катю домой. Они ехали на извозчике Московской улицей, как в день первого Катиного приезда в город, и, как тогда, навстречу сверкал позолотой церковных глав и белизной стен монастырь. Первоклассный девичий...

— Баба-Кока, неужели вы хотите всегда жить в монастыре?

— Сначала надо тебя на ноги поставить, а там поглядим, — уклончиво ответила Ксения Васильевна.

Держась от слабости за стенку, Катя тихо вошла в дом, в монастырскую келью. Вон там за столиком она увидела тогда в газете черные буквы, острые, как колья: «Прапорщик... Бектышев».

Теперь Катя знала: мама тоже умерла. Она догадывалась об этом еще раньше, когда Вася к ним приезжал, но гнала прочь страшную мысль. «Нет, быть не может», — гнала она мысль о маминей смерти. Теперь точно известно. Умерла ее странная, несчастная мать.

— Располагайся, месяц мой ясный, — с тревожной радостью хлопотала баба-Кока. — Приляг на диван. Да она качается, что вы скажете, ее ноги не держат! Мигом ложиться! Итак, открывается новая страница нашего жития-бытия.

— В чем же новое? — улыбнулась Катя.

Неестественной получилась улыбка. Она сама чувствовала, какой натянутой получилась улыбка, голос неверный.

— В этом хотя бы, — заявила баба-Кока, повязывая косынку и надевая передник. Засучила рукава.

Катя не видывала, чтобы баба-Кока занималась стряпней. Батюшки! С каким удовольствием принялась разделывать цыпленка, резать на мелкие ломтики морковь и разные овощи, готовить диетический суп. И при этом делиться:

— Времена несуразные! Царя прогнали, а порядка что-то не видно. Прислуги не найдешь, провизии нет. Деньги падают. Что думает новый министр финансов Терещенко? Своими миллионами распорядиться умеет, а государственную казну упустил. Вовсе

обесценились деньги, керенок каких-то напечатали. На базаре крестьяне на керенки эти и глядеть не хотят: подавай им за цыпленка материю. Нынче, радость моя, провизию раздобыть куда труднее, чем решить уравнение с двумя неизвестными.

— Вот поправлюсь, буду, как раньше Фрося, из трапезной обеды носить,— сказала Катя.— Баба-Кока, ведь вы им платите деньги?

— Нынче им наша плата не надобна, не пустят нас в трапезную.

— Почему?

— Трапезная для сестер и монахинь, а мы с тобой миряне. Мы в монастыре посторонние, случайные личности.

— Как же раньше?

— Раньше ты отца Агафангела подлецом не звала.

Вот оно что! Несколько минут Катя лежала молча, не мигая глядела в потолок. Мать игуменья наложила на них наказание, вот оно что! Встала перед глазами черная толпа монашек возле Фросяных саней. «Потаенные, хитрые!» — кричала Фрося.

— Баба-Кока, что вы считаете самым большим в человеке пороком?

— Лицемерие. От него на свете все зло,— без раздумий ответила Ксения Васильевна.

— Баба-Кока, можно я...

— Спрашивай, спрашивай! — обрадовалась Ксения Васильевна. Веселило ее, что возвращается прежнее — этот любопытный расширенный взгляд, неожиданные вопросы.

— Баба-Кока...— помедлив, с запинкой сказала Катя,— почему вы выбрали для житья монастырь?

— Гм...— Ксения Васильевна недоуменно, а может, презрительно пожала плечами.— Думаешь, твоя баба-Кока ни одной глупости за целую жизнь не сотворила?

— А им зачем это нужно?

— Как зачем?! Они пожизненно кельи продают. Умру, снова их собственность. Снова продавай, наживайся. А покупателей только старых находят, чтобы недолго на этом свете задерживались. У них все по расчету.

— А вам какой расчет?

— И я не без расчетца,— со свойственной ей откровенностью призналась Ксения Васильевна.— Тут тебе и прислужат. Тут тебе и питание готовое.

Катя помолчала.

— Нам без трапезной будет труднее. Баба-Кока, вы сердитесь на меня?

Ксения Васильевна обернулась от керосинки. В одной руке картофелина, в другой — широкий, остро отточенный кухонный нож. Пристально как-то, почти строго поглядела на Катю:

— Я Катерина, тебя уважаю...

Кровь часто застучала у Кати в висках, румянцем бросилась на щеки.

— Тебе румянец к лицу,— заметила баба-Кока.— Полтора месяца каникул осталось, надо тебя до гимназии откормить хорошенько, чтобы щеки потолстели, подрумянились лучше.

— Я не пойду в гимназию, баба-Кока.

— Что так?

— Не пойду. Ненавижу отца Агафангела. Ненавижу начальницу. Не хочу учиться в гимназии.

— Вот это новость,— протянула Ксения Васильевна и принялась молча чистить картофель.

Смолоду Ксении Васильевне хозяйством заниматься приходилось не часто. Совсем не приходилось. Естественно, чужое дело само в руки не шло — то вырвется нож, то убежит молоко, то разобьется тарелка или сковорода подгорит — мучайся, чисти. Но Ксения Васильевна не роптала на судьбу, что к старости привела ее в кухню.

«Надо хозяйничать, не разгибая спины, или что там еще надо для Кати — все буду делать, не охну. И улыбаться буду».

Сняла кольца — до колец ли, когда на руках кожа трескалась от мытья посуды?

Давно не вспоминает Ксения Васильевна легенды и поверья о самоцветах, что раньше так любила рассказывать. Или просто любила рассматривать камни в кольцах. Если долго смотреть на алмаз, увидишь сначала сияние, будто все солнце отразилось в капле воды. И вдруг вспыхнет синий огонь и перельется в оранжевый, и вдруг какая-то грань засветится розовым, и запоют, заиграют все цвета радуги. Алмаз спасает жизнь, отгоняет тяжелые мысли...

Давно позабыла Ксения Васильевна разглядывать свои самоцветы. Много забыто из прежнего.

Одна привычка оставалась прочно. Настоявшись в очередях за хлебом, осьмушкой сахара и полфунтом крупы, натоптавшись у керосинки, Ксения Васильевна под вечер варила в старинном кофейнике — теперь ни за какие деньги не купишь — душистый черный кофе и, выпив чашечку-две, с довольным вздохом брала книгу. И уж непременно всякий день газету, свое «Русское слово».

А Катя? Катя читала. В чтении состояла теперь вся ее жизнь. Лина уехала на каникулы домой в деревню. Фроси нет. Никого — баба-Кока и книги. Ей нравились толстые старые книги. Чтобы день или несколько дней плакать и радоваться, делить чьи-то горести и чьи-то надежды. Любить. Ах, как любила она Наташу Ростову и Андрея Болконского — ах, как любила! Она сама была Наташей Ростовою. Зачем Наташа изменила Андрею? Как могло это случиться? Нет, она не нашла счастья с Пьером Безуховым.

Пьер благородный, но Катя навсегда оставалась верна Андрею Болконскому.

А «Русские женщины»?

«Далек мой путь, тяжел мой путь, страшна судьба моя...»

Дни были длинные, полные ярких чувств и боли. Но отчего-то горе, испытанное над книгой, озаряло душу светом. Достоевский мучил. Она страдала. Уйти нельзя. Надо все пережить, все до конца. Десять жизней, двадцать, сто... И вдруг Марк Твен. Она хохотала до слез.

— Читай все,— разрешила баба-Кока,— у меня на полках стоящие книги, слезливых Чарских не водится.

Баба-Кока намекала, что Чарская — кумир гимназисток. Чарская была и Катиным кумиром, пока книжные полки бабы-Коки не открыли настоящую жизнь.

Интересно было узнавать эту настоящую жизнь.

Длинная, с огромными от худобы глазами, остриженная после болезни наголо, повязанная платочком, Катя до ночи сидела с книгой; если дождь — на крылечке под крышей, если солнечный день — в тени отцветшей сирени, куда зимой празднично слетались снегири, а в июле чирикали стаи непосед воробьев.

Монахини, изредка проходившие мимо, не замечали ее. Опустив головы в черных клобуках, перебирая быстрыми пальцами четки, они скользили бесшумно и призрачно. Мать игуменья запретила монашкам посещать келью Ксении Васильевны.

— Живем, как на острове,— посмеиваясь, говорила баба-Кока. Впрочем, у нее и раньше не водилось среди монашенок приятельниц.— Ханжи, лицемерки. Тебя, Катя, посвящать в монастырские скверны не буду. Что знаешь, и того хватит, чтобы на всю жизнь от их святости отвратить. Чистая душа была Фрося. Сломали.

О Фросе они вспоминали с грустью и горем. Ксения Васильевна забрала бы ее снова к себе, но мать игуменья властвовала в монастыре безгранично: в монастырские стены Фросе вход был закрыт. Ксения Васильевна послала в Медяны письмо. Нет ответа. Второе письмо. Опять без ответа. Сгинула Фрося. Загубят ее.

Жизнь между тем становилась все беспокойней. В хлебных очередях передавали шепотом: солдаты из действующей армии бегут. За дезертирство Временное правительство ввело смертную казнь. Но все равно бродят вокруг города по лесам дезертиры. Власть главы Временного правительства Керенского не слаще царской. Видно, простому народу от Временного правительства доброго не приходится ждать.

И все чаще стало слышаться новое: большевики.

— Что за большевики? Чего им надо? Зачем воду мутят? И без них худо-прехудо,— говорила баба-Кока, начитавшись «Русского слова».

Катя взяла газету. Что о них пишет «Русское слово»?

Целый столбец печатался в газете под заглавием: «Большевики». Крупный такой заголовок, чтобы бросалось в глаза. Каждый день: боль-ше-ви-ки.

Кто они? За кого? Против кого? Чего добиваются?

Газета «Русское слово» писала: большевики смущают солдат, разлагают войска; большевики против народа и родины.

— Баба-Кока, это неверно.

— Откуда ты знаешь?

— Вася сказал.

— Э! Вася и не то проповедовал. Как о войне рассуждал? С победой или нет — кончай. Разве солдат такими призывами годится смущать? А то вот еще пишут, Ленин из-за границы явился. Главный у большевиков, а сам немецкий агент.

Да, о Ленине «Русское слово» писало почти в каждом номере. Что главный у большевиков и немецкий агент.

Вася не называл Ленина. Вася ни слова о нем не сказал. Но если Ленин большевик...

— Баба-Кока, вы верите Васе? Он говорил о большевиках — хорошие люди, большевики за народ.

— Поживем — увидим, — вздохнула Ксения Васильевна.

14

Хотя они и жили, как сказала баба-Кока, «на острове», вести о бурных событиях в мире проникали через монастырские стены. Все та же излюбленная бабой-Кокой газета «Русское слово» ежедневно сообщала наводящее страх. Нагнетала тревогу, пугала.

— Послушай, Катя, что твои большевики вытворяют! — негодовала Ксения Васильевна. — Что пишет «Русское слово»! Военный бунт в Петрограде. Бунтуют заводы. Большевики призывают: вся власть Советам! Нынешнее правительство, выходит, долой?

— А правительство что?

— Как ты думаешь — что? Если до бунта дошло, что прикажете делать правительству? Ужас!

— Стреляли? Я думала, только на войне убивают.

— Не пойму я, Катерина, тебя. Защищать революцию надо? А у них, большевиков, видишь ли, лозунг: долой министров-капиталистов! Сами рвутся под пули. И народ под пули ведут. Положение! Иди разберись.

Ксения Васильевна откинулась на спинку кресла. В глазах стояла растерянность, так ей чуждая раньше. Раньше она точно знала, что хорошо, а что плохо. Теперь все смешалось, перепуталось, и революция, которой Ксения Васильевна поначалу обрадо-

валась, одобряя свержение плохонького царя Николая Второго со всеми его продажными министрами и развращенным двором, теперь вроде вовсе перестала быть революцией. Ничего не менялось. Все оставалось по-старому — что при царе, что без царя. Вместо царских министров — другие, такие же.

Бунта дождались. Как при царе.

...Знойные июльские дни. В поле, должно быть, жнут рожь. В березовой роще за городом лиловые колокольчики нежно высятся среди тонкой травы. Уйти бы в березовую рощу, упасть на траву и дышать, и пусть ветер веет в лицо и лазурное небо льет свет.

А в Петрограде убивают своих. Большевики агитируют: долой министров. Министры — долой большевиков. Кто прав?

Поскольку у Ксении Васильевны не было других собеседников, Катя теперь постоянно втягивалась в обсуждение политики.

«Русское слово» ежедневно разоблачало большевиков, но как ни поддавалась его внушениям баба-Кока, у Кати было свое мнение. Большевики — хорошие люди. Чем доказать? Только той Васиной задушевной беседой. Вася словно бы оставил ей завещание.

Однажды Ксения Васильевна в необыкновенном возбуждении вернулась из города, покрасневшая, с крупными каплями пота на лбу и пустой сумкой, хотя не меньше трех часов выстояла в очереди. Полагалось на июльский талон по фунту крупы, а очередь вытянулась чуть не в версту — привезенного запаса хватило едва на пол-очереди, баба-Кока вернулась ни с чем.

Но не это разволновало ее.

Ксения Васильевна так и рухнула в кресло. Сумку кинула в сторону, стащила соломенную, с букетиком ромашек, широкополую шляпу, вытерла потный лоб не платком, как требует приличие, — прямо ладонью, и задыхающимся голосом:

— Видела бы, Катя, я ведь на митинг попала!

Наверное, даже в их небойком уездном городке, где ни единого крупного завода, а небольших заводиков — раз-два и обчелся, наверное, и здесь где-то большевики вели свою деятельность и агитацию против правительства министров-капиталистов, но Ксения Васильевна не подозревала об этом, потому так ее поразило увиденное.

Лавчонка, где ей было положено выкупить по июльским талонам на себя и Катю два фунта крупы, лепилась в ряду других лавок на базарной площади. Сюда в базарные дни съезжались из окрестных сел и деревень на подводах крестьяне, больше солдатики, а теперь, к концу третьего года войны, и отвоевавшиеся инвалиды с медалями. В базарных рядах всегда стояла толкотня, какая-то непонятная Ксении Васильевне торговля, когда крестьяне, и дамы в шляпах, и простые женщины в платочках что-то тайком

совали друг дружке, осторожно оглядывались, хотя запрета на торговлю не было.

После-то Ксения Васильевна поняла: не только в магазинах — и на крестьянских возах провизии мало. Ухватить не поспеешь — мимо тебя другому достанется.

Деньги не в цене. Купля-продажа велась не на деньги. Городские жители несли на базар одежду и обувь, лишние и нелишние вещи. Деревня хватала все, а хлебом платила скупно, с расчетом.

На углу площади стоял газетный киоск. В этот день киоск что-то был долго закрыт. Много позже срока появился газетчик. С ним солдат. В потрепанной солдатской шинели, с широкой бородой и кустистыми бровями над маленькими серьезными глазками. Весь серьезный и строгий.

Газетчик нес в сумке обычный товар: «Русские ведомости», «Русское слово»... У солдата своя ноша, тоже газеты, но другие. Ксения Васильевна заметила: поменьше форматом, что-то новенькое.

Газетчик открыл киоск, принялся раскладывать на прилавке обычные газеты. А солдат, не заходя в киоск, вскинул над головой газетный лист из своей пачки и громко, на всю площадь, закричал:

— Граждане, товарищи! Слушайте, что в Петрограде было. Рабочие вышли на улицы сказать Временному правительству, что не желаем мы больше войны. Долой войну! Долой буржуазную власть! Вся власть Советам рабочих, крестьянских, солдатских депутатов! Товарищи, граждане! Зачем нам министры-капиталисты? Они о своем богатстве заботятся. Зачем нам война? Хватит, навоевались. Рабочие Петрограда без оружия, мирно на демонстрацию шли, а правительство Керенского расстреляло их, безоружных. Так нас расстреливал кровавый царь Николашка...

Базарная площадь умолкла. Люди побросали куплю-продажу и бежали к киоску. Бежали от лавчонок и крестьянских возов. Обнесли газетный киоск, как забором, тесной толпой. В толпе Ксения Васильевна с пустой сумкой, соломенная шляпа с ромашками сбилась набок.

— Товарищи, граждане! Была у нас наша газета большевистская — «Правда». Открывала нам правду про буржуазную власть. Обозлились буржуи, редакцию «Правды» разгромили. На коленки нас хотите поставить? Не поставите. Шиш вам! Большевики не сдаются. Разорили нашу «Правду», а мы заместо нее «Листок Правды» выпустили. Вот он. Читайте. Передавайте другим. Граждане крестьяне, середняки и бедняки, здесь и про вас. О земле. Берите. Читайте. Узнавайте, как большевики защищают простой народ от миллионеров Гучковых, да князей Львовых, да Керенских...

Резкие свистки завершали в разных концах площади. Откуда-то появились конники. Ксения Васильевна не поняла, кто они. С шашками наголо, как жандармы. Ведь жандармов нет. Временное правительство разоружило жандармов. Откуда же эти, с шашками? Ксения Васильевна видела, подскакали к киоску. Толпа шарахнулась. Конник занес шашку над бородатым солдатом. Солдат поднял свою пачку, с размаху швырнул всю в толпу, газетные листы полетели. Люди ловили, хватали, прятали.

Каким-то чудом и Ксении Васильевне достался газетный лист. Вынула из-за корсажа помятый, наполовину изорванный.

— На, Катя, читай.

Катя разложила на столе газету, выпущенную в Петрограде 19 июля 1917 года, в четверг. Разгладила.

ЛИСТОК ПРАВДЫ

Не имея возможности выпустить сегодня очередной номер «Правды», мы выпускаем «Листок Правды».

РАБОЧИЕ! СОЛДАТЫ!

Демонстрация 3—4 июля закончилась.

Вы сказали правящим, каковы ваши цели...

Темные и преступные силы омрачили ваши выступления, вызвав пролитие крови. Вместе с вами и со всей революционной Россией мы скорбим о павших в эти дни сынах народа...

Товарищи рабочие и солдаты! Мы призываем вас к спокойствию и выдержке!

...Вся жизнь действует за нас. Победа будет за нами.

15

— Баба-Кока, можно задать вам вопрос?

— Давай спрашивай.

Ксения Васильевна отдыхала в своем кресле после трудового дня над остывающей чашечкой кофе, но без книги: на улице вечерело, в узкие сводчатые окна свет падал слабо, полумрак окутывал комнату, а зажигать лампу рано, керосин давно продают по карточкам, в обрез. Приходилось экономить.

Катя сидела возле кресла на низенькой скамеечке, обхватив колени, и в упор глядела на бабу-Коку. Странная была у нее привычка: в трудные моменты не потупляла глаза, а, напротив, всю вытаращивала, хотя и обливалась краской смущения.

— Что мнешься? Спрашивай.

— Кто мой отец?

— Знаешь ведь.

Если бы Ксения Васильевна умела хитрить, прятаться, убежать от опасных вопросов и, скрывая правду, говорить полуправду, могла бы таким ответом отделаться. Но Ксения Васильевна не любила хитрить. Особенно с Катей.

— Тебе надо знать не кто отец, а какой?

— Баба-Кока, вы с ним дружили?

Баба-Кока не сразу ответила. Видимо, взвешивала, сама не знала — да или нет?

— Дружкой не назовешь, а знакомство вели. Даже приятельство было. Как с семьей расстался, сколько тому... восьмой, верно, год, так и наше приятельство врозь. Неладно у него с личной жизнью. А передо мной неохота несчастливцем казаться. Слабовольный Платон Акиндинович, хотя и военный. Какой он военный! Не знаю, пальнул ли из боевой винтовки разок. В интендантстве служил... Катенька, тебе ведь другое надобно. Хочется услышать об отце, что большой человек, характера крупного?

Она замолчала. И Катя молчала. Впервые заговорила об отце. Никого, даже Васю, ни разу не спросила о человеке, которого называла ли когда-нибудь папой? Если и называла, так это было давно, что не помнит. Не помнит. Забыла.

— Героя хотела?

— Героя?! — гневно вскинулась Катя. — Хорош герой! Бросил маму.

— То дело двоих. Не нам судить, кто прав, кто виноват, — возразила Ксения Васильевна.

— Бросил нас.

— Вас не бросал. Мать не отдала.

— Вы не любили маму.

Ксения Васильевна не ответила, и это означало: да, не любила.

Внезапно протяжный колокольный звон вошел в келью и всю заполнил ее. Раньше с колокольным звоном на душе поднималось что-то певучее, печальное, важное. Сейчас колокола говорили Кате другое: унылость, безрадостность, ложь...

— Есть присловье: «По отцу и сыну честь», — послушав звон, сказала Ксения Васильевна. — Однако не все пословицы — мудрость. Что до отцов: оставили детям славное наследство — спасибо. А нет? Сам добывай. Кто тебе мешает? Завоевывай и почет и славу... А главное, Катя, чтобы смысл в жизни был...

— Смысл жизни в чем?

— То и загадка: в чем?

Вопрос, заданный самой себе, повис без ответа. Ксения Васильевна в задумчивости глядела на Катю.

Не странно ли, столько прожито лет, столько пережито счастья и горя, утех и утрат, а когда-нибудь ты задумывалась о смысле жизни, Ксения Васильевна? Цель высокая была у тебя? Любимое дело, такое, чтобы всю душу отдать? Нет. Жила в свое удовольст-

вие, и ничего более. И ничего выше. И все увлечения твои были не вечны. Минучие были и любви и привязанности. Что же это? Ведь таких людей небокоптителами называют, Ксения Васильевна. Или вот еще писатель Тургенев о таких, как ты, словечко изобрел: «лишние люди». Язвительно сказано. Будто выстрелом в самую точку.

Так раздумывала Ксения Васильевна, серьезно и строго, в то же время иронически посмеиваясь над собою: «Пустилась ни с того ни с сего философствовать, старая».

Но ирония была для нее защитой, в действительности же Катинны вопросы разбередили, подсказали что-то.

Катя, Катя — любовь к Кате, так неожиданно и властно заполнившая все ее сердце, — вот что было единственным содержанием теперешней жизни Ксении Васильевны.

«И прожила бы небокоптителем, — думала Ксения Васильевна, — если бы не эта девчонка, в которой вроде ничего и особого нет, а жизнь стала из-за нее драгоценной, и цель есть, и смысл есть, и хочу жить, жить!»

А девчонка, не решаясь отвлекать бабу-Коку от раздумий, мотнула стриженной головой в ситцевом платке, пересела со скамеечки на свой обжитой, со вмятинами и выпиравшими кое-где пружинами диван и целиком ушла в книгу. Вернее сказать, впилась в роман Диккенса «Давид Копперфильд», где тоже действовала и играла исключительно важную и благородную роль полная причуд и странностей бабушка, где мальчик Дэви, поначалу такой несчастный, нашел большую дорогу, где события следовали одно за другим, стремительно мчались, одно другого неожиданней и интересней.

Катя еще менее Ксении Васильевны склонна была философствовать. Настолько была обыкновенной девочкой, что даже не задумывалась: «Зачем я живу?» Жизнь дана, и живу.

16

К ГРАЖДДАНАМ РОССИИ!

Временное правительство низложено...

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!

25 октября 1917 г.

10 ч. утра.

«Рабочий и солдат» № 9

Орган Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. № 9.

26 октября 1917 г.

РАБОЧИМ, СОЛДАТАМ И КРЕСТЬЯНАМ!

Второй Всероссийский съезд Советов Рабочих и Солдатских депутатов открылся.

Съезд постановляет: вся власть на местах переходит к Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов...

Солдаты, рабочие, служащие, в ваших руках судьба революции и судьба демократического мира!

Да здравствует революция!

«Рабочий и солдат» № 10

27 октября 1917 г.

Постановление об образовании рабочего и крестьянского Правительства.

Всероссийский съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов постановляет:

Образовать для управления страной, впредь до созыва Учредительного собрания, временное рабочее и крестьянское Правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комиссаров.

Председатель Совета Владимир Ульянов (Ленин)

— Бог ты мой! — восклицала Ксения Васильевна. — Рабочие и крестьяне у власти. Катя, да разве рабочие справятся с властью? А председателем Ленин. О нем месяца три подряд что нам долбили?

— Баба-Кока, кто долбил?

— Ты большевичка, Катя. Где только заразилась, не знаю. Кто долбил? Вот кто! Вот кто глаза на действительность нам открывал.

Она подняла со стола пачку газет.

— Читай. Вслух, громко.

— «Русское слово», 25 октября 1917 года, — громко прочитала Катя. — Кошмарные дни. Кошмар большевистских выступлений продолжает душить страну. Мы живем в ожидании погромов, грабежей и убийств...»

— Другую читай.

— «Русское слово», 26 октября 1917 года. На развалинах...»

— Стоп! — перебила Ксения Васильевна. — Точный диагноз: мы на развалинах. К чему мы идем? Какой нас ожидает финал?

Она умолкла и некоторое время сидела с гневным выражением лица, прямая, не двигаясь, держась за подлокотники кресла.

— Немцы завоюют Россию, сядет нами править Вильгельм, тем все и кончится, — разом как-то вся угасая, внезапно заключила она.

Колокольный звон вошел в окно со двора.

На дворе мутный, насквозь вымокший день. Уродливо топорщатся голые, будто узлами перевязанные сучья сирени. Холодные дождевые капли висят на ветвях. А колокол гудит панихидно, тоскливо над сереньким днем.

— Молятся всё, — недобро промолвила Ксения Васильевна.

Приложила два указательных пальца к вискам. Начиналась мигрень. Раньше в таких случаях раздували угли в кофейной трубе, крепкий дух вкусно разливался по келье, черный напиток оживлял Ксению Васильевну голову. Но давно уже не вздувают угли в медном кофейнике, не булькает в носике, закипая, душистый кофе. Катя подала карандашик против мигрени, хранимый Ксенией Васильевной с давних времен. Переждала, пока баба-Кока потрет виски, посидит, прикрыв веки.

— Вы испугались революции, баба-Кока?

— Сроду пугливой не была, — не поднимая век, устало ответила Ксения Васильевна. — За тебя тревожусь. Тебе жить. Странное, мятежное время! Все неясно, тонет в тумане. Подружка твоя Акулина, или, как она там себя переименовала, Лина, прямиком пошагает в новую жизнь, а ты, Катя?.. Да и сбудется ли она, эта их новая жизнь, которую обещает Председатель Владимир Ульянов-Ленин, а «Русское слово» зовет кошмаром, катастрофой, агонией?..

ДЕКРЕТ О МИРЕ

Рабочее и крестьянское Правительство, созданное революцией 24—25 октября... предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире...

Такой мир предлагает Правительство России заключить всем воюющим народам немедленно...

Доставать «Правду» было трудно, почти невозможно. Во всяком случае, старой женщине в черном драповом саке с бархатным воротничком, в фетровой шляпе, под отливающим мокрой лаковой чернотой дождевым зонтиком, с которого струями стекает вода, доставать «Правду», бравшуюся с бою в эти первые дни Октября, Ксении Васильевне было бы совсем невозможно, если бы когда-то не пришлось участвовать на базарной площади в митинге. Она

запомнила солдата, который, размахивая «Листком Правды», бросал в народ яростные слова о расстреле буржуазным Временным правительством мирных рабочих. Запомнила солдата и его рабочий листок.

И солдат заприметил пожилую особу буржуйского, не совсем обычного вида. Она кидалась к нему за «Правдой» даже из хлебной очереди. После ее не пускали в очередь.

— Ловчит! Не стояла, втирается. Не было тут ее, ступай, ступай, ишь в шляпу вырядилась...

Она не бранилась в ответ. Только молча вскидывала голову, отчего вид у нее становился еще более буржуйский и гордый.

Однажды солдат заступился:

— Товарищи женский пол, тиха-а! Пролетарским словом подтверждаю: стояла гражданка в очереди, имеет законное право.

С тех пор Ксения Васильевна была обеспечена большевистской газетой. Увидав ее, растрепанную и раскрасневшуюся от толкотни, но не жалкую, не бедненькую, а чем-то достойную, солдат протягивал ей газету через головы.

— Эй, мадама старый режим, бери, просвещайся, выветривай из мозгов плесень.

«Декрет о мире. Если бы Вася дожил! Он ненавидел войну,— думала Катя.— Зачем мы воюем? Тысячи, тысячи убитых, калек. Вася... Санькин отец... Зачем? Баба-Кока, зачем?»

Баба-Кока хмурилась. Гремела у керосинки кастрюлями.

Впрочем, Катя рядом с ней тоже гремела кастрюлями. Хватит быть белоручкой! Нет у нее чахотки. Доктора напрасно запугивали.

Катя здорова и не желает сидеть взаперти за монастырской стеной, желает жить, как все люди. Стоять в хвостах за хлебом и солью, добывать с бою, как баба-Кока, газеты, читать расклеенные на заборах новые законы, подписанные Лениным, и приказы уездного совдепа — видеть, слышать. И понять, и понять.

— Что касается мира, это они великолепно придумали! — сказала баба-Кока.

А давно ли агитировала: война до победного конца!

Поняла, согласилась. Мир! Это и будет наш хороший конец, наша победа.

ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ

1. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.

2. Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадьбами постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов...

— Милосердный боже! — ахнула Ксения Васильевна.

Никогда раньше она не взывала так часто к милосердию божию.

В этот день у них с Катей подгорела каша, дочерна, до половины кастрюли. Кашу съедят кое-как, хоть и прогоркла, — голод не тетка, съедят, а кастрюлю не отчистить, пропала.

Катя догадывалась: баба-Кока потому так разгоревалась о подгоревшей кастрюле, что на ее старинном, красного дерева столике газета «Правда» огромными буквами объявляла: «ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ».

Баба-Кока подходила к столику, а в кресло не опускалась уютно и довольно, как прежде. Читала этот декрет стоя, чуть издали. Несколько раз. Словно не верила глазам или хотела заучить наизусть... Но ведь в первый же день рабоче-крестьянской революции, в первом же выпущенном Советской властью газетном листке они с Катей прочитали об отмене помещичьих и монастырских земель...

— Да, но не верилось, думалось: так просто, мечта... — недоуменно говорила баба-Кока.

На лице ее появилось выражение растерянности и выжидания. А газеты каждый день сообщали новое, поражающее, отчего Ксении Васильевне, как и Кате, хотелось идти туда, к людям, и кого-то умного, кто все понимает, спрашивать:

— Что это? Настоящее? Навсегда?

Каждый день Ксения Васильевна брала газету и с иронией, пряча под смешком настороженность, говорила Кате и себе:

— Ну, чем сегодня огорошат?

— «Декрет о восьмичасовом рабочем дне...»

— «Декрет об уничтожении сословий».

— «Декрет...»

Этот декрет не был еще опубликован, когда Ксения Васильевна однажды, одевшись особенно тщательно, сменив кружевную вставку на шерстяном темно-зеленом костюме, раскрыв дождевой зонт, отправилась в банк.

И вернулась. Довольно скоро.

Утомленной, какой-то неверной походкой, позабыв раскрыть зонт, опираясь на него, как на палку, хотя колючий ноябрьский дождь со снегом хлестал в лицо и безжалостно мочил ее фетровую шляпу и пальто.

— Чашечку бы настоящего черного кофе, — грустно сказала Ксения Васильевна, садясь на первый попавшийся стул и без спора давая Кате стащить с себя мокрые от луж башмаки.

— Что-нибудь новое? — спросила Катя.

— Круто большевики забирают. Неслыханно... Спасибо, печка истоплена, на улице, брр, мерзость, слякоть. Итак, Катя, банк не работает. Закрыли. Надолго? Насовсем? Мы с тобой без гро-

ша. А слухов, а слухов! Говорят, нетрудовые доходы все реквизируются. У нас с тобой трудовых доходов нет. Поняла? — И тут она засмеялась. Как ни странно, она засмеялась каким-то сардоническим, если можно так выразиться, смехом: — Екатерина Платоновна, пролетело наследство, не пришлось стать помещицей!

— Мне все равно,— ответила Катя.

Верно, так оно и было, ей все равно. Практические вопросы не занимали ее. Возможно, оттого, что за свою жизнь Катя не знала нужды. И село Заборье так ушло далеко, старый дом заколочен, сыро, неприютно в саду, листья облетели.

— Так или иначе, вопрос пропитания сейчас для нас первейший и труднейший вопрос,— нахмурясь, сказала баба-Кока.

— Не только для нас,— возразила Катя.

И вдруг Ксения Васильевна задышала тяжело, потемнела.

— Если ты под моей крышей вырастешь бездушной и сухой, не видя и не понимая переживаний и чувств близкого человека, если тебе не хочется бежать на помощь, когда ему тяжело, если ты... если ты...

— Баба-Кока, не надо!

Ксения Васильевна утихла, провела рукой по лицу.

— Чашечку бы настоящего черного кофе!

17

— Отец Агафангел уволен! Отца Агафангела из гимназии выгнали. Долой буржуев, долой попов! Ура! Да здравствует Советская власть!

Так в один прекрасный день примчалась Лина Савельева. День был, верно, прекрасен. Стала зима. Нетоптанный снег сверкал мириадами бриллиантовых звезд на просторах монастырских полян. В кустарниках алые грудки снегирей цвели, как цветы.

Лина выкладывала новости. Ворох новостей!

— Во-первых... Катька, ты писательница, сочиняешь повести, сочинила бы про моего отца, как он, весь покалеченный, из окопов пришел, живого места нет, четыре года отвоевал, а без единой награды вернулся, вот какова справедливость! Гимнастерка от вшей шевелится. Мать так и повалилась на лавку. Истопили баню. Одежду пожгли. Батьку вымыли, выпарили. А дальше? Дальше самая суть. Отец башковитый, в окопах наслушался правды, пришел на село Советской власти подмогой, выбрали секретарем партячейки, никого выше нет. Кто был ничем, тот станет всем. А кто был всем, тот стал ничем.

Ксения Васильевна приблизилась к дивану, где сидели Катя и Лина, молча опустилась рядом на стул. Слушала, крутя кольцо на безымянном пальце.

— Дальше рассказывай... Акулина.

— Баба-Кока! — отчаянно крикнула Катя.

— Поп Акулиной окрестил. Да еще отец Агафангел когда назовет с подковыркой, — меряя дерзким взглядом Ксению Васильевну, ответила Лина. Перекинула на грудь толстую косу, расплетала и заплетала конец. И все глядела на Ксению Васильевну.

— Ее зовут Линой, — сказала Катя.

Молчание.

— Подковырки я сама не люблю, нечаянно вырвалось, — трудно заговорила Ксения Васильевна. — А понимаю не все. Сознаюсь, не все понимаю. Рассказывай, Лина.

И Лина, легкий человек, забыла нависшую тучку, не казнила взглядом Ксению Васильевну и затараторила бойко:

— Во-вторых... Угадайте! Катька, не силясь, не угадаешь, хоть лопни. В нашей бывшей женской гимназии...

Тут Катя и Ксения Васильевна, не веря ушам, услышали: нет больше в их городе женской гимназии. Вывеска скинута. А уж если вывеску свергли, значит, большевистская революция докатилась и до бывшей женской гимназии. На месте ее единая трудовая школа. Девчонки будут учиться вместе с мальчишками. Единая, трудовая, совместная!!

Дойдя до чрезвычайного пункта о совместном обучении девчонок с мальчишками, Лина с присущим ей темпераментом, позабыв о недетских уже годах, принялась подпрыгивать на пружинистом диване, всплескивать руками, хихикать, подмигивать.

К тому же в этой новой, только рождавшейся школе образован ученический комитет из учащихся, и членом комитета большинством голосов выбрана Лина Савельева. Члены комитета в курсе всей школьной жизни, всех реорганизаций.

Ре-ор-га-ни-за-ция! Слово-то какое! Небывалое.

И Катя решила:

— Теперь пойду в школу.

— Катька, Катька, а зачем я и прибежала к тебе!

Оказывается, Лина и прибежала затем, чтобы мобилизовать Катю в школу. Отца Агафангела вытурили, дорога открыта. Мы наш, мы новый мир построим.

— Она из формы выросла, а другой не достанешь, — неуверенно заметила Ксения Васильевна.

— Формы долой! Погоны долой, предрассудки, сословия, угнетателей, весь прогнивший царский режим!

Ксения Васильевна вздохнула. И сдержанно:

— Во-первых и во-вторых мы узнали... А в-третьих?

В-третьих было недоброе. В бывшей женской гимназии бушует классовая борьба, вот что, оказывается!

— Уж это увольте! Это, сударыня, ты сверх мерыхватила,

вам, большевикам, классовая борьба всюду мерещится, хоть в школу ее не притягивайте, не агитируй, не верю! — возбужденно заговорила Ксения Васильевна. — Классовая борьба в гимназий! Придумают небылицы.

Между прочим, если учителя не признают Советскую власть, объявили саботаж, не выходят на уроки, отказались учить — это что? Классовая борьба, вот это что! Учителя — саботажники, отсталые, с контрреволюционными взглядами. Начальница во главе. Да, начальница, пышная, полненькая, с ямочками на щеках, — главный враг революции.

— Половина уроков пустые! Физики нет, математики нет! — выкладывала Лина, видимо не очень скучая без физики и математики. — Митинги, митинги! Пустой урок — сейчас митинг. Позор учителям-саботажникам! Несаботажники — с нами. Их признаем, эти свои. Катя, придешь — увидишь, мы все на новый лад перестраиваем.

— Ох-ох! — вздохнула Ксения Васильевна. — Не знаю, Катя, уж идти ли тебе в эту вашу новую... трудовую...

Но назавтра поднялась ранним утром, тихонько вздула утюг, выгладила старое коричневое платье, едва прикрывавшее Кате колени, приметала белый воротничок. «Как вы там ни свергайте старый режим, а девочку оденешь гимназисткой — и будто не все прежнее рушилось, что-то осталось...»

В бывшей женской гимназии заливался звонок. Клава Пирожкова шагала вдоль коридора, трезвоня над головой колокольчиком. Раньше к урокам звонил старый бородатый швейцар в зеленом мундире. Теперь Клава Пирожкова пронзительно выкрикивала:

— По классам! По классам! Первый урок.

Выписанный малиновой краской на серой оберточной бумаге плакат призывал: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Плакаты, объявления, газетные листы и рисунки залепили стены вестибюля и коридоров. Раньше коридоры были голы и пусты, теперь:

Всем! Всем! Сегодня общешкольное собрание.

Повестка дня:

- 1. О кухонных дежурствах.*
- 2. О драматическом кружке.*
- 3. О поведении учителя химии.*

Все на собрание!!! Не опаздывать! Революции дорого время.

«В труде и знаниях — сила рабочего класса!» — объявлял пестрый плакат, составленный из цветных букв разрезной азбуки.

Размашистыми крупными строчками кто-то веселый взывал:

Демьян Бедный,
Мужик вредный.
Просит
Братьев-мужиков
Поддержать
Большевиков.

— По классам! Первый урок! — звала Клава Пирожкова.

Девочки не спешили по классам. Там и тут стояли в коридорах. Торопливо прошагал длинноногий учитель рисования с красными пятнами на лице, вошел в пустой класс и, багровея от стыда и беспомощности, принялся расставлять на учительском столике никому не нужные глиняные вазы перед партами, на которых никто не сидел.

— Бектышева! — заметили Катю.

— Девочки, девочки! Катя Бектышева вернулась.

— А худая, длиннющая! Дылда!

— Девочки, у нее волосы колечками вьются.

— Не колечки, а стружка. После тифа волосы всегда стружкой растут. Девочки, она на Топси из «Хижины дяди Тома» похожа.

— Скажешь! Топси черная, негритянка. А она вон какая белая.

Подошла с колокольчиком Клава Пирожкова.

— Бектышева! Катя! Хорошенькая-то какая после болезни! Мне бы так побелеть. Катя, а отец Агафангел-то против Советской власти попер. Заберут его. Чека заберет. Ты верно его разгадала. Я тогда еще всем говорила: умная Катя. Умная, умная! Катя, а Надька Гирина, буржуйская дочка... Отец во Францию сиганул, а она с папенькой да его капиталами, ясно!..

— Катя, идем! — позвала Лина. — Садись со мной, на мою парту по-прежнему. Девочки, Людмила Ивановна на горизонте.

Людмила Ивановна, высокая, худая, в пенсне с золотым ободком, сменила синее форменное платье на темную юбку и светлую кофточку, желая, должно быть, тем показать свой разрыв со старым режимом.

— Людмила Ивановна, к нам! У нас пустой урок.

Она села, как учительница, за учительский стол. Классные дамы раньше за учительские столы не садились. Может быть, Людмила Ивановна стала учительницей? Какой урок она будет вести? Физику? Математику? Русский?

— Девочки! — сказала Людмила Ивановна. Поправилась, слегка покраснела: — Товарищи учащиеся!

Повертела пуговицу на блузке.

— Товарищи учащиеся, девочки! Любой власти и строю

нужны просвещенные люди. Не будем заниматься политикой. Политика для мужчин. («Мужчин» в классе не было, объединенная школа еще впереди.) Вы — будущие женщины, ваше богатство — изящество, хорошее поведение, скромность и чувства. Сегодня я вам почитаю...

Она раскрыла книгу, довольно потрепанную, в переплете шоколадного цвета с прожилками.

— Иван Сергеевич Тургенев. «...Итак, это дело решенное,— промолвил он, глубже усаживаясь в кресло и закулив сигару.— Каждый из нас обязан рассказать историю своей первой любви».

18

День был морозный, ветреный. Мела поземка. Колючие струи снега неслись вкось монастырских троп и дорог. Страшно нос высунуть на улицу. В школу не хотелось идти. Тем более, по расписанию два первых урока — алгебра и геометрия, а преподавателя математики нет, саботирует. Людмила Ивановна придет читать вместо алгебры и геометрии Тургенева. Потом в большую перемену продовольственная комиссия будет раздавать по классам кислые щи из селедки и по ломтику ржаного хлеба наполовину с овсяной, грубого помола мукой. Хлеб с колючками, клеклый, а все равно съешь жадно, почти не жуя.

«К большой перемене пойду, а почитать можно и дома»,— решила Катя и взяла с бабы-Кокиной полки недочитанную вчера Людмилой Ивановной «Первую любовь».

Баба-Кока со своим письменным столиком из красного дерева, со множеством ящичков, потаенных и явных, была погружена в занятие не очень для нее обычное. Баба-Кока оказалась по натуре новатором, постоянно осваивала какое-то новое дело. В это утро занималась шитьем. Швейная машинка фирмы «Зингер» годы бездействовала в высоком деревянном футляре с желтой, как в позолоте, ручкой. А теперь Ксения Васильевна водрузила машинку на свой письменный столик и перевортывала и перекраивала старые платья на новые, и, хотя и без практики, довольно искусно. Да еще ухитрялась приладить к месту где поясok, где оборку или бантик; таким образом, Катины туалеты были даже нарядны.

— Всякий портной на свой покрой, а мой и совсем неплохой,— хвалилась Ксения Васильевна.

Не любила она унывать. А Катю баловала, нередко нарушая наипервейшие педагогические правила. Например, вместо школы с утра расположиться на диване с книгой Тургенева — дело ли это? Конечно, не дело. Другая бабушка внушала бы внучке: долг, обязанности прежде всего; работе — время, потехе — час. И так далее.

А Ксения Васильевна поглядела в окошко, увидела снежную

мглу и качающиеся от ветра кусты и не стала ничего внушать Кате.

Кстати, кроме поземки, грозящей разыгаться в пургу, Ксения Васильевна увидела в окошко черную фигуру монахини, которая, по всем признакам, направлялась к ее, Ксении Васильевны, крыльцу. Давно уже монашенки забыли к ней дорогу; понятно, Ксения Васильевна приостановила шитье и в удивлении ждала.

Так и есть, минутой спустя раздался негромкий стук в дверь. — Войдите! — разрешила баба-Кока.

Монахиня вошла.

Вошла не простая монахиня. Не из тех, что при старом режиме делили время между молениями в храмах и стеганьем в кельях натянутых в пальцы от стены до стены атласных одеял для заказчиков. Нет, пришла монахиня из начальства, правая рука и советчица игуменьи, мать-казначей. Все монастырские приходы и расходы, денежные средства, церковная драгоценная утварь: золотые кресты, усыпанные алмазами чаши, золоченые оклады евангелий, расшитые жемчугами епитрахили, — все огромные монастырские богатства состояли в ее ведении, под ее неусыпным контролем.

Вот каким важным в монастыре человеком была явившаяся к Ксении Васильевне в утренний час пожилая, степенная мать-казначей. Покрестилась на икону не поспешным крестом. Поклонилась не низким поклоном. Привыкла в сане своем не поспешничать.

— Уважаемая сударыня Ксения Васильевна, нашей смиренной монастырской обители великая до вас нужда.

— Догадываюсь. Без нужды не оказали бы чести.

— Об той великой, трудной нужде покорно прошу вас наедине поделиться, а внучке вашей...

— От внучки моей у меня нет секретов.

— По несовершеннолетию ее...

— Повторяю, секретов между нами нет. Сиди, Катя.

Мать-казначей потупила глаза, перебирая четки, видимо колеблясь, ища выход. Не нашла.

— Вас также большевики обидели, Ксения Васильевна.

— Не будем этот вопрос обсуждать, — сдержанно возразила Ксения Васильевна.

— Одному богу молимся, веру православную одну исповедуем...

— Давайте-ка, мать-казначей, поближе к вашей нужде.

— Ну тогда... ну, коли так... прикажите — паду на колени, — вдруг каким-то поднявшимся, надрывным голосом почти заголосила мать-казначей. — До конца жизни всяя святой обителью нашей молить всевышнего будем за вас, разумность и милосердие ваше, сударыня Ксения Васильевна, протяните помощи руку, господь вознаградит и внучке вашей удачи в жизни пошлет...

— ...в награду за что?

Мать-казначей оглянулась на дверь, возбужденно затеребила четки.

— Сударыня Ксения Васильевна! Вы благородного роду, вам от старого режиму вредного не было, а нынешняя власть милостью не пожалует, не для вас она, большевистская власть... Слушаюсь, слушаюсь, молчу о том, о деле буду. Зачем и пришла. Сударыня, вы у нас в обители с внучкой мирскими живете, на вас подозрение не ляжет... с обыском не нагрянут чекисты... Притесняют обитель. Какие кельи побогаче, стоят отдельными домиками, туда городских вселили. Грозятся и главный келейный корпус отобрать, слухи идут... Да я не про то... Реквизировали нас, достояния монастырские, трудом и дарами добытые, наполовину отобрали, грабеж, злодейство среди бела дня! Сказывали верные люди, снова придут, выметут все подчистую.

— Что же вам от меня требуется? — сухо спросила Ксения Васильевна.

Но Катя догадывалась, бабе-Коке понятно, что им от нее требуется. И Кате понятно.

Вкрадчивый, сладкий, молящий и в то же время с властными нотками голос журчал:

— Сударыня Ксения Васильевна, припрячьте что по силе возможности. Не дайте святую обитель по миру пустить. Времечко-то, даст бог, переменится, перетерпеть бог велит. Припрячьте, Ксения Васильевна. Христом богом молим. Нынче ночью потихоньку к вам в подпол снесем да в яму и закопаем. Иконы-то в золотых окладах с алмазами, богатство-то! Божье, монастырское. Сделаем так, никто не унюхает, все шито-крыто, Ксения Васильевна, надежда наша...

Ксения Васильевна поднялась, бледная, с темным блеском нестареющих глаз.

— Вы решились ко мне прийти?

— Сударыня, милостивица Ксения Васильевна, — тоже вставая, но суетливо, потеряв степенность, заспешила мать-казначей. — Настоятельница передать наказали, слезно просим прощения, что с трапезной-то неловко тогда получилось, без ведома игуменьи, благодетельница Ксения Васильевна. Еще приказывали доложить: не задаром, Ксения Васильевна, вашей помощи ждем. Убережем доброе, вашей милости по заслугам отпустим, жить-то надо, внучку кормить...

— Идите вон!

Баба-Кока стояла возле своего столика из красного дерева, где скомканное валялось шитье. Высокая, недоступная.

Мать-казначей как будто перевернулась: разом смыло умильность, лицо вытянулось, бледнее до зелени; пиявками кололи глаза, с дрожащих губ срывалось что-то безумное:

— Да будет проклята твоя окаянная жизнь, распутница, отступница от бога, пусть род твой истребится и имя твое, и муки адовы падут на тебя и внучку твою-у-у-у... Проклятье на вас, вся святая обитель вас прокликает!

И в этот миг, ах, могла ли Катя вообразить, чтобы в этот именно миг, когда на ее и бабушкину головы рушились проклятия монахини, открылась дверь, вкатились понизу клубы морозного пара, и в морозе и инее явилась Фрося с котомкой за плечами и увязанным в платки и одеяла... свертком, сказала бы Катя, если бы не догадывалась...

Не здороваясь, не видя никого, кроме матери-казначей, Фрося шагнула на нее.

— Ты, святая, ты и меня так кляла,— она кивнула на сверток,— за Васеньку. Все ваше черное племя, губительницы вы, а не святые. Слышала я, на что ты подбивала Ксению Васильевну, за дверью твой голос узнала. Теперь я про тебя, святая, Советской власти все твои умысления выложу. Не смолчу, я тебя всю открою, что вражина ты. И все вы, монашки, только что без ножа, а убивцы...

Мать-казначей вдруг громко икнула, и Фрося умолкла, так это было странно и нехорошо. А мать-казначей неудержимо икала и всхлипывала. Грузные плечи тряслись. С икотой и всхлипом ушла.

— Не хватило силенок до конца продержаться,— брезгливо поморщилась Ксения Васильевна. И Фросе: — Здравствуй, милая наша!

— Катенька, Ксения Васильевна, здравствуйте!

Иней на ресницах и платке у Фроси растаял, лицо было мокрое, с еще не остывшим от мороза румянцем, но такое худенькое, как бы все истончившееся, с глубокой грустинкой во взгляде.

— Здравствуйте!

И она тихо покачала головой. И видно было, как устала она, как забили ее невзгоды и беды.

— Ну-ка, быстрее знакомь, представляй своего сыночка,— говорила Ксения Васильевна оживленно и весело, чтобы не дать Фросе заплакать, и принялась разворачивать сверток, освобождая из одеяла и платков безбровое, курносое существо, которое, почувствовав себя на воле, зашевелило ручонками, открыло глаза и широко улыбнулось.

— Рад, что к хорошим людям попал,— шепотом, с нежностью промолвила Фрося.— Сынок уродился, полгода сровнялось, Вася...

— Вася? Он Вася? — удивилась и обрадовалась Катя.

— Катя, я его Васенькой в честь брата твоего нарекла. Ты отпиши Василию Платоновичу...

Фрося говорила, говорила, говорила, торопясь и дрожа от волнения, как в лихорадке:

— Выгнали меня из дому. Пропала бы я, да бабка Степанида приютила, бобылка Степанида, вы у ней, Ксения Васильевна, в то лето избу под дачу снимали. У ней и родила сыночка. Сами с ней зыбку смастерили, а на пеленки бабы тряпок да ношеных рубашках нанесли. А в крестные матери ни одна не согласна. По нынешнему времени бога упразднили, можно и не крестить, а он поспешил, до Октябрьской родился. Поп с угрозой: «Ты зачем, такая-сякая, крестить не несешь своего?..» Хотел обозвать, да споткнулся, поп все-таки, в рясе, язык-то придерживать надо... Катенька, Ксения Васильевна! Нешто маленький мой виноват, что незаконно родился? А они его бранным словом... Ну, ладно. Я попу: «Не сыщу крестных отца с матерью. Никто крестить не идет». А он мне: «Что заслужила, то и несешь. Поделом». Да как настрашает! «Гляди,— говорит,— помрет твой ребяенок, сгубишь некрещеную душу, обречешь на вечные муки в геенне огненной». Как я на ногах устояла от угрозы такой! А бабка Степанида смыслена, уговорила пастуха. Пастух у нас пришлый, от села независимый. Постояли бабка с пастухом у купели...— Она замолчала. Крупная слеза покатилась по щеке, она вытерла слезу рукавом.— Ксения Васильевна, мы к вам,— робко проговорила она.— Бабка Степанида померла. Хотела я вам про свою жизнь отписать, сяду за письмо, слезами изойду, так и кину, не кончу. Боязно нам с Васенькой в пустой избе, да и ветхая, вот-вот потолок обвалится. Нынче по новым порядкам нас, чай, не погонят отсюда? Может, я Советской власти сгожусь, а? Ксения Васильевна?

— Сгодишься,— ответила Ксения Васильевна таким спокойно-уверенным тоном, как если бы выступала полномочным представителем самого Совнаркома.— Ты и твой мальчонка Советской власти не пасынки, а родные дети... Ну, давайте чаевничать. Для дорогих гостей у меня чайку и сахару хоть и небогато, а в запасе ведется. Я старуха экономная, научили большевики экономить. Катя, ставь самовар.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В ДОРОГУ

19

Сельцо Иваньково сорок верст от города, двенадцать от разъезда. Дальний поезд мимо разъезда проходит без остановки. На товаро-пассажирский надежда плохая: вагоны забиты, люди стоят на площадках, виснут на подножках, лежат и сидят на крышах.

Горожане едут в деревни менять одежду и всякую домашнюю утварь на хлеб.

В товаро-пассажирский не втиснешься, и пробовать нечего. Оставалось караулить в базарный день попутную подводку. Тоже непросто: на базар в страдную пору из деревень приезжают мало — покосы, жнитво, молотба. Однако карауль, другого выхода нет.

Полгода назад Катя не подозревала о существовании сельца Иванькова. Какое полгода! Всего месяц и услыхала о нем, а теперь, что бы ни делала, чем ни была занята, из головы не выходит мысль об Иванькове.

Они отправятся туда с бабой-Кокой, когда подстерегут на базаре подводку. Приказ унаробраза подписан, Катина судьба решена.

Как ни удивительно, главную роль в ее судьбе сыграла Людмила Ивановна.

Многое изменилось в судьбе и самой Людмилы Ивановны с того дня, когда она пришла в класс читать Тургенева вместо урока учителя физики, который, как и некоторые его коллеги, недовольные Советской властью, объявил саботаж. Людмила Ивановна саботаж не объявляла. Не могла она бросить своих гимназисток, которые после революции назывались «товарищи учащиеся». Не могла разлюбить двухэтажное белое здание бывшей гимназии, а ныне единой трудовой школы второй ступени, длинные коридоры, классы, звонки, шумную толкотню перемен и различные события, которыми всегда полна школьная жизнь, а сейчас уж тем паче.

Необыкновенное событие произошло в один прекрасный день: Людмилу Ивановну вызвали в отдел народного образования.

Она и раньше трепетала перед начальством — при встрече с пухлой начальницей гимназии вся обмирала — и тут пошла в гороно, трепеща, ожидая разноса неизвестно за что.

А там вместо разноса:

— Вы честно работаете в советской школе, товарищ, мы вам доверяем, а потому получайте командировку, чтобы глубже усвоить направление нашей политики.

И послали на трехмесячные курсы по переподготовке учителей. Наверное, не бывало на свете курсанта усердней Людмилы Ивановны. Она схватывала на занятиях каждое слово. До поздней ночи, не подняв головы, выучивала брошюры и лекционные записи и после трех месяцев неистовой, иступленной учебы вернулась в единую трудовую другим человеком. Вернулась учительницей литературы. Подготовленной, правда, наскоро, но воодушевленной, на крыльях. Бывшая классная дама, последнее лицо в гимназии, ниже ее разве швейцар да уборщицы, ей и за учительским столиком в классе не полагалось сидеть — сиди у стены, блюди дисциплину на чужих уроках. И вдруг...

Год за годом Людмила Ивановна довела класс до выпуска. В ее выпуске было шестеро мальчишек, появившихся в классе осенью восемнадцатого, когда, согласно декрету, женскую гимназию объединили с мужской и городским ремесленным училищем. Мальчишек Людмила Ивановна сторонилась, мальчишеская психология была ей чужда. Девочки ближе, даже нынешние девочки, вступавшие в новую, еще не вполне понятную Людмиле Ивановне жизнь.

Раньше просто: для большинства один путь — кончила гимназию, жди жениха. А нынче в вестибюле и классах плакаты и лозунги. Призывают ненавидеть богачей, с мировой буржуазией беспощадно бороться, дружными рядами идти в социализм. А один лозунг едва не аршинными буквами словно вколачивал гвозди:

«КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ».

Снова Людмилу Ивановну вызвали к начальству, теперь в унаробраз, что значит, если перевести на нормальный русский язык, — уездный отдел народного образования.

Снова страх: зачем? Для чего?

Зав. унаробразом, женщина средних лет, в солдатской гимнастерке и красной косынке, чадя из самокрутки махоркой, занятая по горло — звонил телефон, входила секретарша с бумагами, — зав. унаробразом, бегло их пробежав, размашисто, без долгих раздумий подписывала, а между тем, хрипло покашливая от табачного дыма, излагала Людмиле Ивановне суть дела.

— На школьном фронте в нашем уезде кризис. Видите карту уезда? Черные точки видите? Недействующие школы. Стоят на замке. Нет учителей. Сельская ребятня без учебы. И это когда товарищ Ленин на Третьем съезде комсомола призвал молодое поколение учиться! А мы? Белых гадов раздавили, интервентов отшвырнули почти отовсюду, конец войны видится, товарищ Ленин призывает к коммунизму и учиться, учиться, а у нас пол-уезда неграмотных. Позор! Делаем вывод: нужны учителя для села. Незамедлительно. Срочно. К концу уборки чтобы были на местах. Называйте, кто из девчат в вашем выпуске... Дур не надо. Давайте смысленых. Безусловно, советских.

Людмилу Ивановну кинуло в жар и холод от такой сложной задачи, поставленной без обиняков, напрямик. Такой безумной ответственности! Запинаясь, она стала называть своих девочек, стараясь каждую обрисовать всесторонне, ужасно боясь ошибиться. Эта с характером, не полюбится, пожалуй, детишкам... У этой развитие не то.

— Развитие не то! А вы где были? — стукнула кулаком по столу зав. унаробразом... — Э-э, может, вы их от трудового фронта скрываете?

— Да разве я посмею, товарищ заведующая?

— Так неужто ни одной бесспорной не вырастили?

Людмила Ивановна среди других назвала Катю Бектышеву. Так на Катином горизонте явилось сельцо Иваньково, в сорока верстах от города, в глубине уезда.

«Учили бесплатно? Обедрами в школе кормили? Постный суп из селедки да половешка непомасленной чечевичной размазни, сыт не будешь, но и ног не протянешь, и за то спасибо по нынешнему тяжелому времени. Обязана отблагодарить народную власть? Долг народу отдаешь, не милость оказываешь». В таком духе говорили с Катей в уездном отделе народного образования.

Правда, не встретив просьб и отказов, помягчели, напутствовали ласково. «Товарищ Бектышева, вы молодая смена, на вас опирается партия в деле просвещения народных масс, освобожденных от власти капитала и гнета царизма».

Единая трудовая позади. За годы учения Катя и баба-Кока изголодались, обносились донельзя, почти до нитки распродали имущество. Письменный столик бабы-Коки из красного дерева с потайными ящичками, маняще толстые книги в академически строгих и цветных переплетах, диван, пуховое одеяло, перина, даже икона в золоченом окладе — все за три с лишним года ушло в обмен на картошку, крупу и каравай хлеба.

Только две вещи берегла баба-Кока пуще глаза: швейную машину и шкатулку с нарисованной по черному лаку несущейся тройкой, распутившей по ветру гривы.

В шкатулке хранились письма любимых. Последним был тот нестарый, почти молодой ученый, рассеянный, весь ушедший в науку, вместе с которым Ксения Васильевна увозила Фросю из Медян.

Все реже открывалась шкатулка. Реже перечитывала письма Ксения Васильевна. И весь тот день была молчалива.

Стала она вообще молчаливее. Убавилось прежней уверенности в Ксении Васильевне, и той спокойной важности нет. Она скучала о многих милых привычках, отнятых суровыми обстоятельствами жизни. О медном кофейнике, бархатном кресле с высокой спинкой, в котором любила отдохнуть. За день натопаешься в очередях, настоишься у керосинки, и как приятно утонуть в мягком кресле, привычно потянуться за книгой и, еще не начав чтение, еще с закрытыми глазами, посидеть, отдыхая, а уже хорошо на душе! Хорошо, что от кафельной печки тянет теплом. Что не ломит поясницу, не слепнут глаза. Что есть Катя...

Ксения Васильевна не признавалась, как страшит ее сельцо Иваньково. Чужое, закинутое куда-то на край уезда. Темень осенних ночей. Зимние вьюги, вой ветра в трубе. Может быть, волчий вой... Нет! Она не отпустит Катю одну. Нет, нет! Но на сердце скребло. Слишком круто поворачивалась жизнь. С прош-

лым порывалась последняя нить — Ксения Васильевна оставляла свой кров. И что же оказывается? Эта сводчатая келья ей дорога. Особенно с тех пор, как приехала Катя, вернее, Ксения Васильевна сама ее привезла, еще не зная, что из этого выйдет...

Сюда привезла и несчастную Фросю.

Видно, пришла к Ксении Васильевне полная старость, воспоминания беспрестанно ведут ее в прошлое, а ведь это знак старости. Обрывки давних дней стоят в глазах, волнуют душу когда-то пережитые чувства.

Да, Фрося... Униженная, нищая, прибежала с ребенком: — Ксения Васильевна, примите!

Пережитые унижения долго не отходили, не отпускали обиды. Баюкая Васеньку, тихонько, как старушка, раскачиваясь взад-вперед, Фрося долго позабыть не могла постылые Медяны.

— Ой, лихо мне было! Ой, Катенька, Ксения Васильевна, лихо! Дивлюсь, как не померла. Бить не били, разве невестка науськает братчика под пьяную руку, а срамили, бесчестили на все село. Бабы сойдутся под окошком и слушают, а мне позоренье ихнее хуже смерти. Кабы не маленький, утопилась бы в озере, там и тятя с мамой могилу нашли, и лежала бы с ними под илом...

Через несколько месяцев Фросе дали ордер в особняк купцов Гириных. Октябрьская революция реквизировала особняк. На то и Советская власть, чтобы из дворцов богачей вон!

Понаставили перегородок в купеческих комнатах, поделили на клетки. Теснота в особняке! На общей кухне у плиты с утра до ночи споры и очереди сварить похлебку или вскипятить воды; в коридоре и на барских верандах играют, дерутся золотушные ребятишки, гам, шум. Но хотя Фросе с Васенькой отвели в особняке всего лишь чулан с крохотным оконцем под потолком — это был ее дом. Впервые у Фроси был свой дом, она в нем хозяйка, никто ее здесь тронуть не смел.

Ксении Васильевне не нравился Фросин дом. Теснота, за перегородкой галдеж, окошечко крохотное, высоко, неба не увидишь.

Уезжая в Иваньково, она решила переселить Фросю в свою келью — апартаменты по сравнению с чуланом!

Еще таилась у Ксении Васильевны осторожная мысль: если придется из деревни вернуться, где приютишься? Фрося пустит, как когда-то Ксения Васильевна пустила ее.

Но хитрая комбинация такая не получилась по советским законам. Давно келья не была собственностью Ксении Васильевны и вообще перестала быть кельей. Не было больше ни келий, ни келейного корпуса. Была взятая на учет горсоветом жилплощадь.

Успенский девичий первоклассный монастырь закончил почти трехсотлетнее свое существование.

К ликвидации монастыря Ксения Васильевна отнеслась без сожалений. А на горсовет рассердилась.

— У трудящейся гражданки Ефросинии Евстигнеевой есть угол,— сказали ей,— другие и угла не имеют, надо тех в первую очередь обеспечить жилплощадью.

Ксения Васильевна не согласилась с Советской властью в этом вопросе. Где это видано, чтобы угол считался устройством?

А слово «жилплощадь» прямо-таки возмущало ее.

— Все перекраивают, надо — не надо. Есть людские названия: квартира, комната. И называли бы так! Нет, изобрели словечко «жилплощадь». Не уродство ли? Только бы новшества!

Были, впрочем, новшества, к которым Ксения Васильевна относилась с сочувствием. Например, детская консультация «Капля молока». Такое гуманное новшество с трогательным названием, конечно, одобряла Ксения Васильевна. А Фрося заливалась слезами.

— О моем Васеньке кто бы позаботился так! Нищими стали в Медянах. Хозяйство у бабки Степаниды порушилось, корова пала, и дошли до суммы. Кусками только и жили. Бабка Степанида пойдет христарadniчать и нас возьмет просить под окошком, с маленьким-то на руках больше жалеют. Ксения Васильевна, Катя, а стыдно!..

— Что было, то прошло,— строго останавливала Ксения Васильевна.— Довольно себя жалеть, нажалелась, за дело приниматься пора.

В горсовете подыскали для Фроси подходящее дело: определили работать в «Капле молока» стряпухой.

20

Жнитво кончилось. Копали картошку. На гумнах молотили свежую рожь. Обозы, правда, недлинные — уезд не сильно был хлебороден,— свозили в назначенные места зерно по продналогу. Подводы тесно заставили базарную площадь. Пока мужики управлялись со сдачей зерна, лошади хрупали сено, отмахиваясь хвостами от кусачих осенних мух. Город пропах деревенскими запахами, обещавшими хлеб. Но норма по карточкам оставалась ничтожной — четверть фунта на человека.

...В хлебных местах, по всему Поволжью, с первого дня весны и до осени не выпадало дождей. За все лето ни тучки на выцветшем небе. Почва закаменела. Трещины глубиной в аршин изрезали твердую, как гранит, неживую, белесую землю. Листья увяли, травы высохли. На сотни верст выжженные солнцем поля. Голод. Безнадежный, неслыханный. Смерть.

В счастливых губерниях, не пораженных засухой, деревни

понемногу оправлялись после пятилетней войны и разверстки, выметавшей хлеб и все продукты подчистую для фронта и города. Разверстку отменили — оживали деревни.

Как весело видеть выезжающие из сел обозы с красным флажком на переднем возу, подводы, нагруженные тугими мешками с рожью; весело слышать сухой шорох зерна, струящегося в сусеки амбаров, — излишек, оставленный по закону на житье, на довольство; как весело было бы!.. Но перед глазами, казня и мучая, стоит образ Поволжья. Но на вокзалах снимают с поездов обтянутые кожей скелеты изможденных людей, тронувшихся из выморочных мест за куском хлеба неизвестно куда... Но в газетах, как набат: «На помощь, товарищи! Миллионы едят глину вместо хлеба. Погибают каждый день, каждый час. А впереди еще осень, зима и весна. Товарищи, на помощь, на помощь!»

...В конце сентября Кате дали знать: завтра чуть свет будет оказия.

Все лето ждала, а пришел день — и налетел такой страх, руки дрожат, вещи валятся из рук. Вот так трусиха!

Каждый день прибегала Фрося провожать. Суетилась без толку, собирала вещи, примеряла, как увяжется в узел постель. Глаза распухли от слез. Ксения Васильевна, чтобы заглушить беспокойство, томившее, чем дальше, все больше, отчитывала Фросю:

— Заливается! Словно в Америку провожает. Уйми слезы. Не на век расстаемся, увидимся. «Капля молока» Васеньке не даст умереть, и ты кое-как в стряпухах прокормишься. А у нас с Катей другого выхода нет...

Ксения Васильевна недоговорила, что она, старая Катина бабушка, устала от нужды, очередей, добывания правдами и неправдами десятка картофелин и фунта крупы. У них с Катей ничего нет, решительно ничего, все распродали, выменяли и как дальше бороться, как жить? Хоть ложись и умирай.

Вслух Ксения Васильевна не произносила такие невеселые речи: жалела Катю. Худенькая, как прутик, Катя замкнулась. Значит, нелегко на душе. О чем она думает?

«Я еду поневоле в деревню. Баба-Кока в городе не выдержит больше. Но я не хочу только спастись. Я еду в деревню, потому что должна платить долг. И хочу испытать, сильная или нет. На что я способна? А вдруг что-то большое, яркое ждет меня? Но что? Все мечты. Жизнь — бедные будни. Мне надо зарабатывать на хлеб. Я должна кормить бабу-Коку, пришла моя очередь. Я должна и поэтому еду в село Иваньково...»

Так рассуждала Катя, реально и трезво, без романтических грез.

Утром к крыльцу подъехала телега, запряженная жеребцом, тяжелым, широкозадым, рыжей масти, с белой метиной на лбу и черной бахромой над копытами.

Ксения Васильевна и Катя ожидали, готовые в путь. И Фрося с Васенькой здесь.

На этот раз в самом деле подвода, никуда не денешься. И Фрося лихорадочно прижимала сынишку к груди, а Катя понимала, как грустно Фросе их провожать.

Послышались быстрые шаги по ступенькам, и решительным шагом вошел человек лет тридцати пяти, сероглазый, русоволосый, простецкой, ничем не выдающейся внешности. Синяя косоворотка на нем вся слинявшая, пиджак мышиного цвета засален и вытерт, зато брюки галифе военного образца и начищенные сапоги, резко пахнувшие дегтем, придавали ему молодцеватый вид.

— Здравствуйте, хозяйюшки! Сюда ли попал?

— Если вам нужна учительница Екатерина Платоновна Бектышева, значит, сюда,— ответила Ксения Васильевна.

— Она и нужна. Будем знакомы: иваньковский предсельсовета Петр Игнатьич Смородин. Войну с четырнадцатого года прошел, с германцами воевал, опять же с беляками в гражданскую. Год тому отозвали на трудовой фронт. Мирную жизнь налаживать надо, сама не наладится. Стало быть, так. Будем знакомы.

Он протянул Ксении Васильевне руку. Кате и Фросе бегло кивнул.

— Садитесь,— предложила Ксения Васильевна.

— И то сяду,— согласился он, опускаясь на единственный в комнате стул.— Совещание было в укоме по вопросам налога, а в отделе образования заодно бумагу с печатью вручили. Учительница в сельцо к нам назначена. Ждали-ждали, дождались. Раздобыл учительницу, от души отлегло. Иваньковская ребятня две зимы проболталась без школы. По революционному времени вроде бы и неловко в темноте прозябать, а что будешь делать? Наш-то добровольцем на гражданку ушел. По годам и уклониться бы можно, а совесть прятаться не велит. Школка Иваньковская при царском режиме церковноприходской была, поп командовал, наш Тихон Андреич за себя постоять не больно умел, в полном у попа подчинении. А тут будто подменили, откуда храбрость взялась! Вот как революционные идеи человека могут возвысить. Стало быть, Катерина Платоновна...

— Собственно, я...— хотела перебить баба-Кока.

— Стало быть, без лишних слов, вы хоть и староваты против учителя нашего, и он был в годах, а вы и вовсе ему в мамыши годитесь, однако грамотности, по всему видно, не занимать, а нам чего и надо... Одна запятая...

Предсельсовета оглядел келью, узкие окна с широченными подоконниками, сводчатый шатер потолка.

Медленно погладил усы.

— Запятая, гм... да... Договориться надо на первой встрече, чтобы после конфликта не вышло. Монастырский дух нам нежелателен. Божественное прочь, наотрез. Такие наши условия, Катерина Платоновна.

— Послушайте, вы ошибаетесь...

— Очень даже прекрасно, если ошибся. Условились, стало быть, так: жизнь наша в корне переменилась на новое. Главное дело, с Советской властью держать нерушимый контакт. Я вам затем объясняю, что в ваших летах пережитки прошлого, Катерина Платоновна...

Тут Катя встала. Она неслышно сидела в уголке. На месте ее уютного дивана теперь за отсутствием мебели водружен круглый чурбачок, накрытый пестрой тряпичей,— на этом чурбачке она и сидела, пока предсельсовета высказывался. Она встала для самой себя неожиданно. Что-то подняло ее. Баба-Кока увидела: бледна, губы вздрагивают, кулаки сжаты для смелости.

— Я Катерина Платоновна.

Председатель опешил. Оцепенение нашло на него. Не веря глазам, глядел на тоненькую девочку, сердито насупленную, с двумя упавшими на плечи косичками. Короткие толстые косички на концах завивались в колечки.

— Я Катерина Платоновна.

Он молчал.

— Если я вам не гожусь, давайте бумагу, разорву — и кончен разговор.

Председатель молчал.

— Давайте вашу бумагу.

— Не моя бумага. Бумага не простая, с печатью.

— Пусть с печатью. Если я вам не гожусь...

— Гм. Наверно, и семнадцати нет?

— Скоро исполнится.

Председатель медленно гладил большим пальцем влево и вправо усы и мысленно обсуждал ситуацию: «Влип. Одна стара, вся в пережитках, но пережитки возьмем под контроль, справимся, зато образованность за версту видно. Другая.. О чем говорить! Пигалица, длинноногая цапля, что еще в ней? Удружили в нар-образе, спихнули с рук, им и горюшка мало».

— Ты хоть грамоту-то знаешь? — угрюмя брови, спросил он.

— Школу второй ступени окончила.

— Ну, а с ребятишками можешь... как это... если сказать по-научному, про педагогику чуток понимаешь?

Катя не ответила, а Ксения Васильевна, слушавшая его вопросы, то бледнея, то зло вспыхивая, вдруг превратилась в прежнюю гордую, даже надменную даму.

— Вам, представителю Советской власти, следует знать, что учительнице не тыкают, если хотят, чтобы ученики ее уважали.

И еще доложу, едем мы к вам с нелегким сердцем, а вы, чем бы встретить приветливо...

— И вы к нам в сельцо? — оживился он.

— Я бабушка Екатерины Платоновны и, конечно, ее не покину, тем более в таких трудных обстоятельствах.

— Каких таких обстоятельствах?! Надумают еще обстоятельства! — Он вскочил. — Посидели, обычай справили, время трогаться. Сорок верст — дорога немалая. Имущество ваше все тут?

Он легко подхватил корзину и узел с постелью, задержался, еще раз испытующе взглянул на девчонку с очень уж строгим взглядом из-под сердитых бровей и двумя короткими толстыми косичками на плечах. Из-за этих косичек она казалась совершенной, совершенной девчонкой.

Вздохнул. Ладно, хоть бабушка с ней. Уложил вещи в задок телеги. Подбил сено. Вынесли стул — посадить Ксению Васильевну. Катя без стула забралась.

— Но-о, Лыцарь! — тронул Петр Игнатьевич.

Катя и баба-Кока, прощаясь, замахали платками. Фрося за руку с Васенькой печально стояла на крыльце.

Слезы застилали Кате глаза, она видела всех, как сквозь туман.

21

Где-то горели леса. Сухой ветер налетал рывками, неся едкий запах гари. Сизая мгла завесила небо. Изредка сквозь мглу неясно выступал блекло-желтый круг солнца и снова тонул в серой пелене. Жаром дышало небо. Даже в лесу было душно. Облака сизого дыма, прилетавшего с ветром, висли между деревьями, цепляясь за ветки. Тревога сосет сердце от этой дымной мглы, угарного ветра и зноя. А ведь осень, конец сентября.

— От засухи горим, — сказал председатель.

Пошевелил вожжами. Жеребец легко шел укатанной дорогой среди сжатых полей. Позади телеги клубилась белая туча пыли.

— Нам сейчас засуха не гибель, с весны дожди прошли да и летом в норме выпали, — сказал председатель. — А в Поволжье беда. Страх, какая беда! — Он обернулся к примолкшим спутникам: — Народу повымерло — ужас! Стариков косою косит. И среднее население. А дальше еще похужеет, от зимы милости не жди, мужика лето кормит. Ребятишек жалко. В газете почтитаешь, волосы дыбом...

— У вас дети есть? — спросила Ксения Васильевна.

— Троица. Старший нынче в школу пойдет, науки изучать у Екатерины Платоновны.

Он с любопытством покосился на Катю. Тут бы ей и вступить

в разговор и войти в отношения, во всяком случае, как-то себя с положительной стороны показать, а она отвела глаза и сдержанно ответила:

— Наверное, не ваш один придет в школу.

— Гм! — неопределенно хмыкнул председатель. И подумал: «Не ловчит».

Он одобрял, что она не ловчит. Вообще председателю нравилось, что везет в Ивановскую школу бабушку с внучкой. Не просто учительницу, положительную, в возрасте, как ожидал, как в других школах, а именно внучку с бабушкой. Причем бабушка, неспешная и важная, с высоко поднятой головой и темными невылинявшими глазами, особенно пришлась ему по душе. Жаль, что учительницей едет не она, а девчонка. Но он надеялся, что такая культурная, по всему видно, разумная бабка не даст девчонке сплеховать. Словом, предсельсовета считал себя в выигрыше.

— Но-о, Лыцарь! — подхлестнул вожжой жеребца.

И так как пассажиры помалкивали, что Петру Игнатьевичу было понятно — перелом судьбы, переживания, живые же люди! — беседу вел он. Не с каждым он так откровенно при первом знакомстве делился заботами своей нелегкой председательской жизни. Но Ксения Васильевна расположила его. Слушает хорошо. Участливо, а без жалости. С большим интересом слушает!

Что касается учительницы, ее коротенькие косички на плечах мешали Петру Игнатьевичу отнестись к ней всерьез. После, может, привыкнет, а пока, беседуя, обращался исключительно к Ксении Васильевне.

— Командировали, значит, из армии на трудовой фронт, как нужда подсказала. Спасибо, не на чужбину — на родину. Ивановскую землю деды и прадеды пахали, здесь каждая межа и овражек знакомы, и пришло, значит, время налаживать жизнь. А она вся в разрухе. Хлеба не досыта, о прочем и говорить не приходится. Оборвалась деревня, голая, босая. Да разве об одежке горюем! Инвентарь износился, вот нужда так нужда. Без плуга-то ступай попаши. Опять же колесам позарез нужен деготь для смазки. А его нет. Вы не судите, что у меня сапоги солнцем сияют. Авторитет требует. Председателю без авторитета нельзя. Ну, урвешь чуток дегтю от своей же телеги... А главное, что декретом ВЦИК 21 марта 1921 года Советская власть перевела деревню на налог. Чтобы народ обеспечить и государство поднять. Так товарищ Ленин на Десятом партийном съезде высказывался. Да что объяснять, небось в газетах читали, знаете... Кто не знает! Заграница и та подивилась. Дивись не дивись, а жизнь свое берет и доказывает. Стало быть, до сей поры мы к задачам войны принаравливались. А теперь надо принаравливаться к задачам мирного времени. Верно Ленин подметил?

На все сто процентов! На то он и Ленин, вождь революционного класса. Есть у товарища Владимира Ильича поперечники, речисты, только языками супротив дела спешат. Настоящий большевик не за теми, за товарищем Лениным следует... Теперь что же выходит? Опять же новая на деревню нагрузка в смысле изменения политики. Приноравливайся, Петр Игнатьич Смородин! Крути головой, как по справедливости на крестьянские дворы налог разложить. Не один Смородин мозгами раскидывает. Партийная ячейка и сельсовет целиком в это дело ушли, а ты все от заботы ночами не спишь... Опять же круговую ответственность закон отменил. Это как понимать? Так и понимай, что каждый крестьянин за себя отвечает, а ты, ежели ты Советская власть на селе, гляди в оба, чтоб государству сполна обеспечить налог, утечки чтоб не было. А не в каждом до конца созрела сознательность. Эх, молодо наше государство, делов-то, делов-то! Только бы покрепче на ноги стать, а тут напасть — половина губерний пропадает от голода. Задумаешься. Головой вроде все усвоил, а на практике не все как по маслу.

— Петр Игнатьевич! — сказала Ксения Васильевна. — На вас, я поняла, лежит большое государственное дело, и мы с Катей... Катериной Платоновной хотели бы помочь, но не умеем, горожанки, далеки от деревни. Но мы обещаем, за школу не беспокойтесь, да, Катя?

...А по сторонам дороги, то близко, то отступая к горизонту, светясь сквозь мглистую дымку оранжевым светом, стояли леса. В торжественной осенней красе стояли леса. Черные жирные полосы пара перемежаются бархатной зеленью озими. Белеют высушенные солнцем, высеченные дождиком стерни. Пестрое стадо мирно пасется на выгоне. И жарко горят, огненными кострами пылают под окнами встречных деревенок рябины...

Русская деревенская осень! Даже когда дали завешены дымной мглой далеких пожаров, как полна ты очарования и прелести!

Телегу и на ровной дороге трясло, на ухабах и вовсе подкидывало. Катя с беспокойством видела: баба-Кока устала, а в лице умиротворенность, и, кажется, даже морщины разгладились.

— Но-о, Лыцарь!

До сельца Иванькова добрались поздней ночью. Смутно виднелись темные избы. Улица была широка, и деревня казалась пустынной, будто покинутой. Ни огонька.

К ночи мгла рассеялась или пожары остались в стороне — в черном бездонном небе светились звезды. Отчетливо опрокинулся ковш Большой Медведицы. Серебряной пылью рассыпался Млечный Путь. Царственное небо высилось над ночным сельцом Иваньковым. И тишина.

Впрочем, нет. Где-то во дворе брехнула собака. Как по сигналам

лу, из десятков дворов хриплым и залихватным лаем отозвались разбуженные колесами псы. Ночь ожила. Но нигде не засветилось окошко. Избы по-прежнему стояли темно и безмолвно.

Посредине села в темноте белела церковь. Против церкви, чуть поодаль, также среди улицы, дом под железной крышей. Петр Игнатьевич остановил жеребца возле этого дома. Одинок, по-сиротски глядел он, без двора на задах для скотины, как у всех изб; без кустов сирени или акации в палисаднике, только у крыльца как-то нелепо и странно высоко вверх вытянулась длинная, тонкая береза с голым стволом и пучком ветвей на макушке.

Школа. Одна-одинешенька посреди широкой улицы, вдалеке от жилья. Петр Игнатьевич отпер замок на двери, взял с телеги пожитки.

— Входите.

Они вошли в сени. Не видно ни зги. Петр Игнатьевич чиркнул спичкой. На секунду осветились бревенчатые стены, щербатый некрашенный пол. Спичка погасла. Темнота стала черней.

— Шагайте, не робейте, не спотыкнетесь. Давайте-ка руку.

Петр Игнатьевич взял за руку Ксению Васильевну, она — Катю, и так на ощупь, шаря ногами половицы, они вошли в какое-то другое помещение.

— Кухня, — сказал Петр Игнатьевич, — а по ту сторону сеней класс, завтра осмотрите. Тут в кухне русская печка. Натопишь — жарится. Нынче наверняка-то не ждали, не топлено. Из кухни в комнату ход.

Он ввел их в продолговатую комнату. Здесь было светлее от звезд. В три окна вдоль стены глядело звездное небо. Стены и здесь бревенчатые. Один угол занимала голландская печка.

— Стало быть, так, здесь будете жить, — сказал Петр Игнатьевич. — Кровать одна. Учительницу одну ждали, узка, однако, будет для двоих. Нынче ночь перебьетесь, а завтра дам команду, топчан смастерят, железной кровати другой по всей деревне не сыщешь, и эту у попа реквизируют. На топчане тоже неплохо, сенник свежим сеном набьете, как хорошо! Поужинать запаслись? Вода на кухне. Дай-ка проверю, есть ли вода.

Он быстро вышел, что-то повалилось, загремело за стенкой; он тотчас вернулся.

— Цельное ведро. Вода у нас колодезная, считай, ключевая. Авдотья — толковая деваха, хвалю — запаслась. Вот так. Чем богаты. Крыс в школе нет, не пужайтесь. И мышам поживиться нечем. Так что прощайте, спокойного сна.

Он ушел, стуча сапогами.

— Но-о, Лыцарь! — слышалось с улицы.

— Катя! — позвала Ксения Васильевна. — Давай устраиваться, Катя. Господи, что же это?

У нее сорвался голос. Катя в потемках шагнула, ощупью нашла бабу-Коку, уткнулась в плечо.

— Баба-Кока, что это, что это? Темно, холодно, жутко. Все чужое. А если бы вас не было? Если бы я одна?.. Не умею жить, не могу, не умею. Баба-Кока, зачем мы приехали сюда? В какое-то чужое далекое место! Бросили нас, никому до нас нет дела. Почему Клава Пирожкова осталась в городе, устроилась секретаршей с пайком? У них даже свет электрический есть. А Лина заведует красным уголком, но ведь в своем селе, дома, а мы?.. А Надька Гирина с отцом во Франции...

Она испуганно и жалобно плакала. Баба-Кока гладила ее растрепанные, спутанные ветром волосы и не отвечала, потому что боялась, голос снова сорвется. Как бы и ей не заплакать.

Вдруг под окошком раздалось громовое:

— Тпрр-у-у! Дурак стоеросовый, стой!

В комнату, стуча сапогами, вбежал председатель. Налетел на дверной косяк, чертыхнулся:

— Черт! Спички забыл вам оставить. У нас со спичками плохо, полкоробка как-нибудь выделю, зря-то не жгите, жалейте. А, да что говорить, ежели голова на плечах, соображаете сами... А еще...— Он покашлял, помялся.— А еще, позвал бы к себе ночевать, да положить негде, избенка тесна, пятеро нас, сами вповалку спим. Вы думаете, сельсоветом да крестьянским обществом управлять принцев из дворцов приглашают? Как же! Нужна Советская власть богачам! Советская власть есть диктатура пролетариата плюс крестьянская беднота. Бедней моей избы во всем Иванькове нет. Добавьте пролетарскую идейность — это я самый и есть! Значит, прочитана для ознакомления лекция. А вы духом не падайте. Приобыкнете, еще и полюбится. Завтра школьная сторожиха Авдотья к вам прибежит. Обижена девка судьбой, немая, убогая, а безотказная, за ласковое слово расшибется в лепешку. Ну, ночуйте как уж нибудь, с грехом пополам. Утро вечера мудренее.

И под окном бодро раскатилось на все ночное Иваньково:

— Лыцарь, но-о!

Некоторое время баба-Кока и Катя молчали.

— Где ты там? — позвала Ксения Васильевна.

— Не буду плакать,— ответила Катя.

— Францию вспомнила! — упрекнула в потемках Ксения Васильевна.

— Баба-Кока, не браните меня. Не браните, забудьте.

— Чего уж там! Давай на ночевку устраиваться; узел с постелью развязывай. Хлебца по кусочку на ужин съедим. Спички зря тратить не будем. Хныкать не будем. Крыша над головой есть? У Робинзона поначалу и крыши не было. Утро вечера мудренее. С новосельем, учительница!

Направляя Катю в Ивановскую школу, в уездном отделе народного образования, кроме напутственных слов, вооружили тоненькой брошюрой под названием «Религия — опиум для народа». Других пособий не было.

— Расхватили. Потянулась учительская масса к новому слову, добились перелома! — с гордостью сообщили Кате в унаробразе. — На данный момент центральной задачей поставлена партией перед профсоюзом, комсомолом и работниками просвещения — ликвидация неграмотности. Товарищ Бектышева, держите курс на выполнение центральной задачи. И всесторонне развивайте юное поколение крестьянского класса.

С таким напутствием отправили Катю в неизвестное плавание.

Кажется, ясно? Учи грамоте и развивай всесторонне. Но как? Вот этого и не объяснили в унаробразе. Непрерывно шли совещания, заседания, обсуждения планов, программ, и чего-то еще, и чего-то еще, а попросту рассказать новичку, как подступиться к уроку, не хватило догадки.

Как? Она перерыла школьный шкаф с учебниками. Бедный шкаф! Облезлый, без запора — приходилось всовывать меж дверцами закладку из газеты, чтобы не распахивались настежь. На пыльных полках два десятка задачников, букварей и книг для чтения Ушинского, несколько грифельных досок и тощая стопка тетрадей, выданных Петру Игнатьевичу в уоно по разверстке. Больше не будет, не ждите.

В тот сентябрьский день конца месяца, какой назначен был сельсоветом для начала занятий, Катя и баба-Кока проснулись, естественно, рано. Впрочем, сколько времени, неизвестно. Часов нет, еще в прошлом году обменяли на три фунта пшена.

Должно быть, солнце взошло недавно: на востоке рдела полоска зари, разливаясь выше нежно-розовым светом; голубизна неба была еще блеклой. Утро едва начиналось.

— Что ж, приспособимся узнавать время по солнцу, — неунывающе сказала баба-Кока.

Катя вышла на кухню. Там из окошка видно крыльцо. Так и есть, у крыльца, возле длинной, тонкой березки с золотой в луче солнца листвой на макушке, собралась толпа ребятишек. Больше двадцати, бог ты мой! Солнце чуть встало, а они все уже тут.

Катя разглядывала их, прячась за оконный косяк.

Девочки в платках, немногие в ситцевых платьях, а больше в холщовых юбках и кофтах, с узенькой вышивкой красным и

черным крестом. Мальчишки в холщовых портах, без ремней. Вместо ремня бечевка. А то просто навывпуск рубаха.

Надо отодвинуть в сенях дверной засов, не держать же их у крыльца.

— Здравствуйте, Катерина Платоновна!

Разноголосо, нестройно:

— Здравствуйте, Катерина Платоновна!..

Полные любопытства, они ожидали, что будет. За два года привыкли, школа стоит под замком, отпиравшимся только для сельских сходов или в каких-то особенных случаях.

Впервые школа открылась для них. Они вступали в класс тихо, робея. И садились, где скажет учительница.

Три ряда черных, облезлых парт. Класс большой, темный. Не располагающий к жизнерадостным мыслям.

Но у Кати продумано все. Обсуждено с бабой-Кокой каждое слово, даже запланированы шутки.

— Младшие сядут здесь, ближе к окнам. Здесь светлее, садитесь. Старшим ряд первый от входа. Средние в среднем ряду. Складно: средние в среднем?

Немудрящая шутка. Видно, они и не поняли. Без улыбки занимают места. Сидят. Как неживые. А ведь живые. По глазам видно — живые.

Уф! Начало положено. Смелей, Катерина Платоновна! Вглядись, какие славные рожицы, пытливо-внимательные! Не мигая, изучают учительницу. Как идет, как стоит. Красива ли? В каком платье?

Платье шито-перешито бабой-Кокой из старого, а ничего, держится: темно-лиловое, с серым газовым шарфиком. Сущий пустяк этот шарфик на шее, а в нем самая необыкновенность и есть. И какие умницы они с бабой-Кокой: догадались изменить Кате прическу. Расплели косички. Волосы на затылке перевязали черным шнурком (ленточки нет) — пучок не пучок, гривка не гривка, во всяком случае, больше подходит учительнице, чем две короткие косицы.

Хотелось Кате перед встречей с ребятами поглядеться в зеркало, но зеркала тоже нет. Даже осколка нет.

Верьте не верьте, пришлось глядеться в ведро с водой, а это уж почти что из сказки об Аленушке или другой героине фольклора.

— Хороша! — одобрила баба-Кока.

Милые ребята! Неизвестно, как пойдет дальше, а начало обнадеживало Катю: дисциплина в Ивановской школе идеальная. Может быть, потому такими милыми ей и показались ребята?

Ужасно трудно: три класса в одной комнате. Сообрази, как их одновременно учить.

— Вы будете решать задачу номер сто тридцать два,— велела Катерина Платоновна старшим, раздавая задачки по одному на двоих.— Будете решать задачу в уме. Поняли?

Средним она дала старые газеты, собранные когда-то учителем Тихоном Андреевичем, слежавшиеся в шкафу до желтизны. Эта оригинальная идея пришла бабе-Коке.

— Голь на выдумки хитра,— заявила Ксения Васильевна и подсказала Кате газеты.

Это значит, средние будут отрывать от газет белые поля. Осторожно, осторожно. Заготовят полоски. Зачем? Как зачем! Вместо тетрадей.

Тетради лежали в шкафу. Чистенькие, в клетку и косую линейку. Аккуратная стопка. Довольно тощая стопка, едва ли хватит на ученика по тетрадке, но в целом — сокровище! У Кати дух захватывало при виде тетрадей. Как хочется взять в руки, открыть, разгладить по сгибу и писать на этой чистой, прекрасной бумаге!

О чем? Катя не знала. Что-то бродило в душе. Конечно, она не решится, никогда не станет писать дурацкие повести, какие без конца сочиняла в далеком отрочестве. Она не писательница. У нее нет таланта. Что же томит и тревожит ее? Печаль? Но о чем? Мечта? О чем я мечтаю? Чего хочу? Если бы знать!

Вон в бледном небе летит белое облако с розовыми кружевными краями. Что в этом облаке? Говорят, если долго глядеть, увидишь доброго волшебника в короне на седой голове. Или женщина в развевающейся одежде движется, скользит, ускользает. Или выплывет из синевы океана тяжелый и вместе легкий блуждающий айсберг.

Но сколько ни глядела Катя на облако, ни волшебника, ни айсберга не видела. Что же с ней? Почему она тоже летит? Кого-то любит. Над кем-то плачет. К кому-то тянутся руки...

Катя опомнилась. Куда ее понесло при виде тетрадей в школьном шкафу? Чуть не соблазнилась украсть ученическую тетрадку...

Младшие ждали. Первый день в школе. Учительница их оставила, листает у шкафа тетрадь. Наверное, так надо. Они ждали.

Учительница вернулась к ним с какой-то смущенной и виноватой улыбкой. Качнула головой, словно прогоняя ненужную и напрасную мысль. Качнулась перевязанная шнурком у затылка волнистая метелка волос.

— Ребята, вы хотите научиться грамоте?

— Хоти-им! — несмело протянулось в ответ.

— Я научу вас читать и писать. Вы прочитаете много книг. Есть книги, где показана вся жизнь, вся! Вы узнаете умных и

великих людей. И плохих узнаете. В жизни не только благородные люди, есть и плохие. Надо научиться узнавать людей. Книги научат вас любить и ненавидеть, чувствовать. Чувствовать! — выразительно повторила она. — Вы увидите разные земли и страны. И смешные книги бывают, обхохочешься! Но сначала надо потрудиться, одолеть грамоту и много еще. Согласны?

— Со-о-глас-ны-ы.

— Таким образом, — приступила Катя к уроку, — сегодня будем овладевать буквой «И». Почему буквой «И»? Ее легче писать. Начнем с легкого. Следите внимательно. Пишу палочку, — говорила Катя ясным и нежным голосом, потому что сердце ее заливала нежность к малышам — русоголовые, с выгоревшими добела бровками, круглыми носами в рыжих веснушках. Вон один — навалился грудью на парту, рот раскрыл, передних зубов нет. До чего смешон! — Тебя как зовут?

— Алеха.

— А фамилия?

— Смородин.

Батюшки мои, Алеха Смородин! Петра Игнатьевича старший. Беззубый. Волосы на макушке веерочком. Мужичок с ноготок. Юное поколение крестьянского класса.

— Будешь прилежно учиться, Алеха?

— А то!

— Итак, пишем палочку. Ведем сверху вниз. Внизу закругляем. Тянем тоненько вверх. Еще палочка. И еще закругляем. И что же? Перед нами буква «И», — радостно объяснила Катя. — Теперь пишите сами букву «И» на грифельных досках.

Младшие заскрипели грифелями. Довольная своим методом обучения, Катя пошла вдоль парт понаблюдать, как идет у малышей дело. Ахнула. Вот так каракули!

— Стирайте сейчас же. Плохо написали. Пишите снова, еще!

Снова каракули. Некрасивее, неуклюжее представить нельзя. Удивительные неумехи ее беззубые младшие! Бестолковые, может быть, просто тупые?

— Как ты держишь грифель? Нельзя держать в кулаке! Разве пишут кулаком? Так надо держать. Смотрите все. Вот так.

Она рассердилась. Они испугались, притихли, боялись дышать. Ей стало стыдно. Сама виновата: не сообразила научить сначала держать грифель. Ведь они первый день в школе. Однако хлопот с ними! Наверное, минут пятнадцать, а может быть, больше она учила их держать грифель.

Об остальных учениках она позабыла, все внимание ушло на младших, хоть бы с младшими справиться.

К счастью, дисциплина в Иваньковской школе отличная. Все

занимаются своими делами. Серьезно, истово. По сторонам не глазеют.

Ох, трудно овладеть буквой «И»! Ох, трудно держать как следует грифель маленькими, непривычными пальцами! Билась, билась Катя, а младшие так и не освоили букву. Палочки валились набок, нажима не получалось, получалось уродство.

Только одна девочка с бледным, тоненьким личиком, светлыми, как спелый лен, волосами, аккуратно заправленными за уши, без слова протянула грифельную доску показать ровные, даже красивые строчки.

— Молодец! — обрадовалась Катя, ласково погладив ее льняные волосики. — Как зовут?

— Тайка.

Наверное, пора отпустить младших на перемену, тем более что средние кончили заготавливать белые полосы из газет, а старшие решили в уме задачку.

— Упражняйтесь, — велела Катя младшим, не решаясь отпустить их на перемену, не зная, как они себя поведут на свободе.

Средние терпеливо ждали, когда учительница подойдет, но она притворилась, что не замечает их ожидания, и направилась к старшим. Пора проверить задачу.

Она вызвала ученика, не узнав имени, не разглядев даже как следует.

— Иди к доске ты.

Двое других подтащили доску ближе к старшим, к их первому от входа ряду.

Ученик писал на доске цифры, сложение, умножение и прочее, бойко постукивая мелом о доску. Видно, он был доволен, что вызвали, и готовился смело объяснить решение задачи. Катя присела на край парты. «Хорошо, хорошо, — радостно пело сердце. — Ничего, что малыши не овладели буквой «И», в конце концов овладеют. Зато старшие-то как здорово соображают!»

— Землевладелец продал пятьсот десятин земли, — заключая задачку, стукнул мелом о доску ученик.

«Отжившее. Взор! Какой-то землевладелец, где они, землевладельцы? Устарелый задачник. Надо сказать Петру Игнатьевичу: неужели нельзя раздобыть новый, советский?» — подумала Катя.

Она увидела протянутую руку. Кто-то из старших поднялся, стараясь привлечь внимание учительницы.

— Что ты? — спросила Катя, не чуя беды. Напротив, радуясь сообразительности и бойкости старших.

— Он неверно решил, — сказал мальчик. — Землевладелец продал четыреста десятин.

— Как четыреста! Что такое ты говоришь!

Катя почувствовала, сердце ёкнуло, заколотилось, в глазах зарябило, все задрожало внутри — так она растерялась. Она машинально следила, как ученик стучит мелом о доску, но не вникала в смысл действий. Доверилась ученику. Что он там наreshал? Неужели не пятьсот, а четыреста? Проклятый землевладелец! Неужели продал четыреста? Катя не понимала задачу. Что делать? Она погибала.

— Он решил верно. Землевладелец продал пятьсот десятин,— сказала не своим, казенным голосом.

Старшие принялись торопливо листать задачник, один на двоих, сверяясь на последней странице с ответом. А мальчик, первым поднявший руку, ткнул палец в страницу и, удивляясь и смущаясь, сказал:

— Здесь, в ответе, написано четыреста.

Тишина наступила в классе. Младшие, средние, старшие — все безмолвно уставили глаза на учительницу, ожидая развязки. Ужас, ужас! Что делать? Скорей найти выход, никто не поможет, спасайся сама.

— В задачнике неправильный ответ,— сказала Катя, не видя, не различая младших, средних и старших своих учеников.

Все лица слились в одно, расплывчатое, зыбкое и осуждающее. Грудь давило отчаяние. Но что случилось? Почему ошиблась? Ведь вчера она сама решила задачу.

Вдруг точно молнией ударило: она задала им не ту задачу. Она задала номер 132-й, а вчера, готовясь к уроку, решила другую, номер 131-й. А там вовсе не землевладелец. Там «Один путешественник отправился в путь»...

Несчастливая! Перепутала, назвала не тот номер задачи. Перепутала землевладельца, продающего десятины, с путешественником! Смотрела, что пишется на доске, и не видела. Размечталась... И крах, полный крах!

— Урок окончен,— сказала Катя.— На сегодня занятия окончены. Идите домой.

23

— Баба-Кока, ау!

Так начинались воскресные утра. Можно вволю понежиться на сеннике. Сенник слежался, потерял первоначальную пышность, но стал даже мягче, уютнее. Однако в будни не разлежишься. В будние дни Катя вскакивала с рассветом: ученики чуть не затемно дожидаются в классе! Они с бабой-Кокой и входную дверь не запирали, чтобы не морозить ребят на улице. Ох, прилежны иваньковские школьники! Прямо какие-то выдуманные. Разве сравнишь с учительницей Катериной Платонов-

ной, когда она сама, совсем недавно, ходила в школу второй ступени главным образом затем, чтобы рисовать плакаты и участвовать в драматическом и литературном кружках! Да еще за миской похлебки.

Иваньковские школьники в будние дни учительнице лишнего поспать не дадут.

Зато воскресенье — ее! Катя выглянула из-под одеяла. Знакомая комната. Уже привычная комната, обжитая, шагов десять в длину. У одной стены Катин топчан упирается изножьем в изразцовую печь; у другой железная кровать бабы-Коки. Между топчаном и кроватью Катин стол с учебниками и невысокое сооружение вроде тумбы, сколоченной из свежего теса, — кажется, еще дышит свежим запахом зимнего леса.

Тумбу сколотил отец Тайки, той светленькой девочки с зачесанными за уши льняными волосиками, которая на первом же уроке показала себя лучшей ученицей из младших. На тумбу баба-Кока поставила швейную машину и шьет иваньковским девушкам платья и кофты. Зарабатывает кринку молока или горшочек топленого масла, гордясь, что кормит себя да отчасти и Катю.

«Ау!» — хотела позвать Катя. Но не позвала.

Баба-Кока успела одеться, сделала свою обычную прическу в виде венца надо лбом, для чего подкладывается под волосы специальный валик, чтобы поднять волосы выше, и сидела на табурете у печки. Что такое? Почему с утра топят печь? Обычно они у горячей печи сумерничают, пока раскаленные угли не начнут, угасая, темнеть.

— Баба-Кока, почему вы топите утром?

Ксения Васильевна подошла, села в ноги на топчан. Странно — на пальце кольцо. Она давно не носила кольцо. Как чудесно переливается густым цветом багряный рубин! Живет. То потемнел, то просиял чистым, радостно-красным.

— Не топлю, сжигаю разное ненужное, — как-то грустно сказала Ксения Васильевна. — Нахлынуло прошлое. Накатило неизвестно с чего. А годы проходят, о смерти подумать пора.

— Что вы, баба-Кока! — воскликнула Катя, рывком садясь на постели. — Что вы говорите такое!

Слезы задрожали в голосе, лицо искривилось; она стала дурнушкой, жалкой девчонкой, с нечесаными волосами, рассыпанными по плечам.

Баба-Кока ласково погладила голое плечо Кати, прикрыла одеялом.

— Ну, ну. Не будем об этом. Я смерти не боюсь. Заболеть страшно. Хватит паралич, вот это страх! И об этом не думаю. И о смерти не думаю. Из гордости не желаю думать о смерти. Не понимаешь? Как это из гордости? Да так... Не собираюсь уми-

рать — вот и все. До девяноста доживу. Правнуков хочу повидать, твоих деток, птенцев. А когда встретишь любимого... когда встретишь, вся жизнь озарится по-новому. Знаешь, что это — любовь? Радость, жалость, страдания, жизнь!.. Когда полюбишь, подарю тебе это кольцо.

Она сняла кольцо. Держала на ладони и вглядывалась в огромный кроваво-красный рубин. Пристально. С грустью.

— Последняя память о человеке, его одного я и любила. А отослала сама: уходи.

— Почему?

— Не отослала. Увели его от меня. Девочка такая, как ты. Худенькая, глазищи огромные. Пришла тайком. Ручонки сложила на груди, вся дрожит. «Мы любим папу». Ненавидела я эту девчонку глазастую... А кончилось тем, что вынесла себе приговор: «Уходи, любимый. Прощай, а перстень этот...»

Солнечный луч протянулся в окно, рубин вспыхнул.

— Мой талисман,— сказала Ксения Васильевна.— Я под декабрьскую вьюгу родилась. Кто в декабре родился, для того рубин талисман. Потому он мне и подарил это кольцо. Потому я его и храню. Когда срок придет, передам тебе, и хоть ты не декабрьская, береги. В память обо мне. Это кольцо мне самых драгоценных сокровищ дороже. Пусть бы вовсе нужда нас одолела, ни на что не обменяю, за десять пудов муки не отдам,— неожиданно повернула на прозу Ксения Васильевна.

И с досадой махнула рукой. Что ты будешь делать! Как занозы засели в сердце недавние мытарства, не прогонишь из памяти.

А пора бы прогнать.

В газете «Беднота» про иные деревенские школы писалось: учителя бедствуют, ни жалованья, ни хлеба, ни дров. Про одну учительницу писали, что ходит ночами на крестьянское поле, картошку крадет, тайком накопает ведерко... Срам! Не учительнице срам, а крестьянам, тем, что нарушают советский закон.

В селце Иванькове другое. Иваньковская учительница хлебом и прочими продуктами обеспечена...

В тот первый день Катиного учительства, злополучный, на всю жизнь памятный день, когда, сгорая от стыда, спотыкаясь под недоуменными взглядами тридцати трех учеников, сбитых с толку ее, Катиным, невежеством, она, прервав урок, раньше учеников вышла из класса — спрятаться, скрыться,— в сенях почти налетела на предсельсовета Петра Ивановича.

— Что скоро отучила, Катерина Платоновна? — без задней мысли спросил председатель.

А ей послышалась насмешка.

— Я знаю, когда надо кончать урок! — дерзко отрезала Катя.

В сенях, отделявших класс от половины учительницы, было темно. Он не разглядел ее пылающих щек.

О! Как она после жалела, как терзала себя, что именно в эту минуту обрезала его, вообразив в нем начальственный тон! Он шел к ним довольный и радостный, спешил обеспечить их от имени Советской власти и крестьянского общества, а она...

— Молода, а с норовом, — удивился предсельсовета.

Это Катя-то с норовом! Катя, которая все детство не смела сказать матери «нет». Катя, которую любимый брат Вася жалующим голосом называл послушной. «Послушные не открывают Америк».

Ошибается предсельсовета. Или что-то новое в Кате, самой ей неясное?

Стуча сапогами, смазанными дегтем, Петр Игнатьевич вошел в комнату, снял буденовку и громко, во всю мочь, как на сходке:

— Здравия желаю, Ксения Васильевна!

Хотелось Петру Игнатьевичу в сердцах ругнуть учительницу, чтобы не задирала нос с первого дня, еще не заслуживши почета. Но сдержался. Помнил: предсельсовета во всех случаях — образец поведения, советского, не какого-нибудь. Только тем показал Петр Игнатьевич недовольство девчонкой-учительницей, что не к ней обратился по делу, а к бабушке.

— Принимайте продукцию, Ксения Васильевна. Секретарь Сила Мартыныч — всю бухгалтерию в Совете ведет — обошел дворы, нешибко у нас их много в Иванькове, слегка поболее полсотни, а в каждую избу зайти время, однако, потребуется. Не пожалел трех вечеров, обошел. На все сто провел агитацию. Собрали провианта на прокорм учительницы плюс члена семьи, проще говоря, вас, Ксения Васильевна. Муки без малого полный мешок. Картошки два мешка. Капусты двадцать кочанов. Две бутылки конопляного масла да баранья нога. Последние два продукта считайте сверх обязательной нормы. Бабы наши жалостливы. Сочувствуют. А еще стараемся народ в пролетарском направлении воспитывать. Стало быть, так. Телега у крыльца. Сила Мартыныч там. Кажите, куда мешки с мукой и картофелем положить.

Баба-Кока разволновалась, покраснелась, выронила на колени шитье.

— Петр Игнатьевич, спасаете вы нас. Я с первого взгляда человека в вас угадала, вот правильно угадала. Катя, ты слышишь, какая щедрость! Спасибо, спасибо, дорогой Петр Игнатьевич!

— Спасибо советской политике говорите. Не нами закон об учительском прокорме придуман. Газету читаем. Проводим линию, указанную на данный момент. О хлебе не заботься. Учи, — обратился он все-таки к Кате, строго глядя поверх ее головы.

...Вот о чем надо было бы вспомнить Ксении Васильевне, а не городские мены на базаре и очереди с ночи до утра за полфунтом хлеба на двоих. То позади. Иваньковское крестьянское общество под руководством предсельсовета Петра Игнатьевича Смородина сняло заботу о хлебе.

Впрочем, Катя и Ксения Васильевна не забывали это и никогда не забудут.

Ксения Васильевна ушла в кухню хозяйничать и оттуда звала громко, изумленно:

— Катя, иди-ка сюда!

Катя босиком прошлепала в кухню.

В окно широко видна улица. Октябрь, а на улице белый зимний день. Еще вчера кострами пылали на кустах и деревьях желтые неопавшие листья. Что стало за ночь! До окон навалило снежные горы. Навесило шапки с козырьками на крышах. Осины и ивы вдоль изб бессильно свесили ветви под грузом рыхлого снега, без времени. Деревья еще не подготовились встретить зиму. Ветви клонились и никли.

И удивительное видение — для него баба-Кока и кликнула Катю.

Из кухонного окошка видно крыльцо. Длинная, тонкая березка возле крыльца круто изогнулась дугой, почти касаясь земли макушкой в гроздьях тяжелого снега. Белая арка перекинулась над входом в Катину школу.

24

«Милая, милая Фрося!

Петр Игнатьевич едет в уезд на совещание, посылаю тебе с ним немного бараньего сала, крупы и муки, такими стали мы богачами! Воображаю, как ты обрадуешься и испечешь нашему Васе оладушки.

Фрося! У меня новая жизнь. Не представляла, что так захватит, всю душу возьмет какая-то деревенская школка. Незрочная, с одним большим классом. Холодный, темный класс, но когда нахлынут ребята, сразу повеселеет и даже согреется. Оказывается, я люблю ребят. Очень люблю! Плохих детей в моей школе нет. Лживых, недобрых! Нет, нет!

Мне нравится управлять ими, будто оркестром. Они слушают каждое мое слово, хочется даже торжественнее выразиться: «внимают» каждому слову. Иногда, чтобы проверить свою власть, я строго приказываю: «Тихо. Ни звука».

И что же? Тихо, ни звука.

Я часто рассказываю им что-нибудь интересное. Пригодилась книжная полка бабы-Коки. Помнишь, сколько у нас было книг? Как я скучаю без книг! Безумно скучаю...

В классе многого не успеешь рассказать, надо учить читать и писать, а на рассказывание я зову ребят вечером. Сбегают домой пообедать, приготовят уроки и снова в школу. Не каждый вечер, но часто. Вечерами мы собираемся в кухне. У нас просторная кухня и русская печь, жарко, как в бане. Авдотья — школьная сторожиха, немая; одна рука короче другой, в деревне ее зовут «убогонькой», но она оптимистка, из-за всякого пустяка хохочет, вернее, мычит, это и значит, смеется, а школу обожает, без конца моет, метет.

В кухне у нас длинный стол и вдоль стен широченные лавки, как в крестьянских избах. Ребята рассядутся кто где — по лавкам, на лежанке, на полу. И я рассказываю. Что? «Шпион», «Последний из могикан» Фенимора Купера. Рассказываю неделю подряд. Забуду подробности, добавляю свои. Ах, Фрося, видела бы ты, как слушают ребята! Еще бы! То мы в могучих лесах Южной Америки, там лианы обвивают стволы и сучья великанов-деревьев, обезьяны качаются на лианах, как на качелях...

Но, ясно, ребята особенно замирают, когда я подхожу к приключениям. Уж тут я не скуплюсь, расписываю во всех деталях подвиги и благородство индейцев. И обрываю на самом драматическом месте. Многоточие. Пауза.

— Довольно, дети, до завтра.

Они молят:

— Еще, еще!

Но я неумолима.

— Нет, до завтра.

Так я властвую над ними.

Какие чудесные у нас вечера! Только как-то баба-Кока сказала:

— Фенимор Купер хорошо, но одного Купера мало.

Баба-Кока всегда права. Конечно, ведь есть «Детство и отрочество», «Капитанская дочка», «Дубровский»...

Ты думаешь, по вечерам у нас горит лампа? Лампа на всю школу одна, висит в классе на железном крюке, и наша тетя Дуня зажигает ее, когда Петр Игнатьевич устраивает в школе крестьянский сход.

А мы сидим при лучине. Ты все это знаешь, а нам ново.

Фрося, удивляюсь я бабе-Коке, восхищаюсь. Она была избалована жизнью в Москве, в красивой квартире. Бывала в Париже, Италии, в Сорренто и Риме. Думаешь, ворчит из-за лучины? Нисколько.

А учить ребят все-таки трудно. И посоветоваться не с кем. Соседний учитель, старик, в пяти верстах от Иванькова. Сходила бы к нему, да стесняюсь. Скажет: «Что за учительница, сама неуч!»

Баба-Кока с педагогикой тоже мало знакома. Но у бабы-Коки есть здравый смысл. Поэтому иногда она мне помогает.

Например, как бы ты стала учить младших читать? Я показала им букву «М».

— Мы,— читают они,— мы-а, мы-а, мама. Ры-а, мы-а, ра-ма.

Долго мы так читали, но однажды баба-Кока проходила сениями мимо класса, услышала и после мне:

— Что это они мычат у тебя? Не вели им тянуть: «мы», «ры». Пусть сразу складывают, ведь буквы-то знают?

Подсказала, и представь, в два дня мои младшие научились не тянуть, а сразу складывать. И читают как следует.

Сама не пойму, как это я их научила.

Прекрасная советчица — моя баба-Кока! К ней даже Петр Игнатьевич приходит советоваться или поговорить на разные темы. У нас в комнате голландская печка, мы с бабой-Кокой любим топить ее в сумерки.

В это время Петр Игнатьевич иногда и зайдет. Присядет у печки на корточки, курит самокрутку, пускает дым в печь. Его интересует история. Слышала бы ты, как они спорят с бабой-Кокой! Для бабы-Коки Петр Первый — великий преобразователь России, а ему что Петр Первый, что Грозный — он всех царей отвергает.

Он бабе-Коке признался: «Я, Ксения Васильевна, вначале к вам не с полным доверием подошел, поскольку вы из чуждого класса, но наш великий вождь Владимир Ильич Ленин учит, что каждому овладеть надо всеми богатствами знаний, чтобы настоящим стать коммунистом...»

Последнее время мы с бабой-Кокой заметили, Петр Игнатьевич изменился. Озабоченный. Даже хмурый. Заметили, но спросить не решались. Он сам бабе-Коке открылся.

Городская заготовительная контора по сбору сельхозналога заявила, что у нашего сельца Иванькова перед государством большая задолженность. Будто у нас на сколько-то десятин больше пашни. За эти десятины надо сдавать дополнительно налог. А десятин-то нет! После революции землемеры землю измеряли, и все было правильно, а теперь вдруг объявились лишние десятины. Я не очень все это понимаю... Петр Игнатьевич ругает бюрократов и чиновников из заготовительной конторы.

Вот поехал выяснять...

Фроря, когда я была школьницей, мы сердились на учителей, у которых были «любимчики», а «любимчиков» презирали, дразнили подлизами и т. д.

А знаешь, теперь у меня самой есть «любимчики». Нет, нельзя так называть. Все дети милы. Но есть такие, кто мне нравится больше.

Например, Федя Мамаев. Однажды у меня случился позор-

ный прорыв на уроке — запуталась с решением задачки. А Федя Мамаев поправил меня. И с тех пор он очень мне нравится! Правдивый, способный.

Люблю еще Алеху Смородина. Всегда полон фантазии, голова непрерывно работает, будто там заводной моторчик.

Тайка — полная противоположность. Ласковая, тихая...

Немного смущает меня, что мои «любимцы», Алеха и Тайка, как раз дети нашего иваньковского начальства. Но ведь я-то знаю, что это не имеет для меня никакого значения. И конечно, я не показываю вида, что Федю, Алеху и Тайку люблю больше других.

Милая, милая Фрося, хочу знать, как ты живешь, как растет Васенька. И как я тронута, что ты назвала его в честь моего Васи!

Мы с бабой-Кокой целуем Васеньку и тебя, милая Фрося!
До свидания.

Катя.

Ноябрь 1921 года».

25

Ребята разошлись после уроков, а Тайка Астахова робко скрипнула дверью в комнату учительницы и, став у порога, потупив глаза, проговорила чуть слышно:

— Катерина Платоновна, Ксения Васильевна, тятенька вас нынче в гости зовет.

— С чего это? — удивилась Ксения Васильевна.

— Тятенька с мамой приказали просить, чтоб уважили...

— Причина серьезная... Что ж, Катерина, уважим? Собирайся, идем.

Тайка молча семенила впереди, поскрипывая на снегу еще не разношенными белыми валеночками, бордовые розы на ее шерстяном полушалке нарядно цвели. Снег звонко хрустел. В полнеба малиново горела заря. Белая сорока с черными каймами на крыльях и хвосте провожала Тайку с гостями от палисада к палисаду.

Сельцо Иваньково вытянулось в одну улицу вдоль реки Голубицы. К лету берега Голубицы одевали ковры незабудок, оттого и название у реки голубое.

У Силы Мартыныча была изба-пятистенка, с наличниками дивной красоты и узорчатыми перилами крыльца, как кружевными. Изба стояла крайней в сельце. Дальше чистое поле, снежный вольный простор, а еще дальше, где небо клонилось к земле, темная гряда леса отделяла иваньковские владения от соседних.

— «ИВАНЬКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ», — вслух прочитала вывеску Ксения Васильевна. — Вот так раз! В сельсовет нас привела.

Тайка со смущенной улыбкой, маленькими шажками поднялась на крыльцо, а навстречу появился коренастый, щекастый, бородатый Сила Мартыныч, мужчина лет сорока.

— Жалуйте, гости дорогие, милости просим. Сельсовет, эта значит, при нас. Или скажем напротив: Сила Мартыныч при сельсовете, так-то вернее. Жалуйте,— пригласил он широким жестом.

Сени просторные, влево три ступеньки спускались к хлевам для скотины, направо две двери.

— Тута сельсовет,— указал на одну Сила Мартыныч.— А тут мы.

И ввел гостей в свою половину. Чисто. Прибрано. Полы белые. Русская печь вкусно дышит мясными щами. В красном углу стол, заставленный блюдами и мисками с кушаньями. Икон не видно. На стене портрет Ленина.

Хозяйка, с тонким и тихим, как у Тайки, лицом, поклонилась молча. А хозяин был шумлив и приветлив.

— Время зря волынить не станем. За столом складнее беседовать. Ксении Васильевне переднее место. Мы хоша к учительнице нашей Катерине Платоновне со всем уважением, а малу и стару понятно, правит-то бабушка.

— Вот и ошибаетесь, Сила Мартынович. В школьные дела Катерины Платоновны я нисколько не вмешиваюсь.

— Пусть так,— тотчас охотно сдался Сила Мартыныч.— Умный человек с одного слова скажется. Хозяйка, что стоишь? Угощай, потчуй. Студенец, пирожок с ливером, баранья печеночка, капуста квашеная... А за здоровье прекрасной нашей учительницы и ее бабушки браги выпьем. Мы, иваньковцы, от прапрадедов брагу знаем варить.

Он выпил стакан, и Ксения Васильевна выпила, а Катя чуть пригубила. Сила Мартыныч одобрительно кивнул:

— Крестьянский класс за новое грудью, а что ценно в старом — это тоже храним. Девка — барышня по-городскому — тем хороша, ежели в скромности себя соблюдает. Так при дедах велось, рушить не станем. Вам, Катерина Платоновна, благодарность. Это уж я о другом. Про родительскую вам благодарность, Катерина Платоновна! Одна у нас Тайка. Было двое сынов. Из люльки не выросли, кончились... Дочка растет. Жизни милей. Я для своей Таиски по нынешним временам дорогу бо-ольшую вижу. Выучить желаю, до самого верху. При царском режиме за учение в гимназии полсотни в год плати. Да квартира городская, да харчи. Не под силу. А нынче... при образовании вывести можно даже и девку в начальство самое высшее, была бы удаль да смелость отцовская... Вот как у нас!

— Может, довольно вам браги? Крепкая,— заметила Ксения Васильевна.

— Увидела! Все как есть насквозь видит! — восхитился Сила Мартыныч.

— Скажите, а как вы до революции были? — неожиданно спросила Ксения Васильевна, обводя взглядом чистую, светлую избу.

Он поставил стакан. Насмешкой сверкнули глаза.

— Скажи, как мода на анкету в нас въелась! Ладно в волости или уезде — и по соседству каждый друг о дружке допытывается... Кулаком не был, — спокойно ответил он. — По советским законам кулак есть эксплуататор наемной батрацкой массы. Правильно рассуждаю? — почему-то обратился он к Кате.

— Правильно, — несмело подтвердила она.

— В нашем сельце Иванькове кулаков не водилось. Для нас-то хуже. Будь в сельце кулаки, землицы бы у них поурезали, бедняцко-середняцкому населению прибыль. И помещичьей земли близко нет. С чем до революции жили, с тем и остались. Одну поповскую усадьбу порушили, да там на цельное-то общество всего ничего. В нашем Иванькове земельное равенство, да. Покамест разверстка действовала, урожай подчистую мели — охота пахать у крестьянства упала. Нынешним летом и вовсе засуха пол-России сожгла. Нас, иваньковцев, миловал бог, да еще товарищ Ленин новую экономическую политику мудро удумал. Налог государству отдай, а что осталось — твое. У мужика пахать руки просят. Крестьянину получает — и рабочему получает. Правильно разбираю политику?

— Мне кажется, правильно, — подтвердила Ксения Васильевна.

И Кате, естественно, рассуждения Силы Мартыныча казались понятны и правильны. А главное, понравилось ей, как любит он дочку, тихую Тайку, с надеждами и нежностью любит! Вот сидит, большой, плечистый, подстриженные скобой волосы кудрявятся, настоящий русский богатырь! В одной руке стакан с брагой, другой обнимает щуплые плечики Тайки, бережно тронет светлые, прямые, как соломинки, волосы.

— У вас красиво, а герань как прекрасно цветет! — любясь махровыми шапками цветов в глиняных горшках на подоконниках, сказала Катя.

Сила Мартыныч с довольной усмешкой медленно огладил пышную бороду.

— Отгрохал домину аккурат под самый четырнадцатый. Своими руками, вот энтими, плотницкими, избу ставил. Гляньте, мо-золи каменные, до смерти не сойдут. Сам, да жена, да сестра, старая девка, да холостой брательник пять годов ставили избу. Квас с редькой — весь харч, про говядину, как и пахнет, забыли. Обещался брата холостого женить, когда избу осилим. Затем и пятистенку старались, ему половина, мне половина. А тут война. Не

успел ожениться, с первых дней взяли. И сгинул. И могилы не знаем. Сестра животом маялась, скрючило всю, и ей в новом доме пожить не пришлось... Ксения Васильевна, пироги с ливером, Катерина Платоновна...

Тут дверь отворилась, и вошла женщина, нестарая и недурная бы собою, но темная старушечья шалька, надвинутая на брови, ввалившиеся от худобы щеки и угрюмый взгляд старили ее и дурнили.

— Здравствуйте. Не вовремя я, гости у вас. Кринку принесла, спасибо.

Поставила порожнюю кринку на деревянную лежанку у печки и повернулась уйти.

— Постой, постой! — вскричал Сила Мартыныч. — Нин Иванна, постой. Прежнего учителя нашего жена, — коротко бросил в сторону Кати и Ксении Васильевны. — Садись гостевать, Нин Иванна.

— Спасибо, некогда мне. Ребятишки не кормлены.

— Тогда постой. Жена, собери ребятишкам гостинца.

Но Нина Ивановна уже вышла из избы, и Сила Мартыныч, схватив два куска пирога и накрыв ломтем студня, вышел следом за ней в сени. За дверью слышались голоса: его — низкий, твердый и ее — бурный, срывающийся.

— Учитель на войне без вести сгинул, — тихо вымолвила Тайка.

— Сгинул или нет, то нам неизвестно, — возразила мать. — Соседка наша. Мы ее еще в девках, Нинкой, знали. Учитель зятем в дом к ним вошел. Осталась — ни мужа, ни сродственников. Ни коровы, ни лошади. Обнищали. Когда поможем, чем можем. Молока корчажку снесешь.

Сила Мартыныч вернулся. Сел к столу, сердито ухватил бороду в ладонь.

— Морока с бабами! Она так располагает: ежели ты сельсовет, корми ее, обувай, одевай. А где у нас средства? Что в наших есть средствах — даем.

Он выпустил бороду, налил еще стакан браги и, ближе придвигаясь к Ксении Васильевне, заговорил другим, почти искаженным тоном:

— Дельце у нас к вам, Ксения Васильевна.

— Я так и предполагала, что дельце, только почему ко мне, а не к Катерине Платоновне?

— Катерина Платоновна молода, и школа на ней. Мы видим, Катерина Платоновна вся в школу ушла.

— Какое же дельце?

— Такое, что и вымолвить сразу-то не решусь.

— А вы решайтесь. Вы ведь не из робких, как я догадываюсь.

— Ну, ежели догадались, выложу напрямик. Засела в голову

мыслишка одна. Надумал культурой вашей попользоваться. Тайку, сверх школы, желаю разным наукам учить, всем языкам заграничным, вот какая задумка.

Он умолк, почти смущенно вглядываясь в спокойное лицо Ксении Васильевны, которая по привычке постукивала пальцами по столу, и на безымянном горел темно-красный рубин.

— Задумка неплоха, да только слишком вы многохватили. Всех языков я и сама не знаю.

— Так ничего и не знаете?

— Немецкий кое-как. Французский тоже подзабывать стала. Однако попробовать можно, поучу вашу Таю французскому. Девочка способная, прилежная.

Тайка покраснелась, стыдливо потупилась, и мать опустила глаза, пряча радость, а Сила Мартыныч опрокинул еще стакан золотистой пенистой браги, вытер бороду:

— За платой не постоим, будьте в спокойствии.

— О плате не будем пока говорить, — отказалась Ксения Васильевна. — А одолжения прошу.

— Да мы с радостью! Что запросите, все раздобудем. Из-под земли выкопаем.

— Нам с Катериной Платоновной нужна газета. Скучаем без газеты. Живем, как в лесу.

— Газету-у! — воскликнул он, изумляясь и радуясь исполнимости желания Ксении Васильевны. — У меня эти газеты в шкапу кипами копятся. Айда в сельсовет, без промедления снабдим.

И он привел их в сельсовет. Отворил дверь в смежную комнату, и пожалуйста — сельсовет. Люди входили сюда из сеней. Но Ксению Васильевну с Катей, естественно, Сила Мартыныч провел из дома.

Такая же изба, большая, чистая, только без пунцовых шапок гераней на окнах; посредине покрытый кумачовым сатином стол; у стены сколоченный Силой Мартынычем шкаф для казенных бумаг и документов. Разумеется, фотография Ленина. Ленин был изображен здесь с Михаилом Ивановичем Калининым.

— Помещение нашей сельской Советской власти, — гордо объявил Сила Мартыныч. — Астахова личная собственность добровольно отдана государству по причине малой семьи. А как дальше пойдет, будет видно. Разбогатеем — отдельный для власти выстроим дом.

На деревянном щитке были гвоздиками прибиты развернутые листы газеты «Беднота».

Ксения Васильевна пробежала заглавия статей и заметок. В правом углу начальной страницы: «Принимается на газету подписка по всей территории РСФСР только от учреждений и организаций».

Жаль! Хотелось Ксении Васильевне выписать газету на свой

адрес, лично себе! Есть особенное удовольствие, ставшее за годы привычкой, получать утром свежий номер газеты, еще пахнувший типографской краской, никем еще не открытый, читать газету первой. Без спешки, со вкусом.

— Не тужите. Как из почты привезут, буду с Тайкой присылать,— успокоил Сила Мартыныч.— А покамест получайте запас. Читайте, знакомьтесь. Нынче политика вперед семиверстными шагами бежит, чуток пропустил — не догонишь.

Он достал из шкафа кипу старых номеров «Бедноты», нагрузил Катю и вышел на крыльцо проводить, в одной рубашке, с разгоревшимся от браги лицом, довольный удачной сделкой с Ксенией Васильевной.

И Ксения Васильевна возвращалась из гостей довольная приемом Силы Мартыновича.

— Умен. Активен. Повезло Петру Игнатьевичу с помощником. Нашего Петра Игнатьевича слишком ввысь порою заносит. А этот на земле прочно стоит. А имя? Ты заметила? Будто для него специально придумано — Сила.

26

Кате не исполнилось шести лет в ту весну, когда к земле приближалась комета Галлея. Веснами они жили не в Заборье, а в городе: у Васи в реальном еще шли переводные экзамены, он часами горбился над учебниками, но урывал время сооружать с товарищами подзорную трубу собственной конструкции. Девятнадцатого мая будут наблюдать приближение кометы.

Огромное раскаленное чудище с хвостом в миллионы километров надвигалось на Землю.

О комете говорили все, постоянно, повсюду. Катя слушала страшные рассказы на бульваре, куда Татьяна водила ее утром гулять. Нянюшки катали по дорожкам коляски с младенцами или сидели на скамейках и обсуждали неотвратимость беды. Комета летит прямо к Земле, столкнется... и свету конец. Землю разорвет в куски или сожжет дотла во всемирном пожаре. А если комета пронесется мимо, хвост ее плотным покрывалом обовьет Землю и удушит людей, зверей, птиц, растения — все удушит угарными газами. Так и так наступает конец. Скоро. Через несколько дней.

Катя глядела на ярко-желтые дорожки бульвара и зеленые газоны в золотых одуванчиках, слушала шум весенних ветвей, птичий гомон и в отчаянии замирала: скоро конец. Формочки для песка и лопатка валялись из рук.

— Вася, комета столкнется с нашей Землей?

— Н-не знаю. Может столкнуться.

Ни один человек не утешил ее.

— Сегодня к ночи, сегодня! — без умолку твердили на бульваре в тот день.

Вечером у Васи собрались товарищи-реалисты, то возбужденные, шумные, то вдруг умолкавшие: водружали на балконе подзорную трубу. Мама тоже устроилась на балконе в качалке, с папиросой, и в тревожной задумчивости наблюдала суету и волнение мальчиков.

Кате не дали поглядеть в трубу.

— Ты еще маленькая, ничего не поймешь, — нетерпеливо выпроваживал Вася.

— Покойной ночи, иди спать, — велела мама.

Кате хотелось кинуться к ней, уткнуться в колени, прижаться.

— Иди, пора спать.

Татьяна увела Катю, помогла раздеться.

— Может, последняя ноченька, и не свидимся больше.

Поцеловала и ушла в парадное делиться переживаниями с соседскими прислугами. Все оставили Катю. Она съежилась под одеялом в дрожащий комок. И ждала. Вот с грохотом взорвется небо. Волга выплеснется из берегов. Рухнут дома, и древние зубчатые стены и городская башня повалятся. Забушует пламенный вихрь... Она уснула.

А утром майское небо лучезарно светилось, зеленели деревья, птицы свистели и щебетали, кажется, громче и веселей, чем всегда. Комета не столкнулась с Землей, пролетела мимо и неслась где-то далеко-далеко во Вселенной.

После кометы Галлея Вася никем не мог быть, кроме как астрономом. Астрономия сводила Васю с ума. Он выпрашивал у мамы денег и выписывал специальный журнал и специальные книги. Изучал звездные карты.

Подзорная труба не удалась реалистам. Вася вымолил у мамы полевой бинокль — читать звездное небо. Мечтал открыть новую звезду.

А потом остыл к астрономии. Новое увлечение завладело Васей. Книги Гарина-Михайловского привели к другому призванию. Инженер-путеец! Строить железные дороги — вот его дело! Нашей отсталой России не стать европейской страной без железных дорог...

Катя между тем подросла, скоро двенадцать, ей интересно все взрослое. Так она натолкнулась у Васи на популярную астрономию Фламариона.

Она читала Фламариона, задыхаясь от волнения. Запоем. Тайны Вселенной поразили ее. Что такое Вселенная? Нет начала и не будет конца, что это? Что это? Что такое вечность движения? Мы — наша крохотная по сравнению со Вселенной Земля, и не-

исчислимые звезды, и неисчислимые звездные спутники — несемся в черной бездне. Куда? Ужас ее охватил. Ее бедный маленький мозг не в силах постигнуть тайн мироздания. Жалкая гимназистка третьего класса, она была в полном смятении. Непостижимое обрушилось на нее. Придавило ее.

Душевная потрясенность Кати была взрывом, может быть, подобным солнечному протуберанцу. И, подобно протуберанцу, не сразу, постепенно опала, утихла.

Обыкновенная земная жизнь не давала о себе позабыть. В ученическом дневнике благодаря Фламариону появился длинный ряд двоек, и, конечно, мать не скупилась на язвительные внушения вроде:

— Надо быть уж совсем ограниченной, чтобы с гимназической программой не справляться. Иди в модистки, если не способна учиться.

Постепенно Катю перестали мучить мысли о вечности Вселенной и мгновенности человеческой жизни.

Зато она узнала о звездах. О Млечном Пути, опоясавшем темный свод неба. Зато умела находить Большую Медведицу и Малую, увенчанную ослепительной Полярной звездой. И бриллиантовую россыпь Стожар. И вообще научилась, почти как Вася когда-то, читать звездное небо, особенно в такой ясный морозный вечер, как сегодня в Иванькове.

Сегодня рассказывания при лучине не будет. Вместо кухни Катя собрала ребят на улице с целью отправиться на экскурсию в звезды...

Она здорово вошла в роль учительницы: постоянно ей хотелось выкладывать ученикам запасы своих отрывистых, случайных познаний. Любопытство ребят ее подзадоривало. Кроме того, к разговору о звездах подтолкнули рассуждения Алехи. Алеха сочинял картины и сказки.

— Солнце одно на все небо да Луна. Для Земли. А звездочки махонькие, то фонарики на ночь зажигаются, чтоб Земле посветить, когда Солнце спать уйдет и Луна притомится. Солнце летом жарче горит, пока ржи да овсы поспевают, а как поспеют, оно и остудится и зиму на Землю найдет.

Катя не хотела вызывать в своих милых учениках тот отчаянный холод, какой испытала в отроческие годы сама от непостижимости мира. Но нужно знать. Нельзя жить слепыми.

— Вы можете сосчитать все снежинки в иваньковском поле? Или летом все колосья?

— Ну да? — раздалось удивленно.

Ребята почуяли что-то занятное, теснее сгруппировались возле учительницы.

— Звезд столько, сколько снежинок на всех иваньковских зимних полях. И еще столько. И еще. И еще. Не счесть.

— Ну да-а?

— У многих звезд, какие мы можем видеть, есть названия. Вот глядите, для начала: Большая Медведица...

И они стали искать и разглядывать семь мерцающих звезд в бездонно высоком, чистом декабрьском небе. Они стояли задравши головы, и одни находили созвездие, другие — нет, а некоторые, оказывается, знали Большую Медведицу, и шумно радовались, и хотели, чтобы учительница их похвалила.

Но дальше путешествие по звездам прервалось, в этот вечер Катя не успела поделиться с учениками всеми своими астрономическими знаниями. Катя увидела предсельсовета. Он незаметно приблизился, недолго послушал ее звездную лекцию и коротко бросил:

— Катерина Платоновна, дело есть.

Ребята остались на улице, а она последовала за ним в школу, недоумевая, отчего он так строг и чем недоволен.

В классе Авдотья зажгла семилинейную керосиновую лампу, что означало объявленный сход. Несколько мужиков уже сидели за партами, над которыми плавал грязновато-серый махорочный дым.

— Звезды звездами, может статься, время настанет, и до звезд доберемся, а нынче другая нужда. Не до звезд,— сказал Петр Игнатьевич, входя в комнату учительницы.

Он смотрел хмуро и словно бы осуждал Катю за ее отвлеченный, не первой важности урок.

— Катерина Платоновна, идем на собрание, будешь нужна,— велел Кате. Бабе-Коке ласковее: — И вы, Ксения Васильевна, ежели желание есть.

Класс был полон народа, глухо гудел. Мужики сидели за партами и на корточках на полу. Бабы столпились у печки. Кто на лавках, принесенных из кухни, кто стоя.

Едкий запах махорки, сырой овчины и пота висел в воздухе, лампа от духоты горела тускло, лица казались серыми.

За учительским столиком Сила Мартыныч с озабоченным видом перебирал, листая и перекладывая, небольшую стопку газет.

— Сила Мартыныч, ты нынче учительнице секретарствовать место отдай,— распорядился председатель.

У того недоуменно вскинулись брови.

Но, медленно погладив бороду, он спокойно спросил:

— Что за причина?

— Причина немудрая, в исполкоме интересуются, как наша учительница привыкает к общественной жизни. А она по молодости на народ и показаться не смеет, заперлась с ребяташками в классе. Катерина Платоновна, народа не беги. Садись, будешь писать протокол.

Сила Мартыныч без слова, выставляя широкую грудь и как-то заметнее, чем всегда, прямя плечи, твердыми шагами отошел к двери, встал впереди людей, отвернул полу шубейки, вытащил из кармана кисет с табаком.

А Петр Игнатьевич откинул пятерней со лба волосы и тем же суровым голосом начал:

— Товарищи иваньковские односельчане! Мы живем, не бедуем. От нашего урожая до весны без голодухи дотянем. А есть губернии... мрут люди. Тысячами. А надежды-то нет. Время-то зимнее. При царском режиме на власть мужик не надейся, а все-таки хорошие люди и тогда находились; к примеру, писатель Лев Николаевич Толстой все силы на борьбу с голодом бросил, ну, не осилил в полном масштабе, а все-таки... Товарищи граждане, я вам лекцию не стану читать, лучше из «Бедноты» почитаю. «Бедноту», товарищи граждане, нашу крестьянскую боевую газету, сам Владимир Ильич Ленин декретом учредил, чтобы каждодневно печаталась для идейного просвещения крестьянского класса.

Катя забыла писать, не успевала схватить его быструю речь и глядела во все глаза на его осунувшееся лицо с запавшими, от болезни или горя, глазами.

— «Беднота» № 961,— читал председатель.— «...Люди питаются одной только травой, мхом, опилками и древесной корой. Люди ослабли, падают. Товарищи более счастливых местностей, организуйте сборы для помощи голодающим братьям!»

«Беднота» № 974,— читал председатель.— «Особая Комиссия ВЦИК под руководством М. И. Калинина создана на борьбу с голодом.

Детей переселять в колонии урожайных губерний».

«Беднота» № 1002:

«Небывалое бедствие — голод. Идут из деревень люди, на вокзалах, на улицах городов лежат сотни. Питаются падалью. Нужна срочная помощь».

«Беднота» № 1007:

«Речь тов. Калинина ко всей России:

Необходима помощь и помощь. Не только помощь государства, но помощь всего народа, всех советских республик».

«Беднота» № 1028:

«Истощенные, землистого цвета личики. Живые покойники, дети, с огромными, вздутыми животами. Тонкими, как спички, ножками, иссиня-бледные».

«Беднота» № 1032:

«Товарищи хлебородных местностей и губерний, кровью спаянные братья крестьяне, мы к вам обращаемся. Дайте нам хлеба. Мы умираем голодной смертью на заре освобождения человечества от угнетения, рабства и тьмы».

«Беднота» № 1043:

«Речь Калинина на сессии ВЦИК.

Голодом захвачено 21 073 000 людей, из них 7—8 миллионов детей...»

Хватит, может? — резко прервал председатель. — В общем и целом положение ясное, и предложение одно. Наша большевистская партия к нам, к крестьянству, с просьбой. Помогите. Не чужим, своему брату, пахарю...

Молчание. Говорят, бывает мертвое молчание. Наверное, такое мертвое молчание воцарилось в Катинском классе.

Наконец одна, с лицом в мелких морщинках, с усталым взглядом, — не старуха, а вся бесцветная, тусклая:

— Сами сколько лет голодали! Только б оправиться чуть. Налог с крестьянского класса берут — даем. А что осталось, дак на каждый пудик своей нужды-то, нужды!

И со всех парт, ребяческих парт, где сидели сейчас мужики в полушубках и курили махорку, поперебой загудели голоса:

— Разверстку давай! Давали. Налог давай! Даем. Опять же мало, опять давай. А власти что? Вовсе, что ли, без нас никуда? Все мужик да мужик. Все с мужика!

— Товарищи односельчане! — грозно, моляще и отчаянно сказал председатель. — Где наша пролетарская сущность? Классовое наше чутье где? Люди мрут. Восемь миллионов детей пухнут с голоду, как товарищ Калинин сказал. Есть у нас совесть?

И вдруг Катя увидела — и краска хлынула ей в лицо, и в груди защемило, — вдруг увидела Катя: баба-Кока, сидевшая среди баб возле печки на лавке, поднялась и направилась к двери. Мужики в дверях расступились. Ксения Васильевна была высока, прическа венцом выделяла ее среди иваньковских женщин, те покрывались платками, а она ходила простоволосая, не седая, с поднятой головой. Зато Катя втянула голову в плечи, дрожа: сейчас предсельсовета прогремит на весь сход: «Эх вы, чуждый класс!»

— Товарищи односельчане, иваньковцы! — сказал Петр Игнатьевич. — Расписывать свои нуждишки не стану. Сами знаете. Жертвую голодающим три пуда муки. Пиши, Катерина Платоновна. Три пуда.

Тут как раз вернулась Ксения Васильевна. Она была спокойна и немного грустна.

— Уважаемый председатель сельсовета. У нас с Катериной Платоновной имущества тоже немного. Было, да прожили. Одно колечко осталось. — Она протянула ладонь с кольцом, рубин вспыхнул темной краской. — Кольцо золотое, и камень недешев. Примите от нас с Катериной Платоновной в помощь голодающим.

И отдала Петру Игнатьевичу свой драгоценный и памятный перстень.

Сила Мартыныч шагнул вперед из толпы:

— Жертвую голодающим братьям пять пуд ржи. Раскошеливайся, крестьянский народ, кто сколько в силах, давай!

— Пиши в протокол, Катерина Платоновна, — велел председатель.

27

Миновала неделя, другая, а Ксения Васильевна не приступала к обещанным урокам французского. Между тем отцова фантазия превратилась у Тайки в мечту. Тем более что, как ни была она молчалива, проболталась, и скоро все знали Тайкин секрет и каждый день добивались:

— Когда же?

— Что за Франция? Где? Какие там люди? Либо черные, либо как мы? — допрашивал Алеха Смородин.

Все — младшие, средние, старшие — требовали от Тайки ответа, и она с мольбой глядела на учительницу бабушку, а та вроде бы не замечала Тайкиных отчаянных взглядов. Однако договор с Силой Мартыновичем Ксения Васильевна помнила.

— Знаешь, Катя, думала я, думала и вот что надумала. С Тайкой заниматься французским не буду.

— Что такое? Какая причина?

— Педагогика, Катенька.

— При чем тут педагогика?

— Именно при том. Сила Мартынович тщеславен, дочку выделить хочет. Во всем селъце Иванькове Таисия Астахова особенная. Поняла?

— Баба-Кока! Что вы, что вы? Ведь обещали, и вдруг нате вам...

— Выход есть, да боюсь этот ваш... унаро... и не выговоришь... унаробраз, а мне дикобраз представляется, не хмурься... шучу. Как начальство посмотрит, одобрит ли?

— Какой же выход, скажите?

— Если учить не одну Тайку — всех, кто пожелает.

— Баба-Кока, гениальная мысль!

— Голову тебе за нее не намылят? Пригвоздят буржуазные пережитки. Капиталистическая держава. Антанта. Мало ли что!.. И в учебных программах про французский не сказано.

Впрочем, сказано или нет, неизвестно. Учебные программы до Иваньковской школы пока не дошли. Ни учебники, ни тетради, кроме той скудной стопки в классном шкафу, ни иные пособия. Иваньковская школа жила на свой страх и риск. И дополнительные занятия по французскому языку Ксения Васильевна и Катя начинали на свой страх и риск.

Знали бы в уездном отделе народного образования, с каким

энтузиазмом все тридцать три Катиных ученика встретили «гениальную» мысль Ксении Васильевны!

Видимо, в ней тайно жил врожденный педагог. Ребята разинули рты, слушая ее рассказы о Франции, виденной своими глазами. Не о Булонском лесе, в аллеях которого разъезжают верхом изящные амазонки и кавалеры, не о парижских бульварах, Эйфелевой башне, соборе Нотр-Дам. Нет, о плоских, влажных лугах Нормандии, где тучные коровы с подглазьями, похожими на громадные очки, пасутся в одиночку за низенькими заборчиками, где поселки веселят глаз красными черепичными крышами, а море в часы отлива далеко уходит от берегов, оставляя на илистом дне ракушки с устрицами, которые крестьяне собирают в корзины и везут в Париж продавать господам.

Рассказ был вступлением, своего рода подходом к главной цели: научиться говорить по-французски. Писать не на чем, читать — нет учебников. Будем беседовать.

Для начала иваньковские ученики узнали два слова, два прекрасных французских слова, надежных и верных, с ними не пропадешь, если бы вдруг на сказочном ковре-самолете перенесся во Францию.

— Бонжур, камарад! Здравствуй, товарищ!

Не думайте, что во Франции каждый встречный — товарищ, но среди рабочих уж наверняка отыщется советскому человеку камарад. И не один.

Ребята узнали на первом занятии и другие слова, а особенно запомнили эти. Орали во все горло, расходясь по домам:

— Бонжур, камарад! Здравствуй, товарищ!

Авдотья бросила подметать класс, вышла с метлой на крыльцо поглядеть вслед ученикам, довольно мыча, и было видно, как мило ей все происходящее в школе.

— Ну что, Катя? — спросила Ксения Васильевна.

— Баба-Кока, отлично!

— Выдумываешь?

— Честное слово, клянусь!

Они условились: Катя весь урок простоят за дверью в сенях, чтобы потом обсудить каждую мелочь, все промахи. Ведь было однажды, что баба-Кока случайно услышала, как тянут Катини младшие нараспев: «Мы-а, мы-а», — словно дьячки на всенощной. Подсказала учительнице: не так учишь.

Катя в уроке Ксении Васильевны не заметила промахов. Идеальный урок! Она восхищалась, пока Ксения Васильевна не остановила:

— Довольно, пожалуй. Хвали, да знай меру. — И с нечаянной грустью: — А пропустила я что-то важное в жизни.

Еще недавно Катя могла не понять. Теперь поняла.

— У вас широкая натура, баба-Кока! Вы всегда любили кого-

то, а вам мало одной любви, вам все люди интересны, вам хочется что-то делать и значить. Я тоже хочу делать и значить.

— Верно, Катя. У тебя новая жизнь. И у меня рядом с тобой все по-новому. И никогда мы больше не будем прятаться от жизни за монастырской оградой.

Они проговорили бы долго, но Ксения Васильевна вспомнила:

— А пора тебе, Катя, идти. Иди-ка.

Наступил ранний декабрьский вечер. Просторная иваньковская улица вела в поле, а дальше дорога, утыканная вешками, в лес. Солнце опустилось за лес, и над темной грядой разлилась полоса нежно-изумрудного цвета, а над ней еще полоса, малиновая, очертила синеющий купол, в котором, отражая закат, толпились сиреневые, голубые, зеленые облака. Небо пылало. В одну секунду облако с золотыми краями, подернувшись пеплом, утекало, как дым, и на месте его вспыхивал фантастический желтый цветок. И вдруг алая стрела пронзала густеющую синеву, и выплывали розовые лодки, летели розовые лебеди...

— Что же это? Что же это? — шептала Катя, пораженная сказочным, нереальным каким-то закатом, неистовым празднеством цвета. Волшебство длилось, пока она шла вдоль села на самый край, к Нине Ивановне.

Изба вдовы учителя по соседству с Силой Мартынычем была так же изукрашена кружевными наличниками. (Все Иваньково славилось искусством деревянной резьбы.) Но бедность и неухоженность встретили Катю уже на ступеньках крыльца. Видно, хозяйка нечаянно плеснет, неся от колодца на коромысле ведра, вода замерзает раз от разу, руки не доходят скалывать лед.

После пламенеющих красок закатного неба Катя на минуту ослепла, войдя в темную избу. А когда пригляделась, узнала знакомую обстановку. Половину избы занимала русская печь с чугунами на шестке и обычной утварью в углу — ухватами, глиняным рукомойником, деревянной лоханью.

Две русые головенки свешивались с печи, напоминая знаменитую картину «Военный совет в Филях», там тоже свешивается с печки любопытная головенка, правда, одна.

Нина Ивановна катала на столе вальком на скалке белье.

— Здравствуйте. Проходите.

Переждала, пока Катя пройдет на лавку, молча возобновила работу.

И Катя молчала. Как неуютно! Скрытная, хмурая женщина. Катя не решалась сказать, что привело ее к вдове учителя.

Наконец Нина Ивановна оставила валеk. Села на лавку на другую сторону стола против Кати и неласково:

— Ждала, раньше придете. Три месяца учите.

Сердце сжалось у Кати. Конечно, она должна была прийти раньше. Бездушная! На чье ты место приехала?

— Простите, Нина Ивановна.

— Меня по батюшке один Сила Мартыныч величает, и то при гостях,— усмехнулась Нина Ивановна.— В девках Нинкой звали, нынче под старость теткой Ниной зовут.

— Какая же старость! Вы усталая очень. Вам трудно одной.

— Нелегко.

— Сила Мартынович помогает? — несмело полуспрашивала Катя, чтобы что-то сказать, и, вспоминая, как они с бабой-Кокой были у него в гостях и Нина Ивановна принесла пустую кринку и сразу ушла, а он побежал за ней вдогонку с ломтями пирога.— Сила Мартыныч — хороший человек?

— Для вас, видать, хорош,— усмехнулась Нина Ивановна. Спыхватилась: — А для меня и вовсе. За что мне на него обижаться? Меня сама жизнь обидела. Хуже злой мачехи моя жизнь! Скрылась бы на край света, они не пускают.

Она кивнула на печку, откуда свешивались две русые головенки и две пары серых глаз пытливо и серьезно глядели на Катю.

— Про мужа моего Сила Мартыныч ничего вам не сказывал? — настороженно, показалось Кате, спросила Нина Ивановна.

— Нам, еще когда сюда ехали, председатель сельсовета говорил, что ваш муж добровольцем ушел на войну.

— Добровольцем, э-эх! — вздохом вырвалось у Нины Ивановны.— Все Москва. Послали от уезда в столицу на курсы внешкольного образования. Зачем оно ему, внешкольное? Знай свою школу. Ан нет. А в Москве агитация. Тогда, летом девятнадцатого, Деникин наступал. Сам Ленин агитирует: все на борьбу с Деникиным! Зажигает людей. И мой загорелся. Зачем бы ему? У него глаза слабые, белобилетник... Шлет мне в письме: «Настали грозные дни, решается судьба революции». Знаем, слышали, не глухие в Иванькове, да ведь без тебя бы решили, тебе тридцать восьмой, неужто помоложе мужиков на войну не найдется? Ушел. И не свиделись больше. Из Москвы, прямо с курсов, ушел на Деникина... А потом-то!..— вскрикнула Нина Ивановна, упала на стол головой и забилась, завывала по-бабьи, истошно.

— Нина Ивановна, милая, успокойтесь,— пугаясь и жалея ее, лепетала Катя.

Та умолкла, подняла голову, огляделась странным, потухшим взглядом.

— Нина Ивановна, у вас страшное горе, ничем не утешить, только одно, что он герой, ваш муж, вы им гордитесь, и мы гордимся...

Она произносила слова, какие обычно говорят в подобных случаях, и сама понимала, что повторяет сто раз уже слышанное

Ниней Ивановной и оттого не действующее. И оттого, наверное, Нина Ивановна холодно оборвала ее утешения:

— Вы за делом пришли или так?

Катя вспыхнула. Вдова учителя не принимала ее состраданий. Вдове учителя досталась жестокая доля, но даже мама, скрытная, одинокая Катина мама, обожавшая Васю, не говорила ему: «Уклонись от войны».

А вдова учителя... Но не буду, не буду судить!

Закат догорел. В избе совсем потемнело. Кате смутно виделось через стол измученное лицо с черными провалами глаз.

— Ежели дело...— повторила Нина Ивановна.

— Я... мы с бабой-Кокой хотели вас навестить, и я думала... и моя бабушка Ксения Васильевна... хотели... может быть, у Тихона Андреевича остались книги?

— Книжником был,— угрюмо отозвалась она.

Нащупала в стенном шкафчике спички, засветила коптилку и, прикрывая ладонью крохотную дымящую, струйку огня, вывела Катю в холодные сени и отгороженный от сеней дощатой перегородкой чулан.

И там Катя увидела чудо: книжную полку, тесно набитую книгами. Без переплетов, на дешевой бумаге, без иллюстраций, с мелким, убористым шрифтом — приложения к журналу «Нива». Сочинения Мамина-Сибиряка, Короленко, Толстого, Кнута Гамсуна... Кто такой Кнут Гамсун?

Катя взяла тоненькую книжку в бумажной обертке: «Пан», «Виктория».

Катя жадно набирала книги. Хватала подряд. Руки дрожали от жадности. Вдруг Нина Ивановна оборвет: «Хватит, лишку заграбастала, хватит!»

Кнут Гамсун, Ибсен, Достоевский... А это для учеников: «Дети подземелья» Короленко...

Радость, радость!

Нина Ивановна без слов стояла рядом, прикрывая огонек коптилки ладонью. За ее спиной чулан тонул в темноте. Катя бегом увидела деревянный ларь и прислоненные к стене грабли и вилы, кучу сена в углу.

— До свидания. Спасибо, большое спасибо! — простилась Катя и понесла домой нежданно свалившееся сокровище, о котором не смела мечтать; шла, не чуя ног, в предвкушении блаженства и счастья многих-многих вечеров.

Жизнь озарялась новым светом. Ничего больше Катя пока не желала от жизни.

Часов нет. Катя не знала, сколько было времени, когда ночью дочитала «Пана» Гамсуна. Страшная, чарующая повесть. Странная любовь. Чарующая и жестокая. Зачем они мучают друг друга, Эдварда и лейтенант Глан? Безумно ведут поединок. Вот она кинулась в его объятия и целует, не таясь людей, глаза у нее горят, а у него сердце словно полно темным вином. Он ее любит, каждый кустик вереска любит для нее в летнем лесу, где ночью распускаются крупные белые цветы, потому что ведь на севере Норвегии летом нет ночи.

А потом сумасшедшая гордость овладевает Эдвардой, откуда-то из глубины дико поднимается в ней, и вместо нежных слов она бросает оскорбления в лицо лейтенанту Глану. И они ненавидят друг друга. И любят. И опять ненавидят. Казнятся своей мучительной любовью. Зачем? Катя не знала о такой любви. Исстрадалась над книгой. Прочитала и принялась читать снова с первой страницы. И снова страдала. Еще сильнее, потому что уже любила и жалела этих несчастных людей, которые не умели стать счастливыми.

Полгода в руках ее не было книги. И вдруг такая мука и такое блаженство!

Коптилка чадила, Катя задула коптилку. В окно светилося звездное небо. Семь мерцающих бриллиантов Большой Медведицы слали зеленоватые лучи в Катину прокопченную комнату. Кружилась голова. Катя отворила форточку, вдохнула морозного воздуха. Горестную и страстную жизнь она прожила в эту ночь, дыша гарью коптилки, наслаждаясь и плача.

Назавтра она проспала. Баба-Кока пожалела, не разбудила. Светлое небо, без следа вчерашних курчавых облаков, кипящих разноцветием радуги, говорило, что на дворе позднее утро.

Катя услышала на кухне голоса. Бабы-Коки и чей-то мужской. Должно быть, зашел Петр Игнатьевич. Как неловко! Ребята, наверное, давно дожидаются в классе, а учительница спит себе.

Она оделась, вышла на кухню. И в изумлении остановилась. Незнакомый молодой человек сидел за их обеденным непокрытым столом.

— А вот и учительница, Катерина Платоновна! — оживленно представила баба-Кока. — Зовите попросту Катей. Да, Катя? Вы, правда, постарше. Годика двадцать три? А нам недавно семнадцать. Катя, знакомься, гость из Москвы. Арсений. По батюшке как?

— Не надо по отчеству, я не привык.

Арсений поднялся и, не протягивая руки, наклонил голову. Темная прядь опустилась на лоб у виска. Худое лицо, озаренное лихорадочным блеском глаз, запавших от худобы. Скулы резко



выдавались углами. Он был прям, высок и красив. Сердце громко застучало у Кати, так непонятно и неожиданно появился у них этот красивый молодой человек, возможно, похожий на лейтенанта Глана.

— Катя, до чего же ты прокоптилась,— рассмеялась баба-Кокка.— Читала полночи. Проснись, гляжу: читает. Иди отмывайся скорее, нос-то черный совсем!

Она могла бы не подчеркивать вслух Катин прокопченный нос и не смеяться. Чему она смеется? Но Ксения Васильевна не догадывалась, что рассердила Катю.

— Ученики ждут давно, задай им самостоятельное что-нибудь,— весело сказала она, когда Катя умывалась из рукомойника за перегородкой у печки, докрасна растерев холщовым полотенцем лицо.— Не каждый день у нас гость из Москвы, да и суббота сегодня, не грех разок и повольничать,— такой легкомысленный совет дала Кате Ксения Васильевна.

Катя отнесла в класс добытую вчера у Нины Ивановны книжечку «Дети подземелья». Хотелось самой прочесть ее детям, но надо чем-то занять их сейчас, раз уж так получилось.

— Федя Мамаев, ты будешь читать вслух, а вы все внимательно слушайте и запоминайте,— велела она младшим, средним и старшим.

И оставила своих образцово-послушных учеников под надзор Феди Мамаева и, когда вернулась к московскому гостю, услышала прерывистый и частый стук сердца, оно встревоженно колотилось в груди и ухало вниз. Давно, в Заборье, так замирало и падало сердце, когда на качелях взлетишь высоко, ветер свистит в ушах и земля то уходит из-под ног, то мчится навстречу.

— Послушай, как он у нас появился,— оживленно говорила Ксения Васильевна.— Расскажите, Арсений, сначала поешьте, а потом расскажите, ну прямо сказочный сюжет из Царя Берендея.

На шестке, между двумя кирпичами, как обычно утром, разведен был костерик из березовых чурок, и Ксения Васильевна уже вскипятила чугунок кипятку, заварила морковного чаю, поджарила на сковородке свиных шкварок.

— Ешьте, не стесняйтесь, Арсений! — с веселым радушием угощала Ксения Васильевна.

Видно, он изголодался до крайности и, как ни краснел от смущения, с жадностью ел душистые, фыркающие горячими брызгами шкварки, не промолвив слова, пока не подобрал дочиста растопленное сало со сковороды хлебной коркой. И тогда, сытый, согретый, заговорил, блестя глазами:

— Вы, конечно, догадываетесь, зачем я здесь очутился? Приехал менять. Дома мама, сестренка, глядеть на них — жалость, ну и поехал. Сошел на случайном разъезде. Поезд остановился,

я и сошел. Надо где-нибудь. До рассвета далеко. Почти ночь. Серенько, сумрачно. Рассвета дожидаться не стал, иду, не зная куда. Засветлело, выкатился огромный рубиновый круг. Солнце. Падай на колени, так царственно! А какая у вас в селе просторная улица, как широко! Над избами из труб дымки. И женщины с коромыслами идут к колодцам. А снег сначала подсиненный, а потом солнце рассыпало искры, и снег весь засверкал. Желтые полушубки на женщинах, у некоторых цветные платки. Кустодиев! Живой Кустодиев! И вдруг... посреди села школа. И вдруг вижу, арка у крыльца. Березка в инее, изогнулась белой дугой. Никакая фантазия не сочинит. Только природа способна сотворить такое чудо! Я понял: сюда, под эту арку, мне и надо войти, и здесь я встречу... И встретил вас. Катю и вас.

Он умолк и с улыбкой глядел на Ксению Васильевну. У него добрая улыбка. Представьте, что-то ребяческое открылось в лице, что-то милое, доброе.

— Ксения Васильевна,— продолжал он приподнято,— если бы надо угадать, кем вы были, пока судьба не забросила в этот далекий угол, я, не колеблясь, ответил бы — актрисой. И вот оставили сцену и славу и живете здесь, полная достоинства и воспоминаний.

— Каково?! — краснея от удовольствия, сказала Ксения Васильевна.— Значит, что-то еще сохранилось в старухе. Но никакой во мне нет актрисы. Мечтала, да не сбылось. Дара божьего не отпущено. А вы фантазер.

Арсений перевел взгляд на Катю с той же улыбкой и какой-то сквозь улыбку серьезной пытливостью.

— Что обо мне нафантазируете? — спросила Катя.

— Вы нестеровская девушка. Тихий свет в лице, кроткий, неземной, задумчивый взгляд. Будто обрекла себя на скит.

— Нет, уж от скитов увольте! — возразила Ксения Васильевна.— Это уж несурразности вы понесли, нам не скиты, а жизнь подавай. Кстати, Арсений, а вы кто такой?

Он смутился, неуверенно ответил:

— Художник...— И поправился: — В будущем. Сейчас студент ВХУТЕМАСа.

— Мудрёно,— покачала головой Ксения Васильевна.— Переведите на русский.

— Полностью: Высшие художественно-технические мастерские, в Москве, на Мясницкой. У нас во ВХУТЕМАСе несколько факультетов. Я на живописном. Самые разные направления, непрерывные споры, борьба. Импрессионисты, кубисты... Но, я признаюсь, меня тянет к реалистической школе, хотя это и не очень модно сейчас.

— Что не гонитесь за модой, хвалю,— милостиво одобрила Ксения Васильевна.

Кате тоже понравилось, что он не очень уверенно говорит о себе. Ведь мог бы хвалиться вовсю. Ведь они здесь, в Иванькове, понятия не имеют о кубистах, импрессионистах и вхутемасовских спорах.

— А вот и Авдотьюшка наша! — объявила Ксения Васильевна.

Авдотья вошла, замычала что-то, понятное только Ксении Васильевне. Они свободно между собою изъяснялись. Авдотья постоянно старалась услужить Ксении Васильевне: натаскает дров, наколет лучины, а баба-Кока разрешала школьной сторожке пошить на своей швейной машине.

— Московский художник к нам приехал, — сказала Ксения Васильевна. — Дома голодные сестренка и мать. Собрали разную одежду, немного новой материи, им в Москве материю по талонам дают, в обрез, а кой-что достается все же. Авдотьюшка, поводи его по дворам, муки наменять. Если маслом или салом кто расщедрится, тоже нелишне.

Арсений вскочил, просительно приложив руки к груди.

— Пожалуйста! У меня еще соли пять фунтов.

— Мы-ы, гум-гым, — с охотой согласилась Авдотья.

Они взяли привезенные Арсением узлы.

— Ни пуха ни пера! — пожелала Ксения Васильевна, а Катя молча ушла в класс.

«Нестеровская девушка. Тихий свет, тихий взор. Не знаю, кто Нестеров. Как я невежественна! Ничего не знаю. И кустодиевских картин не видала. Вдруг он догадается, как я невежественна?» — думала Катя, прохаживаясь по классу и слушая и не слыша громкое чтение Феди Мамаева.

Вчера, позабыв обо всем над романом Эдварды и Глана, она не подготовилась к урокам и не знала, чем, кроме Короленко, занять учеников.

Время бесконечно тянулось. Долго, скучно. Если бы всегда она чувствовала себя так на уроках, ожидая скорее конца, какой пыткой была бы ее работа в школе!

Но сердце у нее металось и билось, и кровь то прихлынет к щекам, то упадет. Ученики с удивлением наблюдали за ней. Учительница сегодня была на себя не похожа, временами совсем забывала о них, и тогда они начинали «жать масло» и даже свалили с парты на пол Алеху Смородина. Но и это она не заметила. Или не обратила внимания.

Арсений с Авдотьей вернулись в сумерки.

— Полная удача! — ликовал Арсений. — Поздравляйте, выменял все до нитки с помощью тети Авдотьюшки. Спасибо, Авдотьюшка! Мамочка и не мечтает, сколько я всего раздобыл! — радовался он, сваливая с плеч на скамью мешок пуда на два муки, котомку с крупой и что-то еще, что Ксения Васильевна при-

нялась с любопытством разглядывать, оценивать, взвешивать на руке под одобрительное мычание Авдотьи.

Все было празднично сегодня. Баба-Кока закатила на обед похлебку из баранины и оладьи с подсолнечным маслом. Возбужденный морозом, удачной меной, гостеприимством Ксении Васильевны и немым интересом и удивлением Кати, Арсений разговорился. Он уже не стеснялся и свободно чувствовал себя в Ивановской школе, вернее, в школьной кухне, за чисто отскобленным, непокрытым столом, где они после обеда пили морковный чай при свете лучины, что тоже забавляло Арсения. А главное, они так благодарно слушали его рассказы, Ксения Васильевна и Катя, особенно Катя, с ее тихим, все разгоравшимся светом в глазах. Он читал стихи:

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер,
На ногах не стоит человек...

Катя слушала с тревогой и затаенным дыханием.

Катя не знала, что в Москве есть театр Мейерхольда. Что за театр? Политический, буффонадный, последнее слово революционного искусства! И Арсению, представьте, иногда удается бесплатно доставать контрамарки. Подрисует что-нибудь для театра. Хотя Мейерхольд отвергает декорации, вместо декораций простейшие геометрические фигуры, эффект поразительный! Но иногда и для Мейерхольда понадобится нарисовать кое-что.

А дальше Катя и Ксения Васильевна узнали, что в Москве есть еще театр импровизаций. А это что? Это вообще уже небывалое. Представьте, выходит на сцену актер и... фантазирует роль. Вам нужно сыграть страсть! Захватить зрителей, потрясти! Как бы вы сыграли любовь? Не подсказанную — свою, ту, что чувствуете?

Катя, пораженная свалившимися на нее новостями, не отрывала глаз от Арсения, удивлялась, восхищалась и... трудно пересказать, что она чувствовала. Он пришел из другого мира. Поэтому она ощущала себя сейчас маленькой, жалкой. Нет, она не хочет быть жалкой! Его появление всю ее перевернуло. Она не знает, что с ней.

Отгоревший конец лучины отвалился в лоханку с водой и, шипя, погас. Ксения Васильевна зажгла от догорающей лучины новую, сменила в светце. Огонек то вскидывался, то упдал, так бывало всегда, но сегодня игра огня и теней казалась Кате таинственной, фантастичной.

Ксения Васильевна выслушала рассказ Арсения, недоверчиво покачала головой.

— Чудите вы с театром, голубчик. В прежние времена актер назубок выучит роль, а без суфлерской будки сама великая Ермолова на сцену не выйдет. Как это? Изображай, что бог на душу положит. А если ничего не положит?

— Или еще, — улыбнувшись ее замечаниям и пропустив мимо ушей, продолжал Арсений, все больше воодушевляясь, — иной раз наша братия, вхутемасовцы, нагрянем к поэтам, в их клуб на Тверской «Стойло Пегаса». А там что! Имажинисты, кубисты, футуристы, ничевоки... Ксения Васильевна! Я потому рассказываю, что, вижу, вам и Кате любопытно, мне потому и делиться хочется... Конечно, бегло рассказываю, поверхностно. А вот слушайте, один поэт: «Иду. В траве звенит мой посох. В лицо махнет шаль зари». Я за одну эту фразу памятник поэту поставил бы!

Давно был поздний вечер. От лучины в кухне стало жарко и дымно, щипало глаза. Ксения Васильевна устала. Поднялась, опустив плечи, непривычно ссутулившись.

— Устала. Художник меня нынче до света поднял. Слышу, кто-то топчется в кухне. Авдотья впустила. Пришла в класс печку топить, а он в дверь — заиндевелый, промерзший. Из Москвы... Ах, Москва! Соскучилась я по тебе, разбередил душу художник... Вот и чеховские мотивы явились, а они нам ни к чему. Не уйдет от нас Москва, Катерина. И в «Стойле Пегаса» побываем, если продержится. Новости ведь не всегда долговечны. Мудрено что-то: «...в лицо махнет шаль зари». Ну, ладно. Да, Катюша, покажись-ка, верно ли нестеровская девушка? — Она ласково запустила руку в Катину волнистую гриву, чуть запрокинула голову, поглядела в глаза. — Нет, художник, она сама по себе. В ней и тишина есть, и буря. И ничуть ты у меня, Катя, не робкая. И в обители скрываться от мира больше мы с тобой не хотим. Ну, пойдем, что ли, Катя? Спать пора, ночь.

— Ксения Васильевна, мы еще поговорим, разрешите! Катя, я еще хотел вам рассказать... Разрешите, Ксения Васильевна! — взмолился Арсений.

— Коли так, разговаривайте. Не часто к нам из Москвы гость. Впервые.

— Прелесть твоя бабушка! — с чувством сказал Арсений, когда Ксения Васильевна ушла. — А ты, Катя... — Он перешел с ней на «ты» и взял ее руку. — Кажется, я давно знал, что встречу тебя. Кажется, даже эту белую арку перед крыльцом видел во сне. Катя, почему ты молчишь? Расскажи о себе.

— У меня обыкновенная жизнь, такая обыкновенная, что и сказать нечего, — ответила Катя. — А у вас...

Он произнес твердо:

— У меня одна цель. Одна, навсегда. Искусство. Никто не уведет меня от искусства.

— Кому уводить? Зачем?

— Ах, все полно противоречий, конфликтов! Миллионы голодных, люди полсуток стоят в очередях, добыл две воблы — и весь твой недельный паек, а на Петровке пооткрывались частные магазины, лавчонки, нэпманские жирные дамы в драгоценностях — откуда взялось? Хочешь, нанимайся писать с них портреты.

— Не хотите?

— Разве только сатиру.

Лучина догорела и свалилась в лохань.

— Не будем зажигать, посидим в темноте,— сказал Арсений.

Но в кухне было светло от луны. Яркая, медно-желтая, она таинственно висела в высоком небе, окруженная морозным сиянием.

Арсений за руку подвел Катю к окну. В лунном свете лицо ее было бледно. Затененные ресницами большие глаза не мигали. Страх и робкая нежность глядели из Катиных глаз.

— Я тебя нарисовал бы такую. Всю осиянную...

29

Луна поднялась высоко. Обогнула полнеба. Лучи ее лились теперь не в кухонное, а в три маленьких оконца Катиной комнаты. Светлые пятна четко рисовались на стене. Сползали ниже. Легли на пол. Угасли.

Туча накрыла луну и звезды.

Закричали петухи. Школа стояла посреди широкой улицы, вдали от изб, но петухи так громко голосили и перекликались во дворах, что долетало до Кати.

Она лежала с открытыми глазами. Скоро утро.

Странное творилось с ней. Вчерашний день звенел и сверкал. Какой-то ликующий вихрь налетел, и Катя видела тоненькие деревца с тревожными, несущимися по ветру ветвями.

Нет, это ей представляется увиденная когда-то картина. Она ясно видит те узкие, тонкие деревца с летящими макушками, слышит шум листьев.

Она не запомнила, кто нарисовал ту картину. Теперь будет запоминать художников. А! Не в том дело. Катя помнила вчерашний поцелуй у кухонного окна под лунным лучом, будто сейчас на губах. Томящее, влекущее, страшное... Зачем она вырвалась и убежала? Ведь она хотела, чтобы он ее целовал. Она радовалась и любила его. Она любила его с первого взгляда.

Какой он? Странно, образ его словно задернут дымкой, но

она знала: ничто теперь ей не важно, ничто не нужно, ничего нет. Только он! Только он!

Вот что с ней! Вот что такое любовь!

Любовь — это печальная радость. Разве бывает печальная радость? «Я счастлива. Но почему же я счастлива, восторг на душе, а грудь давит тяжесть? Нет, я ничего не боюсь. Я люблю его».

В нескольких шагах у противоположной стены заскрипела кровать бабы-Коки. Проржавевшая кровать скрипит при каждом движении, будто постанывает. Катя услышала: баба-Кока протяжно вздохнула.

— Спишь? — услышала Катя.

Затаилась. Не хотелось отзываться. Отчего-то встреча с Арсением немного отдалила от нее бабу-Коку. Что-то между ними легло. Поцелуй у окна? Память о той острой, несмелой, радостной нежности?

— Спишь, Катя? — снова услышала она. — Ну, спи. — Баба-Кока повернулась к стене, проржавевшая кровать стонала и скрипела, пока она укладывалась удобнее на сеннике. — Ну, спи.

Катя глядела в темноту широко открытыми глазами. Он живет другой жизнью. Катя не знала, что жизнь может быть такой яркой и пестрой. Катя — Золушка возле его талантливой жизни. Она Золушка, но к Золушке приходит счастье. К ней пришло счастье.

За окном начиналось серое, затянутое плотными тучами утро. В кухне что-то стукнуло, будто упало. Арсений спал на деревянной лежанке у печки, должно быть, это он неловко спрыгнул. Слышно: шагает. Зачем он так рано поднялся?

В потемках чуть занимавшегося утра Катя нашла платье, чулки, тихо оделась, чтобы не разбудить бабу-Коку. На цыпочках скользнула в кухню, чувствуя сама свою легкость, словно в ней совсем не было весу. Чувствуя вчерашнее сладкое и пугающее замирание сердца.

Арсений стоял, наклонившись над лавкой, спиной к ней. Возился со своими пожитками. Мешок с мукой он перевязал бечевкой. Вчера Авдотья дала Арсению эту бечевку, прочно свитую из пеньки, как вьют у них в Иванькове пастуший кнут. Когда мешок перевяжешь посредине бечевкой, легче нести. Котомка с крупой и другими продуктами была тоже увязана. Его куртка из рыжего жеребьячьего меха брошена возле котомки, она так идет ему, эта куртка!

Катя прислонилась к двери. Ужасная слабость подкосила ее.

Он быстро обернулся, словно почувствовал на себе Катин взгляд. Кате показался испуг в его лице. На мгновение. Такое короткое, что, может быть, и не было никакого испуга.

Он шагнул к ней, взял ее руки и, крепко сжимая, говорил мягко и ласково, как говорят маленькой девочке, когда хотят в чем-то утешить:

— Славная, славная Катя...

— Вам надо поехать перед дорогой, — помертвевшими губами вымолвила Катя. «Неужели он мог уйти, не простившись?» — эта мысль ударила ее. — Вам надо перед дорогой...

— Спасибо, разве только что-нибудь скоренько, боюсь опоздать, поезда ходят неточно, и с билетами не знаю как.

Она поставила на стол кринку молока, нарезала хлеба. Он ел торопливо и, кивая на дверь в комнату, остерегал шепотом:

— Не разбудить бы Ксению Васильевну. Передай, что я глубоко кланяюсь ей.

Катя надела пальто из мягкого плюша — остаток роскоши, бывший сак бабы-Коки, — влезла в валенки. Арсений, в куртке из жеребьячьего меха и шапке-ушанке, вскинул мешок на плечо, взял котомку. В этой куртке он похож на Амундсена. Да, наверное, Амундсен был таким, высоким, мужественным... Или лейтенант Глан. Может быть, лейтенант Глан. Но она не Эдварда. Она не сказала ему ни одного жестокого слова.

— Прощай, милый дом, — с чувством говорил Арсений, — никогда не забуду тебя, твою Катю и бабушку, твою белую арку у входа.

Арка посерела, как все в это серое утро. Ветер стряхнул иней и трепал голые ветви.

Острый ветер кидал в лицо скользкую снежную пыль.

Косыми длинными струями неслась поперек дороги поземка.

— Будто и не было вчерашнего дня, рубинового солнца и снежных искр, — сказал Арсений, опуская уши шапки. — Нет, был, был! — воскликнул он, взглянув на Катю.

Наверное, она была сейчас дурна. Унылость портила ее и дурнила. Она не умела казаться веселой, когда ей плохо. Другие умеют, а она нет. На лице у нее так прямо и написано: «Мне плохо, безнадежно, все погасло».

— Никогда не забудется этот день! — благодарно сказал Арсений. — А теперь простимся, Катя. Я быстро пойду.

— Я тоже пойду быстро.

Встречный мужик — Катя не знала его, возможно, отец кого-нибудь из учеников, — снял шапку, здороваясь.

— Тебя уважают, — заметил Арсений. — Ты чудесная, вся — долг, вся — для людей, тебя уважают!

Он говорил ей «ты». Она набиралась сил, чтобы сказать: «Я тебя люблю. Я все готова для тебя».

Но слова застревали в горле. Горло сжималось так больно, словно на шее у нее затянули петлю. Она молчала.

Они миновали сельцо, миновали крайнюю, с затейливыми наличниками избу Силы Мартыныча.

В открытом поле ветер накинудся злее и круче. Теперь уже все поле дымилось поземкой, рябило в глазах от бегущих поперек и вкось дороги снежных юрких, извилистых змеек.

— Надо же, чтобы именно сегодня эта вьюга! — с досадой сказал Арсений. — А, ничего, — ободрил он себя. — До разъезда верст десять — двенадцать, не знаешь?

— Кажется, десять.

— Зачем ты идешь, устанешь, — проговорил он. И, снова взглянув ей в лицо, с поспешной лаской: — Спасибо тебе. Был сказочный вечер. Приеду домой, расскажу сестренке и маме и тут же тебе напишу.

— Да? — неожиданно всхлипнула Катя.

Она тронула рукав его жеребьячьей куртки. Она хотела сама поцеловать его, сама, здесь, среди вьюжного поля, когда губы с трудом шевелились от мороза и ветра, а на бровях выросли белые полосы снега.

«Я тебя люблю».

Но позади, почти за спиной, раздался тот особенный звук, знакомый только деревне, хрупанье селезенки, когда лошадь трусит. И скрип саней. И бодрый голос с хрипотцой:

— Катерина Платоновна-а!

Сила Мартыныч догонял их в розвальнях, запряженных гнедой кобылой с заиндевелой мордой и плешинами снега на толстых боках.

— Катерина Платоновна, куда в непогоду?

Сила Мартыныч, поравнявшись с ними, остановил гнедую.

Им пришлось потесниться от саней, почти по колено в снег.

— Гостя, видать, провожаете? — усмехнулся он, пристально и непонятно как-то вглядываясь в Арсения. — Знакомы. Вчёрась баба моя наменяла ситцу у вашего гостя. До разъезда шагаете? Далеконько по вьюге. Чужого не взял бы, а Катерины Платоновны гостя как не уважить? Садитесь. Мне на разъезд. Подвезу.

— Неужели? — заорал Арсений. — Вот так удача! Неслышанно!

Бросил в розвальни мешок и котомку и сам бросился с размаху, плашмя, в сено, ловко перекинув ноги через грядку саней.

— Что же вы? Не простимшись? — удивленно, с укором сказал Сила Мартыныч.

— Всю дорогу прощались. Прощай, Катя! Ксении Васильевне привет! — радостно закричал Арсений, не опомнясь от такой уж совершенно неожиданной удачи.

Он хотел вскарабкаться повыше на сено, прикрывавшее какой-то груз, но Сила Мартыныч остановил его:

— Сбочку прикорните, меньше продует.

Щелкнул вожжами, гнедая рывком дернула розвальни и резво побежала, хрупая селезенкой и откидывая из-под копыт снежные комья.

Катя стояла без слез, без мыслей, не понимая. Все произошло слишком быстро. Вынырнула из вьюги лошадиная морда и исчезла.

Сани удалялись. Дальше, дальше. Вот уже смутно видно сквозь пургу темное пятно.

А вот и не видно.

Катя заоченела. Назад идти тяжелее, ветер в лицо.

Небо, поле, снежная мгла — все смешалось, клубилось, слепило...

...Он кинулся в сани, счастливый, что повезло. Ему повезло...

Он даже скрывать не хотел своей радости. Что скрывать? Разве он ее обманул? Разве он что-нибудь обещал? Разве он ей сказал: люблю?

На улице Катя не встретила никого. Слава богу, из-за вьюги все сидят по домам. К тому же сегодня воскресенье.

Она еле тащила ноги. Еле тащила, каждая по пуду. Не обморозить бы нос. Ресницы потяжелели и слипались от снега.

На крыльце намело сугроб. Она с трудом отворила входную дверь и из сеней пошла не направо, в кухню и комнату, а налево, в класс. Надо немного побыть одной. «Никого не хочу видеть. Ни с кем не хочу говорить».

Холодно в классе. По воскресеньям Авдотья не топит; холодно, мрачно, но Кате надо побыть немного одной.

Она села за свой учительский столик, положила локти на стол, голова бессильно упала на локти. Всю эту ночь она не спала ни минуты. А прошлую ночь читала «Пана». Мучительная, чарующая повесть.

Глаза закрылись. Она уснула внезапно, как провалилась в яму. Проснулась Катя через несколько часов в страшной тоске. Класс выстыл, дыхание слетало изо рта белым паром. Катю трясло от холода. За окнами, в мутной мгле, несло все вкось и вкось мелким колючим снегом.

Вдруг ужас пронзил Катю. Что-то зловещее, черное непоправимо обрушилось на нее.

Медленно, очень медленно, боясь идти, она пошла в кухню. В кухне, всегда теплой и уютной, сегодня нетоплено. Кринка из-под молока неубранная стоит на столе.

Катя постояла у двери в комнату. Отворила. Да, случилось то, что она уже знала и чувствовала, когда проснулась в невыносимой тоске.

Баба-Кока лежала на кровати, лицом к стене, накрытая с головой одеялом, в той позе, как утром ее оставила Катя, выйдя на цыпочках, чтобы не разбудить.

30

Бесшумно синели сумерки на дворе. Уроки на сегодняшний день кончены. Ученики разошлись по домам. В комнате топилась голландская печь. Жарко потрескивали березовые поленья, стреляли угольками. Катя сидела у печки одна. На полу, обхватив колени, как раньше часто сидела в прошлые сумерки. Только теперь одна...

Правда, ее мало оставляли в одиночестве. В первый же вечер после похорон притопал Федя Мамаев с товарищем.

— Председатель прислал домовничать. Да мы и сами.

— Бон-жур, ка-ма-рад! — старательно, по слогам выговорил Федин товарищ и захлопал ресницами, не зная, в точку ли попал с камарадом.

— Тетенька Авдотья просилась, а председатель нам велел. Она понять-то поймет, да не ответит. А с нами поразговаривать можно.

Они изо всех сил старались отвлекать от горя свою учительницу Катерину Платоновну. Как бы она была без них? Пропала бы Катя без них.

Ученики по очереди приходили к ней вдвоем ночевать и укладывались валетом на скрипучей кровати Ксении Васильевны.

А топила голландскую печку Катя одна. Сидела у печки, ворошила угли кочережкой и думала.

Все знали, учительница шибко горюет о бабушке. А другое? Никто не знал о другом. Если бы одно это горе! Если бы одно это горе, внезапное, такое отчаянное, что хочется головой биться о стену!

Раскаяние, стыд рвали на части Катино сердце. Никто не знал, что в ту ночь, когда ее красивая бабушка, с прической венцом и горделивой осанкой, когда баба-Кока окликнула ее перед смертью, Катя не отозвалась. Притворилась, что спит. И если бы Арсений в то вьюжное утро, когда она его провожала, позвал... Стыд. Горе и стыд.

Нет! Этого не было. Не могло быть. Пусть бы он упал перед ней, прямо в снег, и обнимал ее ноги в валенках, молил, клялся в любви и говорил необыкновенные слова, какие говорят только в книгах, разве могла она забыть бабушку? Кинуть? Люди, я гляжу вам в глаза, гляжу вам прямо в глаза, не стыжусь, не было этого...

Катя сидела у печки, обхватив колени, тихо покачиваясь из стороны в сторону, мыча, как Авдотья, сквозь зубы.

Огонь плясал и ярился, сухие поленья дружно сгорали, скоро груды раскаленных углей плавилась, как металл, дыша в лицо жгучим жаром.

В дверь постучали. Она не ответила. Петр Игнатьевич вошел, не дождавшись ответа. Скинул полушубок, бросил у двери. Пахло овчиной, махоркой и морозной свежестью улицы. Петр Игнатьевич переставил от стола к печке стул, сел. Помолчал.

— Плачь не плачь, а жить надо, Катерина Платоновна.

— Живу. А зачем?

— Не дури, Катерина Платоновна.

Она подняла на него тусклый взгляд.

— Петр Игнатьевич, один раз я проснулась, а баба-Кока... Ксения Васильевна печку топит. Утром. Мы утром в комнате никогда не топили. Нет, она что-то сжигает, а я не остановилась, не обратила внимания... Не спросила, а она... — Катя всхлипнула, проглотила плач, — она письма сжигала и шкатулку. У нее шкатулка была с тройкой коней, она в ней письма хранила. И сожгла. А потом говорит: «Наверное, скоро умру». И меня утешает: «Нет-нет, не скоро...» А я не догадалась ни о чем...

Петр Игнатьевич опустил руку Кате на плечо. Худое, тонкое плечо утонуло в его жесткой ладони.

— Твоя бабушка с ясной душой век прожила. Ты при ней была все равно что у Христа за пазухой. Тьфу, понятие старорежимное, не выкинешь никак из башки! Иначе скажем. От Ксении Васильевны всяк ума нахватается. Бывало, придешь... А, да что вспоминать! Большая беда, Катерина Платоновна, на тебя навалилась. А ты одолей, не то она тебя одолеет. А тебе жить надо.

— Как я перед ней виновата! — отчаянным шепотом выговорила Катя.

— Живой перед мертвым завсегда виноват. Что сделал не так, поглядел не так, после-то во сто раз виноватит.

— Я не могу вам рассказать, Петр Игнатьевич...

— И не надо. Я не поп, передо мной исповедоваться. А ты себя не грызи, помучилась и утихни. Ты то пойми, что народу нужна. Школе без тебя нельзя, тем и держись. Детишки малые сердцем к тебе прилепились. Мой Алеха намеднись простыл, кашель привязался, так мать насилиу удержала на печке. Пойду да пойду в школу, стих станем заучивать. Вон какую ты им открываешь культуру! Ты у нас на селе первая культурная сила. Были две, осталась одна. На тебя вся надежда. А ты нашего иваньковского общества надежду не на все сто оправдываешь. Долг за тобой. Вправе требовать. Что брови вскинула? Обижа-

ешься? Обижайся, а слушай. Совесть у тебя, Катерина Платоновна, есть, а боевитости мало. Мало, говорю, боевитости, революционного духа, что на геройство толкает. Девушки в твоих годах, случилось, против беляков воевали. Сам видал. Из винтовки бабахнет, а ее стволом в плечо толк, назад инда качнет, а она опять же стреляет. Где твой героизм, Катерина Платоновна?

— Чего вы хотите от меня? — удивленно, даже гневно спросила Катя.

— Барышня, — насмешливо сощурился он, — чуть тронь, и губки надула. Чего хочу? Хочу, чтобы выше мечтала, чтобы в нашем селъце Иванькове темноту одолеть и новую жизнь наладить. Мне в укоме прохода не дают: где ваш ликбез? Лениным со всей строгостью декрет о ликбезе подписан, а вы спите в Иванькове. Спим, отвечаю, до времени спим, учительница наша молода, приобькнет, объясняю я, новую предъявим обязанность. Так вот, Катерина Платоновна, приказ о ликбезе тут у меня. — Он похлопал по карману гимнастерки. — Прописано в нем, чтоб немедля всех неграмотных грамоте обучать, в самом срочном порядке. У нас в Иванькове бабы все до единой неграмотные. Мужики еще кой-как кумекают азбуку, а бабы ни в зуб... От чугулки в десяти верстах, а будто на краю света живем, темнотища. Чей стыд? Недоработка чья? Ну-ка подымайся, учительница!

Он протянул ей руку и легко, как пушинку, поднял с пола. Исхудавшая и бледная, она, поникнув, стояла перед ним, и такое глубокое горе, такую прибитость увидел он в ее лице, что от жалости крикнул. И погладил ее темноволосую бедную голову. Плечи у Кати затряслись. Он ласково гладил ее волнистые спутанные волосы.

— Выплачешься — полегчает.

Потом осторожно отстранился. Войдет ненароком кто, ославят девчонку. У нас языки чесать любят, особенно бабы.

— Буду вести ликбез, — сквозь слезы сказала Катя.

— А еще подскажу я тебе, Катерина Платоновна, по уезду слышно, в иных школах для культурного развития сельской молодежи драмкружки завели.

— Заведу драмкружок.

— А еще, Катерина Платоновна, комсомольскую ячейку надо нам обдумать. То дело сурьезное. О том особый пойдет разговор.

Вечером Авдотья заправила лампу керосином, зажгла в классе над учительским столиком.

Катя дожидалась за столиком, перелистывая новенькие, присланные с Авдотьей председателем сельсовета буквари для

ликбеза. Выдали в городе. Тонкие, тетрадного формата, на газетной бумаге. «Мы не рабы».

Женщины входили одна за другой. Мужчины не шли. Немного их в сельце, а кто есть, хоть по слогам газету осилит.

Женщины входили, неловко рассаживались, с трудом втискиваясь за парты. Прикрывали концами полушалка рты, пряча стыдливый смешок.

— Имя? Фамилия? Возраст? — спрашивала каждую Катя строго, стараясь таким образом замаскировать стеснительность, отчего даже пот выступил на лбу.

— Имя? Фамилия? — записывала Катя в тетрадь.

Запись эта еще более смущала и пугала иваньковских женщин.

— На кой нам грамота? Корову подоим и без грамоты, была бы корова, — сердито проговорила одна.

— Елизавета Мамаева, — записала ее Катя в тетрадку.

Феди Мамаева мать. Он-то способный. У него быстрый ум. Как он однажды посадил Катю в лужу, ай-ай!

— Нипочем не пошли бы, силком согнал председатель, — подхватила другая.

А третья дерзко, озорно:

— Бабоньки, на кой нам ему подчиняться? Чай, не старое время. Не захочем — и баста.

Третью Катя помнит, помнит отлично!

Случилось это в первый месяц их приезда в Иваньково. Тогда Петр Игнатьевич частенько забегал в школу, посоветовать что-то, поспрашивать, в чем нужда, но больше порассуждать с Ксенией Васильевной.

Присядет на корточки перед печкой, курит махорку, пуская дым в горящую печь, и разговаривает с бабой-Кокой. Они любили обсуждать вопросы политики. Петр Игнатьевич толковал декреты за подписью Ленина, новые советские законы и суровую жизнь страны, рисовавшуюся в газете «Беднота» открыто и страстно. Ксении Васильевне нравилось, что открыто и страстно. Не таила «Беднота», что миллионами мрут в Поволжье от голода, что в иных губерниях бандиты грабят и убивают мирных людей. И контрреволюционные мятежи еще не всюду прикончены. А большевистская партия рушит зло, бандитизм, контрреволюцию, и будет рушить, и добьется полной победы. И народ ведет за собой.

Когда Петр Игнатьевич, вытащив из кармана газету, рассказывал или читал о бурных событиях жизни, глаза у него сверкали и грудь высоко поднималась — таким азартным и революционным человеком был иваньковский председатель.

И вот один раз настезь распахнулась дверь, и дородная, складная женщина, с черными угольными бровями и румянцем,

будто покрашенным свеклой, вихрем ворвалась в комнату.

— Вон ты где, соколик мой! Сказался, в сельсовет, а сам в школу. Незадаром уши мне прожужжали: последи за своим, к учительке шастает. А ты... я те дам чужих мужиков завлекать!

Она подперла кулаками бока и в упор, разъяренно уставилась на Катю.

Катя чувствовала, что краснеет ужасно, постыдно, губы вздрагивают, а слов нет.

Но почему-то председателява жена опустила кулаки. Перевела взгляд на Ксению Васильевну, снова уставилась на Катю, по-иному, недоуменно.

Петр Игнатьевич швырнул в печь цигарку. Встал с белым, как бумага, лицом.

— Бешеная! Спроси сына Алеху, каковы они люди.

— Петруха, сама вижу,— растерянно пробормотала она,— зря натрепали. Та стара, а эта... по лицу вижу...

И умчалась вихрем, как ворвалась.

— Извиняйте,— хмуро буркнул председатель.

— Э, Петр Игнатьевич, чего не бывает! Только святых не бывает,— спокойно ответила Ксения Васильевна.

Некоторое время он не ходил в школу. Потом позабылось.

Вот она, та самая, «бешеная», Варвара Смородина, с угольными бровями и свекольным румянцем, призывает бунтовать против ликбеза.

— Не захочем — и баста. Кто нам прикажет? Чай, не царский режим.

— Ежели сама председателява хозяйка против высказывает, нам и бог велел. Айда по домам! — позвал чей-то решительный голос.

— И вправду. Председателю перед начальством ответ держать, а нам что?

— Гляди, Варвара, будет тебе от мужа, что наперекор власти мутишь,— остерег кто-то.

— Мой ответ, а вы как знаете, слушайтесь.

Но настроение было сломлено, женщины не желали слушаться.

Некоторые уже собрались уходить.

Положение создавалось критическое. Если сейчас разойдутся, после трижды, четырежды, в десять раз труднее будет собрать! И потом, самое главное, что скажут завтра Катины ученики — младшие, средние, старшие? «Не послушались наши мамки учительницу, значит, не больно-то стоит».

Когда что-то по-настоящему опасное угрожает тебе, стеснительность как ветром сметет. Капельки пота мгновенно просох-

ли у Кати на лбу. Она не стеснялась, не робела. Знала одно: надо спасти положение.

— Товарищи женщины, поднимите руки, у кого дети учатся в школе,— сказала она строгим учительским голосом.

Новое требование озадачило женщин. Могли бы привыкнуть: на сельских сходках то и дело приходится голосовать «за» или «против».

Тем не менее озадачило.

Варвара Смородина первой вытянула руку.

— Мой Алеха в младшие ходит.

— А мой в третьих,— сказала Елизавета Мамаева.

Еще поднялось несколько рук.

— Что же вы делаете, товарищи матери? — укоризненно проговорила учительница.— Авторитет мой хотите сорвать? Разве ваши дети меня слушаться будут, если вы не послушались?

Это было так неожиданно. И убедительно.

— Катерина Платоновна, пристыдила,— ахнула и созналась Варвара Смородина.— Молода, а с головой. Согласны, учи.

— Бабы, и вправду нам не худо желают. Жизнь-то новая, привыкать надо.

И начался мирный, довольно будничный урок. Другая на Катином месте, вероятно, прочитала бы зажигающую агитационную лекцию, но Катя истратила на выяснение отношений весь душевный заряд и потому без лишних слов приступила прямо к делу. Малышам Катя называла по одной новой букве в урок, а здесь назвала сразу несколько. Можно сказать, обрушила на бабы, не привыкшие к отвлеченным понятиям головы кучу премудростей. Алфавит, гласные и согласные, звуки и буквы, и слоги, и даже знаки препинания. Все было выложено залпом, подряд. Ошеломленные слушательницы только вздыхали.

Но первое, сообщая прочитанное, как и Катиными младшими, слово было: « м а м а ».

— Вы прочитайте. Вы прочитайте,— заставила она.

Они читали. Лица светлели.

Не знала Катя методик. Никто не учил ее, как надо учить. А вот жила в ней догадка. Сердце, что ли, подсказывало? И бабы глядели на нее жалостливо, а значит, полюбили ее.

Была она тоненькой, слабенькой, длинноногой, усердной, так, видно, ей хотелось научить их грамоте, что иваньковские женщины, и раньше учительницу не ругавшие, теперь вовсе растрогались. Недавно бабушку проводила на кладбище. Срок пришел бабке, никого не минует, а девушку жаль. Сирота. Говорят, ни отца ни матери, ни кола ни двора.

Разговор после урока возник сам собой. Были среди женщин вдовы. У кого погибли на войне, у кого вернулись калеками.

Редкую избу обошло горе.

И они делились с учительницей пережитым в лихие военные годы. Да и нынче не сладко.

— Ты нам своя стала, иваньковская, к детишкам нашим со всем сердцем и к народу уважительная, да еще могилка на погосте сроднила.

— Бабоньки! — сказала Варвара Смородина, у которой свекольный румянец распылался так горячо, что казалось: тронь — обожжешься. — Бабоньки, споем, что ли? Учительница на посиделки не ходит, скромна ты лишку, Катерина Платоновна. И песен наших не знаешь.

— Для веселья не случай, — возразили ей.

— А мы не веселое, что душа просит.

Все затихли, и голос, глубокий и низкий, печально завел:

Счастье мое, счастье,
Где ты запропало?
Или мое счастье
В воду камнем пало?
В воду камнем пало...

31

Записку принесла Авдотья в класс во время занятий.

«Катерина Платоновна, отпуская учеников. Собираю сход. Вопрос важный. Готовься вести протокол.

Председатель Петр Смородин».

Странно. Почему председатель собирает сход не вечером, как обычно, а сейчас? Почему снова ей, Кате, поручается вести протокол?

Впрочем, второе понятно. Втягивает в общественную жизнь, отвлекает от мучительных мыслей. Хороший человек Петр Игнатьевич.

Последнее время Катя редко встречала его. Зато часто стала прибегать Варвара, жена. В дела сельсовета она мало вникала. Говорила о доме, ребятишках, разных сельских новостях. И сокрушалась, что сохнет ее Петруша от дум.

— Жил бы обнаковенным мужиком, как до войны. Бывалоча, бедность та же, а заботы не те, плечи не гнут. Веселая была наша жизнь молодая! Выйдем на полосу. Я в лаптях, он в лаптях, а нам все нипочем, все на радость. Косой махнет, я инда сноп вязать кину, не нагляжусь, ненаглядный ты мой! Он меня бешеной-то за что прозывает? За любовь. Ревнива я от любви, нрав у меня беспокойный.

...Люди собирались на сход. Ученики еще не все разошлись, а класс уже набился битком. Парт не хватало. Принесли лавки из кухни, два стула и табуретку из комнаты учительницы.

На табуретку села секретарствовать Катя, а на стулья перед учительским столиком — Петр Игнатьевич и приезжий человек, не старый, но с длинными, серыми от седины усами, высокий, худой, в красноармейской гимнастерке, с револьверной кобурой на ремне.

— Начальство, — перешептывались в классе.

Петр Игнатьевич представил:

— Член уездного ревтрибунала.

По толпе прошел недоуменный шумок. И утих. Напряженная тишина воцарилась в классе. Понятно, не каждый день увидишь члена ревтрибунала на сельском сходе. В сельце Иванькове такого еще не случалось.

Прямо перед собой, в первом ряду, не на парте, в которую по грузности едва ли мог втиснуться, а на поставленном стойком нерасколотом полене-кругляше увидела Катя Силу Мартыныча. Учительский столик был мал, потому, должно быть, места в президиуме ему не хватило.

«Наверное, обижен, что снова меня назначили секретарем, — мелькнуло у Кати. — Неужели Петр Игнатьевич не понимает, что не надо так, не надо. Не хочу я, чтобы меня так вовлекали в общественную жизнь!»

Член ревтрибунала заговорил глухим, простуженным голосом, не грозным, а каким-то невеселым, усталым:

— Товарищи крестьяне, вы знаете нашу нужду. Нашу общую с вами нужду, всего советского народа горе. Двадцать один миллион человек с лишним на краю могилы от голода. Погибают восемь миллионов детишек. Зерно, что по налогу собрали, посылаем первоочередно в голодные губернии на семена. Весна не за горами, чем сеять? Не посеешь — и будущий год обречен на голод. Бережем зерно на посев. Оттого не хватает прокормить голодающих. И рабочие в городах опять же остаются на нищем пайке. Товарищи крестьяне, каждый пуд, что вы сдаете государству в виде налога, есть чья-то спасенная жизнь.

Некоторое время было молчание. Не перешептывались, не толкались локтями поделиться мнением. Молчали.

Вдруг Варвара Смородина в полной тишине кинула вызывающе громкий вопрос:

— И чтой-то вы, товарищ ревтрибунал, агитацию понапрасну ведете? Наше сельцо не отсталое. По первому призыву сполна сдали налог. Чего еще от нас требуется?

Румянец ее до темноты погустел, а Петр Игнатьевич, краем глаза увидела Катя, стал бледен и подавленно тих.

Выступление Варвары, словно болт о железную доску, когда скликают на сход, раскачало примолкшее общество.

Невзрачный мужик с жиденькой бородкой, в худом полушубке, шлепая шапкой в такт словам по колену, отчеканивал:

— Учителю дай. Больнице дай. Голодающим дай. Откуда мужику взять-то? Вы обдумали это?

И другой, древний старик, опираясь на клюку жилистыми руками; темно-коричневыми, как дубовые осенние листья, неторопливо заговорил:

— Без крестьянского классу ни чье, ни наше государство не выдюжит. Мы сознаем. Мы не против своей власти помочь. Да только лишку нас жмут, норовят кишки до последнего вытянуть. Сверх налога соберешь — еще подавай. Снова дашь — опять же нехватка. Когда довольно-то будет? У нас полсельца бескоровные, самим бы маленько подняться... Ладно, еще одно слово скажу да и кончу. Вы, начальники, сами-то много голодающим жертвуете?

Представитель уездного ревтрибунала не вскипел от таких дерзких речей и, хотя на щеках нервно заходили желваки, ответил выдержанно:

— Мы не сеем, не жнем. Отдаем, что имеем. Дни и ночи имеем, их и даем, кто настоящий коммунист, не примазавшийся. А как у вас, в сельце Иванькове, дела обстоят, расскажет председатель сельсовета Петр Игнатьевич Смородин.

Катя строчила, строчила протокол и старалась в то же время не только слышать, но и видеть. Увидела, Петр Игнатьевич угрюм и недобр. Если бы Катя всегда его знала таким, боялась бы такого председателя, непреклонного, жесткого, с плечами уж слишком прямыми, грудью уж слишком вперед

— Дело так обстоит, что позабыл, как ночью спят. Отощал от заботы, штаны падают.

— Ты про свои галифе помолчи, о деле давай, — бросили из толпы.

— Скажу о деле. До последней точки, товарищи односельчане, выложу правду. Пока до сути дознался, отбарывался. В укоме из меня душу трясут, а я не сдаюсь. Потому — доказательств в руках не имею. Нынче нашел. Виноват, товарищи. Каюсь. Не углядел вовремя, хотя состою на посту председателя. Вор есть среди нас, бесстыжий утаитель крестьянских пашен, эксплуататор и классовый враг.

Председатель выговорил эти страшные слова и умолк.

Все подавленно ждали, что скажет дальше. Он не говорил. Тогда с разных парт, в несколько голосов, разом потребовали:

— Кто вор? Называй.

— Он! — пальцем указал председатель на Силу Мартыныча.

— А-ах! — прокатилось по толпе.

Катя опустила карандаш. Не могла дальше вести протокол. Действие начало развиваться с драматической скоростью, Катя всем своим существом в нем участвовала, забыв, что должна вести протокол.

Ни черточки не дрогнуло на щекастом, обложенном широкой бородой лице Силы Мартыныча, не отхлынула кровь.

— Страшен сон, да милостив бог, — выговорил с незлобивой улыбкой.

— Не скажу про бога, а пролетарский суд к расхитителям народного достояния не милостив. Да еще в такое время, когда люди гибнут...

— Понапрасну не распаляйся, товарищ председатель.

— Я тебе не товарищ.

— Рано отказываешься. Как бы за облыжное показание отвечать не пришлось.

— Отвечу, да не за то. Что проморгал классового врага, за это отвечу. В восемнадцатом году такую шкуру, как ты, без замедления бы к стенке! — все страшнее бледнея и задыхаясь, прокричал Петр Игнатьевич.

Представитель ревтрибунала тронул его руку, судорожно вцепившуюся в край стола:

— Стоп, товарищ Смородин.

Председатель оторвал от стола руку, растопыренной пятерней расчесал волосы, перевел дыхание и отрывисто приказал:

— Нина Ивановна, выходи.

С изумлением и трепетом Катя увидела: вдова учителя поднялась с парты и тихими шагами вышла на середину класса. Долги показались Кате эти шаги. И такой скорбный вид у нее, в черном платке, с черными провалами глаз.

— Нина Ивановна, говори без утайки.

— Товарищи, мужики и бабы иваньковские, преступница я перед вами и перед Советской властью.

Какой жалкий у нее голос, дрожащий и жалкий. Все, пораженные, ждали. Вытягивали шеи, боясь не услышать. Сила Мартыныч окаменел, обратив на вдову учителя тяжелый, неподвижный взгляд.

— Муж мой, учитель Тихон Андреевич, в девятнадцатом году ушел на Деникина, знаете. После Деникина послали на Врангеля. Врангеля рушили, пора бы домой. Петр Смородин с фронта тогда возвратился. И другие мужики, кто уцелел. А моего нету. По своей охоте или по приказу на Дальний Восток подался. Через него и узнала, что есть такой, Дальний Восток. Раньше-то и не слыхивала. Год скоро, как Тихон Андреич сгинул. Нет слуха...

Она оборвала речь и поникла, низко нагнула голову, пряча лицо.

— Дальше говори,— приказал председатель.

— Не могу я.

— Говори.

Блеклым голосом она продолжала:

— Сила Мартыныч в сельсовете, лошадный, в город то и дело ездит, про мужа узнал...— Вдова опять прервала рассказ, и снова все ждали без звука.— К белякам на Дальнем Востоке Тихон ушел. Хуже дезертира, говорит, твой Тихон, изменник советскому обществу. Теперь, говорит, красноармейский паек с тебя снимут, а то и вышлют в холодные места с ребятишками. Я в ноги: Сила Мартыныч, что хошь с меня требуй, только народу не сказывай! Тогда и закабалил. Батрачила на него. Только молчи, детей моих не позорь. А дальше — хуже. Раз по-соседски приволок ночью три мешка ржи. Велит спрятать в чулане. А зачем, не сказал. Так и пошло. Ночью притащит, в другую ночь отвезет. Мешков тридцать сплавил. Куда? Откуда? Не знаю. Сначала-то не догадывалась. Потом поняла. Да запер он мне рот на замок. Пригрозил: скажешь слово — изменниками всю семью объявлю. А ребятишкам годков-то: старшему шесть, меньшому четвертый.

— Хватит,— остановил председатель.— Астахов, ты отвечай. Встань. Стоя отвечай народу.

— Вроде не на суде мы, вставать-то. Значальствовался, Петр Игнатьич. Много на себя берешь,— невозмутимо, со смешком ответил тот.

Но встал. Плечистый, крепкий, с окладистой бородой, волосы на концах завиваются кольцами — богатырь!

— Отвечай.

— Врет она. С первого до последнего врет. Про учителя, правда, в городе слушок мутный поймал, да неохоч я до сплетен. И ей по-соседски советую: мол, пока казенного извещения нет, поддержи язык за зубами. Спасибо, соседка, хорошо ты мне за доброту отплатила. Рожь я ей таскал! Да откуда я столько ржи наберусь, посудите!

— А это, товарищи, я объясню,— быстро заговорил председатель.— Объясню досконально. Слушайте, как было. В семнадцатом, после земельного декрета, землемеры наши пашни измерили. А он, Сила Астахов, когда мы его в сельсовет избрали, а я, дурак безмозглый, всю бухгалтерию на него без контроля свалил, он подложных справок для земадела настряпал. Неразбериха там, в земаделе, запутались они в первый-то год с новым налогом, не вдруг разберешься, а как разобрались, зачесали затылки: недостает в сельце Иванькове пашен, провалились сквозь землю. Вот ведь как, братцы, бывает: пропали засеянные десятины,

и все. Значит, и налога с них нет. Так и записали в земотделе, что нет. А он, бывший товарищ Сила Астахов, хлебный налог с каждой десятины до пуда собрал, только вместо земотдела к Нине Ивановне в чулан, да постепенно к дружку на разъезд. А тот дальше.

— Опять же врешь,— не теряя спокойствия и уже не стоя, а снова опустившись на полено-кругляш, поглаживая бороду, проговорил Сила Мартыныч.— Поперек горла я тебе, председатель. Сожрать задумал. Кто видел спрятанный хлеб?

— Кто же увидит? Ты, Сила Мартыныч, приказывал никого в мой чулан не допускать, а ворованный хлеб там лежал,— тихо ответила Нина Ивановна.

— Наговорить всяко можно. Облыгатели испокон веку велись, и в наше, хоша и новое, время хватает их, облыгателей,— как бы с самим собой рассуждал Сила Мартыныч, задумчиво оглаживая широкую бороду.— Да и то сказать, сам сплеховал, не молчать бы тогда про Тихона. Бабу пожалел, а она со страху по подсказке нынче на меня небылицу несет, вишь, дрожмя дрожит, как овца под ножницами.

Внезапно, как всегда неудержимо и бурно, вскипела Варвара Смородина:

— Нинка! Нина Иванна, и где твоя совесть, любовь твоя где? Оговорил злодей мужа... Товарищи бабы, а тем более мужики, ослепли мы, не замечаем, как Сила Астахов со дня на день богатеет. С чего богатеть? Невдомек. А ты, Нина Иванна, сразу и поверила, что муж к белякам ушел? Сразу и земные поклоны бить. И-эх! Где твоя любовь, Нина Иванна? Да я бы про своего... Кто бы что ни брехал, глаза выцарапаю, потому знаю, мой мужик честный, мой мужик не продаст...

— Варвара, молчи! — грохнул кулаком по столу Петр Игнатьевич.— Ты зачем мне акафист поешь? Обо мне разговор? Завела про любовь! Молчи, время знай.

В классе поднялось хихиканье, шум, и представитель ревтрибунала постучал пальцем по столу, призывая к порядку.

— Без свидетеля не докажете. Свидетеля нет,— уже совсем успокоенный неуместным взрывом Варвары Смородиной, сказал Сила Мартыныч.

И вдруг... вдруг Катю обожгло: Катя вспомнила книжную полку в чулане, хилый огонек коптилки, который Нина Ивановна загораживала ладонью, чтобы не погас от дыхания, а за ее спиной в темноте прислоненные к стене вилы и грабли и ворох сена в углу, прикрывавший что-то. Она бегло все это увидела. «Зачем сено в чулане?» — мелькнуло тогда, но не задержалось. Занята была книгами. Раздобыла кипу книг, негаданное счастье...

Так вот, оказывается, зачем там было сено.

— Я свидетель. Я видела.

Волнуясь, спеша, Катя рассказала, как и зачем попала в темный чулан Нины Ивановны и что там увидела.

— Мешки видела?

— Мешки?

Катя потерянно взглянула на председателя. И он глядел на нее с нетерпением, страстным ожиданием во взгляде, но молчал и ни кивком, ни движением ресниц ничего не подсказывал.

— Мешков не видела,— упавшим голосом ответила Катя. И виновато: — Не знаю. Наверное, там были мешки.

Вздых разочарования слышала она в душном классе.

Сила Мартыныч презрительно хмыкнул:

— Наверное?! Надежных свидетелей насобирали председатель! Идите, граждане, проверяйте, кто хочет, есть ли у соседки в чулане мешки.

— Нет,— тихо ответила Нина Ивановна.— Ты их утром в воскресенье на разъезд увез. Ночью в сани нагрузил, сеном прикрыл, а утром увез. Еще метель тогда поднялась.

— Что-то не помню. Путаешь, Нина Ивановна. Вроде никуда не ездил я в воскресенье.

Тогда уверенно, громко крикнула Катя:

— Ездили. Я видела. Знаю.

Радуюсь, что теперь-то она безошибочно его уличит, этого плечистого, сильного и чужого человека с желтым взглядом. Она не замечала раньше, что у него желтый взгляд. Тяжелый, безжалостный.

— Что ты будешь делать, и тут учительница наша в свидетелях,— развел руками Сила Мартыныч.— Скажи, какая быстрая! Да усердная. Все норовит в пользу властям доказать.— Он задумался, будто вспоминая. И вспомнил: — А ведь и вправду, Катерина Платоновна, было. Догнал вас в поле, точно не скажу, в воскресенье ли или в другой какой день.

— В воскресенье.

Тут вмешался представитель ревтрибунала:

— Катерина Платоновна, почему вы уверены, что именно в воскресенье встретили Астахова в поле, вернее, он вас догнал?

— Помню, была метель, сильная вьюга. И еще...

— Вот, вот, вот! — со злобным смешком подхватил Сила Мартыныч.— То-то и есть, что еще... Эх ты, девка, не соблюдаешь себя, а ведь учителька все-таки, или, как нынче называется, шкраб. Правильно. Еду в воскресенье к свату в Дерюжкино, за разъездом пять верст. По семейной надобности еду, оттого и воскресный день выбрал, в будни недосуг. А метель — глаза слепнут. Вижу, учителька топает, парня провожает. Ну, я парня подвез до разъезда. Сам оттуда в Дерюжкино, к свату.

— Скажите, Катерина Платоновна,— деликатно и мягко

обратился представитель ревтрибунала, — нам важно знать, кого и куда вы провожали?

— Эва, кого! — воскликнул Сила Мартыныч, поворачиваясь на своем кругляше к народу и ища и, может быть, уже находя в ком-то поддержку. — Кого? Тайка моя несмышлениш, и та догадается. Ночевал у ней парень, вот что. А сам мешочник. Целый день шнырял по селу.

— Катерина Платоновна, как зовут вашего знакомого? — снова мягко спросил представитель ревтрибунала.

— Арсений, — сказала она. И... ужаснулась. А дальше?

— Арсений, — записал в книжечку товарищ из ревтрибунала. — А дальше? Отчество, фамилия, адрес. Мы его в сутки разыщем. Это важно, Катерина Платоновна. Не мог же он не заметить, что везет Астахов в санях. Итак, Арсений. А дальше?

— Не знаю, — почти беззвучно ответила Катя.

— Как не знаете? — удивился он.

— Не знаю.

Погибла Катя! Никогда, никогда не подняться ей в глазах иваньковского народа. В ее классе, ее школе сошлись отцы и матери ребятишек, которых Катя учит и любит, и вот... Что они будут думать о ней? Как им объяснить? Раньше она шла улицей — и встречный крестьянин снимал шапку и низко кланялся. А теперь?

— Вот ваши свидетели! — уже грозил и наступал Сила Мартыныч. — Кого, председатель, против меня выставляешь? Всем ведомо, учителька по твоей дудке пляшет. А за что? За то, что частенько в школу захаживаешь, да все под вечерок норювишь...

— Ух, гадина, контра! — во весь голос завопила Варвара Смородина. — Куда повернул! Нет, контра, учительницу позорить не дам. Мужика моего не пристегивай, он передо мной чист, как свеча, а что до парня... так в ту пору еще бабушка жива была, когда они парня бедного из жалости переночевать на печку пустили...

— Бабушку вспомнила, — ехидно ухмыльнулся Астахов. — Не на пользу себе бабушку вспомнила, гражданка Варвара Смородина.

Варвара опешила:

— Чего? О чем ты?

— Где кольцо? — резко повернулся на кругляше лицом к председателю Сила Мартыныч.

— Какое кольцо?

— Ага, побелел? Ты, Смородин, меня в землю живым сообразил закопать, ан нет, не вышло. А я тебя покрывать не намерен. По справедливости желаю вывести на свежую воду. Товарищи крестьяне, помните сбор на голодающих был, тута, в классе?

Бабушка Ксенья Васильевна при всем народе в пользу голодных кольцо отдала. Золотое, с драгоценным камнем, чай, недешево стоит. Где оно?

— С ума своротил, Астахов,— до растерянности удивился Петр Игнатьевич.

— Покамест при полном уме. Где кольцо?

— Да я ж тебе расписку вручил, что вскоре же после того собрания кольцо в комиссию в городе сдал.

— Не вручал ты мне расписки, Петр Смородин, а кольцо как в карман себе положил, так там и осталось.

Петр Смородин вскочил, схватился за грудь, рванул рубашку, несколько секунд стоял без слов с диким, блуждающим взглядом. Шатаясь, шагнул из-за стола. Прохрипел:

— Убью. На месте прикончу.

— Прекратить! — поднимаясь и держа руку на револьверной кобуре, чеканно приказал человек из ревтрибунала.— Прекратить самоуправство, председатель Смородин.

Смородин вернулся на место, повалился на стул, запустил в волосы обе пятерни и затряс головой, и лицо его позеленело, перекосилось, стало некрасиво и жалко от бессильного гнева.

— Товарищи! — говорил представитель уездного ревтрибунала.— С пропавшими пашнями и утаенным налогом разберемся. И с кольцом разберемся, уж, наверное, копия квитанции на сданное кольцо в комиссии есть. Невиновные, будьте спокойны. Виновных накажем. Революционный пролетарский суд без пощады накажет за каждый украденный у голодного населения пуд. Учительницу просим: простите, Катерина Платоновна, что дали негодю в нашем присутствии вас оскорбить.

...В этот вечер Силу Мартыныча увезли в город.

Лучины и коптилки, а где и керосиновые лампы долго не гасли в этот вечер в сельце.

32

Рано будит мартовское солнце, а еще раньше, задолго до солнца, разбудит предзоревый ясный мартовский свет. День долгий, весь светлый, прозрачный. С крыши над школьным крыльцом свисают ледяные сосульки едва не по аршину длиной. К полудню начнется капель. Дождем польет на крыльцо, натекут лужи, и Авдотья, недовольно мыча, будет сгонять метлой со ступеней воду, не слыша, как капли звенят. Звенят? Или кажется Кате?

А сейчас на березовую арку, что у крыльца, слетелись снегири. Здравствуйте, снегири с пушистыми красными грудками! Обычно вы прилетаете студеной зимой, когда деревья трещат

от мороза и обледенелые ветви кустов ломки, словно стеклянные. Помните, вы прилетали под наши окна в келейном корпусе? Легко, грациозно рассаживались на сирени! Как мы радовались вам! Здравствуйте, милые снегири! Что-то поздно вы прилетели. Или проститься перед отлетом на север, зимние птички? Над нашей речухой уже дымится желтое облако просыпающихся почек ольхи. Красные прутья вербы выпустили бархатные белые лапки. А как суматошно кудахчут куры во дворе, совсем посходили с ума! Петухи взлетают на прясла, хлопают крыльями себя по бокам и горланят на все село, хвалясь молодечеством. Да, ничего не скажешь, весна...

Катя отвела глаза от окна и снегирей на березовой арке и вернулась к «Книге для чтения» К. Д. Ушинского. Год первый.

Бывает, что важные открытия приходят не сразу. От скольких блужданий и ошибок была бы она спасена, если бы в самом начале открыла разумность трех книжек Ушинского. Год первый. Второй. Третий.

Обложки серые, бедненькие. А под ними богатство. Если бы сразу поняла, как понимает сейчас: простота, искренность, жизнь — это Ушинский!

Просто расскажет о простом, что вокруг себя, в школе и дома, в огороде, в лесу. Просто о сложном — путешествии воды, кораблях, поездах, воздушном шаре. Даже грамматику умеет объяснить интересно!

Правда, на одной из первых страниц крупным шрифтом сообщалось: «У бога милости много» — и дальше порядочно встречалось поучений в таком же духе, но Катя научилась обходить подводные рифы. Умное, энергичное, с пронзительными глазами лицо глядело на нее с сереньких книжных обложек. Ободряло. Ушинский вводил ее за руку в класс. Кате стало увереннее с ним. Не такая уж никудышная она учительница. Возможно, ее призвание и талант как раз в том и есть, чтобы быть учительницей. Во всяком случае, Катя любила своих младших, средних и старших. Не вообще учеников и всех на свете детей, а именно своих, курносых, белобрых, беззубых, веснушчатых, своих собственных, с которыми проводила почти все время.

Когда дни стали длиннее, Катя завела новый порядок. Теперь она учила в две смены. До обеда — младших. После обеда — средних и старших. Два вечера в неделю ликбез. На драмкружок пока не отважилась, но и без драмкружка работы хватало — часов-то ведь нет, что утром, что вечером часы шли не меряные. А вечерами при дымном огоньке коптилки читала приложение к «Ниве» из чулана Нины Ивановны.

Необычный гвалт стоял в классе. Примерные Катины ученики, которые даже в отсутствие учительницы вели себя негромко, не колошматили друг дружку, а если, сбившись на длинной парте,

принимались «жать масло», так и то без особого шума, сейчас галдели, как грачи в весенних гнездах. Катя прислушалась у двери.

— Дон! Дон! Дон! Третий звонок. Чугунка отправляется в город Москву. Уф-ух! Уф-ух!

Алеха. Вчера ездил с отцом на разъезд. Впервые увидел паровоз, затеял игру в поезда. Понятно.

— Уф-ух! Уф-ух! Дон-н-н. Эй, ты, куда без билета прешься? Я те дам! Я начальник станции, я всех главней.

Алеха Смородин всегда всех главней.

Однако поиграли и хватит, пора за уроки. Катя вошла в класс. Семеро младших цепочкой, друг дружке в затылок, топтались на месте, ухали, шипели, пыхтели, двигали взад-вперед руками, как поршнями,— поезд мчится на всех парах. Уф-ух! Восьмой — Алеха, начальник станции, он же и семафор, он же и колокол, извещающий об отправлении поезда.

Девятая младшая — Тайка Астахова. Она проболела недели три, пришла сегодня впервые и одна сидела на парте, низко склонив голову. Лыняные волосы беспорядочно свисали на щеки; крупные слезы текли вдоль носа, она не вытирала их, слизывая с губ.

— Что ты плачешь? — спросила Катя, догадываясь и пугаясь догадки.

— Ворова дочь! Тайка, таратайка, балалайка! — показывая беззубые дыры во рту, выпалил Алеха Смородин.

Ребята при появлении учительницы не разошлись по местам, напротив, столпились у Тайкиной парты.

— Отец хлеба нашего наворовал, нарастил буржуйского брюха!

— Мы налогу собрали, а он тридцать мешков ржи от голодных себе утянул.

— Его на десять лет засадили. Кобылу отобрали. Ворованное добро отобрали.

Тайка беззвучно плакала, не смея откинуть с лица пряди волос, растрепанные, как нечесаный лен. Учительница молчала. Ее молчание сильнее распаляло ребят.

— Ворова дочь! Ворова дочь! — все громче и злее свистело из беззубых ртов, ниже прибивая Тайкину голову к парте.

«Ушинский, помоги!» — мысленно взмолилась учительница.

Но не надо советов. Ничьих. Даже Ушинского. Катя знала сама. Сердцем, умом, пробуждающимся и с каждым днем крепнущим в ней чутьем учительницы знала, что должна делать сейчас.

Отстранила ребят, отвела волосы с наплаканного Тайкиного лица, своим платком вытерла ручьи слез у нее на щеках.

— Ты не виновата. Тебе стыдно за отца, но ты не виновата.

Ты не крада и никого не обманывала. Вы поняли? — обратилась она к ребятам строго и властно. — Ступайте по местам, — приказала она.

Ученики мгновенно послушались.

— Вы напали на Тайку, а за что? Разве она за отца отвечает? Ведь она не знала о его преступлении. Тайка — несчастная девочка. Большое несчастье — стыд за отца. Но не вина, а несчастье. Вы поняли?

Тихо прошли уроки. Без подъема, без обычных улыбок и живости.

— Вы не будете обижать Тайку, — сказала Катя, отпуская ребят, — вы будете жить всегда честно. И ты, Тайка, будешь жить честно. Идите.

Они вышли из школы гурьбой и тотчас разбежались в разные стороны, а Тайка побрела одна на край села, где, весь в деревянных кружевах, стоял ее безрадостный, опозоренный дом. Катя следила из окна класса за жалкой фигуркой, пока, обогнув против школы церковь, она не скрылась из виду. Сейчас начнут собираться на вторую смену средние и старшие. Но пока вместо средних и старших Катя увидела на дороге группу людей. Их было трое: Петр Игнатьевич, Нина Ивановна и неизвестный мужчина.

Они направлялись к ней в школу. Катя живо ушла из класса к себе, села на топчан, служивший кроватью, тахтой, чем хотите, и, для вида взяв книжку, стала поджидать посетителей. Вероятно, явился инспектор унаробраза. Он слегка прихрамывал, опираясь на толстую суковатую палку, и был одет в овчинный полушубок, несмотря на мартовскую капель, на ногах солдатские бутсы с обмотками; красноармейская буденовка с опущенными ушами сдвинута была на затылок. Так, полустатскими-полувоенными выглядели многие приезжавшие из города начальники. Приезжало их в село Иваново после раскрытия астаховской кражи немало. Разбирались, меряли земли, доискивались, нет ли в чем еще жульничества. Клевета на председателя развеялась разом: в городском комитете помощи голодающим не забыли золотое кольцо с рубиновым камнем, подтвердили, что сдано, но строгий выговор председатель Смородин получил — и за дело: государственное добро зорче береги, растяпой не будь.

А Нине Ивановне ее подневольное пособничество в воровстве Силе Астахову пролетарский суд ввиду смягчающих обстоятельств простил. Пожалели детей.

Что стало с Ниной Ивановной! Что так удивительно изменило ее? Сияние в глазах. Она ли? Что с ней? Вошла, кинулась к Кате, обняла.

— Катерина Платоновна, Катя! Вернулся.

— Кто?

— Муж. Тихон.

Человек в овчинном полушубке, постукивая по полу суковатой палкой, слегка припадая на правую ногу, приблизился, протянул Кате руку:

— Здравствуйте.

— Тишенька! Тихон! Тихон Андреич! — смеялась и плакала Нина Ивановна. — Катерина Платоновна, я ему сразу сказала, как вы о нем отозвались: «Он герой у вас, и вы должны им гордиться». Варвара при всем народе под защиту взяла... А я? Где моя совесть? Прощенья мне нет.

— Истерзали тебя, бедняжка. Не мучься, не рвись, все позади, — утешал он.

Вот он какой, учитель Тихон Андреевич! Ласковый. Наверное, внимательный к людям. А приложения к «Ниве» — ведь это все его книжки, его должна благодарить Катя.

— Да где же вы были, да что с вами было? Счастье-то какое, вернулись, Тихон Андреевич! Садитесь, пожалуйста.

Председатель сел на табурет у стола и тут же стал свертывать из клочка газеты цигарку и закурил. Раньше он курил, дымя в горящую печку, а тут задымил на всю комнату. Нервным стал после тех неприятных событий и сейчас угрюмо молчал.

Нина Ивановна с мужем сели на железную кровать Ксении Васильевны. И Нина Ивановна взяла руку мужа и, не отпуская, словно боясь на секунду расстаться, принялась рассказывать то, что говорила тогда на собрании. И совсем не то. И совсем не так. Гордясь, расцветая.

Воевал ее Тихон Андреевич с Деникиным, Врангелем, на Дальнем Востоке. Был политруком, воодушевлял красноармейцев на борьбу с беляками. А потом попал в партизанский отряд, а потом шел с отрядом тысячи верст, пешком, на оленях, через горы и реки, устанавливая в стойбищах вдоль Охотского моря, вдоль Ледовитого океана Советскую власть.

— Беда нас настигла, — сказал Тихон Андреевич, не перебивая, а как-то незаметно вступив в рассказ жены, может быть, оттого, что была она чересчур уж в горячке и трепете и он хотел немного ей помочь. — Отрезали белые наш партизанский отряд. Полгода в окружении маялись, а как к своим прорвались, тут же домой написал, а до почты верст двести, скачи — не доскачешь. Писал, да, видно, письма не доходили по адресу...

— Или кулак Сила Астахов перехватывал, чтобы в страхе батрачку держать, — жестко отрезал председатель.

— Едва ли. Уж очень рискованно. Братцы, не будем об этом. Что произошло, быльем поросло, — миролюбиво сказал Тихон Андреевич.

— Э-эх, Тихон Андреевич, в учителях христосиком был, таким и в солдатах остался.

— Напраслину наговариваешь, товарищ Смородин. А злобствовать зря не люблю.

Что-то было в учителе ясное, доброе. Он нравился Кате.

— А я-то как рада вам, Тихон Андреевич! В самое-самое время помощь мне подоспела. Признаться?.. Вам я признаюсь. И Петру Игнатьевичу и Нине Ивановне. У меня не всегда ведь уроки вполне хороши. Иногда в полном смысле провалишь. Ученики не догадываются, но я-то знаю. Тихон Андреевич, мы так с вами будем работать, если вы согласитесь, конечно... Я предлагаю, поделим группы? Вы старших возьмите. А мне хочется маленьких оставить себе. Мне хочется до конца школы их довести, посмотреть, что из них станет, как я их вырастила, что им дала...

Вдруг Катя заметила, они слушают ее исповедальную речь в каком-то странном смущении. Нина Ивановна погасла, потупилась. И учитель, опершись на палку, уставил взгляд в пол, не на Катю. А Петр Игнатьевич, напротив, глядел прямо на нее и невесело.

Катя смешалась, умолкла, не понимая.

— Н-да, значит, так,— угрюмо проговорил председатель.

Учитель, слегка припадая на правую ногу, перешел к Кате, сел к ней на топчан. Заговорил негромко, как бы с трудом:

— Демобилизовался я, в уездный отдел откомандировали из части. Там дают назначение. Куда? Понятно, домой, в родную школу. О вас, Катерина Платоновна, я тогда и не слышал. Кто вы, что вы, не знал.

— Ну и что же? Теперь узнали,— резонно возразила Катя.— А дальше ближе узнаете. Я так рада, что вас тоже сюда назначили! Мы с вами дружно будем работать.

— Сложная штука жизнь, Катерина Платоновна, трудная штука, порой даже очень,— отвечал учитель.

— Что случилось? К чему вы меня подготавливаете? — воскликнула Катя, с испугом вглядываясь в их расстроенные лица, пытаюсь понять.

Председатель вынул из кармана бумагу, небольшой лист с машинописным текстом, печатью и штампом, подал Кате:

— Н-да, значит...

«Учительницу начальной школы сельца Иваньково тов. К. П. Бектышеву сим извещаем, что по сокращению штатов увольняется с апреля месяца 1922 года.

Заведующий уездным отделом народного образования...»

«О ком это? Кто увольняется?»

Бумажка с печатью в Катиной дрожащей руке меленькими машинописными буквами выносила приговор тов. К. П. Бектышевой.

«Это я — тов. К. П. Бектышева? Меня увольняют? А как же дети, мои беззубые младшие? Я их научила читать, они пишут

слова на грифельной доске, а скоро я им обещала тетради. Чистенькие тетрадочки в классном шкафу. Вы хотите меня уволить? А куда я пойду? У меня нет дома. Комната в Иваньковской школе, а другого нет дома. Здесь, на погосте, могила бабы-Коки под снегом. Я хотела весной посадить на могиле цветы. Незабудки».

Катя жалобно улыбнулась, и, увидев ее вымученную улыбку, сквозь которую сейчас хлынут слезы, Петр Игнатьевич крикнул, растопыренной пятерней, как гребенкой, резко откинул назад волосы.

— Новая экономическая политика, Катерина Платоновна, проще говоря, нэп. Государству надо производство налаживать, приходится экономить во всем. По штату нашей школе один учитель положен. Вот в чем загвоздка.

«Значит, меня для экономии — вон! Осенью послали, тогда было нужно, сказали: должна. А теперь... из экономии вон?» — так думала Катя.

Гордость отчаяния поднялась в ней, она не улыбалась больше жалобной улыбкой.

— «Сохраню ль к судьбе презренье?..»

— Что? Что? Как ты сказала? — изумленно вскинулся Петр Игнатьевич.

— «Сохраню ль к судьбе презренье?..» Не я. Пушкин.

Петр Игнатьевич вытащил кисет, снова взялся набивать самокрутку, с силой приминая большим пальцем махорку.

— Катерина Платоновна, Катенька! — стиснув на груди руки, просительно заговорила жена учителя. — Тихона по справедливости на старое место вернули...

Катя пожала плечами:

— Кто спорит?

— Мы с Тишей нашу будущую жизнь крепко обдумали. Заново нам ее надо налаживать. Хозяйство наше, пока воевал, вовсе порушилось. Мечта у нас: хозяйство маленько поднять...

— Что мне до вашей мечты? — оборвала Катя.

Снова негромко вмешался учитель:

— Возможно, вы меня осуждаете, Катерина Платоновна, но не я это дело решал, в смысле моего назначения. А если бы и я... Не могу я со своей школой расстаться! Здесь моя трудовая жизнь начиналась. Здесь семья. Куда мне с семьей от своей избы по нынешнему тяжелому времени? Мы с Ниной этот вопрос обсудили: я пока дома побуду, дыры в хозяйстве своем залатаю, а вы, как учили, так пока и учите, так и учите. И в комнате при школе живите по-прежнему. Мы с Ниной Ивановной обговорили этот вопрос. И председатель согласен.

— И председатель согласен? — едко усмехнулась в лицо председателю Катя.

— Согласен,— не принимая насмешки, серьезно и строго ответил он.— Пока остаемся при старом. Беру на себя. Стало быть, так, Катерина Платоновна?

— Не знаю. Подумаю.

33

А что думать? Что придумашь?

Пока все оставалось по-старому. Новое то, что Тихон Андреевич раза два в неделю приходил в класс, занимался со старшими, но в основном, как и раньше, учила ребят Катя. Только без бывшего воодушевления. С охлажденной душой.

Ничто не вечно, а все же, когда тебе скажут, что этот темный, со старым шкафом и длинными черными партами, неуютный, но уже привычный, уже дорогой тебе класс стал не твоим, ты в нем незаконно, лишь из участия добрых людей,— душа вянет. И даже дети не так милы, как раньше. Скоро ты их оставишь. Тебе прикажут оставить.

В уездном отделе народного образования пока что отнеслись снисходительно к ненормальному положению в Иваньковской школе. Пока, до начала нового учебного года.

Стали присылать из отдела образования педагогические брошюры, инструкции, проекты программ, что-то много стало приходить всевозможных руководящих бумаг. Среди них внушительный приказ учителю Тихону Андреевичу представить на утверждение планы школьных и внешкольных занятий.

Учительницы Екатерины Платоновны в ведении унаробраза не числилось. Нет такой учительницы. Есть Катя Бектышева, у которой ни кола ни двора, ни родной на свете души.

Одна Фрося. Фрося звала: «Приезжай, Катя, к нам. Уступлю тебе кровать, буду спать на полу, потеснимся мы с Васюней для тебя, милая Катя».

В газетах Катя читала, что Комиссия ВЦИК, пересматривая учреждения РСФСР, добилась сокращения чиновников на 60 процентов. Что путем соединения маленьких губерний и уездов сокращается еще 25 процентов. Что в Московском отделе труда зарегистрировано много безработных учителей. И в других губерниях также.

Государство экономит, государство рассчитывает, государство приступает к выполнению грандиозного плана подъема разрушенного хозяйства страны.

Что касается Кати, она в числе тех процентов...

Робость все глубже охватывает ее. Снова она не верит в себя. Мир огромен, а как неуютно и одиноко в нем Кате!..

Она тянула с отъездом. Учебный год окончен, ребята отпущены на каникулы, и делать Кате в сельце Иванькове вроде бы



нечего, но она тянула с отъездом. Чем она жила? Как? «Иду. В траве звенит мой посох».

Где ты, где ты, Арсений?

Катя хотела как-нибудь отблагодарить Тихона Андреевича за то, что он дал ей довести учебный год до конца. Ходила полоть с Ниной Ивановной гряды в их огороде. После, в разгаре лета, убирала сено.

Сенокос — работа веселая, праздничная. Какой-то парень разбежался на учительскую делянку на берегу Голубицы, схватил Катю в охапку, раскачал, бросил в речку под общий одобрителный хохот. Катя вынырнула, вылезла, трясая головой, фыркая, как жеребенок, мокрое платье облепило ее, она чувствовала себя голой, ей было стыдно, хотелось спрятаться, но спрятаться негде.

— Приходи вечером к сельсовету погулять под гармонику, — позвал парень.

Катя не захотела знакомства. Она привыкла быть в сельце Иванькове учительницей Катериной Платоновной. Держаться строго и неприступно с парнями. Гордой ее не называли за это. Говорили: лишку тиха.

Наступило жнитво. Жнитво — настоящая страда. Солнце беспощадно палит. В небе ни тучки.

Нина Ивановна жала серпом, Катя вязала за ней снопы. Руки спасались в холщовых нарукавниках, а грудь и шея, ноги искусаны колосьями, словно комариными жадами. Пот струями течет по лицу, во рту горько от соленого пота. Конца нет желтым, душным, колючим снопам! Катя вяжет их соломенными связлами, стаскивает по пяти снопов в одно место, ставит в бабки. Бабки ее неказисты: то валятся набок, то расселись неуклюжими копнами.

— Ладно, сойдет, — подбадривает Нина Ивановна.

Учитель натрудил раненую ногу, не ступить.

Ничего, и одни управимся. Пусть ломит спину! Пусть красные искры стреляют в глазах. Рубашка — хоть выжми. Зато как сладко, когда Нина Ивановна объявит обед и, устало шаркая по стерне лаптями, пойдет за корчажкой кислого молока, схороненной в меже, а ты растянулась на старенькой дерюжке, прячась от солнца за бабкой, закинула под голову руки и глядишь, глядишь в синеву. Не думать ни о чем. «...Звенит мой посох»...

Рожь убрали в пять дней. До овсов Катина страда окончилась. А дальше? Что дальше? Где ее настоящее дело? Где ее место?

Говорят, страусы, когда грозит опасность, прячут голову под крыло... Ты страус, Катя? Эх, Катя!.. Рассказывал тебе Петр Игнатьевич о героических девчатах? Эх, Катя...

Она снова ушла в чтение. Потеряла счет дням. Иногда, подняв глаза от страницы, с удивлением видела заходящее

солнце. Или солнца давно уже нет, над речкой вечерний туман. А пришла она сюда на берег ранним утром с книгой и краюхой ржаного хлеба, не заметив, как за чтением ее уплела.

Она выбрала уютное местечко под старой ивой у реки. И читала здесь Короленко, всего, полное собрание сочинений от первого до последнего тома. «Но, все-таки... все-таки впереди — огни!»

Иногда, отложив книгу, она предавалась фантазиям. Нереальным. Разве фантазии бывают реальны?

...Вот она идет серединой улицы в конец сельца, где расписанная резными наличниками изба учителя, а на другой, самой крайней, избе красный флаг и вывеска «СЕЛЬСОВЕТ».

Раньше здесь жил Сила Мартыныч. Теперь его жену, с постным, как икона, лицом, и тихую Тайку переселили в половину заброшенного поповского дома.

Медленно идет Катя широкой иваньковской улицей. Тяжесть сжимает сердце в предчувствии беды... Она глядит прямо перед собой. И видит его. Он появляется из поля, в холщовой блузе, с мольбертом.

«Здравствуйте, Катя», — говорит он.

«Я вас не знаю», — отвечает она, продолжая идти.

Он меняет свой путь и с ней вместе возвращается в поле, где цветет некошенная душистая вика и высоко в небе реют ласточки с острыми крыльями.

«Вы забыли меня. Я Арсений, студент ВХУТЕМАСа. Меня прислали сюда на практику, рисовать среднерусский пейзаж».

«Да? Но какое это имеет ко мне отношение?»

«Катя, вспомните! Пожалуйста! Я вошел к вам в школу, под белую арку. Был волшебный день!»

«А-а, — равнодушно вспоминает она, — вы были такой голодный, несчастный. Как жадно набросились на еду, даже ничего путного не могли рассказать. Помню, вы, как нищий, весь день ходили по дворам...»

«Стыдно, Катя, моя мать от истощения слегла в постель».

«А! Помню, помню, на следующее утро вы чуть не сбежали. Если бы я не услышала случайно...»

«Я постучал бы к вам в дверь».

«Надеюсь, ваша мать выздоровела? Вам не пришло в голову написать мне об этом?»

«Катя! Я болван...

«Ругайте себя, сколько влезет, все равно я вас презираю. Я презираю вас».

«Катя, я не догадался узнать вашей фамилии».

«О! Достаточно было написать на конверте: сельцо Иваньково, школа. Вы могли сообщить о матери, что выздоровела. И довольно. Ничего больше».

«Я не знал названия ни сельца, ни уезда. Я хотел написать,

что влюблен в вас. Мечтал написать вам, что вы тихая душа, вы нестеровская девушка...»

«Студент ВХУТЕМАСа, вас прислали сюда на практику, отчего же вы не рисуете? Ах, у вас просто нет таланта, ни капли таланта. Почему вас не выгонят из ВХУТЕМАСа?»

«Вам нравится меня оскорблять?»

«Я буду оскорблять вас всю жизнь. Всю жизнь буду вас ненавидеть».

«Неправда. Вы меня любите, Катя».

Она вытирала листком мокрое от слез лицо. Срывала с ветки листы и вытирала слезы. Вот до чего довел ее Гамсун! Начиталась она этого Гамсуна! Ведь каждому ясно, все ее диалоги, полные яда и оскорбленной любви,— прямое подражание Гамсуну.

Впрочем, сейчас она читает Чехова — «Даму с собачкой». Спасибо учителю, и Чехова она раскопала в его темном чулане. Чехов застенчивый, сдержанный. Помните, Маша в «Трех сестрах» все молча насвистывает? Тихо насвистывает. Как грустно...

Что-то плеснуло в бочажке, над которым Катя сидела у ивы, свесившей ветви до самой воды. Должно быть, прошла крупная рыба, плеснула хвостом.

— Катерина Платоновна-а-а! — неслось от сельца.— А-а-а!

Ватага ее бывших младших (в новом учебном году они станут средними), ее босоногих, беловолосых, в ошметках рыжих веснушек, с облупленными носами, ватага мчалась к ней через луг под предводительством Алехи Смородина. Орали. Что? Не разберешь, но, должно быть, хорошее. Это можно было понять по сияющим лицам, особенно Алехи Смородина. Он домчался первым и, задыхаясь от бега:

— Кличут в сельсовет... велели скорее... письмо получено... важное.

Они наперебой объясняли учительнице, что письмо такое... такое... Они не знали, какое. Только что важное.

«Откуда? От кого? Ах, наверное, Фрося снова зовет, а председателю наконец надоело, решил избавиться от меня... от заботы».

Потому Катя вошла в сельсовет с замкнутым и безразличным лицом, на котором написано было равнодушие, что давалось ей нелегко и дурнило, совершенно меняло ее. Известно, в трудных случаях она не умела собою владеть.

Волна махорочного дыма и резкого запаха пота хлынула на нее. Катя стала у порога.

Шел сход, как всегда, многоречивый и бурный. Председатель во главе стола, покрытого красным кумачом, супя брови, слушал чью-то, должно быть заковыристую, речь.

Летом Катя редко встречала председателя. Он до черноты загорел. Из расстегнутого ворота линялой косоворотки выпирали углами ключицы. Он был высь пыльный и выгоревший, только сапоги, начищенные дегтем, зеркально сверкали. От этого щегольства, этой своей слабости, председатель даже в страдную пору не мог отказаться.

— Обожди,— перебил председатель оратора, когда Катя вошла.

И, протягивая Кате бумажку со штампом и казенной печатью, произнес торжественно, как на трибуне:

— Товарищи, граждане сельца Иванькова, перед вами наглядный пример, на том наглядном примере вы можете понять, как Советская народная власть идет навстречу трудящемуся человеку, ежели он, ясное дело, не буржуйских взглядов, всей душой признает революцию. Можете убедиться, товарищи граждане, как Советская власть показывает трудящемуся человеку дорогу.

Катя держала бумажку, но ничего не могла в ней понять, кроме штампа и казенной печати. Будто пеленой заволокло глаза, она ничего не могла прочесть. Она хотела убежать от людей и наедине разобраться, о чем эта бумага, какое имеет к ней отношение. Но председатель не дал Кате сбежать.

— Стой, Катерина Платоновна, куда заспешила, ишь приткая! Вслух, всему народу читай, потому что это есть пропаганда и агитация советского строя.

Катя прочитала вслух:

— «Сергиевский педагогический техникум приглашает для повышения квалификации учителей, сокращенных из-за отсутствия педагогической подготовки.

Начало занятий 1 сентября 1922 года.

Обучение бесплатное. Общежитие и питание обеспечены».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧТО ВПЕРЕДИ?

34

И после бумаги из техникума Катя не сразу распрощалась с Иваньковым. Петр Игнатьевич повез ее на разъезд на своем рыжем Лыцаре, когда выпал свободный денек... А он выпал не сразу.

Рано утром у школы собралась толпа. Растолкав ребятишек и баб, вперед вышла Варвара. Сдвинула угольные брови, молчала.

— Говори, что же ты, сказывай речь, не робей,— поощрил Петр Игнатьевич.

— А ну вас с речами! Вам только бы митинговать, как языки не отсохнут? Катерина Платоновна, эх, милка-а!..

И махнула рукой.

— Выказалась,— усмехнулся председатель.— Дальше кто?

Авдотья мычала, смеялась и всхлипывала, сморкаясь в конец платка. Катя оставила ей в память о бабе-Коке швейную машинку. Такой щедрый дар все сельцо разволновало и привело в изумление. Обсуждали: «Кабы не убожество, подходящей невестой стала б Авдотья с машинкой-то».

Ученики таращили на учительницу испуганные, жалеющие глаза. Шмыгали носами. Носы облупленные, кожа слезла от солнца.

«Прощайте, мои младшие, средние, старшие. Спасибо вам. Спасибо всем. Сельцу Иванькову с широкой улицей. неторопливо ведущей в ржаные и засеянные викой поля. Реке Голубице. Старой иве, склонившей ветки к воде. Прощай на погосте могила...»

Лыцарь вынес тарантас за околицу.

— Жмет небось сердце? — рассуждал Петр Игнатьевич, когда сельцо, поле, иваньковский лес остались позади. И навсегда кончилось что-то, а впереди неизвестное.

Петр Игнатьевич тихонько пошевелил вожжами, давая тем Лыцарю знать, что спешить некуда, доедем без спешки, тишь осенняя обнимает тебя, нежит душу, и хочется поделиться с хорошим человеком — пускай человек тот девчонка,— хочется поделиться заветными мыслями.

— Жмет небось сердце, а ты, Катерина Платоновна, в будущее гляди без боязни. Жизнь пугливых не любит. Про себя скажу, хотя маленько по годам припоздал, а об науке задумываюсь. Чем дальше, то больше. Рабоче-крестьянская власть это что? Ежели товарищ Ленин говорит, кухарка, учись управлять государством, нам, мужикам, как об себе понимать? Оставайся до конца века с двумя классами церковноприходской? Не выйдет! Погожу, поукрепнет иваньковское крестьянское общество, троих ребятишек временно подруге жизни доверю — идейную сознательность к той поре воспитаю в ней — и махну за тобой следом, Катерина Платоновна. Намечу курсы для повышения квалификации предназначенной мне специальности. Н-да, значит, так...

Показался разъезд. И вдруг над лесной полосой вдоль железнодорожных путей завиднелась волнистая лента белого с проседью дыма, клубилась ближе, ближе к разъезду, и вот уже слышно шумное дыхание и острый свисток паровоза, вот уже видны мелькающие окна вагонов.

Петр Игнатьевич гикнул, как былинный удалой молодец, с размаху стегнул Лыцаря кнутом. Лыцарь понес, кидая тарантас на ухабах, но белый дым паровоза, недолго задержавшись у разъезда, тянулся уже по ту сторону его, над лесом, все дальше и таял.

Они опоздали на пассажирский поезд. Следующий — через сутки.

— Дурная башка, разиня! — ругал себя Петр Игнатьевич. И картуз бросил о землю, когда прискакали к разъезду, — так горевал. — Обратно ворочаться вроде нельзя. Бабы говорят, примета дурная, а, Катерина Платоновна?

Кате не хотелось возвращаться обратно, хотя околачиваться на разъезде целые сутки в ожидании поезда куда как невесело.

Они уныло сидели на платформе на лавочке. Петр Игнатьевич курил, похлестывая веткой свои щегольские сапоги, раздумывая, что предпринять, не бросать же девчонку.

Между тем долго ли, коротко ли, как говорят в сказках, а в действительности меньше чем через час вдалеке над путями вновь закачался белый хвост дыма, и к разъезду прибыл товарный, длинный, вагонов в тридцать, состав. На разъезде товарному останавливаться не полагалось, а этот стал. Поспешно вышел на платформу начальник разъезда с красным флажком, забегал вдоль состава сцепщик с инструментами; два задних вагона отцепили, погнали на запасный путь, а паровоз шумно, отрывисто дышал, готовый тронуться, когда начальник разъезда даст отправление.

— Катерина Платоновна, глянь! — радостно вскрикнул председатель.

На площадках между вагонами ехали пассажирами люди. Кто сидел свесив на ступеньки ноги. Кто стоя. Не тесно, поскольку с новым урожаем в конце лета тысяча девятьсот двадцать второго голод понемногу стихал и мешочников заметно убавилось.

Петр Игнатьевич подхватил два Катиных узла с пожитками, и они побежали вдоль поезда, ища не слишком набитую народом площадку. Петр Игнатьевич посадил Катю, подал узлы, сорвал с головы картуз и, размахивая им, зашагал рядом с вагоном, поспешая за товарным, набиравшим скорость, и что-то кричал, но за стуком колес было не слышно, и Катя грустно и нежно улыбалась ему.

Петр Игнатьевич был ее первой основательной встречей с Советской властью. До свидания, товарищ предсельсовета! Спасибо.

Поезд громыхал, вагоны качало, свежий ветер обдувал разгоряченное волнением лицо и наносил запахи вянувших трав, поздно скошенных по насыпи вдоль рельсов.

Катя стояла крайней на площадке и долго не оглядывалась на попутчиков. Смотрела, смотрела на бегущие мимо сжатые поля и

изумрудные озими, осиновые и березовые рощи с начальной, легкой осенней желтизной, сизую каемку речки в луговых берегах. Как просто все это, как мирно и мило...

На площадке, кроме нее, ехало трое. Видимо, муж и жена, средних лет; истомленные и будто чем-то напуганные, они сидели рядышком на мешках и, не переставая, озабоченно и тихо шептались.

Отдельно от них — женщина. Молодая, пышнотелая, с маленькими белыми кудряшками, выпущенными на лоб из-под цветной косынки. Одета по-городскому, в синем жакете и высоких, почти до колен, башмаках на шнурках, она везла не мешок, а фибровый чемодан и сидела на нем и, когда Катя обернулась, сразу вступила с ней в разговор.

Кто? Откуда? Куда? Зачем?

— И все твоё имущество тут? — сочувствуя Кате, восклицала кудрявая пышка. — Беднота-то! И шуба и наряды — все тут? Э, не горюй, девушка, выучишься, на хорошее место определишься, добра наживешь.

И с той же охотой, как спрашивала, принялась подробно выкладывать собственную жизнь, все свои обстоятельства. Что навещала в деревне родню, свезла гостинцев и себе кой-чего запасла деревенского. А едет в Москву. Пассажирский из-под носу ушел, сунула начальнику станции, чтобы пустил на товарняк. А в Москве муж швейцаром служит в ресторане «Ампир», в самом центре, Тверская — рукой подать. Петровка еще того ближе, тут тебе и Мюр-Мерилиз и чего душа пожелает.

Все, о чем она сообщала — Тверская, Петровка, Мюр-Мерилиз, швейцар, ресторан «Ампир» — и что «сунула» начальнику станции, все это было так далеко от жизненного опыта Кати, она слушала, полна удивления.

За разговором время летело незаметно, и вскоре увидела Катя знакомые белые стены, белую строгую колокольню — гулкий колокольный звон разливался когда-то далеко по окрестностям.

Странное, бедное, милое и трудное отрочество ее за монастырскими стенами встало перед Катей. Все, кого Катя любила, где они? Вася? Баба-Кока? Ах, на минутку увидеть бы Фросю с Васюней! Может, сойти? Увидеться с Фросей? Рискнуть? Нет, не рискнула. А Лина Савельева где? И ее потеряла из виду...

Поезд постоял на станции Александров и с третьим ударом колокола тронулся в путь. Муж и жена, взвалив на плечи мешки, сошли в Александрове. Катя осталась вдвоем с кудрявой болтушкой.

— Боялась, снимут. Не сняли. Я уж и сунуть припасла, — откровенно признавалась та.

Вообще Катина попутчица была откровенна. Ей нравилось поражать Катю. Взахлеб рассказывать о нэпманских кутежах в

ресторанах, «врать не буду, самой бывать не случалось, а от мужа слышала досыта. А муженек башковит. Сквозь землю увидит. Только дверь посетитель открыл, мой с одного взгляда определит, кто сколько даст. Разно в Москве люди живут. Тот спозаранку на биржу труда, безработным. Другой на завод — поднимать производство. А тот в собственную лавку хозяином. А вечерами на глухие улицы не показывай носу, попрыгунчики на ходулях в белых халатах, чисто привидения, стерегут налететь — рта не успеешь разинуть, догола оберут, да на Сухаревку. На той Сухаревке все равно как в старое время: покупай-продавай, всякому товару покупатель сыщется. А кушанья в «Ампире» — индейка под соусом, а то рябчик в сметане, слыхала?..»

Сидя на узле, обхватив коленки, Катя слушала рассеянно, ей уже надоели однообразные рассказы неумолкавшей попутчицы. Но она так добродушно делилась, встряхивая кудряшками, удачливостью своей была так довольна, что Катя не перебивала, а, напротив, одобрительно кивала и хмыкала.

Пролетел мимо домик стрелочника об одном оконце. Сам стрелочник с зеленым флажком у переезда. Деревянные домишки городской окраины, с разноцветными флоксами, пышно цветущими в палисадниках. Поплыла мимо платформа, одноэтажное здание станции с высокими полукружьями окон и вывеской над входом «Город Сергиев», платформа и начальник станции в форменной фуражке, станционные постройки, водокачка, поленница дров проплывают мимо, и дома и сады противоположной окраины города медленно-медленно уходят назад.

— Не остановились! Что они делают? — в ужасе закричала Катя.

Куда ее везут? Что с ней будет?

Товарняк не спеша погромыхивал на стыках рельсов. За городом, где рельсы делают некрутой поворот, поезд пошел еще тише, словно бы раздумывал, не стать ли? Или без остановки так и громыхать до Москвы?

— Прыгай, прыгай! — тоже вскочив со своего фибрового чемодана, возбужденно кричала толстуха. — Не то в Москву отвезут. Куда тебе деться в Москве? Прыгай, пока скорости паровоз не набрал. По ходу вперед. Ай, останавливается?

Поезд, верно, вроде бы решил остановиться, вагоны еле ползли. Тише, тише. И стали.

— Прыгай, а я вслед узлы кину! — почти выталкивала Катю с площадки кучерявая толстуха в синем жакете и высоких башмаках на шнурках.

Катя прыгнула и кубарем покатилась с крутого откоса. Здорово ушибла левый бок и коленку. Не чуя боли, вскочила, полезла на откос.

Паровоз озорно, тонко свистнул, словно дразнясь, плюнулся

паром и пошел, не спеша, качая из стороны в сторону вагоны.

— Стойте! Куда вы? Стойте! — бессмысленно звала Катя, карабкаясь на откос.

Над головой грохотало, стук колес больно отдавался в ушах.

Грохот тише, гром глуше. Поезд ушел.

Катя взобралась на насыпь. Пустые рельсы. Блестящие, прямые, пустые, бегущие вдаль. Где узлы? Ведь она сказала, что кинет.

Где узлы со всеми ее пожитками и подорожниками — пирогами, ватрушками, вареными яйцами, что насовали на прощание иваньковские бабы?

Катя пошла вдоль рельсов. Пыталась бежать, постанывая от боли в коленке. Рельсы видны далеко вперед, прямые, пустые. Узлов нет. Пошла обратно. Она не заметила то место, где спрыгнула с подножки, и теперь искала его. Наверное, узлы валяются там или скатились где-нибудь под откос. Ходила, ходила. Слезала под откос, снова карабкалась вверх. Все еще не верила, что ее обокрали. Ни смены белья, ни кофтенки, ни зимнего пальто, наследства бабы-Коки. На ней темно-лиловое платье с серым газовым шарфиком, как впервые почти год назад она вошла в класс, летнее пальтишко да в кармане две бумаги с печатями.

Одна о сокращении тов. К. П. Бектышевой.

Другая — приглашение Сергиевского педагогического техникума.

А толстуха с кудряшками?.. Такая откровенная, выкладывает, выкладывает ласковым голосом всю свою жизнь! Неужели завтра понесет на Сухаревку Катины узлы продавать? Сыта, довольна. Зачем ей это? И после будет слушать мужнины рассказы о ресторане «Ампир»...

А ты? Ты ее слушала? Да. И кивала...

Поделом тебе. Не кивай.

35

Врата — глубокий свод внутри древних стен, когда-то крепостных, с боевыми башнями и узкими щелями бойниц. Тяжелый, увенчанный как бы шлемом собор; пятиярусная, устремленная ввысь колокольня; храмы, часовни; келейный корпус с шатровыми крыльцами; обнесенное просторной галереей, по-старинному гульбищем, все в затейливой лепке и росписи, двухэтажное здание из кирпича и белого камня, как после узнается — трапезная. Троице-Сергиевский монастырь.

Как? Опять монастырь? Это уж слишком! Выдумки. Никто не поверит.

Между тем это была не выдумка, а истинная правда. Опять монастырь, Троице-Сергиевская лавра.

Катя изумленно рассматривала храмы, церкви и разные здания, расписанные, украшенные лепкой, фронтонами, арками. Подавленная происшедшим в дороге, с тяжелым сердцем вступала она в тесно застроенный монастырский двор. Неужели и здесь было то же, что узнано в Александровском первоклассном девичьем: деспотизм монастырских властей, смиренность и потаенный разврат лицемерных монахов и монашек и искалеченные жизни, как Фросина?..

Скоро Катя заметила в монастырском дворе тут и там следы разоренности: поваленную садовую решетку вокруг бывшего когда-то цветника, неподметенные дорожки, кучи хлама и мусора.

Она поискала скамейку и, не найдя, села на темную, заросшую плюшевым мхом надгробную плиту возле храма.

Здесь, в лавре, общежитие педагогического техникума. Она у цели.

Болела нога. Чулок на разбитой коленке взмок от крови. Надо бы перевязать. Хочется пить. Пересохло во рту, так хочется пить...

Быстро опускался августовский вечер. Не опускался, а подползал от косматых кустов меж могилами, от мраморных плит и надгробий под раскидистыми кронами лип, от кладбищенской, не просыхающей за лето холодной земли.

Сама не заметив того, Катя забрела на кладбище. Небольшое монастырское кладбище возле храма, где когда-то, наверное, погребались высокие духовные лица да посадские именитые граждане за порядочный вклад в монастырскую кассу.

Небо над шатрами деревьев еще не погасло, еще светлело сквозь ветви, а кладбище уже окутывал осенний сумрачный вечер.

Мимо невысокой кладбищенской оградки, глухо топая коваными сапогами по каменным плитам мостовой, промаршировал отряд, человек двадцать в военных шинелях.

Откуда-то с другой стороны храма донеслись девичьи голоса. Катя пошла на голоса, кусая губу от боли. Распухшая коленка горела, словно ее пекли на раскаленных углях.

Голоса доносились из трапезной. Девушки вышли оттуда гурьбой и сбегали во двор по широкой лестнице; несколько смешливых, беспечно болтающих девушек, видно, жизнь их ничем не была омрачена. Так представилось Кате, бедной Кате, издали с завистью глядящей на них. Вот рассеются сейчас, как появились, и бросят ее, беспризорную, посреди разрисованных, как игрушки, церквей.

Но тут произошло нечто столь поразительное, что иначе как чудом нельзя назвать. Бывает, в самые наши тяжкие и горькие дни нежданно привалит удача. Ты тонешь, идешь ко дну, истаяли

последние силы, и в эту-то именно роковую минуту тебе неожиданно кидают спасательный круг.

— Катя! Катька Бектышева! Катя! — разнеслось на весь монастырь, и из девичьей стаи вынесло Лину Савельеву. Она! Крепкая, плотная, с толстой русой косой, не знающая сомнений командирша Лина Савельева, верховод их недавних школьных затей, глава всех ответственных мероприятий.

— Катька, ты к нам? Ура! Девочки, новенькая, свойская, наша, я ее насквозь знаю, ручаюсь. Ой, да какая ты, Катя... вся перемазанная, где ты так извозилась? — Катин вид на секунду Лину смутил. Но не дольше секунды. — Ладно, идем.

И через пять минут они очутились в маленькой комнатке бывшего келейного корпуса, теперь общежития Сергиевского педагогического техникума. Здесь изголовьями к стене стояли в ряд три железные койки: две со взбитыми подушками, опрятно застеленные вместо пикейных одеял простынями, одна незастеленная, с голым, из мешковины матрацем.

— Тебя дожидается, — сказала Лина. — Мы с Клавкой пока вдвоем, ты будешь третьей, устраивайся. Будто предчувствовала, место для тебя сберегла! Мы с Клавкой Пирожковой комнату эту боем отбили, у других окна в стену уперлись, а наши во двор глядят, красота! Сокращенная? Ясно. И мы. Нас в январе сократили, а мы, не будь дуры, тут же сюда, на подготовительные курсы и без экзаменов в техникум. Выкладывай! — приказала она. — Да не прячься. Все, без утайки.

И по-бабьи поджала щеку ладонью, другой подперла локоток, жалостливо слушая Катин невеселый рассказ.

— Великомученица ты, Катерина. Когда я тебя жить научу? Спекулянтку не распознала! Их за версту видно, если не вовсе слепа. А в школе сидела зачем, когда сократили? Приглашения ждала? Товарищ Бектышева, окажите милость, мечтаем просветить вашу непросвещенную голову, да?

Так язвительно отчитывала Катю Лина Савельева, а сама между тем доставала из тумбочки оловянную тарелку с ячневой размазней на воде, кусок черствого хлеба.

— Держу про запас. На случай незваного гостя. Ешь.

И понеслась с жестяной кружкой за кипятком в кубовую.

— Катька, Катька! Видела бы, как я культуру на селе у себя в красном уголке подняла! «Бориса Годунова» представляли. Я и режиссер и суфлер. Тустеп показала девчатам, революционные песни хором разучивали. За полгода дел наворочала — другая в две зимы не осилит. А под сокращение подвели. Ладно, государственная политика, смиримся. Против Совнаркома не попрешь, тем более папаня секретарь партячейки, лишнего покритиковать не даст, за косу оттаскает, пожалуй. Я и сама комсомолка. А ты думала! Не представляю, как жить безыдейной.

Некоторое время она пытливо вглядывалась в Катю, соображая, должно быть, насчет ее, Катиной, идейности.

— Втянем. Не вдруг. Проявишь себя на деле, тогда... А еще новость, ахнешь!

И она достала из укладки, где хранилось белье, заверенную сельским Советом справку, официально и неоспоримо удостоверяющую год и место рождения Лины Савельевой.

— И что? — не поняла Катя.

— Как что?! Читай: «Лина»! Добилась. Теперь законно, не придерешься. Навек. Про Акулину забудем. Ну, все. С моим личным вопросом покончено. Займемся твоим. Твоя задача — экзамены. Для опоздавших последний срок послезавтра. Садись и зубри.

Лина слетала куда-то, раздобыла толстенный учебник — «Историю педагогики».

— Полистай, кое-что схватишь, а вызовут отвечать, пуще всего жми на пролетарский подход. Мы пролетарские учителя и так далее...

Лина исчезла — она уже успела стать здесь членом студкома: «дел по горло, хоть кричи караул, каждый день заседаем», — а Катя уселась зубрить.

...Профессор, с благородной сединой, глубокими бороздами морщин на щеках и набрякшими под глазами мешками, в белом накрахмаленном воротничке, подпиравшем бритый старческий подбородок, протянул на столе худые, жилистые руки с тонкими музыкальными пальцами.

«Спросите об Ушинском. Ушинском. Ушинском», — мысленно внушала Катя.

— Итак, что есть предмет педагогики?

— Педагогика есть... есть... наука о воспитании... пролетарском.

— Гм.— Профессор пошевелил музыкальными пальцами, как бы перебирая клавиши.— Гм! Что вам известно о системе Фребелевских игр?

Молчание. Безнадежное, не нарушаемое ни наводящим вопросом, ни ободряющим взглядом.

Булыжник какой-то этот профессор! Классически дореволюционный тип.

— Что вам известно о педагогических взглядах Руссо?

О Руссо кое-что случайно было Кате известно, ответила более или менее связно. И даже более или менее к месту ввернула эпитет «пролетарский». После чего профессор снова перебрал воображаемые клавиши, помолчал и, безусловно с недобрым умыслом, наверняка для провала, пожелал узнать, представителем какого направления педагогической мысли является выдающийся ученый Наторп. За сутки Катя, пусть бегло, перелистала все триста стра-

ниц «Истории педагогики» и не нашла никакого Наторпа. Что еще за Наторп?

С выражением застарелого утомления в лице, не переставая скучно перебирать пальцами, профессор сообщил Кате, что Наторп является представителем современной философской педагогики. Что философская педагогика, строяемая путем отвлеченных умозрений, утопична...

— Зачем в таком случае мне о ней знать?

— Гм...— Профессор оправил жесткие белые манжеты в рукавах пиджака, помедлил и холодно отпустил Катю.— Вы намереваетесь поступить на четвертый, специальный для учителей-практиков курс, не имея ни педагогических знаний, ни взглядов.

В какие-нибудь четверть часа выяснилась полная непригодность Кати учиться в педтехникуме. Но ее не отчислили тут же. Ей дали лист бумаги и предложили написать сочинение.

Экзаменовались опоздавшие — несколько девиц и один парень, некрасивый, с красным мясистым носом, к тому же косой на один глаз: правый глядел прямо, а левый бежал куда-то вбок.

Все они, не лучше Кати, на педагогике провалились. Подвел представитель философской педагогики Наторп. Заодно и Дьюи, и Локк, и Руссо...

— Будет ли это сочинение или отчет, как вам угодно. Вы можете рассказать случай из вашей школьной практики. Кто что хочет.

Дав такое задание, преподаватель заложил руки за спину и не спеша стал прохаживаться по классу, погруженный в свои мысли. Подойдет к окну, постоит. За окном старый сад, листья клена на восток зарумянились, а на север еще по-летнему зелены. Слышен дятел. Осенний дятел. Неуловимым чем-то, какой-то грустноватой голубизной напоминает и небо о близости осени.

Преподаватель постоял у окна и сел за стол, погрузился в книгу, не взглянув на класс, будто и дела ему нет до экзаменов.

«Отчего вы все так равнодушны?» — подумала Катя.

Чистый лист дешевенькой сероватой бумаги лежал перед ней на парте. Она погладила лист. Она любила бумагу. Вид бумаги вызывал в ней неясную радость.

«О чем написать? Ведь им все равно. Да, он сказал, можно описать какой-нибудь случай...»

Кате помнились и, наверное, во всю жизнь не забудутся зимние вечера, когда в сельце, вокруг, на полях, во всем мире такое безмолвие, такая чуткая морозная тишина, что на версту слышен тонкий хруст снега под ногами прохожего. Когда в небе, как фонари, зажгутся яркие звезды, ученики, до изнеможения и счастья накатавшись на салазках и деревянных коньках, со всех ног летят к ней, в ее школьную кухню. Щеки морозом нажгло докрасна. Глаза горят, как те фонари.

Они усаживаются на полу вокруг лоханки с водой, куда время от времени отвалится из светца конец обгоревшей лучины. За лучиной надо следить. На эту должность назначается самый ответственный ученик, может быть будущий великий математик, может быть второй Лобачевский, а пока Федя Мамаев, из старших. Случалось, и он зазевается, упустит время сменить лучину, лучина шлепнется в лоханку, шипя, погаснет, а лишнюю спичку жаль тратить, и они слушают впотьмах Катин рассказ о принце и нищем Марка Твена. Конечно, Катя не могла знать наизусть всего Марка Твена и приключения принца и нищего отчасти придумывала. Они оба были отважны и благородны, ее принц и нищий, и испытания их никак не кончались. Из вечера в вечер собирались Катины ученики у лучины. А потом...

Тут Катя оставила на минуту перо и громко прыснула. Да, прыснула со смеху в кулак, да громко, на весь класс. Когда на нее напал смех, она не могла удержаться. Чем неуместнее и неприличнее в данный момент был смех, тем больше ее забирало.

Преподаватель поднял от книги глаза и в недоумении глядел на нее. Без слов. Видимо, очень уж был удивлен. Это ее отрезвило.

Он моложе профессора, едва ли больше сорока. Наверное, тоже из бывших. Высокий, открытый лоб. Пышные, с коричневым отливом, небрежно откинутае назад и свисающие на виски волосы. Усы, тоже каштановые и пышные, над тонкими нервными губами. Белого воротничка и накрахмаленных манжет не видать, и пиджак довольно потертый. Но все равно, наверное, из бывших. Хотя что-то проглядывает в нем добролюбовское...

Да, так вот... Жаль, но приключения принца и нищего рано или поздно окончились. Алеха Смородин опечаленно хлопал ресницами. Канючил: «Катерина Платоновна, а дальше-то что?»

Все ребята канючили: «Катерина Платоновна, дальше давайте».

Но она уже всю себя исчерпала, приключения нищего и принца окончились.

Однажды под вечер, в тот час, когда у них с бабой-Кокой в комнате уютно топилась голландка, явился председатель. Ничего в том особого не было, он нередко заходил, но нынче был какой-то особенный, на себя не похожий. Ноябрьской тучи хмурее.

— Здравствуйте,— еле буркнул. Присел у печки на корточки, курит.

— Изволите гневаться? — полушуткой спросила Ксения Васильевна.

У нее с сельсоветом отношения были свободные. С Петром Игнатьевичем держалась, как говорится, на равных.

— В точку, Ксения Васильевна. Гневаюсь.— И рывкнул, буквально рывкнул, раскрывая тем весь свой необузданный нрав: — Ты чему их, Катерина Платоновна, учишь?

Катя смешалась, не понимала, молчала.

Он вытащил из-за пазухи что-то похожее на колпак из газеты, с круглым отверстием посередке, клиньями вокруг отверстия.

— Это что?

— Что-о? — не понимая, повторили Катя и Ксения Васильевна.

— Ишь непонятливые! Невиновны ни в чем. Как есть ни за что не в ответе! Глядите в таком разе, любуйтесь.

И надел на голову колпак из газеты.

— Ты, Катерина Платоновна, ребятам старорежимные сказки плетешь, а о последствиях думаешь? Что мы видим перед собой? Царскую видим корону. Алеха мой из газеты «Беднота» смастерил. Из нашей рабоче-крестьянской газеты корону вырезал, напялил и ходит. «Я принц». Это Алеха-то мой — принц? В короне! А? Ты, Катерина Платоновна, чего в башки им вколачиваешь? Ты куда их ведешь, распрекрасный педагог наш советский?

36

— Катерина Платоновна Бектышева!

Преподаватель назвал ее не первой, но по алфавиту она всегда получалась близко к первой.

Студентов четвертого курса преподаватель называл полным именем — здесь учились «практики», с педагогическим стажем в год, два, даже три.

— Бектышева Екатерина Платоновна!

Он держал лист, исписанный маленькими буквами. Вообще-то у нее был размашистый почерк, но она сэкономила бумагу и писала мелко, лепила строку к строке.

— Ваше сочинение... Завязка. Событие. Даже намек на характер... почти рассказ. Неуклюже, но что-то обещает...

— Федор Филиппович! — завопила Лина Савельева.— Она у нас, когда во второй ступени училась, повести писала.

Федор Филиппович приподнял каштановые брови, сгоняя на широченном лбине нити морщин. Тонкие губы покривились в усмешке.

— Повести — преимущественно дамский жанр. Большая проза — роман и рассказ.

— А Чехов? «Степь» Чехова? — осмелилась Катя.

— Гению все подвластно. Под пером Чехова или Тургенева все единственно и неповторимо. Но перейдем к предмету наших занятий. Наш предмет — психология.

Из туго набитого, изрядно потрепанного, когда-то желтого, а сейчас пятнисто-рыжего портфеля он вынул несколько книжек.

— Уильям Джемс. Беседы с учителями о психологии. Перевод с английского. Петроград. 1919 год.

Довольно тощая книжица, далеко до «Истории педагогики». Популярны беседы с американскими учителями начальных школ ученого-психолога Уильяма Джемса, приглашенного Гарвардским университетом. Ого!..

— Получайте по одному экземпляру на комнату.

Некоторое время в аудитории стоял гам, как в заурядном школьном классе или вечернем кружении галок вокруг колокольни, — распределяли учебники. Естественно, руководила распределением Лина.

— Итак, Уильям Джемс. Передовой педагог. Не материалист. Будем держать это в уме и в некоторых случаях спорить. Однако обширность знаний и блеск изложения так пленительны, что психология как наука, надеюсь, заинтересует вас... если вы способны мыслить не по шаблону и не только о каждодневных практических делах и заботах, но и об отвлеченных понятиях.

Федор Филиппович произносил вступительное слово, расхаживая по классу, заложив за спину руки и то ли насмешливо, то ли нервно кривя тонкие губы под каштановыми усами.

Может быть, он не возлагал на своих слушателей особых надежд. Предмет разговора был интересен ему прежде всего для себя самого. Он как бы беседовал с ученым-психологом Уильямом Джемсом.

— Вы утверждаете, коллега, что организация воспитательного дела в США лучше, чем во всех остальных странах. Через несколько поколений, утверждаете вы, Америка будет способна принять на себя руководство в воспитании мира. Какие же основания для столь оптимистических взлетов фантазии? Разве что богатство?.. Да, Америка прочно и несравненно богата. А мы бедны. Были и есть... Но вот Белинский... «Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науке и искусству и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества». Эти слова, коллега Джемс, сказаны были в прошлом веке. В рабской России. Когда русский крепостной народ, не знающий грамоты, не подозревал, что есть просвещение. Могучая мечта! Вы пожимаете плечами: «Может ли это сбыться?» Не знаю, коллега Джемс. Наша школа в состоянии разрушений и поисков. Мы мастера разрушать. Что касается поисков... будем учиться. Кто ищет — находит. Относительно же первенства Америки в воспитании мира... вы слишком практичны, господа американцы, слишком дорожите материальными ценностями, вам не хватает духовности... Впрочем, я говорю

не о народе. Народ — это что-то большое, загадочное... Не решаюсь судить о народе.

Без малейшего сопротивления со стороны Лины и Клавы Катя завладела выданным на их комнату учебником. Обе ее подружки после лекций вмиг улетучились заниматься общественной деятельностью. Клава — член кухонной комиссии. Что бы ни толковал, кривя тонкие губы, Федор Филиппович о практических делах и заботах, именно ими была каждодневно занята ее голова. В течение лекции она не отвела от преподавателя глаз, прилежно слушая и почти ни слова не слыша, ибо весь урок раскидывала мозгами относительно обеда: завтра, послезавтра, особенно нынче. Особенно нынче! Первый учебный день. Порядочно прибыло новеньких. Не просчитаться бы с порциями.

Понятно поэтому, что, несмотря на старания Федора Филипповича, представление об ученом-психологе Уильяме Джемсе у Клавы составилось довольно расплывчатое. Правду сказать, всего и запомнилось — Джемс.

Катя между тем бодро шагала в общежитие с Джемсом под мышкой. Занимательный день! Занимательный тип Федор Филиппович. Почему-то кажется Кате, он и сам впервые знакомится с Джемсом, вместе с ними входит в новую область. Говорит, будто думает вслух...

Катя спешила. Учебный корпус — двухэтажный особняк, реквизированный у купца, разбогатевшего в старое время на скупке костей для мыловарения, — стоял на зеленой улочке в получасе ходьбы от лавры. Катя спешила, почти бежала. Давно не испытывала она такого подъема, интереса к жизни, возбуждения ума!

Может быть, в ней сидит дар ученого? Был спрятан, глубоко где-то зарыт, неблагоприятные условия жизни не давали раскрыться. Да, вероятно, так и бывает. Все случается вдруг. Где-то таится и вдруг...

Он догнал ее возле трапезной. Он — это тот, экзаменовавшийся вместе с Катей некрасивый парень, у которого один глаз глядел прямо, а другой косил вбок.

— Ух! — громко выдохнул он, косясь на нее. — Ну и несетесь! Насилу догнал.

— Зачем?

— Здравствуйте! Затем, что учимся на одном курсе. Вас знаю, Эф-Эф разрекламировал. А я без рекламы, просто Григорий Кобырев. Будем знакомы. Мой девиз — равноправие, но для вас в виде исключения обед получу.

И он зашагал в очередь к оконцу кое-как сколоченной фанерной перегородки, делившей бывшую монастырскую трапезную на теперешнюю студенческую столовку и кухню.

— Bravo, постные щи! — возвестил он, неся оловянные тарелки с жиденьким варевом из листьев капусты.

— Мясные бы лучше,— возразила Катя.

— Толстовец, и никого живого не ем.— Он жадно хлебал щи, успевая между двумя ложками озадачить Катю новым сообщением: — Не убиваю. Борюсь со злом непротивлением злу. Из-за толстовских убеждений меня и в армию не взяли.

— А не потому...— Катя вовремя спохватилась, прикусила язык.

— ...что кривоглаз? — спокойно продолжил он.— Нет. Я им доказал, что спасти мир может только толстовство. Вам я тоже докажу. Вы, мне кажется, соображаете.

После обеда Катя все-таки от него улизнула. Постные щи и полполовешки ячневой каши только раздражили аппетит, есть еще больше хотелось, но дома ни черствой корки не сыщешь.

Она сбросила туфли и с ногами забралась на кровать.

Что же есть психология? Наука. А преподавание что? Искусство. Прекрасно, прекрасно! Хорошему учителю мало знать, говорит Джемс, необходимо «особое дарование, тонкий такт, понимание положения каждой минуты».

Положение каждой минуты? А помните, Катерина Платоновна, одну минуту на первом вашем уроке, когда вы встали в тупик перед задачкой на четыре арифметических правила и провалились сквозь землю?

Молодчина Уильям Джемс! Катя читала его беседы не отрываясь, увлекаясь все больше. Пока не спорила. Пусть он не материалист, пусть, бог с ним, пока незаметно, но Катя, читая его, исполнялась уважением к себе за то, что была и будет учительницей. Так почтительно, влюбленно и так понятно говорит ученый с учителями о замечательном учительском деле. Так свободно...

Нет, не всегда понятно. Поток размышлений, ассоциаций, отступлений в различные области обрушивается на Катю. Она изо всех сил напрягает волю и голову, чтобы следить за мыслью, ухватить суть доказательств.

Юмор освежает ее. Да, представьте, оказывается, можно и об ученых предметах иногда рассказывать с юмором и массой жизненных случаев. Такие страницы легко и интересно читать. Запоминаешь мгновенно. Но вот снова теория. Стоп. Вернемся назад. Перечитаем. Еще, еще, еще раз. Подумаем.

— К следующему занятию вы сделаете конспект первой лекции,— сказал Федор Филиппович.— Каждую неделю вы будете конспектировать главы одну за другой. Вы будете учиться самостоятельно думать, анализировать и излагать... хотя бы грамотно. Я имею в виду логику рассуждений и выводов.

Лина и Клава задание Федора Филипповича встретили кисло. А Кате, хотя она, как и все ее однокурсники, никогда не писала

конспектов, даже водить по бумаге пером доставляло удовольствие.

С чего же начать? Психология — наука, преподавание — искусство. Это мы поняли. Дальше мы поняли: важно знать психологию детства, но не убивайтесь, если вы не ученый-психолог. Вы им можете стать. Можете стать им, оставаясь учителем.

Здорово забирает этот Джемс за живое!

Громкий стук в дверь прервал размышления Кати о воспитании воли, врожденных и приобретенных реакциях и законах привычки.

Стучали, вернее сказать, дубасили в дверь кулаком.

— Делегация!

37

Дубасил парень ростом с каланчу, в синей косоворотке, туго подпоясанный узеньким ремешком, в сандалиях на босу ногу.

Распахнул дверь, отступил. Вперед вышли Лина и Клава, что-то белое, пестрое, сиренево-розовое неся на вытянутых руках, как в опере вносят золоченые блюда с лебедями к государеву столу.

— Коля Камушкин, секретарь комсомольской ячейки, — кивнула Лина на парня. — Не задавайся, Камушкин, всего неделя, как выбрали. — И важно, будто открывая собрание: — Товарищ Бектышева, да встань же! Говорят тебе, делегация!

Катя вскочила, сунув ноги в растоптанные туфли, поправляя упавшие по плечам волосы. «Не говорите! Все поняла. Не произносите речей!»

Но разве могла Лина Савельева, активистка, член студкома, — разве могла она, при ее выдающемся положении в техникуме, не произнести подходящей к случаю речи?

Так по инициативе студкома, при поддержке бюро комсомольской ячейки студентке техникума Екатерине Бектышевой, бесстыдно ограбленной классовым врагом на пути ее следования к пролетарской учебе, было выделено из фонда горсовета и торжественно вручено одно ситцевое платье, две смены белья, один ордер на зимнее пальто.

— Теперь можешь забыть о нужде и полностью отдавать умственные силы учебе, — подвел итоги секретарь комсомольской ячейки Коля Камушкин.

Лина запустила глаз в Катину тетрадку.

— Батюшки светы, она уж и конспект накатала. Катерина! Непостижимая личность, светлый луч...

— Неуместное сравнение, если продолжить анализ пьесы Островского, — строго возразил секретарь ячейки Коля Камушкин. — Она светлый луч, а мы? Темное царство?

— Ну, пошел принципиальничать. Знай: Катерина Бектышева — украшение четвертого курса.

И как-то само собой получилось, спустя день Катя писала для Лины конспект главы из «Бесед с учителями».

— Понимаешь, топливный кризис, — горестно делилась Лина, искренне чувствуя себя в ответе за топливный кризис, нехватку крупы и капусты и все остальные нехватки. — Оглянуться не успеешь, как зима катит в глаза, а у нас ни поленца. Абсолютно нечем топить. Заведующий бросил призыв: все общественные организации на помощь!

Понятно, в такой напряженной ситуации члену студкома не до психологии.

И Катя засела писать второй вариант конспекта. И... увлеклась. Нужно этот второй вариант построить так, чтобы ни-сколько не походил на первый. В первом сначала рассуждаем, доказываем, а затем делаем вывод. А можно наоборот. Можно по-разному строить дом. Без затей, как ее Иваньковская школка, или с затеями, в деревянных кружевах и резьбе, как бывшая пятистенка Силы Мартыныча, теперь сельсовет, или с мезонином, балконом, колоннами, как усадьба матери в Заборье.

Интересно искать другие примеры, другие слова. Короче говоря, эта работа Кате была не скучна. Напротив, фантазия разыгралась, второй вариант получился вольнее, может быть, даже и лишку подпустила она в новое сочинение вольностей. Так или иначе, второй вариант писался с охотой.

Но когда дело дошло до третьего...

В их девичьей комнате у каждой кровати по тумбочке. Катино имущество из фонда горсовета все умещалось в тумбочке. Лина побогаче. У Лины под кроватью берестовый короб. У Клавы и во-все кованый сундучок на замке, не очень великий, но под койку не лезет, приютился у печки.

Клава сидела на кованом сундуке с «Беседами» ученого Уильяма Джемса на коленях, и ее светленькие глазки жалобно и кротко молили:

— Катенька, выручи... И я когда пригожусь.

Третий вариант писать уже не интересно. И трудно. Все по-гасло, гладенько, аккуратно.

Клава без критики переписала в свою тетрадку конспект.

— Катька, хвалю, во! Руку набила. Спасибо, Катя, истинный друг, вся на деле.

Пригладила перед зеркальцем уложенные на ушах кренделями косички и — до свидания.

Так и пошло. Катя писала по три варианта каждой главы, а Федор Филиппович похваливал серьезно работающую троицу савельевской комнаты.

Савельевской комнату называли по Лине. Лина выступала на

собраниях. Лину выбирали в президиум. Лину назначали в разные комиссии и подкомиссии, и удивительно, как только техникум целых два года со дня открытия сумел продержаться без Лины Савельевой.

Разумеется, подруги ценили Катин бескорыстный труд на общую пользу и старались отплатить чем могли, так что в конечном счете труд получался не совсем бескорыстным. Вот, засидевшись в читальне, Катя на всех парусах несется домой: ее очередь мыть в комнате пол. Прибегает — и что же? Пол вымыт.

— Ладно, ты уж конспекты пиши, — снисходительно бросит Клава Пирожкова.

Что касается Лины, раза два в месяц она закатывала пир на весь мир. Пирыв устраивались, когда в воскресный день кто-нибудь из деревенских, а то и отец, приезжали на базар. Привозили Лине из дома гостинцы — четвертную бутылку топленого жирного молока темно-желтого цвета, пяток ржанных сдобных лепешек, пяток круто сваренных яиц.

Поджидая с базара земляков или отца, Лина выпроваживала Катю с Клавой из комнаты.

— Девчонки, поболтайте где-нибудь, покамест тятя кипятком побалуется.

Они уходили, а она молнией неслась в кубовую, до краев наливала жестяную кружку, доставала из тумбочки несколько сбереженных для этого случая ландринков из студенческого пайка и, подперев щеку ладонью, жадно слушала деревенские новости, какие рассказывал тятя, прихлебывая маленькими глотками кипятка, обжигаясь о горячую жесть.

— Ситуация у нас в деревне, Акулька, таковская...

Из-за этой Акульки (привязалось постылое имя, и справка казенная есть, а нет, не отвяжется!), по этой самой причине выпроваживала Лина подружек, не показывала им своего партийного, боевого отца. Весь фронт гражданской войны прошел, крестьянскую жизнь ставит на новые рельсы, а она прячет такого геройского отца! И ведь идейная комсомолка, а вся погрязла в предрассудке. Наедине с собой она без пощады критиковала и бичевала себя, но не в силах была побороть предрассудок.

Зато вечером, когда с базара разъедутся, опасность минует, Лина во всю ширь своей размашистой натуры выставляла деревенские гостинцы на стол.

— Ешьте, подруженьки, наедайтесь до другого базара, молочко пейте топленое.

Кроме девчат, приходил еще один гость. Более всего перед ним не хотелось ей быть Акулькой. Хотелось, чтобы он ее знал не деревенщиной, вчера из лаптей, а культурной горожанкой Линой Савельевой.

Гость был курсантом Военной электротехнической школы, или, как ее называли кратко, — ВЭШ.

Все знали, и Катя знала: ВЭШ — дитя революции. Юное, еще не исполнилось года, как явилось на свет. Суждено было начаться существованию ВЭШ в той же Сергиевской лавре, по соседству с общежитием педагогического техникума.

Катя Бектышева с подругами из своих окон наблюдала, как в положенный час маршируют красноармейцы, вернувшиеся с гражданской войны. Отвоевали. Теперь усваивают науку, в первую очередь нужную Советской стране.

Из окон савельевской комнаты видны Чертоги. В прежние времена им было название — Царские. Фасад в богатом разнообразье изразцов, сдвоенные окна, как бы в рамах из пестрого камня, под цветными кокошниками, другие затейливые архитектурные украшения придавали Чертогам праздничный вид.

Теперь над главным входом в Чертоги на красном полотнище едва не аршинными буквами выведено: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны. Ленин».

Призыв и приказ: электрификация всей страны!

Давно ли ты, Катя, читала Толстого и Чехова при тощем огонечке лучины? Горько ело дымом глаза, ты вытирала слезы, сморкалась, за вечер платок вымокнет насквозь, нос от копоти прочернится.

И вот — электрификация. И рядом с тобою люди, мобилизованные Советской властью открывать и устраивать новый этап хозяйства и жизни страны. Катя думала об этом другими, простыми словами, но смысл был именно такой, высокий, небудничный.

Между тем, судя по Лениному гостю, курсанты ВЭШ, которым предназначалось в будущем осиять электрическим светом всю Советскую землю, были довольно обыкновенными людьми.

Лениного гостя звали Степан Бирюков. Лина его называла Степанчик или чаще Бирюк.

— Бирюк, здорово! — с притворной небрежностью встречала она.

А он хоть и большой, неловкий и увалень, а совсем не бирюк, не угрюм. Но стеснителен. Все как будто боится помешать.

Лина насмешничала:

— Как только ты, Бирюк, воевал? С тебя апостола святого писать.

Он молча улыбался добродушной улыбкой, снимал со стены гитару и тихонько наигрывал, подбирая мелодию.

Версты, как дни, пролетают,
Конь подо мною кипит.
Юность моя удалая —
Цоканье звонких копыт.

— Жаров, Александр Жаров, наш комсомольский поэт.

Самые боевые мотивы у Бирюка звучали задумчиво, даже грустновато.

Савельевская комната выделялась в общежитии. У них гитара. Правдами или неправдами Лина раздобыла ее, когда оборудовала у себя в селе красный уголок. Красный уголок то ли временно, то ли навовсе закрылся, и гитара перекочевала в общежитие техникума. На гитару вечерами сойдутся девчата из соседних комнат. Три койки, три табуретки, Клавин сундук — не хватало сидений, так тесно набьется народу. Вечерами под гитару поют. Или спорят. О чем? Самые животрепещущие вопросы до хрипоты обсуждались в савельевской комнате.

Когда наступит мировой коммунизм? Может ли комсомолец полюбить кулацкую дочь? Надолго ли нэп? Как мы относимся к нэпу?

Нужно не забывать, что староста комнаты Лина Савельева была ведущим общественным деятелем техникума. Оттого и темы разговоров бывали почти всегда злободневными. А может быть, сказывалось влияние курсанта ВЭШ Бирюкова, постоянного гостя савельевской комнаты.

38

Он и затащил Катю в клуб ВЭШ на субботние танцы.

— Ваши педагогички все по субботам у нас, таких, как ты, улиток немного.

— Зря агитируешь, потерпишь поражение, Бирюк, — скептически пожимала плечами Лина. — Мы с Клавой уж как старались — не вышло. Вся в науке. С лекций в читальню, из читальни на лекции.

— Не в одних читальнях и лекциях жизнь. Айда, Катя, на танцы. Познакомлю тебя там с одним...

Напрасно он это сказал. В том же духе агитировала и Лина: «Познакомлю с одним». А Клава и вовсе напрямик: «Дурочка, зима пролетит, и ты полетишь на край света, в деревенскую темь. Досидеться до старой девы охота? Здесь шанс — женихов целый полк. Лови счастье за хвост... если, конечно, сумеешь».

Катя обливалась огнем. Ее дикая стыдливость противилась. Она обливалась огнем, представляя — входит, зал полон, все взгляды обращены на нее: «Не стерпела, пришла-таки ловить за хвост жениха».

Но Бирюков не отступал и уговорил в конце концов.

— Никто тебя там не съест. У нас духовой оркестр не какой-нибудь — военный. И клуб не какой-нибудь — в церкви. И церковь не простая, в прежние времена была домовою государевой,

на случай царских приездов в Чертоги. Памятник архитектуры. Посмотришь.

И Катя пошла с единственной целью посмотреть памятник архитектуры, бывшую домовую государеву церковь, где теперь оборудован клуб. Впрочем, может быть, и потанцует.

— Без пары не оставим. Кавалеры на вальс и тустеп обеспечены,— улыбался добрый Бирюк.

Она поднималась с подругами железной узорчатой лестницей. Навстречу из бывшей домово́й церкви Чертогов неслись звуки вальса «Дунайские волны». И скованная Катина душа расковалась. Глупая улитка, чего ты пряталась? Этого парадного зала со сводчатым потолком, сиянием граненых люстр, фресками и тончайшей лепкой на стенах, золочеными перилами высоких хоров, откуда льется нежная музыка, томящая сердце, качающая, как на волнах.

Лина исчезла. Вон плавно движется в танце, запрокинула голову и как-то ново и кротко глядит в глаза своему Бирюку. И Клавы нет. Где она? Зал наполнялся танцующими. Одна за другой вступали в круг пары. Катя стояла у стены. Возле стояла незнакомая девушка, курносенькая, довольно миловидная. Катя увидела какое-то ищущее и стыдящееся выражение ее лица и со страхом подумала: «Неужели и я такая жалкая?»

В то время раздалось спасительное, отчего шумно забилося Катино сердце:

— Разрешите?

Не видя, кто он, Катя подняла руку положить ему на плечо и тут же услышала:

— Она приглашена.

Ее приглашали сразу двое. Тот, другой, отстранил первого, обнял ее, как обнимают в вальсе, ввел в круг и закружил, летящую, легкую, не смевшую на него поглядеть. Все в ней ликовало, и она мигом забыла курносенькую у стены, с ее ищущим взглядом.

— Долго я тебя дожидался, Катя.

Она промолчала. Что он говорит? Наверное, ей послышалось. Что с ней? Кружится голова... Как приятно танцевать, как чудесно, как весело!

Он танцевал ловко, у него сильные руки, он на голову выше ее, Катя слышала над ухом его голос.

— Я давно тебя знаю. Бирюков звал к вам в общежитие, а мне что-то как поперек: дождусь своего случая, по-другому встретимся. Я тебя почти каждый день вижу, то на лекции идешь, то обедать в трапезную. Сколько раз встречал во дворе, а ты и не заметила.

Музыка на хорах умолкла. Иные курсанты, оставив девушек, отходили покурить на лестничную площадку, а девушки, стол-

пившись группками, разгорячившиеся и возбужденные, шептались, оправляя платья и обмахиваясь платочками; а иные кавалеры прохаживались под руку с дамами в ожидании следующего танца.

— Как вас зовут? — спросила Катя.

— Максим.

Они стояли посреди зала на виду у всех, он с ласковым любопытством глядел на нее.

— Я из Нижнего. Максимом в честь Горького назван.

— И я родилась на Волге, как вы.

— Значит, будем на «ты». Во-первых, земляки, во-вторых, комсомольцы не выкают.

— Я не комсомолка.

— Будешь, — спокойно возразил он. — А я через комсомолию перешагнул, сразу в партию, на фронте, девятнадцати лет. Хочешь, выйдем на волю, поговорим. Или танцевать будем?

— Как хочешь.

Он взял ее за руку и повел к выходу сквозь тесную и душную толпу, чьи-то глаза ярко блестели, пахло дешевыми духами и потом.

— Гляди, уже и уводит, не терпится, — услышала Катя позади негромко ухмыляющийся мужской голос.

Она рванулась из его руки. Максим быстро оглянулся на голос, но не задержался и крепко вел ее, сдвинув брови, плотно сжав рот.

— Как ты мог? — задыхаясь, шептала она, когда они спускались со второго этажа железной узорчатой лестницей в просторный пустой вестибюль.

— Дай номерок, — сказал он.

Взял на вешалке ее пальто, они вышли на улицу.

— Мог? Смел промолчать? — в отчаянии говорила она.

— Вызвать на дуэль? — усмехнулся он. — В ВЭШ такой моды нет. Не положено.

— Не положено! Значит, пошлость, гадость — все мимо ушей. Валяйте, хамите. Мы в стороне, у нас не положено.

— Потолкую с ним после. Вправдю мозги. Не сейчас же.

— Я-то думала, вы, красноармейцы, курсанты ВЭШ...

— Думала, ангелы без крыльев, в курсантских гимнастерках?

Был темный вечер, с черным небом, усеянным звездами. Под ногами хрустко шуршали опавшие листья кленов и лип. Изредка цокнет спросонок галка в ветвях. Черной молнией мелькнет в черноте ночи летучая мышь.

— Я его знаю, — говорил Максим. — Неплохой парень, да трепач, язык — мельница, без разбору мелет. Потолкую с ним после, разъясню, что к чему, — спокойно говорил Максим.

Его спокойствие возмущало и оскорбляло ее. Нет, он не тот. Он не так должен был себя повести. Предал с первой же встречи! Катя старалась высвободиться из его руки, он не пускал — у него железная рука, держит, как тиски. Впрочем, она плохо представляет, что такое тиски. Книжное сравнение, пусть. Все кончено, кончено. Что? Разве что-нибудь начиналось?

— Не одни стихи да музыкальные мелодии в жизни. Всякие слова услышишь,— продолжал он.

— Неужели не соображаешь, разве в нем дело? В тебе... Ты смолчал. Меня оскорбили, а ты смолчал.

— А ты не соображаешь: полез бы объясняться при всех на танцульке, сразу выставил бы тебя напоказ. Тут же заработали бы язычки на все ваше педагогическое общежитие. Тебя от длинных языков оберегал, поняла?

Может быть, он прав. Может быть, его молчание и рассуждения справедливы и благоразумны, но то веселое и легкое, что возникло в ней во время танца, оборвалось. Она чувствовала себя напряженно. Чужой человек ведет ее под руку. Кто он? Максим? Что за Максим?

Они вошли на то запущенное кладбище возле храма, где в первый день прихода в лавру Катя сидела на старом надгробье, поросшем бархатным мхом. Тогда мимо промаршировал красноармейский отряд. Катя не знала тогда, что это курсанты ВЭШ.

— Хочешь, посидим,— предложил Максим.

— Все равно.

Они сели на старое надгробье. Как глупо и плохо все получилось.

Светят сквозь деревья высокие звезды, играют лиловыми и голубыми лучами, а внизу, на земле, во все стороны глушь, тишина. Глушь.

— Не вышло у нас сегодня знакомства,— сказал Максим.— А между прочим, отчасти и вышло. Земляками оказались, оба волжане, вот уж и близит.

— Никакая и не волжанка,— сухо возразила Катя.— Давно это было, в детстве, на Волгу и не пускали без няни.

— С нянями росла?

— Да. Мне пора. До свидания.

Катя поднялась, сделала шаг и споткнулась, едва не упала. Он нечаянно — конечно, нечаянно! — неловко подхватил ее за грудь, на миг она почувствовала на груди его жесткую руку.

Она резко выпрямилась и тотчас нагнулась к земле.

— Что это? На что я налетела?

Она трудно дышала, в темноте не видны были гневные красные пятна и смещение у нее на лице.

— Крест подгнил, повалился наземь.

— Нам нечем топить, возьми,— хмуро приказала она.

Максим пнул ногой крест, вывернул перекладины и понес на плече. И говорил, стараясь не замолчать:

— У нас в Сормове в гражданскую все заборы истопили, ни щепки не сыщешь. Голодуха, от голодухи еще пуще мерзли, терпения нет. Мы с отцом вместе на гражданскую ушли, а вернулся один. Отец слесарем был. Развитой был, по культуре не уступит другому учителю.

— Да? — равнодушно уронила Катя.

Максим донес до комнаты разрушенный крест. Сложил у порога. В комнате пусто, Лина и Клава танцуют в клубе, бывшей домово́й государевой церкви. Духовой оркестр играет «Дунайские волны».

— Завтра приду, напилю вам дров, — сказал Максим.

Она молча кивнула.

И он помолчал и сказал:

— Ты гордая. Я и представлял тебя гордой.

Он глядел на нее открыто и ясно. У него серые, переменчивые глаза — то темней, то светлей, глядят не мигая. Прямо. В упор.

39

И все же, и все же... Больше я никогда с ним не встречуть! Почему? Не знаю. Как было хорошо поначалу! Чудный вальс «Дунайские волны», давно когда-то я слушала перед сном, как Вася играет «Дунайские волны». Маме не нравилось: «После «Лунной сонаты»? Мещанская музыка!» А я слушала, пока не усну. Зачем я вчера ушла с ним из клуба? Позвал, и сразу пошла, и меня оскорбили, и, хоть он говорит, что вправит тому нахалу мозги, не смоешь... А после? Ну, что? Ну, что́ после?.. Катя Бектышева, ты улитка, ты недотрога, нетерпимая, неотходчивая, не простая. Рассказать Лине, исхохочется... А я? Куда мне уйти? Нет, больше я с ним не увижусь. И хватит думать об этом. Оглянись! Слепая, увидь эту прозрачную осень, золотой свет, разлитый по лугу и полю. Вон вьется дорога среди белой стерни овсов, вон подбежала к холму, на холме оранжевый лес, темными свечами высятся ели между березок. И тишина... но вот...

— Слышите? — спросил Федор Филиппович.

Все остановились, запрокинули голову к небу и глядели в голубую бездонную глубь, стараясь поймать, что он слышит. Тишина. Но вот... Печальный звук долетел откуда-то издали, едва уловимо. И умолкнул. И снова. Ближе, печальней.

— Глядите, глядите!

Высоко на горизонте, над лесом, зачернел вычерченный штрихами на голубизне неба клин.

— Журавли.

Они летели стороной, но уже можно было различить вожака во главе клина, и видны были медленные, редкие взмахи крыльев, и временами доносилось то особенное осеннее курлыканье — то ли зов, то ли прощание, — от которого сердце занает тоскливо и сладко.

— Из-за одних журавлей стоило сюда прийти, — сказала Катя. — А дали! Ни обрывов, ни крутизны — волнисто, плавно кругом...

— Вы умеете видеть, — сказал Федор Филиппович.

Несколько дней в вестибюле курсового здания техникума на доске объявлений можно было прочесть: «Кто любит видеть и узнавать искусство и природу, собирайтесь в поход по нестеровским местам», — приглашал Федор Филиппович.

Ухватили для похода славный октябрьский денек, ясный, холодный. Впрочем, после полудня солнышко разыгралось, стало даже припекать. В молодом лесочке на холме запылали листья осин; струилась по ветру, текла, кипя блеском, у подножия холма изумрудная озимь. Разноцветными полосами разрисованы сжатые озимые и под паром поля. Неглубокий овражек развалил надвое давно скошенный луг. Ивы свесили длинные плети ветвей, задумались над сонным прудом, и не движется в ограде острой осоки беззвучная речка. Тихая осень. Нестеровская равнинная Русь.

Катя отстала, шла одна. Никто не знал, что вспомнилось ей, отчего кровь встревоженно застучала в висках. Никто не знал, как однажды называли Катю нестеровской девушкой...

Федор Филиппович крупно шагал впереди группы, как странник, опираясь на сучковатую палку. Здесь, на природе, он казался проще, чем за преподавательским столиком. Нервная гримаса не кривила губы. Он был без шляпы.

По бокам его степенно шагали два мальчика, сыновья-погодки, двенадцати-тринадцати лет, молчаливые и серьезные, старший — в очках с тоненькой металлической оправой. Оба несли картонные папки с тесемками, завязанными бантиком.

Группа, за исключением двух первокурсников и толстовца с четвертого курса, состояла из девиц, как воробьи, не смолкая о чем-то болтавших.

— Девчата, споем боевую, подъемную! — предложила Лина, привыкшая всегда что-нибудь организовывать.

Как родная меня мать провожала.

Так тут вся моя родня набежала, —

грянул девичий хор.

Катя увидела: оба мальчика с беспокойством поглядели на отца. Федор Филиппович впереди группы стал, опираясь на палку.

— Товарищи студенты!

Песня смолкла, оборванная строгим тоном учителя.

— Ваша песня хороша и подъемна, но не для нашего случая. Мы идем слушать нестеровскую тишину, глядеть нестеровские краски, испытать его чувства.

Он взял у младшего сына папку, развязал, вынул лист. Стройные, вытянувшиеся ввысь стволы весенних березок. Деревянные древние кресты меж березок. И девушка. В темном одеянии до земли, наподобие сарафана, но необычном, не «мирском», с белыми длинными рукавами. Белый широкий плат, мантией опущенный с головы на плечи. В руках высокая горящая свеча. И скорбный лик... Да. Не лицо, а лик, тихий, безысходно-кручинный. Вот она какая, нестеровская девушка.

— Этюд к картине «Великий постриг»,— сказал Федор Филиппович.— Не вникайте в название, его внешний религиозный смысл. Вглядитесь в глубь. Вглядитесь в русскую девушку. Целомудренность, чистоту, поэтичность увидел в ней и написал художник.

— Со свечкой, в монашеском,— растерянно бормотнула Лина.

— Я вам сказал, что внешне, или вы глухи? — нервно кривя губы, отрезал Федор Филиппович.— Впрочем, это — мое толкование Нестерова.

Он крупно зашагал вперед. Серьезный мальчик, в очках, видимо смущенный резкостью отца, желая смягчить, обещал доверительно:

— Главное дальше,

Дальше наши странники пошли молчаливее и тише, слова Федора Филипповича и картина разбудили что-то, от чего болтовня утихла. Только Лина шепотом делилась с Катей:

— А он чудноватый. Ни от кого таких призывов не слышала. Ты что? — запнулась она.

Потемневшие, казалось, выросшие глаза на бледном лице Кати смотрели мимо, не отвечая.

— А!..— досадливо отмахнулась Лина.— Кругом загадки, голову с вами сломаешь.

«Так вот какая нестеровская девушка,— думала Катя.— И я такая? Нет. Как прелестна! Но зачем же она отказалась от жизни? Жаль ее. А я хочу жить. Не хочу покоряться, смиряться. Я не знала тогда, что нестеровская девушка — покорность несчастью. А баба-Кока сказала: «В ней (во мне) и тишина есть, и буря...»

К обеду они добрались до деревни Комякино. Здесь, в обычной, даже невзрачной, темноватой, с маленькими оконцами крестьянской избе, Нестеров писал свою дорогую картину с утра до ночи. День за днем. Наспех поест, кое-как, не замечая

что. Снова за кисть. С утра до ночи. День за днем. Щеки ввалились, лихорадочно горели глаза. К вечеру, разогнув спину, выходил на крыльцо и сидел на ступеньке, пока не опустится осенняя ночь или не примется до утра сыпать нудный, меленький дождик. И не уснуть, и перед глазами все одно, все одно.

Федору Филипповичу тогда шел десятый год. Он был Федей, пытливым, мечтательным мальчиком. Детство так далеко, бесконечно далеко! Совсем иной мир, лучезарный, полный даров и загадок. Федя приходил сюда, в Комякино, с соседней деревенской дачки и тайком, не дыша от участия, любопытства, восторга, следил за рождением картины. Вот выросла сосенка, всего из нескольких веток. Как дитя возле крестьянского мальчика.

Иногда художник спрашивал:

— Он тебе люб? А вот тот осенний лес тебе люб?

Федор Филиппович подозвал старшего сына в очках. Мальчик заспешил развязать тесемку на папке, затянул в узелок, долго не мог справиться с узелком, смущался, краснел; отец терпеливо выжидал, не подгоняя. Вынул лист. Держа за углы, поднял лист высоко. «Видение отроку Варфоломею». И то, что видели они, два с лишним часа шагая из Сергиевской лавры в деревню Комякино, — тихие осенние поля и луга, янтарный свет березовых рощ, пламенеющий багрянец осин и бледное прохладное небо, услышавшее запоздалый прощальный полет журавлей, — все с новой силой открылось им в картине.

«Я это видела. Нет, не видела. Видела, но по-другому как-то, не так. Все знакомо и незнакомо. Что это? Как он сумел?..» — думала Катя.

— Это искусство, — отвечал Федор Филиппович. — Глядите, запоминайте, любите родную землю. Она говорит, поет, мечтает, полна мыслей, чувств. Это наша земля. Это Нестеров. А что вы не спросите о мальчике Варфоломее, как трогательно он поднял худенькие ручки, сплетя пальцы?..

— Будто молится, — заметила Лина.

— Мнение не ново, — сдержанно возразил Федор Филиппович. — Нашлись и среди художников, крупных художников, кто отвернулся от картины Нестерова: мистика, святость. А было так, крестьянский мальчик, обыкновенный крестьянский мальчик, только ясный, как хрустальный день осени, взял обротъ и пошел искать в лес лошадь. И видит под дубом старца с сиянием над головой. Не молитва, — строго повел Федор Филиппович взглядом в сторону Лины, — а встреча с чудесным. Вся душа — порыв к правде и красоте... Вот что хотел сказать Нестеров. Глядите, запоминайте: наша задумчивая, наша родная природа. Запоминайте, волнуйтесь: для нас нет в мире больше такой единственной, бессмертной, как наша природа. А нежные краски, тонкие,

нестеровские... Я видел, как он писал...— неожиданно строго заключил Федор Филиппович и оборвал свою сумбурную речь.

На обратном пути день переменился. Задул ветер с севера, срывая с деревьев листья и кидая охапками наземь. Быстро, на глазах рощи становились полунагими, октябрьскими, и не золотыми, а ржавыми, небо низким, мутным, но пережитое не остывало в Кате, и она тайно чему-то все улыбалась.

— Рад, что вы поняли,— заметил Федор Филиппович.— Один великий художник сказал: искусство выводит человека из одиночества.

— Вы...— удивилась и смутилась Катя. Взглянула на мальчиков.

Они шли в нескольких шагах, сосредоточенные и молчаливые, не было в них мальчишеской резвости.

— Федор Филиппович, какой был чудесный день! — сказала Катя.

— Знаете что...— решил он. Несколько мгновений глядел на нее, как бы вчитываясь в лицо, и, как бы уверившись в чем-то, позвал: — Мальчишки, сюда!

Они подошли.

— Развяжи-ка,— велел он старшему, тому, что в очках.

Сын, не спрашивая, не удивляясь, развязал папку.

Там было несколько репродукций Варфоломея, Федор Филиппович выбрал одну, тоже в красках, но меньше размером, отчего она казалась еще теплее, прелестней. Федор Филиппович откинул руку с листом, полюбовался, прищулив глаз, и отдал Кате:

— На память!

40

Решение пришло в тот же вечер нестеровского дня. Внезапно. Не очень самой Кате понятно. Но без колебаний. Надо объявить Лине и Клаве тотчас.

Инстинкт подсказал: нельзя об этом одновременно обоим. Надо врозь.

И после ужина она пошла из трапезной в общежитие с Линой, что обычно означало — в шумной компании общественных деятелей, руководящих и организующих жизнь всего техникума.

На сей раз Лину сопровождал один Коля Камушкин. Зато мероприятие обсуждали они замечательное! Представьте, надумали выпускать литературный журнал. Не стенную газету, задачи которой — политическая информация, лозунги, пропаганда советской идеологии и образа жизни,— стенная газѣта давно выпускалась, дважды в месяц вывешивалась в учебном корпусе техникума. Был задуман журнал. Та же цель, а средства иные —

ли-те-ра-тур-ные! Они будут выпускать рукописный литературно-художественный журнал под названием «Красный педагог» с поэтическим эпиграфом «Сейте разумное, доброе, вечное...».

— Николай, находка! Открытие! — восклицала воодушевленная новым мероприятием Лина. — Мы нащупали дремлющие духовные запросы ребят. Есть ребята, что пишут. Стихи, повести, дневники. Возьми Бектышеву. Не тушуйся, Катя. Знал бы ты, какие повести она раньше писала! Недалеко до Тургенева, честное слово! Дура я, не сберегла; готовый материал, хоть сейчас в «Красный педагог», в отдел прозы.

Увлеченный не меньше Лины идеей журнала, Камушкин был готов продолжать обсуждение за полночь, но Катя тихонько подтолкнула Лину.

— Ведь мы условились...

— Да, правда. До завтра, Камушкин! Ты создан быть секретарем комсомольской ячейки. Я с тобой согласна во всем. А главное, у тебя нешаблонное мышление и вот уж несколько нет формализма. До завтра, Камушкин. У Кати личное дело...

Она включила в комнате свет, скупую, с самым малым количеством свечей электрическую лампочку, сбросила пальто, плюхнулась на койку.

— Ну? Делись.

Оптимизм и здоровая энергия бушевали в ней. Мучительный самоанализ Лине был чужд. Она считала нытьем и буржуазными предрассудками переживания вроде тех, что знала за Катей, и со вздохом приготовилась слушать очередную интеллигентскую исповедь, разочарования, сомнения...

— Выкладывай.

Спотыкаясь, Катя выложила, что не станет больше писать за Лину конспекты, не станет, не хочет, не может.

— С ума сойти! — ахнула Лина. — Катька, да ведь я по горло, буквально по горло в работе! Не представляешь масштаба! Топливо, писчебумажные принадлежности, пайки, политучеба, морально-идейный уровень — все на мне. А совещания, совещания, совещания! Сегодня в гороно, завтра в райкоме, студком, профком... Ка-а-тя! Пойми!

— Понимаю. Но писать за тебя конспекты не буду.

— Федор Филиппович догадался?

— Линочка, не проси, не буду.

— Да ты объясни, отчего, какая причина?

— Что ж объяснять? Без объяснений понятно.

— Худы мои дела! — пригорюнилась Лина.

Стукнула кулаком по тумбочке — крестьянский кулачок увесистый, — в тумбочке звякнула оловянная миска.

— За каким чертом он нам нужен, этот тип из Америки, Уильям Джемс!

— Если вникнуть, он интересен и довольно понятен, если вникнуть... — сказала Катя.

— Не было печали, черти накачали! Катька, неколебимо стоишь?

— Неколебимо, — вздохнула Катя.

Некоторое время обе молчали. Лина осваивалась с неожиданной новостью, что-то обдумывала.

— Та-ак. Слушай, Катерина Бектышева. А ведь пора мне для тебя общественную нагрузку подыскать. Рано или поздно уколут: живет под крылом безыдейная.

— Почему же безыдейная? — кротко возразила Катя.

— От комсомола в стороне, общественной нагрузки нет, уткнулась в своего Джемса...

Клаву, чтобы не говорить с ней о том же при Лине, Катя пошла встретить во дворе.

Осенний вечер, задернутый тучами, непроглядно темнел. Только бледно светились окна в келейном корпусе, общежитии педагогического техникума, и маняще — в просторных палатах бывшего Чертога, где теперь учились и жили будущие командиры электропромышленности. Невдалеке от трапезной уныло показывался под ветром фонарь на высоком столбе. Сорванные осенью бесприютные листья шарили по плитам мостовой.

Клавы нет. Кухонная комиссия — не шутки.

Но вот деревянные каблуки самодельных башмаков застучали по каменным ступеням, и член кухонной комиссии с оловянной тарелкой, полной овсяной каши, с разбегу едва не налетела на Катю.

— Ты здесь зачем?

Без предисловия, торопясь покончить с неприятным вопросом, Катя выложила и Клаве, что не будет больше писать за нее конспекты, не хочет, не может. Все.

— С ума сойти! — точно как Лина, ахнула Клава.

Дальше пошли аргументы индивидуальные. Клава не упрашивала. Клава наступала. Катина неблагодарность — вот что ее возмутило!

— Забыла, что я за тебя полы мою, дежурства по общежитию и кухне несу! Добавки в обед и ужин забыла? Все поблажки забыла? Не помнишь?

— Помню и больше поблажек не хочу.

— Какая муха тебя укусила?

— Совестно Федора Филипповича обманывать.

— Батюшки-матушки, праведница объявилась! Катька, не дури. Много потеряешь.

— Клава, а ты пойми: стыдно обманывать. Все равно что

воруешь. И тебе не стыдно, что за тебя другие твою работу делают?

— А тебе не стыдно, что я к полам тебя не допускала? Вот где барская-то косточка сказывается, дворянская-то кровь! Ладно. Избаловали мы тебя. Точка. Знай, теперь полы за тобой, попотеешь, погнешься. И дрова за тобой, добывай. Испытаешь, что такое физический труд, испробуешь! А-а-а! — вскрикнула она, с каким-то злым изумлением выкатывая светлые бусинки. — А-а-а, вон отчего ты во двор выскочила, чем бы дома меня погодить!

Катя оглянулась — бежать, бежать, скрыться! В стороне, где качался под ветром фонарь, стоял Максим.

— Вон что тебя на волю-то выманило, — хихикала Клава, и глазки ее зло веселились и прыгали. — Предлог уважительный, хи! Не воронь, а то из-под носа уведут, останешься ни с чем, как была. Ступай, закрепляй позиции. А завтра твой черед полы мыть, побарствовала, хватит!

Какой выход? Возвращаться с Клавой домой, весь вечер сносить ее ехидные стрелы?

Катя подошла к Максиму.

— Здравствуй.

— Здравствуй. Проворонил, когда ты из трапезной возвращалась. А предчувствие велит: дожидайся. Внутри словно звоночек: выйдет, выйдет. И жду.

— Я не для тебя вышла.

— А получилось, что для меня. Я везучий. Этот вечерний час, попомни, у нас увольнительный. Сами себе хозяева, отдых. А нынче и вовсе выходной. Вас к Нестерову водили, знаю, рассказывай.

Что рассказывать? О чем? О том, что журавлиный клекот в прохладном небе поднял что-то неясное в сердце. Что-то томило. Куда-то влекло. И даже вчерашнее, нехорошее позабылось.

Впрочем, Максим всего лишь из вежливости осведомился о художнике Нестерове. Он был полон своими мыслями, чем-то необычным, только что пережитым, из ряда вон выходящим.

У него простое лицо, черты не классические, нос крупноватый, заурядное лицо, но когда, как сейчас, озарится улыбкой — все светлеет, преображается. Совершенно другой человек! Какое милое, хорошее у тебя лицо, Максим, когда ты улыбаешься! Толстой сказал о красоте: если человека украшает улыбка... Максим, тебя украшает улыбка.

Он рассказывал:

— ...Прибывает из Москвы человек, знаменитый ученый. Воскресный день, никто не ждет, без зова прикатил познакомиться, как нас здесь обучают, готовят к выполнению на практике главной задачи...

— А из себя каков? Как говорит? Как одет? — перебила Катя.

— По виду спец. По наружности в бывшие, пожалуй, запишешь. При манжетах, при галстукe, бородка остренькая, как у них заведено. Что еще? И речь не простецкая, не нашего класса. А на деле большевик, да из первых! Самого Ленина знает, с Лениным планы ГОЭЛРО обсуждал. Нас повзводно собрали на встречу с ним в актовЫй зал, а он к нам по старинке: «Коллеги!» Будущими коллегами нас называет. Да как взялся рассказывать! По всем вопросам вводить в курс. До революции, рассказывает, они с товарищами сколько лет боролись, чтобы создать гидростанцию! Чертежами, цифрой доказывали громадную пользу гидростанции для государства. Сил ухлопали! А царское правительство по своей косности на все их доводы: нет.

— Категорически нет?

— Категорически нет. А мы? При нашем-то голоде, разрухе, едва из войны, мы — Волховстрой, мы — план ГОЭЛРО... Катя, ты в тысяча девятьсот двадцатом году где была?

— Во второй ступени училась.

— Так знай, тогда, в том девятьсот двадцатом, крестьяне деревни Кашино, Московской губернии, своими силами оборудовали электростанцию. Вникни: русские мужики, полуграмотные. То, бывало, «Эх, дубинушка, ухнем!» — а тут на тебе — электростанция. Еще ГОЭЛРО не утвердили, а они своими руками! Не гигантская электростанция — на гигантские сил не хватило, их мы будем строить, — как-никак «лампочки Ильича» вон еще когда загорелись по избам. «Благодаря революции, — выступает на митинге один активист, — наука забила «неестественный свет» в стеклянный пузырек и преподнесла нам на радость. Благодаря революции». А Ленин — он к ним, в Кашино, на митинг приехал. Ленин-то слушает, вовсю от радости хлопает. Катя, чувствуешь?

— Очень!

Ей ли, Кате, не почувствовать, не понять эту радость, когда из стеклянного пузырька льется на всю комнату свет, разгоняя мрак из угрюмых углов, гася косматые тени на стенах, и не дымит, шлепаясь с шипением в лоханку, обгоревший конец лучины. Слишком недавно это было: едкий до слез чад лучины, горькая копоть, нескончаемо долгие осенние вечера, тоскливые ночи; на сотни верст вокруг непроглядная темь, потонувшие в сугробах городишки с черными улицами, без фонарей.

А жаль, что электростанцию первыми построили кашинцы, а не в нашем Иванькове. В нашем Иванькове мужики тоже толковые, и предсельсовета с головой, что бы догадаться, то-то повеселело бы в избах!

— В первую очередь для оживления заводов и фабрик предназначены стеклянные пузырьки с «неестественным светом»,

я имею в виду электрификацию,— прилежно разъяснял Кате Максим, как недавно она сама втолковывала азбуку на ликбезе иваньковским бабам.— Электрификация — самая большая ленинская мечта и забота. И всем рабочим и крестьянам наказ. Слышала, какие Ленин делегатам VIII съезда на прощанье распоряжения дал?

— Не-ет.

— План ГОЭЛРО принят: Россию светом залить, заводы и фабрики на электрические рельсы поставить. Для делегатов выпущена книга под названием «План электрификации». Двести ученых над планом работали, все предусмотрено, взвешено — книжища почти в семьсот страниц получилась, а Ленин «томиком» ее называет. В шутку, конечно, уж очень дорог этот «томик» ему, верит Ленин в силу электричества. Без электричества темнота, прозябание, где уж там коммунизм. И объявляет Владимир Ильич делегатам приказ: когда изучите, каждый тотчас передайте «План электрификации» в ближнюю библиотеку, чтобы по этой книге могли рабочие и крестьяне учиться. Поняла?

— Очень!

— Дальше время прошло, Ленин требует отчет, как исполнен приказ. У него по каждому делу непременно отчет. Так и здесь. Если кто по халатности ту книгу про электрификацию не передал, того человека Ленин объявляет негодным для партии. Того из партии вон, с ответственного поста вон! И даже тюрьмой угрожает.

— Неужели? Так сурово? Я думала... Мне говорили, Ленин добрый.

— Для народа и трудящихся людей очень даже добрый! Но ежели ты враг революции или человечиска дрянь, доброты не жди. Милости не жди. К врагам революции Ленин без снисхождения суров.

— Максим, и ты такой?

— Сравнила! Кого с кем сравнила! — в удивлении воскликнул Максим.— Меня с Лениным! Как язык повернулся?.. Ленин, это... это... Без него и я был бы не я, без него ни твоего техникума, ни нашей Военной электротехнической школы для отвоевавших красноармейцев... Кто перед народом задачу новой жизни поставил? Он. А кто будет новую жизнь поднимать? Не кто иной — мы.

«Счастливые,— подумала Катя.— А я?»

— И ты,— будто угадал ее мысли Максим.— Твое дело тоже государственным можно назвать.

— Да? — улыбнулась Катя.

Воодушевление Максима заражало ее. Какой большой сегодня и значительный день!

«Здравствуйте, Катерина Платоновна!

Крепкого Вам здоровья и доброго благополучия на каждый час. Может статься, в шумной городской жизни Вы позабыли село Иваново, председателя сельсовета Петра Игнатьевича с супругой Варварой и сыном Алехой, а меня, нынешнего ивановского учителя, Тихона Андреевича, и давно.

Не верю! Ежели бы кто и сказал, не поверю. Иной год десяти стоит. Думается, многое Вы за год у нас пережили, что до конца след на сердце оставит.

Мы Вас очень даже помним, Катерина Платоновна! Подруга моя, Нина Ивановна, со слезами о Вас говорит, потому что Вы, сама того не зная, проблеск надежды в ней разбудили. После встречи с Вами на донышке, а загорелась хоть слабая искра... Испытано моей Ниной Ивановной самое горькое, что есть в судьбе человеческой, но не будем про то вспоминать — минуло.

У Вас все ново, Катерина Платоновна, и наша жизнь тоже на месте не стоит. Да только не одно хорошее в нашей жизни, а напротив — случилось злодеяние, про которое близкому человеку нельзя умолчать. Вы нам близкая и родная, оттого сообщаю о случившемся горе.

Началось при Вас. Началось, когда Петр Игнатьич, следуя своей коммунистической совести, допытался и разоблачил врага Советского государства кулака Силу Мартыныча. Того кулака еще при Вас увезли, и Вы, покинувши Иваново, наверное, спокойно думаете, что на этом все кончилось. Не кончилось, Катерина Платоновна!

Председатель наш ума быстрого, неумного. Точит его: может ли стать, чтобы Сила Мартыныч, хоть и за десятерых башковит, в одиночку у Советской власти пуды уворовывал! Мою бедную Нину Ивановну страхом, как цепями, сковал, а главные-то пособники где? Допытался! Где догадкой, где хитростью выведал про свата в деревне Дерюжкино, в двенадцати верстах от нас: свату своему наш Сила мешки и сплавлял. Вы еще невольно свидетельницей стали, когда один раз во вьюгу он Вас на санях обогнал, тот случай Нина Ивановна в подробностях описала.

Свата забрали. А Петру Игнатьевичу подметные письма подкидывать начали. Грозят: уймись, не то всего спалим до трубы, а тебе пуля в затылок.

Варвара, председателева супруга, слезами изошла: «Петенька, не твое это дело — розыск вести. Отступи в сторону. На то есть чекисты». А чекисты и вправду к нам чуть не каждый день. В сельсовет да в ячейку. В ячейке меня секретарем избрали. Предсельсовета да секретарь вдвоем, значит, в ответе за все, должность такая. Долго ли, коротко ли, начинает ясней проясняться: не в

одиначку и не с одним сватом в компании Сила орудовал, целая шайка их. Чекисты дотошные: чем дальше, тем глубже докапываются. А мы с Петром Игнатьевичем, как на войне: в любой час из-за угла пули жди.

Так и вышло. Однажды под вечер прибежала Варвара, лицо белей снега, руки ломает, выговорить слова не может. Мы с Ниной Ивановной вмиг к Смородиным. У ворот конь, запряженный в телегу, бока в мыле от пота, дышит, как паровоз, председателей Лыцарь. Уж как его Петр Игнатьевич выхаживал! В голодное время сам куска недоест, Лыцарю скормит. Добрый конь, добром отплатил.

Председатель из города возвращался. В лесочке, не так чтобы вдалеке от дома, засада. Лыцарь, словно сердцем учуял, вынес из пропасти. Примчал, не догнали. От казни хозяина спас, изувечили бы Петра. Озверело окрест кулачье, из мести свирепствует, случаи были — послушаешь, мороз по коже дерет.

Петр Игнатьевич без чувства. А парок изо рта чуть дымится, на ниточке, а живой. Мы с Варварой коня повернули — и в районную больницу. Плечо Петруше прострелили навывлет и легкое. В легком пуля застряла. Крови в телеге до ужаса много натекло! Варвара как свезла мужа, так в больнице при нем и осталась. А я домой. Жутковато ночью в лесу одному. Вот до чего дожили, дедовскими дорогами ездить стало опасно! Истинная классовая борьба, как товарищ Ленин нас учит, а мы постигаем на практике.

Катерина Платоновна, Ваш любимый ученик Алеха Смородин в этом великом несчастье держится молодцом, достоин похвалы. Старший в доме, без матери, без отца, с двоими младшенькими. Он им и мать и отец. Печь истопит, похлебку сварит, ребятишек обстирает, корову подоит, скотине корму задаст. Естественно, мы с Ниной Ивановной поможем, но в основном воз везет сам Алеха Смородин, мужичок с ноготок, вот каков молодец! А мечтает о чем? О Чека! То раньше собирался стать машинистом, а теперь одна Чека на уме: «Буду чекистом — беяков и контрреволюционных гадов бить».

Сообщаю я обо всех наших событиях, Катерина Платоновна, оттого, что считаю Вас нашей, иваньковской. В унаробразе дали знать, есть законные основания расширить штаты Иваньковской школы, пристегнули к нам для обучения ребятишек из двух соседних деревень, одному учителю не справиться. С будущей осени, полагаю, назначат второго. От своего имени, Катерина Платоновна, и ото всего Иваньковского общества просим: имейте в виду, что мы Вас ожидаем, и Вы, как окончите курс обучения, проситесь на родное место, в Иваньковскую школу.

И еще убедительно прошу: как можно внимательнее осваивайте все науки, какие преподаются в Сергиевском педагогическом техникуме. Слава у вашего техникума хорошая, многие наши

уездные учителя стремятся повысить в нем свою педагогическую квалификацию. А Вы, Катерина Платоновна, если уж выпала удача, не пропускайте ни единого слова на лекциях, впитывайте, учитесь, записывайте все, что ни скажут, и везите научный багаж в наши отдаленные деревенские школы, куда лучи науки не столь глубоко проникают.

Все шлют Вам поклоны, а ребяташки ждут не дождутся, когда возвратитесь. Беспокоимся сильно мы о Петре Игнатьевиче. Третья неделя, все не легче. Доктор опасается заражения крови. Прислали из города для консультации самого главного. Раскололись мнения надвое, чего ждать, не знаем.

Варвара извелась, прежняя румяная красота ее увяла, жалость глядеть.

До свидания, Катерина Платоновна, будьте здоровы, набирайтесь науки.

Дорогую Вам могилку бережем, весной посадим цветочков.

С уважением и добросердечием к Вам,
учитель школы сельца Иванькова

Тихон Андреевич».

42

— Идея! Катерина, выступишь на открытом комсомольском собрании с докладом.

— О чем?

— Как о чем? Да это же наглядный урок современной жизни со всеми ее противоречиями! Соображай! Что пишет учитель? Классовая борьба бушует. А ты? Живой свидетель. Не имеешь права молчать. Обязана рассказать агитационно и красочно, пробудить в комсомольских сердцах еще сильнее ненависть к старому строю. Катька! — вдохновлялась Лина, размахивая письмом. — Этот документ из Иванькова для агитатора клад. Кстати, и ты представишься комсомольским и беспартийным массам в выгодном свете.

— Хи! Вот она, главная цель, — хихикнула Клава.

Тощая, несмотря на деятельность в кухонной комиссии, с осинной талией (чем немало гордилась), она укладывала перед зеркальцем жиденькие косицы в эдакие фигурные кренделя над ушами, безучастная к разговору, между тем не пропуская ни слова.

— Спиной повернулась, а слушаешь... Что за цель?

— Ясная. Бектышеву представить в выгодном свете.

— На положительных примерах учимся, — хладнокровно отбила Лина атаку. — И в чем ценность, Катя, ставим вопрос нешаблонно. Ищем творческий подход к воспитанию комсомольской идейности.

— И чем тебе Бектышева так уж нужна, что больно тянешь наверх? Кумовство?

— Ой язва! Ой белобрысая язва!

Лина кинулась с явным намерением залеспить белобрысой язве пощечину или вцепиться в кренделя над ушами. Впрочем, до потасовки едва ли дошло бы — девицы ведь комсомолки, не кто-нибудь, — но все же Клава схватила пальто в охапку и пулей из комнаты. Гнаться коридором за язвой Лина не рискнула, помня свое общественное положение: член студкома как-никак и так далее.

Постояла у двери, раздувая щеки.

— У-уф! С этой дубовиной шагай в социализм, а? Живи в одной комнате, спи рядом на койке. Катерина, о письме договорились. Подбери побольше художественно-сильных деталей к докладу. Да втягивайся ты в общественную жизнь, наконец, Катерина! Вон Клавка и та актив. Да! Надо поэффектнее тему собрания объявить: «Сельцо Иваньково как типичный пример мужественной борьбы коммуниста за светлое будущее», или «Сельцо Иваньково как типичный пример... как пример...» Ладно, придумаем.

И с Максимом обсуждали письмо из Иванькова.

Холодная, неуютная осень никак не кончалась, давно пора снегу, а все дождало, сырые туманы вязко кутали монастырские скверы, клочьями свисали между голых ветвей.

В любую погоду, в дождь и слякоть, Максим поджидал Катю под крышей широкого гульбища — галереи по-нашему, тянувшейся вдоль трапезной. Катя прибегала без опозданий, зная, что час есть час, и ни секундой дольше.

Гульбище безлюдно, безмолвно выстроились опорные столбы, держа крышу; тихо, сумрачно, и невольно Катя с Максимом вели разговоры полупшепотом. Впрочем, когда вспыхнет спор, голоса повышались. Разговоры об Иванькове, как ни странно, почти всегда были спорами. Спорили о Петре Игнатьевиче. Для Кати он живой человек. Вспыльчивый, резкий, но справедливый, но добрый. Для Кати Петр Игнатьевич — впервые узанный ею живой большевик. И разве забыть его дружбу с бабой-Кокой? А Максим Петра Игнатьевича без снисхождения судил.

— Председатель Совета, а возле себя вора и кулака проглядел! Хорош руководитель! Не заметил, как кулак богатеет. Не заметил, как жена учителя, пропавшего без вести, прибитой ходит. Чего боится? Кого прячется? Задуматься можно бы. А комсомольская ячейка где у вас на сельце? Не успели? Отсталое ваше Иваньково, к социализму не семиверстными шагами идет, а на обе ноги хромает.

— Значит, ошибся, сразу тебе и конец? — спорила Катя. — Петр Игнатьевич проглядел расхитителя, но сам и исправил ошибку, сам признался на сходе.

— Признаваться да каяться мы умеем, — спорил Максим. — А ты, если ты руководитель...

— По-твоему, руководитель святой?

— Если ты руководитель, не поспи, недоешь, гляди в оба глаза.

— Он и глядел в оба глаза.

— Слепые глаза у него: что надо, не видят.

— Не смей о Петре Игнатьевиче так судить! Не известно еще, будет ли жив...

Максим смущенно умолк. Они молча шагали по гульбищу из конца в конец. Где-то вдали отдавалось эхо шагов.

Зима стала вдруг. «Проснувшись рано, в окно увидела Татьяна...»

В окно видны побелевший за ночь двор, изразцовое убранство Чертогов, растопыренные сучья деревьев, задумчиво одинокая елочка возле собора — все бело, бело, бело и чуть синевато, потому что заря еще не поднялась за стеной и не поднимется: стена высока, в монастырском дворе не видно утренней зари, сразу солнце.

Прочь одеяло! Раз-два-три, небольшая гимнастика.

— Лиана, просыпайся! Зима!

— Ну и что?

Лиана села в кровати, сладко зевнула во весь рот, хрустнув челюстями, протерла глаза. Клавья нет, испарилась. После той ссоры она старалась пораньше испаряться. На лекциях держит дистанцию, разрыв отношений.

Что на свете праздничнее первого зимнего утра? И блеск, и свет, и чистота, и даже неловко ступать на эту легкую воздушную белизну и оставлять влажные следы разношенных туфель, не совсем подходящих для зимы, но других нет, спасибо за эти.

Очухавшись после сна, досыта назевавшись, Лиана тоже впала в лирическое настроение.

— Эх, Катя, пролетит незаметно зима, и снова рассеемся в разные стороны. Но теперь не то... Я тебе откроюсь, только, чур, ты мне тоже. Катюша, любовь у меня! Пролетит зима, к окончанию курса поженимся. Решено и подписано. Знала бы, какие он мне слова говорит! «Ласточка...»

Катя покосилась. «Ласточка!» Крепкая, складная, с большими крестьянскими руками, решительным шагом, активистка, член студкома... Ласточка!.. Но сна расцвела. Ты заметила, Катя, она расцвела? Круглый румянец на щеках — сущие розы. А бро-

ви? Ты заметила, брови потемнели, как два темных крыла.

Они шли вдвоем на лекцию обычной дорогой, от лавры через базарную площадь, под гору, затем Московской улицей, затем в переулок — словом, ежедневным путем, мимо деревянных в три окна по фасаду домов, вовсю дымящих печных труб. Обычно, как всегда. Но снег, снег...

— Еще, Катя... да разве все передашь! И откуда он слова такие дорогие берет? Университетов не проходил. А обнимет... Нет, про это не буду. Я его слушать люблю, как он клянется в вечной любви. Твой тебе клялся, а, Катя?

«Снег, снег. Белый, блестящий, усыпанный блестками с детской рождественской елки. Вон едет мужик на телеге. На санях в первый день рано, а овчинный полушубок надел. Как весело горит на солнце новенькая желтизна полушубка! Чудесное время — зима! Наверное, скоро прилетят и снегири. Мои снегири с красными грудками, зимние цветы на голых ветвях...»

— Кончим курс, Катя, и будем с тобой женами командиров, советских специалистов-электриков, — продолжала строить планы Лина. — Только я не очень-то над собой командовать дам. Он свое дело знай, а в семейной жизни я командирша. Катя, твой красиво тебе в любви признается? Поделись. Из дружбы поделись, хоть немного... Ну же, ну! — нетерпеливо понукала Лина. — Катя, откройся, из дружбы, ведь подруги же мы!

«Твой милый образ, незабвенный...»

Тихо, не поднимая глаз, Катя начала:

Твой милый образ, незабвенный,
Он предо мной везде, всегда,
Недостижимый, неизменный,
Как ночью на небе звезда...

Лина ахнула:

— Он... Максим так тебе объясняется? Стихами? Сочиняет стихи?

— Это Тютчева стихи.

— А-а, — слегка разочаровалась Лина, неясно представляя, кто такой Тютчев, нашего времени стихотворец или прошлого века? — А свои слова Максим говорит?

— И свои слова.

— Как? Что? Да ну же, Катя?

— Моя дивная сказка...

— Сказка... дивная... — зачарованно вторила Лина.

— Несказанная мечта...

— О-о-о! — простонала Лина. — Вот уж никогда не подумаешь, чтобы Максим, на вид совсем деревянный, говорил такое... «Несказанная мечта»... Даже лучше моего.

Они уже недалеко от педагогического техникума. Обгоняя их, спешили первокурсники, боясь опоздать; солидно шествовали старшие, мало беспокоясь, что скоро звонок.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты...—

читала Катя.

Лина стала, пусть скоро звонок, в изумлении сдвинула темные крылья бровей:

— И это? Ой, Катя! А ты скрытничала. Ой, скрытная ты! За что я с тобой сдружилась, сама не пойму. Совершенно противоположные типы: я вся на виду, ты вся запертая.

Прерывая ее бурное изумление, в техникуме в самое время зазвонил звонок, слышный на улице: «За учебу. Личные дела в сторону, за учебу!»

И Катя ринулась на учебу, оставляя позади изумленную Лину.

«Зачем я ей напридумывала? Ничего подобного не было, хоть чуть-чуть похожего не было... Любовь? Что такое любовь?»

Удивительно! Катя не помнила художника. Или смутно-смутно. Красивый? Да. А еще? Она помнила чувство восторга, какого-то всю ее пронзившего счастья, будто плывешь под небесами среди звезд, да, не смейтесь, «по небу полуночи ангел летел». Все перестало быть, ничего нет, только восторг, всю тебя захватившее счастье; она даже не откликнулась бабе-Коке, не догадалась, что баба-Кока умирает, и слушала, слушала необыкновенное, что в ней поет, и если бы он позвал... Это любовь?

— Катерину Платоновну Бектышеву прошу сообщить, какой из двух предложенных мною методических приемов она избрала и почему?

Катя! Куда тебя унесло? Вернись в действительность. Ты на лекции по методике математики. Низенький горбатый методист с болезненно-желтым лицом вытирает несвежим платком пальцы в мелу и глядит на нее печальными глазами горбуна. Какие-то цифры и формулы написаны на доске. Что-то надо решить. Что-то подсказывает Лина, загородившись от методиста рукой. Хихикает Клава, довольная посрамлением усерднейшей, неизменно успевающей по всем предметам Катерины Бектышевой, «украшения четвертого курса».

И звонок не спасает. До звонка к концу урока еще порядочно времени. Можете размышлять дальше, Катерина Платоновна, в журнале поставлена закорючка, обозначающая невнимание, несообразительность и пр., и горбатый методист с печальным лицом укоризненно качает головой.

«Сегодня на гульбище не приду. Не жди. Кончено. Беспово-

ротно. Встречаться просто так, без любви? Где то счастье, то чудо? Сегодня не приду или... приду под самый конец и скажу... Что сказать? Не пойду. Разве бывает любовь без слов, без красивых слов, нежных слов? Все кончено. Никогда больше не приду на гульбище».

Она опоздала на четверть часа. Всего на пятнадцать минут. Это много — пятнадцать минут, когда у тебя один час, и ни секундой дольше.

Где же снег? Первый чистейший, пышный, легкий, усыпанный елочными блестками? Где зима? Под ногами хлюпало. С крыш текло.

Максим кинулся к ней:

— Думал, заболела.

Схватил обеими руками за плечи и несколько мгновений, а может быть, долго глядел в глаза, почти сурово, потом смягчаясь, теплея.

— Боялся, заболела...

И привлек, больно прижал к груди.

— Не надо. Не смей.

Он тотчас отпустил.

«Без слов. Ни красивого слова, ни нежного слова».

Грязный, сырой, темный вечер. Темное гульбище. Опорные столбы немо выстроились, как часовые.

— Странно, — сказала Катя. — Станный мне все снится сон. Один и тот же повторяется. Иду. Какая-то незнакомая местность. Дерево среди поля, одно какое-то незнакомое дерево. Вдруг небо темнеет, все темнеет вокруг, а дерево начинает шататься и биться, вскидывает сучья вверх, будто руки, будто молит. И я оглядываюсь и вижу: черная туча низко несется по небу, сейчас накроет меня. Я хочу бежать, а ноги не бегут. И такой ужас, ужас! И от тучи, и от того, что дерево будто кричит. Такой ужас. И... просыпаюсь.

— Старухи сны перебирают по праздникам на завалинках от нечего делать, — сказал он с кривой усмешкой, не глядя.

— Какой же ты нечуткий, грубый, — гневно изумилась она.

— Какой есть.

Она быстро пошла прочь, наклоня голову. Под ногами чавкал растаявший снег.

Катя протянула руку из-под одеяла, на ощупь взяла с тумбочки вчерашний листок. Утро, светло, но она, прячась от Лины под одеялом, читала листок.

«С неприветного, нахмуренного неба звездочки-снежинки белые слетают...»

Снежинок не было. На крышах еще лежал нарастаявший снег, а деревья обнаженно, вечерне чернели. Ноги промокли, подметка на левой туфле прохудилась, вот уж некстати дыра. В общем, настроение стихов соответствовало ее вчерашнему уподобному настроению.

«...И на серую, нерадостную землю падают и тают...

Чепуха! Сентиментально. Старомодно. Сметь писать такие строчки, когда есть Блок! А рифмы? Обратите внимание на рифмы. Убожество.

Стоп!

Это Лина, также лежа на кровати, подзубривая записи лекций, уследила за Катиным чтением.

— Что там у тебя? Что за листок?

Лина подозревала объяснение в любви. А если, напротив, полный разрыв? Лина готова лететь на помощь, не дать разбиться едва пробудившемуся чувству. Что чувство пробудилось в Кате, Лина уверена, в этих делах она разбирается. Короче говоря, она успела выхватить у Кати неразорванный листок и, не веря глазам, восхищаясь, читала вслух:

С вышины несясь, резвяся и играя,
Грязной осени они не знают,
И, с далеких облаков слетая,
О земле мечтают.

— Катя, замечательно, как хорошо! — с чувством сказала Лина. Катины стихи растрогали и взволновали ее. Что до рифм, разве суть в рифмах? — Грустные стихи. Катя, а хочется иногда погрустить. Бегаешь, бегаешь по всяким делам, а потом сядешь, раздумаешься — и так станет грустно. Отчего? Сама не знаю. Вспомнишь гармонику... У нас парни с гармоникой ходят, заведут старинную песню, за сердце хватает... Почему-то от музыки горестно как-то и хорошо. Катя, к тебе вернулся твой писательский талант, — торжественно заключила она.

— Брось, какой там талант!

— Вернулся. И мы не дадим емуглохнуть. Учителей тысячи, а поэтов, советских я имею в виду, один-два и обчелся.

— Зато какие! Есенин! Блок...

— Ну, два. А еще?

— Маяковский. Демьян Бедный. Казин. Орешин.

— Все равно не хватает. Катя, твое стихотворение о снежинках мы поместим в первом номере нашего литхудожественного журнала «Красный педагог». Вот будет фурор! Пока материала немного, все больше статьи, публицистика воспитательного характера. Необходимо, кто спорит? Но без стихов и прозы журнал не журнал. Катя, напиши плюс к стихотворению прозу. Даю срок две недели. Вот что еще. Надо в конце концов общественную

нагрузку для тебя подыскать. Доклад само собой. Журнал само собой. Подыщу тебе такую нагрузку, что ах! — на весь техникум гром. Идея. Организуем кружок декламации... Кружок декламации для будущих учителей ведет Катерина Бектышева. Звучит?

— Звучит, — засмеялась Катя.

Умора с Линой. Вечно бушует, неугасимый вулкан. Энергия так и плещет из нее, как во время извержения лавы из кратера.

В разгар пылкой Лининой речи, когда, наспех натягивая различные принадлежности туалета, она спешила мчаться к Коле Камушкину согласовать с ним уйму неотложных вопросов, вошла член кухонной комиссии Клава Пирожкова. На лице ее ясно читалось выражение утомленной ответственности. Дело в том, что, хотя сегодня воскресенье и другие вольны лишний часок поваляться в постели, она, Клава Пирожкова, даже в выходной день не может позволить себе этой вольности. Праздник не праздник — стой на посту! Но кроме привычного выражения: «Ах, с ног сбилась на общую пользу!» — кроме того, Лина и Катя заметили: что-то необычное написано сегодня на остреньком Клавином личике, многозначительность какая-то, тайна, которую хочет — хранит, захочет — откроет. Лина мигом сообразила: Клавка что-то провела.

— Тоже узнала? От кого? — наугад спросила Лина.

Клава опешила. Наступление было слишком молниеносно, ударно, безошибочно в смысле стратегии.

— От кого? Все только и говорят.

— Не может быть, чтобы все говорили. О чем?

— О чистке. О чем же еще?

— Чего-чего? — не понимая, нахмурилась Лина.

Тут Клава догадалась, что ее провели, хитростью раньше времени выудили ей известное, а другим пока нет, не дали поважничать, подразнить.

А все Акулина. Лина-Акулина, солдат в юбке из деревни Серы Утки!

— Назначена чистка. Из центра приезжает комиссия. Будут проверять идеологию.

Все-таки она добилась эффекта. И, убедившись в этом, развязала платок, аккуратно повесили шубку на гвоздь, села на койку, вытянула руки между колен, помедлила и с интригующей улыбкой: — А еще...

— Что еще?

— Будут чуждый класс вычищать.

Молчание.

Обе поглядели на Катю. Светленькие Клавины бусинки скользнули с неясным смешком и убежали в сторону.

Лина глядела долго, внимательно, словно что-то впервые распознавая в ней.

— Итак, решено, Катя,— с новым приливом энергии заговорила она.— Ты ведешь с первым курсом кружок декламации. Очень важное для нас мероприятие. И ценно, что инициатива твоя. Пока!

Она накинула пальто и унеслась. Клава легла на койку, положила под щеку ладонь и, прислонив к тумбочке раскрытый учебник, погрузилась в науку. Любопытство мешало ей сосредоточиться, прямо-таки распирало ее. Она поглядывала поверх учебника на Катю, стоявшую возле своей койки вроде как в столбняке.

— Не очень переживай,— покровительственно сказала Клава.— Все-таки у тебя трудовой стаж, хоть недолгий, все-таки стаж.

— Да, правда,— засмеялась Катя, как смеются, тужась изобразить веселость, дебютантки самодеятельного, впервые открывающего сезон драмкружка.

И, боясь после театрального смеха не удержаться и всхлипнуть, скорее вышла на улицу. Та же слякоть, тот же чавкающий снег под ногами, мокрыми еще со вчерашнего вечера. В садике Чертогов каркала на ветке ворона. Хрипло, нахально.

Лина и Максим направлялись от Чертогов к крыльцу педагогического общежития.

Лина сумела пробраться в ВЭШ, разыскала Максима.

Оба были серьезны, и обида, непоправимая, безутешная, черная, как воронье крыло, вороньими когтями вонзилась в сердце.

— Бирюк мне Максима нашел,— сказала Лина, подходя.

— Зачем?

— Для переговоров. На нашу удачу воскресенье, увольнительный день. Интеллигентничать брось,— коротко кинула она Кате.— Где приютиться, вопрос. Дома Клавка. Идемте...

— На гульбище,— позвал Максим.

— Точно. Там хоть крыша над головой.

Какая-то парочка, курсант с девчонкой, прогуливалась по гульбищу, видимо довольная удобным для свиданий местом.

— Здесь постоим,— сказал Максим, останавливаясь возле одного из опорных столбов, перевитых лепными виноградными лозами.

Закурил. Пускал дым толстыми, густыми струями и говорил своим обычным, неколебимо уверенным тоном.

Неколебимо. Катя вдруг уловила особенность его тона, он ни в чем не сомневается, не колеблется, все знает, все-все знает, его ничто не мучает, он не умеет мучиться. Он уверен: в нашей жизни все правильно, превосходно, прекрасно. Неколебимо уверен.

— Вполне возможно, чистка будет. Даже скорее всего будет. Объяснимо. Пока Советская власть не окрепла, пока Антанта с

белогвардейщиной перли на нас со всех сторон, пока мы не стали на ноги, все враги и вражишки наши кто прямо против нас воевал, кто шkodил, кто прятался — ждал, чья возьмет. Нынче всем видно: наша взяла. Какой выход вражишкам? Один. Приспосабливаться. Понабились, поналезли в учреждения, институты. Профессорский сын образованностью, понятно, забьет пролетарского парня. Дива в том нет. Образованный, а чужак. Что чистка? Она нам не страшна. Ее цель и задача — чуждый элемент выметать.

Так Максим объяснял пролетарские цели и задачи предстоящей в педтехникуме чистки и, докурив папиросу, кинул окурок на каменный пол и растер сапогом.

— Культура,— сказала Лина.

— Никак солдатские привычки не брошу,— смутился Максим. И вопросительно, после вчерашней размолвки: — Катя, возмись за меня, а? Договор: в политических и народнохозяйственных вопросах я тебя ориентировать буду, а ты мне правила приличий подсказывай.

— Она у нас чуждый элемент,— сказала Лина.

— Чуждый элемент в приличиях-то как раз лучше пролетариата толк понимает.

— Не шучу. Не до шуток,— строго отрезала Лина.— Она чуждый элемент по анкете. Отец был царским полковником. Да что, Катя, разве ты не говорила ему?

— К слову не пришлось,— сказал Максим, как бы оправдывая, но в глазах его Катя внезапно увидала смятение, он растерялся. Катя впервые увидела его растерянным.— Может, мать из бедного класса, а, Катя?

— У матери была усадьба, триста десятин.

— Кошмар! — шепотом воскликнула Лина.

Максим закурил и молчал.

— Обсудим, однако, без паники,— приказала самой себе Лина, привыкшая во всех случаях захватывать инициативу в свои большие крестьянские руки.— Без паники. Надо выработать тактику. Бумаги про мать-отца есть?

— Нет.

— Катька, везучая ты! — радостно шлепнула Лина обеими руками себя по бедрам.— Бумаг нет — и доказательств нет. Нет доказательств. Свидетелей нет. На вопросы отвечай: отец служащий, мать домохозяйка. Сказала и стой на своем. Бумаг-то нет? В чем твоя гибель? В бумагах. А где они? Нет. На все вопросы: отец служащий, мать домохозяйка. Трудовая интеллигенция. Стой на своем. Никакая чистка тебя не коснется.

Максим докурил, снова чуть не бросил окурок на каменный пол, но не бросил, смял, оглянулся и, не видя урны, сунул в карман.

— Твое мнение? — спросила Лина.
— Катя, скажи все как есть.
— Рехнулся! — ахнула Лина. — Так ведь она по всем линиям чуждым элементом выходит. Вычистят с музыкой.
— Отвечай правду, Катя, — твердо повторил он. — Ты не чужак. Отвечай правду.
— Прямо, как аршин, оглобля, верстовой столб! — выйдя из себя, возмутилась Лина.
— Лучше прямить, чем кривить.
— Под чистку подводит, — нервно ломая пальцы, шепотом возмущалась Лина, оглядываясь на прогуливающуюся по гульбищу парочку. — Катерина, слушай меня. У меня житейский ум. А ты, Максим, ты не командир, тебе и электрификацию-то доверить рискованно, нет в тебе практического смысла ни на грош, ты... Дон-Жуан! Дон-Кихот! Что ты в нем, Катя, нашла?

44

Накануне в аудиторию пришел заведующий техникумом, седой, весь белый, с веерочками частых морщин к вискам. О нем знали, что в прошлом был передовым деятелем земских школ, страстным приверженцем Ушинского — Катю это по иваньковским воспоминаниям располагало особенно. Знали, что его ценит Надежда Константиновна Крупская, а это тоже всем техникумам было приятно и лестно.

— Товарищи будущие учителя, — сказал заведующий, садясь и уютно кладя ладони на учительский столик, оглядывая всех добрыми, немного слезящимися глазами.

Он вытирал слезинки аккуратным белым платочком. Все было на нем аккуратно — костюм, сорочка, галстук, и Катя представляла его жену такой же белой старушкой, почему-то казалось ей, невысокой, полной, с мягкими заботливыми ручками, за десятилетия семейной жизни не сказавшей не то что грубого, чуть резкого слова.

— Товарищи будущие учителя, ходят неверные и вредные слухи, что вас будто бы ожидает чистка. Никакой чистки не будет. Но, готовя вас к ответственному поприщу народных советских учителей, мы хотим поближе познакомиться с вами, поговорить по душам о ваших взглядах на жизнь, планах, мечтах, может быть...

— А зачем комиссия из Москвы приезжает? — остреньким, как поскребок, голоском пискнула Клава Пирожкова.

— За тем, о чем я вам сказал. Не возбуждайте и не будоражьте себя, друзья. Будьте искренни и откровенны и злого не ждите.

— Дипломатия. Успокаивает,— авторитетно заявила Клава, когда он ушел.

Она все делала вид, что знает больше других, на что-то все намекала, искала, с кем пошептаться.

— А ты чего празднуешь? — спросил Григорий Конырев, с толстым носом, наводящим на подозрения почти багровой краснотой, хотя всем были известны вегетарианство Конырева и толстовские взгляды.

— Мы что знаем, то знаем,— погрозила пальцем Клава.

Четвертый курс приглашался для собеседования в вечернюю смену.

— Катеринушка моя! — преувеличенно весело восклицала Лина.— Заведующий, да товарищ Камушкин от комсомола, да Савельева, то есть я, от студкома — вот и комиссия. Да из центра какая-то тетка. Будь хоть ведьма — трое против одной, ясно? Пока.

Сдвинула на затылок шапку-ушанку и исчезла.

В коридоре вестибюля толпились четверокурсники. Катя пришла с опозданием. Небольшим, но рассчитанным. «Не думайте, что волнуюсь. Нисколько. Не придаю ни-ка-кого значения!»

— Ведь знаешь, что тебе по алфавиту близко, ну что же ты, где твоя сознательность, право? — попеняла староста курса, серьезная, положительная девица, ужасно озабоченная тем, чтобы четвертый курс был образцовым, показывая во всех случаях пример дисциплинированности.

— Извини, пожалуйста.

— Ладно, все равно нарушен алфавит. Жди. Скоро пойдешь. Староста выкликала по списку, кому идти в пугающую, таинственную комнату, где заседала комиссия.

— Как представителя из центра зовут? — спросила Катя.

Никто не знал.

«Инспектор Н. Н.», — назвала про себя Катя, как иногда называет своих героев Тургенев. «Господин Н. Н.». «Госпожа Н. Н.».

Вышел, вернее, вылетел, будто пинка дали в зад, Григорий Конырев, распаренный, как из бани, с одним выпученным, другим резко скошенным глазом, в которых стояла какая-то разбойная лихость.

— Что? Что? Что? — мгновенно окружили его.— Да рассказывай же, Конырев, Гриша, блаженный, чудака!

— Если у человека свои, не в общую дуду, убеждения, значит, блаженный? Пусть блаженный. Не скрываю своих взглядов. Не прячусь. Отвергаю церковь. Государственную власть. Армию. Войны. Никого не насилую и не желаю, чтобы надо мною учиняли насилия.

— Какие над тобой учинили насилия?

— Хотели. Потребовали подписку, чтобы после техникума ехал, куда назначат. Отказываюсь. Наотрез. Не желаю. Желаю жить свой волей. Служу народу где хочу, как хочу.

— А сейчас?

— А сейчас, вернее, завтра — до свидания, братцы, может, прощайте. Котомку на плечи — и в Ясную Поляну. Там дерево бедных... Погляжу. Пойду пешком по земле, как Горький. Почуюсь не по книжкам.

— Екатерина Бектышева!

Катя вошла в комнату. Обычный кабинет заведующего. Портрет Ушинского на стене. Катя незаметно кивнула ему. Подмигнула члену комиссии Лине, это уж совсем незаметно. Поклонилась заведующему.

Во главе с ним за столом восседали чрезвычайно серьезные члены комиссии Лина и Камушкин. И инспектор Н. Н. Женщина средних лет, в темно-сером жакете мужского покроя, с тяжелыми плечами, короткой шеей.

От нее-то и шла, видимо, та волна чего-то враждебного, что мгновенно почувствовала Катя. Из-за нее-то обычный кабинет заведующего сегодня был необычен.

Она вся была тяжелая, мощная. На большом, почти квадратном лице за толстыми стеклами очков круглые глаза, неподвижно вперившиеся в упор, с подчеркнутой пристальностью. Говорят, глаза — зеркало души. Ее глаза не зеркало — щупальца. А душа пряталась, нераспознанная. Впрочем, эта веющая, как из погреба, стужа...

— Екатерина Платоновна Бектышева, — дружески представил заведующий.

— Да-а, — неопределенно протянула инспектор Н. Н.

Открыла потертый рыжий портфель и вынула... Что бы вы думали?

— Что это? — не сдержась, воскликнула Катя.

— Вам лучше знать.

— Позвольте... — недоуменно начал заведующий.

Лина вытянулась, давая Кате знаки: «Спокойно! Держать нервы в узде».

— Наш образованный и одаренный преподаватель психологии Федор Филиппович... — начал заведующий.

— При чем психология? — прервала инспектор.

— Федор Филиппович — старожил наших мест, страстный любитель природы и поклонник художника Нестерова, которого знавал и видел мальчишкой, когда художник задолго до революции приезжал к нам рисовать свои знаменитые картины.

— Картины? Это икона.

Инспектор Н. Н. держала за кончики Катину репродукцию «Отрока Варфоломея».

— Эта картина Нестерова хранится в Третьяковке, — убеждал заведующий, вдруг погрузнев и разом как-то сильнее постарев.

— Знаю, — наклонила голову инспектор Н. Н., причем подстриженные волосы повисли вдоль щек. Она подняла голову, русые пряди вернулись на место. — В Третьяковской галерее хранится многое из прошлого и старинные иконы тоже. Ваш преподаватель не мог выбрать для демонстрации что-нибудь другое, идейное, а не монаха с венцом? Да, а кроме того... нам стало известно, ваш преподаватель учит психологии по учебнику заграничного буржуазного ученого. Что за выдумки? Разве у нас своей, советской психологии нет? Нам известно, что он... у него и в семье разложение?

Заведующий недоуменно и подавленно слушал вопросы, не отвечая, и только горький укор и стыд — да, стыд! — отражались на его потупленном лице с веерочками морщин у висков. Откуда инспектору все это известно? Кто осведомил и зачем? Члены комиссии замерли, чуя, творится что-то неладное, и не зная, как в данном случае себя повести.

— Где вы взяли мою репродукцию? — перебила Катя инспектора.

— Вас не касается.

— Репродукция висела у меня над тумбочкой. Я не заметила, что ее нет... украли.

— Ах! — громко ахнула Лина.

Инспектор Н. Н. положила «Отрока Варфоломея» на стол, сняла очки — протереть, и глаза ее без очков оказались белесыми, щупающими вслепую, а нос совсем пуговичный, а над носом красная полоска от дужки. Маленький носик на большом белом лице.

Кажется, она поняла, чтохватила лишку по части бдительности, и обратилась к заведующему голосом, металл в котором неожиданно сменился свирелью:

— У нас еще будет время пообщаться, я надеюсь обогатиться вашим выдающимся педагогическим опытом.

А Катя взяла со стола своего «Отрока» и с этого момента бесповоротно знала: снисхождения не будет. И почему-то волнение отпустило ее, и она равнодушно ждала, что дальше.

Инспектор Н. Н. как бы не заметила дерзкого поступка Бектышевой, оставила «Отрока» в покое.

— Кто ваш отец?

Ну, конечно! Когда-то, помнит Катя, предсельсовета Петр Игнатьевич задал этот вопрос, а баба-Кока, не дав ей ответить, торопливо сказала, что у Катерины Платоновны ни матери, ни отца, ни сестер, ни братьев.

Баба-Кока хитрила, даже она, даже с ним, Петром Игнатьевичем! Было неприятно. Несколько дней Катя дулась на нее.

«Э! Милочка моя, понапрасну на рожон одни дураки только лезут», — с обычным своим здравым смыслом и легкостью рассудила баба-Кока.

— Где ваш отец? (уже не кто, а где?)

— Не знаю.

— То есть?

Молчание. Равнодушное и вместе с тем дерзкое.

Инспектор снова сняла очки, шупая подслеповатым взглядом худенькую, закрывшуюся на замок, несносную своей закрытостью девчонку.

— Отвечай! — прикрикнула член комиссии Лина Савельева.

Заведующий ласково:

— Екатерина Платоновна, вспомните, что я говорил.

— Бектышева, вы не знаете, кто и где ваш отец? — в упор, читая ее въедливым взглядом, повторила вопрос инспектор Н. Н.

Заведующий ласково:

— Случается, что и не знают. Всякое случается.

— Где мать?

Молчание.

Заведующий мягко и грустно:

— Екатерина Платоновна, отчего вы не хотите отвечать?

Катя опустила глаза. Белый от седины, благородный, добрый ученик и последователь моего Ушинского, не спрашивай, не надо.

Инспектор Н. Н. придвинула кипу папок, взяла верхнюю. Катя успела прочитать: «Личное дело Бект...

Тошная папка. В ней ничего. Никакого личного дела. Две бумажки, правда, с печатями. Одна о том, что тов. Е. П. Бектышева уволена из Иваньковской школы по сокращению штатов. Другая — приглашение Сергиевского педагогического техникума. Не персонально ей, но так или иначе приглашение.

У! Какой убийственной стужей дохнуло от инспектора Н. Н. — как из погреба.

— Бектышеву приняли без документов! Ни заявления. Ни анкеты. Ни метрики. Ничего.

Заведующий, взяв из папки бумажку:

— Позвольте... Справка о сокращении. Вы ведь знаете, почти весь наш вновь открытый четвертый курс состоит из сокращенных учителей преимущественно окрестных сельских школ. Справка о сокращении — это значит год педагогического труда в семнадцать лет. Это значит... Зачеркивать нельзя, несправедливо... безнравственно...

Он вынул из нагрудного кармашка чистый платочек, встряхнул и вытер слезящиеся глаза, и все увидели: его стариковские, морщинистые руки дрожат.

— Бектышева — лучшая студентка курса! — воскликнула член комиссии Лина Савельева.

— Бектышева активно участвует в организации литжурнала «Красный педагог», — сказал секретарь комсомольской ячейки Коля Камушкин. (Хотя это участие пока только намечалось на будущее.)

Инспектор Н. Н. уловила что-то в настроении членов комиссии для своего инспекторского престижа опасное. Нельзя игнорировать настроение масс, надо быть гибкой. И голосом, в котором снова зазвучали свирели и флейты, задала Бектышевой новый вопрос. Вопрос был задан для смягчения напряженной обстановки, улаживания конфликта. Инспектор Н. Н., снисходя к юности Е. П. Бектышевой, предлагает ей мировую, вот что это было.

— Вы пошли работать учительницей по призванию, товарищ Бектышева?

Бектышева молчала. Ей кидают мостик. Возьмись за перильца и шагай через пропасть. Спасайся. Лихорадочная борьба шла внутри нее. Катя, решай. Вспомни бабы-Кокино легкое, трезвое: «Понапрасну дураки одни на рожон лезут». Не лезть? Смириться? Взять протянутую тяжелую руку? Катя, решай. Но она так ее не любила, инспектора Н. Н. в темном жакете мужского покроя, инспектора Н. Н. с маленьким носиком между толстых стекол очков! Не любила. И протянутой руки не взяла.

— Бектышева, вы по призванию пошли?

— Я пошла учительницей потому, что нам с бабой-Кокой... моей бабушкой в городе нечего было есть. А в деревне нас кормили миром.

— С ума сошла! — почти заорала Лина Савельева, позабыв о том, что она член комиссии, позабыв о всех своих высоких званиях и должностях. — Что тебе из Иванькова пишут? Другой учительницы знать не хотят, ждут, умоляют... Катерина, читай сейчас же письмо из Иванькова, цитируй.

— Я не взяла с собой письмо.

— С ума сойти! Божья коровка. Совсем защищаться не умеет, совсем!

Между тем с инспектором Н. Н. произошла метаморфоза. Вновь закаменело большое лицо, вновь сквозь толстые стекла очков шарили щупальца.

— Защищаться? — прозвучал металлический голос. — От кого? Защищаются от врагов. Член комиссии товарищ Савельева, думайте, что говорите.

— Можно мне? — поднял руку, как школьник, оробевший в этой сложной ситуации, впервые избранный секретарем только созданной комсомольской ячейки, неопытный, неотесанный Коля Камушкин. — Я хочу сказать, что хотя не на одном курсе с Бектышевой, что она... Я, как секретарь комсомольской ячейки, подтверждаю: Бектышева — сознательный товарищ, дисциплинированный...

— И те де. И те пе,— вставила инспектор, не скрывая иронии.

— Я хочу сказать, она талантлива... Вот глядите.— И он развернул газету, в которой сложены были статьи и заметки для будущего издания, пока в небольшом количестве, всего на треть номера, но Коля Камушкин старательно их собирал и хранил, горячо веря в создание литературно-художественного и общественно-политического рукописного студенческого журнала «Красный педагог».

Среди материалов Катины стихи. И наивный, неопытный, неискушенный секретарь комсомольской ячейки Коля Камушкин передал инспектору Катины стихи со словами:

— По-моему, талантливо. И еще она обещала нам прозу.

Какое-то движение прошло по лицу женщины в толстых очках, любопытство, быть может.

С неприветливого, нахмуренного неба
Звездочки-снежинки белые слетают
И на серую нерадостную землю
Падают и тают.
С вышины песья, резвяся и играя,
Грязной осени они не знают.
И, с далеких облаков слетая,
О земле мечтают.
Но снежинок неприветливо встречает
Земля, старая, усталая, больная.
И снежинки землю проклинаяют,
Умирая.
Так мечты мои, в тиши рождаясь,
Радость мне и счастье обещают.
Но, с убогой жизнью повстречаясь,
Как снежинки, тают.

«Плохо, плохо! — думала Катя, слушая металлический голос и чеканное чтение инспектором ее, Катиных, жалких стихов.— Разве это похоже на то, что я чувствовала в тот вечер? — думала Катя.— Разве хоть немного похоже? Как я смела так написать, так сусально? Блок, Есенин, простите меня!»

Инспектор дочитала стихи и, как прессом, накрыла ладонью листок на столе.

— Это учительница! Кому мы доверяем воспитание наших детей! Черт знает что! Извините, но действительно черт знает что! Советской власти идет пятый год, а она...

— Позвольте, но юности свойственно...— попробовал вмешаться заведующий.

— Есть юность и юность. Такая юность,— она вытянула на Катю карающий перст,— такая юность нам чужда. А у вас, товарищ Камушкин, притупилась политическая зоркость. Вникните,

что она пишет: «Но, с убогой жизнью повстречаясь»... Это наша-то жизнь убогая, а? Я вас спрашиваю, а?

— Можно идти? — сказала Катя и, не дожидаясь ответа, повернулась идти. Вспомнила, поклонилась заведующему.

— Тут, сколько ни скреби, до красного не доскребешься,— отчеканил ей вдогонку металл.

Первое, что Катя увидела, выйдя из кабинета заведующего, было сияющее остренькое личико Клавы. Если кто хочет увидеть, как сияет зло, поглядите на Клаву. Зло может ликовать, торжествовать, праздновать.

— Что? Что? — слышалось со всех сторон.

— Я говорила,— ликовало хитренькое, изворотливое Клавино зло.

— Все хорошо,— улыбнулась Катя. И откуда только силы брались играть роль победительницы у этой артистки?! — Все хорошо.

— Пирожкова! А ты болтала... — сказал кто-то недоуменно и с нотками освобождения в тоне.

И Катя услышала. О! Какие суровые уроки преподносит ей жизнь, как закаляет!

— Ничего не болтала! — услышала Катя Клавин тоненький и скребущий, нет, не скребущий, торопливый голосок: — Я говорила, что... Я беспокоилась. Я за всех беспокоюсь. Мало ли что. Я Бектышеву со школы знаю. Она всегда у нас в первых была.

Катя быстро выбежала из коридора возле кабинета заведующего. Она бежала деревянной лестницей вниз со второго этажа, громко стуча по ступеням разношенными, еле живыми туфлишками.

45

А в безлюдных холодных сенях как споткнулась. Стала. Отдышалась, спрятала «Отрока» на груди под пальто. И на крыльцо вышла тихо.

Снова зима. Белизна. Над краем неба, всякий раз будто впервые, выписан бледно-желтый с острыми, загнутыми внутрь концами народившийся месяц. Вечный мирный спутник Земли.

Героиня наша стояла без движения. Героиня?

Герои борются против зла, бесстрашно защищают себя и друзей. Волевые, активные, сильные, мужественные!

Но в жизни не одни герои. Самые разные люди живут на свете, обыкновенные люди, иногда не очень волевые и мужественные, иногда даже слабые и нерешительные.

С другой стороны, не каждый день призывает человека на подвиг. А если бы обстоятельства поставили Катю в такое положение, рискованное и грозное, когда или совершай подвиг, иди на смерть, или беги трусом, как бы она поступила?

«Ответ ясен, когда представляешь таких людей, как Петр Игнатьевич или Максим, тут не возникнут сомнения», — думала Катя.

Кстати, вот он, Максим, вырос как из-под земли.

— Катя, что?

— Естественно, вычистили, — сухо ответила Катя, опустив голову и раскапывая носком рыхлый снег, зачерпнув сразу пол-туфли.

Она неистово жалела себя, но другим не позволит жалеть. Никому, никогда.

— Максим, как ты здесь очутился? Увольнительный час?

— Отпросился на весь вечер.

В эту минуту грохнула входная дверь, на крыльцо вырвалась Лина и, ломая пальцы, обрушила на Катю возмущение, упреки, вопли отчаяния.

— Что ты наделала? Максим, что она натворила! Ужас! Зачем ты с этой колючей теткой связалась?

— Я не связывалась.

— Связалась, связалась! Максим, слышал бы ты, как она с ней говорила. Надменно, как принцесса швейцарская...

— В Швейцарии нет принцесс.

— Ладно! Немецкая, испанская, итальянская... Что ты про призвание плела? Что ты на все вопросы — «не знаю»? «Не знаю» или молчок. Специально для вычистки? — Секунду она помолчала и вдруг хлопнула себя по лбу ладонью, как это делается, когда человека неожиданно осеняет счастливая мысль. — Катя! Максим! Идея. Ты на ней женишься. За твоим пролетарским происхождением она все равно что за каменной стеной.

Катя вспыхнула, ее обожгло.

— Спасибо. Не хочу укрываться за каменной стеной.

Вот уж действительно сейчас заговорила принцесса, даже королева, могущая даровать милость или изгнать из царства неугодного подданного.

— Ну так пропадай ты пропадом, недотрога, змея подколотая! — в ярости закричала Лина. — Я для нее с комиссии сбежала, а она... Ты погляди на Максима, весь истаял, безжалостная! Так ступай на все четыре с толстовцем под руку...

— Катя, я тебя люблю. — Он сказал это твердо и нежно. Так он не говорил никогда, чтобы и твердо и нежно. — Я тебя люблю. Принцесса ты или змея подколотая, красивая или нет, не знаю, мне все равно. Как я тебя в первый раз увидел, так и полюбил. Спросишь, за что?

Катя не спрашивала. Грудь сдавило слезами, она не могла вымолвить слова. Зато Лина, взявшись за дверную скобку, собираясь умчаться, не умчалась, забыла про комиссию и слушала с восторгом. Упиваясь, будто это ей объяснялись в любви. Затем

сообразила все же: третий — лишний. Хлопнула дверью и унеслась заседать.

— Не отвечай,— говорил Максим так же ласково, нет, все нежнее и бережнее.— Я тебя гордую люблю. А обидеть тебя не дам. Не хочешь за меня замуж, все равно всегда буду при тебе, вблизи ли, издали, с глаз не отпущу.

— Знаешь что, идем... Тут мне нужно к одному человеку,— позвала Катя.

Она ждала этих слов, мечтала, ревновала, завидовала тем, кому говорят такие слова. А сейчас смешалась. Не знала, что отвечать. Растерялась.

— Идем.

До революции Федор Филиппович преподавал в мужской гимназии и так и оставался жить в бывшей казенной квартире при ней.

Они застали Федора Филипповича в кухне. С засученными рукавами, без пиджака, в фартуке с оборочкой, он чистил картошку. Сыновья — один мыл посуду, другой тер пол тряпкой, намотанной на щетку.

— Хозяйничаем,— сказал Федор Филиппович, нервно кривя тонкие губы, может быть, недовольный тем, что незваные гости застали его на кухне, в фартуке, за такой прозаической работой, как бы низводящей его с педагогической кафедры. Впрочем, он часто кривил и нервно подергивал губы, ничто другое не выдавало сейчас в нем смущения. Напротив, он спокойно объяснил: — Утром всем на занятия, с хозяйством управляемся вечерами. Что-нибудь случилось? — спросил он Катю.

— Ничего не случилось. Мы просто зашли...

— В таком случае,— развязывая фартук, сказал он,— прошу в кабинет. Мальчишки, заканчивайте одни!

— У нас строгое распределение обязанностей,— говорил он, вводя Катю и Максима в кабинет — просторную, заставленную книжными шкафами и полками комнату, порядочно захлавленную и неприбранную, что сразу заметил бы опытный женский взгляд, но не Катин, ибо к хозяйству она была равнодушна. Зато заметила на письменном столе фотографию. Приятное, чуть грустное, чуть удивленное лицо глядело на нее из простенькой деревянной рамки, как бы прося: «Не думайте обо мне плохо. Не судите меня».

Почему Кате взбрело такое на ум? Впрочем, как ни была она занята собой и своей участью на допросе у инспектора Н. Н., в память запало брошенное прокурорски: «...у него в семье разложение».

— Мой дом,— говорил Федор Филиппович, скупым жестом показывая шкафы и полки.— Книги — друзья, которые не изменяют, как сказал Пушкин. Садитесь. Итак?

Он все-таки желал знать, что их привело, без предупреждения, в неурочный час. Он подозревал: его ученица с кавалером пришли не просто, что-то их привело.

— Я хотела... мне хочется вам рассказать. Заведующий, очень благородный человек, необыкновенно хорошо к вам относится, считает вас самым талантливым, образованным, самым образованным преподавателем в техникуме, и...— беспомощно лепетала Катя,— и мы все с ним согласны.

— С чего бы заведующему явилась мысль меня вам аттестовать? — вслух размышлял Федор Филиппович, слегка теребя каштановый ус.— А-а! Ведь у вас там происходит, так сказать, собеседование. Комиссия из центра.

— Комиссия! Одна тетка,— пренебрежительно повела Катя плечом.

— Когда тетка с полномочиями, это уже не тетка, а инспектор. Вероятно, попутно речь возникла кое о ком из преподавательского состава... Нет, прошу вас,— холодно остановил он Катю, порывающуюся что-то сказать,— никаких осведомлений. Я не задаю вам вопросов.— И, круто переводя разговор на другую тему, кивнул на Максима: — Вы не познакомили нас.

Максим поднялся, по-военному щелкнул каблуками.

— Курсант ВЭШ, Военной электротехнической школы, Максим. Катин жених.

— Поздравляю. Вам повезло.— И Кате: — Вам, я думаю, тоже.

Прелестное, чуть грустное лицо глядело на Катю из деревянной рамки, и чья-то чужая, нелегкая, должно быть, доля не отпускала.

Федор Филиппович вслед за Кате́й перевел взгляд на карточку. Тревожная пауза.

— Она не создана для семьи,— сказал после паузы Федор Филиппович.— Вернее, не только для семьи создана. Все что-то куда-то звало ее. Скучала. Таилась, но я вижу. Я сам ей подсказал, послал в Москву учиться на медицинский факультет. После революции это стало доступней для женщин. И мальчишки подросли к тому времени. Довольно быстро она переключалась в театральную студию. Иной, соблазнительный мир. Талант, и... «ты отдала свою судьбу другому»... Слышали такие слова?

— А вы? Сыновья? — спросил Максим своим твердым, не ластящимся голосом.

— Ей было мучительно нас оставлять. Нам тоже. Но мы стараемся одолевать нашу беду. Мальчишки у меня молодцы.

Федор Филиппович поднялся.

— Вы пришли ко мне с добрыми намерениями, благодарю вас,— сказал Федор Филиппович Кате.— А с Джемсом справляетесь отлично. Вероятно, дальнейший ваш путь...

Федор Филиппович пытливо поглядел на Максима.

— За мной, как нитка за иголкой,— ответил Максим.

Он не нашел ничего более подходящего, как сравнить ее с ниткой! «Я, Катя Бектышева, нитка!» Со своей непоколебимой уверенностью он всегда скажет такое, как ошпарит, как ледяной водой окатит из проруби.

— В том смысле,— глядя на Катю, сказал Максим,— что иголка без нитки никому не нужный, бесполезный предмет.

— Я так и подумал,— ответил Федор Филиппович.

46

Все кончилось. Кончились надежды. Помнишь, Варвара, он звал тебя бешеной? За твой беспокойный нрав. Бедная Варвара, и любовь твоя его не спасла... На Иваньковском погосте свежая могила: «Здесь покоится погибший от кулацкой пули председатель Иваньковского сельсовета большевик Петр Игнатьевич Смородин. Вечная память тебе, товарищ!»

Катя горько вспомнила о Петре Игнатьевиче сейчас потому, что маленький разъезд, на котором они сошли с Максимом, был в точности похож на тот, откуда меньше года назад Петр Игнатьевич провожал ее учиться в педтехникум. Такое же небольшое станционное здание, с тремя полукружьями окон и крыльечком под навесом, ровненький ряд светло-зеленых, не успевших прокоптиться от дыма акаций за низким штакетником, крытый шатром колодезь с бадьей на цепи, плотно утрамбованный красноватый песок платформы, сараюшки, травянистый холм погребов, длинные поленицы березовых дров и в десяти шагах позади строений частый лиственный лес. Едва поезд затих вдалеке, из леса хнынули свист, щелканье, трели — такой ликующий птичий хор, что некоторое время Катя и Максим стояли полны изумления.

Потом они пошли не в лес, а в противоположную сторону, где сразу за железнодорожными путями начинались овсяные и ржаные поля, их молодая зелень была сочна, и свежа, и по-весеннему радостна.

Был воскресный день. Максиму дали увольнительную до завтрашней побудки, поэтому надо спешить. Туда восемь верст и обратно. Надо успеть к вечернему поезду.

— Успеем. Однако давай шагать, поторапливаться,— сказал Максим.

Они шагали полевой дорогой. Небо звенело. Иногда крошечный темный комочек стремглав упал в поле из выси. Это жаворонок нес мошку в жадные клювы голодных птенцов.

Как они ни спешили, Катя непременно хотела завернуть

ненадолго в ту осиновую рощу. Как это было давно! Был такой же ранний май. Вася привез ее на велосипеде. Ему понадобились ландыши для докторской дочки, и он прихватил с собою Катю, отчасти помочь ему собрать ландыши, отчасти развлечь. Вася всегда был занят, торопился куда-то, Катю он развлекал и любил мимоходом, урывками. Бурно и виновато, оттого что урывками...

Вот та осиновая роща. Та же. Кажется, не постарела совсем. Легкий, ласковый шорох в верхушках тонких осин. Они остановились. Ландышевого озерца не было. Май был холодный. Ландыши еще не распустились.

— Катя! — позвал Максим.

Она оглянулась. Он протягивал ветку, один листочек колыбался на ней.

— Что это? — спросила Катя.

— Зеленая ветка мая.

— Не пойму.

— А ты пойми.

Она помолчала. Они пошли дальше. Старый бор подступил к дороге темной стеной. И все — поле, лес, небо — пело, звучало. И вот показалось Заборье. Показалась колокольня церковки и среди берез и лип — красная крыша загороженного садом дома.

Катя стиснула руки и отчаянным шепотом:

— Скажи, зачем я тебя сюда притащила? Зачем я приехала?

Максим тихо погладил ей щеку ладонью. У него жесткая ладонь.

— Надо.

— Зачем?

— Простимся со старым и отрежем.

— Ты добрый, Максим.

...Катя помнила тишину и одинокость старого дома в Заборье, особенно когда Васю призвали в действующую армию и они остались с мамой одни. Татьяна последнее время все исчезала. Мертво в усадьбе, угрюмо.

У калитки они остановились. Что это? Шум детских голосов, десятки звонких голосов неслись им навстречу. Катя слушала, не веря.

— Что это, Максим?

Они медленно вошли в сад. Березовая аллея, весело кидая на солнечную дорожку узорчатые пятна теней, вела их к террасе. На террасе дверь в бывшую столовую открыта. Прежде квадратные паркетины пола от старости и неухода осели, образуя посередине комнаты впадину. Теперь, должно быть, полы починили — впадины нет. В окна виден стол, слышны ребячий гам, стук

оловянной посуды и ложек, а на террасе появилась из комнаты девушка в холщовом переднике, с полотенцем через плечо.

— Вам кого?

Что-то дрогнуло у нее в глазах, жарко вспыхнули щеки.

— Вы? Ты?.. Да уж не Катя ли?

Она всплеснула руками, сбегала к ним, и через секунду Катя обнимала, целовала, узнавала и не узнавала, и опять целовала Саньку, свою подружку из Заборья, Саньку, которая в детские годы так глубоко переживала Катины повести и вдохновляла ее.

— Твой? — кивнула Санька на Максима, когда взрыв любви и объятий утих. — Хорош. Военный к тому же... Катя, а Василий Платоныч не в беяках случаем? — осторожно спросила она.

— Васю убили на немецкой войне.

— Сердешный, — пожалела Санька. — А в усадьбе вашей, Катя, — торопливо заговорила она, поглядывая на окна столовой, где шум возрастал, — в вашем бывшем доме сельское общество по распоряжению властей детский дом образовало для сирот из голодных губерний. Прошлым летом из Поволжья к нам привезли. Кто, не доехавши, помер, кого у нас на погост проводили. А больше спасли. С подвод на руках в дом вносили да на полу, на попоны так и клали рядком. Вовсе были без силы, шкелеты остались одни, страх смотреть! А сейчас, слышь, воробьями стрекочут... Гости мои дорогие, желанные! — снова всплеснула Санька руками. — Побегу вам завтрак собрать. Обождите маленько. А поговорить-то как хочется! — Она взбежала на террасу, оглянулась, светясь любопытством и радостью. — У вас небось жизнь вся вперед запланирована. Нынче у каждого на все про все план. А я завхозом в детском доме. И завхозом и поваром — все хозяйство на мне. Когда и воспитанием займешься, не без этого.

И скрылась.

Дробно, часто заколотил дятел на клене. Пестрая клуша привела пушистый желтый выводок и принялась копать в земле, озабоченно квохча и что-то толкуя цыплятам.

— Отдохнем, — сказал Максим.

Они сели на ступеньке террасы.

— Одно на всю жизнь запланировано, — как бы ответил Саньке Максим, привлекая Катю, быстро целуя в висок. — Не пугайся, никто не увидит.

Катя улыбнулась ему, но отстранилась, обхватила колени руками, молчала. Максим закурил и тоже молчал, не мешая ей думать.

«Если бы Вася и баба-Кока были живы, оценили бы его, — думала Катя. — Они его полюбили бы. Он деликатный. А что верный, это уж точно».

...И перед ней встала вся та история, как бы случилась вчера. Мучительно представилось ей: сейчас из глубины аллеи появится Вася, и она все расскажет ему...

Тогда, простившись с Федором Филипповичем, они до позднего вечера бродили с Максимом зимними улицами. Максиму грозил внеочередной наряд, а то что-нибудь и построже за опоздание к ночному отбою, но он не отпускал Катю. Они бродили, бродили вечерними безмолвными улицами. Принялся падать сухой легкий снег, кружил и ложился на плечи, а Максим все повторял:

— Я тебя люблю.

Катя вернулась домой почти ночью, в надежде, что Лина и Клава давно спят. Они не спали, шло объяснение. Лина не желала дальше скрывать свою несимпатию к Клаве Пирожковой. Пришло время высказаться напрямик. Она кричала, на весь коридор слышен был крик, пусть слышен.

— Ты всегда была перевертышем,— обличала Лина Клаву Пирожкову.— Ты еще в школе: то с Надькой Гириной, то против; то за отца Агафангела, то против; то за Катю, то против. Ты... Знаешь, кто ты? И нашим и вашим за грошик спляшем.

— Как же! Дождешься от Бектышевой. У нее ни гроша,— прикидывалась простушкой Клава.

— Вся фальшивая, лживая...

— Зачем же ты со мной в одной комнате поселилась, если я такой уж отрицательный тип?

Клавин резонный вопрос застал Лину врасплох. Она сама не знала, почему и зачем поселилась в одной комнате с Клавой. Только что землячки, других причин нет.

В этот критический миг Катя вернулась домой, и Лина, оборвав объяснение, кинулась к ней — рассказывать, как и что было.

...Возле кабинета заведующего толпились четверокурсники, ожидая вызова, но после Бектышевой долго никого не приглашали в кабинет. Комиссия обсуждала Бектышеву. Инспектор Н. Н. произносила речь. Ровным, чеканным голосом произносила речь о классовой борьбе, происках контрреволюции, железной поступи пролетариата и твердой линии партии в вопросах культурного строительства. Все, что она говорила, было верно, но так как высказывались эти верные мысли по поводу Кати, члены комиссии Лина и Коля Камушкин, знавшие и любившие Катю, слушали подавленно, смысл произносимых слов сейчас был им далек. Заведующий потупил голову, ни звуком не прерывая речи инспектора. Она кончила, сняла очки протереть и изрекла резолюцию:

— Екатерину Бектышеву исключить из состава студентов как классово чуждый элемент.

Заведующий вынул свой аккуратный платочек, вытер лоб и виски и не ответил. Не обратился к инспектору. Как бы совершенно о ней позабыл.

А обратился к членам комиссии Коле и Лине. Рассказал им, как однажды слушал выступление Ленина на учительском съезде. Ленин призывал беречь широкие кадры учительства — широкие, обратите внимание! — воспитывать и перевоспитывать и не выкидывать полезных нам людей, а, напротив, подчинять своему влиянию, завоевывать все больше на свою сторону. Так призывал Владимир Ильич.

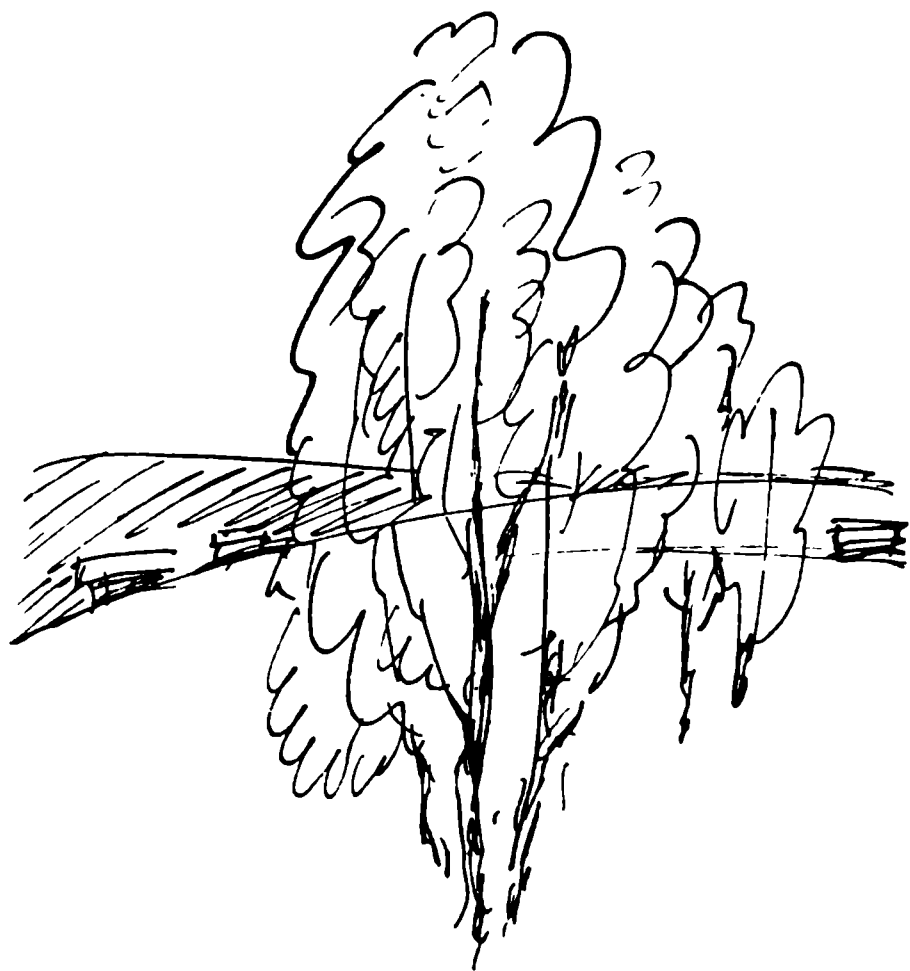
Заведующий снова вытер влажные виски аккуратным платочком и спросил членов комиссии, Колю Камушкина и Лину Савельеву:

— Как вы думаете, Ленин исключил бы Екатерину Бектышеву из состава студентов нашего техникума?

Вот что Катя рассказала бы Васе, если бы вдруг увидела его идущим по аллее, как когда-то давно, в детские годы...

Теперь недолго осталось до окончания курса. Что дальше? В сельце Иванькове ждут. Вернешься в Иваньково, Катя? Там твои младшие этой весной перейдут в старший класс, тебе ведь хотелось довести их до выпуска? А Максим? Еще целый год учиться в Высшей электротехнической школе. Ваша любовь не остынет за год разлуки? Выдержит срок испытания?

А впереди жизнь. В сущности, вся жизнь еще впереди.





ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ

*М*АЛЬЧИК С КОНЬКАМИ
Рассказы



МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ

1

В солнечный мартовский день в городе начинают таять сосульки. Они отсчитывают целебные капли больной, простуженной зиме.

По городу идет мальчик с коньками.

Он худой и вытянутый. Все ему не по росту, все малó. Лыжные брюки — до щиколоток. Пальто едва достает до колен. Руки он держит в карманах, а запястья голые, красные от ветра: рукава короткие. Шея у мальчика тоже длинная, худая. Шарф закрывает ее только наполовину. Шарф зеленый, в полоску, с фиолетовым чернильным пятном на самом видном месте.

Кажется, что вчера еще все было мальчику впору и что это за ночь он так подрос, вытянулся. А новую одежду не успели купить.

Руки мальчик держит в карманах, а коньки у него под мышкой.

Какой-то он нескладный и неустойчивый. То споткнется на ровном месте, то налетит на прохожего. То бежит вприпрыжку, то, заглядевшись на машину, останавливается посреди дороги. Глаза у него зеленые, задиристые.

Дерзкий взгляд и независимая походка выдают в мальчике непоседу и драчуна, который среди ребят чувствует себя уверенно, а оставшись один, не знает, куда себя деть.

На пальто не хватает пуговицы. Она вырвана с мясом. Основательно потертая шапка сидит на одном ухе, оставив второе на холоде. Развязавшийся шнурок волочится по тротуару: некогда с ним возиться.

И только коньки, удобно пристроившиеся под мышкой, в полном порядке. Они крепятся медными заклепками к черным ботинкам. Ботинки аккуратно сложены «бутербродиком» и стянуты желтым кожаным ремешком. Это не какие-нибудь девчачьи «снегурочки», а вполне серьезные мужские коньки «английский спорт». У них острые крепкие носы. Когда бежишь на этих носках, ледяные крошки отлетают в стороны, как искры из-под железных подков. Можно быстро бежать, а потом встать на полозья и долго скользить по ледяной глади катка.

Эти аккуратные, ухоженные конечки уж очень не подходят к короткому пальто с оторванной пуговицей и к потертой шапке, сидящей на одном ухе.

Холодная капля упала мальчику на щеку. Он вытер ее свободной рукой и, бросив на сосульки недовольный взгляд, свернул в переулок.

2

У школьников весенние каникулы, а взрослые работают. Поэтому на улицах малоллюдно. А в переулке вообще редко встретишь прохожего.

Переулок старый, двухэтажный. Мостовая покрыта ледяной коркой. Снегоочистительные машины не заглядывали сюда всю зиму. Сразу видно, что маленький переулок приходится очень дальним родственником большим, главным улицам города.

Мальчик с коньками шагает по переулку. Он сдвигает шапку на другое, замерзшее ухо — погрейся, твоя очередь! — и прислушивается. Он слышит музыку. Она доносится сюда со стадиона. На больших улицах ее заглушают машины, а здесь тихо, и

музыка слышна. Она действует на мальчика, как сигнал боевой трубы. Ноги сами начинают ускорять шаг, и развязавшийся шнурок только поспевает постукивать по ботинку.

А хорошо бы на каток опять пришла девчонка в красном пушистом свитере и в синей короткой юбочке! Та, у которой на голове белая меховая шапка. Высокая, как папаха. Из-под шапки у нее торчат две косички. Хорошо бы попробовать дернуть ее за косичку! Но девчонка такая гордая и неприступная, что в прошлый раз не хватило решимости сделать это. На ее глазах он сбил шапки с трех мальчишек. Один из них был совсем большой. На полголовы выше. От такого вполне можно было получить сдачи. Сегодня он опять собьет с него шапку, если не хватит мужества дернуть девчонку за косичку... А если она уже на катке, уже катается на своих серебряных «снегурочках»? И вдруг большой мальчишка дергает ее за косичку?!

Мальчик с коньками под мышкой уже не идет, а бежит. Только бы не опоздать! Только бы не опоздать!

И тут в конце переулка он увидел человека. Мальчик не обратил бы на него никакого внимания, но человек оказался единственным прохожим и шел прямо ему навстречу. Человек был высокий, крупный. На нем белые бурки с кожаными носами и широкая длинная куртка, сшитая из шкуры какого-то черного зверя. Шаги у мужчины тяжелые и неторопливые. А мальчик почти бежал, и поэтому они скоро должны были встретиться.

И вдруг прохожий остановился. Потом он качнулся вперед и сделал несколько неуверенных шагов, словно собирался упасть. Но не упал, а удержался на ногах. Он беспомощно начал двигать руками, словно искал в воздухе невидимую опору. На этот раз он наверняка бы упал, но рука вовремя ухватила за стену дома.

«Наверное, пьяный», — подумал мальчик, и в глазах его вспыхнул недобрый зеленый огонек: он терпеть не мог пьяных.

Мальчик брезгливо сморщил нос и ускорил шаг, чтобы поскорее разминуться со встречным.

Когда мальчик поравнялся с прохожим, тот стоял, прислонясь к стене, крепко зажмурив глаза. Лицо его было неестественно бледным. У рта запали две глубокие складки. Он тяжело дышал. Вероятно, тугой воротник куртки мешал дышать. Одной рукой человек держался за каменную стену, другой силился расстегнуть железный крючок воротника. Крючок был цепкий, и у руки не хватало сил освободить его из петли. На лбу у прохожего выступили мелкие бисеринки пота.

Мальчик с коньками невольно остановился. И тогда прохожий открыл глаза и посмотрел на мальчика. Его глаза смотрели из-под нависших бровей откуда-то издалека. Нет, это не были мутные, шальные глаза пьяного! Они были полны боли и тре-

воги. И во всем облике этого большого, грузного человека чувствовалась неловкость за свою беспомощность.

Наконец ему все же удалось расстегнуть крючок. Усталая рука соскользнула вниз, плечи опали под собственной тяжестью. Человек закрыл глаза, но тут же открыл их вновь. Он заметил мальчика и боялся потерять его из виду.

Мальчик еще стоял рядом. Но ему было некогда. Он боялся опоздать. Зеленые глаза недружелюбно глядели на тяжело дышащего человека.

Человек молчал. Его грудь тяжело поднималась и медленно опускалась, словно боялась наколоться на что-то острое. А пальцы, только что отцепившие железный крючок, теперь расстегивали и пуговицы.

Человек молчал.

Мальчик вспомнил, как однажды на улице упал старик и сломал ногу. Он лежал на тротуаре и тихо стонал. Ему было очень тяжело, и вокруг стояли зеваки. Они глазели на несчастного до тех пор, пока за ним не приехала «скорая помощь»...

Может быть, и этому человеку неприятно, что рядом с ним стоит незнакомый мальчишка?

И вдруг человек сказал:

— Сынок...

Он произнес одно только слово и начал тяжело дышать. Видимо, у него не хватало сил на остальные слова.

Услышав слово «сынок», мальчик с недоумением посмотрел на незнакомца. Так называла его мама. Это было мамино слово. А от мужчины он слышал его впервые.

Незнакомец опять собрался с силами и заговорил:

— Помоги мне добраться до дома... Здесь недалеко.

Мальчик молча подставил плечо. Человек неуверенно отнял руку от стены и оперся на плечо мальчика. Он был большой и тяжелый, а мальчик был худой и неустойчивый. Незнакомец старался полегче опираться на мальчика. И они пошли по улице.

Сам не замечая этого, мальчик все время ускорял шаги. Музыка с катка сладко вливалась в ухо. Она манила, звала, требовала. Мальчику показалось, что он и впрямь может опоздать, что, если он придет пятью минутами позже, все кончится. И уже не будет ни льда, ни музыки, ни вереницы бегущих ребят...

А больному человеку было трудно передвигать ноги. Каждый шаг отдавался в сердце. Он старался не отставать от своего беспокойного поводыря, но у него не хватало сил. И несколько раз он останавливался, чтобы перевести дух. Тогда он чувствовал, как мальчик ерзает под его рукой и нетерпеливо оглядывается. Всю дорогу ни большой, ни маленький не проронили ни слова. Их связывал неприятный случай. Один из них был

в тягость другому. Они понимали это, и обоим хотелось поскорее расстаться.

Наконец у низкого подъезда человек остановился. Видно было, что это конечная остановка. Человек вытер со лба холодный пот и, ни к кому не обращаясь, будто сам себе, сказал:

— Зашевелился осколочек. Сколько лет не беспокоил — и вот на тебе!

Вероятно, он чувствовал себя виноватым перед мальчиком и решил часть вины переложить на «зашевелившийся осколочек».

Мальчик насторожился и с недоверием поднял глаза на мужчину:

— Какой осколочек?

— Обыкновенный, брат, от снаряда... Вот ведь война когда кончилась, а осколочек остался, — сказал мужчина и показал пальцем на грудь.

Он еще стоял, прислонясь к стене, а мальчик внимательно рассматривал его. У человека все было крупным: и нос, и губы, и подбородок с глубокой ямочкой. На щеках шершавая щетина.

— Пойдем, что ли, — сказал мужчина, открывая дверь подъезда. — Тяжелый тебе солдат достался.

И они двинулись дальше.

3

Когда они поднимались по лестнице, человек сильнее опирался на плечо мальчика. Другой рукой он цепко хватался за перила, будто страшился, что ступенька уйдет у него из-под ног. Ему было больно. А мальчику тяжело. Но оба терпели. Мальчик думал об осколке, который зашевелился в груди у незнакомца, и ему на минуту показалось, что он ведет бойца, только что раненного разорвавшимся снарядом.

А человек думал, как бы поскорей добраться до постели.

Очутившись дома, человек стал стягивать с себя меховую куртку. Он делал это с такими усилиями, будто она весила по меньшей мере два пуда.

Наконец ему удалось освободиться от этой тяжести. Под курткой была гимнастерка военного образца и синие брюки. На гимнастерке с правой стороны над кармашком была пришита потемневшая полоска галуна. Эта полоска — знак тяжелого ранения — как бы подтверждала, что человек занемог старой военной болезнью.

Пока человек раздевался, мальчик стоял в сторонке и следил за ним. Сам он не снял пальто, даже не вынул из кармана руки, которая локтем придерживала коньки «английский спорт».

Человек тяжело опустился, почти упал на диван. Старые

пружины жалобно скрипнули. Человек откинулся назад и закрыл глаза.

А мальчик продолжал стоять перед ним. Он был растерян и не знал, что полагается делать в подобных обстоятельствах. Перед ним лежал человек. Не просто заболевший гриппом или ангиной, а старый боец с осколком в груди. Зеленые глаза мальчика, привыкшие бесцеремонно разглядывать все, что ни попадется, сейчас утратили свою дерзкую самоуверенность. Они вопрошающе смотрели на человека, с которым судьба свела его в переулке по дороге на каток.

Трудно сказать, сколько времени человек лежал с закрытыми глазами. Когда он поднял веки, мальчик все еще стоял перед ним: в коротком пальтишке без пуговицы, с шапкой, надвинутой на одно ухо, с коньками под мышкой.

— Ты еще здесь? — спросил раненый, почти не шевеля губами.

— Ага.

— Ты иди. Теперь я сам управляюсь... А за помощь спасибо.— Человек глотнул воздух и спросил: — Спешишь?

Только сейчас он заметил под мышкой у мальчика коньки.

«Да, да!» — эти два коротких слова должны были сорваться с губ мальчика, но вместо них прозвучали совсем другие:

— Я не спешу... я уже был на катке.

Он сам удивился, что произнес именно эти слова и с такой уверенностью, будто на самом деле все обстояло именно так. Собственные слова огорчили мальчика, но отступить было нельзя.

— Я дождусь кого-нибудь из ваших и пойду.

Ему казалось, что все это говорит не он, а кто-то другой, помимо его воли. И он уже раскаивался: ведь неизвестно, когда придут домашние. Может быть, не скоро. Вечером.

— Никто не придет,— помолчав, сказал человек.— Понимаешь, жена с сынишкой уехали к бабушке. На каникулы. В Сапожок.

— В какой сапожок? — вырвалось у мальчика.

Человек через силу улыбнулся и пояснил:

— Это город такой есть. Вернее, городок рязанский.

Мальчик положил коньки на стул. Этим движением он как бы хотел подчеркнуть, что никуда не спешит.

Он серьезно посмотрел на своего нового знакомого и спросил:

— Что же теперь делать?

— Да ничего. Отлежусь, и все пройдет,— сказал хозяин дома и, словно желая оправдаться перед мальчиком, добавил: — Понимаешь, я еще ночью в цехе почувствовал себя совсем скверно. Но подумал, что до дома как-нибудь доберусь. И вот видишь..

Он закрыл глаза и провел ладонью по волосам. Ему, видимо, немного полегчало, и он разговорился:

— Это мне под Орлом так приложило. Пять осколков вынули, а один при себе ношу.

— Кто же это вам... приложил? — осведомился мальчик, стараясь попасть в тон хозяину дома.

— «Фердинанд», танк немецкий... Знаешь, что такое ПТО? Мальчик покачал головой.

— Противотанковое орудие, — объяснил бывший боец, — пушечка такая. Сорокапятимиллиметровка. Мы, как кроты, врылись в землю, а на нас шли танки. Два мы подожгли, а третий нас приложил... Ни расчета, ни пушки... Ну ничего, все пройдет. Вот отлежусь...

И вдруг он снова побледнел, и две складки у рта стали еще глубже.

— Сходить за доктором? — предложил мальчик.

Раненый мотнул головой. Говорить ему было трудно. Потом он все-таки сказал:

— За доктором не надо. Разве что за лекарством... Если не очень спешишь.

— Не спешу, — отозвался мальчик. — Где рецепт?

— В столе. Рядом, в комнате. Открой средний ящик. Там где-то завалялся. Болеутоляющее.

4

Человек не спросил мальчика, как его зовут, и не назвал ему своего имени. А спросить первым мальчик не решался.

В других обстоятельствах мальчик чувствовал бы себя очень скверно, очутившись в чужом, незнакомом доме, но тревога, которая все больше и больше овладевала им, заглушала неловкость, как большая боль заглушает малую. И поэтому он без особых колебаний отворил дверь в соседнюю комнату.

Комната была залита желтым солнечным светом. Будто и впрямь есть такая желтая, светящаяся краска, которая не высыхает ни на полу, ни на стенках, ни на книжной полке, ни даже на глобусе. Мальчик зажмурился — солнечная краска брызнула ему в глаза — и услышал металлический стук пишущей машинки. Это за окном звонкие капли тающих сосулек стучали по железному подоконнику.

Весенняя солнечная комната была совсем не похожа на ту, где сейчас лежал раненый боец. Комната, наверно, еще не знала, что произошло с ее хозяином, и у нее было отличное настроение. И календарь тоже не знал. На сегодняшнем листке было написано: «Партком в 4 часа».

Мальчик подошел к столу. Но, прежде чем выдвинуть средний ящик, он заметил учебник и две тетрадки. Это был учебник физики для шестого класса. А на тетрадках были написаны имя и фамилия владельца — «Сергей Бахтюков. 6-го «А». Это он, Сергей Бахтюков, сейчас отдыхает с мамой у бабушки в рязанском городе Сапожке.

Глаза мальчика недовольно сверкнули. Он отшвырнул тетрадки и осторожно открыл средний ящик стола.

Ящик был доверху набит бумагами, чертежами, фотографиями, а также множеством разных вещей, не представляющих на первый взгляд никакой ценности. Чем, например, может привлечь курительная трубка, изогнутая, как знак вопроса, или старая цепочка от часов, или лезвие в пакетике, напоминающем фантик?

Разыскивая рецепт, мальчик старался не разглядывать эти чужие вещи, но они притягивали его, как магнит. Он взял в руки трубку. От нее пахло пожаром. Наверное, солдат курил эту трубку в последний раз на фронте у своей пушечки ПТО. Мальчик вдохнул в себя запах трубки и бережно положил ее обратно. Потом ему попалась фотография хозяина дома. Он был снят в военной форме и был молодой и худощавый. Может быть, это не хозяин, а его младший брат? С ямочкой на подбородке. Нет, это он сам. Вероятно, когда он снимался, в его груди еще не было никаких осколков от снаряда.

А потом в руки мальчику попала алая коробочка. Стыдясь самого себя, он не удержался и открыл ее. В коробочке лежал орден. Самый настоящий орден Красного Знамени. Мальчик взял орден и положил его на ладонь. Орден был прохладный и тяжелый.

Мальчик подержал его в руках, и запонки, и перочинный ножик, и лезвия безопасной бритвы с надписью «Нева». Ему никогда не приходилось встречать в таком количестве мужские вещи. Да откуда было им взяться, ведь в своем доме он был единственным мужчиной. Его тянуло к этим вещам. Он испытывал почти физическое удовольствие от прикосновения к ним.

Наконец рецепт нашелся. Он был очень старый. Вероятно, хозяин не пользовался им уже много лет. На маленьком пожелтевшем листке стоял лиловый штамп: «Санчасть полевая почта 31497». Рецепт был написан рыжими чернилами. Казалось, что буквы когда-то сверкали и лишь от времени поржавели. Мальчик разобрал только первую строчку: «Старшине Л. Бахтюкову». Дальше шла непонятная латынь.

Мальчик бережно взял рецепт в руки и тихо задвинул ящик. Потом его взгляд скользнул по тетрадкам Сергея Бахтюкова 6-го «А». Он почему-то сжал кулак и погрозил тетрадкам.

И вдруг мальчик почувствовал, что его тянет к человеку, который с осколком в груди лежит в соседней комнате. К большо-

му бесстрашному мужчине, которому принадлежат боевой орден в красной коробочке, прокуренная солдатская трубка, пахнувшая пожаром, и лезвие «Нева».

Почему этот большой, сильный человек беспомощно лежит на диване, а он, мальчишка, задиристый, но на деле не такой уж сильный, может бегать по улицам, смеяться и сбивать шапки у встречных шкетов?

5

Мокрый, тающий снег пахнет сыроежками. Он шуршит под ногами. Ему уже не белеть на крышах, на мостовой и на воротниках прохожих. Много месяцев будет он журчать в ручьях, петь в водопроводных трубах, дружить с кораблями. И только в декабре он вернется обратно, белый, нетронутый, без единого пятнышка.

Как он будет не похож на этот серый, истоптанный, тающий снег, который путается под ногами накануне своих волшебных превращений!

Мальчик не замечает запаха сыроежек. Он бежит. Спотыкается, перепрыгивает через лужи, соскакивает с тротуара на мостовую. Лыжные брючки, едва достающие до щиколоток, забрызганы. Шарф совсем размотался, пола коротенького пальто развевается: пуговицы-то не хватает.

Но кажется, что ему малы не только брюки, и пальто, и шапка. Нет, ему не впору тротуары и мостовые, улицы и площади. Весь город тесен ему. С тревогой, неожиданно обрушившейся на его плечи, он не вмещается в родной город.

Мальчик задевает на ходу прохожих, натывается на фонарные столбы. Тесно! Навстречу несутся машины. Разве в городе нет для них других улиц!..

Окоченело левое ухо: шапка надета на правое. На болтавшемся шнурке выросла целая сосулька. Но в замерзшей руке, как волшебная лампа Аладдина, зажат пузырек с лекарством.

И вот он, с трудом переводя дыхание, входит в дом и тихо затворяет за собой дверь. Человек лежит с закрытыми глазами.

«Уснул,— думает мальчик,— значит, отлежался. Вот и хорошо».

Он ставит пузырек с лекарством на стол и обветренной рукой неловко заматывает шарф вокруг шеи. Теперь он принадлежит самому себе. Можно уходить.

Он смотрит на спящего раненого бойца почти с любовью. И ему становится неловко перед самим собой за это непонятное чувство. Он не узнает самого себя... Встречаются мужчины, рядом с которыми любой мальчишка чувствует себя сыном. Их отцов-

ская власть незаметно распространяется даже на тех, кто считает себя очень взрослым и самостоятельным.

Мальчик встретил такого человека, а теперь ему надо с ним расставаться.

А человек не открывает глаз. Он, видно, справился со своим осколочком и теперь крепко спит. И мальчику ничего не остается, как молча попрощаться с ним и уйти. Он идет на цыпочках, чтобы не заскрипели половицы. Он доходит до двери и свободной рукой тянется к замку. Замок не слушается его: он признает только своих.

И вдруг мальчик вздрагивает. Он слышит тихое, далекое слово «сынок». Это человек зовет его? Мальчик прислушивается. В квартире тихо. Только звонкие капли тающих сосулек стучат в подоконник. Никто его не зовет. Это только показалось.

Мальчик стоит перед дверью и думает о том, что сейчас он уйдет и никогда уже не увидит этого человека. Не ощутит на своей ладони холодную, торжественную тяжесть ордена Красного Знамени. Не вдохнет в себя таинственный запах старой трубки. Он медленно поворачивается и возвращается в комнату. Здесь все неподвижно, как в сонном царстве. Спят двери, спят лампочки, спят половицы. Уснули вместе с хозяином. Балансируя рукой, мальчик идет на цыпочках: боится, что половицы проснутся и заскрипят.

Он подходит к дивану. Человек по-прежнему лежит без движения, спит.

А вдруг он умер?!

Эта мысль ошеломляет мальчика. Забыв о предосторожности, он наклоняется к спящему. Он кладет ему руку на плечо и начинает легонько трясти. Раненый боец не открывает глаз. Может быть, позвать его? По фамилии, которая написана на старом военном рецепте. Он зовет:

— Бахтюков... Дяденька Бахтюков!

Раненый боец вздрагивает и открывает глаза. Значит, он жив. Но почему он молчит? Почему не спрашивает про лекарство? Почему глаза как-то неестественно закатываются и голова безжизненно падает на плечо?

Он жив, но он может умереть.

Что делать? Мальчик стоит рядом. Его глаза расширены. Надо действовать! И, если ты сам не знаешь как, позови на помощь!

Мальчик бросается к двери. Он будит все спящие половицы, и они скрипят, каждая на свой лад. Но он ничего не слышит. Он бежит. Сам еще не знает куда.

Мальчик перескакивает через две ступеньки. Звенят железные подковки, прибитые к каблукам, чтобы не стаптывались. Скорей! Скорей! Подковки высекают искры. Мальчик уже знает, что ему делать: надо звонить в «скорую помощь»

Когда он вбежал в подъезд с синей табличкой «телефон-автомат», там у аппарата стояли две девочки. Одна из них — коротышка с круглым, как луна, лицом — держала трубку и, сложив ладошку рупором, быстро говорила в микрофон. Другая — длинная, с глазами навывкате — что-то нашептывала на ухо подруге и не переставая хихикала.

— Что он говорит? Что он говорит? — шептала она так громко, что подружке приходилось закрывать микрофон ладошкой, чтобы не пустить туда шепот.

— Он в кино приглашает, — сказала девочка-луна своей любопытной подружке.

Подружка опять захихикала и зашептала еще громче — чуть не закричала шепотом:

— А ты скажи: не пойдем! Скажи: не пойдем!

Она повторяла каждое слово дважды, словно боялась, что подружка-луна не поймет ее с первого раза.

Несколько секунд мальчик молча наблюдал за девочками. Он никак не мог отдышаться.

Наконец он пришел в себя.

— Кончайте! — сказал он сердито. — Мне в «скорую помощь» звонить надо.

Подружки враждебно посмотрели на мальчишку в коротеньком пальто, и та, что хихикала и подсказывала шепотом, насмешливо сказала:

— Знаем мы, какую тебе «скорую помощь»! Небось на каток спешишь.

И тут мальчик заметил, что держит под мышкой коньки: они сегодня мешали ему на каждом шагу. Он подошел к девчонкам вплотную и громко приказал:

— А ну, кончайте!

— И не подумаем! — огрызнулась девочка-луна, прикрывая ладошкой микрофон. Потом на минуту оторвала ладошку и сказала в трубку: — К нам тут нахал пристаёт.

Зеленые глаза стали злыми и колючими. Там человек умирает, а эти девчонки смеются и кривляются. Мальчик резко оттолкнул пучеглазую и выхватил трубку из рук ее подруги. Девчонки от неожиданности взвизгнули и отбежали в сторону.

— Дурак! — крикнула одна.

— Нахал! — поддержала другая.

Мальчик прижал трубку к уху. Он услышал незнакомый мальчишеский голос:

— Так вы придете в кино? Чего же вы молчите?

Мальчику показалось, что этот голос доносился совсем из другого мира — беспечного и благополучного.

Он нажал рычаг, и тот, кто приглашал девчонок в кино, сразу замолчал.

Он набрал номер «03».

В трубке зазвучал молодой женский голос:

— «Скорая» слушает.

От неожиданности мальчик не знал, с чего начать. Он молчал. Голос нетерпеливо повторил:

— «Скорая» слушает. Что у вас?

— Тетенька, — заговорил мальчик, — человеку плохо.

— Фамилия? — бесстрастно спросил голос.

— Чья фамилия?

— Больного.

— Он не больной, он раненый.

— Где ранен?

— На фронте, под Орлом.

Наверное, там, в «скорой помощи», так привыкли ко всяким необыкновенностям, что даже не поинтересовались, при чем здесь Орел.

Нетерпеливый голос продолжал:

— Где находится пострадавший?

— Дома.

— Адрес?

Мальчик запнулся. Он не знал адреса. Он так и сказал:

— Я не знаю адреса.

— Так что же ты вызываешь «скорую помощь»? На деревню дедушке, что ли, ехать? Узнай адрес и перезвони.

В трубке раздались короткие гудки. «Скорая» повесила трубку. Мальчик тоже повесил трубку и оглянулся. Девчонок не было. Вероятно убедившись, что нахальный долговязый мальчишка сказал правду, они тихонько выскользнули из подъезда. Может быть, побежали к другому автомату?..

Мальчик вышел из подъезда. Он ненавидел себя за беспомощность, за то, что, убегая, не посмотрел на номер дома раненого бойца. Да и название переулка он тоже не знал толком: не то Гончарный, не то Дегтярный... Оставалось одно: бежать узнать адрес. Мальчик уже собрался рвануться с места, когда до него донесся далекий звук санитарной сирены.

7

По улицам мчалась «скорая помощь». Куда она спешила? К человеку, попавшему в беду? Или возвращалась на стоянку? Или она приняла сигнал бедствия и спешит на помощь раненому бойцу, даже не зная адреса?

Голос сирены нарастал. Он то взлетал под облака, то стремительно падал. Он звучал, как сигнал боевой тревоги.

А что, если эта почти крылатая машина с красным крестом промчится мимо?

Надо остановить ее!

И мальчик решился. Он выбежал на середину мостовой и преградил путь «скорой помощи». Расстояние от летящей машины до мальчика было очень небольшим. Оно сокращалось с каждым мгновением. Сирена выла истошно. Она взлетела и больше не падала. Она нагоняла страх. Мальчик закрыл глаза, но не тронулся с места.

И вдруг сирена умолкла. Машина резко затормозила. На мостовой было скользко, и ее занесло в сторону.

Когда мальчик с коньками открыл глаза, машина «скорой помощи» стояла совсем близко, развернувшись поперек дороги. А из распахнутой дверки уже выскакивал бледный шофер в фуражке с блестящим козырьком. Тяжело дыша от волнения, он подбежал к мальчику и замахнулся, чтобы ударить его. Но сдержался и не ударил. Только заговорил часто и сбивчиво:

— Какого черта! Шантрапа!.. Жить надоело? Под машину лезешь! Герой!

Но мальчик был защищен от ругательств невидимой броней своего смятения. И обидные слова отскакивали от этой брони, как дробинки. Когда шоферу не хватило воздуха и он замолчал, чтобы сделать вдох, мальчик, не поднимая глаз, сказал:

— Человек умирает.

— Где? — спросил шофер. Он сразу остыл, почувствовал себя на своем посту.

— Я вам покажу, — ответил мальчик.

Шофер нахмурился. Когда работаешь в «скорой помощи», готов ко всему. Но такого оборота дела он не ожидал.

Он полез в карман и достал оттуда пачку сигарет. Сунул одну в рот и чиркнул зажигалкой, зажатой в кулаке. Зажигалки не было видно, и казалось, что он извлек огонь из самого кулака.

— Идем к врачу, — сказал шофер, — он решит.

Когда мальчик и шофер подошли к машине, там уже начал собираться народ. Машина «скорой помощи», стоящая поперек мостовой, успела привлечь зевак. Они толпились у машины, спрашивая друг друга:

— В чем дело?

— Что случилось?

— Кого-нибудь задавили?

Но никто не лежал на мостовой, а к машине быстро шли шофер в фуражке с лакированным козырьком и долговязый мальчик с коньками под мышкой.

— Арсений Иванович, — сказал шофер, заглядывая в открытую дверку, — тут у малого с отцом плохо. А у нас вызовов нет. Поедем?

— Что с ним? — спросил из кабины басистый голос, обращаясь к мальчику.

Мальчику хотелось сказать, что шофер ошибся, что раненый боец вовсе ему не отец, а чужой человек. Но сейчас не было времени для объяснений. И он, стараясь говорить понятней и убедительней, сказал:

— Лежит без сознания. Раненый он. Осколок зашевелился в груди.

— Поехали! — решительно сказал врач.

Мальчик и шофер забрались в кабину. Завыла сирена, разгоняя зевак. И, присев на задние колеса, как конь перед скачками, «скорая помощь» устремилась вперед.

8

Мальчик не знал, застанет он раненого бойца в живых или нет. Поэтому, открывая дверь, он чувствовал, что у него слабеют руки и ноги легонько дрожат в коленках. Всю дорогу он торопился, а сейчас вдруг замедлил шаги. Что, если Бахтюков не дождался его?..

Но медлить нельзя. За спиной стоят врач с чемоданчиком и два санитар с пустыми носилками. А внизу у подъезда дежурит машина «скорой помощи». Мальчик заходит в прихожую. За ним трое мужчин. Они здоровые, в белых халатах поверх пальто. От них сразу становится тесно в квартире.

Человек на диване по-прежнему бледен, глаза закрыты. Жив он или нет?

От волнения мальчик сжимает в карманах кулаки. Врач берет Бахтюкова за руку. Он считает удары пульса, поглядывая на часы. Раз считает, — значит, пульс есть. Значит, Бахтюков жив. Хотя он не очень похож на живого. Врач засучивает рукав больного до самого плеча и берет в руки ампулу. Ампула похожа на маленькую сосульку. Врач щелкает сосульку по носу и ловким ударом отбивает стеклянный кончик. Потом опускает туда стальное жало шприца. Берет руку человека, лежащего без сознания, и прикидывает, куда бы вонзить иглу.

Мальчик упирается большими пальцами ног в носки ботинок.

Он вспоминает, как в школе ему делали прививку. Его тоже кололи шприцем. Было больно, но терпимо. В общем, пустяк. Но мальчику кажется, что Бахтюкову будет в сто раз больнее. Ведь ему и без укола плохо! Мальчик прижимает локти к бокам и зажмуривается. Игла впивается в руку.

Санитары поставили носилки в угол, а сами сидят на стульях у стола. Они большие и тяжелые. Взгляд у них безразличный. Они не наблюдают за действиями врача. Они заняты своими мыслями. Им все знакомо. От постоянной встречи со страданиями и несчастьем их сердца покрылись черствой корочкой. У них свои заботы.

— Лестница узкая, — говорит один санитар другому, — боюсь, носилки не пройдут.

— Пройдут, — отвечает другой, — пройдут. Приподнять немного придется.

— Больной-то тяжелый.

Мальчик слышит за спиной их спокойный разговор, и ему хочется сказать им что-нибудь обидное. Но он не поворачивается к ним. Он смотрит на Бахтюкова. И Бахтюков открывает глаза.

Он видит мальчика. Мальчик стоит перед ним, как стоял в ту минуту, когда он потерял сознание. Может быть, мальчик никуда не уходил? Так и простоял у его изголовья целую вечность, как бессменный часовой? Бахтюкову хочется улыбнуться этому долговязому, нескладному парнишке. Но вместо улыбки получается болезненная гримаса: очень больно. Он замечает врача и санитаров. Он все понимает.

— Что будем делать? — спрашивает он врача.

И врач, убирая шприц, отвечает:

— Поедем в больницу.

Бахтюков молчит, потом покорно кивает головой. Взгляд его становится озабоченным. С застенчивой улыбкой он просит мальчика:

— Сынок, будь другом, отправь телеграмму моим в Сапожок.

— Хорошо. Отправлю, — сразу соглашается мальчик.

И ему почему-то становится обидно, что человек сейчас думает о своем Сережке Бахтюкове. А этот самый Сережка небось гоняет с ребятами на лыжах...

— Принеси мне бумагу и карандаш.

Мальчик идет в соседнюю комнату. Календарный листок все еще зовет Бахтюкова к четырем часам на партком... На столе лежат две тетрадки Сережи Бахтюкова из 6-го «А». Мальчик берет первую попавшуюся и небрежно открывает ее. Это тетрадь по литературе. В ней написано сочинение. Большими аккуратными буквами выведено заглавие: «Как я провел лето». Ни кляксы, ни помарочки. «Чистюля!» — презрительно думает мальчик и читает первые строки: «Лето я провел в городе Сапожке у бабушки. Это маленький город. В нем много зелени...»

Мальчик вырывает листок из тетради. Вырывает неровно, наискосок, — пусть хозяин обязательно заметит, что лист вырван.

Бахтюкову трудно писать. Буквы получаются кривые, будто им тоже плохо и они не держатся на ногах. Он пишет телеграмму

в Сапожок, а врач делает запись в свою книжечку. Врач ставит точку, и санитары, как по команде, встают из-за стола. Они ставят носилки на пол. В боевое положение.

Мальчик смотрит на Бахтюкова. И вдруг он думает о том, каким бы он был счастливым человеком, если бы Бахтюков писал эту телеграмму ему, а не Сереже. Он смотрит на него с грустью. Он понимает, что сейчас-то они расстанутся навсегда. Бахтюков пишет долго. А мальчику хочется, чтобы он писал еще дольше. Чтобы он никогда не кончил писать эту телеграмму.

— Вот, — говорит Бахтюков и протягивает мальчику листок и деньги. — Сделай это, сынок. И вообще спасибо тебе.

Санитары кладут больного на носилки. Мальчик отходит в сторону. Если бы он мог, он сделал бы это один. И сделал бы хорошо. А санитары так трясут Бахтюкова...

Он стоит и не дышит. Ему начинает казаться, что все это не на самом деле. Показывают в кино, а он зритель. Он по другую сторону экрана. У него под мышкой коньки «английский спорт», а здесь, в комнате, носилки, белые халаты, запах лекарства и человек — большой, хороший, близкий человек — в опасности.

Санитары берутся за ручки носилок.

— Взяли? — спрашивает передний.

— Взяли! — командует задний.

И носилки отрываются от пола.

Они плывут по комнате, по темному коридору. Мимо комнаты, залитой желтой солнечной краской. В замочную скважину протиснулся один луч солнца. Он прямой и светлый. В нем, как маленькие живые существа, кружатся пылинки. Когда носилки проплывают мимо, солнечный луч касается щеки раненого бойца. Он прощается с хозяином дома.

На улице мальчик говорит Бахтюкову:

— До свиданья.

— Ты еще здесь? — отзывается раненый боец, и его глубокие большие глаза встречаются с зелеными глазами мальчика, полными печали.

Взвыла сирена. Машина забуксовала, вздрогнула, потом оторвалась и покатила.

А мальчик стоял и смотрел ей вслед, держа в руке неотправленную телеграмму.

Что толку в коньках, когда они бессмысленно торчат под мышкой! Будь они на ногах, можно было бы мчаться, сокращая время и расстояние. Но в городе на коньках не очень-то разь-

едешь. Лед сколот или посыпан песком. А в Голландии все пешеходы надевают зимой коньки. Там даже старушки катаются на коньках. Но там вместо улиц — каналы, покрытые гладким синеватым льдом.

Коньки помогают, когда они на ногах, а когда их приходится нести под мышкой, то они только мешают.

Опять мальчик спешит. Телеграмму нужно отправить поскорее. Ведь в телеграмме Бахтюков, наверно, зовет жену и сына, этого противного Сережку, который пишет сочинения каллиграфическим почерком, без единой помарки. Черт с ним! Раз Бахтюков хочет, пусть приезжает Сережка.

Одному уху все время тепло, оно под шапкой, а другое совсем замерзло. Но в спешке все некогда передвинуть шапку.

Зато на почте тепло. Здесь пахнет красным сургучом, тягучим клеем и еще каким-то неповторимым почтовым духом. За барьером в глубине стучит телеграфный аппарат. Его звук напоминает капель. Может быть, это тающие сосульки проникли за дверь, на которой висит строгая, как приказ, табличка: «Посторонним вход воспрещен!»

На почте мальчику сразу стало жарко. Он расстегнул пальто и размотал зеленый шарф. В распахнутом пальто он стал походить на галчонка с подбитым крылом. Он подошел к окошечку, где принимают телеграммы, и протянул листок.

— Это что за каракули? — рассердилась девушка в окошке. — Что ты, получше написать не мог? Не маленький! На бланк — перепиши.

Мальчик покраснел от неловкости, но не стал объяснять, что телеграмму писал не он, а раненый, у которого едва хватило сил удержать в пальцах карандаш.

Посреди почтового зала стояла конторка, похожая на деревянный гриб. Мальчик прислонил коньки к ножке гриба, а телеграфный бланк положил на шляпку. Не торопясь, стараясь уместить буквы в строке, он вывел адрес. Мальчик старался писать как можно аккуратнее, но почерк у него был нескладный, а буквы получались очень вытянутыми, им были малы строчки телеграфного бланка.

Когда адрес был написан, мальчик тяжело вздохнул — нелегкая это работа — и стал писать текст.

«Заболел, — писал он, — ложусь больницу. Квартиру запер. Отдыхайте. Отец».

Только теперь, когда телеграмма была написана, до сознания мальчика дошел ее смысл. Нет, Бахтюков никого не звал. Он просто сообщал о случившемся. Сердитые зеленые огоньки зажглись в глазах мальчика. Выходит, он для того бежал на почту, чтобы сообщить Сережке Бахтюкову, что он может спокойно отдыхать, в то время как отец его лежит в больнице и жизнь его

в опасности?! Мальчику захотелось порвать телеграмму. Написать новую, свою. В этой телеграмме он на все деньги отругал бы этого Сережку. Он бы высказал ему все, что о нем думает... но он не сделал этого.

Когда телеграмма была написана, у окошечка уже образовалась очередь. Мальчик молча стал в очередь.

Плечи у мальчика опущены. А взгляд зеленых глаз усталый, растерянный. Одна рука держит коньки, а другая свободна. Она болтается просто так, а когда хозяин спотыкается, помогает ему держаться на ногах. Наконец она замерзла, и мальчик сунул ее в карман.

Пальцы нащупали какую-то бумажку. Ах да, это листок из тетради, который не приняли на почте. Мальчик вынимает листок и перечитывает слова, составленные из букв, которые еле стоят на ногах: «Заболел. Ложусь больницу. Квартиру запер. Отдыхайте. Отец».

Отец... Это слово мальчик произносит вслух. Он никогда в жизни не произносил этого слова, и ему хочется знать, как оно звучит. Он не узнает собственного голоса. Ему кажется, что кто-то другой произносит это слово.

Мальчик представляет себе, как произносит слово «отец» Сережка Бахтюков. Ему даже чудится, что он слышит его голос. Мальчик морщится, как музыкант от фальшивой ноты.

И вдруг ему начинает казаться, что ни Сережка, ни его мать не поедут к отцу. Они не покинут раньше срока город Сапожок и не примчатся к человеку, который сейчас страдает в больнице. К человеку, которого зовут «отец».

Он представил себе Бахтюкова одного на больничной койке. И почувствовал, как уголки глаз начинает щипать горькая накапливающаяся слеза.

А что, если сходить в больницу? Просто так узнать, как здоровье больного Л. Бахтюкова. Передать привет и уйти. Все человек не будет себя чувствовать таким одиноким.

Да и на каток ему совсем неохота идти. Нет настроения. На каток можно сходить и завтра. Спешить некуда.

Когда людей в трудную минуту не зовут на помощь, а советуют им спокойно отдыхать, спешить не обязательно. Разве это не так?

Мальчик сходит со ступенек почты. Он никуда теперь не спешит. Он держит коньки не под мышкой, а в руке. Блестящий полоз холодит руку, но сейчас это не страшно: в городе потеплело, хотя солнце клонится на закат, земля подставляет под его лучи свой продрогший зимний бочок. Грется.

Сосульки сбились со счета, и теперь их прозрачные капли без передышки стучат о камни, о подоконники, о крыши киосков. Их стук сливается в длинную пулеметную очередь. Это весна бьет из своего веселого пулемета по льдинам и снегам, по выюгам и морозам.

Мальчик оглядывается вокруг и замечает, что снежный наст в городском сквере осел и напоминает поверхность луны. На его шероховатой, кремнистой корочке виднеются маленькие лунные цирки. И пусть не скоро распустятся почки и прорастет трава,— на еловых лапах, на самых кончиках, уже появилась свежая зелень. Темные прошлогодние иголки жесткие, а новые весенние иголочки еще не окрепли, не научились колоться. Дотронься до них щекой — почувствуешь, какие они нежные.

Мальчик с коньками идет по городу...

Вот уж действительно человек, не следящий за своей внешностью! Даже мысль о встрече с девочкой в белой шапке не может заставить его привести себя в порядок. Интересно, заметила она, что его не было на катке? Или он ей совсем безразличен, как и все остальные шкеты?

Мальчик перешел на другую сторону и, незаметно для себя ускоряя шаги, направился в городскую больницу.

11

У каждого дома есть свой запах, даже если дом нежилой. У почты — почтовый запах, у булочной — хлебный, у больницы — лекарственный.

Почтовый запах рассказывает о посылках и бандеролях, о свежих газетах и заморских марках, отмеченных черными радугами печатей. Запах булочной рассказывает о поджаристых корочках, о бубликах, усыпанных черными дробинками мака, о булочках, залитых сладкой глазурью.

Больничный запах не рассказывает ни о чем хорошем. Он встречает человека на пороге и сразу отравляет ему настроение рассказом о боли и страданиях.

Этот запах встретил мальчика за дверью с надписью «Приемный покой».

В приемном покое стояла торжественная тишина. Собственно, не сам приемный покой, а лишь коридор перед ним. На скользком кафельном полу стоял белый деревянный диван. И больше ничего здесь не было.

Мальчик сделал несколько неуверенных шагов и очутился перед стеклянной дверью. Дверь была приоткрыта. Мальчик заглянул туда и сразу встретился взглядом с дежурным врачом. Врач был в белой шапочке и с большой черной бородой. Рукава

халата закатаны до локтей. Вид у врача был строгий и, как показалось мальчику, немного свирепый. Заметив посетителя, врач смерил его строгим взглядом и вышел в коридор. Он подошел к мальчику и задал ему самый неожиданный вопрос:

— Что это у тебя, «английский спорт»? Дай-ка сюда.

Удивленный мальчик протянул доктору коньки. Тот взял их в руки и попробовал лезвие ногтем: острые они или нет. Врач рассматривал коньки, а мальчик не отрывал глаз от врача. Доктор был молодой. У него не было ни единой морщинки, а щеки были такие румяные, будто их обладатель только что пришел с катка. Мальчик сделал это открытие, и ему сразу стало легче. Он сказал:

— К вам привезли больного. Его зовут Л. Бахтюков. Как его состояние?

Врач протянул мальчику коньки и почесал бородку.

— Бахтюков? — повторил он. — С осколком?

— Да, да, — подхватил мальчик, — его привезли на «скорой помощи».

— К нам всех на «скорой помощи» привозят, — сказал врач. Мальчик промолчал.

— Случай тяжелый. — Голос врача сразу стал теплее, а от строгости не осталось и следа. — Я сейчас узнаю, как дела. А ты посиди здесь на диване. — И доверительно добавил: — Вообще-то здесь не положено быть посторонним. Но случай тяжелый.

Доктор скрылся в своем приемном покое, а мальчик сел на диван. Он сел и сразу почувствовал во всем теле такую слабость, что зажмурил глаза. Ему даже показалось, что он уже ни за что не сможет подняться на ноги.

Он слышал, как за стеклянной дверью молодой бородатый доктор звонил по телефону, как он расспрашивал о Бахтюкове, как называл себя доктором Коном из приемного покоя.

Через некоторое время он снова появился в дверях. Он испытующе посмотрел на мальчика и сказал:

— Вот что. Сейчас отца будут оперировать. Будешь ждать?

— Буду!

Доктор одобрительно кивнул ему головой и скрылся за дверью.

12

Есть люди, созданные для сидения на месте. Их девиз: в ногах правды нет. И есть непоседы. Они ерзают на стуле, с трудом досиживают до конца урока и, стоя в очереди, испытывают ни с чем не сравнимые муки. Из таких людей вырастают путешественники и строители, разведчики и почтальоны. У них правда в ногах, в движении, в смене впечатлений.

Мальчик с коньками принадлежал к такой породе людей.

Почему же сейчас, в приемном покое городской больницы, он сидит смирно, не ерзает? Не болтает ногой и не барабанит пальцами по белому больничному дивану? Но это вовсе не значит, что он спокоен.

Его мысли мечутся. Как проходит операция? Больно Бахтюкову или на него действует наркоз?.. Наверное, все-таки больно.

Мысли переносят мальчика в операционную. Он представляет на операционном столе себя. Он старается причинить себе боль... Для этого он вспоминает, как однажды летом наступил босой ногой на гвоздь. Гвоздь вошел глубоко. Сначала было не очень больно. Потом ранку обожгли йодом. От боли он прыгал на одной ноге. Потом боль стала тупой и долгой...

Мальчик почти физически ощутил эту боль. Он даже пошевелил ногой в ботинке.

Но Бахтюкову, конечно, еще больнее.

И вдруг мальчик мысленно очутился возле города с гордым названием Орел. Он видит степь с птичьего полета. Сверху огневые позиции противотанковых орудий похожи на кротовые норки: вокруг насыпь из свежей земли. А фашистские танки, которые ползут по степи, похожи на желтых черепах. Черепахи медленно приближаются к кротовым норкам.

Он видит, как над кротовыми норками замелькали вспышки. Это ПТО открыли огонь по танкам. Вот один танк остановился. Из него повалил густой черный дым. Этот дым разрастается. Он ползет по траве, застилает черепах и кротовые норки. Уже не видно, что делается на земле. Только в дыму сверкают вспышки ПТО, как в туче отблески молний.

Мальчику кажется, что он идет по земле, разгребая дым руками. Дым густой, как вода, он мешает идти. Земля черная. Она пахнет пожаром, как старая солдатская трубка в письменном столе Бахтюкова.

Вот пушка Бахтюкова... А вот сам Бахтюков. Худой, похожий на младшего брата нынешнего Бахтюкова. На нем гимнастерка с расстегнутым воротом... Пушка ПТО стреляет. После каждого выстрела она приседает, а ствол откатывается назад, будто хочет спрятаться, но потом раздумывает и возвращается обратно. А Бахтюков кричит: «Огонь! Огонь!»

И, чем громче кричит Бахтюков, тем сильнее стреляет пушка.

«Огонь!» — кричит Бахтюков, и пламя срывается с губ Бахтюкова. И переносится на танк. И танк горит.

Но следующий танк успевает выстрелить. Бахтюков падает. Пушка опрокидывается. Колеса беспомощно вращаются.

...Бахтюков лежит в траве. Он бледный, с непокрытой головой. На белых бурках кровь... Да нет, не на бурках — на сапогах...

Бахтюков большой и тяжелый, но мальчик несет его на руках... Он прикрывает его собой от осколков фашистских «фердинандов».

Сердце стучит громко. На весь приемный покой. Нет покоя в приемном покое.

Сюда привозят больных, измученных людей. Здесь тревожатся о своих близких. В насмешку, что ли, назвали это место «покоем»?

Мальчик ждет. Он сидит на месте. Но мысли его беспокойны. Нет для него сейчас ни катка, ни города, ни дома. Есть только раненый боец. Он командует мыслями мальчика, и мысли подчиняются одному ему.

13

Оказывается, мысли тоже устают. Они замедляют ход. Перестают метаться. Но они не дремлют. Они ждут.

Мальчик устало прислонил голову к стене. Его глаза смотрят в одну точку. Они же не видят ни окопа ПТО, ни фашистских танков.

— Кто от Бахтюкова?

Мальчик вздрагивает и вскакивает с дивана:

— Я!

Перед ним пожилая медицинская сестра. Она такая полная, будто надела халат поверх шубы, как санитары «скорой помощи».

— Ты? — произнесла сестра густым, почти мужским голосом.

Она говорит степенно, с расстановкой, будто читает по бумажке.

— Операция была тяжелая. Больной потерял много крови. Но все обошлось благополучно.— И вдруг по-бабьи жалостливо смотрит на мальчика и говорит совсем другим, женским голосом: — Ты не волнуйся. Будет жить отец. Организм у него могучий.

— А скоро он поправится? — спрашивает мальчик.

— До зеленых листиков полежит,— говорит сестра.— Теперь беги домой. Скажи матери, чтобы не волновалась... А это тебе на память.— Сестра протянула мальчику маленький кусок ржавого железа.

— Что это? — Мальчик вопросительно поднял глаза на сестру.

— Осколок.

Это был тот самый осколок, который через много лет после конца войны вдруг ожил и пытался сделать то, что ему не удалось там, в степи под Орлом: поразить сердце бойца.

— У самого сердца отыскался,— пояснила сестра и, спохватившись, заторопилась: — Ну, мне пора. Передать что-нибудь отцу?

Мальчик задумался. Что передают сыновья больным отцам?

— Передайте, что дома все в порядке. Целуют его... все. И пусть скорее поправляется.

Слова показались ему сухими, но других слов мальчик не знал.

Он сжал в кулаке осколок и почувствовал боль: у осколка были острые края.

Сестра ушла. Она ушла туда, где в тихой палате весь в бинтах лежал бывший старшина Бахтюков. Он лежал с открытыми глазами и скрипел зубами от боли.

Сестра подошла к нему, поправила подушку и, как бы невзначай, сказала:

— Какой у вас хороший сынок!

— Сынок? — Бахтюков, забыв про боль, слабо улыбнулся.

— Он всю операцию в приемном покое просидел. Волновался.

— Сынок,— прошептал Бахтюков и почувствовал, что боль стала слабее.

Значит, телеграмма пришла вовремя. Значит, сын, узнав о его болезни, не пожелал отдыхать, а примчался в родной город!..

Человеку было невдомек, что никакая телеграмма-молния не могла так быстро дойти до дальнего города Сапожка и тем более привезти ему сына.

14

В городе стемнело. Уже не видно лунных цирков на корочке осевшего снега. Уже на елочках нельзя различить молодые, нежные иголки от старых, колючих и жестких. Уже скрылись из глаз скользкие серебристые сосульки. Но, хотя земля повернулась к солнцу другим боком, в городе тепло и невидимые сосульки продолжают таять.

По городу идет мальчик с коньками под мышкой.

В темноте не видно, что одна пуговица вырвана с мясом, а на шарфе чернильное фиолетовое пятно. И не видно, что он вырос из пальтишка и из лыжных брюк. Все ему коротко, все не по росту. Но кто виноват, что мальчики так быстро растут?

На каком ухе сидит старенькая шапка? Не все ли равно! Когда весна своим теплом, влажным дыханием касается лица, это не имеет значения: уши не мерзнут. И только ботинки, набегавшиеся за день по лужам, промокли, и ногам холодно.

Мальчик думает о высоком, крупном человеке в меховой куртке, сделанной из шкуры черного зверя, и о боевом ордене, и о прокуренной трубке, и о рецепте, выданном санчастью с номером по-

левой почты. Он думает о человеке, которого ему недоставало всю жизнь. И теперь этот человек нашелся, но он принадлежит не ему...

На месте Сережи мальчик бросил бы все на свете и примчался к отцу... Нет, он бы вовсе не уезжал от отца ни к какой бабушке, ни в какой Сапожок. Он бы всегда был рядом с ним, чтобы в любую минуту прийти на помощь.

Мальчик не замечает, как справа от него вырастает забор стадиона. На катке уже не звучит музыка, не горят веселые лампочки и не слышно зазывного шороха, который издают коньки, разрезающие лед.

Под единственной лампочкой на воротах висело объявление: «Ввиду теплой погоды каток закрыт».

Мальчик сжал кулак и почувствовал боль. В руке был зажат осколок, который мог вонзиться в сердце Бахтюкова. Мальчик сжал кулак крепче, и ему стало еще больней.

И вдруг мальчик обрадовался. Он может терпеть боль, и ему наплевать, что каток закрыт. И он смеется над счастливым Серейкой, хотя у того есть отец. И человек, назвавший его «сынком», будет жить и поправится до зеленых листиков. И, хотя ноги мерзнут, это хорошо, — значит, в городе много луж, значит, весна спешит и скоро появятся эти самые зеленые листики.

Мальчик расстегнул свое коротенькое пальто, переложил коньки в другую руку и зашагал домой.

БАГУЛЬНИК

Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, отвратительно морщил нос и открывал пасть — другого слова тут не подберешь! При этом он подвывал, что вообще не лезло ни в какие ворота. Потом энергично тряс головой — разгонял сон — и уставлялся на доску. А через несколько минут снова зевал.

— Почему ты зеваешь?! — раздраженно спрашивала Женечка.

Она была уверена, что он зевает от скуки. Расспрашивать его было бесполезно: он был молчальником. Зевал же потому, что всегда хотел спать.

Он принес в класс пучок тонких прутьев и поставил их в банку с водой. И все посмеивались над прутьями, и кто-то даже пытался подмести ими пол, как веником. Он отнял и снова поставил в воду. Он каждый день менял воду.

И Женечка посмеивалась.

Но однажды веник зацвел. Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки. Из набухших

почек-узелков прорезались листья, светло-зеленые, ложечкой. А за окном еще поблескивали кристаллики уходящего последнего снега.

Все толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий сладковатый аромат. И шумно дышали. И спрашивали, что за растение, почему оно цветет.

— Багульник! — буркнул он и пошел прочь.

Люди недоверчиво относятся к молчаливкам. Никто не знает, что у них, молчаливков, на уме: плохое или хорошее. На всякий случай думают, что плохое. Учителя тоже не любят молчаливков, потому что хотя они и тихо сидят на уроке, зато у доски каждое слово приходится вытягивать из них клещами.

Когда багульник зацвел, все забыли, что Коста молчаливик. Подумали, что он волшебник. И Женечка стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством.

Женечкой за глаза звали Евгению Ивановну. Маленькая, худая, слегка косящая, волосы — конским хвостиком, воротник — хомутиком, каблуки с подковками. На улице ее никто не принял бы за учительницу. Вот побежала через дорогу. Застучали подковки. Хвостик развевается на ветру. Остановись, лошадка! Не слышит, бежит... И долго еще не затихает стук подковок...

Женечка обратила внимание, что каждый раз, когда раздавался звонок с последнего урока, Коста вскакивал с места и сломя голову выбегал из класса. С грохотом скатывался с лестницы, хватал пальто и, на ходу попадая в рукава, скрывался за дверью. Куда он мчался?

Его видели на улице с собакой, огненно-рыжей. Очесы длинной шелковистой шерсти колыхались языками пламени. Но через некоторое время его встречали с другой собакой — под короткой шерстью тигрового окраса перекачивались мускулы бойца. А позднее он вел на поводке черную головешку на маленьких кривых ногах. Головешка не вся обуглилась — над глазами и на груди теплились коричневые подпалины.

Чего только не говорили про Косту ребята!

— У него ирландский сеттер, — утверждали они. — Он охотится на уток.

— Ерунда! У него самый настоящий боксер. С такими ходят на диких быков. Мертвая хватка! — говорили другие.

Третьи смеялись:

— Не можете отличить таксы от боксера!

Были еще такие, которые спорили со всеми:

— Он держит трех собак!

На самом деле у него не было ни одной собаки.

А сеттер? А боксер? А такса?

Ирландский сеттер горел костром. Боксер, как перед боем, играл мышцами. Такса чернела обгоревшей головешкой.

Что это были за собаки и какое отношение они имели к Косте, не знали даже его родители. В доме собак не было и не предвиделось. Когда родители возвращались с работы, они заставляли сына за столом: он поскрипывал перышком или бормотал под нос глаголы. Так он сидел запоздно. При чем здесь сеттеры, боксеры, таксы?

Коста же появлялся дома за пятнадцать минут до прихода родителей и едва успевал отчистить штаны от собачьей шерсти.

Впрочем, кроме трех собак, была еще и четвертая. Огромная, головастая, из тех, что спасают людей, застигнутых в горах снежными лавинами. Из-под длинной свалывшейся шерсти проступали худые, острые лопатки, большие впалые глаза смотрели печально, тяжелые львиные лапы — ударом такой лапы можно сбить любую собаку — ступали медленно, устало.

С этой собакой Косту никто не видел.

Звонок с последнего урока — сигнальная ракета. Она звала Косту в его загадочную жизнь, о которой никто не имел представления. И как зорко ни следила за ним Женечка, стоило ей на мгновение отвести глаза, как Коста исчезал, выскальзывал из рук, улетучивался.

Однажды Женечка не выдержала и бросилась вдогонку. Она вылетела из класса, застучала подковками по лестничным ступеням и увидела его в тот момент, когда он несся к выходу. Она выскользнула в дверь и устремилась за ним на улицу. Прячась за спины прохожих, она бежала, стараясь не стучать подковками, а конский хвост развевался на ветру.

Она превратилась в следопыта.

Коста добежал до своего дома — он жил в зеленом облупившемся доме, — исчез в подъезде и минут через пять появился снова. За это время он успел бросить портфель, не раздеваясь проглотить холодный обед, набить карманы хлебом и остатками обеда.

Женечка поджидала его за выступом зеленого дома. Он пронесся мимо нее. Она поспешила за ним. И прохожим не приходило в голову, что бегущая, слегка косящая девушка не Женечка, а Евгения Ивановна.

Коста нырнул в кривой переулок и скрылся в парадном. Он позвонил в дверь. И сразу послышалось какое-то странное подвывание и царапанье сильной когтистой лапы. Потом завывание перешло в нетерпеливый лай, а царапанье — в барабанную дробь.

— Тише, Артюша, подожди! — крикнул Коста.

Дверь отворилась, и огненно-рыжий пес бросился на Косту, положил передние лапы на плечи мальчику и стал лизать длинным розовым языком нос, глаза, подбородок.

— Артюша, перестань!

Куда там! На лестнице послышался лай и грохот, и оба — мальчик и собака — с невероятной скоростью устремились вниз. Они чуть не сбили с ног Женечку, которая едва успела прижаться к перилам. Ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Артюша кружился по двору. Припадал на передние лапы, а задние подбрасывал, как козленок, словно хотел сбить пламя. При этом лаял, подскакивал и все норовил лизнуть Косту в щеку или в нос. Так они бежали, догоняя друг друга. А потом нехотя шли домой.

Их встречал худой человек с костылем. Собака терлась о его единственную ногу. Длинные мягкие уши сеттера напоминали уши зимней шапки, только не было завязочек.

— Вот, погуляли. До завтра,— сказал Коста.

— Спасибо. До завтра.

Артюша скрылся, и на лестнице стало темнее, словно погасили костер.

Теперь пришлось бежать три квартала. До двухэтажного дома с балконом, который находился в глубине двора. На балконе стоял пес боксер. Скуластый, с коротким, обрубленным хвостом, он стоял на задних лапах, а передние положил на перила.

Боксер не сводил глаз с ворот. И когда появился Коста, глаза собаки загорелись темной радостью.

— Атилла! — крикнул Коста, вбегая во двор.

Боксер тихо взвизгнул. От счастья.

Коста подбежал к сараю, взял лестницу и потащил ее к балкону. Лестница была тяжелой. Мальчику стоило больших трудов поднять ее. И Женечка еле сдержалась, чтобы не кинуться ему на помощь. Когда Коста наконец приставил лестницу к перилам балкона, боксер спустился по ней на землю. Он стал тереться о штаны мальчика. При этом поджимал лапу. У него болела лапа.

Коста достал припасы, завернутые в газету. Боксер был голоден. Он ел жадно, но при этом посматривал на Косту, и в его глазах накопилось столько невысказанных чувств, что казалось, он сейчас заговорит.

Когда собачий обед кончился, Коста похлопал пса по спине, прицепил к ошейнику поводок, и они отправились на прогулку. Отвисшие углы большого черногубого рта собаки вздрагивали от пружинистых шагов. Иногда боксер поджимал больную лапу.

Женечка слышала, как дворничиха им вслед сказала:

— Выставили собаку на балкон и уехали. А она хоть помирай с голоду! Люди ведь!..

Когда Коста уходил, боксер провожал его глазами, полными преданности. Его морда была в темных морщинах, лоб пересекала глубокая складка. Он молча шевелил обрубком хвоста.

Женечке вдруг захотелось остаться с этой собакой. Но Коста спешил дальше.

В соседнем доме на первом этаже болел парнишка — был прикован к постели. Это у него была такса — черная головешка на четырех ножках. Женечка стояла под окнами и слышала разговор Косты и больного мальчика.

— Она тебя ждет, — говорил больной.

— Ты болей, не волнуйся, — слышался голос Косты.

— Я болею... не волнуюсь, — отвечал больной. — Может быть, я отдам тебе велосипед, если не смогу кататься.

— Мне не надо велосипеда.

— Мать хочет продать Лаптя. Ей утром некогда с ним гулять.

— Приду утром, — после некоторого раздумья отвечал Коста. — Только очень рано, до школы.

— Тебе не попадет дома?

— Ничего... тяну... на тройки... Только спать хочется, поздно уроки делаю.

— Если я выкарабкаюсь, мы вместе погуляем.

— Выкарабкивайся.

— Ты куришь? — спрашивал больной.

— Некурящий, — отвечал Коста.

— И я некурящий.

— Ну, мы пошли... Ты болей... не волнуйся. Пошли, Лапоть!

Таксу звали Лаптем. Коста вышел, держа собаку под мышкой. И вскоре они уже шагали по тротуару. Рядом с сапогами, ботинками, туфлями на кривых ножках семенил черный Лапоть.

Женечка шла за таксой. И ей казалось, что это пламенно-рыжая собака обгорела и превратилась в такую головешку. Ей захотелось заговорить с Костой. Расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживал в них веру в человека. Но она молча шла по следам своего ученика, который отвратительно зевал на уроках и слыл молчальником. Теперь он менялся в ее глазах, как веточка багульника.

Но вот Лапоть отгулял и вернулся домой. Коста двинулся дальше, и его невидимая спутница — Женечка — снова пряталась за спины прохожих. Домá уменьшились ростом. А спин стало совсем мало. Город кончался. Начались дюны. Женечке трудно было идти на каблуках по вязкому песку и корявым корням сосен. В конце концов она сломала каблук.

И тут показалось море.

Оно было мелким и плоским. Волны не обрушивались на низкий берег, а тихо и неторопливо наплзали на песок и так же медленно и беззвучно откатывались, оставляя на песке белую каемку пены. Море выглядело сонным и вялым, не способным к бурям и штормам.

Но бури на нем бывали. Далеко от дюн, за линией горизонта.

Коста шел по берегу, наклоняясь вперед — против ветра. Женечка сняла туфли, босиком было идти легче, но холодный влаж-

ный песок обжигал ступни. На берегу сохли развешанные на кольях сети с круглыми поплавками из бутылочного стекла, лежали лодки, перевернутые вверх килем.

Неожиданно вдалеке, на самой кромке берега, возникла собака. Она стояла неподвижно, в странном оцепенении. Большоголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом. Ее взгляд был устремлен в море. Она ждала кого-то с моря.

Коста подошел к собаке, но она даже не повернула головы, словно не слышала его шагов. Он провел рукой по свалявшейся шерсти. Собака едва заметно шевельнула хвостом. Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой хлеб и остатки своего обеда, завернутого в газету. Собака не оживилась, не выказала никакого интереса к пище. Коста стал ее поглаживать и уговаривать:

— Ну поешь... Ну поешь немного...

Собака посмотрела на него большими впалыми глазами и снова обратила взгляд к морю.

Женечка притаилась за развешанными сетями, словно попала, запуталась в них и не могла вырваться, чтобы тоже гладить собаку и говорить:

«Ну поешь... Ну поешь хоть немного!»

Коста взял кусок хлеба и поднес ко рту собаки. Та вздохнула глубоко и громко, как человек, и принялась медленно жевать хлеб. Она ела без всякого интереса, как будто была сыта или привыкла к лучшей пище, чем хлеб, холодная каша и кусок жилистого мяса из супа... Она ела для того, чтобы не умереть. Ей нужно было жить. Она ждала кого-то с моря.

Когда все было съедено, Коста сказал:

— Идем. Погуляем.

Собака снова посмотрела на мальчика и послушно зашагала рядом. У нее были тяжелые лапы и неторопливая, полная достоинства львиная походка. Следы заполнялись водой.

В море переливались нефтяные разводы. Будто где-то за горизонтом произошла катастрофа, рухнула радуга и ее обломки прибило к берегу.

Мальчик и собака шли не спеша, а Женечка — следопыт Женечка — слышала, как Коста говорил собаке:

— Ты хороший... Ты верный... Пойдем со мной. Он никогда не вернется. Он погиб. Честное пионерское.

Собака молчала. Она и не должна была говорить. Она не отрывала глаз от моря. И в который раз не верила Косте. Ждала.

— Что же мне с тобой делать? — спросил мальчик. — Нельзя же жить одной на берегу моря. Когда-нибудь надо уйти.

Рыбацкая сеть кончилась. И Женечка как бы выпуталась из сетей. Коста оглянулся и увидел учительницу. Она стояла на пе-

ске босая, а туфли держала под мышкой. И сквозняк, тянувший с моря, развеивал ее волосы, собранные в конский хвост.

— Что же с ней делать? — растерянно спросила она Косту.

— Она не пойдет. Я знаю, — сказал мальчик. Он почему-то не удивился появлению учительницы. — Она никогда не поверит, что хозяин погиб...

Женечка подошла к собаке. Собака глухо зарычала, но не лаяла, не бросилась на нее.

— Я ей сделал дом из старой лодки. Подкармливаю. Она очень тощая... Сперва укусила меня.

— Укусила?

— Руку. Теперь все зажило. Я йодом смазывал.

Пройдя еще несколько шагов, он сказал:

— Собаки всегда ждут. Даже погибших... Им надо помогать.

Море потускнело и стало как бы меньше размером. Погасшее небо плотнее прижалось к сонным волнам. Коста и Женечка проводили собаку до ее бессменного поста, где неподалеку от воды лежала перевернутая лодка, подпертая чурбаком, чтобы под нее можно было забраться. Собака подошла к воде. Села на песок. И снова застыла в своем вечном ожидании...

Обратно учительница и ученик шли быстро, но, когда берег кончился, за дюнами Женечка остановилась и сказала:

— Я не могу так быстро. У меня каблук сломался.

— Мне надо бы поспеть до их прихода, — отозвался Коста.

— Тогда иди.

Коста внимательно посмотрел на Женечку и спросил:

— А как же вы?

— Я дойду не спеша.

— Может быть, вбить гвоздь? У вас есть гвоздь?

— Не знаю. — Женечка протянула ему туфлю.

Он покрутил каблук, как зуб, который шатается. И постучал камнем.

— Вот.

— Теперь лучше, — сказала Женечка, надевая туфлю.

Но шла она прихрамывая, наступая на носок, чтобы каблук держался.

На другой день в конце последнего урока Коста уснул. Он зевал, зевал, но потом уронил голову на согнутый локоть и уснул. Сперва никто не замечал, что он спит. Потом кто-то захихикал.

И Женечка увидела, что он спит.

— Тихо, — сказала она. — Совсем тихо!

Когда она хотела, все было как полагается. Тихо так тихо.

— Вы знаете, почему он уснул? — шепотом произнесла Евгения Ивановна. — Я вам расскажу... Он гуляет с чужими собаками. Кормит их. Собаки всегда ждут. Даже погибших... Им надо помогать...



Зазвенел звонок с последнего урока. Он звенел громко и протяжно. Но Коста не слышал звонка. Он спал.

Евгения Ивановна — Женечка — склонилась над спящим мальчиком, положила руку ему на плечо и легонько потрясла. Он вздрогнул и открыл глаза.

— Звонок с последнего урока, — сказала Женечка, — тебе пора.

Коста вскочил. Схватил портфель. И в следующее мгновение скрылся за дверью.

РАЗБУЖЕННЫЙ СОЛОВЬЯМИ

Когда в лагере говорили «Селюженок», ребята усмехались в предчувствии новых происшествий, а для взрослых это слово звучало, как сигнал тревоги и предвестник неприятностей. Этот сигнал-предвестник начинал звучать с самого утра и не утихал до отбоя. Во всех уголках лагеря только и слышалось:

— Селюженок, заправь койку!

— Селюженок, вымой уши!

— Селюженок, перестань барабанить ложкой по тарелке!

— Селюженок, куда ты спрятал журнал?

— Селюженок, если ты не выйдешь из воды, больше не будешь купаться до конца смены.

Какие только грозные предупреждения и сердитые возгласы не следовали за словом «Селюженок»! За неделю лагерной жизни на него был истрачен годовой запас восклицательных знаков.

У Селюженка круглая голова, подстриженная под машинку, а уши торчат в стороны, как ручки сахарницы. Худое лицо всегда измазано сажей, или какой-нибудь краской, или просто грязью неизвестного происхождения. Селюженок маленький и хрупкий: ткнешь пальцем — он и упадет. Походка у него легкая и бесшумная, словно он не идет, а крадется. Как это такое хлипкое существо может доставлять людям столько неприятностей!

Худой, большеголовый, приткий, он похож на огромного головастика. И взрослые считают, что с годами из него выйдет порядочная жаба.

Лицо у Селюженка непроницаемое. Слова не то что отскакивали от него, как горох, они как бы проходили насквозь, не оставляя никаких следов. Когда мальчика ругали, он не морщился, не дергал плечом и не опускал глаза — он улыбался своим мыслям. Взрослым казалось, что мальчишка насмехается над их словами. Они теряли самообладание, надрывали голоса. Но Селюженок был надежно защищен от их гнева своей невозмутимостью.

Чаще всего Селюженок молчал. Это был надежный способ

самообороны. Но если он и выдавливал из себя слово, то его ответы были односложными, лишенными настоящего смысла.

— Ты зачем взял у Брусничкиной зубную щетку?

— Просто так.

— У тебя что, нет своей щетки?

— Есть.

— Так зачем тебе вторая щетка?

— Просто так.

После разговора с Селюженком даже самые уравновешенные люди стучали кулаком по столу и хлопали дверями. У этого дурного мальчишки была удивительная способность нагнетать в людях злость, портить настроение и доказывать взрослым, что у них не в порядке нервы.

Селюженок тащил все, что плохо лежало. Он хватал ленточки для кос, карандаши, носовые платки, перочинные ножи. Он был похож на сороку, которая несет в свое гнездо ненужные для нее вещи. Сорочьим гнездом была тумбочка Селюженка. Нет, он никогда не ел чужие сладости и не присваивал деньги. Все, что попадалось к нему в руки, оставалось без всякого применения и не приносило ему никаких благ.

Никто не знал, что творится в душе у этого маленького колючего человечка. Нельзя было определить, весел он или печален, доволен жизнью или обижен. Он был всегда одним и тем же. С его лица не сходила глуповатая, лишенная всякого смысла улыбка. Он был неразрешимой загадкой, задачей, которая никогда не сходится с ответом. Взрослые махнули на него рукой и мечтали поскорей дожить до конца смены, чтобы навсегда избавиться от этого уродца. Ребята подсмеивались над Селюженком, когда он им досаждал, поколачивали, но в общем относились к нему терпимо. А малыши, завидев его, весело кричали:

— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!

Селюженок не сердился и не щелкал малышей по выпуклым лбам. Он улыбался. И они принимали его улыбку за чистую монету. Да так оно, возможно, и было.

Чашу терпения взрослого населения пионерского лагеря переполнил случай с пластилином. В один прекрасный день руководительница изокружка обнаружила, что в студии пропал большой кусок зеленого пластилина: весь запас кружка лепки. Сомнений не было: это мог сделать только Селюженок.

Расстроенная Татьяна Павловна в отчаянии прибежала к начальнику лагеря.

— Так больше нельзя! — быстро заговорила она, и лицо ее покрылось красными пятнами. — На прошлой неделе он вылил весь скипидар. Теперь — пластилин! Надо что-то делать!

Татьяна Павловна не назвала имя похитителя пластилина, но начальник лагеря безошибочно определил, о ком шла речь.

— Позвать Селюженку! — крикнул он дежурному, и настроение его сразу начало портиться.

Через несколько минут на пороге кабинета уже стоял виновник очередного происшествия. Он стоял молча и смотрел на начальника невидящими глазами, словно начальник был прозрачным и мальчик видел сквозь него спинку стула.

— Селюженок! — В голосе начальника лагеря звучали недобрые нотки. — Что ты молчишь? Отвечай, зачем ты взял пластилин?

— Я не брал, — спокойно ответил Селюженок.

— Покажи руки.

Мальчик охотно протянул руки.

— Разожми кулаки.

Селюженок разжал кулаки.

— Поверни ладонками вверх.

Селюженок выполнил и эту команду.

— Смотри! У тебя все руки в пластилине.

— Это не пластилин.

— А что это?

— Это грязь.

— Ах вот оно что! Грязь. Завтра же я отправлю тебя в город. Ясно? — И, не дожидаясь ответа, начальник лагеря, в котором все внутри уже клокотало, почти крикнул: — Иди!

Селюженок спокойно повернулся и как ни в чем не бывало зашагал к двери.

— Селюженок!

Мальчик остановился и повернулся к начальнику.

— Я тебя в последний раз спрашиваю: ты брал пластилин?

В этом вопросе не было никакого смысла. Все было ясно. Просто начальнику хотелось добиться признания. Селюженок молчал. Он стоял перед разгневанным начальником и следил глазами за жирной блестящей мухой, которая, проворно шевеля проволочными лапками, ползла по стене. В эту минуту у похитителя пластилина не было более важного дела.

— Иди! — закричал начальник.

Он был в общем не плохим человеком, но этот Селюженок пробуждал в нем зверя.

Селюженок попрощался глазами с мухой и направился к двери.

Он спал крепко, как обычно спят люди с чистой совестью. Он ложился на правый бок, поджимал ноги, подворачивал под плечо одеяло, и не проходило пяти минут, как начинал легонько посапывать. Во сне он ничем не отличался от других ребят. Селюженок засыпал, и в лагере выключался источник беспокойства и неприят-

ностей. Взрослые облегченно вздыхали. Откровенно говоря, они были бы счастливы, если бы Селюженок так и проспал до конца смены. Как спящая царевна.

Он спал на одном боку до тех пор, пока медный горн хриплым, словно со сна, голосом не пел подъем. Тогда Селюженок вскакивал на ноги и, как стрела, выпущенная из лука, устремлялся вперед, навстречу новым злоключениям.

В эту ночь, в нарушение всех правил, Селюженок вдруг проснулся. Не тревожные думы подняли среди ночи похитителя пластилина. Он проснулся от свиста. Мальчик повернулся на другой бок и натянул одеяло на голову. Свист не прекращался. Он, как пуля, пробивал тоненькое одеяло и не давал спать.

Селюженок сел на постели и огляделся. Никого рядом не было. Все ребята крепко спали. А свист не утихал. Это был не простой свист. Если вложить в рот четыре пальца или сложить губы трубочкой, так не засвистишь.

Свист то замирал, то звучал с новой силой. В нем билась и колотала картавая горошина. А порой слышалось частое пощелкивание, будто кто-то рубил свист на мелкие кусочки.

Это пели соловьи.

Селюженок рассердился на птиц, которые не давали ему спать. Он на ощупь отыскал брюки, натянул их и бесшумно подошел к окну. В кармане лежал тяжелый камень. Селюженок зажал его в кулак и легко перемахнул через подоконник.

Соловьиный оркестр умолк. Теперь пел только один соловей. К нему с камнем в руке шел Селюженок.

Звезд не было видно, и казалось, что в темноте небо опустилось и прилегло на землю. Селюженок чувствовал на щеке влажное прикосновение неба и его ознобный холодок. Он вздохнул поглубже и весь наполнился свежестью. Это потому, что он дышал небом.

Осторожно переставляя босые ноги, мальчик с камнем в руке шел на соловьиный свист. Теперь соловей пел так громко, что было удивительно, как он не разбудил всех ребят. Селюженок подошел к дереву и запрокинул голову. Напрягая зрение, он стал всматриваться в густые темные ветки. Соловей пел рядом, но его не было видно, словно он надел шапку-невидимку. Звуки падали из его горлышка чистыми, хрустальными каплями. И хотелось подставить руку, чтобы поймать хоть одну такую каплю. Поющие капли сливались в одну серебристую нить, которая тянулась к разбуженному мальчику.

Селюженок стоял под деревом затаив дыхание. Он забыл про камень и не шевелился, потому что боялся неосторожным движением порвать серебряную нить. Вокруг него было темное небо. Наверное, небо держится на звездах, как на гвоздях. А когда звезд нету, оно опускается на землю.

Он стоял до тех пор, пока краешек неба не стал светлеть. Соловей разбудил мальчика, а сам уснул. Но его свист все еще звенел в ушах, похожих на ручки сахарницы. Может быть, Селюженок выучил соловьиную песню наизусть и теперь напевает сам себе?

Селюженок обрадовался рассвету: теперь ему удастся хоть взглянуть на соловья. Но сколько он ни вглядывался в сплетение ветвей, увидеть соловья так и не смог.

Он вспомнил о камне и почувствовал, что камень в его кулаке потеплел и стал мягким. Он разжал кулак и удивился: это был вовсе не камень, а кусок зеленого похищенного пластилина. Остаток. Селюженок взвесил его на ладони и стал мять. Пластилин стал совсем податливым. И мальчику неожиданно пришло в голову слепить соловья. Он принялся за дело. Сначала его пальцы были неловкими, деревянными, но постепенно потеплели, разошлись и стали передавать пластилину то, что им приказывал мальчик.

Он лепил соловья таким, каким, ему казалось, должен быть исполнитель беспокойных ночных песен. Соловей оживал в руках мальчика. Он был зеленым. У него была узкая голова и большие распростертые крылья.

Селюженок посмотрел на соловья и улыбнулся. Ему показалось, что он сделал открытие — своими руками создал птицу-певца, и она молчит лишь потому, что время песен прошло и небо поднялось с земли высоко, до самых облаков.

Утром Селюженок появился в дверях художественной студии. Он робко переступил порог этого маленького пионерского храма искусств и лицом к лицу столкнулся с Татьяной Павловной. Увидев незваного гостя, Татьяна Павловна строго сдвинула брови и недовольно спросила:

— Селюженок? Что тебе надо?

Мальчик молчал. Он держал руку за спиной и смотрел в землю. Ему ничего не нужно было. Он стоял и молчал.

— Ты пришел извиниться? — пыталась догадаться преподавательница рисования.

Селюженок покачал головой. Он пришел совсем за другим.

Татьяна Павловна пожала плечами. Она уже была готова взять маленького похитителя пластилина за плечи и вытолкать из мастерской, но тут Селюженок поднял глаза и протянул ей руку. В руке лежало какое-то странное существо с узкой головой и большими крыльями.

— Что это? — спросила Татьяна Павловна.

— Соловей, — ответил мальчик.

Татьяне Павловне захотелось засмеяться над этим зеленым уродцем. Но она сдержалась. Она взяла из рук мальчика его рабо-

ту и стала ее внимательно рассматривать, словно искала в ней то, что было незаметно с первого взгляда. А Селюженок следил за каждым ее движением.

— Это твоя скульптура? — тихо спросила преподавательница.

— Это не скульптура, это соловей, — отозвался мальчик и, заглядывая в глаза Татьяне Павловне, робко спросил: — Что, не похож?

Татьяна Павловна испытующе посмотрела на мальчика и ответила:

— Похож. Очень похож. А ты видел соловья?

Селюженок запнулся. Сперва он по привычке решил соврать: видел! Но потом ему захотелось сказать правду.

— Нет, не видел... Я слышал соловья.

— Слышал?

— Ну да, слышал. Сегодня ночью.

Татьяна Павловна все еще не могла разобраться, что же все-таки произошло с этим мальчиком, чье имя внушало всем лагерным работникам неприязнь. Но она догадывалась, что ночные соловьи разбудили в душе мальчика нечто такое, о чем никто даже и не подозревал. Она сказала:

— Ты приходи, будешь учиться лепить.

Селюженок кивнул головой. И вдруг на его лице отразилась чуть заметная тень расстройства.

— Так пластилина-то нет, — сказал он.

— А мы будем лепить из глины.

Селюженок оживился.

— Глины я вам натаскаю, — сказал он, — целую гору!

— Вот и хорошо, — подхватила Татьяна Павловна.

Уже уходя из мастерской, Селюженок вдруг обернулся и сказал:

— Только меня, наверное, выгонят.

Эти слова поставили Татьяну Павловну в тупик, но она быстро нашлась:

— Посмотрим. Может быть, еще не выгонят.

— Тогда приду, — сказал Селюженок. — И глины притащу.

Когда Селюженок ушел, Татьяна Павловна взяла со стола зеленого уродца-соловья и направилась к начальнику лагеря.

— Что это? — спросил начальник лагеря, рассматривая скульптуру. — Что это за художество?

— Это соловей.

Начальник рассмеялся.

— Хорош соловей! Это зеленая ворона.

— Это соловей, — упрямо сказала Татьяна Павловна. — Его вылепил Селюженок.

При одном имени Селюженка начальник лагеря поморщился.

— Пусть он забирает своего зеленого соловья-ворону и отправляется. Завтра наш завхоз поедет в город и захватит его.

Татьяна Павловна села на стул.

— Отправить его мы еще успеем.

— Пойдите.— Начальник лагеря встал со стула.— Кто, как не вы, настаивал на том, чтобы его отправить домой? Я не ошибаюсь?

— Нет, не ошибаетесь. И все-таки я прошу оставить Селюженку.

— Что, у него открылся талант? — спросил начальник и недоверчиво покосился на зеленого соловья.

Татьяна Павловна покачала головой.

— Таланта у него никакого. Но сегодня ночью его разбудили соловьи, и я думаю... Я обещаю вам, что он больше не утащит ни булавки.

— Педагогический опыт?

— Допустим.

Никто не заметил, что произошло с Селюженком с той ночи, когда его разбудили соловьи. Вот если бы у него изменились глаза, или нос, или уши, это бы сразу заметили. А когда меняется что-то внутри, разглядеть трудно.

По-прежнему юркий головастик носился по всему лагерю. И по-прежнему в него, как копья, летели восклицательные знаки:

— Селюженок, убери ботинок с постели!

— Селюженок, не наступай на пятки.

— Селюженок, кто тебе разрешил трубить в горн!..

А малыши по-прежнему кричали ему вслед:

— Селюженок-медвежонок! Селюженок-медвежонок!

Да, собственно, ничего в нем и не изменилось, просто у человека появился в жизни интерес. Ему захотелось тащить все, что попадает под руки. Он сбросил с себя старую, негодную шкурку и стал самим собой.

Ежедневно он приходил в художественную студию, садился за стол и лепил какие-то странные, несуразные существа, которые оказывались собаками, оленями, серенькими козликами.

Вскоре в лагере открылась выставка работ юных художников. Любопытные зрители толпились в художественной студии и нетерпеливо разглядывали работы своих товарищей. Никогда еще в студии не было так шумно. Здесь вспыхивали горячие споры об искусстве, и каждый отряд стоял насмерть за своих художников.

И вдруг кто-то крикнул:

— Смотрите, Селюженок вылепил соловья!

Это известие произвело на ребят ошеломляющее впечатление.

Все сразу изменили своим любимым художникам и бросились к столу, где на фанерной подставке стояло зеленое существо с огромными крыльями. Под этим странным существом было написано: «Соловей. Вылепил Селюженок из 4-го отряда». Ребята сбились в кучу. Всем не терпелось посмотреть, что такое мог вылепить похититель пластилина.

Зрители рассматривали селюженковского соловья, как величайшее чудо, как смелое открытие, как находку далекой древности.

— Похож! — кричали одни. — Правда, похож?

— Как живой! — откликались другие.

Никто из ребят никогда не видел живого соловья, и все были убеждены, что соловей в самом деле зеленый и большекрылый. Кто-то попробовал было возразить:

— Не похож. Я видел соловья.

Но на него обрушилось сразу несколько добровольных защитников Селюженки:

— Врешь ты все! Никто не видел соловья... Кроме Селюженки.

Когда первая волна восторгов и споров улеглась, кто-то произнес:

— Говорили, что он стащил пластилин, а он соловья лепил. Наврали на человека.

Селюженок стоял в сторонке и с удивлением слушал, что говорят ребята, и ему казалось, что речь идет не о нем, а совсем о другом Селюженке. И тот, другой, нравился ему все больше.

В эту ночь его снова разбудил соловьиный свист. Мальчик открыл глаза и долго слушал, как выводит свои серебристые трели невидимый певец. И вдруг он подумал, что нечестно слушать соловья одному. Он соскользнул с постели и одного за другим стал будить ребят.

— Слушай, вставай. Соловей поет!.. Слушай, слушай...

Не прошло и пяти минут, как вся палата уже была на ногах. Ребята теснились у окон и, сдерживая дыхание, слушали соловья. Никто, естественно, не мог разглядеть в темноте поющей птицы, но все почему-то представляли себе соловья зеленым и большекрылым. А самому Селюженку казалось, что это ожил и запел его соловей, слепленный бессонной ночью из похищенного пластилина.

СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА

Если твоя фамилия Малявкин и товарищи зовут тебя Малявкой, это еще можно пережить. Тем более, что зовут тебя так не со зла, а просто фамилия у тебя неудачная. С такой фамилией самого

лучшего человека на свете будут звать Малявкой. И отца твоего тоже в детстве величали этим потешным и немного обидным именем. Говорят, что даже дедушку в незапамятные времена звали Малявкой. Ну, и что из этого!

Вот если тебя к тому же считают конченным человеком и если рядом с твоей неудачной фамилией поставили большой жирный минус, тогда плохи твои дела.

Когда он приносил домой четверку, отец пожимал плечами и говорил:

— Это тебе повезло.

А когда в дневнике появлялось замечание, отец усмехался:

— Очень приятно! Чего еще от тебя ожидать!

— Так я не виноват... — пробовал было возразить Малявкин-сын.

— Ты всегда не виноват! — обрубал Малявкин-отец.

Он не желал выслушивать никаких объяснений. Он даже не ругал сына — что попусту тратить слова. Поворачивался и уходил.

От обиды лицо мальчика покрывалось красными пятнами, а к горлу подступал комок. Ему казалось, что он провалился в прорубь, хочет вскарабкаться на льдинку, но руки скользят. И никто не желает помочь ему...

Этот минус появился еще в прошлом году. Класс был большой, а у Зои Назаровны не хватило времени толком разобраться во всех своих учениках. Она пригляделась, поразмыслила и в уме поставила перед каждым из них плюс или минус. Малявкину достался минус.

Она поставила этот минус в уме, для служебного пользования, но мальчик постоянно чувствовал его, словно минус был выведен в журнале против его фамилии. И его нельзя было ни стереть, ни исправить.

Когда в классе поднимался шум, Зоя Назаровна, не поворачиваясь от доски, говорила через плечо:

— Малявкин и компания, тише!

Она называла его фамилию при каждом удобном случае, даже если он в этот момент сидел, набрав в рот воды. Она считала, что Малявкин все делает ей назло. А Малявкин просто не мог спокойно сидеть на месте. Где-то внутри у него была тайная пружинка, которая беспрестанно поворачивала его голову, заставляла ерзать, приводила в движение руки. У этой пружинки никогда не кончался завод. Иногда мальчик спохватывался и старался изо всех сил удержать ее. Но стоило только забыться, как пружинка незаметно выскальзывала и снова приводила в движение голову, руки, язык.

Иногда, очень редко, Зоя Назаровна беседовала с Малявkinым.

— Ничем ты не интересуешься,—говорила она, и кончики ее губ презрительно опускались, будто кто-то тянул их за ниточки.— Ребята марки собирают, делают гербарии... Ты бы хоть спичечные коробки коллекционировал!

Малявкин переминался с ноги на ногу и усиленно крутил концы галстука. Он не решался сказать Зое Назаровне, что белые облака нельзя засушить, как кленовые листья, и нельзя наклеить в альбом, как почтовые марки. А Малявкин интересовался облаками.

Он ложился животом на подоконник, подпирал рукой подбородок и долго-долго следил за облаками, которые обязательно на что-то похожи. На слона, на верблюда или на снежные горы. Конечно, облако не может долго быть верблюдом. На твоих глазах у верблюда пропадают горбы. Животное поджимает передние ноги и так вытягивает шею, что она наконец обрывается. И вот уже нет верблюда. Он пропадает в небе, но остается в памяти. Как его наклеишь на бумажку и покажешь Зое Назаровне?

Если люди махнули на тебя рукой и не хотят разобраться в тебе, потому что кто-то поставил перед твоей фамилией минус, то у тебя есть два выхода: или самому махнуть на себя рукой, или любыми усилиями зачеркнуть несправедливый минус.

В глубине души он не очень-то рассчитывал, что с помощью учебников и тетрадей ему удастся избавиться от минуса. Он надеялся на другое средство. И когда однажды старшая вожатая объявила, что после уроков все пионеры отправляются собирать бумажную макулатуру, Малявкин почувствовал — судьба посылает ему случай доказать, что он не такой уж пропащий человек.

— Стране нужна бумага! — сказала старшая вожатая.

«Очень хорошо, что стране нужна бумага. Прекрасно, что стране нужна бумага! Тем более, что ты можешь найти сколько угодно сырья для нужной стране бумаги».

Так думал Малявкин, не переставая крутить кончики галстука. Он свернул их сначала в трубочку, потом превратил в спирали, а когда наконец оставил в покое, они повисли, как две красные сосульки.

Он не слышал голосов учителей. В его груди звучали и пели на все лады зазывные слова вожатой:

«Стране нужна бумага!»

После уроков все ребята вышли на школьный двор. Здесь каждому выдали сетку, похожую на рыболовную снасть. Эти сетки нужно было забросить в сотни квартир и учреждений и вытянуть

их обратно на школьный двор с богатым уловом бумажной макулатуры.

Малявкин перекинул свою сеть через плечо и быстро зашагал к воротам. Было тепло, и на деревьях раскрывались почки. Из клейких золотистых чешуек выглядывали зеленые язычки листьев. И с земли казалось, что деревья покрыты зелеными многоточиями. Мягкий, подобревший ветер весны сквозил по улицам. А высоко в небе он упирался в белые паруса облаков, и они плыли, меняя на ходу очертания.

На пути мальчику попался газетный киоск. Все четыре стены киоска были из стекла, и со стороны газетный домик был похож на большой старинный фонарь. В центре фонаря, на месте фитиля, находился киоскер: беловолосый и красноносый старичок. На носу у него сидели большие очки. Когда он разговаривал, то смотрел поверх очков. Очки только мешали ему.

Малявкин подошел к стеклянному домику и неуверенно спросил у киоскера:

— У вас есть старые, ненужные газеты?

— Есть,— ответил киоскер.

— Можно их забрать?

— А ты думаешь, что старые газеты ничего не стоят?

— Разве старые газеты тоже стоят? — удивился Малявкин.

— Стоят. По две копейки,— ответил старичок, и глаза его так выкатились, словно собирались перемахнуть через очки.— А тебе зачем газеты? Для оклейки или для упаковки?

— Мне для макулатуры,— отозвался Малявкин.

— Для макулатуры,— повторил киоскер.— Вот оно что!

Лицо старичка засияло — зажегся фитилек. Он посмотрел на мальчика и вдруг подмигнул ему:

— Подойди-ка к двери.

Мальчик не заставил себя ждать. В два прыжка он очутился у двери киоска. Старичок приоткрыл стеклянную дверь и спросил:

— Тара у тебя есть?

Мальчик замялся. Тары у него не было. Может быть, старичок ничего не даст ему, раз нет тары? Но хозяин киоска осмотрел его с головы до ног и, обнаружив на его плече сеть, кивнул на нее:

— Подставляй сетку.

Сетка и была тарой.

Малявкин быстро стянул с плеча сетку и протянул ее старичку. И тут хозяин стеклянного газетного домика стал выгребать откуда-то куски картона, и бумажные обрезки, и мятые газеты, которые ничего не стоили, и оберточную бумагу, отслужившую свой век. Он энергично засовывал все это богатство в сетку. Не прошло и пяти минут, как сетка наполнилась до краев. Мальчик припод-

нял ее, и оказалось, что улов кое-чего весит. Тяжесть радовала его. Он с благодарностью посмотрел на старичка-фитилька и сказал:

— Спасибо вам. Стране нужна бумага.

На школьный двор Малявкин пришел первым. От быстрой ходьбы он тяжело дышал. Фуражка с острым козырьком, похожим на грачинный клюв, съехала набок. Глаза весело блестели. А за спиной белела макулатура, разлинованная сеткой в крупную клеточку.

Старшая вожатая и два старшеклассника-комсомольца сидели на скамейке перед школой и поджидали сборщиков макулатуры.

— Вот,— сказал Малявкин, сваливая к их ногам тяжелую ношу.— Вот, принес.

— Молодец! — сказала старшая вожатая.— Как твоя фамилия?

В эту минуту Малявкин дорого бы отдал за красивую фамилию. Ему сейчас очень нужна была звучная, гордая фамилия. Но где он мог раздобыть ее, если его отец и даже дед были Малявковыми?

Вожатая ждала ответа.

— Малявкин,— тихо сказал мальчик.

Он сказал тихо, но два старшеклассника переглянулись, и мальчик заметил на их лицах усмешку.

— Запиши, Саша, его фамилию,— сказала старшая вожатая.— А ты, Малявкин, свободен.

— Свободен? — спросил мальчик.— А разве больше не нужно макулатуры?

— Ты свою норму выполнил.

— А можно, я еще принесу? — Он неуверенно посмотрел на вожатую.

Вожатая пожала плечами.

— Если тебе нравится.

— Нравится,— признался мальчик и, подхватив пустую сетку, побежал к воротам, словно боялся, что вожатая раздумает и не разрешит ему идти за второй нормой.

Теперь Малявкин знал, где находится месторождение макулатуры. Он напал на золотую жилу! От киоска к киоску шагал он с сеткой за плечом. Он уже не интересовался старыми газетами, которые, как новые, стоят две копейки. Он показывал хозяевам стеклянного домика свою сетку — тара есть! — и спрашивал:

— Нет ли у вас бумажных обрезков, старого картона, бракованных газет?

Макулатура находилась. Безотказная пружинка, которая так мешала ему на уроках, теперь работала с пользой. Скорей, скорей,

скорей! Стране нужна бумага! Очень хорошо, что стране нужна бумага! Значит, ты тоже нужен стране, если ты добываешь сырье для бумаги.

Во дворе около школы выросла большая белая гора. Ее носили ребята. Бумажная гора напоминала Малявкину прохладное облако, которое сделало вынужденную посадку под окнами школы. Ветер трепал полоски легкой бумаги, и казалось, что облако живое, что оно меняет свои очертания, как и подобает настоящему облаку.

Когда он в четвертый раз собрался было в поход, старшая вожатая остановила его:

— Хватит, Малявкин. Ты и так больше всех принес. Мы о тебе в стенгазете напишем.

Малявкин опустил глаза. Зачем писать о нем в стенгазете? Пусть лучше Зоя Назаровна сотрет свой минус и пусть перестанет считать его пропадающим человеком, раз он на что-то способен. Но как все это объяснить старшей вожатой?

Домой он пришел поздно. Он чувствовал себя счастливым. Ему казалось, что его минус погребен под большой бумажной горой. И теперь начнется новая жизнь.

Мигом вбежал он по лестнице.

— Ты что так поздно? — поинтересовалась мама.

— Мама, — ответил мальчик, и голос его звучал возбужденно и торжественно, — мама, я собирал макулатуру. Я три полные сетки...

Мама даже не дослушала его. Она сказала:

— Всякой ерундой занимаешься! Лучше бы уроки учил.

От неожиданности мальчик запнулся.

— Мама, стране нужна бумага, — сказал он упавшим голосом.

Но мама его уже не слушала. Она пошла разогревать обед.

Каждый день по дороге в школу Малявкин останавливался перед бумажной горой. Когда было ветрено, обрывки бумаги носились по двору. Они шуршали на асфальте и плыли по лужам, как белые кораблики.

Хотя стране нужна была бумага, никто не торопился забрать драгоценную макулатуру. И надо признаться, что белая гора постепенно таяла, словно была из снега, а дни стояли теплые.

Не раз сильный ветер поднимал самый настоящий бумажный смерч. Листки бумаги стучали в окна классов, словно хотели напомнить ребятам о своем существовании. А одна бумажная полоска прилипла к стеклу и билась от ветра, как маленький тревожный флажок, подающий сигнал бедствия.

Пошел дождь. Он мочил бумажную гору. И Малявкин переживал за нее. Это была его маленькая слава. Она помогла ему со-

хранить веру в самого себя. На большой перемене он выбежал во двор, отыскал где-то кусок толя и накрыл им макулатуру. Теперь она уже не была похожа на белое приземлившееся облако. Листки бумаги слиплись и потемнели.

На уроке Малявкин поднял руку.

— Что у тебя, Малявкин? — спросила Зоя Назаровна.

Мальчик поднялся. Он спросил:

— А когда из макулатуры будут делать бумагу?

Зоя Назаровна пожала плечами, и невидимые ниточки медленно потянули вниз уголки ее губ.

— Когда придет время, тогда и будут делать... бумагу, — сказала она, растягивая слова; все, что относилось к Малявкину, она считала несерьезным и вздорным.

Однажды после шестого урока он сбежал со ступенек школьного крыльца и увидел, что истопник и завхоз берут охапки макулатуры и уносят ее в котельную.

«Наверное, решили спрятать ее», — подумал мальчик и проскользнул в дверь. То, что он увидел, поразило его. Он почувствовал, что на лице выступили красные пятна.

Охапки белой бумаги бросали в топку. Как белые облака, уплывали они навстречу огню. Пламя сразу обжигало их. Облака чернели и корбились, ветер подхватывал их, и они, легкие и хрустящие, уносились в трубу.

Мальчик подумал, что черные облака вылетают наружу и плывут над городом. И что сейчас все небо в черных, обугленных облаках.

Из оцепенения его вывел голос завхоза:

— Чего стоишь, Малявкин? Помогай!

— Это нельзя жечь, — почти крикнул мальчик. — Это макулатура!

— Тебя забыли спросить, — поморщился завхоз. — Ну-ка, посторонись!

Мальчик продолжал стоять на месте. Глядя в покрасневшее от жары лицо завхоза, он крикнул:

— Стране нужна бумага! Не жгите!

— А ну, иди отсюда! — грубо сказал завхоз. — Малявка!

Его все называли Малявкой. Но никто не хотел обидеть его этим словом. Зато сейчас привычная кличка прозвучала оскорбительно и зло. Слезы блеснули в его глазах. Но ему стало стыдно своих слез, и он быстро размазал их по скулам.

Он кинулся в школу. Он бегал по этажам и все искал, кто бы мог вступить за макулатуру. В пионерской комнате никого не было. В учебной части тоже.

В одном из коридоров он столкнулся с Зоей Назаровной.

— Ты что носишься как оглашенный? — спросила учительница.

— Зоя Назаровна, — сказал мальчик, прерывисто дыша, — Зоя Назаровна, они жгут макулатуру.

Ему казалось, что Зоя Назаровна немедленно побежит в котельную и будет спасать горящие белые облака. Но Зоя Назаровна спокойным голосом сказала:

— Так ведь пожара нет. Жгут не школу, а макулатуру.

Нет, это, конечно, не пожар. А может быть, и пожар. Когда горит добро, горит твой труд, твоя надежда — это пожар!

— Иди домой, — сказала Зоя Назаровна и подтолкнула его к двери.

Он шел по улице, глядя себе под ноги. Ему казалось, что если он поднимет глаза, то увидит, как там, в голубом апрельском небе, плывут черные, обуглившиеся облака. Он даже почувствовал горьковатый запах гари.

Когда он проходил мимо газетных киосков, то отворачивался. Ему было стыдно смотреть в глаза старичков и старушек, похожих на фитильки больших фонарей.

«Никакой новой жизни не будет», — думал мальчик. Все его надежды уплыли вместе с черными облаками.

И вдруг кто-то окликнул его:

— Коля!

Малявкин вздрогнул от неожиданности и остановился. Его обычно звали Малявкиным или Малявкой. Может быть, это зовут не его, а другого Колю? Он поднял глаза и увидел Зою Назаровну. Для учительницы эта встреча тоже была неожиданной. Она смотрела на мальчика и молчала. Она почему-то не знала, что сказать ему, и вид у нее был растерянный. И Зоя Назаровна показалась Малявкину большой девочкой, которую вызвали к доске, а она не знает урока. Он никогда не видел ее такой. И ему нравилась такая Зоя Назаровна.

А потом он поднял глаза и посмотрел в небо. Над головой плыли облака. Они были ослепительно белыми, без единого пятнышка. А одно из них было похоже на крупного слона с двумя горбами, как у верблюда. Малявкин улыбнулся двугорбому слону. И провожал его глазами до тех пор, пока слон не потерял хобот.

РЫЦАРЬ ВАСЯ

Приятели называли его тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и неловкость. Если в классе писали контрольную работу, то ему всегда не хватало времени — он раскачивался только к концу урока. Если он пил чай, то на столе вокруг его блюдца образовывалась большая чайная лужа. Он ходил вразвалку и обязательно задевал за край стола или сбивал стул. И новые бо-

тинки за неделю стаптывал так, словно вместе с Суворовым совершал в них переход через Альпы. Вид у него был сонный, будто он только что проснулся или собирался уснуть. У него все валилось из рук, все не ладилось. Одним словом, тюфяк.

Куртка в обтяжку, штаны плотно облегали ноги. На толстом лице выделялись три бугорка: два — над глазами, у начала бровей, а третий — между носом и верхней губой. Когда он напрягался или приходил с мороза, эти бугорки краснели в первую очередь.

Все считали, что причина его полноты — обжорство: с чего еще он такой толстый? На самом деле ел он мало. Не любил есть. Терпеть не мог это занятие.

То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его медленных, вялых движениях, звучало в глуховатом голосе. Никто не догадывался, что скрывается под этой некрасивой толстой оболочкой.

А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя закованным в блестящие стальные доспехи, в пернатом шлеме с опущенным забралом, на белом коне с раздувающимися ноздрями. В таком виде он мчался по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых и обиженных. Он был безымянным рыцарем. Потому что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена — Ричард, или Родриго, или Айвенго. Его же звали просто Вася, и это имя не подходило для рыцаря.

В мечтах из толстого и косолапого он превращался в стройного и гибкого, а в движениях появлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под блистательными доспехами.

Но стоило ему подойти к зеркалу, как все возвращалось на место. И перед ним вместо прекрасного рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с круглым толстым лицом, на котором краснели три бугорка.

В эти минуты он ненавидел себя за неподходящую для рыцаря внешность.

Кроме насмешливого зеркала, к действительности его возвращала мама. Услышав из кухни его шаги, от которых жалобно звенели стаканы, мама кричала:

— Осторожно! Слон в фарфоровой лавке!

Разве так обращаются с благородным рыцарем?

Он пробовал было поделиться мечтами с приятелем, но не встретил у него поддержки.

Услышав о доспехах, приятель покривился и сказал:

— На такого толстого никакие доспехи не налезут.

Друг и не подозревал, что ранил Васю в самое сердце.

В свободное время он бегал в музей. Здесь в просторных залах

висели большие картины в тяжелых золотых рамах, а по углам стояли статуи из пожелтевшего мрамора. Он хладнокровно проходил мимо полотен великих мастеров, словно это были примелькавшиеся плакаты, и направлялся к заветному залу. В этом зале не было никаких картин. Здесь на стенах висели мечи и копья, а на полу стояли рыцари, закованные в латы.

Тайком от дежурной старушки он трогал холодную сталь доспехов и пробовал на палец, хорошо ли заточены мечи. Он медленно переходил от черного рыцаря к золотому, от золотого — к серебряному. К одним рыцарям он относился по-дружески, к другим — со сдержанным холодком. Он кивал им головой и мысленно справлялся, как прошел очередной турнир. Ему казалось, что рыцари следят за ним сквозь смотровые щели опущенных забрал и никто из них не смеется и не называет его тюфяком.

Почему природа перепутала и вложила гордое сердце Дон-Кихота в толстую, неуклюжую оболочку Санчо Пансы?

Он мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно и буднично. Каждое утро он нехотя свешивал ноги с постели и, подгоняемый маминым окриком: «Поторапливайся, а то опоздаешь!» — натягивал на себя штаны и рубаху. Потом он плелся к умывальнику, мочил нос — «И это называется вымылся?!» — и нехотя садился к столу. Поковыряв ложкой кашу — «Не усни над тарелкой!», — он вставал и шел в школу. Он с грохотом скатывался с одной ступеньки на другую, и во всех квартирах знали, кто спускается по лестнице. В классе он появлялся после второго звонка. Бросал тяжелый портфель и протискивался на скамью, сдвигая с места парту.

Все это он проделывал с невозмутимым спокойствием человека, привыкшего к однообразному ходу жизни и не ждущего никаких неожиданностей.

На уроках он не болтал, так как вообще не отличался разговорчивостью, но это не мешало учителям постоянно делать ему замечания:

— Рыбаков, о чем ты мечтаешь?

— Рыбаков, повтори, что я сказала.

— Рыбаков, выйди к доске и объясни решение задачи.

Он плелся к доске, задевая ногой парты, и долго сжимал в пальцах мел, словно хотел из него что-то выжать. Решая задачу, он так сопел, словно в руке у него был не мелок, а тяжелый камень, который он без конца опускал и поднимал. Он думал так медленно и тяжело, что у учительницы лопалось терпение и она отправляла его на место.

Он садился, и парта мгновенно превращалась в боевого коня, а пухлые короткие пальцы сами начинали рисовать мечи и доспехи.

На уроках физкультуры он был предметом общих насмешек.

Когда ему предлагали пройти по буму, ребята уже заранее начинали хихикать. Он делал несколько трудных шагов, потом вдруг терял равновесие, беспомощно хватался руками за воздух и наконец с грохотом спрыгивал на пол. Через «коня» ему тоже не удавалось перепрыгнуть. Он застревал на черной кожаной спине и некоторое время восседал, как всадник в седле. Ребята смеялись, а он неуклюже сползал на животе на пол и шел в строй.

Ему не везло буквально во всем. Даже на школьном утреннике, где он читал стихотворение «Человек сказал Днепру», тоже вышло недоразумение. Он готовился целую неделю. Особенно хорошо у него получались заключительные строки. Он набирал побольше воздуха и с выражением произносил:

Чтоб на улице и дома
Было вечером с в е т л о!

Когда он вышел на сцену, все «выражение» сразу пропало. Он заторопился, чтобы поскорее добраться до конца. Но именно в конце его подстерегала неприятность. Он вдруг заволновался, задержал плечом и прочитал:

Чтоб на улице и дома
Было вечером т е м н о.

Зал засмеялся. Он вздохнул и тяжело спрыгнул со сцены.

Он привык к судьбе неудачника. Обычно неудачники сердятся на других, а он сердился на самого себя. Он давал себе слово измениться и начать новую жизнь. Старался быстрее двигаться, говорить почти криком и ни в чем не отставать от ребят. Но из этого ничего хорошего не выходило. Дома со стола летели чашки, в классе проливались чернила, а от резких движений его куртка лопалась где-нибудь под мышкой.

...Трудно провести границу между осенью и зимой. Бывает так, что еще не опали листья, а на землю ложится первый слабый снег. А иногда ночью подморозит, и река к утру покроется льдом. Этот лед, зеркальный и тонкий, манит к себе, и тогда радио предупреждает ребят, что ходить по льду опасно.

Но не все ребята слушаются радио. И вот на льду появляются первые смельчаки. Лед прогибается и предупреждающе трещит, но они верят, что родились под счастливой звездой. А счастливая звезда иногда подводит.

Внимание тюфяка привлекли крики, которые долетали с реки. Он ускорил шаг и, запыхавшись, вышел на берег.

Там он увидел Димку Ковалева, который размахивал руками и кричал:

— Тонет! Тонет!

— Кто тонет? — не спеша спросил тюфяк.

— Не видишь, что ли? — огрызнулся Димка. — Пацан тонет. Под лед провалился. Что стоишь?!

Другой бы тут же спросил самого Димку Ковалева: «Что же ты не поможешь ему?» Но он был тюфяк и не догадался этого сделать. Он посмотрел на замерзшую реку и заметил маленького первоклашку, который был по пояс в воде и только руками цеплялся за край льда.

Тюфяк был толще и тяжелее Димки, но он шагнул на лед. Лед слегка прогнулся, но не треснул. Вероятно, у берега он был крепче.

Димка Ковалев оживился. Он снова стал махать руками и кричать:

— Заходи справа!.. Осторожно!.. Не топай ножищами, а то сам...

Он кричал для того, чтобы заглушить свой страх.

А тюфяк шагал по льду. Он не слышал криков. Он видел только насмерть перепуганного малыша, который не мог выговорить и слова.

Около полыньи на льду образовалась лужа. Он дошел до края и, не раздумывая, выставил одну ногу вперед. Ботинок сразу зачерпнул воду. Где-то в глубине души он понимал, что сейчас лед может треснуть и он окажется в воде вместе с посиневшим пацаном. Но это не остановило его. Он переставил вторую ногу и очутился по щиколотку в воде.

Теперь Ковалев уже не кричал и не размахивал руками, а напряженно выжидал, что будет дальше. Он видел, как тюфяк схватил малыша за руку, как стал обламываться лед.

Наконец первоклассник очутился на льду. Он шел, вцепившись окоченевшими руками в своего спасителя. Зубы его стучали. А по лицу текли слезы.

Когда они вышли на берег, Ковалев оживился.

— Ты ноги промочил, — сказал он товарищу, — беги домой, а пацана я сам доведу.

Тюфяк посмотрел на спасенного им парня, перевел взгляд на мокрые ботинки и сказал:

— Валяй!

Ковалев схватил за руку мокрого, перепуганного мальчишку и куда-то потащил его.

Тюфяк поплелся домой. Его переживания быстро притупила усталость. И теперь оставались только промокшие ноги и легкий озноб.

Дома он с трудом стянул с себя ботинки. Из них полилась вода.

— Что это? — спросила мама, недовольно глядя на перепачканный паркет.

— Промочил ноги,— растягивая слова, ответил мальчик.

— Где это тебя угораздило? — Мама пожала плечами и пошла за тряпкой.

Он хотел было рассказать маме, как было дело, но его начало клонить ко сну и одолевала зевота, и даже в теплой комнате не проходил озноб. Он не стал ничего объяснять, лег на диван и зажмурил глаза.

Неожиданно он подумал, что если бы на нем были тяжелые рыцарские доспехи, то лед сразу бы проломился и он не сумел бы спасти пацана.

Он быстро уснул.

На другой день, когда после второго звонка он вошел в класс, там никого не было. Оказывается, все ушли наверх, в актовый зал, на общую линейку. Он бросил портфель на парту и поплелся на четвертый этаж.

Когда он вошел в зал, все уже построились большой буквой «П». Он протиснулся между ребятами и стал в заднем ряду.

В это время заговорил директор школы. Он сказал, что вчера на реке ученик Дима Ковалев спас первоклассника, провалившегося под лед, и что он, директор, восторгается смелым поступком ученика.

Потом выступала старшая вожатая. Она говорила о пионерском долге, о чести красного галстука и наконец зачитала письмо матери провалившегося пацана, в котором Димка назывался спасителем ее сына.

Стиснутый со всех сторон ребятами, тюфяк стоял у стенки и слушал, как все хвалят Димку Ковалева. В какую-то минуту ему хотелось сказать, что Димка врет — никого он не спасал, а просто махал руками и кричал. Но от одной мысли привлечь к себе внимание ему стало стыдно, и все три бугорка покраснели.

В конце концов он и сам поверил, что Димка — герой вчерашнего происшествия: ведь он первым заметил тонущего. И когда все захлопали Димке, тюфяк захлопал тоже.

Линейка кончилась. Ребятам велели расходиться по классам. И тюфяк, подталкиваемый товарищами, поплелся обратно на второй этаж.

Он с трудом протиснулся за парту — сдвинул ее с места, — а когда начался урок, взял в короткие пухлые пальцы тоненькую ручку и в тетрадке по арифметике стал рисовать рыцаря. Этот рыцарь был фиолетового цвета, как школьные чернила.

ДЕВОЧКА С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

Умерли все. Осталась одна Таня.

*Из дневника Тани Савичевой,
Ленинград, 1942 год.*

Я Валя Зайцева с Васильевского острова. У меня под кроватью живет хомячок. Набьет полные щеки, про запас, сядет на задние лапы и смотрит черными пуговками... Вчера я отдубасила одного мальчишку. Отвесила ему хорошего леща. Мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо... У нас на Васильевском всегда ветрено. Сечет дождь. Сыплет мокрый снег. Случаются наводнения. И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.

У меня есть подружка — Таня Савичева. Мы с ней соседки. Она со Второй линии, дом 13. Четыре окна на первом этаже. Рядом булочная, в подвале керосиновая лавка... Сейчас лавки нет, но в Танино время, когда меня еще не было на свете, на первом этаже всегда пахло керосином. Мне рассказывали.

Тане Савичевой было столько же лет, сколько мне теперь. Она могла бы давно уже вырасти, стать учительницей, но навсегда осталась девчонкой... Когда бабушка посылала Таню за керосином, меня не было. И в Румянцевский сад она ходила с другой подружкой. Но я все про нее знаю. Мне рассказывали.

Она была певуньей. Всегда пела. Ей хотелось декламировать стихи, но она спотыкалась на словах: споткнется, а все думают, что она забыла нужное слово. Моя подружка пела потому, что, когда поешь, не заикаешься. Ей нельзя было заикаться, она собиралась стать учительницей, как Линда Августовна.

Она всегда играла в учительницу. Наденет на плечи большой бабушкин платок, сложит руки замком и ходит из угла в угол. «Дети, сегодня мы займемся с вами повторением...» И тут споткнется на слове, покраснеет и повернется к стене, хотя в комнате — никого.

Говорят, есть врачи, которые лечат от заикания. Я нашла бы такого. Мы, василеостровские девчонки, кого хочешь найдем! Но теперь врач уже не нужен. Она осталась там... моя подружка Таня Савичева. Ее везли из осажденного Ленинграда на Большую землю, а Дорога жизни не помогла ей. Ее убили фашисты. Не пулей, не снарядом — голодом. Не все ли равно, чем убивают. Может быть, пулей не так больно, как голодом?..

Я решила отыскать Дорогу жизни. Поехала на Ржевку, где начинается эта дорога. Прошла два с половиной километра — там ребята строили памятник детям, погибшим в блокаду. Я тоже захотела строить.

Какие-то взрослые спросили меня:

— Ты кто такая?

— Я Валя Зайцева с Васильевского острова. Я тоже хочу строить.

Мне сказали:

— Нельзя! Приходи со своим районом.

Я не ушла. Осмотрелась и увидела малыша, головастика. Я ухватила за него:

— Он тоже пришел со своим районом?

— Он пришел с братом.

С братом можно. С районом можно. А как же быть одной? Я сказала им:

— Понимаете, я ведь не так просто хочу строить. Я хочу строить своей подруге... Тане Савичевой.

Они выкатили глаза. Не поверили. Переспросили:

— Таня Савичева твоя подруга?

— А чего здесь особенного? Мы одноклассники. Обе с Васильевского острова.

— Но ее же нет...

До чего бестолковые люди, а еще взрослые! Что значит «нет», если мы дружим? Я сказала, чтобы они поняли:

— У нас все общее. И улица, и школа. У нас есть хомячок. Он набьет щеки...

Я заметила, что они не верят мне. И чтобы они поверили, выпалила:

— У нас даже почерк одинаковый!

— Почерк? — Они удивились еще больше.

— А что? Почерк!

Неожиданно они повеселели, от почерка:

— Это очень хорошо! Это прямо находка. Поедем с нами.

— Никуда я не поеду. Я хочу строить...

— Ты будешь строить! Ты будешь для памятника писать Таниным почерком.

— Могу, — согласилась я. — Только у меня нет карандаша. Дадите?

— Ты будешь писать на бетоне. На бетоне не пишут карандашом.

Я никогда не писала на бетоне. Я писала на стенках, на асфальте, но они привезли меня на бетонный завод и дали Танин дневник — записную книжку с алфавитом — а, б, в... У меня есть такая же книжка. За сорок копеек.

Я взяла в руки Танин дневник и открыла страничку. Там было написано:

«Женя умерла 28 дек. 12.30 час. утра 1941 г.».

Мне стало холодно. Я захотела отдать им книжку и уйти.

Но я василеостровская. И если у подружки умерла старшая сестра, я должна остаться с ней, а не удирать.

— Давайте ваш бетон. Буду писать.

Кран опустил к моим ногам огромную раму с густым серым тестом. Я взяла палочку, присела на корточки и стала писать. От бетона веяло холодом. Писать было трудно. И мне говорили:

— Не торопись.

Я делала ошибки, заглаживала бетон ладонью и писала снова. У меня плохо получалось.

— Не торопись. Пиши спокойно.

«Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.».

Пока я писала про Женю, умерла бабушка.

Если просто хочешь есть, это не голод — поешь часом позже. Я пробовала голодать с утра до вечера. Вытерпела. Голод — когда изо дня в день голодает голова, руки, сердце — все, что у тебя есть, голодает. Сперва голодает, потом умирает.

«Лёка умер 17 марта в 5 часов утра 1942 г.».

У Леки был свой угол, отгороженный шкафами, он там чертил. Зарабатывал деньги черчением и учился. Он был тихий и близорукий, в очках, и все скрипел у себя своим рейсфедером. Мне рассказывали. Где он умер? Наверное, на кухне, где маленьким слабым паровозиком дымила «буржуйка», где спали, раз в день ели хлеб. Маленький кусочек, как лекарство от смерти. Леке не хватило лекарства...

— Пиши,— тихо сказали мне.

В новой раме бетон был жидкий, он наползал на буквы. И слово «умер» исчезло. Мне не хотелось писать его снова. Но мне сказали:

— Пиши, Валя Зайцева, пиши.

И я снова написала — «умер».

«Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942 г.».

«Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942 г.».

Я очень устала писать слово «умер». Я знала, что с каждой страничкой дневника Тани Савичевой становилось все хуже. Она давно перестала петь и не замечала, что заикается. Она уже не играла в учительницу. Но не сдавалась — жила. Мне рассказывали... Наступила весна. Зазеленели деревья. У нас на Васильевском много деревьев. Таня высохла, вымерзла, стала тоненькой и легкой. У нее дрожали руки и от солнца болели глаза. Фашисты убили половину Тани Савичевой, а может быть, больше половины. Но с ней была мама, и она держалась.

— Что же ты не пишешь? — тихо сказали мне.— Пиши, Валя Зайцева, а то застынет бетон.

Я долго не решалась открыть страничку на букву «М». На этой страничке Таниной рукой было написано: «Мама 13 мая

в 7.30 час. утра 1942 года». Таня не написала слово «умерла». У нее не хватило сил написать это слово.

Я крепко сжала палочку и коснулась бетона. Не заглядывала в дневник, а писала наизусть. Хорошо, что почерк у нас одинаковый. Я писала изо всех сил. Бетон стал густым, почти застыл. Он уже не наползал на буквы.

— Можешь еще писать?

— Я допишу, — ответила я и отвернулась, чтобы не видели моих глаз. — Ведь Таня Савичева моя... подружка.

Мы с Таней одноклассницы, мы, василеостровские девчонки, умеем постоять за себя, когда надо. Не будь она василеостровской, ленинградкой, не продержалась бы так долго. Но она жила, — значит, не сдавалась!

Открыла страничку «С». Там было два слова: «Савичевы умерли». Открыла страничку «У» — «Умерли все». Последняя страничка дневника Тани Савичевой была на букву «О» — «Осталась одна Таня».

И я представила себе, что это я, Валя Зайцева, осталась одна: без мамы, без папы, без сестренки Люльки. Голодная. Под обстрелом. В пустой квартире на Второй линии. Я захотела зачеркнуть эту последнюю страницу, но бетон затвердел, и палочка сломалась.

И вдруг про себя я спросила Таню Савичеву: «Почему одна? А я? У тебя же есть подруга — Валя Зайцева, твоя соседка с Васильевского острова. Мы пойдем с тобой в Румянцевский сад, побегаем, а когда надоест, я принесу из дома бабушкин платок, и мы сыграем в учительницу Линду Августовну. У меня под кроватью живет хомячок. Я подарю его тебе на день рождения. Слышишь, Таня Савичева?»

Кто-то положил мне руку на плечо и сказал:

— Пойдем, Валя Зайцева. Ты сделала все, что нужно. Спасибо.

Я не поняла, за что мне говорят «спасибо». Я сказала:

— Приду завтра... без своего района. Можно?

— Приходи без района, — сказали мне. — Приходи.

Моя подружка Таня Савичева не стреляла в фашистов и не была разведчиком у партизан. Она просто жила в родном городе в самое трудное время. Но, может быть, фашисты потому и не вошли в Ленинград, что в нем жила Таня Савичева и жило еще много других девчонок и мальчишек, которые так навсегда и остались в своем времени. И с ними дружат сегодняшние ребята, как я дружу с Таней. А дружат ведь только с живыми.

...И плывет наш остров, как корабль: слева — Нева, справа — Невка, впереди — открытое море.

ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ

Лелька сидит на крыльце и штопает чулок. Она поленилась разыскать грибок и штопает прямо на коленке. Осторожно, чтобы не уколоться, она то опускает, то поднимает блестящее острие иглы. Розовая коленка постепенно скрывается под штопкой, похожей на листок тетради в клеточку.

В степи жарко. Ничего не хочется делать. А сидеть совсем без дела — скучно. Вот Лелька и придумала себе занятие.

Когда она наклоняется вперед, одна из косичек соскальзывает с плеча и ложится на ключицу. Лелька недовольно водворяет косичку на место — за спину. Она делает это резко, будто хочет забросить ее подальше, раз и навсегда.

Коленка почти упирается в подбородок. Иголка тянет за собой рыжую нитку. Лелька так увлеклась работой, что не замечает, как отворяется калитка и кто-то входит в палисадник. Когда девочка поднимает глаза, перед ней стоят Федор Федорович, председатель поселкового Совета, и незнакомый военный. Лицо Федора Федоровича коричневое, испеченное на солнце. А военный — бледнолицый. Он еще не загорел на степном солнышке. В одной руке он держит зеленый чемодан, в другой, согнутой в локте, — шинель.

— Здравствуй, хозяйка, — говорит Федор Федорович.

— Здравствуйте, — отзывается Лелька и встает со ступеньки.

Она не выпускает из рук иглу, и короткая нитка не дает ей выпрямиться. Одна нога в чулке, а другая безо всего, голая. Косичка снова соскользнула с плеча. Вид у Лельки, вероятно, смешной, потому что военный отворачивается в сторону, чтобы скрыть улыбку.

— А где мать? — спрашивает Федор Федорович.

Он спрашивает, а военный молчит. Стоит за Федором Федоровичем и из-за плеча смотрит на Лельку. Девочке кажется, что он разглядывает ее заштопанную коленку. Ей хочется прикрыть коленку, но сарафан короткий.

— Мама пошла в сельпо, — отвечает Лелька и краснеет.

Иголка выскальзывает из рук и, поблескивая, раскачивается на нитке.

— Ну, вот что, — говорит Федор Федорович, — ты, конечно, слыхала про снаряды?

Лелька мотнула головой. Она слышала, что в степи, неподалеку от поселка, обнаружили завалившуюся землянку со снарядами — артпогребок. Артпогребок был брошен немцами много лет назад. А теперь нашелся. Говорят, что он заминирован.

— Так вот, — продолжает председатель поселкового Совета, — прибыли саперы обезвреживать. Солдат мы поместили в школе, а командира... — Федор Федорович кивает на военного и

слегка подталкивает его вперед,— а командира мы хотим определить к вам.

Лелька снова кивает.

— Места у вас много. Думаю, мать возражать не будет?

— Ага,— соглашается Лелька, будто она заранее знает, что мама не будет возражать.

— Тогда знакомьтесь. Лейтенант...— Федор Федорович вопросительно смотрит на военного.

— Шура,— подсказывает он.

— Лейтенант Шура... А это Лелька.

— Очень приятно,— говорит лейтенант, а Лелька снова краснеет. Она ничего не может с собой поделать. Краска стыда по малейшему поводу заливает ее лицо, обдает его жаром и отравляет Лельке жизнь.

Девочка покраснела, будущий жилец отвернул лицо, чтобы скрыть улыбку, а Федор Федорович почесал седую щетину, которая проступает, как соль, на его запеченной, коричневой щеке.

— Сейчас мы пойдем в степь,— распоряжается председатель.— Вещи лейтенант оставит здесь. А придет мать, ты предупреди ее.

Лейтенант Шура подходит к крыльцу и вопросительно смотрит на Лельку:

— Можно здесь поставить?

— Ага! — кивает Лелька и закусывает губу, будто губа — виновница ее смутения.

Лейтенант поставил на крыльцо зеленый чемодан, положил на него шинель.

— Пошли! — почти скомандовал Федор Федорович.

И они зашагали к калитке.

Когда неожиданные гости ушли, Лелька облегченно вздохнула и опустилась на ступеньку, согретую солнцем. Первым делом она поджала ноги и прикрыла подолом сарафана заштопанную коленку.

Рядом, на ступеньке, стоял чемодан, а на нем лежала сложенная пополам шинель. Шинель была серой и шершавой. От нее пахло валенками. На погонах весело поблескивали звездочки: по две на каждом.

Лелька покосилась на чужие вещи и быстро стянула с ноги заштопанный чулок. Будто вместе с чемоданом и шинелью в доме остался жилец и его насмешливые глаза продолжали рассматривать Лельку, отыскивая, над чем бы посмеяться.

Лелькин дом маленький, но двухэтажный. Вернее, на чердаке папа при жизни сделал небольшую комнатку «для гостей». Когда приезжал дядя Митя, его помещали на втором этаже. С тех пор гостей не было. Но за комнатой сохранилось название — «для

гостей». Вот туда-то Лелька и решила определить жильца.

По крутой лестнице она полезла наверх с чужими вещами. Зеленый чемодан ударялся о верхние ступеньки, а шинель волочилась по нижним.

В комнате «для гостей» не было почти никакой мебели. Стол, топчан и табуретка составляли все ее убранство. Зато из маленького окошка была видна степь.

Лелька поставила вещи лейтенанта Шуры в угол, чтобы он не подумал, что они кого-нибудь интересуют, и, хлопнув дверью, сбежала вниз.

Лейтенант Шура вернулся домой поздно.

Солнце докатилось до края степи и растеклось по небу вишневым заревом. Откуда-то появился прохладный ветерок, который днем, в присутствии солнца, не разрешал высунуть на улицу нос. Но земля продолжала дышать жаром, как печь, в которой недавно погасли последние угольки.

Лейтенант Шура отворил калитку и нерешительно вошел в палисадник. Он был один, без Федора Федоровича. Лелька увидела его из окна. Она ждала его возвращения и, хотя во дворе стояла жара, надела новое платье с длинными рукавами и целые чулки. Пусть он знает, что у нее есть чулки без заштопанных коленок!

Ольга Ивановна тоже готовилась к приходу жильца. Поначалу, узнав от дочки о неожиданном госте, она вспылила: «Терпеть не могу, когда в доме чужие люди!» Но потом стала сама себя убеждать, что места в доме достаточно, что сама она все равно целыми днями пропадает в своей больнице. И вообще жилец — временный. Ольга Ивановна отошла и весь остаток дня приводила дом в порядок: ей не хотелось ударить лицом в грязь перед незнакомым человеком.

Услышав, что хлопнула калитка, Лелька подбежала к окну. Лейтенант Шура стоял в палисаднике и оглядывался. Лицо его было усталым и серым от земли. И только в том месте, где текли струйки пота, остались светлые бороздки. Гимнастерка тоже была в пыли, и веселые звездочки на погонах погасли. На высоких сапогах налипли комья засохшей глины. Фуражку лейтенант держал в руках.

Усталый, с пересохшими губами, он совсем был не похож на того веселого чистенького лейтенанта, который стоял за спиной Федора Федоровича и отворачивал лицо, чтобы скрыть улыбку. Его глаза перестали быть насмешливыми. Они беспомощно смотрели по сторонам, отыскивая хозяев дома.

Лельке вдруг стало жалко лейтенанта Шуру. Она быстро вышла из комнаты и очутилась на крылечке.

— Здравствуйте, — сказала Лелька.

Лейтенант улыбается и почему-то надевает фуражку. Он говорит:

— Вот я пришел.

— Заходите,— приглашает Лелька.— Мама дома.

Лельке очень хочется, чтобы лейтенант обратил внимание на ее новое платье, а главное — на целые чулки. Но лейтенант рассматривает не Лельку, а самого себя. Он смотрит на грязные сапоги, на пропыленную гимнастерку и говорит:

— В таком виде и в дом входить страшно. Мне бы почиститься. А то весь день в земле копались.

— Сейчас,— говорит Лелька и скрывается в дверях.

Лейтенант Шура не торопясь доходит до крыльца и опускается на ступеньку. Он еле стоит на ногах.

На другой день Лелька проснулась рано. Она приподнялась на локте и выглянула в окно. Из палисадника на нее смотрели сиреневые цветы мальвы. Они были круглыми, как блюдечки. По одному блюдечку ползала оса.

Лелька услышала над головой шаги. Шаги были тихие, босые. Потом один за другим раздались два притопа — кто-то надевал сапоги.

Лелька вспомнила о временном жилье. Это он пробудился в комнате «для гостей» и встал, чтобы отправиться к заминированному артпогребку.

Лелька крепко зажмурила глаза. Пусть мама думает, что она спит. Звуки рассказывали ей обо всем, что происходит в доме. Тук-тук-тук!.. Жилец спускается по лестнице. Тук-тук!.. Идет по сеним. Потом хлопнула дверь, и шаги замерли. Лелька уже подумала, что жилец ушел, но шаги зазвучали в соседней комнате.

— Зарядку делаете? — тихо спросила мама.

— Привычка,— шепотом отвечает жилец.

Он говорил шепотом, чтобы не разбудить Лельку. А его сапоги так гремели, что могли разбудить кого угодно.

Лелька слышала, как урчала, наливаясь в стакан, крученая струйка кипятка, как, помешивая сахар, звенела ложечка.

Мамин голос говорил:

— Ешьте, не стесняйтесь.

А голос жильца отвечал:

— Спасибо... Спасибо...

Потом жилец в последний раз сказал: «Спасибо. Мне пора» — и сапоги рассказали, что он уходит из дома.

Лелька тихо сползла с постели и, ступая босыми ногами по чистым половицам, подошла к окну. Она спряталась за тюлевую занавеску и стала смотреть.

Лейтенант Шура бодрыми шагами шел по палисаднику. Вчера вечером, грязный и усталый, он еле держался на ногах. А сегодня жильца словно подменили. Будто ночью он искупался в «мертвой» и «живой» воде и снова превратился в доброго молодца.

Сапоги блестели, как новые. Звездочки на погонах зажглись. Лейтенант шел мимо куста шиповника, и ему было невдомек, что с невидимого наблюдательного пункта за ним следят два больших внимательных глаза.

Когда временный жилец скрылся из виду, Лелька села на постель и впервые за много дней занялась своими косичками.

Лелька относилась к своим косичкам с черствостью мачехи. По утрам она заплетала их небрежно, и со стороны казалось, что в косы вплетены клочки сена. Она не украшала косы шелковыми лентами, как это делали ее подруги, а самые кончики крепко перетягивала тряпочками, скрученными в жгут.

Этим утром, сидя на постели, Лелька долго и неторопливо расчесывала волосы. Волосы были шелковистые и очень светлые. Они слегка вились у висков. Солнечные блики играли и переливались в тонких ласковых прядях.

Неожиданно Лелька подошла к комоду и с трудом выдвинула огромный тяжелый ящик. Она долго рылась, пока не извлекла из его недр две гладкие голубые ленточки. Их Лелька вплела в косички и завязала бантами.

Когда в доме живет чужой человек, чувствуешь неловкость, даже если его целыми днями нет дома. И Лелька не скачет через две ступеньки, а ходит плавно и, когда садится, поправляет платье. Ей кажется, что лейтенант Шура не спускает с нее глаз, хотя на самом деле он далеко в степи.

Лелька на цыпочках подходит к зеркалу и рассматривает себя. Ей хочется быть высокой и черноволосой, как библиотекарьша Клавдия. А она маленькая и белесая. И кончики ушей у нее малиновые, а это, должно быть, некрасиво. Лелька смотрит на себя и сердится, будто она сама виновата, что не похожа на Клавдию.

Лелька долго стоит перед зеркалом. И вдруг, спохватившись, торопливо отходит. Она опускает глаза, словно боится встретиться взглядом с насмешливыми глазами лейтенанта Шуры.

Вечером временный жилец возвращается со своей военной работы. Он проходит через палисадник и садится на ступеньку крыльца. Солнце и сухой степной ветер запекли его белое лицо, и оно стало коричневым, почти таким же, как у Федора Федоровича.

Несколько минут лейтенант Шура сидит неподвижно. Потом упирается носком одного сапога в задник другого и, помогая рукой, медленно стаскивает его с ноги. Сапог упирается, не хочет разлучаться со своим хозяином.

Потом он снимает гимнастерку, майку и, подхватив за дужку пустое ведро, идет к колодцу. Лейтенант Шура не любит мыться под умывальником. И, вернувшись с полным ведром, он зовет Лельку:

— Леля, а Леля! Полей, пожалуйста!

Лелька тут же оказывается рядом с Шурой. Она берет в руки эмалированную кружку и начинает лить: сначала в ладони, сложенные «тарелочкой», а потом прямо на шею, на плечи, на лопатки. От жаркого тела идет пар.

— Побольше лей! Не жалей воды! — командует лейтенант.

Временный жилец моется, как папа. А Лелька поливает ему, как это делала мама. И, как мама, она подает ему свежее полотенце.

Смыв с себя пыль и глину, лейтенант Шура надевает чистую невоенную рубашку и отправляется ужинать.

А потом садится на скамейку перед палисадником. Он отдыхает.

Лелька не решается сесть рядом с ним. Тогда он сам подзывает ее и начинает рассказывать о своей жизни и о своей службе.

— Вот послужу еще годок-другой, — задумчиво говорит Шура, — и женюсь. Пора. Правда? — спрашивает он серьезно Лельку.

Лелька заливается краской и молчит. Откуда она знает, пора ему жениться или нет? И почему лейтенант Шура советуется с ней о своей женитьбе?

— А впрочем, что загадывать? — продолжает он. — Еще дожить надо. В нашем деле всякое бывает...

Лелька вопросительно смотрит на собеседника. И он говорит:

— Сапер ошибается только раз в жизни. Какой-нибудь крохотный проводок задел — и в небо! Что ты думаешь! Вот ваш артпогребок такая штука, что, того и гляди, ошибешься... Когда мы разминировали Брянские леса, легче было. А здесь — гололомок.

Лельке вдруг становится страшно за лейтенанта Шуру. Он все время шутит, а такие люди чаще всего совершают ошибки. Девочка с беспокойством смотрит на него. А он перехватывает ее взгляд и улыбается. Ему приятно, что Лелька переживает. И еще ему приятно делать вид, что для него опасность — ничто, сущий пустяк.

Иногда лейтенант обнимал Лельку и трепал ее по плечу. Лелька краснела и боялась шелохнуться. А лейтенант Шура говорил:

— Пора, брат, спать! А то завтра рано подъем.

И он отправлялся к себе на второй этаж, в комнату «для гостей». А Лелька еще долго сидела на скамейке.

Каждое утро лейтенант Шура уходил со своим войском в степь. Войско было небольшое — десять солдат. Солдаты шли цепочкой по обочине, чтобы не поднимать пыли. Они несли на плечах лопаты и еще какие-то непонятные военные инструменты. А командир шел по дороге.

Временный жилец не знал, что Лелька крадучись выскаль-

зывала из калитки и долго смотрела ему и его войску вслед. Он был уверен, что Лелька в это время крепко спит.

Она никогда не просыпала. Ее глаза провожали саперов. Солдаты шли, чуть покачиваясь из стороны в сторону. Потом они спускались в балку и пропадали из виду, но вскоре появлялись вновь на другой стороне. Их фигурки становились все меньше и меньше и наконец терялись в голубой дымке степного марева, оставив после себя чуть заметное облачко пыли.

Лелька знала, что лейтенант Шура и его товарищи шли не просто работать, хотя на плечах они несли лопаты. Они шли туда, откуда можно было уже никогда не вернуться. Война давным-давно кончилась, но в старом артогребке, куда каждое утро направлялись саперы, был уцелевший островок войны с опасностью, со смертью, которая притаилась в ржавых немецких снарядах и только ждала удобного случая, чтобы нанести людям запоздалый удар.

Каждый раз, тайком провожая лейтенанта Шуру в степь, Лелька испытывала такое чувство, будто провожает его в бой. Ей казалось, что происходит величайшая несправедливость: тысячи людей вокруг живут спокойной, мирной жизнью и только одиннадцать каждый день ходят на войну.

Лелька стоит у калитки и смотрит в степь до тех пор, пока из окошка не выглядывает мама.

— Ольга, завтракать, — зовет она.

Мама называла Лельку Ольгой.

В этот день лейтенант Шура, как обычно, сбежав со ступенек и хлопнув калиткой, пошел в школу за своим войском. И потом они шли степной дорогой: солдаты по обочине, командир посередине дороги. Обычно солдаты шли молча, а на этот раз они запели. Может быть, им командир приказал петь?

Лелька глядит им вслед и старается различить слова незнакомой солдатской песни. Но слова остаются в степи, а до Лельки долетает только мелодия. Так Лельке и не удастся узнать, о чем поют солдаты. Но ей становится грустно. Ей кажется, что маленькое войско лейтенанта Шуры пересечет степь, перевалит через горы и выйдет к морю. И больше никогда не вернется в поселок. И Лельке хочется кинуться им вслед. Догнать, пока не поздно, и тоже идти к морю по обочине с солдатами. Или лучше по дороге — рядом с Шурой.

Но Лелька продолжает стоять на месте, а потом опускается на скамейку.

В степи цветет лаванда. Ее бархатные лиловые цветы залили степь широким разливом. Она издает тонкий аромат. И утренний свежий ветер пахнет лавандой.

Лелька закрывает глаза. Она слышит, как рядом на своей зеленой машинке заработал кузнечик... Скрипнула дверь... Кури-

ца заговорила скороговоркой на курином языке... Потом пробудился репродуктор, и совсем близко зазвучали позывные Москвы. Казалось, их принесли сюда не провода, а донес из степи ветер, пахнувший лавандой.

Постепенно к Лельке возвращается покой. Солнце касается ее лица. Оно пригревает чуть припухшую нижнюю губу, и коленки, и цветы на сарафане, которые не вянут, будто их стебельки опущены в воду. Никто не зовет Лельку. Никто не тревожит ее.

И она засыпает.

И вдруг раздается взрыв. Он ударил, как гром среди ясного неба. И сразу все звуки исчезли, будто грохот взрыва подмял их под себя, перечеркнул крест-накрест.

Лелька открыла глаза.

Чугунное эхо тяжело катилось по степи. А за пригорком выросло большое черное дерево. Оно шевелило своими косматыми ветвями. Потом дерево стало оседать, будто кто-то подпилит его. И тут Лелька проснулась окончательно. Она поняла все: лейтенант Шура ошибся в первый и последний раз... Это артвогребок взлетел на воздух.

У Лельки заколотилось сердце. Она вскочила с места и бросилась бежать. Она бежала в степь, туда, где оседало и разваливалось дерево смерти — земля, поднятая взрывом.

Лелька бежала до тех пор, пока не наступила на что-то острое. Она остановилась от боли. Подняла ногу. На дорожной пыли алело пятнышко крови. Пятка горела. Лелька сорвала подорожник и приложила его к пятке. Сердце колотилось. Оно ударяло то в грудь, то в спину, будто искало выхода, чтобы вырваться наружу.

Лелька вдруг представила себе лейтенанта Шуру, лежащего на спине с раскинутыми руками, с усталым лицом, в пропыленной гимнастерке, с комьями глины на сапогах. Таким он возвращался из степи вечером. А ведь сейчас было еще утро. Лелька сделала несколько осторожных шагов и побежала. Подорожник отстал от ранки. Он так и остался лежать в теплой мягкой пыли.

До места взрыва было уже недалеко.

Лелька стоит на краю балки и никак не может отдышаться. В нескольких шагах от нее сидит лейтенант Шура и курит. Он без фуражки, ворот гимнастерки расстегнут. Вокруг валяются свежие комья земли, выброшенные взрывом. Рядом с лейтенантом на тонкой шершавой ножке растет алый мак. Как это он уцелел от взрыва?

Шура берет котелок и, запрокинув голову, пьет. Вода течет по подбородку. Остаток воды он выливает на мак. Потом он ставит котелок на землю, оглядывается и видит Лельку.

— Ты что здесь? — удивленно спрашивает он.

— Я... я... ничего, — отвечает Лелька.

Она недоверчиво смотрит на живого лейтенанта Шуру. Правда ли это? Значит, он не ошибся? Почему же тогда был взрыв? А может быть, взрыв приснился Лельке? Ее большие серые глаза еще лихорадочно горят: еще не прошла тревога за человека, который сидит перед ней цел и невредим.

— Ты что, испугалась? — спрашивает лейтенант Шура. — Взрыва испугалась?

Глаза его смеются. Они замечают в Лелькиных глазах испуг, который не сразу проходит.

— Я думала, вы ошиблись, — признается Лелька, не сводя глаз с Шуры.

Теперь лейтенант Шура уже смеется вслух:

— Ошибся? Если бы ошибся, мы бы уже с тобой не разговаривали...

Шура никогда не обращает на Лельку особого внимания, а тут он пристально смотрит на нее. Смотрит и замечает на ее ноге кровь.

— Что это у тебя с ногой? — спрашивает он.

— На стекло наступила, — отвечает Лелька и прячет раненую ногу за здоровую.

— Ну-ка, покажи! — почти командует Шура.

Он усаживает девочку рядом с собой и разглядывает раненую пятку. Ранка кровоточит. Шура кричит через плечо:

— Кузьмин, принеси-ка мне котелок воды и индивидуальный пакет!

Он берет Лельку за руку и заглядывает ей в глаза.

— Что же ты босиком по степи бегаешь? — спрашивает он.

Лелька молчит. Разве может она рассказать, как, забыв обо всем на свете, бежала туда, где грянул взрыв?

Кузьмин молча принес воду и бинт. Лейтенант Шура прямо из котелка льет воду на ранку. Он держит Лелькину ногу за лодыжку. Лельке неловко.

— Сама! — говорит она.

— Сиди! — командует Шура.

И Лелька сидит неподвижно. Она подчиняется приказу, но чувствует, что вот-вот покраснеет.

Потом лейтенант Шура с треском разрывает бумажный пакет и достает оттуда прохладный бинт. Белые плотные нитки пеленают ногу. Лелька не чувствует боли. Она смотрит в сторону и тербит травинку. С каждым витком бинта ее глаза становятся все теплее и теплее.

— Кузьмин! — зовет лейтенант, закончив перевязку. — Строй людей. Пойдем домой. Сегодня можно и отдохнуть.

— Слушаюсь, — сдержанно отвечает Кузьмин.

Кузьмин большой и молчаливый. Кажется, будто ему знакомо только слово «слушаюсь». Лицо у Кузьмина все в рыжих веснушках. Но Кузьмина веснушки не расстраивают. Так, по крайней мере, кажется Лельке.

И вот они идут через степь. Солдаты — по обочине, а Лелька с лейтенантом Шурой — по дороге.

Может быть, они идут не домой, а к морю, как мечтала Лелька?

Лельке трудно идти. На пятку наступать больно, а на носке далеко не уйдешь. Она ступает медленно, припадая на забинтованную ногу, и лейтенант со своим войском тоже идут не торопясь. Как Лелька.

Лейтенант Шура сегодня разговорчив.

— Ты знаешь, что наш погребок шарахнуло? — спрашивает он и громко смеется. — Слышишь, Кузьмин? — обращается он к своему помощнику. — Она думала, что это мы в небо взлетели.

Кузьмин улыбается вежливо, но, верный себе, не произносит ни слова.

— Нет, Лелька, — говорит лейтенант Шура, — это мы половину богатства погреба оттащили в сторону и взорвали. А ты испугалась.

Лейтенант Шура все говорит, говорит... А Лелька идет молча и лишь изредка посматривает на своего временного жильца. Она думает о том, что все настоящие мужчины должны делать что-то трудное и опасное. Папа воевал, и Федор Федорович был на войне. Вот и Шура тоже... Ей вдруг хочется взять его под руку. Но от этой одной мысли лицо заливают краской стыда.

А солдаты вдруг запели. Они запели сами, без приказа командира. Они поют рядом, и теперь Лелька может расслышать слова их песни:

Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты.
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты.

И Лельке кажется, что солдаты идут с войны и она с ними тоже идет с войны. И лейтенант Шура возвращается домой героем.

Как это случилось, что после взрыва в степи временный жилец окончательно завладел Лелькиными мыслями? Она забыла обо всех своих подружках и целые дни проводила дома. Напрасно, проходя мимо Лелькиного дома, ее одноклассницы кричали:

— Лель, а Лель, пошли в степь маки собирать!

— Лель, пошли купаться в Сырую балку!

Лелька качала головой:

— Мне некогда!

А какие у нее дела, если вторую неделю идут каникулы?

Сидя на ступеньке крыльца, Лелька тревожно прислушивалась к каждому звуку, который доносился из степи. «Вдруг он оступится, вдруг заденет проводок...» — так думала Лелька, и сердце ее холодело. Ей на память приходила картинка к стихотворению Пушкина «Песнь о вещем Олеге». Там был изображен Олег у праха своего верного коня. Вот-вот подползет змея и ужалит князя... Вот-вот невидимый проводок хрустнет под ногой Шуры...

А в это время лейтенант лежал на земле и, задержав дыхание, колонковой кисточкой очищал тонкий, как волосок, проводок, от которого зависела его жизнь и жизнь десяти солдат. Взгляд его был сосредоточен, а по скуле ползла тяжелая капелька пота.

Временами он останавливался, переводил дыхание, закрывал глаза. И снова начинал свой рискованный солдатский труд. На то он и был военным.

А Лелька ждала временного жильца. Ей нужно было, чтобы он не ошибся и, если можно, пораньше вернулся домой. Вот и все.

Лейтенант Шура все реже и реже бывал дома. Утром Лелька видела его в окно. А вечером помогала ему умываться. Потом он наспех ужинал и тут же уходил. Усталость уже не валила его с ног.

Куда он спешил? К своим солдатам, в школу?

У лейтенанта Шуры были две пары сапог. Одни тяжелые, кожаные, боевые сапоги. В них он уходил в степь раскапывать немецкий артпогребок. Другие сапоги — защитного цвета, легкие, сшитые из старой брезентовой плащ-палатки. Вечером, по возвращении домой, временный жилец сбрасывал боевые сапоги и надевал брезентовые. После тяжелых кожаных брезентовые сапоги вообще не чувствовались на ноге.

Однажды вечером, вернувшись из степи, лейтенант Шура торопился больше обычного. Он умчался, даже не почистив свои боевые сапоги. Они так и остались стоять у крыльца — пыльные, тупоносые, с комьями засохшей глины. Вид у них был усталый и обиженный. Сапоги ни разу не подвели своего хозяина: не оступились, не задели невидимых смертоносных проводков. Они преданно служили ему, а он бросил их на произвол судьбы.

Лелька подошла к сиротливым сапогам и остановилась перед ними. Она взяла один из них за ушко, торчавшее из голенища, и подняла над землей. Сапог был тяжелый. От него шел жар. Лелька опустила ушко, сапог грузно плюхнулся на землю.казалось, он сердито притопнул.

И тогда Лелька решила привести сапоги в порядок. Она принесла ведро воды, тряпку и стала их мыть. Она поливала сапоги

водой и терла их тряпкой. Глина отваливалась. Мутные ручейки стекали с голенищ. Сапоги остыли, кожа стала прохладной.

Лелька поставила их в траву и пошла за щеткой. Она намазала их черным жирным гуталином, а потом терла щеткой. Она терла их так долго, что сапоги не выдержали: перестали дуться и наконец улыбнулись Лельке.

Боевые сапоги были довольны, они сияли. А Лельке почему-то стало грустно. Она поставила сапоги на крылечке и села рядом с ними. Она поджала коленки и закрыла их подолом сарафана. И так они долго сидели втроем: два сапога и Лелька.

В летние вечера поселок засыпал поздно. За день навоевавшись с жарой, люди подставляют лицо прохладному дыханию степи. Они сидят на лавочках и не торопятся уйти домой.

Фосфорятся белые цветы табака. Верещат невидимые цикады. Где-то навзрыд кричит ослик: жалуется на свою судьбу.

Но вот уже последняя гармонь отправилась на покой. Зажмурились лампочки в окнах клуба: им тоже настала пора отдохнуть. А лейтенант Шура все не возвращается домой.

Лелька не может уснуть. Она ворочается с боку на бок. Закрывает глаза. Сон не приходит.

«Спи!» — приказывает себе Лелька.

Но как выполнишь приказ, если тревожные мысли не покидают тебя ни на минуту.

— Идет один верблюд... Идет второй верблюд... Идет третий верблюд...

«Спи!»

Не помогают верблюды. Даже самый большой караван не может усыпить Лельку.

Где он? У своих солдат? Но солдаты давно спят: им вставать ни свет ни заря.

Лелька лежит с открытыми глазами. Она уже не старается заснуть.

И вдруг в тишине Лелька слышит шаги. Дорожки в поселке посыпаны галькой. Ее привезли с моря. На гальке шаги звучат отчетливо и ясно.

«Он!»

Лелька вздрагивает и прислушивается.

«Конечно, он!»

Она соскальзывает с постели и на цыпочках идет к окну.

Было темно.

Луна еще не взошла, а у дальних звезд не хватало сил осветить узенькие улочки степного поселка.

Лелька затаила дыхание и прислушалась. Морская галька рассказала ей, что по дорожке шагал не один человек, а двое. Рядом со спокойными мужскими шагами звучали другие — плавные женские шаги. Лелька болезненно поморщилась.

У палисадника шаги затихли. И тут Лелька услышала голоса.
— Давай посидим на скамеечке,— говорил Шури́н голос.
Лелька сразу узнала его.

— Уже поздно,— отвечал женский голос.

— Ну, прошу тебя.

— Неловко.

— Ничего. Все спят.

Лелька вслушивалась. Она хотела узнать, кому принадлежит женский голос. И она узнала. Это была Клавдия — клубная библиотекаря. Лелька увидела ее — высокую, черноволосую, с ровными, будто нарисованными угольком бровями. Лелька увидела ее не глазами, а памятью.

За окном так тихо, что можно было различить шорох каждой травинки. Лелька слышала, как зашуршало платье. Тонко скрипнула доска. Это лейтенант Шура и Клавдия сели рядом на скамейку.

Лельку от них отделяли невысокая глиняная ограда и тонкие стебли мальвы. Но ей казалось, что, если протянуть руку, можно коснуться Шурино́го плеча. Лелька спрятала руки за спину и попятилась.

Лелька слышала, как, болтая ногой, Шура задевал камушки гальки.

Потом она услышала их дыхание. И Клавдин шепот:

— Шура, ведь ты меня не любишь.

Лелька закусилa губу. Она понимала, что подслушивать гадко и даже подло. Но сейчас она не могла отойти от окна. Маленькая надежда удерживала ее. «Шура, ведь ты меня не любишь». Что ответит Шура?.. Может быть, он скажет Клавдии: «Нет»? Ладно, пусть он ничего не ответит. Пусть он только молчит.

Но Шура ответил:

— Люблю.

Лелька стояла у открытого окна в одной рубашке. И сердце ее стучало так громко, как тогда в степи, во время взрыва. Но ни Шура, ни Клавдия не слышали ударов Лелькиного сердца.

И вдруг Лельке стало очень холодно. Холодно рукам, плечам, коленкам. И Лелька поняла, что никакие, даже самые теплые, одеяла не согреют ее. Этот холод веял не из степи, а шел откуда-то изнутри, от сердца.

Лелька бросилась в постель. Она натянула одеяло на голову. Она закрыла уши, чтобы не слышать ни одного слова. Она почему-то вспомнила, как неделю назад на этой же скамейке временный жилец говорил ей: «Вот послужу еще годок-другой и женюсь».

«Так ведь не прошел еще годок! Что же это он!..»

Слезы текли по Лелькиным щекам. Лелька плакала молча. Про себя. Сейчас она навсегда прощалась с лейтенантом Шурой,

хотя он еще никуда не уезжал. Она прощалась с его маленьким войском, и с молчаливым Кузьминым, и с алым маком, который устоял во время взрыва... Лельке было жалко себя и всего, что уже никогда не вернется. И слезы становились все горше.

В какое-то мгновение девочке захотелось вскочить с постели и прогнать со своей, Лелькиной, скамейки временного жильца и черноволосую библиотекаршу. Но она не пошевелилась.

Утром Лелька поднялась поздно. Лейтенант Шура давно уже ушел в степь со своим маленьким бесстрашным войском. Мама не вернулась с ночного дежурства. Солнце заполнило комнату. От его желтых лучей пахло лавандой. По сиреневым блюдечкам мальвы ползали тощие осы.

Лелька села на постель. Косичка соскользнула с голого плеча. Лелька взяла ее в руку, враждебно посмотрела на нее, но не отбросила. Не выпуская из руки, она подошла к комоду и взяла большие темные ножницы. Она широко раскрыла их и начала резать косичку.

Ножницы были не очень острыми, а Лелька торопилась, словно боялась, что изменит свое намерение. И резать было трудно. Когда одна отрезанная косичка упала на пол к босым ногам, Лелька принялась за другую и вторую косичку тоже отрезала. Потом она отложила ножницы и подняла с пола две отрезанные косички. Она посмотрела на них равнодушно, как на чужие, и без сожаления отложила в сторону. Они были уже не нужны.

Несколько дней Лелька не виделась с временным жильцом. Утром она вставала уже после его ухода, а вечером, чтобы не попадаться ему на глаза, уходила к подругам. И лейтенанту Шуре приходилось умываться под бренчащим умывальником. И если он не успевал почистить сапоги, то они так и оставались пыльными, с присохшими комьями глины.

В субботний вечер Лелька и временный жилец случайно встретились в клубе. Лейтенант Шура как ни в чем не бывало улыбнулся своей маленькой хозяйке. Лелька опустила глаза и залилась краской. Но, совладав с собой, посмотрела на лейтенанта и сказала:

— Здравствуйте!

Она произнесла приветствие сухо и даже немного насмешливо. Лейтенант Шура пожал плечами, помахал ей рукой и пошел дальше. Наверно, он спешил к своей библиотекарше Клавдии.

Он даже не заметил, что Лелька отрезала косички...

ВСАДНИК, СКАЧУЩИЙ НАД ГОРОДОМ

Завтра об этом случае заговорит весь город, а сегодня о нем знают лишь несколько любопытных прохожих, пожарные добровольные дружины и четвертое отделение милиции. Но даже им неизвестно, ради чего Киру решился на такой отчаянный поступок.

Поздней осенью город похож на корабль, выходящий в открытое море. Сырой туман обволакивает дома. Мостовая мокрая, как палуба, по которой только что прокатился соленый морской вал. Провода поют, как снасти. И Киру кажется, что город даже слегка покачивается.

Киру поднимает голову. Он видит, как обрывки серых облаков быстро проносятся над самыми крышами. А может быть, они как раз и неподвижны, а это город торопливо плывет в открытое море.

Киру смотрит на шпили — чем не мачты! — на антенны, на трубы и на флюгера.

В городе много флюгеров. В былые времена город моряков часто обращал взор к железным помощникам — флюгерам: они первыми приносили весть о попутном ветре. Теперь на флюгера никто не обращает внимания. Но их не предупредили, что они больше не нужны людям, и флюгера продолжают нести свою трудную службу. Там, высоко над городом, между небом и землей, скрипя ржавыми петлями, они тяжело поворачиваются на своих штырях. Как живые существа, они разговаривают с ветром и дождем, а первые снежинки, прежде чем опуститься на землю, тихо шуршат рядом с ними.

Случается, что у одного из городских флюгеров так крепко заклинит ржавые петли, что он уже не может пошевелиться. Флюгер погибает, как боец на посту. Люди же не замечают смерти старого флюгера. Стоит на крыше — и ладно.

Киру и его друзья идут по городу и рассматривают флюгера. И кто-то кричит:

— Смотрите, рыба из моря на крышу прыгнула!

Все задирают головы. Все смотрят на рыбу.

— Подумаешь, рыба! А ты видел флюгер-русалку?

— А я знаю трех петухов!

— Петухи — ерунда!

— Петухи приносят счастье!

— Ничего подобного! Они берегут дом от пожара!

— Бабушкины сказки!

Киру идет молча. Он не принимает участия в этом беспорядочном споре. С некоторых пор он стал молчаливым. Особенно если рядом Айна.

Ему кажется, что Айна появилась совсем недавно. Приехала

издалека и пришла в класс, как новенькая. На самом деле Айна ниоткуда не приезжала, а учится с Киру в одном классе уже пять лет. С третьего класса. Может быть, «старую» Айну подменили?

В «новой» Айне его интересует все. Он знает, что Айна худенькая, стройная, как тростинка. И что волосы у нее не золотые и не желтые — соломенные. И хотя глаза у девочки так глубоко посажены, что сразу не определишь их цвет, Киру знает: они зеленые. Осенью Айна носит серое пальто с черными черточками. А шапка на ней красная.

Сейчас Айна идет со всеми неподалеку от Киру и внимательно следит за спором о флюгерах. И ее вздернутый носик сам, как флюгер, поворачивается от одного спорщика к другому. Она ждет, когда ребята все выговорят, и только тогда вступает в разговор.

— А я знаю дом, на котором флюгер не петух, не рыба, не стрела, — говорит Айна, посматривая, какое впечатление производит ее рассказ на ребят. — Это какое-то странное существо. Он очень высоко, поэтому не разберешь.

— Где этот дом?

— Показать?

— Покажи.

И вся компания сворачивает за Айной в переулок.

Киру тоже сворачивает в переулок. Он вообще ходит за Айной как тень. А она, как на тень, не обращает на него внимания. Потому что Киру никто не подменил и он для Айны все тот же, что был пять лет назад.

Обычно, когда Айна возвращается домой, Киру идет за ней. Его от Айны отделяют каких-нибудь десять шагов. Но эти десять шагов стоят десяти километров. Десять километров Киру прошел бы запросто, а этот десяток шагов никак не может преодолеть. Он идет по улице, никого не замечая. Он видит только серое пальто с черными черточками и красную шапочку.

Айна знает, что Киру идет за ней. Ее это злит. Что за глупый парень! Если бы он шел рядом, можно было бы с ним поболтать. А так получается, что он выслеживает ее. Айна неожиданно останавливается и резко поворачивается. Тогда Киру, застигнутый врасплох, тоже останавливается и опускает глаза. Он смотрит себе под ноги. А когда снова поднимает глаза, Айна уже далеко. Иногда она совсем убегает. И Киру остается один.

Сейчас кругом ребята, и Киру чувствует себя уверенней. Его робость перед Айной не так заметна. Правда, ему все время кажется, что Айна относится ко всем лучше, чем к нему, хотя только он один готов сделать для Айны что угодно.

— Далеко еще? — спрашивает кто-то из ребят Айну.

— А ты уже устал? — откликается девочка. — Свернем за угол, а там рядом.

Киру никогда бы не спросил Айну: «Далеко или нет?» Он может идти за ней хоть на край света. И он немножко завидует друзьям, которые могут тянуть Айну за руку, спорить с ней и задавать ей вопросы.

Когда ребята подошли к дому с загадочным флюгером, повалил снег. Не белый морозный снег, а серый, вперемешку с дождем. Ребята подняли воротники. Айна поглубже натянула красную шапочку: только нос выглядывает. Киру поежился, но воротник поднимать не стал. Он решил, что с опущенным воротником у него более мужественный вид. Но о каком мужественном виде могла идти речь, если Киру худой и узкоплечий. Подбородок у него заострен, а нос маленький и ровный. Брови и ресницы такие белесые, будто их подпалили и мальчик остался совсем безбровым. Руки у Киру белые, без мозолей. А на носу у него очки.

— Вот таинственный флюгер, — сказала Айна, — смотрите. Вся компания задрала головы.

Ребята увидели высокую черепичную крышу. Черепица похожа на красные перышки, а вся крыша на большое алое крыло. На самом краю конька возвышался штырь. На нем был флюгер. Даже с земли видно, что этот флюгер не чета своим собратьям. В его формах было что-то стремительное и непонятное. Что хотел изобразить древний флюгерных дел мастер?

— Да это петух! — воскликнул кто-то из друзей Киру.

Одного слова было достаточно, чтобы вспыхнул спор.

— Петух? Ты, наверно, никогда петухов не видел? Хорош петух без хвоста!

— Откуда ты взял, что без хвоста! Надо быть слепым, чтобы не видеть хвоста!

— Киру, ты в очках, ты должен видеть лучше всех. Скажи, есть хвост или нету?

Краска ударила в лицо Киру. Ему показалось, что, напоминая об очках, товарищ хотел уронить его в глазах Айны. Он покосился на Айну, ожидая прочесть в ее глазах насмешку. Но Айна даже не повернулась в его сторону. Она рассматривала флюгер.

Тогда Киру успокоился и стал тоже рассматривать железное существо, которое взмыло над городом и завело дружбу с ветром. Киру прищурил глаза. Он напрягал их. Есть у флюгера хвост или нет? Ребята ждали ответа. Но что мог им сказать Киру? Мокрые снежинки падали на очки, и стекла становились мутными. Сквозь них ничего невозможно было разглядеть на земле, не то что в небе.

— Ничего не вижу, — признался Киру.

— Эх ты, «не вижу»! — передразнила его Айна и уничтожающим взглядом смерила мальчика.

Киру стало стыдно, что он не видит хвоста. В эту минуту он ненавидел самого себя. Ни на что он не годен. И правильно делает Айна, что презирает его. Он был жесток к себе.

Не говоря ни слова, Киру повернулся и побрел куда глаза глядят.

Долго ходил он по городу, одинокий, потерянный. Холодный влажный ветер пронизывал его, а снежинки норовили непременно попасть за шиворот. Киру поднял воротник. Теперь ему уже было все равно.

Наконец он снова попал на улицу, по которой шел за Айной. Он остановился перед домом с таинственным флюгером. Ребят уже не было. Неизвестно, чем кончился их спор. Так или иначе, они давно разошлись по домам. Киру потоптался на месте. Он задрал голову и мучительно стал вглядываться в мутную высь. Он протирает стекла очков, закрывал глаза и снова открывал их. Вот если бы завтра, придя в школу, он смог бы рассказать Айне о странном флюгере! Какой-то горячий огонек вспыхнул в мальчике. Он разгорался все сильнее, наполняя сердце решимостью. Невозможное стало казаться вполне осуществимым. Еще полностью не отдавая себе отчета, что он собирается делать, Киру медленно направился к подъезду дома с таинственным флюгером.

На лестнице стоял полумрак: лампочки еще не зажгли, а хмурый день давал мало света. Киру стал подниматься. Он шел мимо квартир с кнопками звонков, с ящиками для писем и газет, с почти невидимыми номерками. Он спешил, словно боялся, что огонек,двигающий сейчас его поступками, может погаснуть.

Дверь на чердак оказалась открытой. Киру подошел к слуховому окну и выглянул наружу. Ветер дохнул ему в лицо холодной сыростью. Снежинка зацепилась за его ресницу и тут же растаяла. Мальчик смотрел в окно и видел одни крыши. Они расходились во все стороны, как тяжелые застывшие волны, и вдалеке сливались с мутным морским небом.

Киру увидел сразу десятки флюгеров. Как стрелки компаса, они смотрели в одну сторону. Киру почудилось, что все флюгера города нацелили свои клювы и стрелы на него и ждут, что он будет делать дальше.

Мальчик высунулся до пояса и посмотрел на крышу. Крупные дольки черепицы уже не были похожи на легкие перышки. Тяжелые, горбатые, кое-где пробитые градом, они напоминали панцирь окаменевшего чудовища. А флюгера не было видно. Он был скрыт за высокими трубами.

На мгновение Киру охватила робость. Но свистящий упругий ветер, казалось, донес до него голос холодной, равнодушной Айны. Этот голос шепнул: «Иди!» И страх еще ниже упасть в глазах Айны оказался сильнее страха упасть с высокой скользкой крыши.

Киру вылез из тесного слухового окна и, цепко хватаясь за выступы, стал карабкаться по крыше. Холодная черепица обжигала руки. Ноги скользили. Но Киру медленно продвигался впе-

ред. Он не оглядывался, старался не думать о высоте. По крутой каменной горе он лез к перевалу — к коньку крыши. Он не думал о том, каким будет его обратный путь. Он смотрел вперед.

Так Киру добрался до цели.

Вот он, таинственный флюгер, которого никто не мог разглядеть с земли. Никакой это не петух! Это конь и всадник. С земли флюгер казался маленьким и летучим. Вблизи он был большим и грузным. От времени он покрылся шершавой ржавчиной, а дым измазал его жирной сажой. Дул сильный ветер, и конь с пронзительным скрипом шарахался то влево, то вправо. Может быть, он хотел сбросить своего седока, а может быть, ему хотелось спрыгнуть со штыря и растоптать тяжелыми копытами дерзкого мальчишку.

Киру сидел верхом на гребне крыши и внимательно следил за конем и всадником. В это время ветер ударил с новой силой. Конь мелко задрожал. Киру подумал, что сейчас конь сделает отчаянный прыжок и помчится со своим всадником по черепичным крышам города. Вот здорово!

Ветер ревел все сильнее. Низкие облака мчались над самой головой. Но Киру не было страшно. Его сердце пело. Все старые флюгера сорвались со своих насестов и летали над городом. Плыли рыбы, били крыльями петухи, на ветру спутались волосы русалок. Они спешили в сторону моря. И железный конь скакал туда же. И Киру почувствовал себя всадником, скачущим над городом вместе со взбунтовавшимися флюгерами. Он спешил вдаль, чтобы совершить подвиг во имя Айны.

Ветер раскачивал черный штырь флюгера. Все вокруг гудело, скрипело, гнулось. Ветер мешал дышать, и Киру отвернулся, чтобы набрать воздуха, и взгляд его упал на крышу. Он заметил, что дольки черепицы стали блестящими, покрылись прозрачным леденцом. Мальчик попробовал опереться ногой на выступ — нога соскользнула. Он еле удержал равновесие. Тогда, вместо того чтобы возвращаться к слуховому окну, мальчик еще ближе подвинулся к железному коню и обхватил штырь руками. Он прижался к нему, и от этого скрип петель стал еще громче и пронзительней. Будто вместе с всадником и конем суставы Киру при каждом движении издавали скрип.

Киру закрыл глаза и стал ждать. Руки его коченели, а тело на ледяном ветру утрачивало гибкость.

Постовой милиционер поднял голову и увидел маленькую фигурку на высокой черепичной крыше. Может быть, это монтер исправляет антенну? Постовой сделал еще несколько шагов и снова посмотрел вверх. Фигура сидела неподвижно. Она лепилась у самого края конька крыши. Дальше шел обрыв.

Постовой перешел на другую сторону и стал внимательно следить за фигуркой. Она была неподвижна. Как это человек забрал-

ся туда в такой гололед? И почему он не шевелится? И как он оттуда слезет?

Некоторое время милиционер раздумывал, что ему предпринять. Потом он торопливыми шагами направился к телефону.

Пожарная машина прибыла через пять минут. Она промчалась по городу, тревожная, ревущая, красная, будто охваченная пламенем. Автомобили уступали ей дорогу, а люди провожали ее тревожными глазами и думали: «Где-то горит...» Они не знали, что пожарная машина спешила не в бой с огнем, а по другому, необычному делу.

Возле дома с флюгером машина резко затормозила. С подножки соскочил лейтенант, а к нему уже спешил постовой.

— Ну, где ваш альпинист? — спросил лейтенант.

Он был недоволен, что его дружину потревожили по такому непожарному делу.

— Вон у флюгера, — сказал постовой и кивнул в сторону крыши.

Лейтенант ничего не сказал милиционеру, а стал быстро отдавать свои, понятные одним пожарным, распоряжения. Заработал мотор, и пожарная лестница стала медленно подниматься. Она была похожа на ствол огромной пушки перед выстрелом. Встав почти на дыбы, лестница стала вытягиваться. Она росла все выше и выше. Не останови ее, и она дотянется хоть до Луны. Но когда ее край коснулся крыши, лестница перестала расти. Тогда по ней стал взбираться молодой парень в брезентовой одежде и зеленой каске. Пожарный взбирался так ловко, что прохожие диву дались. Наконец он достиг края крыши.

Он увидел мальчика, обнявшего штырь флюгера. Большой флюгер мотало во все стороны. Вероятно, флюгер разделял тревогу тех, кто снизу следил за маленькой фигуркой мальчика на гребне крыши.

Пожарный тихонько позвал:

— Эй, парень!

Киру открыл глаза. Заметив человека, появившегося со стены дома, он заморгал глазами.

— Как вы сюда попали? — спросил Киру хриплым голосом.

— По лестнице, — сказал пожарный. — А вот как ты сюда вскарабкался? — в свою очередь спросил он. И добавил: — Не пойму, как ты не свалился. Ведь вся крыша обледенела.

Киру молчал. Он еще как следует не пришел в себя.

Пожарный сказал сочувственно:

— Нагорит тебе, наверное!.. Пошли.

Киру задвигал руками, завертел шеей. Он хотел убедиться в том, что еще не совсем окаменел. Пожарный сильной рукой обхватил мальчика, но тот запротестовал:

— Я сам.

— Ладно,— сказал пожарный.— Я полезу первый, буду тебя подстраховывать. А ты крепче держись и, главное, не смотри вниз.

И они начали сползать с крыши на первую перекладину лестницы: сперва пожарный, потом Киру. Когда мальчик ухватился за лестницу, он задержался. Еще раз посмотрел на коня и всадника — на двух безмолвных виновников происшествия.

Внизу собралась толпа. Большинство прохожих интересовало, что происходит на крыше большого дома. А лейтенант пожарных стоял в стороне и молчал. Ему было неловко, что боевая красная машина с лестницей не борется с пожаром, а снимает с крыши какого-то чудака.

Когда Киру наконец очутился на земле, он почувствовал себя совсем хорошо. Самое трудное было позади. Он поблагодарил пожарного, который помог ему спуститься с крыши, и собрался было уходить, но постовой милиционер сказал ему:

— Придется проехать в отделение. Дашь там объяснение, товарищ верхолаз.

Киру удивленно посмотрел на него: ведь он не сделал ничего плохого. Но постовой неумолимо сказал:

— Пройдемте!

Он пригласил Киру в пожарную машину и сказал лейтенанту пожарных:

— Довезите нас до четвертого.

Лейтенант кивнул головой, и машина помчалась по городу.

На другой день по пути в школу Киру встретил Айну. Обычно в таких случаях Киру замедлял шаги и безмолвно шел на почтительном расстоянии. Но после того как он карабкался по ледяной крыше, мчался по городу на пожарной машине и имел неприятный разговор в четвертом отделении милиции, ему уже ничего не было страшно. Поэтому он решился подойти к Айне.

Он поднял на нее глаза и сказал:

— Айна, я видел флюгер. Это не петух и не рыба. Это всадник, скачущий над городом.

— Откуда ты знаешь? — удивилась Айна.

— Я... я был там.

— На крыше?

— Ну да, на крыше.

Киру ответил так спокойно, будто для него ничего не стоило залезть на крышу. Девчонка недоверчиво посмотрела на него.

— Врешь! — сказала она.

— Нет, не вру! — отрубил Киру и сам удивился, что может так смело разговаривать с Айной.— А не веришь,— продолжал он,— не надо!.. Только я специально для тебя лазил.

И тогда холодная Айна улыбнулась. Она впервые посмотрела

на Киру, как на равного. Она не могла смотреть свысока на человека, который побывал на такой головокружительной высоте, на какую не поднимался еще ни один знакомый мальчишка.

Киру почувствовал, как что-то звонкое и горячее забилося у него в груди. Он подошел ближе к Айне и сказал:

— Хочешь, я облазаю все флюгера и расскажу тебе, какие они вблизи?

— Не надо, не надо! — испуганно сказала Айна. — Еще свалишься.

Киру было приятно, что Айне не безразлично, свалится он с крыши или нет.

Девочка неотрывно смотрела на Киру. Старый школьный товарищ вырос в ее глазах, и ей показалось, будто его подменили. И перед ней стоит совсем другой Киру. Новый, приехавший откуда-то издалека.

Они шли рядом. И упругий ветер с моря дул им в спину, словно поторапливал их. А высоко на крышах несли свою трудную службу флюгера: летели железные петухи, плыли рыбы, и всадник на коне скакал над городом.

ОН УБИЛ МОЮ СОБАКУ

— Можно войти?

— Войди... Как твоя фамилия?

— Я Таборка.

— А как тебя зовут?

— Табором.

— Имя у тебя есть?

— Есть... Саша. Но зовут меня Табором.

Он стоял на пороге директорского кабинета, и руку ему оттягивал большой черный портфель в белых трещинках. Кожаная ручка оторвана, держится на одном ушке, и портфель достает почти до полу. Если не считать старого, облезлого портфеля, то в наружности Таборки не было ничего примечательного. Круглое лицо. Круглые глаза. Небольшой круглый рот. Не за что зацепиться взгляду.

Директор школы оглядывал мальчика и мучительно пытался вспомнить, за какие грехи вызван к нему этот очередной посетитель. Разбил лампочку или заехал кому-нибудь в нос? Разве все запомнишь.

— Подойди сюда и сядь... Не на кончике стула, а как следует. И не грызи ногти... Что у тебя за история?

Мальчик перестал грызть ногти, и его круглые глаза посмотрели на директора. Директор длинный и худой. Он занимает

полкресла. А вторая половина свободна. Руки, тоже длинные и худые, лежат на столе. Когда директор сгибает руку в локте, она становится похожей на большой циркуль, которым рисуют на доске окружности. Таборка посмотрел на директора и спросил:

— Это вы про собаку?

— Про собаку.

Мальчик уставился в одну точку: в угол, где висели плащ и коричневая шляпа.

— Я боялся, что с ней что-нибудь случится, и привел ее в школу. В живой уголок. Туда берут ужей и золотых рыбок. А собаку не взяли. Что она, глупее этих ужей?

Он проглотил слюну и с укором сказал:

— А собака — млекопитающее.

Директор откинулся на спинку кресла и пятерней, как гребенкой, провел по темным густым волосам.

— И ты привел ее в класс?

Теперь директор вспомнил, за что приглашен к нему этот возмутитель спокойствия. И ждал только подходящего момента, чтобы обрушить свои громы на эту круглую, давно не стриженную голову.

Мальчик снова проглотил слюну и, не отрывая глаз от плаща и коричневой шляпы, сказал:

— Она сидела тихо. Под партой. Не повизгивала и не чесала лапой за ухом. Нина Петровна не замечала ее. И ребята забыли, что у меня под партой собака, и не прыскали от смеха... Но потом она напустила лужу.

— И Нине Петровне это не понравилось?

— Не понравилось... Она наступила в лужу и подпрыгнула как ужаленная. Она долго кричала. На меня и на собаку. Потом она велела мне взять тряпку и вытереть лужу. А сама встала в дальний угол. Она думала, что собака кусается. Ребята гудели и подпрыгивали. Я взял тряпку, которой стирают с доски, и вытер лужу. Нина Петровна стала кричать, что я не той тряпкой вытираю. И велела мне и моей собаке убираться вон. Но она ничего... Она не убивала мою собаку.

Таборка по-прежнему смотрел в одну точку, и со стороны казалось, что он рассказывает не директору, а его плащу и шляпе.

— Все? — спросил директор.

Таборка был у него пятый за этот день, и у директора не было никакого желания продолжать разговор. И если бы мальчик сказал «все», директор отпустил бы его. Но Таборка не сказал «все» и не кивнул головой.

— Нет, — сказал он, — мы еще были в милиции.

Час от часу не легче! Директор с шумом придвинул кресло к столу. Он чувствовал себя в этом большом кресле, как в костюме,

который велик. Наверное, его предшественник — старый директор — был толстым, раз завел такое кресло. А он новый. Директора тоже бывают новичками.

— Как ты очутился в милиции?

Таборка не вспыхнул и не заволновался. Он заговорил сразу, без заминки:

— Моя собака не кусалась. Не то что собаки, которые живут за большими заборами и вечно скалят зубы. Их черные носы смотрят из-под ворот, как дустволки. А моя собака махала хвостиком. Она была белой, и над глазами у нее два рыжих треугольника. Вместо бровей...

Мальчик говорил спокойно, почти монотонно. Слова, как круглые ровные шарики, катились одно за другим.

— И женщину она не кусала. Она играла и ухватила ее за пальто. Но женщина рванулась в сторону, и пальто порвалось. Она думала, что моя собака кусается, и закричала. Меня повели в милицию, а собака бежала рядом.

Мальчик поднял глаза на директора: рассказывать дальше? Директор сидел на кончике своего кресла и грудью навалился на стол. Глаза его прищурились, как будто он целился. Они не видели ничего, кроме Таборки.

— Давай дальше.

— В милиции нас продержали два часа. Мы стояли у стенки и все чего-то ждали. Но в милиции не убили собаку. Там один, с усами, даже погладил ее и дал ей сахару... Оказывается, собаке полагается номер и намордник. По правилам. Но когда я нашел мою собаку, у нее не было ни номера, ни намордника. У нее вообще ничего не было.

— Где ты нашел ее?

— В поселке. Хозяева переехали в город, а собаку бросили. Она бегала по улицам, все искала хозяев.

— Заведут собаку, а потом бросят!

Эти слова вырвались у директора, и он вдруг почувствовал, что после них уже не сможет ударить кулаком по столу.

Мальчик не ухватился за его слова.

Он неожиданно возразил:

— Они бросили собаку, но не убили. А я наткнулся на нее. Отдал ей свой завтрак, и с тех пор она не отходила от меня.

— Как звали твою собаку?

— Не знаю. Ведь хозяева уехали.

— И ты никак не назвал ее?

Мальчик непонимающе посмотрел на директора.

— Ты не дал ей имени?

— А зачем?

Он наконец выпустил из рук тяжелый портфель, и тот глухо плюхнулся на пол.

— У нее было имя. Я просто не знал его. Спрашивал у ребят. Никто не помнил, как ее звали.

— Вот и назвал бы ее как-нибудь.

Мальчик покачал головой:

— Раз у собаки есть имя, зачем давать ей новое. У собаки должно быть одно имя.

Теперь Таборка смотрел на медную пепельницу, которая стояла на краю стола. Пепельница была чистой и блестящей. Вероятно, новый директор не курил.

Таборка поднял руку и почесал затылок. И директор заметил на рукаве крупную штопку. Она была похожа на решетку, которая не выпускала локоть наружу.

Мальчик неожиданно умолкал и так же неожиданно начинал говорить, словно часть мыслей оставлял при себе, а часть высказывал вслух.

— Когда я в первый раз привел собаку домой, он был в отъезде. Мама сказала: «От собаки одна только грязь!» Какая грязь может быть от собаки? От собаки одна радость. Потом мама сказала: «Я твоей собакой заниматься не буду. Занимайся сам!» Так я для того и взял собаку, чтобы заниматься самому. Моя собака была очень умной. Когда я учил наизусть стихи, она смотрела мне в глаза и слушала. А когда у меня не выходила задача, собака терлась о мою ногу. Это она подбадривала меня. А потом приехал он и выгнал собаку.

Таборка не отрывал глаз от пепельницы, а директор скрестил пальцы и положил их под щеку и не спускал с мальчика прищуренных глаз.

— Чем *ему* помешала собака?.. Я не мог выгнать собаку. Ее один раз уже выгоняли. Я поселил ее в сарае. Там было темно и скучно. Я все время думал о своей собаке. Даже ночью просыпался: может быть, ей холодно и она не спит? А может быть, она боится темноты?.. Это, конечно, ерунда: собака ничего не боится! В школе я тоже думал о ней. Ждал, когда кончатся уроки: ее завтрак лежал у меня в портфеле... Потом он заплатил штраф за порванное пальто и выгнал собаку из сарая. Я привел ее в школу. Мне некуда было ее деть.

Теперь слова мальчика уже не были круглыми шариками. Они стали шершавыми и угловатыми и с трудом вырывались наружу.

— Я не знал, что он задумал убить мою собаку. Меня тогда не было. Он подозвал ее и выстрелил ей в ухо.

В комнате стало тихо. Как после выстрела. И долгое время ни мальчик, ни директор не решались прервать молчание.

Неожиданно директор сказал:

— Слушай, Табор! Хочешь, я подарю тебе собаку? Немецкую овчарку с черной полосой на хребте.

Мальчик покачал головой:

— Мне нужна моя собака. Я бы ее научил спасать утопающих. У меня книжка такая есть, как учить собак.

Директор встал со стула. Он стал еще выше, чем казался вначале. Пиджак висел на его худых плечах, как на вешалке. Может быть, его костюм тоже принадлежал когда-то старому директору. Как большое кресло.

Он подошел к мальчику и наклонился к нему:

— Ты можешь помириться с отцом?

— Я с ним не ссорился.

— Но ты с ним не разговариваешь?

— Я отвечаю на его вопросы.

— Он тебя когда-нибудь бил?

— Не помню.

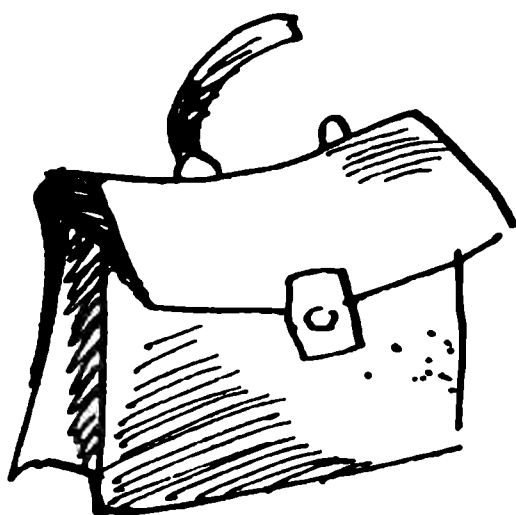
— Обещай мне, что ты помиришься с отцом.

— Я буду отвечать на его вопросы... Пока не вырасту.

— А что ты будешь делать, когда вырастешь?

— Я буду защищать собак.

Директор молча прошелся по кабинету и вернулся в свое неуютное кресло. А мальчик взял портфель за ручку, которая держалась на одном ушке, и пошел к двери. Когда он уходил, директор заметил, что штопка на рукаве порвалась и острый локоть вырвался сквозь решетку наружу.



У КОММЕНТАРИИ

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1918)

Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, кавалер ордена Дружбы народов, М. Н. Алексеев сражался в действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны с первых дней до победного мая 1945 года. Воевал на Юго-Западном фронте, защищал Тулу, бился с фашистами под Сталинградом, под Белгородом, на Курской дуге, на Днепре, Дунае и в Карпатах. День Великой Победы встретил в Чехословакии, в Косой Горе. Великой Отечественной войне посвящены роман «Солдаты» (1951 г. — I часть; 1953 г. — II часть); повесть «Наследники» (1956), документальная повесть в новеллах «Дивизионка» (1959), издававшаяся специально для юных читателей в 1975 г.; «Автобиография моего блокнота» (1964); сборники военных рассказов — «Наш лейтенант» (1955), «Жили-были два товарища» (1958)... Большая и вечная тема — человек и земля — ведущая в творчестве М. Алексеева. Герои его книг — хлебопашцы, сеятели, невольно заменяющие орудие пахаря оружием оборонительным, военным, когда Отечество нужно защитить от врага.

Человек и земля, человек и созидание — доминантная тема и в повести «Карюха». Она признана критикой по праву художественным открытием (см. ст. П. Проскурина «В поисках сигнальных огней» в «Литературной России», 1974, № 1, 4 января). Александр Овчаренко — один из самых глубоких исследователей творчества М. Алексеева, — согласившись с тем, что повесть «Карюха» можно назвать поэмой, утверждает, что «ее можно назвать и драматической песней, своеобразной балладой. Она вылилась из души автора как законченная музыкальная фраза» (см. «Художественный мир Михаила Алексеева» — предисловие к собранию сочинений в 6-ти томах. Т. I, М., Молодая гвардия, с. 26). Впервые «Карюха» увидела свет в Роман-газете (№ 16, 1967), а затем неоднократно издавалась «Детской литературой».

Тончайшие мудрые жизненные наблюдения, доподлинность деталей, глубинных переживаний героев, внутренний драматизм, безупречная логика сюжета, захватывающая читателя в свою власть, искренность интонации повествования предопределяют убедительность произведения, большую силу его воздействия. Оптимизм характерен для стиля писателя — Солдата, Сеятеля, Хранителя земли, жизни на земле.

Произведения М. Алексеева переведены на языки разных стран: «Ивушка неплакучая» — на болгарский, чешский, монгольский; «Драчуны», «Карюха», «Хлеб — имя существительное» — на болгарский; «Вишневый омут» — на немецкий.

ДРАГУНСКИЙ ВИКТОР ЮЗЕФОВИЧ (1913—1972)

Первые из рассказов, составляющих одну из самых любимых детьми книг — «Денискины рассказы», — были опубликованы в журнале «Мурзилка» в 1959 г. Первая публикация сборника — 1966 г., издательство «Малыш». «Драгунский прожил одну на редкость многообразную, насыщенную, напряженную и цельную жизнь. Ему выпала редкая честь быть ни на кого не похожим, создать свой стиль и в жизни, и в творчестве». Так пишет Юрий Нагибин в статье, открывающей книгу «Денискины рассказы» Виктора Драгунского, выпущенную издательством «Детская литература» в 1982 г. Статья называется «Писатель щедрый и радостный...». Это определение таланта точно характеризует облик В. Драгунского, его жизненный и творческий стиль. Неуемность, жажда жизни, многогранность интересов, страсть во всем: в деле, в творчестве, в любви к детям, и, конечно, прежде всего к сыну Дениске. Ему посвящены рассказы, полные оптимизма и ненасытности деятельностью.

Рассказы рисуют эмоционально, интеллектуально очень насыщенную жизнь живого мальчишки, которому все интересно — и поэтому его жизнь обильна впечатлениями, переживаниями.

«Денискины рассказы» дают верное и точное представление не только о характере и жизни Дениски, но и об удивительных прекрасных типичных особенностях этого возраста. «Жизнь этого возраста насыщена до отказа: насыщена не только той информацией, что поступает из большого мира, но фантастической переплавкой этой информации в свои представления, в свою действительность, — той переплавкой, которая и есть для Дениски и его сверстников духовная жизнь», — справедливо заключает исследователь творчества В. Драгунского Станислав Рассадин (Рас-

садин. Ст. «Ежедневная сказка», журнал «Детская литература», 1968, № 10, с. 17).

«Денискины рассказы» переизданы на английском, немецком, польском, финском, французском, японском, чешском, словацком языках.

МЕДВЕДЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1923)

В. В. Медведев — лауреат Государственной премии РСФСР, Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской. Награжден Почетным дипломом им. Андерсена, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.

Повесть «Баранкин, будь человеком!» появилась в свет в 1962 г. (издательство «Детская литература»). Переиздавалась многократно на русском и других языках народов СССР. В 1983 г. в «Золотой библиотеке» детской литературы вышла книга «Фантазии Баранкина», включающая, кроме названной повести, ее продолжение — книгу вторую: «Сверхприключения сверхкосмонавта (Двадцать воспоминаний Юрия Баранкина о себе самом, написанные им самим)». Издавалась повесть «Баранкин, будь человеком!» и за рубежом в разных странах: переведена на английский, болгарский, немецкий, французский, монгольский языки.

Гуманизм книги, ее веселый и добрый герой Юра Баранкин определяют поистине международный успех произведения. Идея, чтобы все дети земли имели возможность быть настоящими людьми, вырасти добрыми, гордыми и трудолюбивыми, — эта идея в наше время близка и дорога всем честным людям. Жизнь диктует: необходимо, чтобы все настоящие люди объединили свои усилия для борьбы против нелюдей — проповедников и поджигателей войны...

Говорят, что стиль — это человек. Стиль творчества, его целевые установки, несомненно, проявляют личность писателя. В этом убеждаешься, перечитывая повесть после личного знакомства с автором: серьезным и озорным, веселым и мудрым, философически мыслящим человеком и затейливым выдумщиком, нетерпимым к несправедливости и весьма великодушным, терпеливым в общении с людьми. Был писатель В. Медведев и театральным актером, снимался в кино, писал сценарии. Служа в армии, имел репутацию весельчака, заводилы-затейника. Все это ощутимо и в повести — веселой и мудрой. Читая повесть, смеешься. А смеясь, познаешь жизнь и себя. В этом и есть великая сила искусства.

ПРИЛЕЖАЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА (род. в 1903)

М. П. Прилежаева награждена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалями; она — лауреат Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской, премии Ленинского комсомола; удостоена Почетного диплома журнала «Пионер», диплома им. Л. А. Кассиля.

М. П. Прилежаевой не исполнилось и семнадцати лет, когда она, вчерашняя гимназистка, стала учительницей в маленькой школе села Петрищево Переяславского уезда Ярославской губернии. Жалованья тогда не получала. Жила, как обычно живут пастухи, — каждая семья, имеющая корову и другой скот, выделяет определенную сумму денег и продукты. Но трудности лишь укрепили рано проявившийся педагогический талант, чувство общественного, гражданского долга, любовь и преданность детям, делу просвещения. Позднее М. П. Прилежаева получила специальное педагогическое образование, работала в Хотькове в детском доме. А затем, после окончания университета, учительствовала в Москве, в Алма-Ате. Школа, образ учителя дороги, близки писательнице. Им посвящены многие произведения: «Семиклассницы», «С тобой товарищи», «Дом на горе», «Юность Маши Строговой», «Осень» и, конечно, «Зеленая ветка мая».

Становление личности в юношеские годы, проблемы воспитания и самовоспитания — важнейшие и в повестях «Пушкинский вальс», «Третья Варя», «Всего несколько дней». «Дороги-дороги...» — книга публицистических очерков, ярких статей, выступлений М. П. Прилежаевой, раскрывающих мировоззренческие, гражданские и сугубо личностные истоки, мотивы, предпосылки творчества. Произведения М. П. Прилежаевой «олицетворяют собой то наиболее весомое, что в нашей детской и юношеской литературе связано с проблемами школы, с проблемами нравственного воспитания», обоснованно утверждает А. Г. Алексин во вступительной статье к ее трехтомному собранию сочинений. Особая страница в творчестве М. П. Прилежаевой, да и во всей советской литературе, — произведения о В. И. Ленине: «Жизнь Ленина», «Начало», «Удивительный год», «Три недели покоя».

Все произведения М. П. Прилежаевой о школе, педагогическом труде, о прекрасной и нелегкой поре юности передают богатейший жизненный опыт автора, поэтизируют образ учителя, покоряют доверием, искренней любовью к человеку, глубоким пониманием психологии юности. Автобиографична же, по признанию писателя, именно «Зеленая ветка мая»: «Редкое произведение прозы и поэзии не содержит автобиографических моментов — чувства и мысли автора, переданные тому или иному герою, эпизоды, ситуации, встречи — многое находит место в книге, написанной как будто вовсе не о себе...

В одной моей книге, рассказывающей о подростке, затем юной девушке накануне и в первые годы революции, есть вымысел — имена героев, некоторые эпизоды, но и много личного. Пожалуй, свою «Зеленую ветку мая» я могу в какой-то мере назвать автобиографической. Поселить гимназистку в монастырь — такое едва ли придумаешь. Это было на самом деле. Той девчонкой была я» (М. П. Прилежаева. «Дороги, дороги...» М., Молодая гвардия, 1980, с. 5). Впервые «Зеленая ветка мая» была опубликована в журнале «Юность» (1975, № 2, 3, 4). В 1976 г. повесть выпустило отдельной книгой с рисунками О. Богаевской издательство «Детская литература».

Произведения М. П. Прилежаевой переведены на языки разных стран: «Жизнь Ленина» — на венгерский, чешский, немецкий, английский, монгольский, арабский, бенгальский, вьетнамский; «Удивительный год» — на английский, немецкий, болгарский; «Юность Маши Строговой» — на венгерский, польский; «Зеленая ветка мая» — на немецкий и словацкий.

ЯКОВЛЕВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1922)

Еще в школе Ю. Яковлев начал писать стихи. А детство писателя, как и детство всех советских детей в двадцатые — тридцатые годы, было романтичным. Детство в стране, прочно вставшей на трудный и прекрасный путь строительства нового советского социалистического общества. В стране, к которой уже и тогда были обращены сердца, взоры народов других стран, сражавшихся за свою свободу. Вот что рассказывает сам писатель о своем детстве: «Очень хорошо помню запах свежего кумача. Стою на сцене вместе с другими ребятами и, запинаясь от волнения, произношу слова Торжественного обещания: «Я, юный пионер СССР...» Потом мне повязывают красный галстук, и я вдыхаю в себя неповторимо радостный запах кумача... Еще помню приезд в Ленинград испанских детей — маленьких республиканцев. Мы встречали их в порту. Они спускались по трапу, держа у правого плеча сжатый кулак. И мы тоже сжимали кулаки и подносили их к плечу. «Рот Фронт! Но пасаран!..» Некоторых детей сносили с корабля на носилках: они были ранены» (Юрий Яковлев. «Багульник». М., Детская литература, 1972, с. 393—394). Детство каждого поколения имеет свои памятные приметы и характерные отличия. Юрий Яковлевич Яковлев принадлежит к поколению, которому выпало с юности участвовать и победить в исторической схватке с немецким фашизмом и японским милита-

ризмом, а затем восстанавливать разрушенное войной хозяйство страны, прокладывать новый путь строительства зрелого социализма. Поколение это обладает богатырской силой и выносливостью.

В годы Великой Отечественной войны стихи, очерки зенитчика, военкора Юрия Яковлева печатались в газете «Тревога». Первая книга его стихов — «Наш адрес» — вышла в 1949 г. Вслед за ней: в 1951-м — сборник «В нашем полку», в 1955-м — «Растут сыновья». Все это сборники стихов о Советской Армии, о воспитании нового человека. До начала 60-х годов Ю. Яковлев и был известен как поэт, пишущий главным образом для детей: поэмы «Шел отряд» (1951), «Подарок» (1952), «Петрушка» (1955), «Фабрика погоды» (1964) и много других небольших, разными художниками ярко иллюстрированных книжек. Однако со времени опубликования в 1960 г. в «Огоньке» рассказа о подростках и для подростков — «Станция Мальчики» — Ю. Яковлев все больше тяготеет к художественной прозе: рассказы и повести становятся любимыми жанрами его творчества.

По сценариям Ю. Яковлева поставлено более двадцати полнометражных фильмов, много мультипликационных. Кинофильм «Семеро солдатиков» награжден медалью имени Довженко. Удивительный по сюжету, высоко патриотический и поэтический рассказ «Маленькая балерина» — в основе сценария фильма «Мы смерти смотрели в лицо». Он по праву занял одно из первых мест в ряду лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Я. Варшавский в книге «Если фильм талантлив» пишет о сценарии фильма: «На конкурсе редкостных историй, уникальных сюжетов история, рассказанная драматургом Ю. Яковлевым, заняла бы наверняка одно из первых мест» (М., Искусство, 1984, с. 47).

Ряд рассказов Ю. Яковлева переиздан в других странах: «Лев ушел домой» — переведен на чешский; «Капитан Джек» — на польский; «Станция Мальчики» — на немецкий...

Ю. Яковлев активно дружен с периодической печатью: с журналом «Огонек», напечатавшим первый рассказ «Станция Мальчики»; с газетой «Известия», где впервые был опубликован в 1962 г. рассказ «Собирающий облака». Все рассказы, пьесы, фильмы Ю. Яковлева интересны читателям разных возрастов — и взрослым, и детям, хотя сам их автор не без гордости называет себя именно детским писателем.

«МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ»

Впервые рассказ был опубликован в 1961 г. журналом «Огонек», № 16 (с. 17—23). В последующем включался почти во все сборники Ю. Яковлева, выходил отдельной книгой (Художест-

венная литература, М., 1962). Это один из наиболее любимых читателями и популярных рассказов.

«БАГУЛЬНИК»

Впервые рассказ был опубликован в «Известиях» 23 марта 1968 г. В 1972 г. так был назван сборник рассказов Ю. Яковлева, что свидетельствует о признании этого произведения программным в творчестве писателя. Не случайно так же названа и книга рассказов в серии «Золотая библиотека» (Детская литература, М., 1975).

По рассказу поставлен художественный фильм «Красавица».

«РАЗБУЖЕННЫЙ СОЛОВЬЯМИ»

Сначала рассказ был опубликован в сборнике с таким же названием, который выпустило издательство «Молодая гвардия» в 1963 г. Позднее неоднократно переиздавался в различных сборниках писателя.

Рассказ экранизирован.

«СОБИРАЮЩИЙ ОБЛАКА»

Впервые был опубликован в 1962 г. в «Известиях», № 76. По рассказу поставлен короткометражный фильм.

«РЫЦАРЬ ВАСЯ»

Рассказ увидел свет 1 февраля 1964 г.: был опубликован в «Известиях». В его основе лежит конфликт человека с самим собой: полное несогласие того, каков человек внешне, в его ежедневном стиле поведения, с тем, каким он себя видит в идеале и каким может быть.

«Рыцарь Вася» — так называется и короткометражный фильм.

«ДЕВОЧКА С ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА»

Рассказ появился сначала 27 января 1969 г. в «Известиях». Позднее неоднократно переиздавался. Ленинград — город, где родился и провел детство, отроческие годы Ю. Я. Яковлев. Там погибла его мама. Все, что связано с этим легендарным городом, бесценно для писателя, постоянно волнует его.

Тема войны близка Ю. Я. Яковлеву. «Девочка с Васильевского острова» — одно из многих его произведений о Великой Отечественной войне. Очень небольшой, этот рассказ убедительно утверждает мысль о необходимости вечно помнить о погибших и быть готовым повторить их подвиг во имя Родины, ради жизни на земле.

«ВРЕМЕННЫЙ ЖИЛЕЦ»

Впервые рассказ увидел свет в книге «Когда уезжает друг» (Детская литература, М., 1964). Позднее рассказ неоднократно переиздавался во многих сборниках писателя.

«ВСАДНИК, СКАЧУЩИЙ НАД ГОРОДОМ»

Впервые был напечатан в «Огоньке» (№ 1, 1962). В этом произведении, как и в рассказе «Временный жилец», идея рыцарства, внутренней готовности юного человека к благородному и даже возвышенному поступку проявляется в лирическом аспекте.

По рассказу «Всадник, скачущий над городом» поставлен фильм.

«ОН УБИЛ МОЮ СОБАКУ»

Впервые рассказ был напечатан в сборнике «Станция Мальчики» (М., Советская Россия, 1961). Свое второе рождение рассказ нашел в киноновелле такого же названия.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Т. Д. Полозова. Быть человеком</i>	3
---	---

М. АЛЕКСЕЕВ

художник И. Годин

Карюха	13
------------------	----

В. ДРАГУНСКИЙ

художник В. Лосин

Он живой и светится	75
Тайное становится явным	77
Зеленчатые леопарды	79
Надо иметь чувство юмора	83
Удивительный день	85
И мы!..	95
Друг детства	97
«Где это видано, где это слыхано...»	100
Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах...	106
Арбузный переулок	110
Синий кинжал	113
Кот в сапогах	115
...Бы	118
Главные реки	119
Гусиное горло	122
Чики-брык	126
На Садовой большое движение	130
Рабочие дробят камень	135
Белые амадины	140
Сражение у Чистой речки	144
Девочка на шаре	147
Не хуже вас, цирковых	152
Мой знакомый медведь	158
Тиха украинская ночь	162
Подзорная труба	165
Независимый Горбушка	168
Сестра моя Ксения	173

Поют колеса — тра-та-та 176

В. МЕДВЕДЕВ

художник А. Тамбовкин

Баранкин, будь человеком! 181

М. ПРИЛЕЖАЕВА

художник О. Богаевская

Зеленая ветка мая 269

Ю. ЯКОВЛЕВ

художник А. Тамбовкин

Мальчик с коньками 483

Багульник 506

Разбуженный соловьями 513

Собирающий облака 520

Рыцарь Вася 527

Девочка с Васильевского острова 533

Временный жилец 537

Всадник, скачущий над городом 551

Он убил мою собаку 558

Комментарии 563

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(т о м 29, книга 3-я)

Михаил Николаевич Алексеев

КАРЮХА

Виктор Юзефович Драгунский

ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ

Валерий Владимирович Медведев

БАРАНКИН,
БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!

Мария Павловна Прилежаева

ЗЕЛЕНАЯ ВЕТКА МАЯ

Юрий Яковлевич Яковлев

МАЛЬЧИК С КОНЬКАМИ

Повести и рассказы

Ответственный редактор А. Н. Печерская
Художественный редактор Н. И. Комарова
Технический редактор В. К. Егорова
Корректоры Е. В. Куликова и Л. А. Рогова

ИБ № 8320

Сдано в набор 20.12.84. Подписано к печати 14.06.85. А10438. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 37,13. Усл. кр.-отт. 41,38. Уч.-изд. л. 37,5+9 вкл.=38,09. Тираж 407 000 экз. (2-й завод 200 001—407 000 экз.). Заказ № 192. Цена 2 р. 10 к. Орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 127018, Москва, Сушеvский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Алексеев М. Н.

- А47** Карюха; Драгунский В. Ю. Денискины рассказы. Медведев В. В. Баранкин, будь человеком! Прилежаева М. П. Зеленая ветка мая. Яковлев Ю. Я. Мальчик с коньками: Повести и рассказы/Предисл. Т. Д. Полозовой; Ил. А. Г. Тамбовкина.— М.: Дет. лит., 1985.—574 с., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 29, кн. 3).

В пер.: 2 р. 10 к.

А 4803010102—433 Подп. изд.
М101(03)85

Р2



2р.10к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»